

A close-up, black and white portrait of a man with a full, dark beard and mustache. He has short, dark hair and is looking slightly to the right of the camera with a serious expression. He is wearing a dark, textured sweater over a collared shirt. The background is dark and out of focus.

2

Андрей
СИНЯВСКИЙ

127 писем
О ЛЮБВИ

22 generally 1968.
20 generally 1968.
6 generally 1968.
20 generally 1968.
15 was.

20 generally 1968.
6 generally 1968.
20 generally 1968.
12 was.
5 May 1968.
12 was.
5 May 1968.
22 was.
18 was.
17 was.

5 May 1968.
8 abayas.
21 was.
17-18 was.
20 was (type).
8 was.
20 was 1968.
20 was.

21 was.
22 was.
21 was.
25 was.
9 was. 1968.
19-20 generally 1968.
4 was.
15 was.
18 abayas.
20 was.
18 was.
20 was 1968.
H abayas 1968.

Андрей
СИНЯВСКИЙ
127 писем
О ЛЮБВИ

МОСКВА ■ АГРАФ ■ 2004

УДК 821.161.1(092)Синявский А.Д.
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8Синявский А.Д.
С38

Подготовка текста и примечания *М. Розановой*

Художник *А. Зарубин*

Издание подготовлено при участии общества «Мемориал»



Информационный спонсор –
радиостанция «Эхо Москвы»

Синявский, Андрей Донатович.

С38 127 писем о любви: [В 3 т.]. т. 2 / Андрей Синявский. – М.: Аграф, 2004. – 576 с. – ISBN 5-7784-0294-5

Лагерные письма Андрея Синявского обращены к единственному адресату – жене Марии Розановой. Разрешенные два письма в месяц были местом встречи с семьей, творческой лабораторией писателя, дневником и записной книжкой.

Второй том – письма 1968–1969 годов. Любовь к жене и сыну, размышления о воспитании и формировании ребенка, тоска по дому, пристальное внимание к лицам, историям и речи союзников, широчайший охват прочитанной литературы, размышления об истории и культуре, русской и мировой, – все откладывалось в этих письмах, чтобы стать отправным пунктом на пути ко многим будущим книгам писателя. «Примечания адресата» включают фрагменты писем М. Розановой к мужу.

УДК 821.161.1(092)Синявский А.Д.
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8Синявский А.Д.

1968

ПИСЬМО СОРОК ЧЕТВЕРТОЕ

Как я вижу Егора? Наверное, очень неполно, туманно, в общих чертах, которые, однако, мне кажется, не охватывая снаружи, проходят внутри по главному руслу в той основе, откуда он вырос, которую перерос, но останется с ней и пребудет, дай Бог, на всю жизнь. Объяснить ее достаточно ясно не представляется вероятным, она более чувствуется, чем понимается, – и состоит, если подбирать наугад приблизительные слова, – из доверия, спокойствия, удивления и какой-то тайной веселости в отношении к жизни.

Сложилось это впечатление еще из его ранних улыбок, а определилось с первого взгляда, когда взглянул на него и влюбился в этого сразу узнанного на всю жизнь и сразу ставшего больше меня маленького мальчика.

И потом (не знаю, как сейчас), из Егора очень явствовало, что у него есть душа. А это видно далеко не у всех людей.

Всякие капризы и несогласия, конечно, еще будут нас мучить, но все это уже наружное, нанесенное на поверхность или врезавшееся в нее извне, а вот то, о чем говорю, – наше честное ядрышко. Поэтому я так и кидаюсь на некоторые эпизоды, – например с твоими туфлями, – узнавая ту самую безграничность доверия, которую так надо оправдать.

Нынешний денек что-то с трудом дается. Мыслями рассеиваю в послезавтрашних часах, тревожусь за тебя в такую стужу, курю и грущу – в этот первый наш с тобою зимний праздник.

23 декабря.

Егору три года. Ужасно это крупными буквами получается – три года! А помнишь, какими огромными и недостижимыми они нам рисовались?

А все-таки, мне кажется, с ним теперь легче жить – когда ему целых три года, – как ты думаешь?

Только мне жалко, что он так быстро растет...

Вчера к вечеру получил твою телеграмму. И дошла неслыханно быстро – за один день, – и попала в срок, и я тебя очень жду.

Читаю Гоцци и все больше склоняюсь к мысли, что жизнь имеет форму и содержание сказки.

А помнишь, у нас была эта книга, кажется, в двух экземплярах, с которыми мы цацкались и не знали, куда девать, и они нас буквально преследовали, наверное, затем, чтобы я ее все же прочел теперь и здесь. И хотя это не совсем в моем вкусе, очень она меня тешит – тем более в процессе мытья стульев, и такой фон ей подходит и удваивает удовольствие.

Все думаю, что такое свадьба в финале сказки – неужели только иллюзия, которой мы пытаемся подсластить злую судьбу? Скорее все-таки это настоящая, окончательная реальность, которая себя обнаруживает, когда страшный сюжет рассеивается в ходе своего изложения и мы уверяемся наглядно, что зло действительно, что оно лишь временное подспорье, без которого добро оставалось бы нераскрытым, – как веер, для того чтобы обмахиваться, нуждается в жаре...

На дворе жуткий мороз и, несмотря на романтичность его произведений, мне беспокоино – как бы ты не замерзла завтра. А ты уже едешь...

24 декабря.

И вот уже все потаяло, и ты уехала, и смешно, что страшился мороза, когда так вокруг течет и, возвратясь в сапоги, с трудом прохожу по лужам...

Не сумел улучшить минуту, чтобы пописать тебе это письмо сразу после свидания, и пока ее разыскал посреди стульев и валящей с ног усталости, прошло два дня и уже кончается твой день рождения.

Вчера только успел кинуть поздравительные открытки к Новому году, а так сплошной кавардак работы и такого снега, сутолочная каша под ногами, перед глазами, во сне и наяву каша, а я все собираюсь вздохнуть и поблагодарить за оказанное снисхождение твоего образа и существа.

Ты очень красивая. И родная.

И все правильно и хорошо.

Но мне почему-то тоскливо. Еще не пойму почему. И я забыл о многом сказать и спросить. В особенности – твои фотографии, о которых говорила, но зачем же не присылаешь? Догадалась бы хоть к Новому году порадовать...

27 декабря.

Любуюсь на твою роскошную даму*, которая каталась по льду и прикатила ко мне в самую точку. Вот и мы с Новым годом! – сказал я себе, получив ее в письме и обрадовавшись ей чрезвычайно. Действительно, она очень похожая, хотя слишком столичная, ей, в принципе, подобает выглядеть более провинциально.

А к радости моей примешалось что-то детское. Понимаешь, настолько отвыкаешь от яркого и праздничного, что какой-нибудь милый пустяк превращается в событие. Некоторые взрослые дяди клеят альбомы, состоящие из журнальных картинок, этикеток – пейзаж, красotka, бумажка из-под туалетного мыла – все подряд, лишь бы веселое зрелище.

Поэтому и о бандероли скулил. Разумом сознаю, что не нужно мне, к примеру сказать, туалетное мыло, обойдусь прекрасно простым, только в очереди стоять лишний раз из-за этого туалета. А вот подойдет Новый год или день рождения, и засосет глупая жалость: хоть бы кусок мыла!

Твоя дама это мыло сняла с души, и я очень рад и ей, и тебе, и твоему привету.

29 декабря.

Пришла твоя любимая поздравительная телеграммочка, а также постепенно приходят твои старые письма, написанные до свидания, но все равно мне интересные, родные и нужные в жизни. <...>

Новый год я встретил довольно хорошо, занятый в основном письмом к тебе и рвань за ним душой. Кроме того, хорошо покормили в гостях, а еще ради праздничка я решил кутить и пошел в кои-то веки в кино на фильм «Пятнадцатилетний капитан»*, доставивший простое удовольствие видеть редкие вещи по принципу: а вон собачка бежит и хвостом виляет, а вот море плещется...

Жаль, в Африке там не показали каких-нибудь диких зверей. И тамошняя дама оказалась недостаточно пикантной. И вообще для Жюль-Верна требуется большая глянцевоcть. Но я все равно был немножко растроган.

Самую же полночь, за невозможностью отметить более приятно, я, напившись кофе, намеревался встретить, лежа в темноте на койке и переносясь мысленным взором в твое общество, но в начале двенадцатого неожиданно заснул.

А еще мне на Новый год подарили «Поэтический лексикон» Квятковского, так что тебе его теперь нет нужды доставать. И подарили красивую открытку с каналом Грибоедова в Ленинграде.

А сейчас я уже по новой собираюсь на старую работу.

И еще мне хочется подробно послушать про то, как ты провела свой день рождения и Новый год. И как все же Егорушка воспринял свои именины – на подарки-то он как реагировал, и какие были подарки?

1 января.

Все хорошо, только грустно, что тает и течет, будто зима и не начиналась, а все никак не может кончиться мокрая, простудная осень. Терпеть не могу такую слякоть посреди самого расцвета зимы. А потом, я последнее время замечаю, что на мое настроение очень стала влиять погода.

Еще замечаю, как мне трудно жить с людьми, самыми милыми даже, но доводящими до белого каления какой-нибудь чуждой привычкой, запахом и т.д. Просто хочется глаза закрыть и не видеть, не чувствовать. Только с тобой, моя радость, мне повезло жить, не раздражаясь на тесное соседство. Но то ведь – ты. А так даже голова болит.

А вот какой чудесный случай произошел – мне подарили путеводитель по Киеву, прекрасно изданный совсем недавно, с удачными фотографиями, экспортного типа и карманного формата. При том дарящий не представлял, что это меня может сейчас интересовать. Очень я этому случаю обрадовался и подивился. Игорево же издание* не отличается академической полнотой – и очень жаль.

А вот список вещей, которые я просил бы Лиду* мне постепенно прислать:

1) Марок 20 шт.

2) Набор открыток покрасивше и поизысканнее – и чтобы могли служить почтовыми.

3) Писарев (две статьи о Пушкине).

4) Полотенце – небольшого формата (у меня одно пропало).

5) 3 дешевенькие записные книжки малого формата, желательно такого типа:



и пару красивых солидных блокнотов.

6) Школьных тетрадок в клеточку штук 20 (через месяц мои запасы кончатся).

7) Две общие тетради.

8) Какую-нибудь красивую недорогую книжицу, чтобы можно было подарить.

9) Иногда – ну, раз в четыре месяца, в полгода, – кусок туалетного мыла.

Наиболее важные пункты* поставил в кружок.

А ты, Машенька, если сумеешь достать, – трубочки для шариковой ручки (осталось 4 шт.). И хорошо бы ты привезла мне рыночной сметаны.

2 января.

Бл. Августин рассказывает о своих сомнениях, испытываемых от церковного пения («Исповедь»):

«Так я колеблюсь между опасностью удовольствия и испытанием пользы. И притом – не выдавая, впрочем, своего суждения за окончательное, – более склоняюсь к тому, чтобы одобрить в церкви обычай пения, дабы через наслаждения слуха слабый дух возносился к чувству благочестия. Однако, когда мне случается увлечься пением более, чем предметом песнопения, я со скорбью сознаю свой грех, и тогда желал бы лучше и не слышать певца» (История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Т. I, М., 1962, стр. 263).

Замечательна эта оглячивость на собственную греховность, осязаемую даже в столь благочестивом занятии, замечательны склонения мысли то в одну, то в другую сторону – эти качания в самой постановке вопроса – быть или не быть искусству? – с робкой готовностью – не быть.

Более определенно провозгласил, спустя 700 лет, – это «не быть!» *Бернард Клервосский*, теолог и аскет XII века. Допуская ис-

кусство как уступку простецам и мирянам, он исключает его начисто в сфере высшего назначения. В своей «Апологии к Гвиллельму, аббату монастыря св. Теодорика» Бернард рисует довольно сочную картину художественной (с его точки зрения) разнужданности в церковном строительстве:

«Умолчу об ораториях, огромной высоте их, непомерной длине их, чрезвычайной ширине их, о блистательных стенах, занимательных сценах. Это все, отвлекая зрение, ослабляет рвение молящихся и напоминает мне ветхозаветный обряд иудеев. Впрочем, пусть! Лишь бы совершалось сие во славу Божию» (История эстетики, I, стр. 281).

«Да и одно – у белоризцев, другое – у черноризцев. Ведаем мы, что епископы, пекущиеся и об умных, и о неразумных, вызывают благоговение в плотском человеке посредством красоты телесной, коль скоро не могут достичь того посредством красоты небесной. Но мы, ушедшие от людей, ради Христа покинувшие все в мире манящее и все блестящее, для ока светлое, для слуха милое, все ароматное, сладкоприятное, на ощупь нежное, – все наслаждения плоти отринули мы, как грязь, чтобы достигнуть Христа. ...Или, быть может, смешавшись с язычниками, научились мы делам их и продолжаем служить божествам их?» Стр. 281.

(Эта боязнь язычества, существовавшая в недрах католицизма задолго до реформации, позволяет понять, что протестантство с его иконоборчеством не извне явилось, а внутри церкви возникло, что религиозное мирозерцание всегда более-менее явственно тяготеет к отсутствию видимого образа, вспомогательных, эстетических средств и периодически ополчается на собственный чин и порядок во имя поддержания его в неизменности в развращающем окружении мира.)

«Изображают святого или святую как можно краше и считают их святыми тем более, чем более положено красок. ...И больше удивляются красоте, чем поклоняются чистоте». Стр. 282.

«Вместо паникадил высятся пред глазами нашими какие-то деревья, созданные дивным искусством художника из тяжелой меди... Чего, по-твоему, добиваются всем этим? Сокрушения ли при покаянии или удивления при созерцании? О суета сует, столь же суетная, сколь безумная! ...Найдут там потеху любопытные, но не найдут утеху несчастные». Стр. 282.

«Согласен, будем даже это терпеть в церкви, ибо, хоть и есть тут вред для алчных и жадных, но нет его для простодушных и набожных. Но для чего же в монастырях, перед взорами читающих братьев, эта смехотворная диковинность, эти странно-безобразные образы, эти образы безобразного? К чему тут грязные обезьяны? К чему дикие львы? К чему чудовищные кентавры? К чему полулюди? К чему пятнистые тигры? К чему воины, в поединке разящие? К чему охотники трубящие? Здесь под одной головой видишь много тел, там, наоборот, на одном теле – много голов. Здесь, глядишь, у четвероногого хвост змеи, там у рыбы – голова четвероногого. Здесь зверь – спереди конь, а сзади – половина козы, там – рогатое животное являет с тыла вид коня.

Столь велика, в конце концов, столь удивительна повсюду пестрота самых различных образов, что люди предпочтут читать по мрамору, чем по книге, и целый день разглядывать их, поражаясь, а не размышлять о законе божьем, поучаясь. О господи! – если они не стыдятся своей глупости, то ужели о расходах не сокрушатся?» Стр. 282–283.

Забавен этот рационализм, проводимый именем аскетической чистоты, этот негодующий возглас крайнего мистика: – так не бывает!

Нетерпимость Бернарда Клервосского довольно неглубока, и на нее найдется управа в той же системе мышления – особенно у Дионисия Ареопагита, которого за длиннотой я отложу до другого раза. Помечу только, что негативному полюсу в эстетике средневековья можно противопоставить – описание константинопольской Софии у *Прокотия Кесарийского* (Византия, VI в.) – «О постройках»:

«59. Кто исчислил бы великолепие колонн и мраморов, которыми украшен храм? Можно было бы подумать, что находишься на роскошном лугу, покрытом цветами. 60. В самом деле, как не удивляться то пурпурному их цвету, то изумрудному; одни показывают багряный цвет, у других, как солнце, сияет белый; а некоторые из них, сразу являясь разноцветными, показывают различные окраски, как будто бы природа была их художником. 61. И всякий раз, как кто-нибудь входит в этот храм, чтобы молиться, он сразу понимает, что не человеческим могуществом или искусством, но божьим соизволением завершено такое дело;

его разум, устремляясь к богу, витает в небесах, полагая, что он находится недалеко и что он пребывает там, где он сам выбрал. 62. И это случается не только с тем, кто в первый раз увидел этот храм, но такое впечатление возникает постоянно у каждого, как будто с этого начинается у всякого его обозрение. 63. Никого никогда не охватывало пресыщение от этого созерцания, но находящиеся в храме люди радуются тому, что они видят, а уходя – восхваляют его в своих беседах». Стр. 332–333. <...>

Помимо положительного полюса в густоте и в оценке прекрасного, этот отрывок интересен сравнением декорации храма с небом и стремлением подчеркнуть нерукотворность художественных созданий.

Там же, кстати, одна деталь касается символики цветов, о которой так мало известно. Речь идет о статуе императрицы Феодоры: «Колонна – пурпурного цвета, и тем, даже прежде самого изображения, она явно показывает, что несет на себе статую императрицы». – Стр. 333 (по «Вестнику» – стр. 224).

Прекрасно это смысловое назначение цвета – «даже прежде самого изображения».

3 января.

Ай-я-яй, Машечка! Как же долго не приходят твои письма. Еще ни одного не было из написанных после свидания.

Чем больше оно от меня отдаляется, тем почему-то цельнее воспринимаю твой образ в эти золотые часы. И не отдельные фразы и темы, как было в первые дни, и не отдельные черты и слезинки, когда все перебиралось сызнова и обсуждалось сначала, и от этого получался ужасный шум в голове, а вся Машечка целиком, склоненная и колыбельная, мне теперь представляется и проникает в самую суть. И ты мне нравишься и очень подходишь. И еще я очень доволен, что ты согласна с моим взглядом на Примаченковых зверей. А Егор в «нашем сиятельстве» безумно похож на тебя, когда ты действительно чему-то рада. И я его, маленького, очень узнаю в этом виде.

Еще получил поздравление с Новым годом от Меньшутиных, а больше ни от кого.

И еще мне хочется знать, чувствуешь ли ты, как мне хочется тебе угодить?

Времени вовсе нет. И в конкретном смысле – когда даже Пушкин в забросе. И в более общем, что ли. Иногда мне кажется, что я слышу, как свистит оно, проносясь над нами. Кажется, земля быстрее вертится, и, не успев выскочить из одного дня, я уже попадаю в другой – и он мчится на белой скорости – длинный-длинный, пустой день.

Будь, пожалуйста, здорова и помни, как следует, что ты для меня значишь.

А.

4 января 1968 г.



Любуюсь на твою роскошную даму... – Я отправила А.С. фотографию табачно-папиросно-гильзовой рекламы, о которой писала: «Посылаю тебе забавную картинку – это старинная реклама, которую я сфотографировала в Историческом музее.

Какова красотка? По-моему, как раз по песенке:

По льду каталась дама,
Но скользок был каток,
Упала дама, показав
И ножку, и чулок!..
И кое-что еще, чему не учат в школе,
И кое-что еще, о чем сказать нельзя.

А ты бы видел цвет этой картинки! И как сверкает! Это – ярчайшая глянцевая олеография в красном платье и черных чулках небесного и телесного цвета.

Роскошная реклама? А цветы на шляпе? А зонтик? А усики?

Впрочем, это я загнула – усики на другой картинке, которую я тебе тоже когда-нибудь пришлю».

Картинка предназначалась для нашей статьи в «Декоративном искусстве»; дама, правда, не каталась по льду, а съезжала по перилам лестницы.

...на фильм «Пятнадцатилетний капитан»... – Фильм 1946 года (режиссер В. Журавлев).

Игорево же издание... – Альбом «Графика Пикассо» (М.: Искусство, 1967).

...я просил бы Лиду... – Лидию Меньшутину.

Наиболее важные пункты... – Кружочком А.С. обвел пункты 1, 3, 5, 6.

ПИСЬМО СОРОК ПЯТОЕ

А письма от тебя все еще не приходят, и мне поэтому одиноко и сиротливо живется. Особенно сейчас, когда вокруг Новый год и все каждый день получают много писем.

Вдобавок разные детские воспоминания в виде елки и звезды, которая, наверное, по всем правилам должна зажигаться сегодня вечером. Завтра воскресенье, и твоего письма я опять не получу. И еще узоры на окнах, тишина, полусвет лампы, хорошая книга на чистом, прибранном столе – все это в старой сказке.

Спасибо, снег немного рассеивает. Зима вернулась, и снег валит круглые сутки. И как-то усмиряешься, видя, как он идет себе и идет, невзирая ни на какие капризы. Ему и горюшка мало. Знает свое дело и сеет, и сеет, как манна небесная.

6 января.

Я тут узнал про зверей несколько любопытных историй.

Оказывается, бурундучок, когда у него, на зиму глядя, разоряют дупло с запасом орехов, – как только заметит пропажу, отыскивает вилку на дереве и вешается. То же делают белки. Для их самоубийства достаточно забрать половину запаса. Они все равно поймут, что на зиму не хватит, и выберут вилку. Украсть у другого и выкрутиться им не приходит в голову, а дожидаться голодной смерти они не видят смысла. Одного бурундучка разорители вынули из петли, и он, говорят, долго после этого жил в бараке. Интересно, раскаивался ли он в своем преждевременном решении?

У лебедей принято: если убивают одну, второй, высоко взлетев, складывает крылья и разбивается насмерть.

Однажды в Казахстан прибыл разъездной зверинец, и детишки, шутки ради, потихоньку открыли дверцу в клетке, где сидел

орел: пусть улетит. Тот первым делом взмыл ввысь и упал камнем. Оскорблен он был, что ли? Или решил воспользоваться моментом, пока не вернулась клетка (он же мог думать, что у нее свойство самопроизвольно возникать в любом уголке неба)? Или сразу понял, что не сумеет ему больше прожить и прокормиться естественным образом?

В другой раз голубь, удирая, пронесся у парня между ног, и тот, машинально сжав колени, поймал уже догонявшего ястреба. Зеки ему отрезали ножницами когти, обрубили кончик клюва и выпустили. Он взлетел повыше, сложил крылья и грохнулся.

Я спросил у одного знающего биолога, и он подтвердил эти случаи, сказав, что наука пока еще не может их объяснить. А до этого все чудеса из мира животных и птиц он объяснял с помощью Дарвина и размножения. А эти – не сумел.

8 января.

Очень я подавлен, сердит и обижен, что нет писем. Но – не на тебя. И все равно буду тебя любить и тебе писать. Вот послушай.

- Нам не хватает того, чтобы додуматься до настоящей точки.
- Корень зарыт в том, кому как повезет...
- Меня преследовала во сне одна знакомая гермафродитка.
- Раньше так не держались за жизнь, и было легче дышать.
- ...Но бывает – слетит тихий голубь, и я люблю ее, как никогда...

- Как вспомнишь, что есть нечего, так смех берет. (Воспоминания о блокаде.)

...И переулки такие длинные, что по ним идешь целую вечность. И в каждом окне горит своя лампа.

Моя голова гуляет по комнате. (Подошло бы к Шагалу.)

Умываясь, потрогал голову и вдруг удивился, до чего же она маленькая...

- Когда представишь все горе, причиненное тобою другим, сосредоточенным на себе, как если бы те, другие, его тебе причинили, и живо вообразишь свое пронзенное со всех концов, поваленное твоим же злом самолюбие, – тогда поймешь, что такое ад.

Он все писал о себе и собою, доставая из собственной – такой ничтожной – персоны, как фокусник из пустого цилиндра, то утку, а то ружье, изумляясь своей находчивости. (О Тютчеве.)

- Всё – в силе, – сказал он мне по секрету.
- Всё – в силе страсти, – добавил я и задохнулся.
- Трудно, Господи.
- А ты думал как?

9 января.

Делаю паузы, чтобы дать твоим письмам время прийти и потом на них ответить. Но все напрасно. А валенки ты мне хорошие купила. И я их все время ношу. Сейчас большие морозы. Доходит до 40°. Но валенки я еще ношу для того – даже когда тепло и подтаивает, – чтобы сэкономить сапоги. Громадное это дело – сапоги. Сколько надо, чтобы на них заработать. Прекрасно, что можно месяцами носить валенки.

Интересно: получаешь ли ты мои письма? Или так же мучаешься?

Сегодня смотрел в который раз альбомы Шагала и Клея. Очень они нежные. Периодически надо их смотреть, чтобы не зачерстветь. Как слышать вдруг по радио Моцарта.

Стояли и лаяли друг на друга, многократно варьируя слова «козел» и «кобель».

Также – крем для кожи, который ты мне прислала года полтора назад, – от цыпок. Цыпок нет. Но я им изредка мажусь – для запаха. Некоторые поблажки тоже себе иногда надо давать. Говорят, в Москве появился болгарский поморин особого типа. Называется «Мэри». Стоит им почистить, и боль в зубах тотчас проходит. Может быть, достанете?

Ничего себе Новый годик мне устроили. Была бы только ты здорова.

И Егор бы – здоров.

10 января.

В прошлом письме, Любимая Машенька, я упомянул о *Дионисии Ареопагите* – из того, что мне попадалось, наиболее глубокое и интересное в средневековых трактовках прекрасного. Хочу привести одну цитату из его сочинений – по той же книге: «История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли». Т. I. М., 1962.

Там же имеются комментарии, из которых явствует, что Дио-

нисия Ареопагита частенько называют у нас Псевдо-Дионисием, и вот почему:

Носителем идей античного платонизма и неоплатонизма были в средние века т.наз. «Ареопагитики» (первое дошедшее до нас указание о них относится к середине VI в.), приписываемые тому Дионисию, о котором говорится в «Деяниях»: он был среди тех, кто принял хр-во под влиянием речи Павла в афинском Ареопаге. На Руси «Ареопагитики» перевел на славянский язык митрополит Киприан, современник Андрея Рублева. Они были оч. популярны в Византии и Зап. Европе, где их известности способствовало предание, что Дионисий был проповедником в Галлии. Наибольшим успехом и влиянием пользовалось учение Дионисия о сверхчувственной красоте, «лучами» или «излучениями» которой являются все прочие виды прекрасного. В картинах Дантова «Рая» отразились влияния «световой метафизики» Дионисия. Итак, *Дионисий Ареопагит* (конец V – начало VI в.) «О Божественных именах»:

«IV, 7. Это благо воспевается святыми богословами как прекрасное и красота, как любовь и предмет любви и обозначается всеми прочими божественными именами, приличествующими благодатному облику, который творит прекрасное и вместе с тем сам прекрасен. Прекрасное же и красоту следует различать на основе причины, сливающей целое в единство. Различая во всем сущем причастность и причастное, мы называем прекрасным причастное красоте, а красотой – причастность той причине, которая создает прекрасное во всем прекрасном. (Замечательны эта бесконечная, иерархическая, ступенчатая удаленность главного источника красоты и столь же бесконечное и постепенное его нисхождение на все предметы. – А.С.)

Пресущественно-прекрасное называется красотой потому, что от него сообщается всему сущему его собственная, отличительная для каждого краса, и оно есть причина слаженности и блеска во всем сущем; наподобие света источает оно во все предметы свои глубинные лучи, созидающие красоту, и как бы призывает к себе все сущее, отчего и именуется красотой, и все во всем собирает в себе. (Замечательна эта призывность прекрасного, его притягивающая, заманивающая, собирающая сила – по подобию

которой солнце удерживает вокруг себя планеты, а город – зéмли. – А.С.)

Прекрасное же, как всепрекрасное, есть вместе с тем сверхпрекрасное, всегда сущее, одинаково прекрасное, не возникшее и не уничтожающееся, не возрастающее и не убывающее, и не в одной части прекрасное, а в другой безобразное, и не когда-либо прекрасное и когда-либо не прекрасное, и не прекрасное лишь в отношении одного, а в отношении другого нет; и не здесь такое, а там иное, и не изящное для одного и уродливое для другого. В самом себе и в согласии с самим собою – оно всегда единообразно прекрасно, возвышенно излучая из себя глубинную красоту всего прекрасного.

Ведь в простой и сверхприродной природе всего прекрасного существует всяческая красота и всяческое прекрасное – единообразно, в соответствии с причиной своей. Благодаря этому прекрасному все сущее оказывается прекрасным, каждая вещь в свою меру; и, благодаря этому прекрасному, существует согласие, дружба, общение между всем; и в этом прекрасном все объединяется.

Прекрасное есть начало всего как действующая причина, приводящая целое в движение, объемлющая все эросом своей красоты. И, в качестве причины конечной, оно есть предел всего и предмет любви (ибо все возникает ради прекрасного). Оно есть и причина-образец, ибо сообразно с ним все получает определенность. Вот почему прекрасное и благое одно и то же, ибо все по одной и той же причине стремится и к прекрасному, и к благому. Осмелюсь даже сказать, что даже несуществующее причастно прекрасному и благому, ибо прекрасное и благое в боге едины тогда, когда воспеваются в отрешении от всего, – это единое благое и прекрасное единственно есть причина разнообразных прекрасных и благих вещей». Стр. 334–335. (Впервые научный перевод на русск. яз.)

Вот на этом уровне созерцания снимаются неизбежные противоречия между красотой и нравственной пользой, искусством и религией, и Бернарду Клервосскому здесь уже нечего делать. Ибо этика, богословие, космология и т.д. переложены Дионисием на эстетический язык целиком, который объемлет миротворение полностью. Чистая эстетика, не отстранившаяся от действитель-

ности, но вобравшая ее без остатка. Верховная красота оказывается и первопричиной слаженности, т.е. строительным, созидающим принципом, и вечным двигателем вселенной. Различение же степеней красоты, вплоть до сверхпрекрасного источника, – позволяло искусству без конца тянуться к несказанному идеалу, благодарно им светясь и радуясь. И удивительно, что все на свете, в этой трактовке, в свою меру прекрасно, так что не прекрасного вообще нет и самый признак бытия, сущего состоит в том, чтобы быть прекрасным. Зло поэтому характеризуется только лишенностью признака, оно не существует и обозначается черным цветом.

От Дионисия тянутся нити к Плотину и вперед – к *Ульфриху Страсбургскому* (XIII в.), о котором когда-нибудь потом. Но его лучезарная теория достигает аж до языческого поклонения Солнцу как наглядному и символическому источнику верховного света.

15 января.

Вот как ужасно долго – до этого места – не имел я твоих писем, и чуть не спятил от грусти, и писал тебе про все на свете – лишь бы до них дотянуть. И дотянул, и вознагражден, и вчера к вечеру пришло их три штучки (первое № 67 – от 28 декабря, третье № 70).

Ну и ну! Даже рассказы, как вы болеете, воспринимаю с дурацкой радостью, что вы живы (чуть не сказал – и здоровы), мои любимые и ненаглядные детики, не говоря уже про восторг от возможности видеть Машечкину интонацию, почерк, круглую Егоркину рожицу с мячиком над ней и прочие ваши бесценные свойства. Даже как-то ошеломлен от обилия впечатлений и не перестаю на них откликаться и улыбаться. И что из рук не выпускаешь, и окраина понравилась, и рыбы в ванне* (к которым, как типичный случай, отношу и нежности с Минькой). И Егор очень умненькое письмецо сочинил, и я очень смеялся и радовался над ответработой*.

А твой предновогодний № 69 пока еще до меня не дошел.

Господи, какие вы хорошие, пушистые, и как мне хорошо от вас. Не болейте вы только, очень прошу.

16 января.

Часто думаю, как я встречу с Егором, когда ты его ко мне привезешь, и как я ему сумею понравиться. Хотя, конечно, рассуждая логически, эта встреча больше нужна мне, чем ему в таком еще бессознательном возрасте, и он все равно ничего не запомнит, тем не менее я как-то побаиваюсь разочаровать его своим видом. На картинке я представительнее. Очень это плохо и грустно, когда отец совсем не всесильный и всезнающий, и вдруг оказывается, что в действительности он «ничего особенного» и возбуждает нашу жалость своей неспособностью нам помочь, своей нищенской обыденностью.

Поэтому даже мое одеяние на этот случай меня несколько смущает, как в этом ни странно признаться, потому что во всех иных ситуациях я чувствую в нем себя превосходно и мог бы авторитетно встретиться с каким угодно Леонардо да Винчи, а вот с маленьким мальчиком, для которого, я же знаю, я самый яркий и самый первый, – не вышло б слишком тускло.

Если б Егорушка был постарше – лет на десять, – я бы даже в порядке экзамена на тему отца желал ему посмотреть на такое и самому разобраться в загадке человеческого тряпья и попытаться за видимостью разглядеть нечто более капитальное. Но для трехлетки это провал.

Не подумай, что я хочу уклониться от встречи с Егором. Мне это надо – а ему? – жаль, что ему я даже подарок не в силах сделать, чтобы «отец» получился красивее.

Между прочим (вне всякой связи), здесь почему-то принято дарить друг другу открытки с проникновенными надписями. На Новый год, например, я получил открытку с изображением розы и такими словами – от человека, притом, мне не очень близкого, но, должно быть, форма обязывала:

Чрез много, много лет оно
Напомнит Вам о прежнем друге:
«Его уж нету в Вашем круге,
Но сердце здесь погребено!»

Это напоминает обычаи гимназисток. И еще отсюда понятно, что «оно» употребляется не только для рифмы, но и в качестве проявлений возвышенного слога.

А помнишь милую песню о девушке в синем берете («Ах, не может, не может любить...»)? Так вот, в ней к финалу есть еще один куплет, мне ранее неизвестный:

Мы с тобой – два экспресса ночных –
Повстречались в поле гудками
И в ночной тишине разошлись,
На секунду блеснув огоньками.

Очень поэтично.

17 января.

Когда иду на вторую смену, на разводе уже светло, и, значит, мы перевалили уже за половину этой зимы. В этом году зима почему-то мне так приятна и сладостна, как мало когда бывало, и все не может надоесть и наскучить, точно вчера началась. Ее выверты, правда, то в сторону крепчайших морозов, то почти в дождь, – утомительны. Но стоит установиться прочному санному пути и достатку, так хоть круглый год живи под ее снежным осязанием.

Вчера у меня изъяли все рукописные материалы, включая конспекты по Пушкину и древнерусскому искусству. В особенности жаль Пушкина – я только-только собирался им вновь заняться, и вот пожалуйста...

Просто не представляю, чем мне заниматься теперь и о чем тебе писать уже в следующем письме: о нашем быте рассказывать? – скучно, да я и привык уже думать об искусстве с литературой и полагал, что это во всех отношениях полезнее.

Получил сегодня твое письмо № 71 и открыточку с милым Левшой*, а все же на надписях режет глаз отсутствие «ъ», и не мог Левша и всякий при нем представить слово без этого знака.

А картинки эти были уже напечатаны где-то вроде «Огонька», и как-то год-полгода назад, подойдя однажды к тумбочке, накрытой для красоты картинкой, я удивился его прогрессу и успеху, но забыл тебе об этом сказать. А недавно в «Литературной России», кажется, был опять портрет Галилея Брехта* на сей раз в роли есенинского Хлопуши, и очень хвалят в статье, а портрет опять непохожий, и я опять удивился успеху.

А о брачной карьере Мини* (у которого, кстати, двое детей) я даже стесняюсь рассказывать, настолько все это в дурном тоне. Представляю, как ты кипела по части Босха, и слышу, и улыбаюсь, да у тебя на лице написано, кого невзлюбишь, так что твоя антипатия к неожиданному жениху всем очевидна и повлечет к тебе охлаждение его прозелитов, – ну и чорт с ними! Так им и надо! и на всякий чих не наздравствуешься, и все равно ты его не приваживай, потому что знаю-знаю эту кусочную манеру, и, доколе вы не поссоритесь с невестой, жених все будет лезть на глаза и чего-нибудь хотеть и выпрашивать. Доказывать же влюбленной женщине, что ее выбор неудачен, хуже, чем ее обругать непотребными словами, и, чтобы тебе не ответили руганью, поменьше доказывай и держись спокойно подальше, а я с тобой целиком согласен, что тут корысть, пускай бессознательная или настолько врожденная, что расчет становится частью души и признает себя за любовь, ну да я не сторонник улаживать чужое счастье, которое от посторонних помощников только расстраивается, а нам с тобой своего хватает.

Очень я тебя люблю и целую.

А.

18 января 1968.

P.S. У меня остался кусочек времени, и я хочу кое-что тебе добавить и немножко объяснить. Во-первых, в постскриптуме можно нам незаметно поцеловаться еще раз, и даже удобнее это делать, и я пользуюсь возможностью.

Во-вторых, последнее время меня ужасно тянет тебя наградить и чем только можно порадовать, и вот опять подсовываю тебе листочек, чтобы ты, держа в руках, бери и помни.

Только никак не пойму, почему даты на штемпелях так расходятся с датами писем – на 4–5 дней, – или они у тебя валяются и ты забываешь их опускать? И почему ты не вышлешь книги? – тоже не понимаю.

Зато я теперь понял, прочтя, как ты сидишь без моего еще прошлогоднего письма, – что во всем виноват Новый год, откуда с почтой и получилась закупорка, от которой и я пострадал, как видно из мрачности письма на первых страницах.

Потому я это письмо отправляю на день раньше: 21-го выход-

ной, и оно может залежаться, а ты в этом месяце, чувствую, и так хлебнула горя с письмами.

А когда поедешь на свидание, папирос не привози, разве что пачки три «Лайнера» или «Любительских», а других не надо. А сигарет привози – немного, потому что неизвестно, разрешат ли их взять. Только не вздумай покупать с фильтром (из фильтровых одна «Ява» более-менее годится) – это выкинутые деньги, а для меня мука и кашель. Если сигарет нет в продаже – уж лучше привези табачку.

Еще я остался недоволен описанием руки Алимпия* и предлагаю твоему вниманию вот так:

Его рука, истонченная, чистая¹, сохраняет оттиск искусства, которому некогда была сопричастна. Будто грация иконописных созданий, лишенная изобразительной тяжести, – грация в отрешенном виде явлена нам² в руке Алимпия. Теперь она отделена от шедевров, ею написанных, пущенных в дело, забытых, потерянных, подхваченных всей историей русской иконы, вошедшей в мировое собрание по разряду высших сокровищ; тем не менее она отдаленно соотносится с ними со всеми подобно тому, как дивно, таинственно зимний узор на оконном стекле соединен с растительным царством, – трудно сказать уже, кто из них автор и где его произведения. Рука первого живописца...

А скоро наш 23-й день*, и пойдет год четырнадцатый.

И я – тебя – всегда.

18/1-68.



...и окраина понравилась, и рыбы в ванне... – Я описывала А.С. дружеские истории: «Картинка же из сегодняшнего письма отражает действительные события Голомшточей жизни, когда он развел в ванне рыб и ни за что не желал их есть.

Я ему говорю:

– Голомшточек! Давайте зажарим карпов!

А он сердился:

¹ Вариант: потемневшая, высохшая (хуже).

² Вариант: запечатлелась.

– Я же вам, Розанова, не предлагаю зажарить Оську или Анфису?

Так бедной Нине больше месяца негде было мыться, ибо эти карпы заполнили всю ванну».

...радовался над ответработой. – Это из Егоровой формулы про А.С. – «папа далеко-далеко, в маленьком домике на ответственной работе».

...открыточку с мылым Левшой... – «Советский художник» выпустил серию открыток с иллюстрациями Аркадия Тюринна к лесковскому «Левше». Когда-то Тюрин показывал эту работу А.С.

...портрет Галилея Брехта... – Это про В.Высоцкого.

А о брачной карьере Мини... – Один из солагерников А.С., вошедший в нашу компанию.

...недоволен описанием руки Алимпия... – Это поправки в нашу статью для «Декоративного искусства» про Киев.

...наш 23-й день... – 23 января 1955 года началась наша общая жизнь.



ГОЛОМ ШТОК КУПАЕТ
РЫБ

ПИСЬМО СОРОК ШЕСТОЕ

Получаю твои нежные, доверчивые письма и очень тебя ответно соблазняю и обольщаю. Согрелся. А то еще ко всему вокруг ужасно затянулись морозы – вероятно, затем, чтобы зима потеряла свою красу и мы бы не жалели ее поскорей спровадить. Январь получился уж больно грозен, как я погляжу. Хорошо, дровишки имеются, и в помещении тепло. А так даже сквозь ватные брюки – морозит, и я не припомню холодов такой продолжительности.

Тебя люблю. Из чистого кокетства согласен, чтобы ты на свидание приехала, слегка надушившись. Или можешь с собой привезти каплю, и мы тебя сами намажем.

Еще я очень рад, что вы снова подружились с Егорычем и ведете с ним умные разговоры. А это правильно, что папа по имени не существует, в крайнем случае – по имени-отчеству. И мило про крокодила. Да понимает ли он, кто такой и каков из себя крокодил??

Про «Аксионер-Лядку»*, это верно, я не ответил, хотя ее получил в полном виде. Просто к слову не пришлось, да и по рассказам раньше я ее уже представлял столь же великолепной, как она и оказалась в натуре. А на фотографии мне все-таки важнее видеть ваши личики.

Тартуские записки с Флоренским* при случае пришли. Приятно иметь под рукой и думать в родном направлении. Поэтому и Эрнста-Теодора-Амадея сделай когда-нибудь. Твое тогдашнее – неужели у вас нет? – наивно. Книги встречаются, но самым случайным образом и профилем, без системы. Мне, например, месяца через два понадобится одна цитата из «Ревизора», а я не уверен, что сумею достать. Скорее всего достану, а все же не уверен. А ты Гофмана захотела.

Еще хорошо бы ты не забыла захватить на свидание немножко пирамидону. И тебе может понадобится, и мне. За меня опять крепко взялись мои зубы, и не хочется тратить на них те редкостные мгновения. А зубы болят подряд, поочередно и группами. Я тут уж совсем собрался вырвать один зуб, но только поплыл записаться, он тотчас прошел и передал свою злость другому, с противоположной стороны. Я и рукой махнул: все зубы не выдергаешь. Конечно, нервная психология в моих зубах тоже виновата, но когда среди ночи вдруг, нормально заснув, просыпаться от сильнейшей боли, – не одна, знать, здесь психология замешалась. Поэтому еще раз при возможности спроси – «Мэри».

Еще захвати ножницы и зеркальце, чтобы мне подстричь бороду.

Пишу это, а может – зря и напрасно стараюсь: теперь наши письма так долго ходят, что неизвестно, когда ты мое получишь. Может, уже поздно будет...

С Примаченкой не расстраивайся. Это не ты дура, а обстановка такая трудная, не располагающая к научным занятиям, для которых нужен покой и систематичность изо дня в день. Если б мы были вместе, все бы текло нормально, и когда-нибудь потечет. А пока сколоти как-нибудь, стараясь больше разматывать одну-две идеи, которые у тебя есть и которых вполне хватит.

Главное – не скакать, а разматывать.

23 января.

Всю ночь мне сегодня снились собаки – в образе Осички, с которым я очень дружил, а он ловил мышей и мне подмигивал. И мы с ним, кажется, даже объяснялись на его родном языке. И поэтому у меня с утра началось ласковое настроение, и я думал, что день должен пройти неплохо. И под видом Осички, мне казалось, была выведена ты.

К вечеру эта программа хорошо прояснилась: я получил очередное письмо – № 75 – от тебя плюс от Егора № 76 и бандероль с книгой о молодом Достоевском* от Лиды. Вот как повезло.

На фотографии Егорыч и впрямь смахивает на Дэдика*, в котором, правда, больше проглядывала лисья морда. А очки ему решили носить все-таки для косоглазия?

А переход его глаз (из прошлого письма) в некую рыжеватость

не так уж меня смущает: во-первых, не будет настолько красивым, чтобы его мучили женщины; во-вторых, от мамы ему хватает и лба, и носа, и прочих прелестей.

Еще я целую твой почечуй в отдельности и хочу, чтобы он не болел. Но что такое «гамамелис»*, я трагически забыл, представляешь, забыл и никак не могу вспомнить. Вот она, деградация памяти, о которой я рассказывал. Хорошо еще, твердо помню – гамма-глобулин, и сильно на него надеюсь по части крокодильской немочи*.

Интересно ты рассказываешь про его туфельки. И я рад за него, и очень мне нравится такая обстоятельность. А с елки рвать игрушки все равно воспрещается, и надо ждать, пока одни из них вырастут в подарок, и млеть от одного загляденья и предвкушенья.

Пират тоже нравится, но меньше.

А Лидочкина книжка в самый раз угодила: если этот роман и не так уж хорош – ничего – его можно подарить. Благодарю ее заботливую головушку.

А я тебя слышу. И я все помню и все понимаю.

25 января.

Позволь, Машенька, написать несколько выдержек из книги о Пауле Клее, о которой я как-то уже упоминал. Они могут иметь для тебя искусствоведческое значение.

О его картинах говорится, что «они особые, как будто созданы на другой планете. Они совершенны в себе... и, сверх того, они проникают в сферы, которые до сих пор были закрыты для живописи – в музыку, поэзию и даже в философию». Но он «никогда не начинал с поэтической идеи: он достигал поэтичности и делал это при помощи своего особого искусства». «Им восхищались за его романтику и юмор. Бесспорно, в течение всей жизни Клее проявлял сильно отмеченную романтикой склонность к сатире и игривым контрастам, равно как и философское чувство юмора».

«Величие Клее – в энергии, с которой он достигал последовательности в своих художественных проектах, поднимаясь от одного замысла к другому и в конце суммируя результаты. Обозревая его работы, мы находим, что он был автором примерно

тридцати таких проектов. Их можно было бы определить научным термином «schemata» («схемы»). Смысл этого термина пояснит следующий пример. То, что первоначально было схемой шахматной доски, составленной из цветных квадратов и прямоугольников, после 1923 г. становится куском архитектуры, цветущим деревом или порталом мечети. Но в каждом данном случае это не было желанием представить архитектуру, дерево или мечеть, которое привело к форме картины, а, напротив, элементы формы – квадраты, прямоугольники и т.д. – создают образы. Фактически эта схема шахматной доски содержит определенную аналогию с 12-титональной системой Шенберга, и в обоих случаях можно было бы говорить о «*магических квадратах*». Но если Шенберг, хотя и допуская вариации, оставался долгое время верным своей схеме, то Клее переходил к новым схемам, например к фразам фуги, к полупрозрачным полосам цвета, пересекающимся под прямыми углами, с графическими элементами или без них, и т.д.

Оставаясь верным самому себе, Клее был, вероятно, самым богатым метаморфозами современным художником, хотя изменения в его формальных образах были менее крутыми, чем у Пикассо, поскольку все они связаны с центром, с его основной концепцией.

Эта концепция может быть определена следующим образом. Основная цель искусства не *изображать видимое*, а скорее *создавать видимое*. Сезанн еще заботился о предмете и пространстве; кубизм старался изобразить три измерения на плоской поверхности. Клее стремится изобразить также и *невидимое*: он прицеливается к «*тотальному*» выражению. Прежде всего, он расширяет свой объект, включая его внутреннюю сущность: он его открывает, показывает его поперечное сечение, он описывает его функции. Таким образом, он одновременно является анатомом и физиологом. Но он здесь не останавливается: он стремится показать объект в его связи с землей и вселенной. Он чертит его пути и раскрывает его единство с космосом, он вступает в борьбу как с его статикой, так и с динамикой. Стоять и лететь! Но «*все перспективы пересекаются в глазу*». Картины Клее отличаются от оптического образа предмета, но не противоречат ему с точки зрения всей суммы целиком (тотальности). Задолго до немецкого философа Мартина Хайдеггера Клее изобрел «*четверку*»: я, ты, земля и космос.

...Он считал неправильным начинать с форм, которые явля-

ются конечными продуктами земли; он начинает с первичных форм, а продолжает, как природа, генетически...

Формы Клее развиваются спонтанно, но не произвольно; как живые существа, они должны быть приведены в созвучие с сущностью реальности так, что они, так сказать, отвечают реальности. Вместе с Гете он думает, что «неизвестный закон в объекте соответствует неизвестному закону в субъекте». Таким образом, инстинкт и рука художника следуют законам, общим для природы и для искусства. Согласно взглядам Клее, контраст между предметным и беспредметным искусством неуместен – он касается лишь объекта.

Клее никогда не абстрактен, даже в своих беспредметных, или, как он предпочитал называть их, «абсолютных», картинах. Но он также не «предметен». Какие бы намеки на предметы мы ни находили в его работах, они возникают путем ассоциации, вызванной спонтанно, начинающейся от «четверки» созидательного искусства. «Ибо высокоорганизованная структура, при помощи крупницы воображения, может быть сравнима с известными структурами природы». Клее принимает ассоциативный намек и, закончив произведение, отождествляет его с объектом... Но это не означает возвращения к природе. Художник сам природа и исполняет свою роль внутри нее» (Will Grohmann. Paul Klee. N. Y., 1955).

Записал это не потому, что уж очень хорошо, скорее бледно, но немножечко любопытно, и очень мало нам известно о Клее. Самообразование, жалость, главным образом жалость, не могу, когда пропадает.

27 января.

Огорчает непроизводительность жизни, вылетающей дымом в трубу, лишь на один процент осаждаясь теплым чувством к тому, что можно назвать непрофессиональностью, неумением превращаться в занятие мыслящих и пишущих дядей, имеющих опыт и стаж, к сохранению дара в виде слабости или ребячества, отрочества, не поднявшего глаз с земли, с застенчивого детства, кончающего жить, как начали, на нижней ступени, без титула, вне значений, из художников в сапожники, не научившихся тачать сапоги, с растерянной, виноватой улыбкой бездействия, к бесформенности, на вопрос – кто ты и что? – отвечающей: никогда...

28 января.

Как продолжение Дионисия Ареопагита замечателен *Ульрих Страсбургский* (умер 1277), ученик Альберта Великого, развивавший эстетику света, главенствующую в средневековой живописи.

Из Дионисия и Ульриха видно, что красота, по тогдашним понятиям, ни в коем случае не была субъективной категорией, рожденной вымыслом нашей психики, – как это получилось в теориях гуманистического толка, – но исключительно объективное, безусловное, абсолютное, сверхдействительное начало, в поле которого находится мир. Онтология прекрасного нигде так ясно не выражена.

По той же книге: История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Т. I. М., 1962 – привожу одну цитату из трактата Ульриха Страсбургского «Сумма о благе»:

«Он, то есть бог, не только совершенно прекрасен в себе самом как предел красоты, но, кроме того, он есть причина действующая, причина-образец и причина конечная всей созданной красоты. Он есть действующая причина, подобно тому как солнечный свет, разливаясь и производя сияние и цвета, есть то, что создает всякую телесную красоту. Ведь так истинный и первый свет разливает вокруг себя всякий свет формы, который есть красота всех вещей.

Бог есть и причина-образец, ибо так же, как и свет телесный, он есть единая природа, которая, однако, вместе с тем есть все, что ни есть прекрасного во всех цветах, и эти цвета тем красивее, чем больше имеют в себе света, и различие их проистекает от различия поверхностей, воспринимающих свет, и чем больше свет и чем больше свет угасает, тем цвета становятся грубее и безобразнее. Так свет божественный есть единая природа, заключающая в себе равномерно и абсолютно всякую красоту, наличную во всех сотворенных формах, ибо различие проистекает от вещей воспринимающих их и благодаря им форма в большей или в меньшей степени удаляется в своем несходстве от первого умного света и помрачается; вот почему в ее различии не заключается красота форм, и красота эта порождается в едином умном свете, который есть всяческая форма, ибо всякая форма – умопостижима по природе своей, и чем чище имеет форма этот свет, тем она прекраснее и тем более подобна первому свету, становясь его образом или печатью подобия, а чем больше удаляется она от этой природы, становясь материальной, тем менее имеет красоты и тем менее сходна с первым светом.

Бог есть также конечная причина, ибо форма составляет предмет желания, совершенствуемого в той мере, в какой она есть совершенство, и эта природа совершенства в форме есть не что иное, как подобие несотворенного света, каковое подобие есть красота вещей. Ясно, что форма есть предмет желания и цель не только в той мере, в какой она есть благо, но и в той мере, в какой она есть прекрасное». Стр. 294.

Позднее постараюсь дополнить Ульриха Теофилом (XII в.) и полезными комментариями на эту тему академика Лазарева.

29 января.

...И каждый день были такие облака и закаты, как будто хотели нас уведомить, что красота невыразима.

А снег еще тем приятен, что падает совершенно бесшумно. Как свет.

– Не все ли равно, через какой костер уйти, если дверь открыта?..

Чем больше размышляю на тему речи, тем яснее, что слово писателя может быть каким угодно, любим: образность, точность, предметность, грамотность и самая художественность – необязательны. «Какой меткий эпитет!» – восхищение дилетанта. Абсолютность – единственный признак. Слово сказано – и оно абсолютно. Прости, если об этом я тебе уже писал.

30 января.

ТЬфу! тьфу! тьфу! (через левое плечо). Кажется, твои письма начали ходить более регулярно – дней за десять-двенадцать, – во всяком случае без тех ужасов, что приключились в начале января. Сперва, в качестве ласточки, прилетела твоя укушечная открытка*, за нею – ровно раз в день – как они и писались – два следующих укрупненных письма, из которых я узнал, что ты тоже мое получила и мной довольна и рада.

У нас с тобой – как у тех астрономических тел, что пока встретятся взглядами, сколько-то там лет утечет и они уже, может, совсем в другом положении и настроении находятся, и когда дойдет это письмо, что с нами станет?.. Но и на том спасибо, что успели обменяться родными взглядами и полюбить и запомнить.

И ты мне нравишься. И поэтому не смей на себя ругаться. Давай

лучше отметим некоторые твои достоинства, потому что про все все равно не успею сказать. Возьмем, например, красоту. Она как раз та, какая надо. Женщины, кокетничая, прикидываются детьми, в тебе же полно детскости самой натуральной. (А кокетничаешь в большую даму.) Мне иногда кажется, что вы с Егорычем ходите в одном возрасте. Во всяком случае, скоро начнете. И это очень приятно.

Или вспомним художественные способности в оформлении интерьера. Ничего лучше я не видал. Потому что твое отношение ментально отражается на содержании и образе комнаты, и все становится как конфетка (поэтому одно время я огорчился на твою забывчивость в этой области). А мемуары – еще, помнишь, в самом начале – от одного взгляда распускались цветы, и надо будет это когда-нибудь повторить, хотя, конечно, привычка меняет дело, но мы же достаточно стосковались друг по дружке, чтобы, когда свидимся, сложить вместе и все новое, и старое (очень хочется в дом, в дом). И мне почему-то кажется, что такого домашнего праздника совместной жизни, какой мы устроим, у нас еще не было. Но и было так хорошо, что я лучше не знаю и вокруг ни у кого не видал, и дураки, кто сомневается в нашей семье: у них такой нет.

И еще твои искусствоведческие заботы мне ужасно подходят – ты сказала, не будь педагогики – ты бы до них не дошла, ну что ж, согласен, а теперь-то ведь дошла, и искусствоведствуй потихонечку, не торопясь и без нервочек, потому как я тоже тут мысленно у тебя под боком и за ручку.

А насчет старости: усталость – правильно, а во всем прочем никаких бабушек, а только одни сплошные внучки, Красные Шапочки, птички и рыбки.

31 января.

А знаешь, почему еще я обрадовался, что кленовые листья тебе пришли? Потому что их рисунок проходит через тебя. Все как с Татьяной, и я не думал раньше, что любовь так свяжется. И вот оказалось на старости лет – все растет из морской царевны.

1 февраля.

А теперь я расскажу про Пушкина, но ты не пугайся, что вначале мертвецы: кончится-то все хорошо, а Пушкин гений и требует много чего – необычайного.

Сейчас трудно с ним, потому что конспектов у меня все еще нет, а из текстов только художественные здесь имеются. Без пушкинской переписки, статей, Вересаева* и всех предварительных набросков, даже фраз, – как я вытяну эту тему – ума не приложу.

Пока остается больше обычного фантазировать. Очевидно, фантастика в критике тоже возможна, хотя ее тоже нужно подбадривать реальным материалом.

«Уживчивого» Пушкина я согласен вычеркнуть, пусть останется только «терпимый».

Кстати, в птичьих картинках надо после Хлебникова – вместо: «В подобных гипотезах важен...», надо: «В этих гипотезах важен...» (потому что до этого уже была «подобная гипербола»).

Не странно ли, что у Пушкина столько места отводится непогрешенному телу, неприметно положенному где-то среди строк? Сперва этому случаю не придаешь значения: ну, умер и умер, с кем не бывало, какой автор не убивал героя? Но речь не об этом... В «Цыганах», например, к концу поэмы убили, похоронили двоих, и ничего особенного. Особенное начинается там, где мертвое тело смещается к центру произведения и переламывает сюжет своим ненатуральным вторжением, и вдруг оказывается, что, собственно, все действие протекает в присутствии трупа, который, как в «Пиковой даме», шастает по всей повести или лежит на протяжении всего «Бориса Годунова».

Гляжу: лежит зарезанный царевич...

И хотя его вроде бы похоронят, он будет так вот лежать по ходу пьесы («Мы видели их мертвые трупы», – скажут в апофеозе) – в виде частых упоминаний о теле убиенного отрока, бледным эхом которого откликается Лжедмитрий, тем и страшный царю Борису, что пока *этот* царевич растет, *тот* царевич лежит, и его образ двоится.

Из страхов Бориса видно, что его терзает сомнение, не уцелел ли законный наследник, давит тяжесть греха, тревожит успех самозванца, но помимо этого, рядом с этим действует главный страх, продирающий до костей в допущении, что ему, царю, – вопреки здравому смыслу радоваться такому безделью – противостоит мертвый царевич, пребывающий в затянувшемся зарезан-

ном состоянии, которое само по себе заключает опасность подтачивающей Борисову династию язвы. Именно в эту точку бьет умный Шуйский, уверяя и ужасая царя, что Димитрий мертв, да так мертв, что от его длительной, выставленной напоказ мертвизны становится нехорошо не одному Борису.

Три дня

Я труп его в соборе посещал,
Всем Угличем туда сопровождаемый.
Вокруг его тринадцать тел лежало,
Растрезанных народом, и по ним
Уж тление приметно проступало,
Но детский лик царевича был ясен
И свеж и тих...

Двусмысленное определение «спит» не возвращает умершего к жизни, но тормозит и гальванизирует труп в заданной позиции, наделенной способностью двигать и управлять событиями, выворачивая с корнями пласты исторического бытия. Оно вызвано к развитию алчным, нечистым томлением духа, рыщущего вблизи притягательного кадавра и спроваживающего следом за ним громадное царство – с лица земли в кратер могилы. Мощи царевича не знают успокоения. В них признаки смерти раздражены до жуткой, сверхъестественной свежести незаживляемого годами укуса, сочащегося кровью по капле, пока она наконец не хлынет изо рта и ушей упившегося Бориса и не затопит страну разливом смуты.

От мальчика, кровоточащего в Угличе, тянется след по сочинениям Пушкина – в первую очередь к воротам Марка Якубовича, у сына которого, после кончины незнакомого гостя, появился такой же симптом:

К Якубовичу калуер приходит, –
Посмотрел на ребенка и молвил:
«Сын твой болен опасною болезнью;
Посмотри на белую его шею:
Видишь ты кровавую ранку?
Это зуб вурдалака, поверь мне».
Вся деревня за старцем калуером

Отправилась тотчас на кладбище;
Там могилу прохожего разрыли,
Видят, – труп румяный и свежий, –
Ногти выросли, как вороны когти,
А лицо обросло бородою,
Алой кровью вымазаны губы, –
Полна крови глубокая могила.
Бедный Марко колом замахнулся,
Но мертвец завизжал и проворно
Из могилы в лес бегом пустился...

Теперь оглянемся: вон там валяется, и здесь, и здесь... Прохожий гость подкладывает подарки то в один дом, то в другой. Но – чудное дело – появление трупа вносит энергию в пушкинский текст, точно в жаркую печь подбросили охапку березовых дров. «Постой... при мертвом!.. что нам делать с ним?» – вопрошает Лаура Гуана, что, едва приехав, закалывает у ее постели соперника и, едва заколов, припадает к несколько ошарашенной такой переменной женщине. Как – что делать?! – пусть лежит, пусть присутствует: при мертвом все происходит куда быстрее, лихорадочнее, интереснее. При мертвом Гуан ласкает Лауру, при мертвом же затевает интригу с неприступной Доной Анной, которая – не будь тут гроба, – возможно, осталась бы незаинтригованной. Покойник у Пушкина служит если не всегда источником действия, то его катализатором, в соседстве с которым оно стремительно набирает силу и скорость. Так тело Ленского, сраженного другом, стимулирует процесс превращений, в ходе которого Онегин с Татьяной радикально поменялись ролями, да и вся динамика жизни на этой смерти много выигрывает.

Зарецкий бережно кладет
На сани труп оледенелый;
Домой везет он страшный клад.
Почуя мертвого, храпят
И бьются кони, пеной белой
Стальные мочат удила,
И полетели как стрела.

Трупы в пушкинских созданиях несут разнообразные функции. Но, рассуждая гипотетически, их главная цель – воплотить

вместилище неистощимого душевного вакуума, толкавшего автора по пути все новых и новых впечатлений и выполнявшего при гении место творческого негатива. Поэтому, в частности, его мертвецы совсем не призрачны, не замогильны, но до мерзости телесны, являя образ пустой оболочки, представлявшей материализацию того, кого в сущности – нет. Их действия выглядят автоматическими, заводными, словно у роботов.

И мужик окно захлопнул:
Гостя голого узнав,
Так и обмер: «Чтоб ты лопнул!»
Прошептал он, задрожав.

Ломая голову, кто таков в действительности назойливый гость, в стихотворении «Утопленник» петляющий вокруг мужика, можно подумать – это Писарев (безвременно утонувший) приходил стучаться к Пушкину с уговариванием вместо поэзии заняться чем-нибудь полезным. Однако факты говорят о другом. Утопленник, обреченный скитаться по свету «за могилой и крестом», ближе тому, кто целый век был одержим бесконечным скольжением («Долго ль мне гулять на свете, то в коляске, то верхом?..») и испытывал род тоски по необозримому пространству, которое нужно непременно объехать и описать («Вот уж он далеко скачет; лишь глаза во мгле горят...»), чем возбуждал у иных чутких натур необъяснимую гадливость. Писарев (заодно с Энгельгардтом) ужаснувшийся вопиющей пушкинской бессодержательности, голизне, пустоутробию, мотивировал свои по-детски непосредственные ощущения с помощью притянутых за уши учебников химии, физиологии и других разумных устройств. Но истинная причина писаревской неприязни коренилась в иррациональном испуге, который порою внушает Пушкин, как ни один поэт мира колеблющийся в читательском восприятии – от гиганта первой марки до полного ничтожества.

На детский вопрос, кто же все-таки периодически стучится «под окном и у ворот»? – правильное ответить: «Пушкин»...

Строя по Пушкину модель мироздания, подобно тому, как ее рисовали по Птоломею или по Кеплеру, – необходимо в середине земли предусмотреть этот вечный двигатель:

...Есть высокая гора,
В ней глубокая нора;
В той норе, во тьме печальной,
Гроб качается хрустальный...
И в хрустальном гробе том
Спит царевна вечным сном.

Все они – нетленный Димитрий, разбухший утопленник, красногубый вампир, качающаяся, как грузик, царевна, – несмотря на разность окраски, представляют вариации одной руководящей идеи – неиссякающего мертвеца, конденсированной смерти. Здесь проскальзывает что-то от собственной философской оглядки Пушкина, хотя она, как всегда, выливается в скромную, прописную мораль. Пушкинский лозунг «И пусть у гробового входа...» содержит не только по закону контраста всем приятное представление о жизненном круговороте, сулящем массу удовольствий, но и гибельное условие, при котором эта игра в кошки-мышки достигает величайшего артистизма. «Гробовой вход» (или «выход») принимает характер жерла, откуда (куда) с бешеной силой устремляется вихрь действительности, и чем ближе к нам, чем больше мрачный полюс небытия, тем мы неистовее, полноценнее и художественнее проводим эти часы, получившие титул: «Пир во время чумы».

Чума – причина пира, и фура, доверху груженная трупами, с черным негром на облучке, проезжая подле пирующих, лишь на минуту давит оргию, с тем чтобы та, притихнув, запольхала с удвоенной страстью (сравнение с топкой, куда подбрасывают дрова, – опять напрашивается). Потому-то вся обильная мертвечина в творчестве Пушкина не слишком страшна и даже обычно не привлекает наше внимание: впечатление перекрыто положительным результатом. Как поясняет Председатель, уныние необходимо, –

Чтобы мы потом к веселью обратились
Безумнее, как тот, кто от земли
Был отлучен каким-нибудь виденьем...

Пир во время чумы! – так вот пушкинская формулировка жизни, приготовленной в лучшем виде и увенчанной ее предсмертным цветением – поэзией. Ни одно произведение Пушкина не ис-

точает столько искусства, как эта крохотная мистерия, посвященная другому предмету, но, кажется, сотканная сплошь из флюида чистой художественности. Именно здесь, восседая на самом краю зачумленной ямы, поэт преисполнен высших потенций в полете фантазии, бросающейся от безумия к озарению. Ибо образ жизни в «Пире» экстатичен, вакханалия – вдохновенна. В преддверии уничтожения все силы инстинкта существования произвели этот подъем, ознаменованный творческой акцией, близкой молитвенному излитию. Слышно, как в небе открылась брешь и между ней и землею ходят токи воздуха, чему способствует в средневековых канонах выдержанная композиция сцены, разместившая души возлюбленных на небесах – Матильду и Джени, – вознесенных над преисподней, по обе стороны картины, в начале и в конце трагедии.

О, если б от очей ее бессмертных
 Скрыть это зрелище!.....

Святое чадо света! вижу
 Тебя я там, куда мой падший дух
 Не достигнет уже...

Да, падший. Да, не достигнет. Но взоры, звуки, лучи – оттуда и туда – пересеклись; и чудная воздушность мысли достигнута благодаря паденью, греху, позору, смерти; от них уже не откупиться тому, кто осудил себя – искусству.

На требовательную речь Священника оставить стезю разврата Председатель отвечает отказом. Внимание: его устами искусство говорит «прости» религии; представлен обширный перечень причин и признаков, удерживающих творчество на месте – в том самом виде и составе, в каком взрастил его, взлелеял, и бросил в яму с мертвецами, и исповедовал как веру (назвав искусством для искусства) иной беспутный Председатель.

Не могу, не должен
 Я за тобой идти: я здесь удержан
 Отчаяньем, воспоминаньем страшным,
 Сознанием беззаконья моего,

И ужасом той мертвой пустоты,
Которую в моем доме встречаю, –
И новостью сих бешеных веселий,
И благодатным ядом этой чаши,
И ласками (прости меня, Господь)
Погибшего, но милого создання...

Судя по Пушкину, искусство лепится к жизни страхом, страстью, смертью; безумием, беззаконьем. Оно само кругом беззаконье, спровоцированное пустотой мертвого дома, ходячего трупа. «Погибшее, но милое создание»...

Не поспекулимся на проклятья, тяготееющие над искусством: все они ему на здоровье (во вред спасению художника).

В утешенье же артисту, осужденному и погибшему, сошлемся на Михаила Пселла, средневекового схоласта: «Блестящие речи смыывают грязь с души и сообщают ей чистую и воздушную природу»¹.

4 февраля.

Уффф! Еле-еле успел расправиться с пушкинскими мертвецами и выйти из мрака, которым не хотелось заканчивать письмо к тебе, моя верная и светлая Маша. Но уже времени и места у меня совсем не осталось, и потому жутко тороплюсь кинуть в ящик. Сегодня воскресенье – первый весенний день, но я весь его писал это письмо, и даже голова болит.

Завтра пойду в первую смену: вот и высчитай, какая упадет на свиданье, про которое я пока ничего от тебя не знаю, но все равно жду и надеюсь. В данный момент – очереди нет и дают даже в тот день, когда приехали. И все по-старому.

Последнее письмо от тебя пришло № 80. Про елку я с тобой согласен*, только для ассоциаций нужны факты исторического и этнографического характера: с какого века, когда и как ее празднуют, и какие еще елки бывают на свете, и что такое Дед Мороз, и звезда, и хлопушки, и какие еще бывают конкретные елочные игры-украшения. Может быть, существуют популярные брошюры типа затейника-культурника-массовика-избача Бобы Бродского* на эту тему.

¹ А Эдмонда не покинет
Дженни даже в небесах!

Еще я перечитал то место письма, где пишу о твоих совершенно обожаемых качествах, и вижу, как бледно, и сухо, и мало я написал, и надо бы все это выразить совсем по-другому.

Когда-нибудь выражу. А пока – прими, что я люблю тебя всегда.

А.

4 февраля 1968.

Мыло мне сейчас посылать не надо: подарили кусок. И еще подарили носки, которых тоже не надо.



Про «Акционер-Лядку»... – Так назывался автомобиль, сделанный Петровым для детишек – Егорки и Машки-маленькой.

Тартуские записки с Флоренским... – П.А.Флоренский. Обратная перспектива / Вступ. статья А.А.Дорогова, Вяч. Вс. Иванова, Б.А.Успенского // Труды по знаковым системам. Вып. III. Тарту, 1967.

...с книгой о молодом Достоевском... – Д.Брегова. Дорога исканий: Молодость Достоевского: Роман. М.: Советский писатель, 1962.

...смаживает на Дэдике... – Как уже говорилось, Дэдик – это детское имя Синявского.

«Гамамелис» – гомеопатическая мазь, антисептик.

...по части крокодильской немочи... – Крокодил – одно из прозвищ маленького Егора.

...укушеточная открытка... – «Платов на досадной укушетке» – из иллюстраций А.Тюрина к «Левше».

Без... Вересаева... – Выписки из книги Вересаева «Пушкин в жизни», сделанные еще в Лефортовской тюрьме.

Про елку я с тобой согласен... – Из «Декоративного искусства» поступило предложение написать статью про Новый год, о чем я тут же сообщила А.С. Из моего письма: «И есть еще одна рококошная идея – это про праздники вообще, и про елку, и ее смысл и нарядность. Это опять про нашу елку, про нашу пихту, про нашу пальму, и мне кажется, что здесь ты меня поймешь и примешь, как с Киевом в конце концов понял».

...Бобы Бродского... – Речь идет об искусствовед Борисе Бродском.

ПИСЬМО СОРОК СЕДЬМОЕ

Утешили вы меня, дети, чудесным рассказом про то, как вы любите книжки с картинками и ходите по переулкам, взявшись за ручки. И представляю вас ужасно – чапающих вдвоем, оба большеголовые, на тоненьких ножках, в сапогах, вылитая копия. И вы – мои дети.

Из чего я заключаю, что Егорушка малость улучшился в своей температуре, но ты, Маша, ничего об этом не пишешь.

А книгу Егор ухватил правильно и похоже, и, умилившись этой похожестью, я едва слезу не пустил. И еще где «давай посмотрим». Достоинно удивления. Хорошо я вижу вас под этим зимним фонарем и люблю. По туфельному масштабу проходит.

А тут мне понравилась надпись на плече соседа: «Будь здоров и счастлив, сынок Вася!» Как-то к этому далекому Васе проникаешься. Хотя сейчас он, наверное, большой.

У нас опять морозы, а начиналась было весна, и даже кое-где показались шарики вербы. Впрочем, может, от теплопроводной земли, но все равно солнце среди дня горит огнем и странно, что вокруг холодно. И красивые восходы, очень розовые, а недавно я видел дым из трубы в форме цветка.

Очень трудно мне, Машенька, писать так далеко вперед и думать, что ты получишь это письмо где-то в начале марта, тогда как я еще живу в начале февраля и не знаю, когда ты приедешь и каким будет наше свидание. Но все равно, если мы уже повидались, ты знай, что ты прекрасна и приводишь меня в изумление и нет у меня ничего ближе и больше.

8 февраля.

Получил от тебя сразу письмо № 83 – с пропуском № 82 – и поэтому затрудняюсь понять, получила ли ты от меня второе ян-

варское. Встречное словцо «детинец» позволяет надеяться, что, может быть, получила, но как-то ненадежно надеяться, а большего не сказано, потому что, возможно, ты уже писала об этом, да я не получил. Вот и ломай голову.

Приглянулась цирковая картинка – широтой образной формулы, применимой куда хотите, и это правильно, когда нет притянутости к чему-то одному, что верно найдено, когда картинка существует «вообще» и кланяется нам сама по себе и гуляет свободно, а не ходит на поводке.

Такая же широта была в недавних «туземцах».

Почему-то последнее время вызывает у меня особенное, счастливое удивление освежающее качество сна, когда ложишься совсем оставленный нервной энергией и думаешь, что никогда не подымешься из такого упадка, а утром, глядь, вспрыгиваешь с непонятно где и почему запасенной радостью. Как хорошо, что все спят, что всем нам дано спать, и, наделав массу глупостей, мы можем нырнуть, закрыв глаза кожной пленкой, чтобы не захлебнулись, отчаливаем, отваливаем, и все звери тоже ныряют в тот океан, откуда все просыпаются новенькими детьми, отмытыми этим чудом спанья, ежесуточно воскрешающим нас, умыкающим, пробуждающим – в сон и обратно выплескивающим с ласковым напоминанием – пошел жить, опять жить.

10 февраля.

Не кажутся ли тебе мои письма скучными, потому что я часто принимаюсь толковать по поводу одного и того же, переливая из пустого в порожнее? Например – тот же сон. В оправдание замечу, что тут новинка не одна только скудость впечатлений и привязанность к ограниченному кругу предметов. Рассуждая немного шире, словесное пространство не должно быть ни статичным, ни движущейся в одном направлении лентой. Антиномичность иных понятий и символов – типа солнышка, острова, женщины и т.д. – ведет к тому, что они могут выступать многократно под разными соусами, добрыми и плохими, исключаящими и повторяющими друг друга и производящими вращение мысли, возвращение ее к старым загадкам, берущимся как бы усилием, приливом смысла, а затем отливом в бессилии разрешить с кондачка обратимые парадоксы, которые без такой обратимости станут

эффектом формы и только; и так по несколько раз вернемся, перевернем и задумаемся, и тогда, быть может, доступность обернется доверием, а тепло бока окажется у свиньи и в семье. В том же роль иронии, поворачивающей мир на оси, не дающей ему застыть с выпученными глазами однозначной, горластой безжизненности, но вносящей многомерность, таинственное мерцание в образ, уходящий в бесконечную даль и поворачивающий назад, снова и снова к своему началу, пока мы не догадаемся, что это не конструкция слов, а сама вселенная вращается и возвращается к себе и черпает силу жить дальше и дальше.

11 февраля.

Вот несколько высказываний современных художников, показавшихся мне любопытными. Все они относятся к 1956 г.

Филип Гэстон: «То, что видно и называется картиной, это то, что остается, – основание.

Даже если путешествуешь по картине к состоянию «несвободы», где могут происходить лишь (строго) определенные явления, необъяснимо должно проявиться неизвестное и свободное.

Обычно я долго работаю без перерыва, пока не наступит момент, когда атмосфера произвольного исчезает и краски раскладываются в позиции, которые чувствуются для них предназначенными. ...

Живопись кажется невозможностью, с признаком собственно света, появляющимся время от времени.

... ...Живописать – это скорее обладать, чем изображать».

Стр. 36.

Сеймур Липтон (скульптор): «С детства мой взгляд приковывали странные предметы. Такие, как витрины лавок металлических изделий с незнакомой утварью, шишковатые корни, пробивающиеся сквозь скалы, примитивные музыкальные инструменты и многое другое – привлекали меня странными ассоциациями формы, обладающие силой катализатора, исходящей из двусмысленного, но явственно ощущаемого природного источника, зачастую с двойными значениями и ощущениями, обступали меня. Эта игра двойных значений в скульптуре есть практическая метафора в действии. Меня интересует разновидность метафоры, оставляющая опыт открытым. Полное познание, закрытие опыта всегда

означало бы для меня упадок. Метафоры с различными намеками, тяготеющие в разные стороны, держат опыт открытым. Очевидно, внутреннее побуждение заставляло меня искать построения, указывающие «процесс» как никогда не кончающуюся тайну, никогда не закрывающийся опыт». Стр. 72.

Абрам Лассо: «Долгое время главным стимулом моего развития было глубокое желание постичь природу реальности. Мы можем рассуждать о реальности, можем измерять и анализировать ее. Однако интуиция и инстинкт – прямая, полученная из первых рук способность схватывать опыт – оказались для моей работы более плодотворным путем. Когда же я подпадаю влиянию идеи, глаза мои больше не видят, уши не слышат. Реальность скрыта в тумане.

Целый день я наблюдаю Природу; людей, гуляющих по улице, движение веток на ветру, узоры неоновых вывесок и автомобильных фар в дождливую ночь; изумительные трещины на тротуарах и, в равной степени, направление моих собственных ощущений; весь комплекс «внешней» и «внутренней» реальности.

Природа не является чем-то противоположным нам или отличным от нас. Человек – это часть органического целого Природы. Никогда не стоит вопрос о покорении Природы, но существует вопрос о нахождении своего места и функции в создании мира, которое совершается постоянно, о нахождении музыки, которая вечно звучит перед нами и внутри нас.

Экхарт говорит: «Чтобы найти Природу, надо разрушить все ее подобия». Всегда приходится удалять маски, которые мы сами надеваем на лицо реальности. Мы должны научиться видеть природу во всей ее наготе, без единого прикрывающего слова. ...

Когда я свариваю скульптуру, никакие сознательные идеи не вторгаются в мою работу. Я вижу только совершающуюся предомной реальность. Красная медь, ржавое железо, разъеденная зеленая бронза, сияющее золото, свинец, хром, серебро и все цвета минералов и драгоценных камней играют тогда свою роль. ...

В особенности я интересуюсь развитием пространства, вовлекая соотношения большей и меньшей плотности концентрации – утолщение и утончение пространства.

Цвет – неотъемлемая часть моей скульптуры. Период одноцветной скульптуры, идея позднего Ренессанса, подходит к кон-

цу. Никогда больше, насколько мне известно, не было в истории искусства скульптуры, которую бы не раскрашивали или не украшали бы цветной инкрустацией. Примерно через двадцать пять лет будет редкостью увидеть одноцветную скульптуру современного художника». Стр. 64–65.

(Цит. по кн. «12 Americans» (изд. Музея Современного Искусства) Н. Х., 1956.)

Третий автор, пожалуй, наиболее глубок и лиричен в своей программе. А по картинкам мне из них больше других понравился Липтон с ироничными рвано-округло-полыми конструкциями, похожими на скорлупу орехов и капустные кочаны. У него ошущима извечная связь метафоры с метаморфозой.

Ведь метафора скорее всего – недоношенная метаморфоза.

12 февраля.

Пришло твое письмо, и, к моему удивлению, оказалось № 82. Вот это да: семнадцать дней про то, как Егорышу капают в глаза атропин, а он кобенится. Куда идет время!

И ничего нет, получила ты мое письмо или нет. Но тогда откуда «детинец», неужели мы с тобой до такой степени совпадаем? Знаю, что совпадаем, – но не настолько же, так не бывает.

И еще очень видно в письме, как ты устала, изнервничалась, и пора тебе отдохнуть хоть немножко под моей рукой.

13 февраля.

Интересные вещи рассказывают о птичках. Один наблюдал такую сцену. Большая толпа ласточек вила гнезда, стаскивая всякую всячину в одно место – вроде заготовки, что ли. Одна же пара ласточек, увильнув от работы, эти запасы растаскивала и потешалась над остальными. Те сначала ничего не замечали, но потом очень удивились, куда все девается, и вдруг поняли, и поднялся страшный крик, и было у них что-то вроде собрания, на котором держал речь один – должно быть, главный у них. За мужем прилетел курьер, и тот отправился на собрание, а жена осталась ждать в сторонке. И, видимо, было принято какое-то решение. И вот виноватый самец садится в свое начатое гнездо, и к нему тотчас прилетает подруга, а все прочие начинают их спешно закладывать и так замуровали. И очевидно, это виновными было принято добровольно.

А вот еще эпизоды и реплики из мира животных.

– Но нам же интересно: раз она в руках побывала, так не должна бояться!.. (О мышши.)

– Энергичная и вонючая ласка. Поймали под рельсой.

– И вот я бушлат расстелил и вижу – все время птичка летает. Круг дает и садится. Покамест расстилал, ковырялся, смотрю – она из-под бушлата вынырнула. Оказывается, я лежал на гнезде. Вот хитрая птичка! И хуя! – разбежались по всем сторонам, и нет ни одного.

– Корова дулась-дулась. Пусть, говорят, скушает живую лягушку. Она проглотила, только облизывается. Хошь – на клевер. Хошь – на люцерну.

– Она калории никуда не расходует. (О кошке.)

– Вот ее в сапог посадить – и пусть сидит. (О кошке.)

О женщинах тоже красочно:

– Девушка всесторонне грамотная.

– С женщинами я был безжалостен!

– Жениться – остановиться.

– Девка хорошая – засадить можно.

– Из уст ее должны только красивые слова исходить, а она ругается.

С последней репликой и я согласен.

Забавные случаются грамматические формы определения признака:

– Где-то в Харькове или в Одессе – вот в этих местах...

– Четыре языка знает: немецкий, французский и английский этот самый.

– Чувствую, на висках у меня капельки холодного пота.

– Златогривая еврейка.

– Я заметил, что тень моя шла рядом со мной, но двигалась помимо меня.

– Облизал по-собачьи ложку и сунул в карман. Я тоже облизал и тоже сунул.

– Тупой, как валенок.

– Разницы не играет.

– Пришли разные врачи и хирурги и говорят: не по нашей линии.

– Мы делаем в жизни много лишнего. И от этого получаются лишние люди.

14 февраля.

Что-то ты, моя радость, такая грустная в последних письмах, и мне тебя жалко и тяжко. Эти два месяца почему-то получились необычайно длинными в нашей разлуке, как в другой раз и четыре месяца не бывают. Сам не понимаю, почему так получается: и быстро идут как будто бы эти два месяца, а все не проходят. Особенно тянется теперешняя неделя: у меня тут немножко по-другому, чем у тебя – перед свиданием время движется много медленнее, чем после него. Наверное, повидавшись с тобой, я получаю какую-то порцию жизни, а кроме того хожу как в обмороке от ближайших воспоминаний, а когда очнусь – смотрю – уже две-три недели проехало. А когда жду, ничего делать не хочется и все валится из рук, а сейчас ко всему, по причине конспектов, Пушкин застопорился, и я только вздыхаю и читаю слишком уж скопившиеся на табуретке книги.

Снежок, правда, нынче хорошо падает. Как-то медленно и задумчиво кружится. В розовом блеске. И тебя люблю крепко-накрепко.

Пришла твоя переславская открытка*, и, едва глянув, я откликнулся на все любимости, и вспомнился разом весь Переславль и весь Залесский, и как в окне автобуса уже началось это чудо, и запрыгали эти утиные шеи, и все прогулки за ручку, которые ты мне открыла.

И еще пришло письмо с Егоровым локоном, перескочив через три очередных номера, а локон мне очень, только трудно, слишком прямое прикосновение тяжело вынести, и я побаиваюсь на него долго смотреть.

А на фотографии что-то ужасно косо́й вырастает у нас ребенок, и правильно, чтобы подправить очками, а девочку пора оставлять*, поигрались и хватит, к четверем годам все-таки, чтобы не повлияло (такое тоже влияет), а волосики не обязательно каким-то полубоксом, можно и локоны, только поменьше и без бантиков – пора ему быть мальчишкой. Очень на тебя похож, и мне нравится. Но я не представляю в его речи «что-нибудь интересное», – не по возрасту, хотя очень близко к нам, потому что нам с тобой всегда интересно. А волосы у него, наверное, будут много темнее потом.

И я радуюсь двум проглянувшим из моего далека событиям в Егоровой жизни. Это, во-первых, книжкам, которые он, кажется,

норовит полюбить, а во-вторых, – вашим прогулкам по переулкам и вот на базар, и я думаю, как ты его поведешь по музеям, и вся моя душа от этого сразу успокаивается.

Держитесь, детки, друг за дружку, держитесь.

15 февраля.

Прочитал толстую книгу по истории Халдеи, написанную, правда, еще в начале века и потому довольно отсталую.

Оказывается, изображение всяких страшилищ имеет и такую возможную мотивировку: подальше отгонять портретируемых: увидев свою наружность, бесы убегают, пораженные ужасом. То же: сражающиеся чудовища имели характер каменных заклинаний: пусть дерутся между собой, оставив человека в покое. Так что не обязательно, что всякий, в древности изображавший нечисть, – ей поклонялся.

А в прошлом веке Франсуа Ленорман выдвинул теорию, согласно которой шумеры (как и другие желтые племена) происходят от каинитов, ушедших в изгнание, а исторически – пришли в Междуречье в качестве ветви от урало-алтайских туранцев. Поэтому, между прочим, живя среди пальм и львов, у них в письменности не было знаков для обозначения этих понятий (а лев назывался «большой собакой»), но имелись названия разных металлов, которых нет в Халдее, но много в наших горах. И, дескать, у некоторых наших народов есть соответствующие легенды.

Словом, если хорошенько покопаться и порыскать где-нибудь на Алтае, можно в принципе там обнаружить истоки Вавилона, а так как это самое древнее, то тут, возможно, самый корень и есть.

И мысли начали носиться в этом приятном направлении: этнография, археология. Нам с тобой, конечно, туда не поспеть, но вот, например, Егору поле мечты и деятельности.

16 февраля.

Думаю, что такое характер в художественной литературе, имеющей определенную склонность в XX столетии перейти от романа характеров к роману состояний. Не такая же ли это условная единица, как, скажем, в классицистическом стиле персонифицированные пороки, добродетели, аллегории или то, что называет-

ся «маска», ампула и т.д.? Уже у Толстого характер перестал выступать в четко вычерченных границах характерности, позволяющих персонажу ходить в нарицательных именах, быть эталоном модного веяния, умонастроения – на манер Печорина или Базарова. Экая вы Анна Каренина*, экий вы Левин, – сказать нельзя, в отличие от Хлестакова, Обломова, замешанных много гуще, плотнее. Физиономия характера явно начала расплываться, и он из типового явления превратился в только и просто какое-то живое лицо, которое тем не менее в литературе столь же условно и преходяще, как некогда олицетворенный Скотинин или маска Царя Максимилиана в народном театре. По-видимому, характер есть попытка вывести движения души и тела из внутренних свойств человека, якобы ему имманентных и соединенных в более-менее четкое, замкнутое, постоянное психологическое клише.

Разумеется, личность, характер так же реальны, как реальны олицетворенный порок, ходячая добродетель (что не исключает условности всех этих начал), и потому признак характера мы встречаем даже у Змея Горыныча*. Но резкий акцент на характере, приведший к его открытию, развитию и усложнению, стали делать тогда, когда подоспело время человеку предстать в роли Гамлета или Дон-Кихота, то есть начиная с Ренессанса, превратившего героя из подданного, из должностной и подопечной фигуры в самостоятельное лицо, не имеющее руководящих инстанций, помимо свободного «я». В этом смысле характер есть гуманистическая мотивировка души и судьбы и существует, как любая мотивировка, лишь в строгой системе исторических координат, провозгласившей личность в виде принципа. Отныне персонаж начал действовать, повинаясь собственной логике: «у меня такой характер, ты со мною не шути», и появился роман в объяснение его независимой жизни, которая хотя и подвержена воздействию различных стихий, доктрин, идеалов, среды, наследственности, но все они перемальваются в нем – в этой первичной (можно считать для данной системы) и главенствующей единице мыслимого бытия.

В этом качестве – мотивировки человека, исходящей из самого человека, – характер не был известен раньше. Герои античности не характеры, а более ситуации, в которые попадал человек, «ситуации героя», родившегося, допустим, от богини и смертно-

го или призванного разыграть уготованное ему назначение. Какой характер у царя Эдипа – нам в сущности не важно (так себе, добрый человек, неволью впавший в злодейство), – важно, куда он впал, что ему подложила судьба, которая и являлась тогда решающей аргументацией в существовании личности, переживавшей не свою психологию, а свою участь и принадлежность. Даже римский скульптурный портрет (столь характерный, реалистичный) существенно отличен от «нашего» реализма, и, вероятно, именно этой разностью аргументации или корней выплывшей вдруг на поверхность и зашумевшей индивидуальности. Наше ощущение живости, реализма от серии литературных характеров XIX века по своей интенсивности, вероятно, ничуть не больше, чем ощущение живости и реализма, испытываемого в Древней Руси от чтения агиографических подлинников. Мы говорим «как живой», имея в виду способность Иванова действовать, повинуться лишь своему характеру, ибо это для нас главная, окончательная реальность, органически присущая жизни, не имеющей иных аргументов, тогда как в других координатах для наибольшей живости тому же Иванову пришлось бы прибегать к одержимости бесом или к предначертанию рока, а не сваливать все на фикцию своей психики. Реплика «так в жизни бывает» или «так в жизни не бывает», так часто и вполне правомерно применяемая к литературным созданиям, нуждается в уточнении: в какой жизни и что именно разумеется, какое содержимое вкладывается в общее понятие «жизни»?

17 февраля.

Три твоих письма, уже ясно теперь отправленных, все никак до меня не дойдут, и в этой образовавшейся паузе жить скучно и трудно. Хорошо хоть Егорушкин привет получил и, основываясь на нем, полагаю, что вы здоровы. А когда ты приедешь, толком не знаю. Завтра вхожу в неделю, на которой, по всем подсчетам, тебе полагается ко мне приезжать. Томительное время.

У меня появилась гипотеза, что Рождественская елка восходит аж к Вавилону. В Халдее я наткнулся на фразу, что священное Древо Жизни (то самое) на тогдашних картинках изображалось в виде пальмы либо шишконосного типа и украшало фризы, полы, царские одежды, гробы. Халдейское дерево связывают с

«майским деревом» средневековья (а что это такое, я не знаю). Вот бы уточнить. Получился б изюм.

У нас то тает, то метет, а я плаваю в валенках, и дивлюсь на горизонты, и тоскую по тебе, моя жена. А это письмо такое вялое потому, что много сплю в ожидании. А в ручку я вчера вставил последнюю трубочку.

18 февраля.

Вот так оно и получается. Тянулось-тянулось время, ждал-ждал, пока не настал момент уже и письмо отправлять, и вдруг – бац, на тебе! – письма, так долго не шедшие, разом пришли, и у меня в голове мешается от такого великолепия, и я не знаю, что делать, чтобы все тебе выразить.

Писем четыре штуки – 84, 85, 86 и 89 и еще одна открытка с зеленым переславским пейзажем. Так что теперь твоя переписка одним скачком выровнялась и пришла в кондицию и только для полноты еще нет 88-го номера. Представляешь, как сразу, как много, а времени совсем не осталось об этом написать. И я как-то ничего не пойму. И что это за Фромантен такой*, откуда он взялся и почему я его не знаю? И почему на Егорушку вдруг столько врачей навалилось – и по всем дисциплинам сразу? И твое тельце тоже меня беспокоит. Это вы хорошо спохватились по врачам походить и всюду себя проверить. Давайте подтягивайтесь и впредь не болейте.

Ужасно понравился рассказ про парикмахерскую*. (А я как в воду смотрел – хватит ему в девчонках ходить, скоро дразнить начнут, а очень эти дразнилки в детстве действуют, когда над тобой ни за что смеются, и какая-то непостижимая пропасть зла открывается, и как-то робеешь жить.) У тебя эти жанровые сцены прекрасно выглядят, – я даже подумал, что ты могла бы детские рассказы писать, ничуть не меняясь в тоне – таком прямом и серьезном, – как в гости ходите, как курицу ели, как волосы стригли. Очень деловой тон. И я не думаю, что мне потому только интересно об этом читать, что ты говоришь и о сыночке. А, вероятно, главное – сидит в тебе интерес (за что я тебя и полюбил так безнадежно и навсегда), от которого становится весело делать все на свете. Господи, как хочется с тобой пойти в кино. Кино-то мне что? – да ведь с тобой совсем другое кино выхо-

дит. И потому я все время радуюсь за Егора, что ему такая мама досталась.

И еще ты правильно пишешь о кратковременности жизни – промелькнувших сестричках, недотянувших бабушках. Только тут задача этих ушедших сберечь, и чтобы она – эта печальная краткость – была бы полным полна интересом.

Про пение очень важно. И дело совсем не в том, чтобы Егору слух развивать. А в том, что он все время, мне кажется, бессознательно ищет, за что бы ему еще тебя полюбить. И надо ему давать эти возможности за что-то ухватываться, и нести, и помнить тебя. А помнишь, как мы друг другу пели в троллейбусе?

И ты – моя Маша.

Теперь еще надо успеть о книжках. В украинском журнале «Ранок» № 1 за этот год опубликовано несколько репродукций Е. Мироновой – народной художницы, которая вместе с Г. Собачко и другими умельцами упоминается в ряду, открываемом Примаченко. Одна картинка – с казацкой церковкой – мне понравилась. Кроме того, у нее камни тоже с глазами, хотя это много слабее и стилизованнее; и еще я заметил в ней повествовательную интонацию названий, подобную примаченковской – не эпическая ли это тенденция живописи, которая хочет перейти в песню и рассказать по порядку о жизни, – притом о знакомой жизни – поэтому с очень конкретным введением имен и предметов? Живопись, захотевшая изложить бытие. Не потому ли – не с натуры этюды, а картинки со значением? Журнальные комментарии к Мироновой – пустые. Но, может быть, эти имена тебе пригодятся для фона или сравнений. Между прочим, там сказано, что сейчас в Киеве в Союзе писателей открыта выставка Е. Мироновой – значит, есть к ней интерес.

Про елку посмотри «Вокруг света» за 1966 г. Говорят, там что-то было (надо взять 12-й номер – и посмотреть за год). И еще в журнале «Америка» № 15 (лет восемь назад) много было о елочных праздниках.

А еще мне очень захотелось прочесть книгу В.Я. Проппа «Исторические корни волшебной сказки». Помнится, ее можно найти у букинистов (на Арбате – в разделе фольклора или литературоведения можно найти). Там, например, рассказано, что Баба-Яга происходит от Йога, а кроме того, она мертвец, и потому у

нее костяная нога, а дом на курьих ножках – это гроб, и тому подобные интересные вещи, среди которых, мне сдастся, можно узнать и про конек на крыше, и про Примаченко. Скажи Лиде – может, найдет и пришлет мне.

А еще в 68-м году в изд. «Наука» должен выйти солидный труд «Памятники византийской литературы IV–IX вв.», который нам надо иметь.

Кроме твоих писем, у меня вчера была еще одна радость: мне, наконец, вернули конспекты и рукописи. И я теперь смогу заняться Пушкиным более серьезно. А то руки опускались: конспектируешь книгу и думаешь: вдруг и это отберут и весь труд прахом.

Но сейчас я все равно ничего делать не могу, а только к тебе, о тебе, и как мы свидимся, и когда это будет? Все же, наверное, это письмо ты прочитаешь уже после того.

Так вот помни, пожалуйста, как ты мне нужна во всяком виде. И если взять для сравнения завтрак на траве и наши слова на песке, то не для одних удовольствий, а чтобы помнила, и врезалось, и запечатлелось, как во мне – ах, вот ты какая? да такая, и так пришлось, и я тебя за то не забуду, и ты тоже.

А.

19–20 февраля 1968 г.

...переславская открытка... – Старинный город Переславль-Залесский был моим первым архитектурным подарком А.С.

...а девочку пора оставлять... – Егора долго не стригли: бабушка макировала его под девочку.

Экая вы Анна Каренина... ..даже у Змея Горыныча. – А.С. мне про Анну со Змеем Горынычем, я ему – про ту же Анну, но с Кашеем: «Через пару слов я прервусь и лягу с «Анной Карениной» в кровать. Читаю я эту душераздирающую повесть, и жутко мне жалко Каренина. Единственный порядочный человек на два тома – и так не повезло.

Вообще последнее время проникаюсь сочувствием к традиционному «отрицательным» героям литературы. Уж больно несправедливы к ним авторы.

«– Любишь ли ты меня, Красная девица? – спросил Кашей Бессмертный одну красотку.

– Люблю, – отвечала Красная девица. Наклонился Кашей Бессмертный, чтобы ее поцеловать, а вместо сахарных уст волчья оскаленная пасть, вся в шерсти и зубами лязгает...»

Так охмурили бедного Кашея Иван-царевич с Серым волком, и я все это читала Егору вслух и жутко сердилась про себя. Ведь не нахрапом лез на Красну-девицу бедный Кашей, а скромно и интеллигентно интересовался сначала, любит ли она его, и, выяснив отношения, был обманут в самую ответственную минуту. Где справедливость?

Очень жалко Кашея.

– Серый волк в лесу тебе товарищ, – сказала я Ивану-царевичу, дочитав эту сказку до конца, и была права».

...что это за Фромантен такой... – Из моего письма: «А еще купила свеженькое издание Фромантена “Старые мастера”». Эжен Фромантен – французский писатель и художник XIX века.

...рассказ про парикмахерскую. – Из моего письма: «А сегодня Егорыча стригли в настоящей парикмахерской. Причем сначала я его привела в дамскую, и мы спросили, еще не раздеваясь, стригут ли они детей.

И какая-то тетя уставилась на нас недобрым голосом:

– Это мальчик или девочка?

– Мальчик.

– С мальчиком идите в мужской зал.

– А мы стрижемся под девочку, можно нам здесь?

– Не имеем права...

Ну, ушли, конечно, и отправились в мужскую парикмахерскую.

Пришли, разделись, входим в мужской зал, а нам кричат:

– Ведите свою девочку в дамский зал!

– Это не девочка, это – мальчик.

– Не морочьте голову: у мальчиков не бывает таких волос, и личики у мальчиков поглубже. Просто вам, мамаша, в очереди стоять не хочется. Девочка, как тебя зовут?

– Я мальчик Егорушка...

И тут начались ахи и охи, и какой хороший мальчик, и как хорошо себя ведет, и совсем не плачет, и совсем не капризничает, и другие дети вопят и скандалят еще с вешалки, а этот ребеночек просидел всю стрижку, не дрогнув и не пикнув, а только когда тетя спросила его, как большого:

– Освежить?

Он покорно закивал:

– Да, освежить...

После чего Егора попрыскали одеколоном “В полет”».

ПИСЬМО СОРОК ВОСЬМОЕ

Совсем было настроился вчера тебя встречать, но вместо этого пришла телеграмма, и я остался с мытой шеей и даже при выстиранных портянках в состоянии все той же роковой неизвестности. Конечно, ты молодец, что дала телеграмму, чтобы мне не спатить. И я все понимаю. Но так уж устроен мир: подавай ему обещанное и долгожданное. К тому же телеграмма пришла в сопровождении 88-го номера, где ты целый день плакала, а у Егора нашли рыхлость в горле, и вот я боюсь, не успел ли он опять заболеть чем-нибудь новым. Еще получил открытку от Надежды Васильевны*, где она извещает о смерти своей сестры и собственном воспалении легких. Да, всем не сладко.

С горя, придя с работы, лег читать «Вечера на хуторе» Гоголя. Но и это что-то меня не веселит. Одно остается средство – тебе приехать.

23 февраля.

Чутьочку яснее на сердце, как представляю, что свидание все-таки у нас в запасе. А то в первый момент, помимо прочего, я был как-то исчерпан в смысле нервного напряжения, которое к ожидаемой встрече все росло, росло и достигло верха, дальше некуда, и вдруг выяснилось, что ему нужно еще ждать, и расти, и тянуться, когда силы уже на исходе, и я упал духом.

Теперь жду по новой и волнуюсь по новой. И что получится из таких волнений?

Калоши начали протекать, а на валенках от них протерлись маленькие дырки. По всему видно: весна.

24 февраля.

Я тут выбыл на двое суток из сферы жизни: никогда так не болели зубы, как в этот прием, который иначе, чем припадком, не назовешь.

То ли вспыхнувшие сперва морозы повлияли на мою слабую челюсть, то ли несколько простудился или нервишки вконец расшатались, – но я по временам отключался от сознания и не знал, что делать, куда бежать. Тем более ночью по такому морозу не очень побегаешь. И никакие пирамидоны с анальгинами уже не помогали, и температура поехала, и вообще все кончилось и остановилось. Не дай Бог никому так болеть, особенно – в лагере.

Но сегодня меня посверлили в санчасти, врач отнесся очень внимательно, и нашлось скрытое дупло, куда положили лекарство, и за каких-нибудь десять минут я ожил. Странно, когда болеешь, кажется, уже никогда не поправишься, и даже удивительно, что дело поправимо. Правда, взамен исправленного зуба – в возмещение – начал болеть другой, с противоположной стороны (что они, сговорились, что ли?) – но уже легче и проще. И я стал разговаривать, и слышать, и смотреть, и видеть солнышко, и есть суп, и понимать, и ждать тебя с наслаждением. Ведь главный ужас, повергавший в настоящее отчаянье, был в том – как я такой развалиной к тебе покажусь. Ждали-ждали, мечтали-мечтали, и вот пожалуйста. Ну и страху же я натерпелся...

27 февраля.

Наверное, очень стыдно так терзаться от обыкновенного зуба, но меня утешили, сказав, что среди всех более зубная почитается сильнейшей. А мое возвращение в строй сопровождается твоей бандеролью с Мавриной* и открытками – столь милыми, что жаль их отправлять и раздаривать. Мне эта бандероль показалась приветом из другого мира – неизмеримо прекрасного и изящного. Один цвет на мавринском супере чего стоит. А хорошие книги стали издавать по искусству. Я здесь видел недавно альбом Пироманишвили* – в роскошных традициях. И еще очень вовремя пришла бандероль. Письма-то я последние дни опять не получаю. А посреди зубных напастей, мне казалось, любые книги, которые я пытался читать, источают новую боль из самого текста. Особенно почему-то источал Ст. Цвейг, чей рассказ «Страх» я ре-

шился перечитать, задумавшись над тем, почему страшные рассказы доставляют удовольствие. И вдруг эта яркая, родная, древнерусская весть. И с ней – ты.

28 февраля.

Пришла телеграмма. И ты приехала. И я тебя люблю. А день-то какой красный и светлый!

29 февраля.

Ну вот и повстречались, ну вот мы и свиделись, моя раденька. Очень это было чудесно. И я от тебя никак не могу отстать. Даже время остановилось (уже март в разгаре, и я не успел заметить, как это произошло), и дни проходят, а время стоит и смотрит на тебя. Как ты махнула ручкой, я подумал, – ты не очень грустишь, а больше радуешься, и стало легче дышать и жить. А какой-то рядом стоявший физиономист по твоей круглой мордочке определил, что ты деятельная натура.

Ты не думай – если я мало улыбался, значит, мне с тобой не было весело. Просто твое появление наводит род столбняка. Я из него и сейчас еще не вышел и поэтому не знаю, как это я успею написать тебе это письмо. К тому же совершенно нет времени – первая смена и каждый день двести стульев. Поздравительные открытки отправил, но для Надежды Васильевны часа два сидел, не в силах сообразить, как выразить ей сочувствие, и ограничился серым приветом. Отупение какое-то. И вообще я медлительный. Ты правильно удивлялась на мою неспособность, которая так и осталась, несмотря на всю индустрию.

А ты восхитительна, и для меня наше счастье прошло лучезарно, лучше не может быть. Перебирая все винтики, из которых оно состояло, и заново все свинчивая, и развинчивая, и рассказывая себе самому, как это было, я усмотрел только один небольшой просчет. Это то, что ты опять постригла меня в последний день. Я на этом очень помолодел – но для кого это делать, если ты уже уехала. А вообще я тоже помолодел. А Плутарх ошибался*, и мне очень понравилось твое младенчество. И мы его обязательно когда-нибудь возродим. И ты права, что не бывало. И я совсем твоей.

4 марта.

От тебя мне остались фотографии Егора и книжка с картинками (как самое яркое, вещественное подтверждение, что ты у меня была и это не бред). По фотографиям я еще понял, что он не просто смотрит картинки, а их читает и плавает по ним взглядом и пальцем, и всякая живопись – это плаванье. Мне все-таки жаль, что я так и не разговорил тебя о Примаченке. Очень уж глубокая и важная тема, которой нельзя дать пропасть. К дневникам Кафки, недавно опубликованным в выдержках, приложено, между прочим, его письмо Максу Броду, в котором говорится: «Творчество – это сладкая, чудесная награда, но за что? Этой ночью мне стало ясно... что это награда за служение дьяволу. Это нисхождение к темным силам, это высвобождение связанных в своем естественном состоянии духов, эти сомнительные объятия и все остальное, что оседает вниз и чего не видишь наверху, когда при солнечном свете пишешь свои истории. Может быть, существует и иное творчество, я знаю только это: ночью, когда страх не дает мне спать, я знаю только это. И дьявольское в нем я вижу очень ясно» («Вопросы литературы», 1968, № 2, стр. 134). Мне кажется, Примаченко поняла бы и, может быть, приняла эти признания. Их стоило бы процитировать.

А я тебя люблю, а я тебя люблю. И знаю за что. И очень много за что. И я бы сделал из тебя себе идол, да ты уж очень шустро бегаешь, и впечатление рассеивается. Но от этого я тебя не меньше. И ты мне ужасно как нужна и мила.

А сегодня я получил от тебя телеграмму о приезде. Очень хорошо. Но почему не говоришь о самочувствии Егора?

А как твое здоровье?

5 марта.

А сегодняшний мой день настолько богат событиями, что на фоне привычного однообразного круговращения суток воспринимается целым праздником. Во-первых, я перешел на другую работу, а во-вторых, мне вырвали зуб.

Расскажу по порядку, чтобы ты лучше представила значительность этих перемен.

У нас в цехе неожиданно освободилось место по вывозу опилок, и по моей просьбе меня на него взяли, освободив от мойки. По первому дню, конечно, судить еще рано и трудно, но пока на

новой должности мне нравится больше, чем на стуле. Работа здесь тяжелее и грязнее, а все же компактнее по времени и прилагаемым усилиям – главным образом в начале и в конце рабочего дня. Кроме того, она интереснее, веселее, поскольку включает разнообразный круг обязанностей и телодвижений – в виде погрузки, утаптывания, выкатывания, прицепливания, катания на тракторе в кочегарку и т.д. Нет той отупляющей монотонности, которая меня выматывала на стульях до какого-то психического истощения. Имею дело с вагонками, носящими романтические – те самые – имена Лолиты, Сюзанны, Бетси, Берты и других красавиц, что до некоторой степени передает и мое – посреди этих женщин – игривое отношение, и доброе чувство к этому производству. Бегаю запудренный опилками, как пекарь или как мельник, опилки за шиворотом, в бороде, во рту, в валенках, на ресницах. Но зато часть работы протекает на чистом воздухе, а помимо этого я буду иметь, наконец, твердую ставку и перестану дрожать за ларек, деньги на который все уменьшались и вот-вот было кончились, и еще, говорят, имею право на дополнительную кашу по утрам, что тоже очень приятно и полезно. С непривычки, правда, ноют спина и руки: под конец приходится грузить в быстром темпе и выкладываться на полный пот и на всю – для моих способностей – энергию. Но это тоже неплохо – устать в заключение рабочего дня и, покачиваясь и отдуваясь, плыть на ужин или в кровать.

И вот, приплыв таким образом, я поспешил к зубному врачу, чтобы запломбировать начатый еще до нашего свидания зуб. И на расспросы говорю – хорошо, но другой взялся болеть, и как бы его тоже слегка подправить или убить нерв. И вдруг: – Рвать будем?! И я – как в холодную воду, была не была: – Рвите!

И ты знаешь, такая внезапность этой ужасной процедуры даже лучше, чем долго и медленно к ней готовиться. Я не успел испугаться, хотя было очень больно и я скакал в кресле, как маленький. Зуб-то крайний, коренной, да и корни у меня крепкие и страшно разветвленные... А сейчас сижу с тампоном во рту, и не больно, и я горжусь своей решительностью, и доволен, как умело и аккуратно из меня извлекли этот ужас, и поражен огромностью дня, вместившего сразу так много переживаний, что – в сочетании с продолжающимися в моей голове мотивами свидания –

вообще создает ощущение головокружительного карнавала, посетившего мой монастырь.

6 марта.

Маленькие нотабене на полях по поводу недавно прочитанных или вспомнутых произведений.

Существуют авторы, заведомо усложняющие жизнь (как японский писатель Кобо Абэ в «Чужом лице», опубликованном в «Иностранной литературе»). Все ситуации получаются жутко мудреными, и всё не так, как на самом деле, всё невпопад. Ради обоснования разумности существования создаются версии в духе «учителей» Рериха. Все – неспроста. Но этот воображающий усложнитель как-то невольно совпадает с воображаемым миром. Сюжет становится подготовкой событий, которым еще суждено прийти, осуществиться, и, возведя напраслину, персонаж попадает пальцем в небо – и мимо, ан не дурак.

Вариация этой темы – усложняющий жизнь Дон-Кихот: кружево добра и зла, сплетения психологии, тогда как жизнь проста и путь праведника прям. Плач над Дон-Кихотом: хорошо, что мельницы оказались ненастоящими. Праведник и донкихотики; сравните: имя: ки-хи-хи-икота-икот-ики-ики-кхи. Остается Дон («кихот» выдает, роняет, отхихикивается). Деятельный тип, за неимением таковой, пытается ее найти, придумать, выдуманное спасение, душу за други. Юность – сложна, детство и старость – мудры и просты, как пять пальцев. Дон-Кихот юн и тороплив, торопится жить, и ему не сидится на месте. А быть бы добрым и честным – слишком просто, слишком трудно.

Ср.: романтическая атмосфера Метерлинка и Гофмансталя. В «Соловьином Саду»* все немного фантастично – и цветы, и встречи. Все немного «воображаемый мир». Токи ожиданий сообщают пустяковым фактам значительность, солнце низко над горизонтом, и поэтому тени длиннее. У Гофмансталя, например, приходит незнакомец, а крестьянка, его принимающая, видит «кота» и догадывается, что за гость. Встречный велосипедист тоже оказался из породы призраков, привидений. Призрачен сосед по дому, спали и ели вместе, и вдруг выясняется – призрак, на прощанье представился и растаял в воздухе. Гофмансталь прослеживает модификацию факта, обрастающего легендами. Ис-

порченный телефон при старании собеседников быть наиболее точными.

Санчо Панса (другая ветвь Сервантеса, параллельная Дон-Кихоту) – простой человек в истории (история его губернаторства). Смотрят, допытываются, как на самом деле было. И он уже готов на попятный: не было: не помогает. Он вошел в историю (в рыцарские бредни Дон-Кихота) вопреки собственной воле и уже не тот, кто есть и кем был. Историческая личность как отклонение от биологической особи и ее драма в усилиях остаться собою, когда назвали Санчо губернатором и вызвали на свет ненатурального существования. Тот же мотив: «быть простым смертным», но с обратным знаком.

(«Портрет Дориана Грея».) Портрет человека, иссеченный мельчайшей нарезкой каких-то необычно запутанных хиромантических линий, похожих на татуировку полинезийца. Полинезиец, плачущий над ненастоящей, выдуманной жизнью. К кому обратиться? Кто поможет вернуть историческое лицо в обычную личность? Вопрос: достоверна ли история? А Лжедимитрий? Существование в подтексте истории.

В итоге: люди – просторы. Не характеры, а пространства. «В стране меня», как в мире Уайльда, в системе Сервантеса. Границы человека и прикосновения к бесконечному – воронки, когда психология переходит в онтологию. Преодоление биографического жанра.

(В «Дон-Кихоте» Сервантес начинал писать свою биографию, а кончил метафизикой рыцарства.) Сквозь биографию! Каждый человек – сквозь. Не человек. Широта природы как широта равнины. Спички в ручейке – кораблики. Стоит поставить ногу, и проваливаешься по пояс. Личность как яма, легонько прикрытая хворостом психологии, темперамента, привычек и навыков. Не распад личности, а ее глубина и реальность. Попал мимо, шагнув навстречу ожидаемому незнакомцу. Затягивает, как топь, – масса новых привычек, обязанностей, через них – к сердцевине, через него – ко мне, к себе, обратно, «наззад!». Проблема стиля: при такой сложности кто-то должен быть пошл (вот и мотивировка Санчо Пансы, появляющегося рядом с Дон-Кихотом). Пошляк, узнаваемый постепенно, засасывающий. Разве что детство спасает: у него, у «пошляка», тоже было детство, мечта стать мусорщи-

ком и собирать стекляшки в помойке, да мама не позволяет, коллекция, охота и рыбная ловля, филателистика, нумизматика.

(Дневники Кафки в «Вопросах литературы».) Все его душевные муки объясняются одним – выброшенностью во внешнее. Одно упование: в последний день воскресит – не мира, но твой. Перед – не в лицо. А может быть, преобразование природы прощением? Когда такой плохой – и вдруг прощение; неждавший перерождается. Сила прощения особенно очевидна тому, у кого наказание сзади, было: жизнь.

Внешнее обрастает внешним – домами, тряпками. Канаты: секс, курить и т.д. Любовь: как их любить? – Ты конюх. Коней любят конюхи (но и прикрикивают же?).

Лицо осталось, и ладони при проваливании туда. А не наоборот ли? Не оттуда ли лицо – лик? А канаты перерублены без его стараний.

Ходит в воздухе, среди воздуха, между воздуха (такова сама атмосфера Кафки), взятый ходит, потеряв сознание, рядом с людьми, с восторгом там побывавшего, уходящего, как задернутая занавеска ладоней, думают – умер, а он просто гулял в бессмертие. Сумасшедший – видимость, исчезающая пигментация глаз.

Подыскивание сравнений: вставленный в человека фонарь. Зеркало с продолжением: видит себя, но «я» с продолжением, как эхо, я – эхо, убегающий звук, перекатывающийся в горах.

Слово. Слова у него имеют продолжающийся и потому бесконечный смысл. Кончающиеся на гласную – «а», «о» – уходят далеко, без конца. «Жизнь» с замочком на конце (но в русском языке «ъ» и «ь» когда-то были озвучены?).

Подтверждения в ходе самоличной проверки: похоже или не похоже. «И боролся некто с ним» – борьба – вхождение и ближе к молитве. Там же правильно: дом и ворота. Дом, куда вошел, откуда вышел. Недоверие, когда немного не так, когда сюда приходят, а не туда уходят (виновата все та же выброшенность). Раздражает это недоверие к мудрости стариков: ишь ты какой умный нашелся, как не стыдно ходить в таком самомнении. Но: абсолютное ведет к абсолютизации своего знания, все не правы, а я прав – не потому что «я», а потому что мне (или еще кому-то) дано абсолютное, и как же в нем сомневаться.

Путем косвенных сравнений подтверждает Упанишады: земля –

зернышко, атман пространства внутри и снаружи. Сумерки, сумеречный свет. Ограниченная энергия души, собранная в комок и обрастающая веществом, как звезда. Сравнение жестов – развернутые ладони (а что если в лотосе развернутые ступни и есть иная проекция сомкнутых ладоней?). Вспоминается Василий Васильевич, полагавший, что наши ладошки – недовершенные личики. (Попутно: познавая мир, наука утолщает его стены, воздух из кислорода с азотом, и проникаем как будто дальше, наталкиваясь на новый вопрос: а что такое кислород? и выясняем, что кислород толще воздуха, не просто O, но O₂, воздух замещается O₂, не считая азота, и из утолщенной стены вещества получается польза телу.)

Высказывания об искусстве *Гонзалеса* (современный скульптор, работавший по металлу, сотрудничал и дружил с Пикассо):

«Век железа начался много столетий назад, создавая очень красивые вещи, к несчастью преимущественно оружие. Сегодня он обеспечивает нас также мостами и железными дорогами. Наступило время, чтобы этот металл перестал быть убийцей и простым орудием сверхмеханической науки. Сегодня, наконец, широко открыта дверь дляковки и чеканки этого материала мирными руками художника.

Только шпиль собора может указать нам точку в небе, где подвешена наша душа!

...Именно эти точки в бесконечном являются предшественниками нового искусства: *«рисовать в пространстве»*.

Проблема состоит не только в том, чтобы создать гармоничное и уравновешенное произведение. Нет! Надо добиться этого результата путем тесного единения *материала и пространства*. Путем союза реальных форм с формами воображаемыми, достигнутыми и внушаемыми с помощью установленных точек или путем просверливания, и, смешивая их согласно естественному закону любви, сделать эти формы неотделимыми друг от друга, как тело и душа. Проектировать и изображать в пространстве при помощи новых методов, использовать это пространство, строить им, как будто имеешь дело с вновь обретенным материалом, – это все, чего я добиваюсь». Стр. 42–43.

(Ничего особенного здесь не высказано, но меня привлекает тот факт, что современное искусство под тем или другим соусом думает о пространстве.)

Между прочим, Гонзалесу принадлежит отзыв о скульптурности Пикассо:

«В 1908 г., во время своих кубистических росписей, Пикассо дал нам форму не как силуэт или проекцию предмета, а как сложение плоскостей, их синтез и представил их кубический объем рельефно, как в «строении».

Пикассо сказал мне, что необходимо только вырезать эти росписи – цвета являются лишь указателями различных перспектив, плоскостей, расположенных с одной или с другой стороны, – а затем собрать их согласно указаниям, которые даются цветом, чтобы очутиться перед «Скульптурой». Исчезновение картины едва ли почувствуется. Он был так уверен в этом, что выполнил несколько скульптурных работ с полным успехом.

Пикассо должен был чувствовать в себе темперамент настоящего скульптора, потому что, вспоминая этот период своей жизни, он как-то сказал: «Я никогда не был так доволен» или «Я был так счастлив». Позднее, в 1931 г., во время работы над «Монументом Аполлинеру», – я часто слышал, как он повторял: «Я чувствую себя еще раз таким же счастливым, как в 1908».

Много раз я убеждался, что нет такой формы, которая бы оставила его безразличным. Он смотрит на все со всех сторон, потому что все формы для него что-то представляют; он видит все как скульптуру. ... По моему мнению, таинственная сторона, так сказать, нервный центр работы Пикассо – в силе его формы». Стр. 44. «Julio Gonzalez» – «The Museum of Modern Art Bulletin», XXIII, № 1–2, 1955–56. N. Y., 1956.

8 марта.

Маша моя единая.

Не знаю, чем и как отдарить тебя за такую доброту и сияние, и поэтому немножечко грустно, очень полон встречей и нашим произрастанием вместе, и удивительно, что зима продолжается, идет тихий снег, тикают ходики, лес чернеет, свет струится, а у тебя красивое платье, рисунок благородный, еще мне понравилось, как ты смеялась про мышек, только с тобой, это верно, возможны такие причуды судьбы, такая свобода парить над и вне обстановки, и детское доверие, которое я больше и больше постигаю в нас обоих по мере продвижения к старости, и впадание во

младенчество, такое мне драгоценное, вспомнилось, что золотистая, зря другим хвасталась моим достоянием, никому не отдам, еще зеленоглазие совсем не занавесочное, а уж так устроена, таинственность, удивительность обитания с тобой, еще память по всей поверхности, а помнишь*, впервые в Ленинграде у хромоножки, такие же мебелирашки, а еще Ферапонтово, фонарик, пока не сломался, когда с теленка перешла на другое звание, и опять впервые, мельницы, мы когда-нибудь будем так гулять? Мне очень понравилось, что тебе захотелось неотступно и неотлучно, под рукою, смотреть и смотреть, как это серьезно, страшно серьезно.

Получил два письма – до и сразу после, отсюда, еще тепленькое, не остывшее.

А правильно обещалась в открытке – про печку: мечи на стол, – приехала и столование, а ты хозяйка.

Настаиваю, пусть Котыка* тебя побыстрее и побольше мне фотографирует. Скажи, по моей просьбе, ну потрать воскресенье и сделай, расстарайся, для меня ведь стараешься. А Флоренского не надо присылать. У меня тут неожиданно появились эти Тартуские записки в собственность.

Прочитал «Резьбу по дереву»* и пришел в уныние – до того тусклый текст, скучные повторения из статьи в статью, одни картинки радуют, да много ль из них выжмешь, пришить сюртук к пуговице, не знаю – не знаю, вариация реализма, не более, а надо бы в разные стороны, как лучи, а про что же другое, ну посмотрим.

С твоею помощью миновала треть марта, не успел моргнуть, как языком слизнулось, вот бы так жить, а февраль был длиннющий, все жилы повытянул, и полгода округлилось, Егорушку бы теперь повидать, и можно на трудный сезон, летом легче.

А тебя мы еще пострижем, не огорчайся, когда начнем жить вместе и нераздельно, и я примусь за тобою ухаживать, и постараюсь тебя завлечь и обольстить. Потому что ты для меня главное счастье, и зеркало, и собеседник, и сотрапезник, и я хочу с тобой дружить и гулять.

Хорошо бы еще средневековье в Прибалтике посмотреть вместе. Но я бы с тобой пошел даже в оперу. Вот сейчас передают оперу по радио, и я подумал. Устаю от звуков. Ты прости, обрвал, когда стучала каблучками. Уж очень много шума.

А туфли мне тоже очень нравятся, забыл сказать, и я где-то читал, что раньше только королевским туфлям позволялось быть красными. А ноготь без меня погоди трогать. И вообще ты должна себя очень беречь – к нашей встрече, откуда уже не выведут. А фотографии пусть будут и в том и другом пальто, которого я не видал. Забыл еще спросить, какие ты кино видала, и чтобы рассказывала фильм по порядку. Люблю, когда ты рассказываешь, а я слушаю. Но все равно было, как не бывает (а ты как считаешь?), и мне опять не хватает средств все объяснить и выразить.

Влюбленный – конечно, но этому слову больше подходит резвая юность, не завидую юности и ты не завидуй, молодо-зелено, влюбленные, вон, Шопена слушают, по коридору слоняются, пока мы смотрим в глаза. Тут гораздо больше, сильнее, – всей силой и зрелостью. Стрелы листа и леса. Того леса, где вепри, лоси, и табуны (те самые), и змеи (те самые) – и все тебе и ради тебя.

А ты будь моей. Вот и хорошо будет.

А.

9 марта 1968.

P.S. Повторяюсь, но что поделаешь: уж очень трудно от тебя оторваться, когда остался еще лишний час от 9-го числа, а я все еще, как видишь, переживаю свидание и вспоминаю все наши с тобой слова и песни.

– А то ли будет, когда начнем летать по воздуху в назидание...

Еще я забыл расспросить, как нынче купается и умывается Егор. И еще ты нежно и по-доброму говорила про руки и голову, и правильно, что я подобрел, но, кажется, стал хмурее и нелюдимее, впрочем, это, говорят, общая черта, зайдешь в уборную и радуешься, если больше никто не сидит, это не я говорю, а мне сказали, и я удивился, помнится, меткости впечатления. Вообще не перестаю удивляться меткости народных речений. Например, о Гитлере:

– Его обращение погубило. Страшно погубило. Наш не любит, когда по морде.

Или о жуликах:

– У них живое дело. Сегодня магазин обокрасть, завтра – банк. От них и судья, и прокурор кормится.

А волосы на макушке у меня долго не вылезут, и я этим гор-

жусь. А у тебя спина плавная. И ты ни разу не приняла пирамидону, и головка вроде бы у тебя не болела, и вообще ты мне показалась бодрой и крепкой, и я думаю, это потому, что ты ко мне хорошо относилась.

Письмо получилось ужасно сумбурное, но это потому, что сначала нервы, а потом восторги и спешка.

Уже начинается день. Будь здорова, милая. Люби меня тоже.



...получил открытку от Надежды Васильевны... – От Н.В.Реформатской.

...бандеролью с Мавриной... – В.И.Костин. Татьяна Алексеевна Маврина. М.: Советский художник, 1966.

...альбом Пиросманишвили... – К.М.Зданевич. Нико Пиросманишвили. Тбилиси, 1964.

А Плутарх ошибался... а помнишь... – В этих письмах есть слова и словечки из нашего домашнего обихода. Они, как догадывается читатель, остаются вне комментария.

В «Соловьином Саду»... – Все знают, что «Соловьиный Сад» – это поэма Блока. Но в данном случае этим известным названием замаскированы и прикрыты заметки Синявского о лагере. Если вы сравните две-три следующие страницы с «Голосом из хора», то увидите, что все литературные имена и названия отброшены и это чисто лагерный дневник.

Котька – Константин Григорьевич Левитан, мой единоутробный брат.

Прочитал «Резьбу по дереву»... – Сокровищница русского народного искусства: Резьба и роспись по дереву». Москва: Искусство, 1967.



ПИСЬМО СОРОК ДЕВЯТОЕ

Вот и вернулось все на свои следы, и снова метет февралем, заворачивая бушлаты, и, наметя, в десятый раз принимается таять, и сеять, и крутить. Но кто-нибудь хлопнет дверью и объявит прокуренным голосом: – Март. – Сыро, веско, непререкаемо припечатает: – Март. И все повеселеют. И кошка сидит на снегу, угревшись, и слушает свои животные токи.

Я тружусь на опилках и много доволен, хотя надо бы для этих занятий быть мне раза в полтора посильнее моих наличных силешек. Мать почему-то всегда говорила «силешек» вместо «силенок», и так осталось – уже на всю жизнь.

Две процедуры, длящиеся каждая какой-нибудь час, – выгрузка и засыпка – исчерпывают и упаривают до девятого пота, насквозь. А все-таки я согласен и не жалею о перемене работы, на которой летом станет легче. А лето уже скоро.

От тебя принеслась веселенькая и, вероятно, потому немножко неясная телеграмма – в женский день. Я рад по ее тону надеяться, что вы бодры и здоровы, а новых твоих писем из Москвы еще не получал.

Тускло написана Маврина*, что при таком окружении – картинок, формата, шрифта и т.д. – выглядит особенно жалостно и папахивает не в меру затянувшейся нищетой. Странно, когда на интересную тему пишут, не имея сказать ничего нового и серьезного, а просто перебирая заведомые слова «красочность», «нарядность», «декоративность». Какая-то бедность, посредственность стоит за текстом, не только автора, кажется, а привычки иметь дело со скучным фоном, на котором Маврина преувеличенно лезет едва ль не в Шагалы. Она же, понятно, баба со вкусом и большой энергией собирательницы, накопительницы – хозяйка Марфа, а не госпожа Мария. Главное у нее – любовь к хо-

рошим традициям и здоровый юмор, но она не глубока, однозначна, и, правильно ухватив примитив как эстетическое завоевание века, она сама примитивна уже не только в подсмотренных формах, но немного и в духовном смысле. Поэтому, например, иконные копии у нее сбиваются на одинаковый пряник, а ее портреты – довольно плоские шаржи, а провинция, окутанная очевидной любовью, лишена печали, – словом, все решено, в общем, однозначно, просто, и поэтому она мне кажется уже, ограниченнее своей собственной любимой стихии – сказки. Мавринские сказки построены на ярком, по-народному взаврадашном колере, на грубом просторечии и веселом юморе – они ближе к балагану, чем к волшебной сказке (волшебства-то как раз и не хватает), преподнесенной у нее в более детской и бытовой адаптации. Мавринский Билибин, чуждавшийся грубых, «футуристических» форм сказки, полнее улавливал ее таинственность, которая у Мавриной почти исчезла, поглощенная стихией игрового смеха. Маврина знает сказку, влюблена в нее, увлечена ею, но она не верит ей; точнее говоря, она слишком хорошо помнит, что сказка самой себе не верит. На самом же деле сказка и не верит себе и верит – одновременно; сказка лукавит, обманывает и вместе с тем пугается своих обманов, доставшихся по наследству от мифа и потому еще живых, наполовину реальных. Характерно, что у Мавриной начисто отсутствует страх, вытесненный смехом, и, может быть, поэтому ей оказался близок Пушкин, рассказывавший сказки с сильным пародийным акцентом (см., напр., о белке в «Салтане» – «князю прибыль, белке честь»), хотя она, разумеется, уступает ему в изяществе и богатстве интонации. Все это не к тому, чтобы принизить Маврину, но – возвысить сказку, из которой каждый берет по размеру своей посуды, ну и Маврина, конечно, пьет из деревянного ковшика, да только им всей сказки никак не вычерпать...

Я сейчас пытаюсь думать о сказке, не имея для этого почвы и впадая в пустословие: из пальца всего не высосешь. К книге Проппа (кстати, она издана в Ленинграде в 1946 г.), может быть, близка другая: В.В.Иванов, В.Н.Топоров. «Славянские языковые моделирующие семиотические системы (древний период)». М., 1965, – и хорошо бы автор презентовать, и тогда непременно пришли – очень нужна пища сказочным ассоциациям.

Еще читаю «Князь Серебряный», но, несмотря на всю симпатию к А.К.Толстому (из-за писем, в основном, удививших приятно в тюрьме), оказалось, что он не пошел дальше плохого Вальтер Скотта, а читаю, подкупленный детской магией названия – были такие книги в прошлом: «Таинственный остров», «Три мушкетера»... Названия книг тогда издавали чудесную музыку и, кажется, заключали в себе больше смысла, чем сами книги. «Деревянные актеры»*. Вспоминается, как это произносилось тобой, с каким тайным восторгом и захватыванием духа, как пахли деревом эти деревянные актеры и каким серебром отливал не читанный до сих пор «Князь Серебряный», – вот она, полнота слова в детстве, кто нам вернет ее, кто вернет?..

12 марта.

Сегодня – мама, через месяц – ты, а еще через месяц – отец. Ловко это вы распределились*. А бедные родители еще потому, наверное, пугались в днях, что раньше дни рождений вообще не праздновались, а только именины, а потом еще, со старого на новый стиль переключаясь, окончательно растерялись и позабыли себя. И вот довелось без них восстанавливать. Грустно и забавно.

Зима упорно держится, непонятно только на чем, и, говорят, в этом году она гораздо длиннее других зим. Все бы ничего, но когда же эти заносы успеют растаять и какая грязь начнется в конце апреля?

Получил с некоторыми затруднениями Гершензона* (слишком рано издался) – и доволен таким подспорьем: просто руку протянуть и потрогать, обложку понюхать, просто знать, что в тумбочке «Мудрость Пушкина», – уже важно, уже хорошо. А то как-то одиноко жить, и безвоздушно, и должны же быть какие-то признаки действительности?

Еще получил твое первое письмо № 92 с двумя открытками, прискакавшими чехардой, через голову друг дружки, – эти картинки тоже, подобно Гершензону, возвращают чувство реального и заверяют в разумности жизни, – бывает, на эти точки опираешься сознанием и как бы встряхиваешься, пробуждаешься, ясно припоминая, что вот это и есть жизнь и, значит, ты живешь, а не только снишься себе. В этом смысле цветочное пятно, привлекая наше внимание, радуя глаз, есть не что иное, как утвержде-

ние реальности мира, преодоление безумия бесформенности, небытия; красота – знак реальности и на высоком ее уровне равнозначна реальности; романтическая антитеза «прекрасного» и «действительного» не выдерживает, поскольку лишь прекрасное вполне действительно, а безобразное иллюзорно. Элементарная красочность, вкрапленная в природу, явленная в искусстве, уже своими простейшими свойствами – задерживать, притягивать к себе, активизировать чувство и ум – свидетельствует о том, что процент истинности в ней выше, чем в скучной бескрасочности, не оставляющей воспоминаний и готовой рассыпаться, стоит только проснуться и подуть. Уродства не прочны, и если мы этого не замечаем, то только потому, что слишком крепко спим в них и привыкли принимать эту бракадабру за правду.

А ты тоже радуешь глаз. Интересно бы знать еще, как вы с Егором дружите. И еще, почему ничего не рассказываешь о свидании?

14 марта.

Все-таки мавринскую книжку хочется похвалить за самую культуру издания, с которой не стыдно, – формат, библиография, оформление книги, сравнив с новинками в этой сфере, хотя бы с Пиросманишвили. В тексте можно отметить обстоятельность обзора, пожалев за отсутствие мыслей – более внутренних и жизненных связей с сюжетом, красочность которого слишком далеко расходится с бедным характером изложения. В самом же художнике, как он представлен здесь, привлекает внимание тема провинции в ее эстетической значимости – чудес, обнаруженных у себя на задворках, под боком, и смыкающихся с тем же мавринским собирательством, накопительством. О провинции ты могла бы хорошо рассказать. А тон в отношении Марфы наилучшим образом был найден в теремке – без гипербол, скорее с учетом невеликости явления, которое от этого не перестает быть достойным, а как раз словно бы укрепляется и набирает добротность в этой трезвой оценке. И вероятно – больше не пикировка с Костиным, того не стоящим, а – тип и вид издания, встреча с картинками и умение их преподнести в книжной упаковке – и здесь опять-таки сама Маврина как оформитель книги о себе, подающей товар лицом. Хорошая идея – чтобы художники сами себя оформляли.

Жаль, не догадалась или не осмелилась и текст о себе сочинить (кстати, цитаты из Мавриной – говорят, что могла бы).

15 марта.

Ангел мой, Маша.

Ничего принципиального, интересного не сумелось изобрести к Марфе; прости, голова тяжела и пуста, какая-то апатия временно не выпускает; появилась, правда, счастливая мысль о тождестве красоты и истины, которую и поспешил изложить, потому что это большое, но совсем не о том – о сказке, о любимой сказочности.

В завершение (это уже смешно, – как про Розочку*, которая тоже умерла) – опять маюсь зубами; зуб мне хорошо запломбировали, но плохо, что под пломбой он снова начал болеть. Ничего не поделаешь (так надо). Кажется, просто необходимо потерпеть, и зуб, поболев, сколько ему понадобится, сам перестанет. Я так и делаю – терплю.

Прочитал Тартуские записки (я вообще сейчас больше читаю, чем пишу, – в результате одеревенения мыслей). Много забавного на разные случаи жизни, включая Хлебникова и Ахматову; только отталкивает машиноподобная механистичность всей этой семиотики; а типологию культуры безо всякой кибернетики прекрасно излагали и Эфрос, и Розанов, и Шпенглер, и Блок, и кто угодно еще, и поинтереснее получалось. А Флоренский снова и снова повергает в изумление* и в благодарность к открытию, столько лет пролежавшему под землей и свеженькому, точно вчера родилось. Перед ним все окружающие статеечки смотрятся сплошным мельтешением и кокетством.

Правда, о символике прямой перспективы захотелось спросить дополнительно: а что если она, помимо помещения в центр возгордившегося субъективного «я», превратившегося в хозяина жизни и все от себя отмеряющего, имеет *еще* значение зовущего в бесконечность пространства, которое и принялось звать, начиная с Ренессанса, произведя на свет кругосветные путешествия, колонизацию дальних стран и машинный прогресс? А в живописи соответственно появился весьма перспективный пейзаж, заменивший средневековую готику романтическим стремлением «вдаль». В этом смысле – для Фауста – перспектива весьма содержательна и законна, хотя, может быть, и грустна.

Да, из мелочей: помнится, на свидании ты как будто говорила, что выслала мне блокнот бандеролью. Так ли это?

Я не получил, и, значит, он к тебе должен вернуться. Или я ошибся и ты только собиралась послать?

Еще читаю Кафку. Кафка противоположен сказке. Она учит, что реальность прекрасна, а Кафка – с другого конца – доказывает, что тягучая повседневность не подлинна, что это кошмарный сон, от которого трудно проснуться.

А тебя я люблю всегда – и отфыркиваясь в опилках, или проснусь утром – и все на месте: люблю.

Миленькие вы мои деточки...

17 марта.

Сегодня утром выглянул на улицу и вот слышу – какая-то птичка заливается, словно колокол, маленькая, на самой вершинке, а звонит на весь лагерь. – Какая птичка? – спрашиваю прохожих. – Не малиновка ли? – Оказалась синица. И судя по голосу, впрямь наступила весна.

Таёт кругом и капает. Но много еще надо стараться, чтобы растопить эти залежи, и воды много выйдет. Перешел в сапоги, в валенках уже не поплаваешь. И то слегка подтекаю. А дали стали синее, туманнее – завлекательно.

Сало на себе не срезай: пригодится. А Паола – дура*. От тебя же пришло письмецо еще с одной Егоровой мордочкой, где он спрашивает про Пушкина. Улыбчивость его мне маслом по сердцу. А Пушкин пока что в бездействии, и я на себя злюсь. И на тюлькогонов тоже. Есть такая особенность – гнать тюльку. Приходят, пристают – пойдете покурим. И на полчаса, на час. В итоге я начинаю рычать и огрызаться. Раздражает это проматывание чужой и собственной жизни. Знаю, что повторяюсь, но что попишешь с этими ежедневными раздражителями. Вот войду в колею – тогда не буду ворчать. Правильнее всего жить немножечко отключенным.

Переселился на другую койку. Ближе к окну и тоже верхняя – так что дневного света теперь хватает для чтения и тянет слегка из ящика, укрепленного возле форточки, чтобы не дуло (очень здесь боятся простудиться, а меня на работе и не так прохватывает). Поэтому ночью начал глубже спать.

Недавно видел сон наподобие кинофильма в манере сюрреализма: по ночному черному небу, как вертолеты, кружились головы и какие-то похожие на кальмаров существа с диковинными именами, которые я не запомнил, а надо бы было. Очень фантазмагорично.

Почему-то последнее время во сне я ужасно стискиваю зубы, так что утром они болят от этого стискивания – вместе с челюстями. А спать с открытым ртом – не получается: засну – глядь – опять стиснутый. К чему бы это?

А пломбированный зуб вроде бы утихает.

18 марта.

У Егора – в серии «Конька-Горбунка» – на паре фотографий ужасающе гордый вид. Хорош-то – хорош. Но просто я не знаю, чем тут гордиться. Я на его месте был скромнее. Это все из твоих штучек. А?

19 марта.

Пришло письмо № 95, где ты смотришься в зеркало. А я о тебе все время нежно думаю, и ценю, и мечтаю. С письмами – ты права – у нас с тобой заканчивается четвертая сотня. Но конкуренты-то тем временем начали шестую. У них, у конкурентов, на сегодняшний день № 514. Ладно, это я не в упрек. Ты сама спрашиваешь.

Гершензон умиляет мягкой интеллигентностью. И выдумщик тоже примерный. Хорошие цитаты встретил (из нового романа о Достоевском*, что Лидия прислала, – а так романчик слабенький):

«Все мы лишь переводчики великого оригинала и только им пишем и дышим».

«Боль нужна для того, чтобы, уходя, нам оставить полное, освобождающее блаженство».

«Вся наша жизнь только след давно угасшей звезды».

«Каким мы голосом будем кричать в аду? – Не своим. Если даже в падучей каждый кричит совершенно неузнаваемо».

(Достоевский, как нам известно, страдал падучей.)

Еще мелкие нотабене по разным книжкам. У Достоевского в «Братьях Карамазовых» есть эпизод (рассказанный Зосимой): незнакомец объявил о девушке в прошлом, и вот перед нами психо-

логическая дилемма, если он, по складу характера, давно уже стал другим – что ему было делать, если (по определению Достоевского) он был избран – вокруг среднедобродетельные сердца, а его самое черное, и вот ткнул пальцем: «оно – мое», и взял за год, изо всех перспектив выбрав единственную. Заручившись воображением, начнем с города, куда он приехал, с вокзала, с ощущения «город мой», «спите в постельках», с девушки, ставшей вдруг ненавистной, быть может, за нежданную податливость, с того, что память заснула, не помнил, не думал, не мучился, пока не пришло, ошарашенно, может быть, не было, да и не он это вовсе, но было, и вспомнилось, и было поздно хитрить (так художник очень тонко и естественно подводит нас к единственно возможному фабульному решению, развязке).

Есть такая непререкаемость заявок – у Пушкина, например (в «Сказке о рыбаке и рыбке»): «– Смилуйся, государыня рыбка!» Чтобы это понять, надо домыслить картину – в зиму, босоногий: – илуйся! – совсем закоченел – дарыня! – Вот и смилостивилась рыбка. Мораль: если на полном отказе, накале, конце, беспросветности попросить, – поможет.

Еще в «Житии Аввакума» любопытна «ниточка жизни», то есть лица. Для этой «ниточки» в ту пору долго жили: Иоанн 114 лет, Никита 95 (по прозванию Пустосвят) и т.д. И нельзя помереть, «чтобы не прервалась»: остальные соловецкого м-ря. В 1732 г. Никита, возвращаясь от Иоанна с Топ-озера, направлялся в Ярославль, но по незнанию его завернуло в с. Сапелки, и туда же 30 других, неделю постились, тянули жребий, кому Преимушцим (патриарх) («предельный» – митрополит), за себя не ручались, опасение «не повредился ли я», поминая некрещеных, или еще что, поиски гарантии – Никита «неповрежденный». Подтверждается Василий Васильевич: типикон, главенство лица, конкретной «ниточки жизни» в древнерусской литературной традиции.

Еще хорошая цитата из *Вирджинии Вульф* – на тему расшатывания характера в современном романе (ее статья «Современная художественная литература»):

«Понаблюдайте в течение одного момента психику обычного человека в обычный день. Сознание получает мириады впечатлений – тривиальных, фантастических, преходящих или как будто выгравированных острой стальной иглой. Со всех сторон уст-

ремляется непрерывный поток бесчисленных атомов; и по мере того, как они падают – принимают облик жизни, в любой день – в понедельник или вторник, центр тяжести оказывается не там, где его искали раньше; значительным моментом оказывается не тот, а этот. Таким образом, если бы писатель был свободным человеком, а не рабом, если бы он мог писать то, что хочет, а не то, что должен, если бы он мог руководствоваться собственным чувством, а не условностями, то не было бы сюжета, комического, трагического, любовного интереса или катастрофы в общепринятом смысле... Жизнь не серия симметрично оборудованных ламп, жизнь – это светящийся ореол, полупрозрачная оболочка, окружающая нас с начала сознательной жизни до самого конца. Разве не является задачей романиста передать эту изменчивость, этот неведомый и ничем не связанный дух, – какова бы ни была его аберрация, как бы он ни был сложен, – и при этом передать, насколько возможно избегая примеси чуждого и внешнего. Мы выступаем не только за смелость и искренность; мы предлагаем, чтобы предмет художественного произведения был иным, чем тот, который сила обычая заставляет нас считать подлинным» (V. Woolf. The Common Reader. Second ed., L., 1925, p. 189).

Эта мысль – о перемене *предмета* изображения как основе всех прочих стилевых перемен, о том, как развивается понятие реализма в зависимости от того, что считать за реальность и подлинность, – давно меня занимает.

20 марта.

Ах, Машечка! Получил твою бандероль с Писаревым и Гофманом – очень в точку, – и, устыдившись моего недомыслия посреди твоих забот, спешу хоть несколько слов добавить про Пушкина, о котором так долго не было ни слуху ни духу, а теперь вроде б настроился, да только еще не успеваю, и поэтому так мало.

* * *

К тебе сбирался я давно
В немецкий град, тобой воспетый,
С тобой попить, как пьют поэты,
Тобой воспетое вино.

Уж зазывал меня с собою
Тобой воспетый Киселев...

Так Пушкин приветствовал в одном из писем – Языкова. Действительность измерялась списками воспетых вещей. Начинаясь колонизация стран средствами словесности, и та как с цепи сорвалась, внезапно загоревшись надеждами в изображении всего что ни есть. Зачем это было нужно, толком никто не знал, и меньше других – Пушкин, раньше прочих почуявший потребность в переключении окружающей жизни в стихи. Он поступал так же, как дикий тунгус, не задумываясь певший про встречное дерево: «а вон стоит дерево!», или зайца: «а вон сидит заяц!», и так далее, про всякую всячину, попадавшуюся на глаза, сличая мимоидущий пейзаж с протяженностью песни. В его текстах живет первобытная радость простого называния вещи, обращаемой в поэзию одним только магическим окликом. Не потому ли многие строфы у него смахивают на каталог – по самым популярным тогда отраслям и статьям? Предполагалось, что модное слово, узнаваемое в стихе, вызовет удивление: подлинник!

Надев широкий боливар,
Онегин едет на бульвар...

.....
К *Talon* помчался он, уверен,
Что там его уж ждет Каверин.

.....
Пред ним *roast-beef* окровавленный
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет.
И Страсбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым.

Пафос количества в поименной регистрации мира сближал сочинения Пушкина с адрес-календарем, с телефонной книгой по-нынешнему, подвигнувшей Белинского извлечь из «Евгения Онегина» целую энциклопедию. Блестящее и поверхностное царскосельское образование, широкий круг знакомств и человеческих интересов помогли ему составить универсальный указатель,

включавший все, что Пушкин видал или читал. Тому же немало содействовали отсутствие строгой системы, ясного мировоззрения, умственной дисциплины, всеядность и безответственность автора в отношении бытовавших в ту пору фундаментальных доктрин. Будь Пушкин более ученым и методичным в этой жадности к исчислению всех слагаемых бытия, мы бы с ним застряли на первой же букве алфавита. По счастью, «мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь», что в сочетании с легкостью нрава сообщало его таблицам характер небрежной эскизности и мелькания по верхам. Перечень своего достояния производился по стандарту зафиксированной из окна мчащейся кареты картины. Впечатление создается столько же беглое, сколько исчерпывающее:

Возок несется чрез ухабы.
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.

Такими наборами признаков он любил покрывать бумагу. В нем сказывалась хозяйственная закваска Петра. Взамен описания жизни он учинял ей повальную перепись.

21 марта.

Параллельно с бандеролью получил письмо от тебя, о котором думал, что уже и не увижу, – № 93, а все Петров виноват, нарисовавший селедку столь обглоданной, а свою фамилию столь неразборчивой. Вдругорядь рисуйте разборчивей.

Таким образом, теперь я все имею полностью – по 95 включительно.

Письмецо очень славное, и меня вполне устраивает, что ты ничем не интересуешься, кроме любви, так и живи, а я тебя за это ни на кого не променяю и не отдам.

А свидание было прекрасное – да! да! а сейчас уже ручейки повсюду играют, вот и третья зима миновалась, солнце кипит, и я спрятал валенки с калошами в дальний мешок и по тебе вздыхаю. Да хранит вас – тебя и Егора. Будьте моими.

А.

22 марта 1968.



Тускло написана Маврина... – Книга Костина (см. примечание к письму 48).

«Деревянные актеры» – повесть Е.Я.Данько.

Ловко это вы распределились. – Речь идет о днях семейных именин и рождений.

Получил... Гершензона... – Синявский получил от Андрея Меньшутина воделенную книгу М.О.Гершензона «Мудрость Пушкина» в редком издании 1919 года.

...как про Розочку... – Это из анекдота, в котором перечисление несчастий кончается словами: «Вы будете очень смеяться, но Розочка тоже умерла».

...Флоренский... повергает в изумление... – П.А.Флоренский. Обратная перспектива (см. примечание к письму 46). В этом выпуске «Трудов...» также были напечатаны статья «Структура стихотворения Хлебникова “Меня проносят на слоновых”» В.В.Иванова и «Материалы к поэтике Анны Ахматовой» Т.В.Цивьян.

А Паола – дура. – Паола Волкова, моя коллега по Институту кинематографии (ВГИК). Из моего письма: «Сегодня мне с утра пораньше морочила голову Паола, у которой появилась новая идея: в косметической больнице, где меняют форму носов, перетягивают кожу, чтобы не было морщин на морде, и устраивают прочие развлечения дамам, делают такие операции по удалению лишнего сала из разных мест. Так вот, Паола размышляла вслух, не удалить ли ей излишки жира с брюха. И все советовалась со мной. Говорит, что риску никакого – останется только шрам на пузе, но т.к. у нее уже был аппендицит, то шрамом больше – шрамом меньше – уже не принципиально.

Прости, что лезу с такой чепухой, как бабье сало, но день-то сегодня какой? Что еще делать 8-го марта?»

...из нового романа о Достоевском... – См. примечание к письму 46.

ПИСЬМО ПЯТИДЕСЯТОЕ

Сегодня получил от тебя письмо (№ 96), открыточку и телеграмму с оплаченным ответом, который я тотчас использовал, – все от разных чисел, но все печальные, не знаю, чего это мое письмо не доходит, я думаю, ты скоро получишь и все образуется. А телеграмма твоя почему-то подписана двумя именами: «Маша Вера». Наверное, опечатка? – Егор?

С Егором вы очень хорошие, и хочется погладить вас по головке – за то, что имеете свойство привязываться надолго и крепко и держать в мыслях любимые вещи. По твоей же озабоченности – придется ему немножко подрасти для понимания – не волнуйся, тихо воспитывай, и выровняется.

Еще у меня неудобство – сапоги текут, как сволочи, но не сверху, а кое-где микропор протерся, и вот; но это потому, что очень уж топко и вязко, а пройдет весна, я в них еще погуляю; не хочется заболеть, но, говорят, в этом состоянии не часто простужаешься – организм регулирует.

Телеграмму я послал и про любовь тоже, и завтра-послезавтра ты, вероятно, получишь, и станет тебе поспокойнее.

Когда только на это я твой ответ получу?!

25 марта.

Читаю Писарева и удивляюсь, как он своими наивностями и нигилизмом захватил меня лет тридцать назад, а то и раньше, в такой мере, что это ведь благодаря Писареву выяснилось в детстве, что критика интересная вещь и может переворачивать скучные тексты вверх ногами. А сейчас все совсем не так. Но, может быть, правильно Писарев и Маяковский в наставниках, уча неожиданности и новизне.

До Гофмана еще руки не дошли, и пока его читают другие. Но какое удовольствие помнить, что он тут, под боком! От одного слова – Гофманиана – бьет током воздуха, волной в каких-то переливах павлиньих перьев. Достаточно – не читать, а держать в руке – любя и зная книгу-магнит, имеющую, наверное, свойство оказывать действие помимо чтения, но своим физическим телом, памятью, упаковкой – такой компактной – столько историй. В книге есть что-то от скатерти-самобранки, от ящика Пандоры. Ее можно открыть – и закрыть...

26 марта.

Представь, какая вчера была забавная встреча. Меня уговорили пойти в кино, я долго не соглашался, капризничал, но писем от тебя не было, дурное настроение и сырые ноги в конце концов перевесили, и я пошел. Представь дальше мое удивление, когда еще в титрах под названием «Вертикаль» появился артист с песнями своего сочинения и исполнения*. Играет он, правда, самого себя в состоянии депрессии, да и играть-то ему нечего, фильм про альпинистов, и песни про них же, весьма посредственные, но голос и манера местами те же, вот и встреча.

И все одно к одному (какая все-таки во всем этом ироническая дальновидность судьбы): на днях спрашивают, не хотите ль послушать? – хочу – и вдруг батальоны, счетчик щелкает, в Вологде – вон она где, и глаза вот такие, не верящие: вы знакомы?! – как если бы был знаком с самим Бахом или Генделем.

Сегодня пришло твое письмо № 97 и открытка от 16-го февраля – ну и долго же они ходят. «Дымзу» – не читал*, но, по-моему, мы его смотрели в кино. И верно – похоже.

А про Егорушку спасибо – с лужами и про Егора с тающим снегом*, чтобы поехать ко мне, – очень люблю.

Еще я теперь надеваю автомобильные очки на работе, а то глаза засорялись опилками, а теперь не засоряются, но у меня смешной вид, и в очках работа течет более отрешенно. Не здесь ли еще одно свойство маски, маскарада – не то, какими мы кажемся в маске со стороны, а как себя чувствуем под покровом, глубже и спокойнее, словно под водой.

28 марта.

«Машечка-деточка-красавица», – так часто говорю я себе-тебе, чего-нибудь делая, – скороговоркой. С Егорышем тоже говорю – всякую чепуху.

Что же мне делать? Писем от тебя нету, и писать тоже не про что. И уже март заканчивается, а я все не двигаюсь и сижу, по пути к тебе, на третьей всего страничке, но очень преданно и нежно думаю и отношусь.

30 марта.

Слышала ли ты, Машенька, такое имя – Эпиктет? Я не знал раньше, что он такой хороший. Теперь я часто вспоминаю о нем и удивляюсь. Правда, до его учения быть счастливым при любых обстоятельствах – я не дорос, но все равно очень приятно, что жили подобные люди. Говорят, он был рабом, к тому же – хромым. Я словно таблетки от головной боли принимаю, помня его имя – Эпиктет. Кажется, оно даже не было его собственностью, а досталось по наследству от хозяина – по правилам Древнего Рима.

Головная же боль появляется от громкоговорителя, который в нашей секции никогда не выключают. В других секциях выключают или играют тихо, но мои-то соседи любят громкость и даже утверждают, что под радио лучше спится. Особенно достается в выходные дни. От длительных попыток не слышать и заниматься своим делом – разваливается голова, и я стервенею. Странно, в журналах все время печатаются статьи о сбережении тишины и охране человеческой психики от разного шума, но в быту эти теории как-то не прививаются. Сильно надеюсь на тепло, которое позволит заниматься вне помещения. Скорей бы. А то мой Пушкин течет ужасно медленно, и боюсь, в этом письме ничего о нем не скажу. А во втором «Новом мире» читал рецензию на цветаевского Пушкина*, и, знаешь, на этот раз написано более грациозно, и мне понравилась и мыслями, и слогом. Хочется, конечно, чтобы про эти вещи писалось более акцентированно.

Сейчас подошли два человека и горгочут через мою койку с третьим, что на другой стороне, – на чужом языке. Откуда это человек умеет распространять вокруг себя столько страдания? Или это я понемножку свихиваюсь? Если ходят, то непременно топают, если беседуют, то на крике, не говоря уже о костяшках, стучащих в домино, – это мне в голову гвоздь вбивают.

Прости за истерику, потеплеет – полегчает.

А вот что писал Эпиктет:

«Каждый из нас вправе считать себя сыном Бога. Подобно тому как наше тело родственно вселенной и, пока мы живем, подвержено влиянию одних и тех же сил, а когда мы умираем, разлагается на одни и те же элементы, так и душа наша связана с Богом и родственна Ему, ибо она – часть Его, часть Его существа. Нет такого душевного движения, которого бы Он не видел, потому что мы с Ним одинаковы по существу. Все сердца раскрыты перед Ним, все желания ведомы Ему. Ходим ли мы, говорим ли, едим, – Он всегда с нами; мы – Его алтари, Его живые храмы; мы – это Он во плоти. ...

Как истый отец и хранитель, он распределил добро и зло на такие предметы, над которыми властны мы сами. ... Он дал нам силу терпеть и отыскивать то, что нам дает счастье. ...

В жизни мы имеем время учиться и на деле показывать, чему мы научились: в аудиториях мы просвещаемся, а Бог ежедневно ставит нас на самые трудные посты и говорит нам: «Теперь пора выдержать испытание». Поистине жизнь подобна олимпийским играм, в которых мы являемся борцами Бога, которым Он дал возможность показать, из какого теста они сделаны.

Только следовать Ему, быть с Ним заодно, охотно подчиняться Его господству, принимать то, что милость Его дарует нам, и мириться с недостатками того, в чем Он нам отказывает. Хороший человек должен постоянно думать о том, кто он, откуда произошел, кому обязан своим существованием, о необходимости заполнить собой то место, которое Бог указал ему, брать вещи такими, каковы они есть, и говорить вместе с Сократом: «если на то воля Божья, то пусть будет так». Ты обязан подчиниться своему закону, но ты должен иметь мужество поднять свой взор к Богу и сказать: «употреби меня на что Тебе угодно; у меня нет воли перед Тобой; я Твой; я не буду допытываться, если Ты не хочешь открыть мне то, что предназначено для меня».

...А затем мы должны ожидать срока, установленного Богом. Он назначил нам наше место в жизненной борьбе, и этого места мы не должны покидать, пока Он нас не отзовет. Призыв же Его явствует из внешних обстоятельств: если Он нам не дает того, что нам необходимо для выполнения нашего дела, если Он посы-

дает нас туда, где мы не можем естественно жить, тогда значит, Он, наш главный вождь, подает нам знак к отступлению, тогда Он, господин мирового хозяйства, сам открывает дверь и говорит: «Иди!»

И если Он так поступает, то не жалуйтесь на вашу неудачу, но будьте послушны и следуйте призыву; продолжайте свой путь, как рабы Божьи, сделавшие свою работу и сознающие, что Он в нас больше не нуждается».

Я вдруг подумал, что это письмо приедет к тебе как раз соответственно.

Даром что Эпиктет ходил в язычниках. Но равновесие души у него совершенно античное, и логичность античная. Ну а насчет сходства, то это о нем сказано: «Слова мудрых как иглы, как вбитые гвозди. И составители их все от единого пастыря».

31 марта.

Почему-то я не очень представляю, как ты относишься к 1-му апреля. Все-таки, вероятно, неплохой день, вроде праздника дураков. Только надо из него сделать день приятных и прекрасных обманов. Чтобы радовать друг друга добрыми сюрпризами. Как ты считаешь? У нас с тобой, Машечка, все времени не хватало, а можно было бы...

Сегодня мне подарили банку хороших консервов, и я приятно обманул ею своего знакомого, и мы ее съели в эту честь. Что-то на новой работе у меня появился аппетит, и я стал поедать больше хлеба. Или это весна. Спать тоже приходится немножко больше старого, чтобы не так уставать. А так я ею доволен. Только она не имеет, жалко, четкого наименования. Вот раньше было ясно, кто я есть: «мойщик стула» – это звучит, имеет вес. А от опилок производное – «пильщик», и непонятно: возчик – не возчик, грузчик – не грузчик, а все вместе и вперемежку.

А недавно я нас с тобой вспоминал и улыбался: нет, Маша, не все еще виды транспорта мы испробовали. Например, можно ездить прямо по земле на железном листе. Очень здорово выходит. И как я тебя люблю – просто удивительно. Откуда нам такая взаимность?

А разгружаю и нагружаю почти нагишом, чтобы меньше пота и пыли и ловчее двигаться. И когда, приступая, выпрыгиваю на

улицу, в первую минуту ужас охватывает, особенно если ветер, но быстро разогреваюсь. А потом я обдуваюсь воздухом, который летит из такой трубки, что все сдувает. А потом лезу в душ – и перед концом работы теперь моюсь в душе каждый день или каждую ночь.

Забыл за собой заметить на свидании или тебя спросить, стучу ли я ложкой в тарелку, когда ем суп. Говорят, привычка хлебать из глубокой миски к этому приводит, и по такому признаку легко отличить зека. А вот еще изречения:

– Батоны в пупырях. Консервы «Крабы»: черви такие белые – в бумажках.

– Экспресс обтекаемой формы.

– Темный, как махорка.

Такие романэ.

– ...И тем самым устранить из жизни.

Покажите же теперь ваше мужество.

– И каждая жилочка должна быть на боевом учете.

Порядок в танковых частях.

Рубать уголек с огоньком.

Мы радовались поблажкам.

– Весь он какой-то кривоногий, и даже нос переломан.

Мне больше подходят женщины типа мадам Бовари.

Я восемь лет преподавал в школе философские предметы.

И врач стоит, в белом халате.

Ну, что нам звезды! Спрашивается, почему же мы так много о них думаем?

– Я, говорю, слепну. Он говорит: «Мания».

– Электрический свет делал ему лысинку на макушке.

Ты только форма. Содержание – не ты, не твое. Запомни, ты только форма. Был – и нету тебя.

А вот тебе, Маша, подарок с 1-м апреля. Какие бывают фамилии. В детстве почему-то 1-е апреля стоит по значению чуть ли не за Новым годом.

1 апреля.

...еще...
...ся результаты.
Призерами чемпионата стали:
токарь А. Достоевский,
фрезеровщик А. Котиков,
слесарь Б. Медведев, фрезеровщица Г. Быкова, токарь А. Баранов и другие молодые мастера.
Все победители награждены памятными медалями и специальными знаками «ауреатов». Первенство вы...

Получил твою телеграмму, что ты получила мое письмо, и отлегло от сердца. А то что-то тревожно последние дни жилось за вас, да и теперь будет не так уж тяжело узнавать из твоих писем, отправленных до телеграммы, как ты там волнуешься, если я знаю, что письмо уже дошло. А волноваться – судя по письмам, которые еще только едут ко мне, – тебе предстоит еще дней десять, и эти десять дней надо нам с тобой прожить.

Иногда в уме встает вопрос, согласился бы я, к примеру, заснуть на тот срок, пока сижу, чтобы скрасить и сократить это время? По-видимому, не согласился бы. Потому что надо это время не проскользнуть, а прожить, медленно и тяжело ступая, каждый день в отдельности и все подряд, один за другим пройти. А ты как думаешь?

Сейчас постепенно освобождаются вокруг меня знакомые и незнакомые люди, и жизнь с каждым отъездом становится все более одинокой, что к лучшему для меня; как с поезда слезают на встречных станциях пассажиры, а мы все едем и едем, и, честно, я не завидую, их дело такое, они свое проехали, а мне еще путь впереди.

Смешно только (хотя, смеясь, понимаю, почему так бывает), когда у слезающих появляются какие-нибудь новые проблемы – вроде волос, которые к воле хочется отрастить, или костюмчика, который надо отгладить, а как это сделать? Мне все это кажется детским садом, и я думаю, не только потому, что нам с тобой далеко до этих приятных забот. Но ведь не у всех есть жена Маша, во-первых, с которой можно смеяться и понимать. Очень я доволен и рад, что ты мне досталась.

А Пушкина я не буду касаться в этом письме – ладно? – хоть есть немножечко слов про него, но их надо сначала еще раз перетряхнуть, чтобы меньше путаться. Но сегодня, сидя в стороне и читая, я слышал еще одну реплику, подтвердившую мое правильное понимание нашего поэта. Она относилась к какому-то шаромыге: «Ты смотри – у него как у Пушкина. Сразу находит выход».

А ты знаешь, книгу Грица «Летопись Щепкина»* недавно весьма высоко оценили в «Вопросах литературы», и все-таки это приятно, несмотря на всю жалость.

Очень я сумбурно пишу на сей раз, безо всякого порядка и управления, что в голову придет, и не скучно ли тебе?

Интересно, какую форму могут иметь книги. Например – образ дороги, по которой уходит автор по мере того, как течет рассказ, и он уходит вслед за рассказом, восхищаемый так, что вместе с приближением к концу исчезает, и оборванный финал пишется крупными буквами, взяв ручку в обе руки, по-детски, письменами, высекаемыми с трудом, как малограмотный, физически одолевая графику букв, – короче, книга, к концу начертанная с неба на землю и теряющаяся в молчании.

Иная форма – история с птичьего полета (дервиш в «Махабхарате», живущий в пальцах истукана): удаленность не отдаляющая, но способствующая прояснению действия, подобно тому как многие становятся дальнзоркими к старости, и толща времени служит увеличивающим стеклом, фиксируя в фокусе Индию или Египет, более нам очевидные, чем если смотреть впритык.

Или ситуация (в одном из рассказов Мериме): герой рассказывает о дуэли*, и по всему ходу изложения можно предполагать, что это он погиб на дуэли, но он уходит как ни в чем не бывало, и непонятно, с кем же мы все-таки разговаривали. Возможно, у него была главная жизнь, а «сейчас» – отражение в полузабытьи мелкого бытия*, воспоминание о «том», настоящем, – спрашивается, о чем разговариваем, если каждый твердит о своем, и диалог перерастает в ситуацию мысленных жалоб, отправляемых по привычке в пространство, по отрешенной способности жить «главным» событием нашей биографии и по отношению к этому «главному» все объяснять, – о чем не спрашивают, не принято спрашивать, но что послужило пружиной, причиной «этой» жизни, о чем непрерывно думает человек, переживающий в частной судьбе, быть может, идею грехопадения в целом, – и, может быть, наиболее правилен этот вид существования, как более осознанный, осмысленный, сообщающий тусклой повседневности «ту», возвышенную мотивировку.

Сходная фабула в рассказах Гаршина*, у которого странности персонажа в действительности правы и правильны, ибо более мотивированы и отвечают понятию полного, содержательного бытия (скажем, смех персонажа, давящийся хохот по ночам, тихо живущего своими, такими «большими» мыслями: тупое, ничего не выражающее лицо и такой полный, такой осмысленный хохот). Отсюда же их страх перед жизнью, ничем не мотивиро-

ванной, не гарантированной и такой «пустой» на взгляд пережившего состояние полноты. – Ну а женщины?! – ему говорят. А что ему женщины – молчать, и улыбаться, и снова молчать. Одинокие скитальцы с прошлыми жизнями, молчащие лишь потому, что какое, собственно, ко всему «этому» они имеют отношение?

3 апреля.

На бабушку я не в обиде*, хотя, конечно, не могу с ней согласиться. Она видит и любит Егора – отдельного, изолированного, прекрасного мальчика, вне тебя и меня взятого, и ей странно, что он вдруг оказывается вовлеченным в какую-то еще систему прав и обязанностей.

А ты Маша и Машечка, и ты умеешь понимать широко вещи, как им и следует быть. Ибо нам надо встретиться с Егором не только для него, для меня, для тебя и для нас всех, вместе взятых, посидев своей семейкой за одним столом, но и больше, – этого хочется, наверное, и матери моей, и деревьям, и книжкам с картинками, которые мы с детства любили и будем любить всю жизнь. Трудно, да вряд ли и нужно все это объяснять бабушке; у нее своя жизнь, далекая этому кругу чувств и интересов; тут корни и росточки неслышные, оказывающие действие даже помимо нас, вроде, скажем, твоих побывок на кладбище*, или ощущения собственности к бархатному альбому, или наш Север, Киев, Витебск, книги и много чего еще.

Мне на днях подарили картинку из журнала деревянной церквущечки 17 в. из-под Костромы, ныне перевезенной в самый город, в Ипатьевский м-рь, написано, куда все такое свозят для сохранения. На сваях (!) от затопления, двускатная, припорошенная снегом – ну прямо сахар. У меня здесь тоже и свои Кижки есть – хороший снимок.

Про футбольную льдышку* бабушкин школьник правильно сказал, – и это тебе большой комплимент, пожалуйста, не при-творяйся. Только я не знаю, как вы с Егором станете через годик-другой на подметках по уличным раскаткам кататься, когда ты не умеешь. А также – лыжи?

А возвращаясь к протестам бабушки, они, естественно, должны быть учтены в том случае, если Егорка вдруг затемпературит или что-нибудь в этом роде. Тогда переноси – на август или на другой год.

4 апреля.

Ну вот, как мы и думали, идут твои вопящие письма, ужасно жалостные и несчастные, хотя эта печаль пока позади, и я, читая, печалюсь и улыбаюсь одновременно и говорю: ну вот и прошло, и не больно, давай я подую.

На дворе типичный апрель, серенький, присмиривший. Деревья вдали сделались совсем размытыми и чудесно просвечивают. Но еще холодно, и, когда возвращаюсь ночью с работы, молодые льдинки хрустят – это хорошо, а то большая грязь.

Ношу твои перчатки – первый подарок сюда, ужасно почему-то влюбленный и слезный. Надеть их или просто держать в руке – немножко к тебе притронуться.

Последнее письмо от тебя пришло № 1, при недошедшем 99-м. Но последние два дня ничего не было, и я очень жду – особенно те, что ты напишешь, уже получив мое письмо.

А для твоего приезда ориентир – на следующей неделе я буду работать в 1-ю смену, а на той, в которую жду, – тоже в первую. А сейчас посмотрел на календарь и вижу, что следующее письмо отправлю тебе не 20-го, а на день позже, потому что все равно воскресенье.

Жаль, какие-то детали-проблемы ты упустила рассказать при свидании. Еще раз – делай себе список, чтобы мне от вас не отстать. А то некоторые оттенки на свидании ты думала, что уже мне описывала, а я, оказывается, впервые слышу.

И у меня все интересное, что происходит внутри и вокруг, – имеет всегда сноску рассказать Маше, и я настолько привык все это сносить с тобою, что такое направление предметов к тебе и дает им смысл.

Все-таки, Мария, за это время, странно сказать, мы, может быть, друг друга даже глубже узнали и еще больше приблизились. А?

И меня жутко растрогал твой рассказ, пускай о бесполезном звонке в прошлое, – потому что, значит, ты подумала, что мне это может быть любопытно, и вот позаботилась.

А когда ты рассказываешь о своей последней дружбе с Егором, приобретающей все более разумный и увлекательный характер всяких книжек и льдышек, – мне хочется быть на его месте. Вообще-то я никому не завидую – только Егору – как ему можно с тобой интересно жить.

Целую вас и обнимаю.

А.

5 апреля 1968.



...артист с песнями своего сочинения и исполнения. – Владимир Высоцкий в фильме «Вертикаль». Высоцкий, бывший студент Синявского в Школе-студии МХАТ, был многолетним другом нашего дома.

«Дымзу» – не читал... – Тадеуш Доленга-Мостович. Карьера Никодима Дызмы.

...про Егора с тающим снегом... – Из моего письма: «А Егор, нежный и трогательный мышонок, все себе чирикает: – А когда стает весь снег...» И дальше про поездку к папе.

Через несколько дней: «А еще он меня сегодня очень растрогал: я уже давно обещала ребеночку покататься с ним в машине. И вот несколько прогулок про это забывала, а он напоминал, только когда возвращались домой:

– Мамочка! А почему ты меня сегодня не покатила?

И я смущенно находила веские доводы и причины, и не могла же признаться человеку, что просто забыла. Но вот сегодня гуляли мы, гуляли, и вдруг мимо едет такси. Остановили, сели, поехали, глазели по сторонам, покатались на 40 копеек, вылезли, еще погуляли, пришли домой. И уже когда раздевались, Егор спросил:

– А почему мы не поехали на машине к папе?

Понимаешь, он про тебя все время думает и мечтает и помнит, что поедem к тебе...»

...читал рецензию на цветаевского Пушкина... – В.Швейцер. Памятник Пушкину // Новый мир. 1968. № 2.

...книгу Грица «Летопись Щепкина»... – Теодор Гриц (1905–1959), филолог, литератор, друг Н.В.Реформатской. Принимал участие в первых публикациях литературного наследия Маяковского и Хлебникова, автор статей о футуризме, кино и театре, а также книг о примечательных фигурах отечественной истории и культуры. Труд последних лет жизни Грица – исследование «М.С.Щепкин: Летопись жизни и творчества» – вышел посмертно с предисловием В.Б.Шкловского в 1966 году.

...герой рассказывает о дуэли... – Пример маскировки. Никакого отношения к Мериме текст не имеет. Читать надо так: «герой рассказывает о расстреле», а вместо слов «мелкого быта» – «тюремного быта». Тот же прием – **...в рассказах Гаршина...**

На бабушку я не в обиде... – Мы с Синявским много раз обсуждали, когда лучше привезти Егора на свидание, чтобы познакомить его с папой. И решили, что лучшее время для этого – 1968 год. Егору уже три с

половиной года. Он уже оценит отца, но еще не поймет про лагерь. Из моего письма: «Идут сплошные драмы с бабушкой из-за предполагаемой в апреле поездки Егора к тебе.

Во-первых, бабушка даже усумнилась, знаешь ли ты, что Егор живет у нее.

Во-вторых, она считает, что эта поездка – сугубо моя затея, а ты о ней пока даже и не подозреваешь, и уж, конечно, ты не можешь меня одобрить в таких сумасбродствах.

В-третьих, я вообще зверь и изверг, который не считается ни с ней, ни с тобой, ни с ребенком, а думает только о своих прихотях.

А в-четвертых, если ты даже и согласен сейчас, чтобы мы в апреле приехали вместе, то как только ты узнаешь, что бабушка против, то, несомненно, если ты порядочный человек и желаешь добра своему ребенку, ты тут же запретишь мне такие фокусы.

– И вообще, во имя благополучия ребенка надо жертвовать такими прихотями, как свидание с ним!»

...твоих побывок на кладбище... – В годовщину смерти матери Си-нявского я всегда навещала ее могилу на Ваганьковском кладбище.

Про футбольную ледышку... – Из моего письма: «Мы сегодня играли в футбол – гоняли ледышку по сухому уже тротуару. И ребеночек радовался, и бил ногой, и так размахивал ею, что даже промахивался, а я подбивала ледышку точно с одного удара и очень далеко, так что малыш вдосталь набегался. Но прохожие (спешащие мимо сплошь в зонтиках и в микропористых подметках, искоса поглядывали на меня) были нами очень недовольны, зато мальчишки – совсем наоборот: они нас одобряли, и все было хорошо, пока меня не сразил наповал маленький такой школьник, должно быть первоклашечка. Он с приятелем долго смотрел на наши игры, а потом в совершенном восторге и с завистью сказал другу:

– А вот моя бабушка со мной так не играет!..

Вот так-то! А еще называют этих негодяев “цветами жизни”».



ПИСЬМО ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВОЕ

Скворцы прилетели. И ужасно галдят на своих скворечниках. Тут этих скворешень целый лагерь. И на обед я бегаю раздевкой, без ватника, и все быстро сохнет, и сапоги уже не так промокают. И травка, представь, уже кое-где вылезла. Я сперва думал, это прошлогодняя, а она совсем свежая. И леса стоят розовые и бледно-зеленые, не от листьев, конечно, а просто ветки такие, – до невероятия тоскливые и умилительные.

А в письмах у тебя опять перебои. И дни поэтому сделались длинными и пустыми.

9 апреля.

Но вот сегодня на этом пустом фоне появилось сразу четыре, мне еще на работе сказали. И весь развод я заранее радовался. Из них – одно от Меньшутиных и одна – из них же – открытка крупного формата с чудесной картинкой в лодке. А главное, Машенька, пришли наконец те, что в ответ на мое писались, и поэтому ласковые, мне в утешенье. Я сразу на всё даже отвечать не стану, чтобы иметь экономию на дурные дни, когда ничего не будет, и вот тогда я их перечитаю и опять.

Очень я люблю, когда ты оживляешься и начинаешь рассказывать с милой мимикой. Она очень чувствуется в твоей письменной речи, и я через нее тебя немножко вижу.

И Егор за умывальником прекрасен. Только мне все равно из последних больше нравится книжная серия. Это я к тому, что один знакомый, которому я показал Егоровы фотографии, сказал, что лучше всех он вышел за умывальником – детская святость. Но я не согласен.

А собачек я давно получил* и удивлялся их изысканности, и росту, и сходству, – просто кони, а не собаки (интересная поговорка у якутов существует «я – конь»).

Меньшутины смешно рассказали* про Гершензонову книжечку и как ты одним взмахом разрешила задачу, и я сразу представил, люблю-люблю и в уши, и в глаза. Спасибо им и тебе – «Мудрость Пушкина» очень прищлась. А недалеко, говорят, расположено небезызвестное Болдино. Вот так болдинская осень.

И завинчивающаяся аристократичная банка из-под кофе – тоже пригодилась. Только с нее этикетка слезла, но все равно такая светлая и красивая посуда, приятно держать в руке что-то красивое. И танец тоже хорошо прищелся*.

А я думаю, раскрась тебя, как зебру, все равно годишься, и не могу без тебя. Только лучше не надо. А тот розовый крем – ничего: можно с ним, можно без него – одинаково.

А фонарик из тех мест (где жила телка-тезка), и потому появилось имячко. Но не только потому.

10 апреля.

Давай-ка, Маша, вспомним о Пушкине. Только в прошлых фразах о нем: вместо «раньше прочих» – «лучше прочих»; вместо «сидит заяц» – «бежит заяц»; вместо «бытовавших в ту пору» – «бытовавших в то время». И последний абзац тоже слегка переменялся. Для ясности с него и начну.

Такими наборами признаков он любил покрывать бумагу. В нем сказывалась хозяйственная закваска Петра. Взамен описанию жизни он учинял ей поголовную перепись. Прочтите его донесения о свойствах русского климата, о кругообороте обычаев, знакомые любому дошкольнику. С простодушием Гумбольдта Пушкин повествует, что летом жарко, а зимою холодно и дни в эту пору становятся короче, население сидит по домам, катается на санях и т.д. Он не стеснялся делать реестры из сведений, до него считавшихся слишком банальными, чтобы вводить их в литературу. При всей разносторонности взгляда у Пушкина была мания к тому, что близко лежит.

Вселенский замах не мешал ему при каждом шаге отдавать предпочтение расположенной под боком букашке. Чураясь карикатур и гипербол, Пушкин карикатурно, гиперболически мелочен – как Плюшкин, посадивший имение в трудах по собиранию мусора. Впервые у нас крохоборческое искусство детализа-

ции раздулось в размеры эпоса. Кто из поэтов ранее замечал на человеке жилетку, пилочку для ногтей, зубную щетку, брусничную воду? С Пушкиным возникла традиция – понятие реализма связывать главным образом с низменной и мелкой материей. Он открывал Америку, изъезженную Чеховым. Под Чехова у него уже и псевдоним был подобран: Белкин.

С другой стороны, подобная дотошность по мелочам служила гарниром пушкинским генеральным масштабам. Уж если так разнюхано обеденное меню у Онегина, значит, в романе правдиво отобразилась эпоха. Между тем – совсем не значит. Энциклопедичность романа в значительной мере мнимая. Иллюзия полноты достигается мелочностью разделки лишь некоторых, несущественных подробностей обстановки. Там много столовой посуды, погоды, бальных ножек, и вследствие этого кажется, чего там только нет. На самом же деле в романе внаглую отсутствует главное и речь почти целиком сводится к второстепенным моментам. На беспредметность «Онегина» сетовал Бестужев-Марлинский, не приметивший всеми ожидаемого слона. «Для чего ж тебе из пушки стрелять в бабочку?.. Стоит ли вырезать изображения из яблочного семечка, подобно браминам индийским, когда у тебя в руке резец Праксителя?» (Из письма Пушкину, 9 марта 1825 г.).

Пушкин нарочито, в открытую, писал роман ни о чем. В «Евгении Онегине» он только и думает, как бы увильнуть от обязанностей рассказчика. Роман образован из отговорок, рассредоточивающих внимание на полях стихотворной страницы и препятствующих развитию избранной писателем фабулы. Действие еле-еле держится на двух письмах с двумя монологами любовного кви-про-кво, из которого ровным счетом ничего не происходит, на никчемности, возведенной в герои, и, что ни фраза, тонет в побочном, отвлекающем материале. Здесь минимум трижды справляют бал, и, пользуясь поднятой суматохой, автор теряет нить изложения, плутает, топчется, тянет резину и отсиживается в кустах, на задворках у собственной повести. Ссора Онегина с Ленским, к примеру, играющая первую скрипку в коллизии, едва не сорвалась, затертая именными пирогами. К ней буквально продираешься вавилонами заторов, начиная с толкучки в передней – «лай мосек, чмокание девиц, шум, хохот, давка у порога», – подстроенной для отвода глаз от центра на периферию событий, куда, как тарантас в канаву, поскользываются

ется повествование.

Конечно, не один Евгений
Смятенье Тани видеть мог,
Но целью взоров и суждений
В то время жирный был пирог
(К несчастью, пересоленный);
Да вот в бутылке засмоленной,
Между жарким и блан-манже,
Цимлянское несут уже;
За ним строй рюмок узких, длинных,
Подобно талии твоей,
Зизи, кристалл души моей,
Предмет стихов моих невинных,
Любви приманчивый фиал,
Ты, от кого я пьян бывал!

Но вот гости с трудом откушали, утерлись и ждут, что что-то, наконец, начнется. Не тут-то было. Мысль в онегинской строфе движется не вперед, а наискось по отношению к взятому курсу, благодаря чему, читая, мы сползаем по диагонали в сторону от происходящего. Проследите, как последовательно осуществляется подмена одного направления речи другим, третьим, пятым, десятым, так что к концу строфы забывается, о чем говорилось в ее зачине.

Уж восемь робертов сыграли
Герои виста; восемь раз
Они места переменяли;
И чай несут. Люблю я час
Определять обедом, чаем
И ужином. Мы время знаем
В деревне без больших сует:
Желудок – верный наш брегет;
И кстати я замечу в скобках,
Что речь веду в моих строфах
Я столь же часто о пирах,
О разных кушаньях и пробках,
Как ты, божественный Омир,
Ты, тридцати веков кумир!

12 апреля.

Сегодня твои именины, моя девочка.

На меня часто накатывают какие-то дикие волны нежности к тебе, и верности, и благодарности, и служения, которыми совершенно растворяюсь и задыхаюсь. Это как воздух в лесу, имеющий свойство затягивать в себя все глубже и дальше по мере того, как мы дышим им и не можем насытиться, так что на каком-то глотке, кажется, теряешь сознание от погружения в эту чистую сферу вдоха, из которого выныриваешь только затем, чтобы еще и еще раз нырнуть.

14 апреля.

Приходят твои большие открытки (письма не приходят, а только открытки). С очень приятными и родными картинками. Даже удивительно, что такие появились. Для меня они похожи на окна в большой и чудесный мир. Правда, из-за своего размера они портятся по краям, которые, наверное, вылезают из пачки и мнутся, и обтрепываются и попадают ко мне лохматыми. Но все равно хорошо.

Только текст что-то не весел. И я стараюсь угадать, как ты бегаешь и терзаешься, моя бедняжка. Очень бедная и очень моя.

С ларьком у меня теперь гарантировано: я на ставке, и каждый месяц должно оставаться чистыми, кажется, десятка по крайней мере. Ставка что-то около 30-ти. За питание – половина, да три с половиной (не помню точно) за кашу. В результате я даже сумею сделать себе запас. А дополнительную кашу я все время ем по утрам. Она с маслом и с сахаром. И хотя ее делю на двоих, все равно ощутимо.

В «Голубиной книге» облака происходят из мыслей: «буйные ветры – то дыхание Божие; тучи грозные – думы Божии». А согласно «Эдде», когда боги творили мир из тела великана Имира, – из черепа было создано небо, из мозгов – облака. И где-то еще встречал подобное.

Облака, облака, летающие острова. Мысль – как наплыв, как проносящиеся, полные дождя клубы воздуха.

15 апреля.

Оказалось, вы болеете, мои ненаглядные дитятки, мои звери и птицы. Как же это так?

Переложились бы на меня все ваши болезни и затруднения, и я бы все это с удовольствием перенес. Все равно ничего путного. Так

хотя бы так. А вы должны поправляться и улыбаться на солнышке.

То, что Егор, по-видимому, не приедет, – мне, главным образом, жаль его разочаровывать. Уж очень он хорошо настроился. Боюсь, он не поймет, что переносится на август наша встреча или на тот год, и подумает, что все это один обман.

Нельзя их обманывать – они очень на нас надеются и нам верят. И хочется этому доверию соответствовать. Может быть, только это и значит быть отцом.

Душа за вас разрывается. Будьте сильными.

16 апреля.

Начали поступать и твои письма (№№ 4–6), только в обратной последовательности, сначала те, которые писались потом, а потом, которые сначала, от чего я слегка путаюсь и теряюсь. Вдобавок на открытках ты иногда забываешь ставить дату, а штамп не всегда четок, и тогда мне совсем уже трудно сообразить твою молодую жизнь. Знаю определенно, что Егор все болеет, но вроде бы температура уменьшилась, а письмо мое к тебе все не идет и не идет. И так давно и долго не идет это мое письмо, посланное вслед за другим, тоже никак не шедшим, что они странно сливаются в моем уме, как во сне, бывает, снится, что уже видел раньше этот сон, который все длится и не может кончиться.

Ты хоть не изводись, Машка, из-за этих писем, это ведь надолго. По-видимому, в работе почты наступила новая стадия, к которой следует если не привыкнуть, то относиться более спокойно, как к печальной неизбежности. Теперь, вероятно, и другие мои письма будут ходить к тебе много дольше обычного, и что же из-за этого тебе всякий раз впадать? Ну жди их не на 10-й, а на 20-й день – и всё тут.

Живу в суеде разных дней рождений, проводов, побелок, прожарок. Последняя для меня сущая напасть, перед которой я испытываю ужас хуже клопов, потому что их нет, а я существую, и тяжеленную кровать надо макать в кипяток, и тумбочки и все вещи вытряхиваются, а как быть с книгами, когда на дворе ветер и снег, – как сегодня? Спасибо Смолкину* – выручил. Зная мое паническое отношение к этим проблемам (я за несколько недель обычно начинаю тихо ныть по этому поводу), он явился с утра и, кроме собственной кровати, помог оттащить мою, я считаю, это героизм, тем более ему нужно было спешить на работу, а я во вто-

рой смене. Это уже второй раз он меня так выручает, появляясь в самую трудную минуту, улыбающийся, сияющий, – это его последняя прожарка, а они производятся два раза в год.

Получил твой билетик на примаченковскую выставку в приятном розовом колорите (жаль, внутренний зверь не раскрашен и проигрывает, ему бы – внутри – надо быть живописнее) и очень заинтригован, как она удалась, и что ты на ней делала, и из кого состоит ее школа? – Я надеюсь, ты мне все это подробно опишешь.

А пушкинский билет от тебя я тоже получил, и он мне понравился еще больше – особенно своим тихим изяществом и старомодными стихами, прозвучавшими как-то вечно и веско – на вечный пир, на Новый год вообще, и ощутилась разлитая за билетиком интеллигентность, какой-то гершензонностью, я бы сказал, немного повеяло.

Да, вкусы заметно меняются, и мне отсюда это, может быть, еще виднее; вот недавно по радио Бабеля передавали, только очень кричат, не учитывая, что речь по эфиру предполагает еще большую гармонию, тем более в театрализованной подаче, я вспомнил унисон голосов в «Мещанине во дворянстве», когда можно слушать драму как музыку, с Бабелем этого не получилось, все на крике, и напрасно педалируют, вживаясь в образ по системе Станиславского, его пародийно-просторечные эффекты, забывая, что утрированная проза не требует утрировки голосом, наоборот, ее надо читать более отрешенно, притушенно, чтобы эти гротески не резали ухо, не превращались в буквальную вульгарность; об этом хорошо как-то сказал папочка, мы смотрели в кино «Сорочинскую ярмарку», и в ней было показано, как парубок швыряется грязью в бабу, и эта жидкая грязь, да еще, кажется, раскрашенным способом текла у нее по лицу, так вот, отец сказал – и это мне очень запомнилось почему-то, – что нельзя же словесный образ переводить прямо в зримую изобразительность, что гоголевский юмор превратился в заурядное хамство с этой буквальностью; не понимаю, как он догадался так верно это заметить, мало и плохо знакомый с тонкостями искусства.

Ты правильно сетуешь на мгновенную затрепанность многих образов старины, входящей все более в моду, что мне тоже заметно хотя бы по журналу «Турист», о картинке из которого я недавно тебе рассказывал. Кизи теперь надо снимать только с верто-

лета. Да и вообще прялкой, лубком, собором нынче не удивишь. И тут только один выход – перейти на иную ступень изложения этого становящегося банальностью материала, что поделать, Пушкин ведь тоже давно стал общим местом; от демонстрации и описания никем не виданной, удивительной вещи перейти к ее метафизике, и тут все вновь делается удивительным.

Но я лично сейчас не очень расстраиваюсь из-за этой моды. То есть имею в виду себя, человека. Вот суздальские открытки как меня поддержали. (Кстати, если их нетрудно купить – пришли мне отдельный набор при случае бандеролью, чтобы можно было когда подарить какую.) Очень ведь я скучаю по изобразительному искусству. Даже иногда по античным слепкам из музея имени Пушкина. Так бы, мечтаю, пройти по этим залам и вспомнить детство.

Словесное искусство все же доступнее. Все-таки книги. Да и устная речь поражает порой затейливостью. Вот смешные строчки из песни в роскошном стиле. Беру лишь фрагменты, потому что в целом она довольно скучна и пошла.

Глазенки светлые красивенькой блондиночки
Зажгли в душе моей пылающий костер.
Порой глядит она и даже не смущается,
Порой мелькают только ямочки в щеках
И грудь девичья колышется вперед.
Зубами зверскими бюстгальтер я сорвал.
И до утра я тело Валечки терзал.

«На улице, где прошло наше детство, почти никого не осталось из тех ребят, что проходили совместное детство, а кто и жив, тот давно где-нибудь пристроился в семейном кругу благоустроенной квартиры».

«Я был тогда совсем клопом».

«Раз нашлась твоя точка нахождения».

«Он уже большой, почти 6 лет».

«Много пришлось учиться и познать ряд наук, а особенно в профиле работы, по которой сейчас и работаю».

А вот фраза из давнего прошлого, поразившая меня фонетическим и иерархическим рисунком:

– Эй, фраера! Передайте людям, что я умер как вор!

17 апреля.

Получил от тебя бандероли с блокнотами, журналом «Огонек» и семиотической книжкой* – спасибо, спасибо! Блокноты невероятно шикарные, экстра-класс. А книжечка, кажется, полезная. Во всяком случае я так и впился во всех этих Перунов: вдруг чего-нибудь выужу. Очень хочется ухватить за бочок сказку. И вообще я ужасно радуюсь, получая от тебя подарки. Это я не к тому, чтобы ты это делала чаще, мне и так хорошо с тобою, а просто радостно иметь от тебя всякую добрую весть. Ведь я, помимо прочего, по этим бандеролям надеюсь, что Егорышу лучше стало. Или не так?

И за мамину фотографию спасибочко.

Как-то не верится, что на будущей неделе я тебя смогу увидеть. Уж очень непредставимо.

А весна какая-то дурная. Вот сейчас у нас очень холодно и ветрено и, когда идет дождь, вместо него падает крупа. И может быть, будет правильней, если ты не потащишь Егора. Даже кажется иногда, что холоднее, чем зимой. А мы ведь уже половину весны прожили. В меньшутинском письме упомянута проблема летнего отпуска, и я, читая, вдруг подумал, что почему-то лето я тоже воспринимаю как своего рода отпуск: вот придет лето – отдохну. Реликт, что ли?

Зима была неплохой все-таки. И опять странно: на всю зиму распространилось событие нашей встречи с тобой. Как будто на фоне маленькой и быстрой, скомканной зимы была большая и долгая – во весь белый свет – наша встреча. А у тебя так же или иначе?

18 апреля.

С чего ты взяла, моя желанная Маша, что я тебя мало люблю в последнем письме? Хорошо, что получила. И я рад узнать из открытки, что вы с Егорычем выползли на улицу. Только ты не думай, что я от тебя отвлекся. Все равно ты знаешь, что нет мне ничего интереснее. А письма, конечно, бывают на разном уровне жизненных сил.

А еще мне понравилось (в другом твоём письме), как ты рассказываешь, как в одной руке у тебя Егорова лапочка, в другой мое письмо, в третьей шариковая ручка и т.д. Удивительно каждый раз вспоминать, что ты моя.

Во все глаза смотрю семиотику и, невзирая на машинный стиль, с приятностью узнаю, что «смерть» и «море» одного корня. А также «земля» и «змея». Так я и знал. Вот он, Змей Горыныч.

Если когда-нибудь будешь сидеть в библиотеке, выпиши и перелистай слегка книгу: П.Г.Богатырев. Словацкие эпические рассказы и лиро-эпические песни. М., 1963. Там где-то в районе 70–80-х страниц должно быть об украшении вечного дерева, и может быть, встретятся елочные аналогии. А также в статье С.Эйзенштейна «Воплощение мифа» – в журнале «Театр», 1940, № 10.

А что это за книга с попавшимся и понравившимся названием – П.Мантейфель. Досуг при свете лучины. М.; Л., 1964? Не фольклорно ли этнографического толка? Фамилия тоже со смыслом.

Думаю, не связано ли с прялкой что-то большее, чем посиделки, женихи и всякое тряпье. Нет ли здесь прядения каких-нибудь нитей судьбы? Ведь самая красивая вещь в доме – неужели только по бабьему делу? Ничего почти не встречается. Туговато без многих книг откапывать эти корешки.

Недавно разговорился случайно с одним грузином про ихних водяных и леших. У них – полно, куча обычаев, восходящих к языческой древности, а фольклористами мало записано и почти не обследовано. Вот работы-то энтузиасту. На Кавказе ведь дух предков сильнее сидит. И есть даже дух горы.

Еще надо тебе летом, Машуня, отдохнуть в каком-нибудь деревенском месте, с Егорычем – тихо сидя. А то ты страшно заматанная ходишь. И вам надо поднабраться крепости и здоровья. Может, знакомые чуть-чуть позаботятся.

Я очень на вас надеюсь и вами дышу.

20 апреля.

С праздником, Машечка. Христос Воскрес.

Как ты и что ты – но я с тобой. Если не всегда в письмах удастся это выразить, то в воздухе очень заметно. И сейчас, и вчера вечером. И завтра так будет. Когда ты кушаешь, ты и за меня кушаешь. И поэтому будь, пожалуйста, здоровой и радостной. И вспомни, где будешь.

Как я жил вчера? Небо было очень звездным. Пришел с работы, повесил в головах полотенце чистое, которое мне на днях подарили. Как будто убрался к празднику.

Бывает, от такой мелочи все зависит. Лежишь, например, в чистой рубашке и сам на себя умиляешься. Вот и полотенце – почти вымытая до блеска квартира.

Занимательны (вне связи) два соотношения – одно физическое, другое нравственное. Физика: если, представим, здесь все полно суеты и движения (все течет, все изменяется, так, что ли?), то там господствует покой и молчание, полная тишина. Но как только представим, что здесь все тихо и неподвижно, то там сразу все осмысливается движущей силой, энергией.

Мораль: за что даруется высшее благо? Оказывается, за то, что птичек кормил, когда самому хотелось. И сам не помнил, когда ж это было в жизни.

Еще раз благодарю за открытки – очень они пришлись. И за бандероль, собранную твоими ручками.

А ты помнишь, как ты жарила яичницу на Мещанке, у матери?

С котенком же, я считаю, ты преувеличила. В этом я убедился, когда хорошо относятся к кошкам, бывает, неожиданные и в общем плохие люди. И к детям тоже. И бывает, кошка идет к человеку, которого все не любят. И спит с ним рядом. И даже безумие не служит препятствием. Ей виднее.

А Егор вспоминает когда-нибудь о лете, о травке, о яблонях и т.д.

И еще у нас никогда не возникало соперничества за Егора: ко-го будет больше любить? Мне хочется, чтобы он больше любил тебя. И не только потому, что это естественно – любить мать во-первых. А потому что я тебя очень сильно люблю и мне хочется тебя любить еще и с его участием.

Целую вас обоих, мои детки.

А.

21 апреля 1968.



А собачек я давно получил... – Из надписи на обороте фотографии: «Украла у Хаславской портрет ее собачек. Чтобы хоть немножко потешить тебя и развеселить. Серую зовут Агафья, а белую – Аглая, в просторечьи – Ганя и Глаша. Глаша очень похожа на Наталью Николаевну, и тебе, как пушкинисту, это должно импонировать.

Меньшутины смешно рассказали... – Из письма Андрея Меньшутина Синявскому: «А еще можно было бы и другой эпиграф выставить, на фольклорный манер: «Будет тебе белка, будет и свисток» (так, кажется?). Точнее, собирались его выставить, намереваясь отвечать на твою новогоднюю от-

крытку и под ее ярким впечатлением. Именно в том смысле, что помянутую в этой открытке гершензоновскую книжку пришлем, разумеется. По этому поводу ты, правда, довольно витиевато выражался (я, дескать, не намекаю и т.п.). Правда и то, что уже мысленно снимали книжку с полки не без легкого (подчеркиваем: *легкого!*) вздоха. Да тут подросла одна наша общая знакомая и со свойственной ей решительностью быстро растолковала, что к чему: ну, разумеется, намекает, да еще как намекает!.. и какие вы, Меньшутины, зануды, что еще чего-то там раздумываете. От слов к делу: книжка с полки снимается, небрежно перелистывается, и бац! – обнаруживается, что половина-то ее вообще не разрезана! О, какое торжество одним (= одной), какое посрамление другим!!! Последние (посрамленные) пытаются что-то лепетать – ведь первую-то половину читали (а вторую всё вот собирались прочесть), и кто же, в конце концов, две начальные страницы в виде большой цитаты переписал и послал, из-за которой, собственно, чуть ли не весь сыр-бор загорелся... Но и слепому ясно, что исход был предрешен, и залитые краской стыда, отложили мы книжку в особое место, и ей, сразу как бы осиротевшей от отсутствия привычных соседей-знакомых, оставалось только ждать часа своей отправки. Час этот «пробил» где-то в конце февраля (м.б., самом начале марта?), и потому, надо полагать, «Мудрость Пушкина» у тебя в руках. При случае упомяни, так ли это?»

И танец тоже хорошо пришелся. – Это ответ на вопрос из моего письма: «Пришелся ли тебе мой танец пляска-плиска?» «Плиска» – болгарский коньяк. Я отправила в лагерь шесть бутылок этого коньяка, перелив их в более легкие пластмассовые фляги. Вес посылки не должен был превышать пяти килограммов. Посылка была адресована товарищу Синявского, находившемуся в добрых отношениях с цензором, который получал половину посылки за лояльность, проявленную при досмотре. Вторую половину Синявский с адресатом делили пополам.

Спасибо Смолкину... – Валерий Смолкин – двадцативосьмилетний инженер из Ленинграда, получивший в 1965 году три года на процессе по делу «Колокола». В настоящее время живет в Израиле.

...семиотической книжкой... – Вяч. Вс. Иванов, В.Н.Топоров. Славянские языковые моделирующие системы (Древний период). М., 1965.



ПИСЬМО ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРОЕ

А назавтра с утра снова шел снег, и ты, моя бедняжка, опять замерзла. И еще ты, наверное, огорчилась, что не помахала ручкой. Я тебе про это написал открытку: и так было все так хорошо, что нечего печалиться на твое опоздание*. Все очень проникновенно и душевно получилось и образовалось. И я рад, что догадался посмотреть на тебя без очков: давно не видал и соскучился. И ты ужасно красивая. Но ругаю себя за медлительность и неподвижность характера: впадаю в очарование и сижу оглушенный твоим присутствием, и даже улыбнуться не успел, как какой-нибудь истукан.

А на второй день подули горячие ветры, и природу начало бросать то в жар, то в озноб. Весна в этом году беспорядочная, истеричная, и нам не надо ей поддаваться. Это всё, говорят, виноваты появившиеся пятна на солнце, периодически возникающие каждые одиннадцать лет, влияя на заболеваемость, смертность, на психику и на климат, благодаря чему где-то уже писали о росте в новом году автомобильных катастроф. Поэтому нынче тебе и Егору не полагается много сидеть на солнышке. И вообще будьте сохранны.

Это письмо пишется немножко по-иному – не подряд, а спустя несколько дней со свидания (с нашего прекрасного, одушевляющего свидания), до которого я не писал, потому что его дожидаясь, и после которого слегка заболел в результате всех продуваний и переверотов погоды и дня три еле-еле таскал ноги на работу, с невысокой температурой, не поднимавшейся, мне сдается, выше 38°, но суставчики очень болели, и ячмень на глазу распух, и, когда текут из вагонки опилки, меня позывает на рвоту, и как толь-

ко появлялась возможность, я ложился и лежал себе тихо с закрытыми глазами (но мне все равно было хорошо и спокойно после тебя). А началось – интересно – с того, что во сне одна дама за то, что я от нее убежал, дала мне затрещину в левое ухо и я от нее проснулся вдребезину большим: грипп взял свое.

Теперь же я почти поправился (на самом деле, а не только для твоего успокоения), и приятно сознавать, как постепенно уходит из тела боль и ломота и ее остается все меньше, и меньше, и меньше, сходя на нет.

Но для письма осталось мало дней, и начались праздники, масса народу, шума, суеты, но я все же надеюсь все успеть тебе написать, потому что это для меня самое главное в жизни, но все распределяется иначе, чем раньше, и в один день я буду присаживаться к тебе по нескольку раз (а как ты присаживалась – да? да?), чтобы успеть все тебе выразить и рассказать. Четыре выходных дня накопилось. И погода ясная, хотя еще довольно прохладная, и деревья оделись зеленым пухом, так что хочется их погладить, и тебя обожаю.

30 апреля.

Накопилось также немало книг и статей, про которые начал что-то тебе лепетать при встрече, но тотчас бросал, понимая, что все равно не поспеть, да и сейчас в голове кавардак и я все думаю, что же такое хотел тебе высказать и не пришлось... А понюхав «Огонек», я так и подумал, что это нестероподобная роспись* привлекла внимание, чем-то неприятная, несмотря на профессиональность, возможно, как раз – густотой колорита, которого в локале нет и в помине, и потом, зачем же гостиницу путать с монастырем? Неприятательный примитив мог бы здесь выручить и был бы уместнее этой фрески Нестерова под Третьяковскую галерею.

Кстати, того же профиля подвернулась цитата из Городца* – родины прославленных донец, – где директор музея, мечтая о своем заповеднике и сетуя на разрушаемость, пишет:

«А разве плохо приспособить старинный дом под ресторан или кафе, где в соответствующей обстановке официантки в национальных русских костюмах угощали бы посетителей традиционными поволжскими блюдами?» («Неделя», № 34, 13–19 августа 1967).

Приспособить...

А мне припомнился Переславль с тобою, где когда-то официантки безо всяких национальных костюмов по-патриархальному не брали чаевых.

А такого рода приспособленные цитаты, пожалуйста, прибирай – проблема стилизации, все более серьезная.

Вообще легкие решения древности стали повальными. Солоухин в «Осенних листьях», собранных по примеру «Опавших» (и как это он не постеснялся взять такое краденое название?!), но удивляющих отсутствием сколько-нибудь оригинальных суждений, в виде специального афоризма предлагает раздумье:

«Красота окружающего мира постепенно аккумулировалась в душе древнего человека. Потом неизбежно началась отдача. Изображение цветка или оленя появилось на рукоятке боевого топора. Вместе с тем изображение топора или оленя появилось на скале, высеченное при помощи камня или нарисованное пометом летучей мыши.

Но что же все-таки было вначале: потребность души поделиться с другой душой (рисунок на скале) или потребность украсить свой боевой топор и тем самым выделить свою индивидуальность?» («Мол. гвардия», 1967, № 12).


Словом, что было раньше – курица или яйцо, не догадываясь, что ни того, ни другого тогда не было, не было, да и всё тут, как не было потребности аккумулировать красоту. Аккумулировать...

А «Юность» я еще не нашел*, здесь ее выписывает только библиотека, откуда номер выдан неизвестно кому. Но специально не доставай, – возможно, позднее найдется.

А вот Проппа можно было бы к сентябрю вернуть с конкурентом, и поэтому не мешало б прислать – очень нужен.

Все думаю про прялку и про пальму. Интересно, что в латышском языческом пантеоне существовала богиня Лайма (в значении света, судьбы, положительного начала) с двумя помощницами Деклой и Картой, так вот, орудие Деклы – прялка, которая, возможно, и связывалась с идеей жизненной нити, а все три очень похожи на древнегреческих Мойр.

А почему я обо всем этом думаю? – да потому, что, по-видимому, изобразительный фольклор, как и фольклор словесный, проникнут устойчивыми значениями – образами универсально-кос-

могонического, а совсем не бытового характера. И конь на крыше не скопирован с хозяйственного коня, обитавшего по соседству в конюшне, но ближе к коню – вселенной индийской ашмоведхи, и совсем не бытовые утки и куры разгуливали по деревенским столам, прялкам и полотенцам. В Латвии, например, и, кажется, еще больше в Литве на крыше в роли конька употреблялся петух, обозначаемый так примерно:  (и нет ли такого узора с таким же названием в русской вышивке?), а петух приносился в жертву весеннему богу Усиньшу (наш Авсень, Овсень), который ведет солнце (и петух близок солнцу, как и жар-птица), а кровью петуха мазали порог, чтобы за него не проникала нечистая сила.

У тех же латышей жаба как священное животное являлась посредницей с потусторонней сферой и прислуживала Велюмате (*букв.* мать умерших душ), имея вполне почтенный положительный смысл, так что наша бедная царевна-лягушка, возможно, не столь безобразна в своем первоначальном прообразе.

А волк, по всей вероятности, связан со словом «волочить» и имел значение оборотня, которому для превращений нужно было перелезть через что-то: латышский оборотень Вилкацис тоже связан корнем с волком (*Vilks*) и с глаголом, обозначающим необходимое перелезание. (А был еще волк положительный при главном боге Диевсе и имел тогда твердый эпитет – «божья собака» – правда красиво?) И вот наш царевич на сером волке – опять совсем не то.

Понимаешь, почему тут без Проппа не разберешься?

А наши наивные музейные дамы из книжки, что ты мне подарила еще при личном свидании, удивляются: «Откуда на дверце немудреной столярной работы мог появиться цветок, не связанный с русской природой?» (стр. 50) – как будто древнерусский художник, прямо по Солоухину, аккумулировал окружающую красоту в виде ромашки, будучи почти что Левитаном или (в лучшем случае) Ф.Толстым.

Так бы и укусил за бочок... Но трудно заниматься наукой, не имея библиотеки, куда можно пойти и выяснить все недостающее.

1 мая.

Еще я получил от тебя за это время кучу любящих писем, кончая № 10, телеграмму с благополучным возвращением домой и

бандероль с журнальчиками – как раз в последний день перед ка-никулами – и всем много доволен и уважен, и в особенную тебя целую и милую. И я в них играю. Все картинки очень нравятся, но где же та дама со львом, про которую ты, кажется, говорила? Восхитили – усатая и вместо воздушного шара, ну и ну.

Из микропридинок*: сочетания с прибавкой должны бы звенеть отдельно, а не слитно с тросточками. И глиняная скульптура – иначе же не назовешь – «же» режет ухо. И отбритую выдержку изнутри б немножко урезать. И точка перед скобкой, где сидит один угрюмый. И чем лаконичная деревенская палитра, лучше – палитры, без чем.

А в общем пахло хорошим Аполлоном.

А в языческих подвесках все очень пусто, и беда не столь в языке, сколь в том, что сказать нечего, и поэтому нудно описываются один за другим предметы, не нуждающиеся в описании, потому что либо их и без того видишь на фотографиях, либо их вовсе нет, и какое нам, собственно, дело, что у кого-то «головки повернуты к кругу, словно притягиваемые к нему какой-то силой». От бессодержательности также употребляются штампы – «незатейливые, но искренние» фигурки, «скромное, но выразительное» искусство и т.д. Всюду этот заколдованный набор из – простых, выразительных, скромных, искренних, непосредственных, ярких – эпитетов.

Жалко искусствоведов.

А вообще в журналах прибавилось изобретательности. Я давно не трогал, и приятно в руках подержать. И про вывески недурственно, хотя можно гораздо слаще и название некулемистое. Ужасающий дадаизм пущен из букв между живописью и поэзией, и я даже удивился, какие нынче пошли курбеты.

Но все это не очень глубоко, а главным образом эффектно.

А цветаевская Сонечка прижилась. И, несмотря на соседство изразцов, вывесок, Матисса, негритянских кубистов, Альтмана, Лисицкого и прочих ударников (ну и густо подобралось добротных имен и красивых вещей), окраина смотрится центром.

А к тебе, Машечка, помимо сказочной женщины я хотел бы еще прибавить титул роскошной, и что мне делать с такой красотой, я просто теряюсь в уме. И если б ты знала, как я к тебе отношусь, ты бы очень обрадовалась, если, конечно, я тебе тоже нравлюсь. И я хочу, чтобы Егор впервые увидел диких зверей не-

пременно с тобою вместе, – слышишь? – с тобою и при тебе, под твоею рукой. Потому что – как же иначе? и с кем же ему приобщаться к самому родному и прекрасному, что есть на свете. И я всецело поддерживаю и горячо одобряю твою идею не упустить эту возможность и сводить его в зоопарк, как ты свезла меня в Переславль. Смотри – не упusti. Нам всем это важно и дорого.

А то, что он преспокойно рассуждает о царь-пушке и царь-колоколе, – в самом деле необычайно, хотя я это почему-то хорошо представляю (может быть, потому, что сам люблю все это и мысленно с ним прогуливаюсь по всяким Кремлям).

И еще у меня давно вертелось в голове расспросить тебя, да все не было случая, – я имею в виду не только нынешний Егорушкин возраст, уже перешагивающий границу младенчества, но и более ранние годы, – так вот, не хотелось ли тебе когда-нибудь задать ему серьезный вопрос в расчете, что вдруг ответит ну что-нибудь вроде: «откуда ты»?.. Мне часто хотелось (и как будто и тебе тоже) – но он тогда еще не умел лепетать. А ты не пробовала? Или сейчас уже поздно проводить такой опыт, рожденный ощущением превосходящей мудрости ребенка по сравнению с нами, уже забывшими? Как ты думаешь?

Хитрющего Егора получил, и, вероятно, подобные мысли связаны с этой фотографией, точнее – не с ней, где он уже хитер по-мальчишески, во времени и пространстве, – а с родным и вызванным ею воспоминанием о его жутко хитрющем виде, помалкивающим из вечности, откуда-то из глубин бытия.

А про его именины я тогда в письме не забыл, а просто залюбовался на другую периодичность – через месяц друг за дружкой. Я очень к тебе лну.

2 мая.

А ты Маша-забываша, и это не в упрек, а в напоминание: я сейчас пишу на таких пожелтевших страничках из одолженной тетрадки, что, кажется, того и гляди они рассыпятся в прах. И все мои тетрадные запасы кончились, а ты еще в феврале собиралась прислать в клеточку. Бумага у меня в принципе есть, но она разной масти и менее удобна для писем.

И не забудь еще прислать киевские видики с твоим личиком, в котором я постоянно нуждаюсь.

А когда-нибудь потом – хорошо бы привезти на свидание для меня пару портянок, а то мои совсем износились.

А для разъяснения Меньшутиним, которым в поздравительной открытке я упомянул о Жуковском, – вот в чем фокус. Прекрасная цитата, найденная Гершензоном, принадлежит не Пушкину, а Жуковскому – в его письме Гоголю 1848 г., получившему название «О поэте и современном его значении» (но, по-видимому, эта мысль еще ранее высказывалась Жуковским где-то еще). И я на нее случайно наткнулся, листая его Полное собр. соч., т. X, СПб., 1902, стр. 82 (до чего ж приятно иметь дело с букинистической книгой!). Смешное – не в этой, вполне допустимой ошибке, а в том, что, по словам Гершензона, присланным мне в письме, Пушкин (а на деле Жуковский) безмерно углубил и с несравненной четкостью выразил мысль Жуковского. И это случилось, конечно, от безмерного уважения к классикам («Пушкин просит!»).

А еще мне понравилась картинка с паровым шоколадом, где у каждого пижона по моноклю. И я сам удивился, что, действительно, все с тросточками, при усах.

Вообще случается такое удивление – от неожиданной встречи с тем, что так и должно быть, и именно это сходство поражает. Сегодня, например, смотрел киножурнал с улицами Москвы – и вдруг киоск возле Ленинской библиотеки и невероятно знакомый кусок улицы Горького – и я ужасно удивился, словно толчок в груди: не может быть!

А еще я хочу с тобой в лес.

И ловлю себя часто на твоей милой мимике, которая, по всей вероятности, на моей физиономии выглядит довольно утрированно.

3 мая.

Вот и кончились праздничные отгулы. Четыре дня. А если учесть, что сегодня пойду во вторую смену, то почти пять. А я погуляю – и к тебе, за письмо присаживаюсь. Все присаживаюсь.

Между тем небо вечером приобрело летнюю фиолетовость. И вчера впервые лягушки запели.

– Учитесь у лягушек осознанию величия жизни.

А также вопрос, почему звезды обращены к нам персонально,

к каждой душе в отдельности, и словно бы вторгаются вглубь, и про них говорится, что «звезды смотрят», тогда как луна, хоть она гораздо больше и светлее звезд, на нас и не глядит и имеет отрешенную внешность? А ведь луна, казалось бы, сильнее должна касаться нашей земной природы, ну там лунатики, разные приливы, отливы, – но существует как бы в отсутствии нас, а звезды со всех концов устремлены прямо и точно в грудь, в душу, – и не потому ли мы тоже проявляем повышенный к ним интерес и, чувствуя свою зависимость, рисуем созвездия и составляем гороскопы?

– Разные жучки, мотыльки...

Мы самими собой заглушаем этот голос и говорим: – Помоги!

А Он отвечает: – Я с тобой. Я же с тобой. Неужели ты не видишь?

«Хочется перетолковывать на новый лад». Не потому ли, что всегда нова. Ну, конечно: «ничего не прибавив и не убавив». И все прибавляют. Убавить не в силах. Но прибавляют. От себя.

– Хорошие, справедливые люди были.

– Не говорит «прости», но подразумевает.

– Тело весь вечер не слушалось.

– На губе усы: с мошонки пересажены.

– Ее за две минуты уговорить можно.

– Мать уже старушка, но чувствует себя ничего еще.

– Да и вина, видно, твоя так велика, что ничего для тебя нет.

– Я выбил из себя женщину.

Леший – это снежный человек Древней Руси.

И еще мне понравилось, как ты написала в письме про Нерль. Что она, отраженная, выше и ближе к оригиналу.

4 мая.

Завтра Егоров день. А у нас в один час зазеленели деревья и воздух заблагоухал. До чего ж изящны эти ароматы, и какое в них высшее бескорыстие...

Вчера передавали Гайдна по радио, и я опять на тебя радовался и ликовал: эта музыка с тобою пришла, так же как Переславль.

Вообще целые страны и сферы настолько в моем сознании окрашены тобою, что вне тебя, вероятно, ничего б не осталось.

«А вот это смотрели вместе», «А вон то ты бы сумела понять», – и так все подряд.

Наверное, когда умирает близкий, мир обесцвечивается, и, чтобы он продолжал существовать, мы переговариваемся с умершими. И если личное бессмертие желанно, то не для того, чтобы «я» жил, а чтобы те сохранились, с кем длится и продолжается мир.

Даже слова стали нашими, и их тоже трудно сказать, чтобы не вспомнить. Куда мы уйдем от этого сплошного, расступающегося во все стороны зеркала?

Я чувствую, как мой язык все больше и больше становится письмом к тебе. Вот опять – язык. И все сказки.

5 мая.

Я очень ждал твоих писем, которые должны были подкопиться за праздники, и вот они у меня все сразу: три письма и две открытки. Из них одна пикассовская, ее еще не успел рассмотреть, перед самой работой получены, а конвертики взял с собой и читаю между вагонками, чтобы успеть ответить, потому что сегодня уже 5-е число и уже вечер. Из писем же – вот удивление – два (13 и 14) посланы уже после приезда, и Нерль, перевернутая в воде* так, что, не будь тут кое-каких тростников, никогда б не догадаться, что это отражение, пришта милой печаткой. Но я еще не знаю, хорошо ли, что она цветная, и, возможно, для города лучше смотрятся черно-белые фотографии, особенно ежели все показывается кверху ногами, отраженным в воде. Черно-белая гамма дает более нежные и мечтательные контуры.

А Егор похож еще на ту свою карточку, где он лезет из кровати с открытым ртом в той же дедушкиной традиции. Но эта новая еще лучше и сразу зачислилась у меня по разряду любимых. Жаль, много зерна.

А еще спасибо Петрову, что тебя ко мне возит. Мне много спокойней от этого и приятно видеть вас вместе. И еще создается от этого почему-то ощущение дома, который не провалился-таки.

Хоть и расходы и траты времени при поездках вдвоем увеличиваются – эта «непрактичность» для меня оборачивается самым что ни на есть практицизмом и реализмом – существования.

Поэтическая выставка, про которую ты рассказываешь, из всяких милых и смешных раритетов – очень понравилась.

В принципе возможны такие и очень интересны – по типу кунсткамеры, где все вразной. Но в той, поэтической, есть артист, лирический герой, придающий всему этому и мысль, и гармонию. Это как концертное выступление, как театр одного актера – со своим Версалем. Без такого экскурсовода, ведущего сольную партию радушного хозяина-рассказчика, устроить подобную выставку – требует еще какой-то изобретательности. Или средствами кино – помнишь, ты рассказывала о прелестном фильме из Абрамцевских теней. Или – средствами письменной речи.

Ведь в любом доме есть подобие своей коллекции, состоящей хотя бы из семейного альбома, из дедушкиной бекешки и черноморских камушков, нуждающихся в повествовании, – и если об этом хорошо рассказать, получится кунсткамера. Вот и страничка коллекционера напрашивается, имея шанс соприкоснуться с лирикой, с историей, с родословной. Вообще идея кунсткамеры мне представляется весьма увлекательной и таящей массу возможностей, в том числе декоративных.

А желудок у меня не болел. И гриппом схватило позднее. А теперь весь грипп вышел, оставив немножко насморку. А что вечером лучше – это конечно, и надо б учесть на будущее.

Теперь предстоит перегон самый длинный. Но я тобою много ободрен и обласкан. Вслед за свиданием, в его продолжение и развитие, подошли письма с бандеролью, и этим душевным запахом сейчас живу. Очень вовремя подошла твоя роскошность, и я в ней купаюсь, как в живой воде.

И когда ты пишешь про любовь, я совсем не скучаю, а наоборот, и ты не выдумывай, а пиши. Тем более что в ответ я тоже становлюсь немножко разнообразнее и даже перелезаю на лишнюю страничку, чтобы откликнуться на твои письма. Вот как бывает, когда их много. Только совсем уже нет времени в данную минуту – последняя загрузка вот-вот, и я спешу как сумасшедший и пишу тебе как попало, безо всякого выражения и метких эпитетов.

Это письмо вообще пришлось писать сгущенным образом из-за болезни, и я все эти дни только и делал, что тебе писал. И поэтому тоже находился очень близко от тебя. И даже во сне много бывал с тобою.

Ну вот, станки затихают, и пора лезть в опилки. Целую тебя на скорую руку. Будь здорова, ненаглядная и единственная жена.

А.

5 мая 1968.



...нечего печалиться на твое опоздание. – Уходя со свидания, А.С. не совсем точно сказал о времени своего выхода на работу, и я не успеваю прибежать на то место у запретки, откуда можно было его еще раз увидеть и даже помахать рукой...

...нестероподобная роспись... ..цитата из Городца... – Реакция Синявского на растущую известность художника Ильи Глазунова и постепенное превращение *нашего* Севера в предмет широкого потребления, т.е. в ширпотреб.

А «Юность» я еще не нашел... – Синявскому понадобился журнал «Юность» (1965, № 8, который он не успел купить до ареста), где впервые в СССР напечатаны стихотворения Пастернака «Сказка», «Божий мир» и «Август».

Из микропридирок... – А.С. получил от меня несколько номеров «Декоративного искусства». В одном из них (1968, № 3) была наша статья «На окраине искусства». Весь абзац – выговоры мне за стилистические промахи. Далее у А.С. – обсуждение и претензии к другим авторам этого номера.

...Нерль, перевернутая в воде... – К одному из писем я прицепила кадрик – отражение церкви Покрова на Нерли в воде.



ПИСЬМО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ

Все как встарь, как в прошлом году: сижу за тем же столиком, под теми же березами, и всякие сережки и семечки капают на бумагу, словно это было вчера. Скорость в распускании листьев, в повороте солнца на лето такая, как изображают в кино, когда хотят показать, что прошло столько-то лет: не успел снег выпасть, и уже тает, и уже вишни цветут. У нас уже распустилась черемуха. Может, это только здесь такая быстрота, что даже жалко, что все так быстро течет.

Интересно, что в песнях везде фигурируют четыре года: «За лесом солнце закатилось», «А на дворе хорошая погода», «Ребята, напишите мне письмо». Притягательная цифра «четыре» – уж очень точная. Три или пять не вполне достоверны и могут показаться пустым, общепринятым оборотом, «для круглого счета», а четыре – вполне конкретно.

Четыре и четыре – еще конкретнее.

Раздевкой проще работать – хотя сейчас приходится дольше ждать, покуда разгрузишься: котельная летом горит вполсилы. А мне недавно сказал один со смесью сострадания и злорадства:

– Посмотрела бы ваша жена, во что вы превратились... – Имея в виду наружность.

Ну я ему не стал возражать, что ты у меня достаточно философичная Маша.

А работенка веселая: смесь трубочиста и стрелочника. И я пока все еще при ней, и при каше, и при зарплатке.

Пока ожидаю разгрузки, люблюсь на лес, подошедший близко к запретке. Такая осянная плоть, фосфоресцирующая зернис-

тость. Опять, кроме Клода Лоррена, ничего не подберу. А ты права была: очень красивый художник.

И я тоже прав. Оказалось, существует гипотеза, что в праславянском языке «дерево» и «дорога» – слова общего корня. И я все думаю об устойчивости нескольких символов: дерево, конь и петух. Прялка тоже. Что у нее наверху шишечки обозначают? Уж не купола ли какие? И наверное, напрасно, без достаточных оснований, тяну ее в мироздание (дерево – тож). Но ведь на корне сидят, и вся она словно являет образ расцветшего дерева. Что ты на это скажешь? Валькирии тоже пряли военное счастье. И кикимора. И мойры, из которых одна и по имени была пряхой – Клото.

Живу, окруженный мифами, разбросанными по случайным изданиям, брежу ими, и из этого невзрачного крошева пытаюсь что-то понять. Вот случайно узнал, что в Древнем Ираке слово «конь» входило в собственные имена. Еще одно зернышко.

А как тебе такая загадка в форме диалога? –

«– Черныш, загарыш, куда поехал?»

– Молчи, кручено-верчено, там же будешь. (*Чугун и кочерга*).

И подобным образом – в среднем роде неизвестно куда и откуда выползших потаенных существ – все вещи шушукались и перемигивались в избе. И только на этом фоне понятна прялка. И как же тут не быть домовому или овиннику, если все кишело подобным переговариваньем.

«– Криво-лукаво, куда побежало?»

– Зелено-кудряво, тебя стерегу. (*Городьба и озимь*).

Это из жалкой хрестоматии. А где-то существуют чудесные, недоступные книги:

Л.Н.Майков. Великорусские заклинания. СПб., 1869.

Е.Н.Елеонская. К изучению заговоров и колдовства в России. М., 1917.

Н.Ф.Познанский. Заговоры. Опыт исследования, происхождения и развития заговорных формул. П., 1917.

Д.Н.Садовников. Загадки русского народа. СПб., 1901.

М.А.Рыбникова. Загадки. М., 1932.

Если они когда-нибудь попадутся тебе под руку – хорошо эти книжки иметь в собственном доме.

10 мая.

А вот кто жил до нас в Хлебном переулке! Забавно?

Как видишь, дражайшая Машенька, даты в этом письме опять чуточку сдвинуты в сторону отправления: едва то, первое письмо отослал, мне на несколько дней снова сделалось худо, – должно, по вине гриппа, от которого избавился, но он вроде

бы дал кратковременный резонанс, и я боялся осложнения на ухо или что – уж очень вся правая часть лица, от челюсти и вверх, разболелась, и я бы подумал на зубы, но там давно уже пусто и только одна десна с вырванным местом, ну и пошло, кошмар, и спать не удавалось, а температура, как назло, не поднимается, так и не знаю, что это было такое, теперь улеглось; все же, видать, развинтился за эти годики, рановато бы вроде, но уж очень легко и просто разбирает всякая дрянь непонятого происхождения, или нерв какой воспалился, кто его знает, поди разберись в этом устройстве, когда толком не знаешь, на что жаловаться – на ухо, кость, на незаживленную десну или еще какую полостную загадку. Теперь совершенно здоров, но эти останние зубы держат в страхе.

Поэтому и пишу снова с небольшим опозданием, то есть послать-то письмо я постараюсь вовремя, да все комом, второпях. А письма от тебя опять давно не приходят. Как пришли пятого кучкой, так с тех пор ничего не прибавилось. А уже неделя прошла.

У нас полное лето, комары кусаются, и вчера слышал, кажется, соловья – с той стороны. Ужасно радуется всякая травка, цветочки-листочки. И ты извини, Маша, что я в письмах слишком уж часто впадаю в пастораль: ничего нет кроме, а когда смотришь подолгу на один и тот же навязчивый, манящий ландшафт и он вдруг меняется на фоне неизменного быта и растет быстрее, чем мы живем, когда природа оказывается подвижнее человека и реагирует более внятно и сознательно и дает из одного ничтожного, в сущности, загончика столько пищи душе и глазу, что хочется ее непрестанно благодарить, – тогда возвращаешься невольно умом к одному и тому же дереву, и стремишься постичь это плот-

...перепу.
 В. А. Гиляровский в своих воспоминаниях о старой Москве рассказывает об умершем в 80-х годах минувшего века коллекционере и библиотеке М. М. Зайцевском, постоянном посетителе Сухаревки. Четыре комнаты в его собственном доме в Хлебном переулке были превращены в музей, где действительно имелись первоначальные произведения живописи, в частности иконы, и прикладного искусства. Что касается книг, то они были свалены в большом сарае во дворе, в том числе и первоначальные издания, например, произведения типографий Шефера, сподвижника И. Гутенберга. Все это пошло за бесценю после того, как М. М. Зайцевский умер.

ное пучеглазое облако, и удивляешься его доброте и превосходству над нами.

Если вздумаешь послать мне еще томик Гофмана, то лучше тот, где «Щелкунчик», в котором, помнится, есть что-то про вечное дерево. Но можно и не слать, а выпиши оттуда подходящую цитату, если такая есть.

Я тебя люблю очень серьезно. И все время держу в уме и в сердце.

12 мая.

Хорошая фамилия: Подпрыга. «Батрак Подпрыга».

– Хватит ли у меня силы мужества кошку в топке сжечь?

– Что такое является источником для процветания жизни?

Я так понимаю, что счастье, во-первых, и дети, во-вторых. Жена – нет. Дети.

– У человека столько направлений, сколько у солнца лучей.

Кто же им регулирует?

– Ты читаешь журналы, читаешь газеты, читаешь все, что для человека предоставлено. Скажи, что такое наука? – Наука це дзеля, це компрессора, це трактора. Це книга и все такое.

– В бактерии я не верю, а в витамины верю.

– Грудь оккупировало.

– Ауфштейн! – произнес мужичонка таким грозным тоном, что я ужаснулся: помнит! Ох, уж этот сверхчеловек. И рассмеялся ненатурально сверхъестественным смехом. Удивительно, как ненависть разъедает сердце. Как ненавидящие слабы и беспомощны, как ненавидящие беззащитны.

«Что ты крутишься, как змей на огне? Почему-то всегда “змей”, а не “змея”». Фонетика, что ли?

«Кнокать».

Лес лучше поля. В лесу укрыться можно.

К чему бы – счастье всегда с некоторым оттенком печали?

В суфийских текстах встретилось определение лица, позволяющее лучше понять законы иконописи. И странно, что именно здесь, в исламе, отрицающем изобразительность, обнаруживается истолкование лика.

«А когда упоминают *лицо*, имеют в виду миры, имеющие истинное бытие». («А когда упоминают *локоны*, имеют в виду миры,

истинного бытия не имеющие»). «Лицом и ликом называют проявления субстанциальной красоты...» «Лицо – указание на божественную субстанцию».

«О, весь мир очевиден в дарящем жизнь лике твоём, а лицо твоё явно в зеркале бытия!»

И ещё меня поразили в суфизме – идея незаинтересованности, позволяющая отбросить всякий намек на выгоду и расчёт, и, второе, – познание как уничтожение «я», и отождествление.

Раби'а (VIII в.): «Если я служу тебе из страха перед адом, то спали меня в нём, а если служу я тебе в надежде на рай, изгони меня из него».

Харакани (XIII в.): «...Чтобы все было только он, а тебя не было».

«Шейх сказал: «Господь окликнул мое сердце: “Раб мой, что надо тебе? Проси!” – Я сказал: “О боже, разве не довольно бытия твоего, чтобы просить ещё что-либо?”»

Джами: «Его истинные свойства слишком сокрыты, чтобы проявиться, его проявление слишком очевидно, чтобы быть скрытым».

«Бу Йазид спросили: “Происходит что-либо от усилий раба?” – Ответил: “Нет, но без усилий тоже не происходит”».

Все это в «Избранных трудах» академика Бертельса (М., 1965).

14 мая.

Машечка-деточка!

Вчера пришло твоё письмо про путешествие в зоопарк, № 15, и я вас очень люблю и вам завидую. Потому что какое это богатство знакомить Егора с животными и смотреть, как он их понимает первобытным образом. Больше всего мне понравилось, как он просиял в трамвае. И теперь интересно знать, помнит ли он о зверинце и запал ли кто оттуда в Егорычев обиход?

Только я не знаю, когда вы это делали, потому что ты в дате поставила: 25 апреля. А 25-го, помнится, ты была у меня в гостях, и как ты могла везде поспеть?!

А сегодня письмо о расклейках*, – тоже интересное. И мне нравится этот способ иллюстрирования – с поворотами на обороте, продолжениями и т.д., и вообще блочный метод переплетающихся картинок, существующих в отдалении от текста. И вооб-

ще тут можно много веселого понавыдумывать, чтобы зритель двигался и озирался по сторонам. Например, – как мы шли на Кулигу Дракованную (и чтобы самая большая Кулига – на задней обложке, а на передней – лесной горизонт). Или книга б имела углы жилого дома, и по ней бы ходилось, как по комнатам.

Но рассекание текста, по-моему, доколе он не служит подсобным, второстепенным сопровождением к картинкам, а имеет свой интерес, и сюжет, и логику, – тоже должно быть по-возможности крупноблочным. Чтобы он не перешел в фрагментарность заведомо пустяшных, необязательных замечаний – вроде диктора в кино. Меня, например, не смущает разрыв на 20, хоть на 40 листов сплошных картинок, но чтобы текст не перебивался другим текстом, так что всего понемножку и все вперемежку, как это делается в «Курьере» или в «Неделе», для того чтобы читатель, хочет – не хочет, был вынужден перелистывать номер, ища хвосты, – то есть принцип насильственного разрезания ради рекламы.

Впрочем, может быть, во мне говорит голос книги, претендующей на цельность и длительность, а не голос еженедельника, ежемесячника.

А твой 12-й номерок, написанный, как ты говорила, перед самым свиданием, так и пропал, и это очень жалко. Потому что мне драгоценно видеть твой лепет.

И все перебираю разные эпизоды, всплывающие со дна. Сегодня припоминалась собачка, которую ты вытащила из-под самой машины. И хромая мышь. За это я тоже твой.

16 мая.

Перечитывая Аввакума, смотрю: ну и сравнение – в духе древнерусской всей логики образа – путем рассекновения предмета по функциям (как с саранчей было), когда важнее символическое соответствие, чем внешнее сходство. В письме к боярыне Морозовой и княгине Урусовой он сравнивает обеих с супругами, с мужем и женою, хотя, казалось бы, женщинам не идет такое сравнение, но он, минуя несходство, преследует одностороннюю функцию – единения этих душ в стойкости и терпении:

«Увы, Феодосья! Увы, Евдокея! Два супруга нераспряженная, две ластовицы сладкоглаголивыя, две маслицы и два свещника, перед богом на земли стояще! Воистину подобни есте Еноху и Илии. ...

О, светила великия, солнца и луна руския земли, Феодосия и Евдокея, и чада ваша, яко звезды сияющыя пред господем богом! О, две зари, освещающыя весь мир на поднебесней».

Проверить: солнце с луною в парных изображениях, быть может, совсем не пейзаж, а лишь символы подобных светильников.

Еще я склоняюсь к мысли, что неподвижность фольклорного образа (в изобразительной, в словесной ли форме) восходит к единственной точности заклинательного знака, который должен и может быть только таким, только этим, а не другим, не любим, – к магической идентичности слова (рисунка) с вызываемым к жизни лицом. В этом смысле постоянный эпитет (типа «сыра земля», «красная девица») есть обращение к предмету по его имени и званию, и столь именной характер искусства обусловил его застылость, стереотипность, консерватизм: нельзя же всякий раз придумывать оригинальное имя, когда оно дано и заключено крепко-накрепко в предлагаемом образце. Молодец не откликнется, если к нему обращаться иначе, чем «ох-ты гой еси, добрый молодец». В основе фольклорного традиционализма прямота и неукоснительность заговора.

А еще в «Повелителе блох» я встретил такую сладкую фразу (произнесенную между прочим, как нечто само собой разумеющееся, и эта очевидность чудесного для героев и автора ужасно как веселит):

«– Пекуш, – заговорил он, – Пекуш, вы мой истинный друг; ибо вы единственный человек во всем Франкфурте, который знает, что я с тысяча семьсот двадцать пятого года лежу погребенный в старой дельфтской церкви, и никому этого не выдали...»

Ты прости, что я пристаю со всей этой чепухой и тереблю тебя в разные стороны. Но когда мы жили в одной комнате, можно было спросить: «посмотри, какая книжка» и «что ты на это скажешь», и я привык, да и независимо от писем, говорю с тобой по малейшему поводу, а в письмах, конечно, трудно на месяц вперед писать – «посмотри» и «как ты считаешь», но это так и есть, что я лезу к тебе со всей трепухой, и к кому же еще, и как же иначе?

– Старики говорили: спортишь сапоги. А я не верил...

– Зачем перелопатили материю?

– Валехается на мене. Смотрю – дочь генерала.

– Курил два года и был почти у самых врат.

А как тебе нравится в принципе – из серии теремково-рокошных проблем – фактор времени в восприятии памятника (или роль старины)? На тему, что ручки у Милосской Венеры где существуют и хорошо, что их нет. Пatina и все такое. Об этом писали Гете и Волошин. Но не это сейчас меня занимает, а вообще – как буквенная графика на Руси.

А пикассиная открытка очень красивая. И Егорыш на дорожке мил и смешон.

17 мая.

И еще я тебя люблю все дальше и дальше.

И еще мне вчера достали на день увеличительное стекло, и с помощью одного старичка я разбирал старославянские буквочки на сундуках и на прялках в книге о народной резьбе и росписи. Очень приятно видеть детали в увеличенном виде и вспоминать родные цветы, лепестки, птичек. Провозился полдня с одной надписью (уж очень увлекательное занятие), и она оказалась в стихах. Вот кусочек:

«Птица райская сирий. Глас же ея в пении (?) зело силен. (...? Возможно: Главу и) сосцы имеет зримо девичие. Протчие подобие все птичье. Которая на востоце во едеме пребывает. Непрестанно пение воспевае. Праведным будущую радость возвещает. Которые Господь святым своим обещает. Временем вылетает на землю к нам. Подобна сладка пением поет zde (?) и там. Всякий бо человек, во плоти живя, не может слышати гласа ея. Аще ли кому слышати случится. Таковий от жития сего отлучится. Не яко да там (?) он пребывает. Но во след ея теча, и над, умирает. О сих птицах книга Гранограм сказует. В четвертой главе яже показует. Пение ея святым в лепоту. Которое будет ея восход (?) на высоту».

Каково?

А еще я тебя век не забуду.

Мне выдали новую спецовку красивого синего цвета. Только брюки слишком длинные. Но сосед обещал резинку, и будут как шаровары. Это очень хорошо, потому на опилках моя одежда ужас как быстро расходуется – пропотевает, коробится и тр-р-р.

Люблю синий цвет. А ты какой? И какая ты у нас – зеленая?

А разбирая подписи в прялочной книжке, я будто дома немножечко побывал и притронулся к нашим дощечкам.

Еще получил от тебя открытку с Жорой Епифанцевым* и не знаю, плакать мне или смеяться. Очень жалостно видеть, как ты без письма сидишь, и нервничаешь, и тоскуешь. А физиономия Жоры почему-то повергает в веселость. Сплошные знаменитости!

Недавно пришло письмо от одного знакомого из здешних бывших, так вот, он расписывает очень красочно, какие все нынче модные и какие появились епипетские коньяки. Тоже смешно. И даже странно. Когда-то про всякие рубашки в полоску и без, «скромно, просто, но с достоинством».

Опять цитата?

Мне же в глаза бросилась еще одна мода – в стиле литературоведческих статей и исследований: пишут «своеобычный» вместо «своеобразный» и «художнический» вместо «художественный» Экий однако ж снобизм. И тоже – скромно, но с достоинством.

Наборы открыток от тебя получил. Но я от Серебряковой почему-то ожидал большего, судя по ее туалету в Третьяковке, который единственно знал. А оказалось – ничего особенного.

Суздаль же великолепен.

Я думаю, мне бы сейчас могла весьма пригодиться книга Василенко «Русская народная резьба и роспись по дереву» (М., 1960), и неплохо б ее достать и прислать, хотя бы с возвратом. (Кстати, если Меньшугиным понадобится назад Гершензон – сообщите.) Во-первых, на него постоянно ссылаются разные музейные дамы, и, видимо, это «последнее слово» науки. Во-вторых, надо знать это мнение в полном развороте – ориентироваться и отталкиваться. Кстати, там, кажется, есть что-то о мифологической подоплеке всех этих народных узоров, и надо б знать.

А еще нельзя ли достать журнал «Байкал» № 1 за 1968 г.* – там что-то про Ю.Олешу. Это уже, так сказать, из личных интересов.

18 мая.

Сегодня-вчера у меня был черный день, вернее бледная ночь. Во-первых, писем опять нету, и сколько можно. Во-вторых, раз пять сходили с рельсов вагонки, и требовалось их подымать и вагами, и

руками, и чем придется, и я здорово ухайдакался, и разболелась нога, которую давно зашиб, не помню уж по какому случаю. И выходящий день полетел к чорту, а я сильно на него рассчитывал. Но не думай, что я всегда ною и унываю. Порой мне бывает очень весело, притом без особых причин, просто так. И под звуки радио живу как в кинематографе. И моя жизнь мне будто бы смеется с экрана.

Все-таки пертурбация с временем и пространством вносит в существование неподдающееся логике качество – новое измерение, что ли, – дающее возможность на все посмотреть со стороны, как будто смотришь немного потусторонним взглядом. Непонятно: долго ли, коротко ли, мало-велико, хорошо или плохо, и испытываешь холодное чувство отторженного удивления.

И еще думаю, почему к Аввакуму в одну дыру вместились так много. Не потому ли, что – дыра? И чем она меньше была и дальше и глубже, тем больше в нее влезло. Иначе не объяснить появление столь обширной панорамы, дотоле неизвестной Древней Руси. Но это уже предмет специального размышления, на которое сейчас нету места и времени.

Сейчас подошел ко мне веселый конкурент и просил написать тебе от него персональный поклон. Он отрастил шкиперскую бороду огненного цвета и балуется трубкой для колорита. И в самом деле похож на шкипера.

Завтра понедельник, и, может быть, ты мне что-то пришьлешь?

19 мая.

Ничего нету. Не вышел номер. И, подводя итоги за эти полмесяца, я имел от тебя два письма и одну открытку. Не густо. Хотя тебе еще не гуще живется. Ну, может, Бог даст, завтра повезет.

А у нас цветут тюльпаны и много анютиных глазок. И многие одуванчики уже оделись пухом.

В одном журнальчике прочитал, что елка пришла из Германии, а свечки на ней повелись от еврейского *Праздника света*. Нельзя ли узнать, что это такое? Очень меня интересует сейчас всякая мифология.

А костюмчик я обменял на более подходящий размерами и еще шикарнее цветом, темно-темно-синий. Право же, от такого костюмчика я бы и на воле не отказался. И пачкать его жаль, а придется.

Еще жалею, что перед свиданием не сказал тебе привезти сигарет: последнее время сугубо сижу на одной махорке. А с кейфом пока обстоит лучше, да это и необходимо: как выгрузишь пару вагонок и представится время поразмыслить и полюбоваться природой, – чтобы что-то понимать, надо предварительно слегка покофейничать. Но я не злоупотребляю. И пожалуйста – верь мне.

Я, наверное, баловень, и люди ко мне льнут. Но мне от этого, главным образом, скушно и тяжело. Только с тобою умею и люблю разговаривать. И вообще быть.

Только грустно, когда ты в письмах мало про себя рассказываешь или их нету совсем, и я начинаю бояться, что тебе надоело со мной разговаривать с такими препятствиями или среда отвлекает. Хотя понимаю, конечно, что все это чушь и нету у нас ничего важнее друг друга. Раз уж привалило такое счастье, то надо на него дышать и надеяться. Оно стоит того. Пожалуйста, меня не бросай ни физически, ни в мыслях.

Как сказано в одном заговоре, которыми я сейчас увлекаюсь (а этот, кажется, приворотного как раз корня и свойства), –

«Ключ моим словам в небесной высоте, а замок в морской глубине, на рыбе на ките; и никому эту кит-рыбу не добыть, и замок не отпереть, кроме меня (имя рек). А кто эту кит-рыбу добудет и замок мой отопрет, да будет яко древо, палимо молниею».

Вот как я тебя уговариваю.

Будь здорова, моя любимица.

А.

20 мая 1968.



...письмо о расклейках... – Имеется в виду мой рассказ о работе над макетом журнала «Декоративное искусство».

...открытку с Жорой Епифанцевым... – Я послала Синявскому открытку с портретом его бывшего студента Георгия Епифанцева, однокурсника Высоцкого, ставшего в шестидесятые годы популярным советским киноактером.

...«Байкал» № 1 за 1968 г. ... – Главы из книги Аркадия Белинкова о Юрии Олеше были опубликованы в 1–2 номерах журнала незадолго до бегства Белинкова из Советского Союза.

ПИСЬМО ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОЕ

Как приятно не просто писать тебе, а отвечать на твои письма! Давно не было такого, и всякий раз, приступая к письму, я начинал с одной и той же, довольно-таки наскучившей фигуры философического одиночества. А нынче – по-иному. Нынче я могу позволить себе роскошь переписываться с тобою и откликаться взаимностью на все милые предметы, что ты мне написала, а их немало за последние дни: пять штук, и все подряд, аж до 21-го номера. Хотя, судя по штампам, они сейчас иногда валяются в ящике уже не по три-четыре дня, а, бывает, по целой неделе...

Это как печка, куда подбросили дровец, и вот мы уже разгорелись и оживились, или свидание, где хочется говорить про все сразу, перескакивать, возвращаться, опять сначала, и дальше, и вновь по-старому, и опять по-новому. Начиная с твоей фотографии на фоне Подола, несмотря на микроскопичность размера, меня очень порадовавшей (такая Машечка стоит и смотрит!), и кончая нашей родинкой, которой ты меня тоже очень ободрила (а почему наша, это не просто так, а я тебе когда-нибудь потом поведаю, чтобы тебе было интереснее меня поджидать).

Про Егора ты тоже очень хорошо и интересно рассказываешь. И мне нравится в нем, что тихо дрожит ручкой при виде игрушек, а сам помалкивает, и аккуратность его по душе, и мы с ним пойдем друг друга, и даже пускай, пока меня нет возле вас, он тебя немножко воспитывает. А мелкие недостатки в нем тоже необходимы, а то слишком уж ангел, а когда дети слишком уж ангельские, из них обычно мало что получается. Недаром куколки в детстве с годами дурнеют, и вундеркинды.

Конечно, с Егорычем тебе одной далеко уезжать невозможно. Вдруг что. Вон какие холода завернули, просто осень (и это обидно, когда кажется, что мы сразу через все лето перепрыгнули, а на самом деле чистая видимость, и ветер, и дождь, и чтобы читать и писать, я опять перелез на кровать, а когда ветрено, трудно управляться с опилками, которые летят вихрем, и вообще плохо, и хорошо, что мне как раз на такое мрачное время повезло с письмами, которыми упиваюсь, об которые греюсь и нежусь, и все время помню, что они у меня есть и можно их потрогать). И я надеюсь, что вы еще не успели выехать на природу. А нельзя ли потом с Меньшутиными податься в Хотьково? Или они туда больше не ездят, а сидят в новой квартире? Потому что ума не приложу, куда вам на лето деться.

С племянничком* для меня неожиданность, хотя, помнишь, я давным-давно предрекал, и мы должны с тобою друг на дружку глядеть во все глаза, широко их открыв и навек все забыв, а все остальное можно оставить и проститься – пусть как хотят. Не грусти, Машенька, «мы с тобой на кухне посидим»*, и это главное. И я с тобой тоже не хочу расставаться ни на день и ни на час, и это было бы самым счастьем, и я готов обещать, что от меня зависит. Иронизирование – мне до лампочки, плевать, ведь и раньше не в том заключалась главная неувязка, и я бы не эмансипировался, когда б ты была рядом, да что толковать, с тех пор помнел, да и ты, вероятно, чуть-чуть ощущаешь себя по-другому в мире, так что это не проблема, а только мечта – не отходить от тебя и не отпускать ни на шаг.

24 мая.

После Севера я тоже помню, что это был «Ботанический сад» и ты была одета, кажется, в юбку с той самой голубой кофтой, которую я любил, и наверное, жестяной цветочек-кружочек на шейке, но что уже в точности помню, что почему-то была почерневшая, ужасно красивая, и даже слегка дымилась.

Еще параллельно с письмами (их было сразу четыре, и бывают же такие удачные дни) получил четыре бандероли (зараз!) – все с журналами, не имеющими интереса (но зато есть любопытная Тэффи), и среди них твоя – с Гофманом, оба тома, и я возликовал, потому что это как ласка от тебя и рука.

И вообще я очень вокруг тебя व्यюсь.

А у нас такой холод, что не знаю, как в этом году выведутся птенцы, их сейчас самое время высидывать, и мне рассказали, как на проводе две ласточки, прижавшись боком, грели друг дружку, и утки ночью подняли шум, раздумывая, быть может, не пора ли на юг.

А по семейным портретам из альбома я не представляю, чтобы можно было меня разобрать, тем более флегматичный, покровственный, вялый, а ум и живость проснулись позднее.

Вне связи: давно замечено, имеется сорт людей, живущих наполовину и меньше отпущенных им природой возможностей. У которых позади (впереди) иная, запасная возможность прожить в другом месте и по другому поводу, и вот они здесь существуют вполсилы и как бы необязательно. Поэтому, быть может, они мало заметны и молчаливы и даже телесно кажутся не совсем полноценными, не выраженными до конца. Словно спиной растворяются и теряются в темноте, откуда они выныривают для того, чтобы пройти между нами и исчезнуть невыявленными, неузнанными. Лишь узкая полоска видна от человека на нашей поверхности. Другие осуществились же вполне и нашли себя и, действуя в нашей среде, реальны сверх меры, вжились и выжались тут, энергичные, говорливые, но эта законченность их образа жизни внушает легкую жалость: у них ничего нет, кроме наличных данных, и они умрут без остатка, когда истечет срок.

26 мая.

Перечитываю твои письма и снова радуюсь на наши с тобой, деточка, переключки. Когда почти в один миг думаем то же самое и соглашаемся друг с дружкой заранее, еще не слыша, не ведая, что сейчас творится на сердце у другого. И я всякий раз удивляюсь: как ты догадалась? И приплясываю: «тоже, тоже!» И зоопарк, и Щелкунчик (не успел попросить, а он уж пришел), и Север, и все прочее.

А расстояния бы растягивались месяцами, если б один дождался, пока другая поймет, и мы бы путались и плутали, не будь этой дружбы.

И тоже – когда слово подхватывается с полуслова и становится

ся абсолютно своим. Скоропись какая-то. Скороговорка. Родинка, зеркальце, лес и царевна. Давай и дальше дружить.

27 мая.

А вообще-то я собой недоволен. Слишком много читаю. Не пойму, от провинциальности это, опасющейся отстать, недоучиться (век живи – век учись), или расслабленность жизни толкает к легкому средству забвения и заполнения? Дескать – позволительно. Ан – не позволительно! И ругаю себя, Маша, и мучаюсь самоедством.

Да и то влияет, что книги из-под носа уходят с освобождением владельца, и вечная интеллигентская грусть о тихой книжной полке заставляет хватать из рук из боязни: через месяц и того не достанешь, и «вот вам на недельку, успеете?», ну и берешь.

Зато я становлюсь образованнее и даже просматриваю «Вопросы литературы», «Тетрадь» и «Огонек».

«Байкал» вот прочел сразу 2-й номер, и третий должен прийти (библиотека начала получать со второго номера), полюбопытствуй, стоит, а про № 1 остается в силе.

Еще я за собой замечаю, что у меня появился интерес пообедать. Самым обычным борщом и кашей пообедать. Не то чтобы есть хотелось – а живой интерес.

А вчера я сапоги намазал гуталином, чтобы не насовсем пропадали. Но у меня сломался гребешок, и, если не забудешь, заведи на свидание – маленький. Хозяйственный я человек.

Занимает проблема лица: откуда оно и зачем? Если жизнь пуста и скудна, одежда сера, то на этом унылом фоне лицу предоставлено право повышенной выразительности. Ему одному отпущена роль заместить недостающие звенья и восполнить собою то, что находится до и после, и ответственность за человека как его документ и собственность, неотъемлемое достояние. И вот оно становится откровенно утрированным. Почему у городских, у приличных, в общем-то, лиц появляется невнятность; контуры затерты, стушеваны неопределенным жирком общего места – при наличии достаточно подчеркнутого костюма, характера и положения. В старости же, к примеру, там, где ничего не оставлено, страдание прорезало лица, и они высунуты, и нос торчит, как копые, и глаза мечут бисер, и рот оскален за неимением стан-

дартной улыбки в нескрываемой жадности – быть. Лицо несет честь последнего представительства.

28 мая.

Несколько потеплело, и птички зачирикали, и букашки закопошились. А комаров удар прихватил, и они сейчас летают вялые и слабые.

Днем не даюсь засыпать. А как вытанусь ночью, после второй смены, так и провалюсь не знаю куда и дохожу до глубоких степеней сна. Просыпаюсь очень помолодевшим и с хорошим настроением, непонятно почему, потому что на тех низинах ничего не снится, а если и бывает, то в голове не удерживается и тотчас рассеивается, оставляя лишь запах чего-то хорошего от глубокого мырания в живую воду.

А днем задумываюсь, закуриваю, волюню, пишу тебе письма, сижу, рассеиваю над муравьями и мудреными творениями старины, что-то ускользает, улавливает, водит за нос, не дается, склоняется – и снова тихий восторг встречи с тобой.

Вот нам и народное творчество.

Интересно думать на минимуме – когда ничего нет, ни книжек нужных, ни средств, и негде взять справку. Дано несколько строк или одна картинка, одна музыкальная фраза – и вот туда погружаешься и начисто забываешь себя. (А это большое дело – забыть себя.)

И где только мы ни встречаемся, моя радость, в каких Индиях и Бразилиях, лианах, и я лелею. И почему каждая сколько-нибудь содержательная мысль и ее трепет – приближение к тебе, я не знаю.

29 мая.

Еще размышляю (безотносительно, конечно, – ну ты-то уж поймешь отвлеченность постановки вопроса) на тему литературного секса, зияющего в атмосфере одеколona и скандала. Загипнотизированный автор говорит «не хочу», но куда ни глянет, распаивается, как капкан. Как над ямой зазывающие, как будешь прямо на улице, смотри у меня, и вся сниженность-грубость не есть ли безумный бунт, попытка вырваться оттого только, что слишком зависим, что не может забыть, вот и показывает мето-

дом отпугивания («сгинь, уйди, я тебя не боюсь»), тогда как сам кругом покорен. Цитата:

«Фабер побледнел перед обязанностью соития едва ли не с каждой остающейся с ним с глазу на глаз в силу случая девушкой.

– Все они от меня чего-то хотят, – говорил он, нервно помаргивая».

Но еще вопрос, не есть ли этот адский способ достичь рая – отравленный суррогат? И вот нельзя ли тогда по нечистому суррогату представить, что заменили и потеряли, нельзя ли по искажению постичь оригинал? И не прекрасна ли эта сфера потому, что в ней безобразно искривлен тот образ (да, искривлен, но ведь – тот). Тогда, приняв ее за пародию, восстановить приблизительный подлинник, и если это бросает в восторг и в ужас, то что же делало то? То есть опять через чорта к Богу, через обман догадаться о истине и содрогнуться, поняв, на какой глубине мы привязаны и что значит дух, когда плоть так сильна.

Но все это слишком умозрительно, а главное, чем бы хотелось дополнить уродство-грубость-отталкивание: доверие. На мотив – последним куском, и как сели и закурили. Чтобы уж закончить эту тему:

– Почему-то у мужчины виднее срам.

– И клеймо (дополнительное) на человеке: еврей.

Всякий человек – еврей.

30 мая.

У меня сейчас, Машечка, довольно тугие дни, и вот почему: мой напарник освобождается, и нужно учить опилочному ремеслу нового человека, а как мне учить и чем-то руководить, когда сам ничего не умею и предпочел бы весь век ходить в исполнителях. А тут масса тонкостей. Например, на каком участке какая вагонка имеет привычку соскакивать, и с какого бока когда ее следует подпирать, и какую Лолиту-Сюзанну в какое стойло ставить и с каким трактористом-кочегаром, которые для нас почти как начальники, как лучше обращаться. Поэтому я теперь безвыходно бегаю целыми днями и стремлюсь за всем доглядеть, тогда как прежде мы делили работу пополам и поочередно отдыхали.

По счастью, мой новый напарник оказался старичком, хотя слабосильным, но понимающим и умелым, в принципе, все луч-

ше меня, только пока еще ему надо осмотреться и приноровиться, а мне – чтобы он не сбежал при виде трудностей. Вот сломалась лопата, а он ее починил раз плюнуть, а для меня бы это была целая драма.

Вообще, смотря на себя сбоку, я частенько покатываюсь, до того все это комедийно. И все вспоминаю твою репличку с диваном, что ничему я не научился. А вернувшись в серьезность, спрашиваю:

– Грузя опилки, думать о птице Сирин, – разве так это должно быть?

И отвечаю:

– Да – так.

1 июня.

Вы умницы и красавицы, что еще раз пошли в зоопарк. И вспомнилось вдруг, что первоначальный пруд с утками и гусями и меня в свое время повергал в изумление и требовал остановки более значительной, чем позднейшие экзотические клетки. Тут есть на что посмотреть – всякого много и все разное. И наверное это лучшее место в саду, потому что самое естественное и безболезненное.

А не потому ли, как ты считаешь, Егорыч так отвращается от всяких опасных, с его точки зрения, птиц и зверей, что Осип его в детстве кусал и этот страх стал слишком реальным? – Укусит!

Но мне очень и очень понравилась Егорова фраза про зебру* за умывальником. Приятно, когда люди умеют рассуждать независимо от обстоятельств. Сразу захотелось вас за это поцеловать: Егора – что о зебрах заботится, тебя – что написала мне про такую цацу.

И понравилось у тебя о Сиамских близнецах, и вполне с тобою согласен. Очень это было б прелестно, ах, Маша, детка, любовь моя.

2 июня.

Из этого ты можешь понять, что я получаю-таки твои письма. В том числе с собачкой фотографической, хотя предпочел бы твой портрет. А что вспомнила и заменила* на дне рождения, – спасибо, потому что я люблю, когда ты меня заменяешь.

А еще получил заказные, большие и шикарные фотографии, выполненные столь обидно: Маши мало и картинок не густо, а

много бритых мужиков и баб, чужих и чуждых. А ты, раскрыв рот, похожа на лягушку-путешественницу, но все равно хорошенькая. А что это еще за фрукт смотрит на тебя дурным глазом?

Но ты мне в письмах так и не рассказала про открытие выставки* и ее успех. А было только, что должна открыться. Спрашивают, что за «школа», а я и не знаю. Такой же неопределенный постфактум в доме творчества или как его там. Это, вероятно, потому, что мои вопросы, пока доплывут к тебе, ужасно устаревают.

Одновременно пришли две открытки на древнерусский сюжет – и я на тебя радуюсь и удивляюсь, где это может быть, – и журнал «Вопросы литературы», № 12, прислали Меньшутины, интересно почему, из-за Пушкина, или Ахматовой*, или чего еще. А может, и просто так? Номер не дурен, а его я как раз не читал, а читал № 4, где есть Записные книжки Мандельштама, которые нам надо иметь, и есть неплохая статья Чудаковой (жены, что ли? – они вместе встречались в печати, и тоже неплохо) о Ю.Олеше.

Мандельштам прекрасен. Удивительны в нем, при нелюбви к философствованию, чувство осмысленности бытия и – обжитости мироздания при собственной бездомной беспомощности. Он отовсюду извлекает лад и порядок – без гроша за душой и в кармане. Его голод к естественнонаучным занятиям посреди бродяжничества, как видно из этих записей, питался тоской по структурам, по иерархическим комбинациям, предлагаемым на выбор наукой, к идеям которой он, в сущности, пассивен и безразличен. Это более интерес к стилистике жизни, чем к теориям и практическим выводам, это – лишенное профессорского пиетета, подвижническое культурничество, вынуждаемое не высшим образованием, не прикованностью к авторитетам, но голосом крови, которая тоже ведь не из пустой воды, но имеет свой твердый состав. Как Есенин назвался последним «поэтом деревни», так Мандельштам явил собою последнего интеллигента. Но ему уже был внятен призыв: «среди бедствий будьте как пришельцы»*, и, сбросив доспехи сословности, благополучия, брюсовщины, умертвляющую тяжесть столетий и академий, он остался голым человеком не на голой, однако ж, земле, но помня, откуда пришел, на раздолье истории.

Прочитал недавно, что устное предание ценилось наравне с письменным и даже больше. Это опять к тому, что мудрецы не записывали, что письменность – вынужденное восполнение наших недостатков. Златоуст, например, во введении к толкованию на Мф. (Творения в русск. переводе, ч. 7-я, стр. 5–6) говорит, что «по-настоящему нам не следовало бы иметь нужды в помощи Писания, а надлежало бы вести жизнь столь чистую, чтобы в качестве книг служила нашим душам благодать Духа». «Но так как с течением времени одни уклонились от истины, другие от чистоты жизни и нравственности, то появилась опять нужда в наставлении письменном».

А еще существует, оказывается, переделанная пословица: «Мертвый лев лучше живого пса».

4 июня.

Хорошо мы с тобою, Машечка, в этот заход кончаем: как начали: четыре письма. Итого – по 29-й, за исключением 24-го. И почти во всем, что ты пишешь, обнимаю и разделяю.

Я тоже за сухой практицизм в отношении племянника, потому что а) насильно мил не будешь и б) каждый идет своим путем и отвечает сам за себя. И вообще у них было много дела. И своя семья.

О месте в древнерусском строю – всецело, взаимно и очень. Только получше бы сформулировать, имея в виду не место в обществе, но место в творчестве и мироздании. Для начала б и лучшей живости можно б оттолкнуться от изысканий типа кем был Андрей Рублев в серии «Жизнь замечательных людей» (или хоть в сценарии Тарковского) – только чтобы не вышло большого разнобоя в стиле, потому что в готовом, помнится, довольно академично. Для общей же ориентировки посмотри Иконостас в толстой тетради и там же, кажется, еще из Флоренского – о синтезе и синкретизме в искусстве. Но как ты забыла, где написано про Загорск, – удивляюсь. Это же по самому главному. И имеется в подсобном каталоге Ленинки указание: «Троице-Сергиева лавра», Сергиев Посад, 1919. Это сборник разных авторов, помимо общей внешности, там много полезных частных.

Но все равно хорошо, что экскурс вышел, – и я очень тебя.

А «почти» – потому, что мне не нравится, что Егор на вопрос «как жизнь» добавляет «молодая».

Может, особенно здесь мне надоели все эти комиковатые ильфо-петровские обороты из одного желания «трепнуть» или «гнать тюльку», по здешней терминологии. И даже от твоего «мешка», ты знаешь, я не в восторге – режет ухо. Выдуманный язык.

Но, конечно, не это главное, что я не согласен, а другое, о чем догадывайся сама.

И жаль еще, что ты не догадалась подойти под аппарат в зоопарке. Вот бы мне подарочек – и пони, и ты, и Егорушка, все вместе.

А до августа и впрямь так далеко ждать, и я уже по опыту знаю – этот перегон почему-то самый длинный. Тоже, почему неизвестно, конец месяца (любого, каждого) движется медленнее, чем начало месяца. Первую половину – просто глазом моргнуть, а вторую еле-еле вытягиваешь.

А смешно я со «старичком» фраернулся. Который мой напарник. Спрашиваю сегодня, сколько ему лет, а он, оказалось, всего на три года старше. Вот и получилось, что сам я старичок.

К тебе – нежнейше.

И рад, что ты стала мне писать вроде бы почаще. И письма вроде бы побольше. И счастлив твоим словом о земле с небом и отростке.

Кусок всегда предметнее, это ты хорошо заметила. А в ростке – и кусок, и растение: вдвойне приятно. И потом, на этом слове на память возвращается банка, кормить и кормить, у щеки, пропитанность, есть такая игра в дочки-матери. Ну – целую.

А.

5 июня 1968.



С племянничком... – «Племянничком» мы с Синявским называли Александра Петрова, когда-то моего студента в Абрамцевском художественно-промышленном училище, а затем, с 1961 по 1968 год, соучастника многих художественно-прикладных затей. На выставках прикладного искусства мы всегда выступали как соавторы. В разработке изделий из художественного металла мы делили труд по формуле: моя голова – его руки. Его почти постоянное присутствие в нашей с Синявским коммунальной квартире нельзя было оправдать в глазах соседей иначе, чем

родством, – поэтому и «племянничек». В 1965 году, в первые дни после задержания Синявского, Петров, не выдержав напора следствия, показал (единственный среди всех друзей, вызванных в ГБ), что знает про Абрама Терца и даже знаком с текстами. Это и был формальный повод превращения *задержания* в *арест*. Петров сопровождал меня на первое лагерное свидание с Синявским и даже выпросил там у начальника лагеря десять минут «повидаться с дядькой». Он просил прощения у А.С. за допущенную слабость и твердо обещал «заботиться о Марье и о крестнике Егорушке». Этому обещанию он оставался верен до конца весны 1968 года, когда наше с ним общее дело оказалось не только интересным, но и очень прибыльным.

Из моего письма: «Тем временем я вошла в полосу неурядиц и огорчений из-за племянничка, который совсем спятил и несет несусветный бред. Голомшточек поставил такой диагноз: сексуальный психоз, отягченный манией величия. Подозреваю, что мне придется трудиться сугобо самостоятельно и начинать все сначала, вернувшись на семь лет назад. Ну, что ж – будем считать эту операцию принудительным омоложением и тем самым утешаться. Но мне трудно сейчас и горько.

Обсуждая все эти проблемы с Голомшточком, я договорилась до следующих слов:

– Ну, теперь остается, чтобы мне изменили еще вы и Меньшугины...

– И вы будете законченным мизантропом, – перебил меня Голомшток».

...«мы с тобой на кухне посидим»... – Из Мандельштама.

...Егорова фраза про зебру... – Из моего письма: «– А зебра все-таки полосатая, – раздумчиво сказал Егор, намазывая лапы около умывальника (стоя на стуле, «а у меня не лапы, а руки...») перед обедом. Причем изрек он это совершенно безотносительно к нашим разговорам в эту минуту, и я поняла, что душа его все еще витает по зоопарку, куда мы ходили сегодня утром.

Несколько дней он все спрашивал: а когда мы пойдем в зоопарк, и сегодня я сдалась и мы поехали на трамвае, а когда вылезли, Егор просто побежал, и тянул, и торопил меня:

– Мапочка, скорее! Нам надо очень спешить...

И засматривал в ворота, пока я покупала билет, и все приплясывал от нетерпения.

А в зоопарке сначала долго не мог оторваться от пруда с лебедями и утками, а потом таскал меня от клетки к клетке и очень боялся всяких рогатых яков и бизонов, и хотя я объясняла, что волки с леопардами страшнее, но Егору около них было явно спокойнее: нет таких страшных рогов и копыт.

Очень смешно Егор боится: я чувствую, как в моей руке напрягается его левая лапочка, а свободная правая тянется и прижимается к сердцу. Но – молчит. И только когда один очень красивый и общительный олень подошел к самой решетке и просунул мне морду и я почесала ему нос, Егор не выдержал и взмолился:

– Мамочка, не надо его трогать, он страшный, пойдем лучше к слону».

А что вспомнила и заменила... – В день рождения однокурсницы Синявского Елены Владимировны Докукиной, которую он до ареста ежегодно ходил поздравлять без меня, я решила заменить А.С., о чем ему и сообщила: «Вот тебе вещественное доказательство моей к Синявскому необыкновенной любви, дружбы и преданности: вспомнила, что сегодня ты бы пошел поздравлять Ленку с именинками, и сделала это сама, причем от твоего имени.

Так и сказала, что это ты поручил поздравить. Даже принесла ей в подарок роскошные ажурные чулки полупристойного, весьма легкомысленного толка, да еще польстила наверх, сказав, что в нашем возрасте мы уже можем себе такое позволить, не боясь дурных толков. (В самом деле, весьма кокоточные чулки!)»

...про открытие выставки... – Выставка «Народная художница Мария Примаченко и ее школа», которую мы подготовили и открыли по инициативе журнала «Декоративное искусство» вместе с Евгением Абрамовичем Розенблюмом.

...интересно почему, из-за Пушкина, или Ахматовой... – «Вопросы литературы», № 12 за 1967 год. В нем напечатаны, в частности, статья С.Бочарова «Форма плана» и «Путь ахматовской музыки» А.Марченко (рецензия на книгу А.Павловского).

...«среди бедствий будьте как пришельцы»... – Ветхий Завет, Третья книга Ездры, 16, ст. 41: «...слушай слово, народ мой, готовьтесь на брань и среди бедствий будьте как пришельцы земли...»



ПИСЬМО ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТОЕ

Всякий раз, начиная письмо, я немножко побаиваюсь: а вдруг оно будет скучным? Да и напишу ли его, хватит ли интересных предметов, о которых стоит писать, ведь ничего же не происходит? А мне очень хочется, чтобы ты со мной не соскучилась.

Правда, с другой стороны, существует стереотипный ответ на обычное – «как поживаете?»:

– Слава Богу, ничего нового.

Итак, ничего нового. Если не считать легкой перестановки в работе, связанной с другой пересменкой и новым (опять) напарником. При отсутствии внешних событий такая несуразная мелочь представляется едва ль не вторжением высшего порядка, и с пальцем в потолок удивляешься: а что бы это значило и какая пойдет-начнется после всего этого жизнь?

При ближайшем знакомстве, однако же, все быстренько утрясается в привычную расфасовку. А в данном случае, кажется, я даже немножко выигрываю: меньше народу в секции, когда возвращаюсь с работы, а на работе меньше придется опекать и заботиться о напарнике: он сам все умеет и знает лучше меня и даже может ездить на тракторе, когда понадобится. И в вагонном парке появились две новые женщины – «Жанетта» и «Стелла».

Я все более нуждаюсь в одиночестве и шарахаюсь от встречаемых людей. Выводят манера иных поучать и объяснять, предложения – давайте я вам растолкую теорию относительности, высшую математику (а зачем мне нужна вся эта самодеятельность?), атмосфера хвастовства и всезнайства, от которой разит всеми

комплексами неполноценности. Почему-то недоучки всего самоувереннее. В неумении слушать друг друга и в желании говорить люди кажутся безумными. И я тоже хочу с тобой на необитаемый остров <...>

10 июня.

Прочел ту сравнительную статейку о модах разных времен, про которую ты мне рассказывала, в № 5 (до осени тут получает один, и я смогу регулярно проглядывать журнальчик). И так же, как было с вывесками, картинки говорят больше и лучше текста, и ужасно жалко, что такая хорошая и нежная тема использована спустя рукава, без изюминки и все плоско и близко лежит. А стоит только копнуть – и очевидная эмансипация в развитии женских брючек и короткой прически получит обратный эффект женственности, работающей на минимуме признаков, подобно тому, например, как нынешний реализм держится на паре штрихов, и ему этого достаточно. Такая обида, когда так бесполезно расходуетя прелестнейший материал...

Еще мне много сейчас рассказывают об украинском народном искусстве, о Гуцульщине, где сохранился, судя по всему, еще один росточек древнерусской традиции. Даже, говорят, тамошний орнамент буквально совпадает с Киевской Русью. И опять жалко и грустно, что мы с тобой не успели туда заехать, вслед за Севером, какой простор получился бы, вероятно, для всяких сравнений и параллелей, и была бы еще одна культурная нога и опора, и как не хватает нам жизни для всего интересного. Ведь столько всего имеется...

А № 4 «Вопросов литературы» с Мандельштамом можешь не доставать: мне обещали здесь подарить выдерку.

И уже подарили две головки чесноку, и я ими лечусь от простуды – вместе с заваркой хорошо помогает. Потому что погода скачет каждый Божий день и сильнейший ветер, похожий на картины Рылова, гудит в голове, лето дикое, и как вы с ним управляетесь на даче, беспокоюсь за ваши ребрышки и за твою с Егорычем заброшенность и сиротство.

Получил от тебя тетрадки – теперь надолго хватит – и трубочки для ручки. А гребешок покупать не надо – нашлась замена. И еще у меня почему-то не живут ложки. Упустил в дыру, и мне подарили другую.

Но подходит к концу Поморин, и было б хорошо прислать мне несколько тюбиков, как в прошлый раз. Прости мое занудство, ах, Машенька-деточка...

14 июня.

Я похож на таракана, но не когда он бежит, а когда сидит, застыв на месте, в пустой отрешенности, уставившись в одну умо-непостижимую точку.

Когда же иду с работы, полон ожидания письма, как если б к тебе навстречу, и долго их не было, а сегодня пришло – № 30.

Завлекательно – про фотографии Суздаля, Пустозерска, не представляю, но восхищаюсь и очень тебя люблю и жалею.

Только не вполне понимаю твоё упрямство в ремесле*. По мне, так лучше напрочь отказаться и уйти. Не говорит ли с твоей стороны простая обида и желание чисто по-жедски утереть нос? И стоит ли на это расходоваться и размениваться? Имеем ли мы право придавать такое значение тому, что «не оценили» (а вот я ему докажу! – по типу «я таких, как ты, мильон достану», – с тайной отрадой: «все равно ко мне придешь!»)? И не цеплянье ли это, когда следует сказать – ступай с Богом, – и заняться своим делом, и не строить из себя оскорбленно-показательное лицо? Нет ли за этим попыток «сделать вид», «не ударить в грязь», вместо того чтобы по-настоящему независимо жить и работать?

Потому что я сомневаюсь, надо ли тебе становиться на все руки, и жалею искусствоведчество, которое главнее* и требует всего человека, а не остатков посреди беготни по городу, и книга о Примаченке важнее, чем если бы ты сама (подумаешь – сама!) выучилась филигранничать. Мне теремок дороже, и он наш с тобою, и стол, и дом – и в нем бы тебе сидеть и совершенствоваться, не гоняясь за мимобегущими зайцами.

И потом, я не хочу, чтобы твои ручки стали похожи на клешни умельца, пусть золотые, а все же страшенькие, и они наверняка изуродуются, если браться за это всерьез, а не в виде пробных уроков.

И жалею твои глазки, которые опять плачут, тогда как у тебя есть я и Егор, я и Егор, – помни это и будь с нами, будь с нами.

И я тебе не лошадь кидаю, когда хвалю теремок, а это в самом деле прекрасно, и я тут вижу твоё будущее в самом золотом

ореоле, но оно требует сосредоточенности, и тишины, и уединения.

Вот я и перешел на твою бумажку и вроде бы стал поближе к тебе. А мне это очень важно – чувствовать себя поближе к тебе. И возможно, не зная толком что и как, все эти риторические вопросы лишь продолжение уговоров десятилетней давности – все на одну и ту же тему любви и дружбы.

И чтобы яичница на краешке стола, накрытом чудной салфеткой.

15 июня.

Какие только штуки ни выкидывает искусство и, пища обо всем на свете, пишет только о том, каково оно из себя, и любит себя автопортретом. Только ли? В конечном смысле оно, в самом деле, твердит лишь о собственном необъяснимом присутствии, расцвете, возникновении и, теряясь в действительности, не имеющей к нему отношения, любую чепуху готово выдать за факт своего пребывания в мире, стоит тому пошевелить пальцами.

Акцентированное слово уже художественно. Произнеси слово с напором, с нажимом, и оно заиграет радугой и потянет поэзией, чьи ритмы, рифмы и прочие прелести лишь признаки и средства усиленного произношения.

Любая речь напевна, созвучна, и достаточно ей чуть-чуть превзойти уровень общеупотребительной, средней ритмичности, как она станет заметной – песней. Это как море, покрывающееся ба-
рашками, никому не нужными, глупыми, но сообщающими ударение «мбрю», переводя его из просто жизни в предмет удивления и повергая нас в созерцание уже не пустой воды, но *мбря* в полном смысле морского, которое шумит и волнуется, которое – налицо. И вот уже искусство – печать существования, явленность бытия.

Какую пантомиму может устроить, к примеру, безликое слово «они», обыкновенное местоимение, произнесенное с ударением и поэтому вдруг обнаруживающее силу и хитрость, склоняясь в разные стороны, как тело на турнике, вывихиваясь, хватая губами – *они, их, их, ими, ими, они*, – так и эдак, по падежам, почти заумно, безумно, и какая в нем нарастает и настигает наши уши упругость!

Туда же способны бить неправильности и нелепости речи, отклонения в диалект, смещающие слово в поле слуха.

- Биркулезник.
- У меня организм атрофирован.
- Комики (от коми).
- Штанген-циркуль!
- Воны смеюцца с руського человека!

Воны! В искусстве после каждого слова подразумевается восклицательный знак.

16 июня.

А вот редкая цитата из Ильина*, подвизавшегося, кажется, в 80-х гг. прошлого века, а потом куда-то исчезнувшего. Его словесные выкрутасы напомнили мне Селиванова* и, хотя они расходятся с избранным им именем миротворца, показались любопытными в стилевом отношении:

«...Сей путь весьма широкий, гладкий и роскошный, и потому-то по нем идут и едут в каретах, колясках и верхами многие миллионы людей из всех вер, народов, языков; с музыкой, катавасиями, со звонами и барабанами, с пушками, штыками и мечами, с парадами, маскарадами, с торжественными празднованиями и разгулами, в пост и в святки во все лопатки, с христианскими блудными танцами и пиршествами; с презабавными играми и мольбами творцу всех бесчисленных солнцев и комет в бесконечном пространстве¹ и владычице какого-то мира, с великими и чуть ли не факирскими чудесами от досок, сдыхлятины и камней; разряженные в шелк, бархат, золото, серебро и драгоценные камни; с пестами, крестами, досками в дорогих окладах и с шестами с прицепленными на них тряпками, лошадиными хвостами² и с индальгенциями от пап 3-х Римов, католиков, патриархов, шейх, исламов, делайламов, преталмуднейших рабинов, разных сортов попов, ксендзов, пасторов (протестантских, сбоку-станских и сзиди-станских) или духовных деспотов и брюховных владык, или кнутабойно-грехоснимателей из всех ббб христианских, 10 иудейских, 6 магометанских и 333 буддийских истинных вер, и многие из них идут с кнутами, батогами и с пирцутинами для лупления шкур с детей божиих или с ближних своих...»

¹ Призадумайтесь над словами: всех бесчисленных и в бесконечном! (Сноски автора.)

² Как у турок и китайцев.

(Все-таки как выдает стиль неорганичность задачи, и по нему даже можно судить об истинности излагаемого. Ильин только краснобаен и забавен – «ведь вы наколетесь на всю нескончаемую вечность, напирая на мой рожон!»; Иезавели – «мамзели всех царей земных»; «а лютеранину... внушил написать... выражение собачей злости: герр-герр»; «Вавилонский шеф жондармов Аман» – ну и футурист!)

16 июня.

Что еще прикажете делать в такой ясный вечер, как сейчас, когда ветер утих – «и утих, ветер утих» (Хлебников), – как не писать тебе, моя Маша? Раздражение улеглось, и я себя уговариваю быть благодарным солнышку, которое и светит и греет, и брать пример с дерева, которое, как благая душа, полная Богом, все в шепоте, а жизнь сплошной диалог с обстоятельствами, и как вы коротаете время с Егором, сидя на даче, не знаю, какая она, дача, никогда не видал, а раньше по крайней мере я представлял крылечко, по которому спускался Егор по утрам, позевывая, ступеньки, веранду, кустики, какие они сейчас вокруг вас, что вы кушаете, где берете еду, во что одеваетесь, куда гуляете?

Дни какие-то тусклые, вялость, недовольство собой, все валится из рук, болит голова от неспособности побороть эту слабость и жить осмысленнее. Только счастье охватывает на глубоких низинах сна (эта фраза явилась во сне, как и Фабер, чья фамилия вычитана из «Иностранной литературы», а потом взяла и приснилась), и по утрам не хочу просыпаться, словно там у меня серьезное, неотложное дело. Так нельзя, надо собраться, очнуться, но письма не приходят, а в тебе мой залог и завет, и я знаю, что ты уже 33-е отправила, а все никак не дойдет, и все надеюсь и жду, что к вечеру появится и благодаря тому мой завтрашний день станет крепче, содержательнее, и я вновь примусь жить с повышенным удивлением, а то сколько можно вот так скучать и тосковать?

17 июня.

В твоём имени хорошо еще то, что его можно произносить как эпитет, очень точный и очень нежный, и я этим пользуюсь и чуть что тяну на все лады: М-а-а-ша, Ма-а-шенька...

18 июня.

Сперва – вчера – явилась открытка в виде увертюры о том, что ты шлешь мне уже дачное, 34-е письмецо большого формата, и каково мне было слышать эти сладкие обещания, находясь при своем интересе и сидя все на том же 30-м номере (но все равно лучше знать, что ты пишешь, и вы как будто бы хороши и невредимы, чем ничего не иметь, и поэтому в будущем стоило бы разыграть подобную ж серию художественных открыток в порядке бесплатного приложения к полагающимся номерам, ну, как «Нива», например, рассылала читателям полное собрание сочинений Тургенева).

А потом – сегодня – меня осчастливили всеми этими накоплениями – 4 письма (по тот самый 34-й номер включительно) плюс открытка, замкнувшая Суздаль, – и, подводя коллекционный итог, должен признаться, что приятно получать сразу крупную сумму твоих сочинений и видеть подряд, как вы растете и развивается.

Ребеночка на пожилом пони тоже доставили, и я много дивлюсь его наезднической посадке и только жалею, что вместо пони не представлена ненаглядная мама. И хотя ты в письмах грустишь, я радуюсь, вас наблюдая в полный рост, и в цвете и в весе, потому что ужас как нужны все эти родные подробности вашего существования, и как ты бегаешь по магазинам, и улетаешь в кафе салатик, не вызывающий у меня зависти, а лишь сочувствие и понимание, и даже как вертится официантка между строк, давая доступ нам с тобою переговариваться и улыбаться. Хочу еще в этом же роде – побольше и поподробнее.

А зачем Егору домашние тапочки, когда есть сандалии? И что вы делаете с ним в резиновых сапогах, и разве бывают для маленьких? А на пони он пижон в узких брюках, и мне смешно, но приятно видеть ухоженное дитя.

Интересно про рост и про вес. И мне тут сегодня отмерили метр и показали палкой, какой он от пола, и оказалось, очень высокий, даже не верится как-то. А после дачного лета тоже не забудьте взвеситься и смериться, и хорошо бы на каком-то постоянном косяке отмерять его регулярно, ему было бы интересно расти и странно видеть, у нас в Рамене были такие отметки у двери, и как приедешь – сразу посмотреть, и я долго помнил и любил эти карандашные знаки.

И что родительскую помнишь* – спасибо, и удивительно, что ты за всем доглядываешь и поспеваешь, моя Маша.

А по тому, что племянник так и не покрасил крест, – я опять понимаю глубину и степень потери. Только мне и раньше казалось, что так должно было случиться, и поэтому новость не была для меня такой неожиданностью, и это почему-то напоминает мне истории о приемных и выросших детях, которые, придя в возраст, норовят жить по-своему и, бывает, в эгоизме думают, что никому не обязаны, – это их дело, пусть живут. Может, параллель эта натянута, поскольку мне не известны детали, но главное все же, чтобы оставшиеся имели свой интерес и корень в жизни, а не только жили своими воспитанниками, с уходом которых все обрывается. И потом ведь главная суть не в бляшках, а в духе, которым они создавались, а он при тебе, и не обязательно ему облекаться в металлический образ, и вот почему еще искусствоведение тут имеет еще один резон и еще одно преимущество.

Да и помимо конкретных возможностей применения оставшейся силы, у нее ведь роль прародительницы и кормилицы – откуда все происходит и все начинается и как прикладывание руки к месту корня: Маша, пожалуйста, ну пожалуйста. И что это значит и как это можно «вплоть до неотложки»?! – объяснись-ка поточнее.

А отрезав сухую ветку, надо расцвести, а не сохнуть. И я с тобой и у тебя.

19 июля.

И то, что вот Егор просится в лес, – это так хорошо и так породному. И приучи его немножко брать с собой одеяло и лежать в лесу, а не только гулять.

И откуда он про лес знает и когда бывал раньше?

Сегодня у меня сплошь письменный день, надо закончить и опустить это письмо, а еще много осталось, и поэтому буду писать тебе целый день, с утра до вечера, это у тебя хорошо получается между делом, а мне, ты знаешь, любое дело – отдельное блюдо, и поэтому, встав пораньше, я ушел на «свою» скамеечку. Она стоит под березой, и можно опереться спиной на эту чудную березу, в тени, отворотясь от бильярда, носом в кусты, и тут я теперь часто сижу.

Теперь я живу в одной секции, а работаю с другой, и во вторую смену приходится подниматься с первой – из-за радио и прочих шумов, – заснув в два, вставать в шесть, а это маловато, и я хожу слегка ошарашенный. Но все равно, как я уже писал, эта перемена с пересменкой для меня получилась не в худшую, а в лучшую сторону, да и погода сейчас устоялась, и хорошо с утра пораньше с тобой разговаривать вот так, а после обеда часок-полтора доберу, да и на следующей неделе, в первую смену, сумею выспаться.

Еще я давно и упорно прихрамываю и думал, что занозился, потому что опилки, когда их утаптываешь, везде проникают. Но вчера заглянул в сапог, и, оказывается, там здоровый гвоздь (этот оборот с «оказывается», должно быть, из числа стародавних, с детства – «оказывается, это сидит воробей», – и притягательно в нем, наверное, то, что что-то раздвигается в сознании и открывается, само, без усилий, и вот уже все не так, а совсем по-другому).

Еще я видел на теле – на пузе – надпись: «Добро пожаловать». Бывают же такие идеи!

И читаю переводную новинку в исполнении Риты Райт в «Новом мире» – Натали Саррот «Золотые плоды»: из области антиромана. Занятно, хотя несколько утомительно: речь в романе идет о самом же романе, про который ничего не известно, кроме попеременно меняющихся оценок, хорош он или плох, в результате чего получается атмосфера колеблющейся пустоты, то раздражающей до одури (потому что все это достаточно длинно), то заставляющей восхищаться этим тончайшим отсутствием всего, что полагается в книге, тем не менее существующим как тема произведения. Словом, очень умно и очень грустно. Но мне более по душе четкая проза типа «Добро пожаловать».

Молодец, что купила Егория*, я бы тоже купил. Для семейного музея. Только хочется, чтобы тот супер не занашивался, а сохранялся в целостности и чистоте, как и другие *такие* книги.

А везде замечается ужасно быстрый вкус к русскому стилю. Вот недавно опять, в дополнение к уже писанным фразам, в журнале «Москва», 1968, № 3 (В.Полторацкий. Дорога в Суздаль) передается положительный опыт в оформлении ресторана (почему-то особенным успехом пользуется именно ресторан): «Сводча-

тые потолки. Кованые железные люстры, похожие на церковные паникадила. ... Официантки наряжены в сарафанчики, однако с учетом современной моды в смысле длины сарафанчиков» (стр. 189).

Впрочем, это не один русский стиль возрастает, но в Армении – армянский, в Грузии – грузинский. Мне часто попадаются здесь картинки и снимки с различных памятников.

А паникадила-то каковы! Помнишь Бутакова?*

Еще мне хочется знать, какие вокруг вас имеются звери и как на них реагирует Егор? И есть ли печка в доме? И вообще, каковы ваши комнатка, положение и окружение?

И умеет ли Егор сам одеваться – или какие-нибудь части туалета? И во что он теперь играет? И рассказываешь ли ты ему что-нибудь интересное?

Рассказывай, пожалуйста.

И мне приятно, что ты в новых письмах вспомнила старое обращение, а то, я думал, забыла.

А я тут недавно попробовал чаек из подорожника – варят в целебных целях, но я из чистого любопытства, и, знаешь, неплохо пьется. Говорят, подорожник для того и растет при дороге, чтобы лечить, не сходя с места.

Такое понимание смысла похоже на правду.

А цветочки на 31-м листике Машечкины? Или как?

И уже успел получить Вилину бандероль* – спасибочки.

А теперь мне, наверное, придется ждать нового поступления писем целую вечность. Ну, буду терпеть, а ты пиши мне все обстоятельно, Машечка, не скрывая никаких приступов. Потому что сейчас мне особенно за тебя беспокожно – одинокую и замотанную.

Иду с работы, и уже занимается зеленый рассвет.

Целую вас, мои глазки.

А.

20 июня 1968 г.



...твое упрямство в рукомеле. ...жалею искусствоведчество, которое главнее... – Только сейчас, подготавливая эти письма к изданию, я поняла, что так прорывались не только типичное для тех лет пренебре-

жение словесника к рукомеслу, но и личная ревность Синявского, вызванная моими уходами в те области, где он не мог быть со мною вместе и рядом. Ведь наш чуть ли не полувековой роман был по жанру производственный.

...цитата из Ильина... – Н.С.Ильин, сектант-иеговист. См.: Е.В.Молоцова. Иеговисты: Жизнь и сочинения капитана Н.С.Ильина. Возникновение секты и ее развитие». СПб., 1914 (все цитаты из этой книги).

...напомнили мне Селиванова... – Кондратий Селиванов, основатель скопчества. См. о нем в последней главе книги А.С. «Иван-дурак».

И что родительскую помнишь... – Имеется в виду могила матери А.С.

...купила Егория... – В книжном магазине стран народной демократии (на московском жаргоне – «в демкниге») я купила книгу о русском фольклоре на венгерском языке только за то, что на суперобложке была воспроизведена икона из нашей коллекции.

Помнишь Бутакова? – Я помню Бутакова, вот только не вспомню сейчас, полвека спустя, как его звали. Это был замечательный старик, в громадном доме которого мы заночевали во время одного из наших северных путешествий.

...Вилину бандероль... – Два человека в нашем кругу носили имя, составленное из знаменитых инициалов (ВИЛ – Владимир Ильич Ленин), оба искусствоведы, Виль Мириманов и Вилля Хаславская. Кто из них послал бандероль и какую – сейчас уже не установить.



ПИСЬМО ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТОЕ

Маша моя. Не упадай, маленькая, в нынешней заброшенности. Я совсем за тебя.

Кстати, в твоём арсенале, помимо прочих сокровищ, есть абсолютный вкус (по типу абсолютного слуха у великих композиторов). Я в этом убедился, когда ужасно давно ты мне показала чьи-то ноги, расставленные на полу, как фрегаты, широко и свободно и не обладавшие никакими другими достоинствами, кроме того, что они стояли очень авторитетно, законченно, словно созданы были для этой классической постановки. Не знаю, помнишь ли ты эти ноги, но я тогда понял твой безошибочный вкус.

Уже после этого был Переславль и все остальное*.

В странных оригиналах ходить – это только позерам приятно, да и то по молодости (ах, какой я интересный!), а на деле хотя бы один одинаковый, и правильно, что, во-первых, в Третьяковке (а для меня-то вдвойне в Третьяковке)*, а во-вторых, кому обязаны, из породы понимающих, единственных, если бы не беда, что подлец*. Поэтому и заскучал, когда наш Переславль перешел в стажировку студентам, возможно, и не прав, но не в этом сейчас вопрос, но сколько значила и значишь, если одна одинаковая, а это ведь по максимальному счету.

Секретарша* – такая ж, примерно, точность определения, как ненаучный дамский лепет у любителей общих мест, такое ж общее место, близко лежит, недорого стоит, эх куда метнуло, но меня здесь огорчает даже не грубость слуха и не беззастенчивость заявления, а то, что, по всей вероятности, такие эпитеты весьма

долго вынашивались под слоем самой искренней и преданной любви. Помню, давным-давно, когда тот же автор настаивал на ответных чувствах, мне казалось достаточным простое доброжелательство, а это уж слишком по-бабьи и по-дикарски – плевать на свои идолы, не лучше ли было бы не торопиться с пылкой любовью, но сохранить порядочность.

Может быть, сейчас, когда все подряд понимают в Пикассо и в Матиссе и знают, что лубка не следует стесняться, потому что это теперь называется примитивом, ему не одиноко, не страшно и невдомек та редчайшая абсолютность, с которой так повезло встретиться, которая привалила в чужом доме; обидно, когда на готовеньком думают, что сами достигли; ну не будем держаться за свои дары, что раздали – еще отвалится; пускай сам поплавает, может и выплывет, все-таки очень солидная подготовка, разве что когда-нибудь жизнь поставит задачу превзойти себя со всем кругом усвоенных навыков и знакомств и начать заново как мать родила; может, и не придется, на целый век хватит, опять же среда стала весьма начитанной, простор, океан, левое искусство задней ногой – счастливый путь. Может быть, нехорошо, но я очень колеблюсь на грани отлучения, а у меня подобные вещи уже необратимы, и жаль дурака, и есть незримое правило отрясти прах...

Зато Егор утешеньице, с буквами, что сам попросил, что шепчет, тревожно за вас по такой жестокой жаре. А то, что он прибегает со всякими расспросами, когда сам толком не знает, про что бы еще спросить, так, наверное, Машенька, ему просто общение с тобой необходимо, просто подойти хочется и нужен только предлог, и ты с ним будь поласковее и поровнее. Пожалуйста.

Ему сегодня три с половиной. Уже три с половиной. Очень много (полсрока).

23 июня.

Хорошо, когда в заголовок вынесено что-нибудь яркое, блестящее: «Золотые плоды», «Князь Серебряный», «Остров Сокровищ». И наши великие романы и драмы начинались с имен, вошедших как великие люди в человечество, гениальные личности с незабвенными именами: Робинзон Крузо, Дон-Кихот, Гамлет. В этих словах ощутима значительность и загадочность, стран-

ность. Как названия стран. Не то что серенькая «история моего современника». Потом такие названия сохранились только на марках: Борнео, Бразилия. И первый роман в литературе уже был позолочен: «Золотой Осел».

А я тут в «Литературной России» (№ 24, от 14 июня) увидел очерк Мавриной «Деревенская живопись» – из ее книги-альбома о городецких пряхках, который готовится и скоро выйдет, и если тебя еще интересует костинская монография, этот отрывок должен пригодиться. Написано мило, и потом, приятно, что в ощущении народного образа она перекликается с мотивами праздничной избранности («все, что требуется для счастья»), переизбыточности и с откуда все это на нас свалилось. Словом, проверка и подтверждение, и противников ненаучного лепета можешь прямо отсылать к мавринскому авторитету.

А вообще-то редки совпадения, бесптичье и безлюдье, и мне довелось недавно выслушивать восторги по шкариному Пиросмани*, и стало тяжело от этой упрямой провинциальности.

Еще мое внимание, Машечка, привлек – кто бы ты думала? И я бы сам не догадался несколько дней назад! – Шевченко, чей разрозненный томик в русских переводах я решил перелистать, не очень, признаться, надеясь там найти что-то новенькое. Слишком укоренились в наших воспоминаниях штампы, может быть и пленительные для нежного украинского уха, но вызывающие у нас снисходительную улыбку. Все это имеется, и в таком избытке, что некоторые его эталоны в восприятии любимого края так и просятся подписью к народному лубку¹.

¹ Кстати, к примаченковской казацкой могиле недурная подтекстовка:

Над речкою, в чистом поле
Курганы чернеют;
Где кровь текла казацкая –
Трава зеленеет.
Сидит ворон на кургане
Да с голоду стонет...
Казак вспомнит дни былые
И слезу уронит.

(Тарас Шевченко. Собр. соч. в пяти томах. Т. I. Стихотворения и поэмы. М., 1949, стр. 111.)

Но, кроме того, много интересного и неизвестного. Причина же неизвестности в том, что Шевченко стоит в стороне от русской стихотворной культуры XIX века, воспитанной в основном на гладком и легком стихе, и ближе XX веку, кое-где прямо-таки протягиваясь к Хлебникову (архаика, просторечие, грубая неуклюжесть, эпос). Народная старина у него не только декоративный набор, но подлинник, унаследованный от предков вместе с идеей-фикс, и, видимо, это чувство национальной и социальной (мужик) исключительности, поиски «своих» в истории и в быту позволили ему окунуться в фольклорную речевую стихию глубже, чем русские в ту же пору поэты-народоискатели. Поэтому же Шевченко во многом – самом поддонном – прошел мимо сознания XIX столетия (как остался особняком гиперболист Гоголь, давший повод всего лишь для натуральной школы, куда его всецело подверстывали, а он явно не умещался). Воспринималась его биография крепостного самородка и мученика и кое-какие красивые призывы. Но как стихотворец он казался неотесанным юродом, и воротили нос, хотя в этом было стыдно признаться из-за всеобщей любви к мужику. (Белинский, вот, не постеснялся выразить свою неприязнь, точнее, свою глухоту к шевченковской музыке.) У нас тогда в шевченковских аналогиях ходили Кольцов с Никитиным, но те были слишком застенчивыми, конфузились и робко оглядывались на господ, а Шевченко пер напролом в первобытном казацком запале и, укладываясь в «идею», торчал стихом поперек, и ему, чтобы не прислушиваться к этим диким струнам, отводили локальный загончик сугубо местного и потому второстепенного значения, на что он и сам охотно соглашался, мысля себя певцом обойденной счастьем окраины.

В этой привязанности к своему облюбованному углу, к своему месту в литературе Шевченко довольно назойлив и однообразен, как однообразен его незатейливый, усвоенный из думы распевчик, за который он держится, словно боясь свернуть с проторенной однажды тропинки (узенькая, да своя) и потерять себя в океане всяческих ямбов. Но повторяя одни и те же, в общем, мотивы и ситуации, он глубок, и глубина его страшна, иррациональна.

Обращает внимание его страсть к одержимым и беснующимся натурам. Соблазненная или разлученная женщина мешается в уме и принимается выкликать – целыми страницами (представляю-

щими, мне кажется, недурной комментарий к кошмарам Прима-
ченко):

А у меня, красавицы,
Змеи-серьги в ушах.
Через плечи висят
И шипят, и шипят. (стр. 413)

В темной хате сырой
Спать ложилась со мной
Ведьма черная.
И смеялась,
Обнималась,
Ела, грызла меня,
Подложила огня,
И запела, заплясала,
И скакала, и кричала:
Жар, жар, жар!
Через яр
На пожар. (стр. 414–415)

А я так помню, ты учила
Меня, малютку, кровь сосать
Да «Отче наш» еще читать. (стр. 417)
(Поэма «Слепая»)

Загребай, мама, жар, жар, –
Будет тебе дочки жаль, жаль... (стр. 171)
(Поэма «Гайдамаки»)

Девушке приснилось:
Мать ее взбесилась... (стр. 354)

Вон, за курганом, за могилой,
Смотри, глаза таращит кот.
Кись-кись! А он, видать, боится:
Молчит, бесенок, не идет!.. (стр. 358)
(Поэма «Ведьма»)

Уже первое известное нам произведение Шевченки называ-
лось – «Порченная» (1837 г.), и такие порченные девы и жены об-

разовали у него хоровод, скачущий из поэмы в поэму. Человек, впадая в безумие, жаждет объясниться на таком нутряном языке, переходящем местами в футуристическую глоссолалию. Да и в лирическом герое сидит та же потребность захлестывающего подсознания, ищущего воплощения в стихийном разгуле, который мыслится то в виде свободы, то в виде смерти, смыкая все эти понятия в едином невыразимом порыве:

– О дайте вздохнуть,
Разбейте мне череп и грудь разорвите!
Там черви, там змеи, – на волю пустите!
О дайте мне тихо, навеки заснуть!

(Поэма «Тризна», стр. 430)

Непонятно: то ли мне дайте волю, то ли выпустите из меня сидящих в душе пришельцев – настолько эти значения сливаются, и беснование очередной жертвы оказывается прологом к пирам гайдамаков, вырвавшихся из-под контроля власти и разума.

И на руках, как бы дитя,
Широкий нож в крови качает.

(«Слепая», стр. 411)

Эта колыбельная, написанная за год до «Гайдамаков», послужила вступлением к ним, связав тему бунта с инстинктивным, подсознательным взрывом, не знающим ни границ, ни мотивов, благодаря чему Шевченко ближе, чем кто-либо, подошел к «Двенадцати» Блока, «Настоящему», «Горячему полю» и другим стихийным поэмам Хлебникова.

Между прочим, знатоки удивляются, откуда у Шевченки, мало жившего на Украине и не занимавшегося этнографией, такое проникновение в миф, в древнейшие пласты народных поверий. Можно полагать, его иррациональная природа была отзывчива на все эти касания. Возможно также, украинский фольклор прочнее связан со стихией подсознания, и поэтому сказочные образы более свежо и непосредственно переживаются здесь как факт живого, получаемого в психическом опыте бытия. Поэтому параллель Шевченко – Примаченко естественна и состоит не в традиционном орнаменте, украшавшем общие сорочки и плахты, но уходит к самым глубоким истокам. И потому я так много занимаю

тебя этим предметом, поражаясь обилию шевченковско-примаченковских аналогий.

Вторая аналогия – Гоголь, который сперва шутя подтрунивал над фольклорными чортиками, пока не поперло на него и из него сплошным вием, докатившимся через «Нос» и «Записки сумасшедшего» (впервые, кстати, увидел не романтическое безумие, но реальный и во многом автобиографический феномен) до мертвых душ, больше похожих на стихи природы, чем на типические характеры, да так поперло, что, выпутываясь из этого кручева, – «лестницу мне, лестницу» – все просил перед смертью.

И наконец Хлебников (по матери украинец), воспринявший южные степи как эпическое пространство для своих текстов, не стыдясь репутации шизофреника, сочинявший «Игру в аду» совместно с Крученых, хлебнувшим из того же котла, под присмотром Бурлюков, понаехавших с Украины и выводивших родную Гилею из того же казацко-скифского причерноморья (см. «Полтораглазый стрелец»^{*}).

Вот какое получается продолжение легенды, если глянуть на нее в эпилоге примаченковских комплексов.

27 июня.

Что-то очень я по тебе скучаю, моя родная жена, и к чему бы это. И все соразмеряю с вашей жизнью: если жарит и парит, пугаюсь, как бы вам головку не напекло, если же льет, боюсь, что вы опять протекаете.

Сам-то я жару переносу легко, и температура на меня не влияет – лишь бы не на солнце все время. Дожди и ветры хуже – негде заниматься.

И очень пронзила меня Егорушкина просьба: Мама, не уходи. Это за все зимы у бабушки. И очень понятно. Я тоже всегда твердил и твержу такие слова. И жалко мне вас, не могу сказать.

А так я довольно весело бегаю за своими вагонками, прихрамывая на обе ноги: должно, кожа на них сделалась чересчур раздражительной и чуть что нарывает, и киснет, и не желает заживать. Полагаю, как здесь говорят, «на почве нервной системы». Восприимчивость, правда, повышенная к изъясам жизни.

А тебя я люблю всегда и везде, и, в отличие от всех других людей, трудных в больших количествах, твое длительное присутст-

вие рядом никогда не мешало. То же бывало с матерью, но та умела быть невидимой, а ты почему? Я думаю, тут не одни только нежные чувства способствуют, а что-то еще, почему в твоём обществе мне так тихо живется.

Я, кажется, повторяюсь, но это я к тому, что Егор от меня, наверное, выдвинул предложение, чтобы ты писала письмо, а он бы при сем присутствовал, и этого довольно. Очень похоже,

А что он все не научится исполнять как большой свои мелкие нужды – пусть тебя не смущает. Все это лишь субъективно, и в Древнем Египте было по-другому: мужчины мочились, присаживаясь, а дамы – стоя. Это я недавно узнал.

Вообще узнаю из книг много полезного. Например, наше «вне» и «вон» в старину обозначало «лес», и тут индийский корень. Пошел вон – это значит: иди в лес.

И еще, оказывается, чистота (чистенький костюмчик, допустим) может служить стеною, способом самосохранения и отделения, подобно тому, как сострадание иногда заключает отпор и упрек – «зачем же вы так!», не жалость, только забота о собственной неприкасаемости, непричастности к грязному, чистота как окрик: «нас не запятнаете!», как гордость своей чистотой, чистота как чистая видимость, казовость бытия, которого нет в действительности, но облекается в аккуратность.

29 июня.

Сегодня у меня удачи. Во-первых, вернули рукописи, изъятые несколько дней назад из всех моих чемоданов, мешков и тумбочек; во-вторых, получил от тебя бандероль с Фаворским*, и – какая книжечка! – я просто с ума схожу и, облизав ее в один миг с головы до пяток, и футлярчик, такой красивый, что хочется петь песни, побежал на работу.

Ах, ты, моя умница и любимица. Ну и порадовала, ну и ну. Я успел посмотреть оглавление, и сразу почувялось, какая пища уму, какая проблема книги, книги вообще, книги как таковой, заключена в том футляре, и всяческие ассоциации туманят голову, но не стану спешить, расплытаться, и пусть это будет отдельным роскошным блюдом.

А то я совсем захирел, и птичка Сирий не чирикает, мало материала, надо бы для этого перевернуть гору книг из фольклора и о фоль-

клоре, да и эти несколько дней сильно меня задели, потому как и так не хватает спокойствия и равновесия, и я изнервничался и устал.

Ну, теперь меня твоя книжечка подкормит, поддержит, и ты мое спасение, и я просто не знаю, как тебя благословлять.

1 июля.

Вероятно, тоска по книге, по умственной жизни, по полезному труду позволяет и заставляет так ярко переживать этот подарок, обладающий для меня почти сверхъестественной значимостью. Да и то сказать – последние месяцы я слишком разбрасываюсь и за невозможностью заниматься тем, что необходимо, что хочется, по системе, при которой только и можно научиться чему-то путному, – хватаюсь за всякие мелочи, в общем интересные и дающие утешение, но очень уж случайные, подвернувшиеся под руку и повернутые в разные стороны – кто в лес, кто по дрова.

Тут и статья в этнографическом журнале о верованиях цыган, у которых, вот новость, было четыре души и две из них в виде птицы (опять – Сирин!), и дерево жизни имелось, представляешь, какая пожива, только очень уж по зернышку, по соломинке, век не соберешь; или доклады Л.Гумилева в географическом обществе, в самом деле приятные и обещающие, и надо будет когда-нибудь прислать его исследование о туранцах или как их еще звали, ты рассказывала, но это не очень скоро и не очень обязательно.

Новая книжка хороша еще тем, что насыщена и компактна, и тут хватит надолго ломать голову.

Немного побаиваюсь слишком быстрых решений, способных толкнуть в милый, но ни к чему не обязывающий душевный импрессионизм.

Вот сейчас пишу тебе, и вдруг ни с того, ни с сего, я об этом и не думал нисколько, пришло предположение, что «Гамлет» (если брать его в сугубо литературном значении, помимо сторонних метафор) – это видоизмененный «Эдип», и как это здорово, что там и тут одна и та же идея – противопоставленного убийства отца и кровосмесительной женитьбы на матери. Эдипов комплекс, действующий в античности в качестве неизбывной судьбы, отделен и вынесен у Шекспира во внешнюю ситуацию, с которой спорит, по-видимому не зависящий от нее, человек, имеющий право выбора, но оно-то и делает его виноватым и непонятым, так что

мы столетия мучаемся, герой он или слабак, – и всё лишь потому, что судьбой ему предоставлена свобода реагировать по-своему на ситуацию, по существу исключая всякий выбор.

Весь этот клубок, вероятно, давно распутан в науке, и зря я трачу порох на поразительное сходство, позволяющее – при более глубоком знакомстве с материалом – решить соотношение двух культур и целых эпох.

2 июля.

Отправил тебе сегодня ответную телеграмму, и вот к ней пояснения, начиная с конца. Неиспользованные слова я истратил на название книги, которую неплохо б иметь в дополнение к присланной. Эта книга называется: альманах «Искусство книги», вып. второй, М., 1961, где опубликована работа «О графике как об основе книжного искусства» – и там есть разделы «О бумажном листе как изобразительной поверхности», «О цвете и о черном и белом», «Об основных пространственных линиях, о вертикали и горизонтали», «О шрифте», – судя по заголовкам, имеющие прямое отношение к интересующему предмету, но, к сожалению, не вошедшие в новое издание. Может быть (но я не уверен), эти куски вошли еще в другое издание: «О художнике, о творчестве, о книге». Составитель и автор предисловия Е. Левитин. М., 1966, – так что можно заменить одно другим.

Но, конечно, Машечка, все это необязательно, и это я разохотился, получив от тебя Фаворского и увлекшись проблематикой книги, которой мне так недоставало в жизни, и вот свалилась с неба, и я решился для полноты картины пристать к тебе с новыми просьбами. Но, в принципе, обойдусь и без них, так что если ради этого тебе нужно предпринимать сложные экскурсии и визиты, от которых лучше избавиться, то не предпринимай. Уже одна эта книга для меня богатство.

Теперь по главной части телеграммы – что ты не получаешь письма, и эти перебои с каждым разом становятся все длиннее, и двадцать дней уже мало, чтоб ему до тебя доехать. Сперва, ты знаешь, я советовал тебе потерпеть и зря не волноваться, потому что все равно ничего не изменится и не улучшится, тем более лето, время отпусков, и всем трудно и недосуг, и у всех есть дети. Но поскольку эти сроки доставки писем (сначала 20, потом 25 дней, и сколько

дальше?) имеют тенденцию безгранично расти, я решил, посоветовавшись с тобой предварительно на сей счет, в дальнейшем написать об этом генеральному прокурору. Сразу генеральному – потому что, на мой взгляд, местные органы в этих проволочках неповинны, а затягивает Москва, и, значит, надо обращаться куда-нибудь повыше. Но я не считаю возможным никуда писать, пока не получу твоего согласия (потому что все свои действия координирую с тобой и тебе многое, может быть, виднее и понятнее, чем мне, сидючи здесь). Так что я буду ждать твоего мнения. А ты можешь об этом посоветоваться с какой-нибудь авторитетной инстанцией, и если она не в силах разрешить этот вопрос, – то давай я напишу соответствующую бумагу, тем более что этим правом еще не пользовался.

А то, я чувствую, ты совсем извелась последнее время, да и я порядком.

А покончив с деловой частью, хочу спросить, читаешь ли ты Егору художественную литературу? Мне очень понравилось бы, если б ты ему читала регулярно, выбрав для этого специальный день и час, который бы он знал заранее, и берег, и лелеял в душе. Потому что, если человек имеет какую-то перспективу в жизни, ему живется гораздо интереснее. И еще потому, что у тебя это прекрасно получается, и пусть у мамы объявится еще одна ценность. Да и я в эти часы буду ближе к вам.

3 июля.

Как сообщал тебе в телеграмме, имею от тебя сорок писем, а сегодня пришло сорок первое, немного меня успокоившее за вашу летнюю жизнь.

Завтра суббота, и я не стал бы отправлять это письмо и продолжил бы еще немножко, если б не желание скорее дойти до вас – в теперешнем твоём бесписемье еще более страстное. Так что я его пошлю в обычную дату. А следующее, по всей вероятности, пойдет на день позже срока, потому что 21-е совпадает с воскресеньем и все равно письмо не уйдет.

А ты за меня не тревожься. Летом все-таки больше живешь на природе, и она охраняет. И когда утром ухожу на свою скамеечку или, возвращаясь с рабочей зоны, вдыхаю запах ночных цветов, душа дрожит от счастья владеть тобою.

И потом, иногда случаются приятные сюрпризы. Например,

потерял ручку, пока переправлялся с опилками в котельную, и опечалился ужасно, потому как она зелененькая и я очень с ней свыкся и подружился, а искать на такой огромной территории, все равно что иголку в сене, не имело смысла. Но все же решил заглянуть на одну развилину, где особенно пришлось хлопотать и нагибаться над рельсами, и сразу, с первого взгляда, увидел ее с приветливой улыбкой посреди щебня. Словно она меня ждала и звала, и такая, почти чудесная, легкость ее возвращения ко мне необычно меня ободрила и подкрепила надеждами на жизнь, которая среди бедствий имеет к нам снисхождение, и заботится, и питает нас, и дает понять, что не все потеряно.

Целую вас и повторяю с Егором:

Никому тебя не отдам.

А.

5 июля 1968.



...Уже после этого был Переславль и все остальное. – Далее сцена ревности из-за моего намерения везти на экскурсию в Загорск (одно из *наших* мест) студентов и читать им лекции о Переславле (другое *наше* место).

...во-первых, в Третьяковке (а для меня-то вдвойне в Третьяковке)... – Третьяковка – место нашего первого знакомства. Познакомил нас Сергей Хмельницкий (1925–2004), **...из породы понимающих, единственных, если бы не беда, что подлец** – когда-то одноклассник А.С., потом мой сослуживец по ЦПРМ – архитектурно-реставрационной мастерской, известный московский стучач.

Секретарша... – Здесь и далее об отношениях с Петровым. Из моего письма: «Мне сейчас грустно и одиноко и обидно живется... Услышать от соавторчика после всех лет вскармливания: – Подумаешь – ты! А что ты такое? Всего-навсего секретарша при Синявском! – почему-то было обидно. Но нет худа без добра, и я уже ношу на пальце собственное изделие, и оно всем (кроме Петрова) нравится».

...по шкариному Пиросмани... – Статья Н.Шкаровой в «Декоративном искусстве».

...«Полутораглазый стрелец» – мемуарная книга Б.Лившица (1933).

...бандероль с Фаворским... – Книга о Владимире Фаворском. Москва: Прогресс, 1967.

ПИСЬМО ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЕ

Полезные иногда случаются руководства. К твоему сорок первому номеру с новеллами о Егоре (а я к тому письму, за отсутствием свеженьких, все мысленно припадаю и верчусь вокруг да около, как бы получше нам вырастить ребеночка, чтобы был он здоровый и умный), так вот, к твоему письму подоспела, на манер комментария, книжечка Януша Корчака, и я ее проглотил в один миг. Одна, еще раньше встречавшаяся мне идея Корчака, что детство самоценно, а не служит только ступенью ко взрослому состоянию, – очень родная. Правда, книжечка (под названием «Как любить детей», выпущенная массовой серией в нынешнем году) показалась мне несколько ниже возможностей этого автора, о котором я столько слышан, ничего не читав, но и требовать слишком многого от популярной брошюры не стоит. А в ней даются советы практического характера, порою убедительные, да и как детский врач он пишет о всяком кормлении, начиная с грудного возраста, и если бы мы раньше читали, нам было бы, может быть, немножко проще.

Применительно же к теперешним дням, бросается в глаза, что если ребенок не ест, то и не надо, а дети едят по периодам, когда не растут – мало, в периоды роста – наваливаются. А ты мне писала, что Егорыч даже не вырос из полуторагодового костюмчика, – и какая уж тут еда. Вот начнет расти – тогда и наверстает. И вообще – «ребенок должен есть столько, сколько хочет».

Однообразие же в детском питании Корчак не считает бедою, оно – кажущееся на взрослый вкус, привыкший к разносолам, а дети предпочитают какую-нибудь постоянную кашку.

А физические наказания, говорит Корчак, учат безнаказанно бить слабого. На мой-то взгляд, тут важнее приучить слушаться слова, понимать интонацию, ловить настроение и дуновение, что хорошо и что плохо, а не реагировать на болевые ощущения, способные заглушить нравственную восприимчивость. Известно, что наиболее непослушные дети – которых часто наказывают, и это – производное. По-видимому, образуются грубые реакции, соответственно средствам воздействия.

Но защищая детей от взрослых, чтобы те их поменьше портили (эффектный афоризм: «ребенок не зарабатывает и, будучи на содержании, вынужден подчиняться»), Корчак впадает в детскую эмансипацию, как будто не хватает нам женской, вполне в духе прогресса. Звучит заманчиво, но утопично, как пророчество Хлебникова, вряд ли осуществимое в земных условиях. «Я вижу конские свободы и равноправие коров».

Я тут последнее время по детскому вопросу часто рассуждаю с нашим конкурентом, который без ума от этой книжечки и полон отцовских предвкушений, собираясь попробовать такой эксперимент воспитания: объявить сыну – один или два дня в неделю ты будешь папой, а я Мишатиком, и все, что ты ни потребуешь, я буду беспрекословно исполнять, вот тебе деньги, командуй, даю тебе полную волю, – чтобы он почувствовал разумность родительских требований.

Я же на этот прогресс ехидно отвечаю:

– Хорошо, что ваш Мишатик так прекрасно воспитан, что, став полноправным папой, не потребует, надеюсь, от вас, чтобы вы отрезали маме голову за то, что она вчера не купила ему мороженое...

Следуя патриархальным обычаям, надо, вероятно, не столько доверять детям, сколько внушать им доверие, потому что малейшую несправедливость они помнят потом всю жизнь.

А имеет ли Егор за столом постоянное место? Чтобы каждый сверчок знал свой шесток.

8 июля.

Прошрое воскресенье я провел увлекательным образом. Вдруг свалилась книга из готических романов* 18-го века, изданная «Академией», с фантастичным названием, а ведь это была мечта

почитать про привидения. Я ее выпросил на один день, и как лег с утра на травку, так и не вставал до вечера, от одного присутствия этой книги, потому что сами романчики оказались слабенькими, только Казот немножко с «Влюбленным дьяволом» и, по настоящему, по крупному счету, две странички в приложениях так называемого «Пророчества» Лагарпа. Но, несмотря на эти просчеты (от книги почти всегда, за редкими исключениями – и вот эти-то исключения надо читать, – ждешь большего, чем в ней написано), сама атмосфера ожидания и надежды, что вот тут-то, наконец, мне встретится и откроется нечто, укачивала и опьяняла восторгами, и этот воскресный день, солнечный и лазурный, в облаках под Делакура, в траве, в предчувствиях прекрасного, очень запомнился и приподнял.

А еще недавно у нас была страшная буря с градом, таких размеров, что листья на деревьях кругом иссечены и пробиты, и много веток поломано, и раму в цеху вынесло на глазах. Кратковременное и сильное зрелище.

А в сочетании получается смутное настроение, которое можно выразить почти математически:

Казот – новелла в новелле. Фон, перерастающий в фабулу. Внезапность града. Аналогии: Блок, Корин, Новгородская легенда. Разные нации, но в принципе одна перед старцем, бредящим о мудрецах, и его ласковая интонация – лишь мимикрия выкриканий. «Тройка», рассеянная вечерними сумерками, грустной, лирической нотой. Казот и Флавий.

10 июля.

Какие бывают сны.

– Я часто во сне летаю. Утром залезешь на крышу, голова кружится, кажется – сейчас полечу.

– А я во сне все гадать начинаю, сколько еще сидеть. Но каждый раз на этом месте просыпаюсь.

– Ты знаешь, Андрей, я во сне и Бога видел, и ангелов. Один раз вижу – идет здоровый такой мужик. По воздуху. Борода седая, с палкой. И гонит перед собой отару овец. Наклонился ко мне и что-то сказал, непонятное.

– Запомни, – говорит.

И дальше погнал.

И уже далеко – как тучка.

А потом ангел. С крылышками. Как на картинке. Подлетел и спрашивает:

– Понял, что Он сказал?

Я говорю: – Нет.

– Потом поймешь.

(И обычный мат на этом рассказе кончается, без усилий, само собой, язык чист, а сны про чертей – тоже чудесные, но с матерком.)

11 июля.

Борис Михайлович* мне подарил портянки, летние и зимние, с любезностью их постирав перед вручением, так что ты мне портянок не покупай.

Еще на третьем году лагерного сидения я открыл, что здесь иногда среди травок можно встретить укропчик, и сейчас этот запах за обедом очень украшает и романтизирует жизнь. Не каждый день, правда, но все-таки.

А у Егора мне понравилось слово «немноженько».

Из неприятных мыслей – у зуба, что остался в одиночестве, сильно обнажилась шейка, или как ее называют; видимо, десна, из которой с той стороны все повытаскано, опустилась вниз – надо, что ли, коронку ставить, или чорт с ним, не знаю. Не хочется после лагеря переходить на вставные челюсти.

Если бы знать, когда помрешь, многое можно было бы сэкономить. А так столько ненужных забот и опасений.

Кстати про колдуна на базаре.

Колдун, сказавший женщине: – А ты – иди! Тебе я ничего не скажу.

Через два часа ее раздавил грузовик. Колдун, сказавший парню, где у его жены родинка.

И девушке: – Ты один раз вешалась, один раз топилась. Ничего – на третий раз уйдешь.

12 июля.

Этнография.

О *Буян-острове* (данные XIX в.). Буян-остров в заговорах обладает таинственной силой. *Н.Заварин* «О суевериях и предрассуд-

ках, существующих в Вологодской епархии»: «Мнение, что земля устроена на трех китах великих и тридцати трех малых, распространено повсюду в городе. Многие думают, что первоначальная родина человека на море на окияне, на острове Буяне. Буян представляется чем-то вроде первородящей матери – сырой земли, от которой происходит и к которой тяготеет всякая жизнь» («Вологодские епархиальные ведомости», 1870, № 1, стр. 22).

Старинный обычай – сожжение вещей умершего – освобождение души вещей, чтобы ими пользовалась душа покойного.

Два вопроса (фольклорный мотив солнца-лица): 1) насколько национальна традиция; 2) какая должна быть ответственность и одновременно уверенность в себе (с невысказанной подоплекой: гордыня! Еварра*: «кто сделает иначе»)? Ответы: отрицательный на первый, даже невдомек, о чем речь, при чем тут национальное, когда к началу начал – никакого *couleur locale* (так и должно быть, самосознание абсолютно при самом ярком локале и его не чувствует, и ссылки на 17 век не помогут). Второй ответ (в отличие от первого) – да, сразу да, спокойное принятие на себя всего груза (но и всей же награды). Остаток самоуверен, и иллюстраций полынней ему достаточно. Нам-то важнее культурные и художественные оттенки (игра) в этом действе, не содержащем в себе никакой игры и способном только на подвиг бесхудожественности и самоуверенности.

13 июля.

Словесность. Фразеология.

Читая книгу, мы вспоминаем самих себя.

Жанр романа получил развитие по мере того, как писатели перестали ходить к исповеди. Все свои прегрешения они валили туда.

Об Аввакуме невозможно рассказывать: он сам о себе все сказал, он ввалился, как медведь, в свою яму и всю ее занял.

– Да я уже, милоч, о другом маршруте думаю (о смерти).

– Один плачет, другой смеется, третий чего-то боится. Кто что вспомнит. Бывали чудные моменты. Как бы тебе сказать – дуреешь. Совсем дуреешь. Отключаешься.

– Познакомился с дамой ночной красоты (песня).

– И было вас одиннадцать рыл...

– Не рыл! Пойми – не рыл!

- А я женщина молодая и темпераментная.
- Она красивая, полная (со знаком равенства).
- Ты меня полюбила не за кличку мою «уркаган»,

А ты полюбила за деньги шальные и шумный большой ресторан (песня).

- Измерял жизнь количеством стрижки.

- Лягушка с пугающей внешностью. Перелезает через ветку, вытягивая длинные лапы, но почему-то не прыгая.

- А фраера вдвойне богаче стали.

Кому их трогать неопытной рукой? (песня).

14 июля.

Как трогательна эта «неопытность», возбуждающая безрелигиозность, сострадание и юмор, неведомый автору, и грусть по утраченной высокой профессиональности!..

А ты мне почему-то, Машечка, стала меньше писать, как получила письмо. Я понимаю: немного успокаиваешься и нуждаешься в роздыхе – перевести дух, оглядеться. Но у меня от этого иногда получается так, что сначала ты мало пишешь, потому что, ничего не имея, тебе нечего писать и ты нервничаешь и ждешь, а потом – потому что отлегло от сердца.

И еще ты неправа, что, будь я с Егорычем, вместе мы бы тебя забыли, забросили, занявшись друг дружкой. Все равно ты была бы нашим кумиром и царила бы в центре. И кроме того, с тобой нам было бы куда интереснее все делать и обо всем рассуждать.

Поражаюсь, как много мне дали отец и мать, и я рад, что ты застала отца, и как далеко продолжается их тихая жизнь во мне, хотя и не прямо. Как существуют какие-нибудь Жигули, Озерки, где они жили до моего рождения, никогда не виданные (да и бессмысленно), и справедливость, внушенная с детства.

Вспоминается. Храп отца как охрана. Слыша его, я чувствовал себя прочным и защищенным. И запах его – охрана.

А приедет ли Егор в августе?

16 июля.

Интересно, как люди, выходя отсюда, бледнеют и становятся призрачными – для нас, конечно для нас, не для себя – для себя они наполняются жизнью, для нас линяют и исчезают. Не то что-

бы они стали чужими, но уже нездешние, как бы умершие, усопшие, и если такая малость в разделениях пространства влияет, то что же говорить о других планетах и землях; наверное, прав Л.Н.Гумилев с теорией (почти Монтескье) ландшафтов, определяющих этнос; только скорее и больше не географические условия действуют, а пространство с его замкнутой сферой (без которой не бывает пространства) имеет свои токи, флюиды, образующие в Москве москвича, а в Ленинграде ленинградца и кладущие водораздел между нами и марсианами.

Поэтому, наверное, тоже нет зависти к уезжающим. Они слишком далеки и кажутся недействительными.

А вот ты для меня действительна и реальна – больше меня самого, и в этом смысле «единственная» имеет еще один смысл – нити, не будь которой, возможно, меня вообще бы не тянуло на волю и было безразлично, где сидеть.

Пространство засасывает. Я имею в виду не какие-то специфические местные интересы и не привычку к определенному образу жизни, а нечто не поддающееся вполне объяснению, логике, – чувство растущей отрешенности.

Не на этом ли принципе основывались монастыри? Достаточно очертить человека кругом, и он уйдет в эту дырку.

Правда, еще в виде приманки «оттуда» воспринимаются хорошие книги. Недавно получил от Машки-Реформашки* ее книжечку «Северных писем» с надписью, чтобы меня утешить, спасибо, книжечка милая, и картинки прелестные.

Но, говоря между нами, текст не хватает звезд с неба; все правильно, благопристойно, на нужном уровне научного знания и квалификации, и хоть иной раз фразеология типа «задушевный образ Марии» немного коробит, не в том печаль, а – в общем фоне подобных подстрочников, которые так и воспринимаются – необязательным приложением к иллюстрированному изданию. Как-то заранее знаешь, что будет написано в этом пособии, причем написано аккуратно и правильно. А в искусствоведении можно требовать, как от художественного перевода, – не точности, но соответствия хотя бы в потенции, в постановке вопроса.

Все равно я в эту книжечку играю.

А к вам стремлюсь всей душой, мои золотые птички и рыбки.

18 июля.

Я тебя собираю не по фразам, так по слогам, и верчу так и эдак очередное письмецо, чтобы из этих крупинок, что-то реденьких последнее время, слепить вашу картину и к ней пристать, мои детики. С Егорычем еще так-сяк, он описан более подробно, а тебя совсем мало, до слез недостает, просто не на что посмотреть, а я по тебе ужасно соскучился.

Понимаешь, тут какая-нибудь паршивая рощица из Красной Шапочки подле вашей дачи для меня целый Акрополь, и я за нее держусь, как за соломинку, стараясь разглядеть тропинки, по которым вы бегаєте, и все шипы и завитки. Сразу все начинаешь понимать и воображать. И ты уж, пожалуйста, Маша, подбрасывай мне матерьяльчик для вашего лицезрения – самый что ни на есть заурядный, бытовой, ходовой, ну хоть как ты причесываешься и умываешься по утрам, и есть ли у вас веранда, на которую я буду смотреть, закинув голову. Потому что я вас люблю, жевузем, айлавью, а когда ткань вашей жизни редеет, как сито, в моих глазах, приходится уже совсем отрешаться, чтобы дышать, и письмо мое к вам, и я это с дикостью вижу, сохнет, мелеет и принимает совершенно уже герметическую форму, и, представляя, как ты бежишь по этим периодам из книг, еще протягивающих мне руку помощи, я ужасаюсь, но ничего не могу изменить и пишу, скрепя сердце:

В «Лаокооне» Лессинга, оказалось, уже заложена теория перспективы, которую так блистательно развил Флоренский, а попутно замечено, что линия горизонта у древних стояла выше нашей и это давало более широкий и компактный охват (и я доволен, что подтверждается и киевская панорама, и к земле с небом хорошая аналогия).

«Простое соблюдение того известного оптического закона, по которому каждый предмет представляется в отдалении меньшим, нежели вблизи, далеко еще не делает картину перспективной. Условия перспективы требуют единой точки зрения, а этого-то именно и не было в древних картинках. Основание в картинах Полигнота было не горизонтальным, а так высоко приподнято сзади, что фигуры, которые должны были казаться стоящими одна за другой, казались стоящими друг над другом. <...> То же самое следует иметь в виду и говоря об описаниях Гомера. [Имеется в виду щит, описанный Гомером с такой пространственностью и избытком сцен и фигур, что было непонятно, как все это могло

на нем уместиться.] Поэтому нет никакой надобности отделять одну от другой те из его картин, которые могут быть соединены в одну. Изображение двух сцен в мирном городе, по улицам которого проходит веселая свадебная процессия в то время, как на площади решается важная тяжба, не требует поэтому двух отдельных картин, и Гомер, конечно, видел здесь только одну картину, ибо представлял себе целый город с такой высоты, откуда были видны разом и улицы и площадь» (М., 1957, стр. 231).

А еще в «Лаокооне» замечено начавшееся в новом искусстве отделение истины от красоты. На самом деле это менялось понятие истины. Фома Аквинский считал: «Красота есть сияние истины», и некрасивое, значит, было неистинным, недостоверным.

19 июля.

...Прибавлю в оправдание осень, вторгшуюся в лето с массой неудобств и загоняющими дождями. И тучи, обложившие дымом, своим гвалтом наводят на мысль, что пейзаж в позднейших этюдах – живописных и литературных – потерял значение зрелища, которое хорошо бы возродить наподобие старинной баталии, когда солнце с факелом в руке поднималось над степью и освещало сцену, как днем.

Как вы там держитесь, ребятки, а про печку ты так и не пишешь, – чтоб не мерзнуть и не сыреть?

Но сегодня мне уже лучше живется под голосок твоих открыток, три штуки, Жора* опять насмешил, только на цветного смотреть почему-то неловко и стыдно, мужчине таким красивым ходить просто неприлично. Как голый Аполлон Бельведерский. И весь блестит.

А из помпейских фресок ты выбрала для первого раза самые удачные и наименее натуральные, возможно случайно, но опять внутреннее совпадение. И через эту Помпею я силюсь увидеть вашу трапезу, и, кажется, удастся немножко, – экий, однако ж, приходится делать крюк, чтобы до вас добраться.

И сено, и ты. И я тебя.

20 июля.

Во Псковской губернии существовал обычай: во время свадебного обряда жениху и невесте подносили «красу» – елочку, укра-

шенную цветами и сладостями. Эта «краса» имела какое-то отношение к девичьей красе (а может быть, к красоте вообще?) и очевидно – к праязыческому древу жизни. И были свадебные песни и жесты, специально ей посвященные, где-нибудь, вероятно, записанные и прокомментированные, и, возможно, Эрна Васильевна* смогла бы объяснить эту связь символической елки с девой и деревом.

А я со своим нытьем дождался-таки от тебя более обстоятельных писем – №№ 46 и 47 (это – последние) – и воспрял духом. И хоть тревожно за твою бездомность и нищету, представлять твоё истинное положение мне нужнее и легче, чем не знать и пытаться домысливать, от которых земля проваливается и уже сам себе кажешься миражем. А теперь я уже кое-что знаю, и вижу, и существую, имея ответы-опоры, на которых стоит мир, даже если это всего лишь твоё чтение вслух Егорушке разных книжек (а как он слушает? Боже мой, вот бы подглядеть, как он слушает!) или его рисование, и получить его первую живопись вполне ташистского толка (или что-нибудь означает? – вот бы узнать, расспросить!)...

Загадочно, что дети начинают с беспредметничества (как и в речи – с зауми). И если б мы были вместе, это не он меня, а я бы его допекал приставаньями на тему «зачем» да «почему» – чтобы попытаться с его помощью дознаться до правды.

О домике ты верно сказала. Был постоянный косяк. И все же непрочность мне кажется сейчас меньшей, при всех бедствиях и волнениях, а наша с тобой жизнь несравнимо счастливее.

Крепко-накрепко. И тихо-тихо.

А.

21 июля 1968.

При виде ваших буковок тоска рассеивается постепенно, как мигрень, очищая голову, оставляя еле слышимую, целительную лому. Выхожу на улицу, и тот же дождь мил и не страшен.

Для всего на свете мне предварительно надо иметь тебя.



...книга из готических романов... – Фантастические повести. Л.: Наука, 1967.

Борис Михайлович – Б.М.Зеликсон, солагерник Синявского, у которого кончался срок. См. о нем примечание к письму 9.

Еварра – стихотворение Р.Киплинга «Еварра и его боги».

Машка-Реформашка – М.А.Реформатская, искусствовед.

Жора – Георгий Епифанцев. См. примечание к письму 53.

Эрна Васильевна – Э.В.Померанцева (1899–1980), этнограф, фольклорист.



ПИСЬМО ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЕ

Мои любимые дети!

Очень вы мои – в том письме, когда, уписамшись*, сопите в друг друга носом.

У нас слегка распогодило, но вечерами холодновато, но от этого крепче спится и от этого похоже на Север, чему способствуют замечательные золотые закаты. Удивительно, откуда берется такой напор – на стыке, за всклокоченностью облаков, образуется запруда, позволяющая судить о размерах реальности, – рассуждать-то не составляет труда, но вот как представить, если это выше ощущений, а только на их языке изъясняется чувство реального? – потолок мог бы треснуть под давлением той тяжести и солнце померкнуть от тех лучей.

25 июля.

Приятно, когда вдалеке кудахчет курица, мычит корова – голоса мирного мира.

В сущности, уже август. В вещах проступает августовская чернота. Днями светло и жарко: самый разгар. Но приглядеться – тени вечером темнее, мрачнее, да и в полдень, в зрелой листве, в лазури раскинута сеть какого-то черноватого тумана, дурмана, и воздух, чуть что, кажется, поплывет кляксами. Не осенью или зимой, а именно теперь, в августе кладет начинку в вещи червоточинка смерти. Дело сделано, плод заложен – в августе.

Кстати о пейзаже. В 19-м веке в литературе царила эстетика

видика. Ах, взгляните на эту тропинку, какая полянка, а чего стоит вон тот заглохший пруд! Так как словами все эти неповторимые уголки передать было трудно, преобладало подразумеваемое восклицание – какая прелесть! – в сочетании с лирическим – в минор или в мажор – настроением. От этих картинок в памяти оставалось что-то неопределенное, душещипательное, говорящее больше сердцу автора, вспомнившего свой уголок, нежели читательским ассоциациям.

Интереснее зафиксировать не какой-то индивидуальный пейзажик, которых везде много и каждому хватает, но универсальность физико-природных явлений, подобно «Грому» Державина и «Свету, зримому в лицах»*. Что есть гром? Каково благоухающее чудо воздуха?

27 июля.

Какого искусствоведения надо остерегаться.

«Откуда, из какой тьмы веков пришел в наш день этот сказочный орнамент? Быть может, родили его прихотливые линии горных вершин, замкнувших в свой круг Кубачи? Или узор душистых трав, покрывающих окрестные склоны? А эта ясность рисунка, не сродни ли она хрустальной прозрачности горного воздуха, целительной чистоте кубачинских родников?» (Игорь Бузылев. А надо бы прислушаться. – «Известия», 14 июня 1968 (о Кубачах)).

«Помимо сусни срабатывает принцип с натуры!» – в лучших традициях передвижников и барбизонцев.

28 июля.

О змеях.

«Матерям Аристомена, Аристодама, Александра Великого, Сципиона, Августа, Галерия снилось всем во время их беременности, будто они имели дело со змеем. Змей был эмблемой божества, и прекрасные статуи и картины, изображавшие Вакха, Аполлона, Меркурия или Геракла, редко обходились без змея» («Лаокоон», стр. 84).

Потом этот змей под видом покойных любовников и мужей являлся тоскующим вдовам. Не он ли опять мелькает в изображениях Примаченки?

Стихи:

Люблю ходить я на охоту,
 Я уважаю труд,
 Иду на всякую работу,
 Люблю культурно отдохнуть.

Интересно при всем том, что охота на первом месте.

Не есть ли сумасшедший как раз наоборот – чересчур хорошо закрепившийся на своем уме и идее?

Юродивый: взять корку, брошенную на пол, а если и через грех, если погрязая в грехе, не ради удовольствия, но для уничтожительности?

– Если спросит Господь, что самое худшее-лучшее было в жизни. Худшее – выберу четыре эпизода. А лучшее – скажу: анаша.

Разговор бойца с журналистом:

– Я кровью за это платил, а вы писать хотите.

Неописуемость жизни. Бесстыдство литературы, всюду сующей нос. Как – о крови – пером?!

Старик в деревне читает справочник по элементарной математике. Сынок прислал соседу. Ничего не понимает. Какие-то синусы-косинусы. Все равно читает. От корки до корки: сынок прислал.

(Об этом писал Розанов – «типикон». И это – к душе вещей. Если б ты кому-нибудь прислала задачник по геометрии, я бы, наверное, не утерпел и тоже взял – посмотреть. Соприкасание с лицом важнее содержания книги.)

Мы пришли на землю для того, чтобы что-то понять. Что-то очень небольшое, но крайне важное.

Ты здесь нужнее.

– Я к нему подошел со свойственной мне скромностью и говорю...

– Время двигалось к opravке (эпос).

– Когда он забожился в первый раз – ну, думаю, сейчас крыша провалится. Я даже пригнулся.

– Хочу, чтобы меня зарезали чистые руки.

– А жалко было?

– Какая жалость?

– Имел с ней половое общение.

«Я» исключительно, «я» всегда исключительно – по типу исключенного третьего: есть ты да я.

Сообщает как величайшее чудо:

– В детстве мне казалось, что я никогда не умру!..

И полагает, что только ему, ему одному, в порядке исключения было даровано это сознание и – как знать? – быть может, предвестие, намек или тень надежды.

Но от снисходительной жалости вначале: чудак, да ведь это же всем так казалось, особенно в детские годы! – мы переходим к догадке, что ощущение это верно в зерне, и действительно, с ним одним был заключен тайный союз и дана гарантия: не умрешь. Каждый бессознательно носит в запасе подобный сюрприз, заканчивающийся в сказке исполнением обещанного.

29 июля.

Вот какой чудный сон привиделся мне вчера днем, хотя дневные сны, как известно, редко бывают удачными. В моем же бросилась – острота восприятия в ощущении цвета и запаха, оставившая очень прочное чувство, что в душе у нас целый дом давно прошедших (в частности) образов, способных в любой момент оживать и возвращаться на старое место, как если бы это был музей нашей жизни, чьи картины, проходя, не исчезают со сцены, но продолжают и длиться вне времени, так что даже как-то страшно заключать в себе этот клад.

Цвет был зеленый, прозрачно-зеленый, похожий на камень и на кристалл – чистый кусок затвердевшего цвета, как стекло или изумруд, излучавшегося у тебя из очей. Такого цветного, яркого сна давно не бывало (отсюда и чувство сохранности, вечности пережитого феномена). А следом за тем, безо всякой связи, тоже как отдельное качество, приснился запах отца, столь отчетливо

слышимый, что во сне я сразу узнал его и изумился точности в передаче ощущения, которое наяву сейчас я не смог бы воспроизвести в памяти. Неожиданность не в сюжете, подсказанном, по всей вероятности, моими мыслями и письмами к тебе, но в фактической очевидности и реальном соответствии этого призрачного материала – действительному.

Но я только сегодня понял, откуда пришел этот толчок, когда получил от тебя телеграмму и увидел, что ты ее посылала как раз в то время, пока я вчера спал, – удивительно повлияла.

А еще я восхищаюсь тобой и играю в журнальчик*: на высшем уровне.

31 июля.

А ты? Куда идешь и где едешь?

А в этот раз ты почему-то никак не могла от меня оторваться. И я тоже.

А завтра – насморк, грипп, зубы, и я все думаю, где ты сейчас едешь.

И еще меня поразило – с пространством. Не знаю, заметила ли ты, как я оживился на этом месте, – это потому, что та же, то же, в один голос с тобой.

А мелкие недочеты, почему не получилось курицы* и уединенной беседы, – это не забывчивость, не оплошность, а специально, чтобы испортить, и я немного бешусь. Это как ниточка, за которую дергают, – подразнить.

Я сейчас жутко раскисший. Сказалось напряжение вчерашнего дня, не обедал, не ужинал, а волновался. И как твоя головка – все еще болит? – хочется спросить.

И Егорка. Я про него мало расспрашивал. И все больше – по отвлеченным проблемам искусства и быта. Я не могу о Егоре, при посторонних. Ты уж прости. Но это как рана, которую не показывают первому встречному, тем более – который только обрадуется.

Но тобой я обрадован и горд, и последнее слово особенно точное.

2 августа.

Все-таки странно: насколько я понимаю, свидание призвано чуть-чуть умиротворить заключенного человека и внести в его доста-

точно нервное состояние некоторую разрядку, дозу спокойствия, чтобы ему было к чему стремиться и на что надеяться. Обставляется же оно иногда – так и с нами поступили сейчас – такими нелепыми мерами, словно преследуется задача нарочно устроить дополнительное напряжение, возбудив раздраженность и обиду.

У меня опять дико болит вся правая половина лица, и я бы думал на зубы, если бы они еще имелись там, откуда начинается этот, до виска ветвящийся нерв. Простуда связана теперь у меня с этими остаточными зубами. Спасаясь таблетками от головной боли. Они пока что действуют.

А я стал сентиментальным. Давно еще кино показывали, где к больному ребеночку никак не доедет доктор. Так я еле высидел. Старею, должно быть.

А ты моя Машенька, ты моя жена, ты мое заклинание.

3 августа.

Вот и лето прошло, но долго еще будет тянуться слабыми остатками. Вот и лето прошло – со свиданием. Со свиданием, дорогая.

Никак не опомнюсь. Оно в этот раз пролетело что-то уж очень мгновенно. Не успел оглянуться, ты сказала – час осталось.

И я не поспеваю с письмом.

Все руки не доходили написать о журнальчике. Давай поговорим. Впечатления, к сожалению, сбивчивы.

Помимо переживаний от встречи, это сваливание богатства в мою нищету оглушает.

Город настоящий*. Главное, в нем как раз нет ничего от красного словца, от фразы: опыт метафизической критики, «о природе вещей», о первоосновах, благодаря чему, при всей беглости взгляда, отсутствует импрессионистическая необязательность и случайность наблюдений. В тексте есть ощущение единственности найденной формулы. В принципе, его можно представить в отдельной книге с уймой картинок.

Упущения: Оранта, конечно, парит в потоке света, а не в потоке.

В начале почему-то рядом с горами появились ложбинки – легковесно звучит.

Слово «есть» надо писать правильно.

Мелочи: «Чувство простора усиливается...» лучше с абзаца.

Между Владимирской горкой и Золотыми воротами – не надо бы «и».

Пропущена запятая перед «кругосветной», и получилось безграмотно.

В руке Алимпия, пожалуй, лучше снять эпитет «чистая».

Все же лучше: цивилизованно выровнялись.

Но, в общем, придирик у меня гораздо меньше, чем раньше случалось.

В оформлении – очень «за». По номеру кружишь, как по городу, и, как в городе, натыкаешься на негаданные красоты, перестройки, нововведения, изобретения, – поворачиваешься, бродишь, живешь. Разномастность материала успокаивается этим единством – городского коловращения.

Потом – ощущение качества. Половину фотографий хочется вырезать и развесить по стенам. Помимо уже известных, очень понравился подмосковный крест.

Из возможных недочетов:

Разрывы текстов в ряде статей сгущают контрастность и хаотичность общего впечатления, работая против идеи единства. Если б все статьи были цельные и шли шеренгами, академически, а фотографии бы крутились и рябили в глазах, было бы даже интереснее. Словом, я, как и прежде, против разрезания статей, и номер меня в этом укрепил.

Чистые столбцы кое-где оставляют чувство неконструктивной пустоты, вроде бы не хватило материи и торчит голый бок. Это не везде, а на стр. 20, 31, 33.

Задняя обложка тоже слишком бела по сравнению с передней и собственным довольно темным оборотом, так что финальное чувство точки, завершенности не вытанцовывается, а пустоты, оскудения – опять чего-то не хватило.

Тени, пожалуй, лучше б смотрелись на отдельном развороте, а не как продолжение друг друга при перелистывании страницы. Фаворский писал, что когда мы открываем книгу (в любом месте), то сначала смотрим на правую сторону, потом на левую, а потом опять на правую. Это очень важный закон, о котором вы забыли. И поэтому эффект перелистывания с продолжающейся картинкой пропадает: правое впечатление перебивает то, что мы

оставили позади, и вторгается между ним и левым, разрывая композицию. Мы делаем усилие, чтобы вспомнить, что было сзади, и мотаем назад.

Таким образом увеличивается спотыкание глазу и мысли. Интересно – согласишься ли ты с этим.

Глазычев подписался за Брюсова* под эпитафией, и получилось смешно. Кстати, в эпитафиях никогда автор не отсылается в сноску. Экая вдруг академичность. Это тоже просчет в оформлении.

Против его статьи в номере нет возражений – получилось интереснее, полемичнее, острее. Но сама статья меня раздражила чрезвычайно. Просто какое-то тяжелое чувство, и я ужасно испугался, на секунду подумав, что это и есть дурной глаз (тем более фамильное сходство), и перепутав, кто – кто.

Во-первых, невыносимы его развязный, развратный тон и какое-то оголтелое рвачество в восприятии культуры, за которое хочется дать по рукам: не лапай – не купишь. Дешевка из Сартра и Золотого тельца, куда для приправы и для кошунства пущен вдруг Екклесиаст. Про все слышавший, без гроша за душой, нахватанный, из породы Кондратовых*, срезающий на ходу подметки, на все готовый молодой человек – чего изволите – Бастилию, взятие Бастилии, татарское иго, русский стиль, он вам мигом устроит и проведет по разряду культурного памятника. Все есть, кроме веры в то, чему посвящается памятник. Как могильщики на кладбище, перепродает любую оградку. Да он и с этого теплого номера, пока редактировал, успел снять пенку для своей статьи, плюнув попутно в публикуемую рядом Нерль, которую будто бы все представляют лишь в отражении, и украв у тебя «есмь», вместе с ошибкой – торопился. (Эта двойная ошибка в одном номере все равно как дурная язва.)

Ох, уж эта мне кибернетика-семиотика, моделирующие системы, которые так легко воссоздать, будь то Древний Египет или бедная Нередица, – стоит лишь посмотреть чертежи и обмеры, как будто в обмерах дело и культуру можно построить, как аппарат, без корня, без тайны, из пустоты и своевременно запрограммированных калек. Это не скептицизм, не цинизм, а гораздо хуже – скорлупа, начиненная бесом.

Куда там ваши дизайнеры, они хоть к Корбюзье и Матиссу ис-

пытывают благоговение, а этот ничего не испытывает, но непрерывно функционирует и способен восстановить, а если попросят – упразднить Корбюзье, расценивая ту и другую проделку в порядке равноправных моделей.

«Твистом со слезой» его не проймешь*, не остановишь, – тут безрелигиозность нужна, а не слезы, безрелигиозность и презрение к недочеловеку, к обезьяне с высшим техническим образованием. – Тень, где твое место?

5 августа.

А я забыл спросить, пьет ли Егор коровье молоко и где вы покупаете – в магазине? И во что и как он играет целый день – что под руку попадет или у Егора имеются излюбленные сюжеты? – Расскажи.

Тут я прочел в твоём же журнальчике, что в Англии повальное увлечение археологией и из 10-ти детишек трое хотят стать археологами. Это очень много и очень важно. Это как поворот в сознании и, быть может, послужит защитой от надвигающейся кибернетики. Возвращение к гуманитарным истокам.

В нынешнем году (не знаю, в каком издании) вышел отдельный сборник «Загадок», – если попадет, купи и пришли.

И должна выйти книга Жегина* о пространстве и композиции в живописи – надо не упустить.

А про Шахматова – ты писала – я могу сказать, что он большой ученый и в языкознании знал толк*; я читал пару-другую его работ лингвистических и по летописям: очень учено, объективно, солидно и скучно. Но, может быть, я ошибаюсь.

А вчера меня пригласили на прощальный ужин в узком кругу, и это был не ужин, а целый обед: во-первых, свежий салат из укропчика, зеленого чеснока, лука, консервов и какой-то грузинской травки с маслом – все очень вкусно; во-вторых, свежий суп из банки; в третьих, кофе с тортом (!). Было ужас как интеллигентно, сентиментально и патриархально. Даже стол был из какого-то ящика, накрытого светлой материей. И образы жен парили над нами – у каждого свой. Как раз к вечеру пришла твоя первая телеграмма (сегодня пришла вторая) с веселой интонацией, и я плавал в самом благодушном настроении. Все это несколько сгладило мои обиды.

А еще я лечусь от простуды, взявшей реванш после свиданья

ния, – солнышком (когда оно покажется), трудовым потом, хорошо выгоняющим ломоту в костях и суставах, кипятком и чесноком. Помогает. Грипп не ликвидирован, но остановлен и задержан на месте.

Узнал, что у некоторых народов, разбросанных по всей земле и истории, существовал странный обычай под названием «кувада»: в период беременности и родов муж разыгрывал больного, избегал тяжелых работ, сидел на диете, лежал, страдал и вообще перенимал образ жизни роженицы, а жена, едва опроставшись, принималась за ним ухаживать. Все это делалось пунктуально ради сбережения жены и ребенка.

Кувада имеет очень разные, часто глупые объяснения, но, в общем, осталась неразгаданной. Вероятно, все же в ее основе лежало сознание единства, целостности семьи и брака, так что супруг обладал способностью, облегчая бремя жены, брать на себя часть неприятностей, выполнять которые требовалось для сохранения баланса (муками покупалась жизнь). Семья имела один организм и общую нерасчлененную душу.

Так что ты, пожалуйста, тоже будь умницей и, помня меня, заботься о своем здоровье.

6 августа.

Очень извелся с тем, что опаздываю и никак не успеваю с письмом к тебе, обожаемая Машенька. Это как перед экзаменом: сперва не хватает одних суток, потом одного часа, потом десяти минут. Сегодня посылаю, задержав на три дня, но быстрее не получалось: уж очень много всяких забот и невеселых размышлений. Все-таки, помимо прочего, мне без тебя очень недостает полезных советов. А в иных практических вопросах чувствую себя просто беспомощным.

Успел вчера получить твои письма, №№ 50 и 51, и шли они – одно двадцать, другое пятнадцать дней (ого!).

Приятно про кубики: что помнил, и ждал, и надеялся. А взрослым демонстрировать Егору строительное искусство не стоит: я помню, как это взрослое мастерство расхолаживало и внушало неприязнь к игре, которая в своих лучших образцах все равно недоступна, и лучше ее бросить и заняться своим, маленьким делом.

А о велосипеде, который тебе хочется купить, в тогдашнем

веке господствовало убеждение, что от него у детей ноги делаются кривыми, как у рахитика, и поэтому мне долго откладывали, а потом вместо трехколесного купили роллер*, и я был жалок по сравнению с Аликом*. Но, может быть, роллер был дешевле? И все-таки по традиции спрошу: не рано ли Егору велосипед?

А сосны над вашим домом напомнили раменские дубы, которые было жаль вырубать, а я болел малярией, и мать причитала, что эти дубы нас доконают и надо было давно-давно посадить вместо них для сухости сосны. И все же те дубы оправдались, и я им навсегда благодарен. Теперь их, наверное, вырубил.

Я все же отправил короткое письмо в Министерство Здравоохранения* (куда же еще?!) – в сдержанном тоне. Не сердись. Некоторые вещи, по-видимому, не могут быть решены в рабочем порядке.

Собирался тебе написать еще что-нибудь научное, а то давно не писал ничего такого. Но уж очень тесно живет.

Зато я совсем утопаю в твоих воспоминаниях и мечтах. И в твоём окружении, и в городе, и в интерьере, и в нашей с тобой неразделимой судьбе.

А.

8 августа 1968 г.



...в том письме, когда, уписамшись... – «Сегодня ночью в доме была жуткая драма: Егор уписился. Это теперь с ним случается крайне редко и воспринимается очень остро.

Я проснулась от плача в пять утра:

– Мамочка! Я... – и дальше были сплошные всхлипывания, а ребенок сидел на кровати жутко мокрый и несчастный.

Перестилать ему сухое было очень уж нескладно, да и разбуркался бы он окончательно, поэтому я выхватила ребеночка из лужи, скинула с него мокрую пижамку и засунула в свою постель под собственный бок. Егор пытался со мной побеседовать, но я грозно сказала:

– Ш-ш-ш-ш! Кто написал в кровать? Спать сейчас же!

И человек тут же закрыл глаза, а попритворившись некоторое время, заснул в самом деле, и мы с ним проспали до половины девятого, а

потом я проснулась и чувствую – кто-то сопит носом совсем рядом. Присмотрелась – ты! Только очень уж уменьшенный вариант...

А потом проснулся Егор и тоже очень удивился. Так мы с ним лежали носом к носу и некоторое время очень внимательно и серьезно смотрели друг на друга на близком расстоянии.

Наконец Егор улыбнулся и сказал:

– Давай я тебе усы нарисую».

«Свет, зримый в лицах» – книга Ивана Хмельницкого, одна из самых любимых книг нашей семейной библиотеки. В конце XVIII и начале XIX века издавалась неоднократно. У нас было первое ее издание. Сейчас, готовя этот комментарий, я не нашла ее на месте.

...играю в журнальчик... – Журнал «Декоративное искусство» № 7 за 1968 год, посвященный городу вообще, где за моей подписью была опубликована наша общая статья «Киев с птичьего взгляда» (злые языки ее называли «Киев на птичий взгляд»). В этом номере было напечатано около двух десятков снимков, сделанных нами во время поездок по северным русским городам.

...почему не получилось курицы... – Общие свидания бывали разными: иногда мягче, когда разрешали покормить заключенного или надзиратель оставлял на несколько минут наедине для пущего интима; это же свидание было жестким. Из моего письма: «Не знаю, сколько и чего напишу тебе, потому что хочу бросить это письмо в Потьме, чтобы скорее доехало.

А курчонок слегка протух, так что даже хорошо, что нам его не разрешили съесть: животы бы разболелись наверняка. И я его выбросила.

Последние дни я тебе мало писала, и ты не прав, утверждая мою отменную способность писать между делом по паре строк. Я так умею очень редко, как сегодня в послесвиданном умиротворении, сонном продолжении беседы с тобой.

Как ты сидел напротив и был такой родной, и как мы бросились обсуждать проблемы пространства...»

Город настоящий. – А.С. обсуждает нашу статью о Киеве, ее достоинства и недостатки.

Глазычев подписался за Брюсова... – Статья В.Глазычева «Средне-русский диснейленд» в том же номере журнала.

...из породы Кондратовых... – Об Ал. Кондратове см. примечание к письму 31.

«Твистом со слезой» его не примешь... – В том же номере «Декоративного искусства» была опубликована статья Л.Невлера «Твист со слезой».

...книга Жегина... – Л.Ф.Жегин. Язык живописного произведения. М.: Искусство, 1970.

...в языкознании знал толк... – Почти цитата из песни Юза Алешковского «Товарищ Сталин, вы большой ученый».

Роллер – самокат.

...по сравнению с Аликом. – Алик Либерман, по прозвищу «Пип Иваныч», сосед А.С. по дому и товарищ по дворовым играм в детстве.

...в Министерство Здравоохранения... – Легкая шифровка, в данном случае – КГБ.



ПИСЬМО ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТОЕ

Свет в моем окне, Маша!

После свидания время настолько ускорилося, что при его участии я незаметно шагнул в середину августа. Ничего не успеваю. Другие радуются, а мне обидно. И если б не вы с Егором, то было бы сплошное расстройство от эдакой быстроты. Но если б не ты с Егором, все вообще было бы ни к чему.

Вокруг очень ругаются, решая задачу, кто на войне командует авиацией:

– И мы сразу меняем направление и идем бомбить, – ужасно кричат, спорят, как всегда по пустякам, и трудно писать под этот гвалт.

И если мы будем и дальше таким манером двигаться, то скоро наступит зима. Та самая зима, к которой не успел приобщиться в прошлом году. Очень маленьким стало понятие – год.

Здравоохранительную грамоту я все-таки не отправил*. Написал тебе, что отправил, а потом перечитал твою телеграмму и не послал.

Пришло письмо с дороги, раньше других, и я все еще еду с тобой на поезде и радуюсь, что так легко на сей раз уехали. Цыпленка все равно жаль, что не съел.

Иногда почему-то ужасно хочется молока. Цельного и чтобы много. Ничего, потерпим, и дальше потерпим.

– Дурной у меня характер. Преданность у меня какая-то к бабам. Знаю, что гуляет, а все равно к ней поеду. Недельки две поживу. Я ей на пузе самолет наколол, и потому она замуж не вышла. А сейчас бы я ей нарисовал еще чуднее...

Это все об авиации.

– Фамилия ему позволяет врезаться в хорошее общество.

– Интеллигент до мозга костей!

Нужно быть все же признательным своему животу. В смысле – желудку. Мы тут бегаем, развлекаемся и ни о чем не думаем, а он переваривает. И днем и ночью работает, обеспечивая наши потребности, и не подводит. Мог бы болеть, капризничать, сказать «хватит с меня», но он работает – кормилец – и не выходит из строя.

В журнале «Наука и жизнь» некто Онегов написал про Каргополь и окрестности, как там старину повывезли туристы, чтобы вешать на стены или перепродать, и как к ним изменилось отношение жителей. Со слезой. Но выход видит в том, чтобы каргопольцы не расставались с прялками, а, вернув с чердака, поставили на почетное место в доме. Утопия.

Но вообще-то этот же (по всей вероятности) Онегов пишет хорошие очерки о животных. Оказывается, утки, медведи и все прочие твари строго соблюдают границы в своем хозяйстве, и каждый пруд, и поляна, и чаща разделены невидимой линией – у каждой семьи, именно семьи, а не вида, свой участок. И собаки подымают лапу, помечая углы своей территории. Мы думаем, все утки одинаковы, а они раздельны и только осенью собираются в стаи.

Интересна эта замкнутость ландшафта, эта насыщенность места.

У Новалиса во «Фрагментах»: «Ландшафт нужно ощущать как тело. Ландшафт есть идеальное тело для особого рода души».

12 августа.

Позволю себе настойчивость вот по какому поводу – отношений с племюней. Доколе они так испортились, что помощь тебе и Егору чисто бытового характера забыта и утрачена за собственной содержательной жизнью и его семья стала чужой и к нам недоброй, я не вижу причин моим друзьям поддерживать с нею знакомство. Как при разводе старые друзья, успевшие сделаться общими, обыкновенно распределяются по расходящимся сторонам и с мужем уходят мужчины, а с женою женины лица (даже если им что-то любо-дорого в оставленной половине), так и здесь

было бы странно, если бы семья, не принявшая нас в своем доме, продолжала считаться гостем в дружеских нам домах. Тем более в нынешнем положении, крайне трудном для нас, позволяющем более резко отсекаать негодное и неудобное.

Соль не в том, чтобы сильнее задеть и обидеть. Именно полный разрыв (не встречаться и исключить возможность общения на третьей почве) обеспечивает от излишних дополнительных обид, столкновений и помогает сохранить о прошлом приятные воспоминания, не давая бывшему избраннику превратиться в недруга. К чему спорить, доказывать, обвинять? – расстаться. И помня то доброе, что нам он принес, я думаю – мы квиты, и, освобождая его от обязанностей, ставших всем в тягость, лишаю бывших прав и прошу других поступить соответственно.

То же – и с его женой. Ее личные проблемы не меняют необходимости прекратить всякие отношения между нашими семьями, переставшими быть близкими. Так будет лучше. Каждому свой путь. Скатертью дорога*.

14 августа.

Вот что обнаружилось: в литовском языке слова «жизнь» и «змея» одного корня: *gyvate* (гивате – змей) – *gyvybe* (гивибе – жизнь). Русская «жизнь» и пошла, видать, от этого «*gyv*», а свою змею подсоединила к земле. Удивительный получился веночек. Отсюда и надо искать объяснение змеевикам.

Еще в Литве столбы, на которых впоследствии стали ставить кресты, представляли первоначально стилизацию древа жизни.

А у латышей существовало узелковое письмо, и песни, и сказки, и важнейшие домашние даты-события записывались на нитку, которая постепенно сматывалась в клубок, и получалась – книга.

Вот она, паутина прядки, прядущей нить судьбы и одновременно, попутно канву литературы.

15 августа.

В древнеегипетском храме в Фивах властолюбивая царица Хатшепсут, отстранившая от власти своего малолетнего мужа, изображена на стене в полном облачении фараона и даже с бородой. Борода, значит, была признаком власти и старшинства, а

внешнее сходство подчинялось более широким задачам символического характера.

В «Советской археологии», 1968, № 1, представлен скифский рисунок терзаемого оленя (видать, священная жертва), у которого рога изображены в виде спирально согнутых птичьих головок – примерно такого орнамента:

Об этом сказано: «Подобная трактовка рогов обычна для изображения оленя. Схематические птичьи головки украшают также шею и нижнюю челюсть оленя». Стр. 161.

Объяснений этому факту никаких не дано; правда, приложена всякая скифская библиография.

Но вот что я подумал: уж очень эти рога-птички похожи на прялочные узоры. Не есть ли похожие лебеди-утки по верхнему полю мезенских прялок, расположенному как раз над оленями, – отделившиеся олени рога? Конечно, это невероятно. Но чем черт не шутит?

Существует книга с интересным заглавием: Окладников. «Олень золотые рога». М., 1964.

18 августа.

Еще я опять лечу зубы, и это занятие поглощает массу времени и сил. Про тот самый, что оголился, доктор сказал с упреком: – Разве можно так запускать – у него уж и нерв наружи! – А разве я запускал? Только и делаю, что лезу со своими зубами.

Занимает метафизика боли – зачем она и что такое. В напоминание о реальности этого мира? Что мы на цепи у собственной плоти – чтобы не заносились? Ведь боль совсем не освобождает, но пожирает человека одним желанием – чтоб не болело.

18 августа.

В древнерусском апокрифе есть эпизод: дьявол дрючком нанес Адаму 70 язв, а Господь повернул их внутрь «и оборотив вся недуги въ него» («Сказание, како сотвори Бог Адама»). Продолжая эту тему выворачивания человека, не получим ли мы, во-первых, изгнание из Эдема, а также последующие рай и ад, когда вывернутся (вновь, на старый образец), душа попадает в атмосферу собственной внутренней жизни, ставшей ее окружением, обста-

новкой? Тогда она сама себе создает предстоящее самочувствие, строя заранее ад или рай. Не наказание за грехи, а сами грехи – наказанием.

– Эта наглая смерть...

– Этот смертельный человек...

18 августа.

Спасибо, дети, что выучили стихи про мышек*. Очень мне эти гири запали в душу. С некоторых пор навсегда.

А ты, Машечка, совсем не постарела. Но похудела. Увлечаться этим нечего. Ты мне толстая тоже ужасно нравишься. Еще не знаю, какая больше.

А я, кажется, загорел. Все-таки довольно выносливый. Тот старичок, с которым я фраернулся, – ровесник, с опилок намерен уйти: не вытягивает. Правда, он немного дольше сидит. Но – крестьянин.

Тут иногда по углам грибы вырастают. Как удачно сказано – «целая плеяда грибов». Я боялся: поганки. Но оказались вкусными. Еще меня сегодня побаловали белым хлебом. Очень мягкий.

Все-таки было глупо и смешно сетовать, когда, запоздав, обед отодвигался и я переживал. Можно было купить батон, и песок в доме имелся – вот и сыт.

Недавно услышал пословицу:

– У кого табачок – у того и праздничек.

Я раньше такую не знал.

19 августа.

Мы пропускаем через себя воздух, еду, воду и всякие вещества. Как рыбы, своими фибрами* процеживающие моря. Все друг другом питаются, и замещают, и выручают друг друга. Мы благодарны рыбе, которую едим. Взаимный ужас, и страх, и коварство оборачиваются тесным содружеством, если взглянуть на них с высшей точки и понять, что все мы одна тварь. Отдав миру себя взамен десятка бифштексов, растворимся в океане добра, меняющем виды, объемы, но остающемся нашей общей матерью-природой, у которой столько детей, и о каждом ведь надо заботиться, и раз ты немного пожил, дай пожить другому и будь ему на время, пожалуйста, пропитанием, и не беда, если тебя схавает какой-нибудь несчастный червяк.

19 августа.

Бревнотаска.

- Ремонтируй эти машины: они не пожалуются.
- Смотрит? Его дело смотреть.
- Этот неморально устойчивый человек.
- Старичок продавался.
- Не обманет – ограбит. И я там крысятничал. Жить-то надо.

Станок работает в темпе танца маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро».

И чей-то ласковый голос скажет:

- Тебя нет. Понимаешь, тебя нет! Забудь. Забудься.

И я засну.

«Глидцать тли» (прозвище).

- Вот выйду на волю, овладею черной магией...
- Когда у меня такое психическое настроение...

Реальное в фольклоре совпадало с прекрасным и имело превосходную степень. Обилие уменьшительных, ласкательных слов (тоже гипербол) в былинах и песнях – тому подтверждение.

Четырехлетний мальчик – девочкам постарше:

- У вас хоть какой-нибудь отец есть?
- Знаешь, папа, я очень боялся, что приедешь не ты, а мне скажут, что это – ты.

20 августа.

Опять я запаздываю с отправкой письма – на день, и ты уж меня прости. В оправдание сошлюсь на зубы и длинные паузы в твоих письмах. Два из тех, что ты еще до приезда писала, так и не получил – 52–53. Последнее – 57, но это ведь уже давно было.

Еще получается так: наметил вчера обязательно управиться, но приходит вечер, и приходит приглашение на вкусную кастрюлю – консервы, приправленные всякой травкой, в том числе натуральный зеленый лук, ну как тут пропустишь, а съесть и сразу уйти тоже нельзя, что я, шакал, что ли, – вот и вылетел вечер, и письмо перенеслось на сегодня – только б успеть.

Ты мне часто снишься, и мы с тобой много гуляем во сне и очень дружим. Недавно ты, гуляя, даже голову мне на грудь поло-

жила, как это тебе удалось, не знаю, но очень мило и задумчиво со мною так прогуливалась.

Я тебя тоже забыл о многом расспросить и теперь локти кушаю, подумать только – до декабря, надо, чтобы зима наступила, – сколько ждать.

Вокруг сентябрьская прозрачность, в этом году все раньше срока, резные листики уже падают, ясность.

А котенок оживел-таки. Зовут его Люська. Несколько дней не мог ходить, сидел на шкафу и дрожал, потом со шкафа начал смотреть на людей уже с интересом и какое-то понимание в глазах появилось, а теперь уже прыгает, только неловко – ослаб.

Читаю, что попадет, из археологии – Египет, хетты, первобытные люди. Научные журналы тоже – вроде «Советской этнографии» и «Советской археологии»*. Только все больше встречаются описательные работы – сколько пятнышек на черепке и какого фазона. А что они значат и почему – об самом главном – ни звука.

Но все равно приятно погружаться в исторический хлам, перебирать в уме разные древние знаки, которые, по уверению ученых, почему-то все сплошь оказываются соляными.

Важнее даже не понять это все, но уловить атмосферу интересующей вещи и попытаться ее представить, потому что тогда уже сама психея предмета начнет за нас думать и удивлять неожиданностями, подобно характеру в каком-нибудь романе, принимающемуся самостоятельно действовать и говорить, что положено, доколе ему дадена жизнь. И книжки читаются главным образом для уловления этой ниточки, за которую следует дернуть, чтобы вещь задышала собой.

Сейчас с помощью Гофмана настраиваюсь на «вечное дерево»*, он подходит к той атмосфере, и она в его присутствии начинает поблескивать и кидаться во все стороны ворохом ассоциаций, которые только успевай подбирать.

А ты моя радость. И вечнозеленое существо. И я тобой никак не надышусь и не наиграюсь.

А.

21 августа 1968.



...я все-таки не отправил. – Я уговорила А.С. сохранять спокойствие. Из моего письма: «Твое письмо меня огорчило: и что опять заболел – слишком уж часто ты это делаешь за последний год, и что настроение у тебя вялое, и что какое-то официальное письмо написал.

Мне не нравится путь писем-протестов (пусть всей этой возней занимается Ларка), я предпочитаю мирные переговоры как наиболее рентабельные для обеих сторон, и то, что подпакощенное свидание привело тебя к нервному срыву, когда ты маханул письмо в Министерство Здравоохранения, – меня огорчает».

Скатертью дорога. – «Как-то мне стало сегодня очень обидно покупать Егору на рынке яблоки по 2 с полтиной за кило, когда ими увешана вся яблоня в Аксиньине; и сразу вспомнилось, как я брюхатая бегала по учреждениям и этот домик с этим садиком для племянничка выколачивала.

Может быть, и мелочь все это, и уж как-нибудь Егорычу на фрукты я наковыряю, но – обидно».

«Я опять дохожу до Аксиньины, где моими (и твоими) молитвами все налажено, и вот тут я захлебываюсь от обиды.

И я хочу, чтобы твое «фе» прозвучало не только по творческим проблемам, но и сугубо по бытовым, ибо фрукты, скажем, Егору – это чистое хозяйство, а хозяйство – это уже и Алька, а не только ее муж, а тенденция сейчас такая, что друзья ругают ЕГО, а ЕЕ жутко жалеют, а по отношению ко мне и Егору она такая же дрянь.

Во всяком случае, когда я сегодня вечером поехала в Аксиньино договориться с Алькой, чтобы на днях приехать туда самостоятельно поработать (мне же надо что-нибудь срочно сделать для службы) (Алька в отпуске, а племянничек уехал отдыхать со своей красоткой), то Алька сказала, что у нее какие-то дела и ее не будет дома, и дала понять, что без нее мое присутствие нежелательно.

Слава Богу, они достаточно жили в нашем доме без нас (Алька даже рожать в декабре 65-го уходила из Хлебного, живя там предварительно недели две-три, потому что там роддом рядом), чтобы на денек доверить мне ключи от своего. Или она боится, что я ее обворую?»

...стихи про мышек. – Трех-четырёхмесячному Егору А.С. делал сугубо детскую гимнастику: ручки сложить, ручки расправить, сложить, расправить и т.д., приговаривая при этом маршаковским переводом из английских народных детских стихов: раз-два-три-четыре, мышки дернули за гири... Из моего письма: «Потом мы одевались, и Егорыч в такт махания руками в рукавах прочел такие стихи:

Вышли мышки как-то раз
Поглядеть, который час.
Раз-два-три-четыре!
Мышки дернули за гири и т.д., –

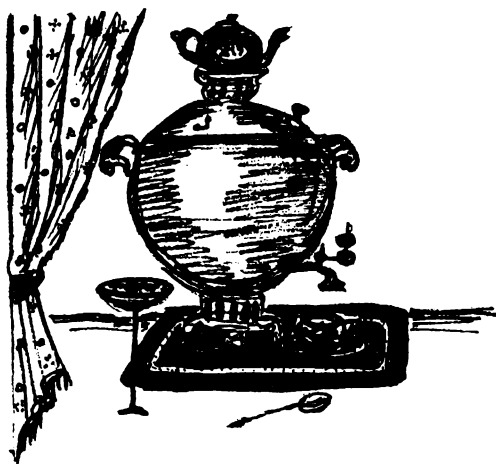
и это было очень неожиданно и как еще один привет от тебя, и тут уж я его начала мять и тискать от умиления.

А это его Эмка, пока я ездила к тебе, обучила таким стишатам, не подозревая даже, сколько с ними связано».

...своими фибрами... – Это стилистика, а не безграмотность.

...«Советской археологии». – А.М.Лесков. Богатое скифское погребение из Восточного Крыма // Советская археология. 1968. № 1. С. 158–165.

...настраиваюсь на «вечное дерево»... – Мы с А.С. начали обдумывать статью про Елку для «Декоративного искусства».



ПИСЬМО ШЕСТИДЕСЯТОЕ

Было б совсем невыносимо без твоих писем, вторую неделю прекративших идти, – если б не «Алиса в стране чудес». Я ее за собой повсюду начинаю таскать, обернув получше и переселив туда все бумажки. Так и переселяюсь – то в резьбу по дереву, то куда, а теперь вот в Алису: просто хочется держать в руках. И еще не читая, замирать в ожидании, какие в ней чудеса. Картинки акварелью тоже забавные, а черные – необязательны, грязноваты, а эта нечеткость, растрепанность образа противны детскому глазу, жаждущему ясности и конкретности, чтобы можно было подробно рассматривать, что к чему.

Все равно, в общем, книжечка милая. Василенку я тоже получил*, и только этими бандеролями поддерживаюсь в надежде на твое с Егором здоровье. И Василенко мне поможет авторитетным заверением, что конь – это солнце. Чтобы спина ощущала какую-нибудь научность. Фантазия хоть и прямее открывает правду, но, когда вдруг узнаешь, что наука против этого, в принципе, не возражает, – становится спокойнее. А то чорт-те что лезет в голову и не знаешь, насколько верно.

Эти дни я все думаю, например, корова и корона – не одного ли корня, и не значит ли корова – коронованная, а корона – рогатая, потому что, по всей вероятности, первые короны были рогами – знак власти и силы? Но вдруг – сомнение: вдруг корова совсем не корона, а – каравай?! Алиса же соответствует атмосфере «Повелителя блох», в которой сейчас пребываю.

Словом, спасибо, Маша.

26 августа.

Покуда нет писем, мне приходится спасаться помощью фантазии и, построив в голове на скорую руку шалаш, сидеть в нем, делая вид, что все в порядке. Несколько дней, так отключившись, можно протянуть.

Вообще интересно, как человек ищет лазейку, чтобы существовать, и ставит себе вопрос: а что если попробовать жить от противного? когда невозможно? когда самая мысль гасится усталостью и равнодушием ко всему? И вот тут, на этой голой точке, встать и начать!

На чьей-то тумбочке вижу вдруг: журнал дамских мод. Как током ударило, разводишь руками: находчивость.

Или: – Муж мне попался неплохой, надо прямо сказать. Я даже согласна, пишет, если б теперь был наполовину хуже. Выпивал, правда, изрядно.

А «наглой смертью», оказывается, по-древнему обозначалась – чума. Древнерусская поэзия выступала против абортгов: – Будут матери-злодейки детей во чреве пожирать.

– Всяк ко своему концу бежит. (Тоже оттуда.)

27 августа.

А бесы тогда водились, как лягушки в болоте.

Человек, человек, сообщающийся с Богом сосуд.

28 августа.

После двухнедельного почти перерыва пришло от тебя пять писем (58–62), и я вновь улыбаюсь. И особенно рад, что вы, дети, читаете Хармса* и он вам нравится, а мне тоже – очень. На тебя я и так возлагал, но вот от Егорыча просто не ожидал, что он поймет и оценит. И ты говоришь даже, что с чувством юмора? – удивительные вы молодцы и умнички. А про эту сказку я тебе писал,* увидав ее в «Литературной газете» полгода примерно назад, только ты тогда не обратила на меня внимания. Но все равно я с удовольствием ее перечел, и ты не зря трудилась. Прекрасная сказка – какое-то сплошное совершенство и, как песня, на одном дыхании. А больше всего мне в ней нравится про молоток, который летает в разные стороны и потом обратно садится на свою ручку. А стихи – впервые. И тоже – очень. В них есть – изумление.

– ...Как вдруг был взят и поднят на воздух в состоянии изумления.

И про кресло понравилось, и я согласен с тобой в нем сидеть.
А Егора ты не моги дразнить!

29 августа.

Вот такую чудную книгу я здесь видел: Армянская миниатюра. Альбом на армянском, русском и французском языках. Ереван, 1967.

Роскошное издание, сплошь в красках, и сплошь иконописные сюжеты – прекрасная параллель древнерусскому искусству, а стоит – 10 рублей (!). Посмотри при случае в библиотеке, а приобретение – если кто-нибудь подарит нам с тобой на день рождения, то я буду очень доволен. А сами не потянем.

Между прочим, забавная деталь в одном Входе в Иерусалим (Ахнатское Евангелие, 1211 г.). Человек умудрился влезть на дерево так, что его фигуру, по всем статьям, должен скрыть от нас ствол и видны могут быть лишь ручки и ножки – тело же с той стороны. Тогда что делает художник? – рассекает ствол чем-то вроде трещины, образуя на дереве вздутие с дырой посередине, сквозь которую нам и видна вся фигура. То есть, раз изображено – должно быть все хорошо видать, в противном случае зачем было рисовать? Очень правильно и трогательно.

А еще обратил внимание: пропавших коров почему-то кличут какими-то мыкающими, по-утробному взывающими голосами. Чувствуется попытка найти с гулёной общий язык.

30 августа.

Про дерево – интересно, что в нашем северном неолите в могильниках не находят скелетов детей, а только взрослых. По-видимому, их хоронили другим способом – как у некоторых северных народов до недавнего времени умерших младенцев, завернув в ткань и в бересту, помещали в дупле дерева либо подвешивали к дереву. Еще известно, что у эвенков духи-предки живут в корнях, а верхняя часть отдана обиталищу инкарнирующихся душ рода, представляемых как одна коллективная родовая душа. Так вот, нельзя ли сделать вывод, что умершие дети подлежали, так сказать, скорейшему воплощению-рождению и поэтому отправля-

лись не в землю, а прямым путем – через дерево – на небо? Какая связь с дождями и росами, которые испаряются и вновь выпадают; какая непрерывная циркуляция душ в воздухе!

Взрослых же нередко хоронили на боку, сгибая им ноги в коленях, или же – совсем в скорченной позе (вот она, поза зародыша, спящего человека-младенца): на боку, ноги подтягивали к груди и, возможно, привязывали, а руки, согнутые в локтях, кистями к подбородку.

Но как иногда реагируют на эти заботы современные исследователи. В книжке Доманского и Столяра «По бесовым следам», которую я, наконец, прочитал-таки, – есть такой пассаж: авторы сетуют на нерентабельность древних захоронений, куда шло много полезных вещей, которые, вдобавок, ломались – по образу их мертвого хозяина:

«Ложные, но неизбежные для той поры представления еще более затрудняли и без того нелегкую борьбу человека с природой. Об этом говорит, в частности, и могильный инвентарь. Нелегко было изготовить любое орудие, очень дорогим был камень. А сколько таких орудий, не сослужив полную службу, успокоились в могилах. Сколько еще охотничьей добычи или рыбы они могли принести человеку! Сколько одежды могли дать! Мало того, и самая теплая, меховая одежда, еще служившая и гревшая охотников, ушла в могилы.

И чем больше проникаешь в тайны верований первобытного человека, тем все настойчивее встает вопрос – как в условиях нередко слепого восприятия действительности, нелепых объяснений и действий человечество вообще выжило» (стр. 187).

До чего, однако ж, доходит порой стремление усчитывать чужие деньги. Попрекать первобытных людей неэкономным способом расставания с покойником – не догадываясь даже поблагодарить их за то, что они нам оставили, что мы в итоге их щедрости к предкам-потомкам имеем теперь возможность судить о собственном прошлом по захороненному впрок инвентарю, не будь которого, история была бы чистой страницей, – ох уж эти экономы!

1 сентября.

Как я живу? Хорошо – когда получаю твои письма, а сейчас как раз получаю и уже успел отовариться аж до 66 номера, а с ни-

ми вместе, сверх всякой скорости и сверх ожиданий, меньше чем за неделю, прилетел 69-й номер.

Зачитываюсь твоими повестями про Егора, который, в самом деле, прекрасен и стихами, и тем, что скромн и умеет выслушивать гостевой базар, не моргнув глазом. Опять же – чья школа. А с топором, боюсь, ему рановато резвиться, как бы чего не отяпал, – если даже ты норовишь взойти на костер и, как дура, лезешь в бензин, и чего мне с вами делать на таком расстоянии, ну-жен глаз да глаз, а то вы как маленькие.

Стихи про Бульдога с такой понравились меньше, чем про Ивана с пуделем, которые всё меняются местами по типу «ехала деревня мимо мужика». Бульдог детишкам занятнее, ну а нам подавай форму.

Все же я не вполне представляю, как Егорыч освоил весь этот стиль, который ведь и не всякий взрослый поймет. И не пора ли его зимой учить читать, как ты думаешь? И на чтении, быть может, в самом деле выправится дыхание.

Еще приятно получать иногда открыточки, пусть в них даже ничего нет, кроме Машечкиного почерка, но прилетит вдруг и сядет на подушку, и я, придя с работы, сразу успокаиваюсь.

А музей-кровать оценил*. Рассчитана на гениального классика. Особенно венки в головах. Сразу видно, кто спит. И подушечки солидные.

Еще я борюсь с зубом. Его запломбировали, но он под пломбой удосуживается меня поддеть, да еще распространяет свои переживания на все – даже и верхнюю – челюсти. Засыпаю только с помощью анальгина. Ну, это уже старо и скучно.

3 сентября.

А еще я пью тут удивительный квас – холодную воду, настоенную на листиках вишни, которая оставляет во рту почти такой же привкус, что вишневые ягоды. Приятно, что всюду – и в листиках – одни и те же соки. И все это в чистенькой деревянной кашке, которая грезит деревней.

Изредка балуюсь и грибами – собирать их находятся любители. – На воле бы такими давно отравились, – хорошо сказал недавно один знаток, опытнейший, прежде, чем жарить, отваривающий эти поганки (на самом деле это не поганки, конечно, а

только вид у них такой подозрительный, но я уже перестал бояться, попробовав эту сладость). Словом, летние радости, и с осенью нам повезло – что ни день, играет солнце, и очень видно, что оно – улыбается.

Вообще на простейшие истины, зная их заранее в виде общедоступных, правильных, но отвлеченных положений, как-то не реагируешь, пока они не окажутся лично твоим восприятием и не примешь их близко к сердцу с удивлением, как это верно, что солнечный день улыбается. Не знаю, как у других, но у меня постоянны такие находки давно и всем известных вещей, которые вдруг, ни с того ни с сего, западают в душу, втемяшиваются, и ходишь вокруг с разинутым ртом.

Яблоко. Расположение семечек. Смерть в яблоке. Вифлеем. Как все просто и четко, когда сам увидишь.

4 сентября.

Очень думаю о твоём вчерашнем (письмо 67) ко мне предложении – привезти Егора на личное свидание*. Ты права – надо бы нам с ним не только встретиться, но пожить немножечко рядом, чтобы проникнуться и узнать друг друга. А тут еще он развил вокруг себя такую сиятельность, что видно, как я отстаю и не поспеваю за его ростом, ориентируясь по старинке на Егоркину инфантильность, а она тем временем принимает совсем иной оборот, и стоит удостовериться и сократить этот разрыв в понимании нашего мальчика. Да и ему пора дать от меня более ясный образ. С четырех лет, кажется, начинают запоминать. Очень хочется.

Твои эпитеты на его нынешнюю необъяснимость-неповторимость очень точны и затронули меня за живое, и я точно спохватился, как бы не упустить эту возможность, которую ведь потом ничем не поймашь и не восполнишь. И если можно – то да, да и, конечно, да!

Только надо, чтобы тебя кто-то непременно сопровождал, потому что с Егором и с чемоданом ты с места не стронешься, а груз увеличится еще больше за счет его детского провианта. Может быть, Лида смогла бы пожить тут три дня, или чтобы кто-то привез, а другой на обратный путь приехал. А то уж очень страшно, как вы отсюда поковыляете на станцию.

Интерьерные же проблемы хоть и обидны, но меня меньше смущают. Во-первых, можно распределить во времени и пространстве. Во-вторых, если все взвесить и призадуматься об этом серьезно, то встреча с Егором стоит некоторых жертв хотя бы потому только, что *такого* больше не будет.

Непременное условие, однако, – чтобы он, отправляясь в путешествие, был в полной форме – не кашлял, не температурил, и мы могли бы в эти дни уповать на его выносливость. Не забудь все же при том на всякий случай захватить евонный градусник, а также горшок, куда можно временно положить какую-нибудь провизию, – чтобы с ним не бегать по коридору и не простужать. И простейшие детские лекарства от животика, а нам с тобой – аналгин.

А вообще эта идея изумительна. И хотя хлопот много, представляешь, какой задел мы будем иметь в жизни, и какую пищу душе и уму, и что вспомнить! Короче: Париж стоит обедни!

5 сентября.

Ну вот, еще немножко, моя золотая птичка, и мы с тобою отпразднуем третью годовщину. А когда ты прочитаешь это письмо, мы уже ввинтились в четвертую и в быстром темпе несемся вперед. Да, Машечка, плывем, можно сказать, по самой середке, и, когда ее переплывем, станет проще. Сейчас, может, самая трудная часть подошла. Но мы уже в нее врезались.

Это как на озере – позади еле виден берег, впереди тоже еле. Но скоро тот берег станет ужасно расти. А бывалые лагерники говорят, что это неправда, будто вторую половину терпеть труднее, а последний год, якобы, совсем невтерпеж, – существует такая теория, на практике, однако ж, никем не подтверждаемая, а из чистого кокетства. На самом же деле человеку с определенного момента (в зависимости от общего срока) сразу легчает. И у нас такое тоже скоро наступит.

И неплохо было бы в середине пути, как цветочек, устроить встречу с Егором.

– Но и так я все равно все время к тебе иду. И все для тебя и с тобою.

И к зиме я готов.

А.

5 сентября 1968.



Василенку я тоже получил... – В.М.Василенко. Русская народная резьба и роспись по дереву. 1960.

...рад, что вы, дети, читаете Хармса... – «Все никак не соберусь рассказать тебе про прекрасную книжку Даниила Хармса, которую прислал дядя Лазик Егору, и Егорыч уже почти что выучил ее наизусть.

А в ней и стихи, и проза, и Егорка излагает их совершенно взахлеб, и мы с ним читаем на два голоса, помогая, подсказывая и перебивая друг друга».

Или: «Мы бредем с Егорычем через лес и думаем каждый про свое, и я ему вдруг говорю:

– А кошка отчасти идет по дороге...

И Егор сиятельно подхватывает:

– Отчасти по воздуху плавно летит!!!»

А про эту сказку я тебе писал... – В одном из писем я просто переписала «Сказку» Хармса из сборника «Что это было» (М., 1967).

А музей-кровать оценил. – «Советский художник» издал серию открыток по материалам Музея-квартиры А.М.Горького в Москве. На одной из открыток – шикарная горьковская кровать.

...привезти Егора на личное свидание. – А.С. бредил Егором, Егор бредил папой, а я мечтала о встрече втроем. Из моего письма от 24 августа 1968 года: «Вот смотрю я сейчас на Егора (а он катает по дорожке машину с шишками) и думаю об одном: а может, все-таки привезти его на личное свидание? Не на общее, когда будет всего несколько часов, неизвестно как проведенные, а именно на личное, на несколько дней, чтобы ты хоть немножечко прикоснулся к этому человечку.

Какая я – ты уже знаешь, а вот что такое Егорыч и какая он цаца и обаяшка, ты и представить себе не можешь, и, наверное, все-таки твоя встреча с ним стоит того, чтобы я отхватила дополнительную порцию хлопот, а мы бы вместо суеты друг вокруг друга посвятили эти три дня ребеночку. Да и ты бы нагляднее увидел, что такое моя жизнь теперь. Правда, лыжи придется снять сразу, и это совершенно немислимо, и что же делать? И что ты по этому поводу думаешь?

Но, с другой стороны – он настолько сейчас необъясним и неповторим, что мне невероятно хочется провести хотя бы пару дней втроем: ты, я и Егорка».

ПИСЬМО ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВОЕ

...И сразу наступила зима. Как пошел четвертый год, так и она явилась, и я за вас маюсь: одной распиленной елки вам не хватит.

Ужасно холодно. Цветы как прибитые. Мне-то ничего. Сказал – готов, вот и готов. Долго ли. Правда, опять читать, писать, спать, существовать под сплошной говоритель. Но это мы уже знаем, это бывало. А вот вы как?

Такое впечатление, что теперь зима продлится уже до самого мая. Больше полгода зимы.

8 сентября.

Котенок на полу играет с невидимой мышью. Судя по всему, она не больше мухи. Но и мухи у него нет. Одна мечта.

Интеллигентские навыки – перчатки. Прихожу на склад: – Выдайте перчатки. – У нас не бывает! – С недоумением и как будто с обидой: такое загнул. И вдруг – озарение: – Вы, может быть, рукавицы хотели?

– Ну конечно же, рукавицы...

Интеллигентские привычки – сверчки. Поют на всю сушилку. Как смолкнут станки, слышно – просто захлебываются.

Новичок с тихим восторгом:

– Да тут у вас – сверчки-и-и! Точно родных встретил.

Или мы были сверчками?

Еще спрашивается: отчего так приятно носить внакидку пальто, телогрейку и даже пиджак? Вероятно, потому, что у нас за спиной образуется подобие крыши, и живешь как в укрытии, в своем доме. Улитка, хижина.

9 сентября.

О рубахе: – Я в ней живу.

О Земле: – С орбиты она не сойдет, конечно, но содрогнуться она содрогнется.

О модах: – Теперь девке – и платье купи, и брюки купи!..





Об удаче: – А это я добыл без отца и без матери!

«Строить дамский сортир» (прием игры в шашки).

– Съешьте конфету, чтобы сладко было во рту.

10 сентября.



На некоторых латышских домах сохранился конек вот такой примерно формы:

Крест – знак солнца (языческий), под ним луна, и ниже сердце, а сверху два перевернутых сердца. В принципе все перевернутое – знак смерти: если  знак жизни, то  знак смерти,  знак весны (колосок),  опять-таки смерти. Но здесь, очевидно, нет строгой последовательности, и перевернутые сердца скорее всего означают обращенность к небу. Догадка: не лежит ли в основе луковицы форма перевернутого, обращенного вверх сердца? (спросил одного историка древнерусской архитектуры – он не возражает, а положительного о луковице ничего не имеет сказать). Это не исключает, в принципе, второй аналогии – с пламенем, которую ты мне прекрасно нарисовала (и я тебя люблю), а еще хорошо отделившаяся от стены и парящая самостоятельно арка (и я тебя опять за нее люблю).





Кстати, в Прибалтике, да и у нас вероятно, известны такой орнамент двери:

В центре, говорят, солнышко (ромб), а от него во все стороны расходится елочкой вечность.

Дерево жизни возможно и такое  и такое,  хотя в первом случае явственнее идея ростка, весны (весенний семик обозначался этим знаком).




 – большой дом, бог, купол.  – человеческая хижина и жизнь.

 – вселенная в смысле двойного дома – кратчайший знак мироздания.



– та же вселенная с деревом внутри.

Таким образом, возможно, простейшая схема вселенной – две крыши. 


В пагоде крыш много – по числу небес.

В Прибалтике еще известно дерево года:

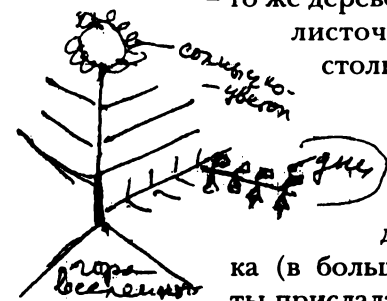


Внизу – корни, четыре времени года.

– то же дерево в полном виде. Если подсчитать все листочки, которые я не нарисовал, то столько дней в году.

Еще схема растения, знак весны. 

Стебель почему-то всегда перерезан двумя черточками. И в древнерусских орнаментах та же штука (в большой прялочной-сундучной книге, что ты прислала, это есть) – непонятно, что бы могло это значить – чуть ли не с первобытных времен.



У цыган существовала идея «всесемянного дерева» (от которого берет начало вся растительность на земле), невидимо рождавшегося от брака деревьев. Обряд «свадьбы деревьев» – ночью на холме вбивали иву и ель и связывали их красной ниткой. Вообще у цыган исключительно интересные поверья. Цыганские гадалки и знахари свою силу получают от того же дерева.

Говорят, есть книга цыганских сказок, и это что-то потрясающее. Надо нам с Машей эти сказки прочитать.

12 сентября.

Но вообще случаются и радости. В начале сентября трибунал освободил Генку Темина*, моего доброго знакомого. Человек удивительной душевной чистоты. И внезапно – все в один день, – сегодня трибунал, завтра уехал. Он ходил как оглушенный и не понимал. А я доволен еще больше за его жену Нину – редчайший случай, когда заочница* стала тем самым, что человеку больше всего нужно в жизни.

С его отъездом мне немножко одиноко. Обычно хаживал к нему в гости. Его койка казалась более уютным домом, да так оно и на самом деле, потому что на его койке можно было сидеть сколько хочешь, и радио выключается, и тихо, и рядом на окошке цве-

ла настоящая роза, и на тумбочке под стеклом картинки – все больше пейзажи, архитектура, Ярославль, Новгород. Сиди и любуйся.

А это очень значительно – иметь вблизи картинку, да еще в экспозиции. У меня, например, на табуретке, среди всяких газет-журналов рублевская Троица из журнала «Огонек». И вот приподнимешь иногда газеты и посмотришь: лежит.

А Гена мне давал укропчик. И от него мне теперь достались новые валенки с калошами, чтобы мои порванные отдать еще кому-нибудь. Видишь, как все кругло получается.

15 сентября.

Из твоих последних писем, Машечка, меня ужасно обрадовала и удивила Егорова композиция «Праздник». Во-первых, очень красиво, и, будь у меня своя нора, я бы и под стеклом повесил и все время любовался.

И еще очень поразило мое с Егором совпадение в мыслях: ведь это он дерево жизни нарисовал, о котором я сейчас только и думаю! Очень похоже.

Фломастеры дают замечательный эффект, и каракуля глядит Кандинским. Завести бы Егору когда-нибудь фломастеры всех цветов. Особенно когда еще слегка подрастет. От них у ребеночка сразу появится такое чувство цвета, что Матисс пойдет как само собой разумеющееся.

Но должен тебя огорчить про его заикание: то, что не спотыкается на чтении, еще ничего не доказывает. Взрослые так же поступают, и я недавно удивился и огорчился, когда один заикающийся стал читать стихи по книжке – без запинки. А вообще-то он любитель поговорить, и, поскольку каждое слово повторяется три раза, получается такое многословие, что я не выдерживаю. Но бывают и скромные, до болезненности застенчивые по этой причине, и все это не такая беда. Даже красавчик Байрон был хром. И ничего.

Не знаю, возвращать ли вам книгу об Алисе в стране чудес? – Напиши. А в Алисе понравились обороты вроде: мышшь страшно побледнела.

17 сентября.

У Хлебникова где-то есть строки:

Ах, князь, и кнезь (?), и конь, и книга –
Имен жестокое пророчество,

Они одной судьбы, их иго
Нам незаметно, словно отчество.

(Цитирую приблизительно. В принципе, эту цитату – при случае – найди для птички Сирий по Собранию Сочинений. Весь этот отрывок начинается: «Люди, так разрешите вас назвать» – до сих пор люблю эти строки, а точная сноска на них должна быть в моей студенческой работе – самодельная тетрадка в коричневой обложке, на которой написано: Хлебников, 1946 г.)

А дело вот в чем. В этимологическом словаре Фасмера, два тома которого появились в лагере и я пользуюсь, – я нашел, наконец, что означает это таинственное «кнезь» (м.б., «кнесь» – точно не помню), над чем уж давно ломаю голову. Оказывается, правильно – *кнес* (и, видимо, в Хлебникове опечатка, которых в его издании вообще полно). А *кнес* – это конек на крыше!

Еще меня занимает русалка. Все-таки, наверное, на стенку нижегородского дома она попала с корабля, уже утратив реальность и превратившись в забаву, то есть это случилось сравнительно поздно и как вторичное, сказочное, в точном смысле этого слова, нашествие образов. Поэтому и можно было сунуть ей в зубы трубку, не боясь, что она обидится. Домового, небось, или лешего не изображали: они были слишком близки, ощутимы, в них продолжали верить и их побаивались.

Всерьез она изображалась на доме (если изображалась) лишь в ту языческую прастарину, от которой ничего не осталось. Может быть, на вальке она более старая и действительная – мифическая (в отличие от сказочной, игровой): связь с женщиной, и с водой, и с конкретной надобностью.

А волнует она меня сейчас главным образом потому, что как-то связана с пряжей: те же вальки, холстины, волосы, возможно водяные нити, возможно, она и есть насовсем позабытая Мокошь или Кикимора, вовсю увлекавшиеся прядением. Это я к тому, что помимо всего прочего – помимо девичьей красоты и женского кокетства – прялка, должно быть, была магическим инструментом. Прялка – сопрягать – супруга – судьба. Кокетство лишь помогло ей сохраниться прекрасной до наших дней – но первопричина прекрасного – ?!

А помнишь, родная жена, как мы только-только удумали поехать на Север, – с твоей мечтой совпало мое тихо лелеемое намерение двинуться в Пермь на розыски той самой священной рощи, которая, как

значилось в книжке, сохранялась вместе с идолами еще в 1922 году, и вот было бы здорово ее открыть? Потом мы много смеялись над этой затеей, поняв, что ничего похожего не могло уцелеть. Но вот сейчас вдруг узнаю здесь, что есть-таки идольчики в Пермской области. Правда, в 120 верстах, и надо искать, на перекрестке, на столбе, а волосы из мочала и тряпочек, – но это было, это стояло еще в 1951 году, как заверяет очевидец. Так что не такая уж это с моей стороны утопия.

Даже если русалка – это обыкновенный тюлень, то куда мы денем гуменника, кикимору, упыря?

18 сентября.

Ненаглядная моя Маша!

Твои последние писульки очень меня растрогали – а получил я их по 76-ю включительно – внимательным отношением ко всей моей гамме чувств. Даже конверт сообразила с Новым годом, как раз тот самый, не говоря уже о картинках, которые удаются все лучше, и некоторая доза старательности (по контрасту с левой рукой – задней ногой, хочу рисую, хочу мажу) здесь не повредит. В аспекте нашего дражайшего отношения к родной старине нелишне проявить и деликатную аккуратность в этом предмете.

Кстати, с инструментарием не вижу причин миндальничать и проявлять широту натуры. Если б для уязвления – тогда другой оборот. А спокойное и деловое отношение предполагает в сложившейся ситуации раздел имущества*, покупавшегося совместными силами, а дарственная – не по карману.

Мне кажется, что тебя иногда воспринимают на прежний салтык: дескать, старшая, сильная, энергичная, и за себя постоит, и еще чужие дела уладит. И вот получается: кругом все бедные-несчастные, всем некогда и трудно, а ты сиди – барыня. А ты из хозяек попала в нищенки, и ничуть я не стыжусь, но сержусь, когда другие не понимают, что они вышли из ребят, а ты вошла. Это я к тому, что на месте племянника следовало бы вести себя более взросло и спрашивать с себя как с мужчины, а не анфан террибль, который кончился и не вернется.

Получил еще письмо от Меньшутиных, на сей раз (по сравнению с прежними фейерверками) немного затюканное, не по смыслу, а по тону: чувствуется, отпуск кончился, и неизвестная работа стоит в дверях привидением, и кошки скребут. Ну, да как-нибудь.

А в снах ты ошибаешься, что я тебя ругаю. Разве что под забытым тобою растворимым кофе надо понимать поморин, которым ведь спасаюсь и просил бы Лиду прислать. Но это я все равно не ругаюсь, а слабо скулю.

Еще, если найдется лишний Пикассо (маленький, а еще лучше вместе с Пастернаком), – пришлите для подарка. В крайнем случае обойдусь – это если осталось в загашнике.

Хорошо, что Егор познакомился с белками и вообще с жизнью в лесу. А картинка его мне настолько понравилась, что, по-моему, ее можно было бы демонстрировать рядом с Халдейскими и Дракванными деревьями как еще один вариант того же образа. Только – в цвете и больше размером. А фон именно не белый, а желтоватый, глянцеватый.

Я забыл, что ее у вас больше нету – мне прислали. Пусть еще нарисует, хотя вряд ли второй раз получится такая красота.

Сегодня захожу в курилку – с дождя, в ватнике, в опилках, в веселом расположении, поскольку вместо обычных двух вагонок разгрузить пришлось только одну, словом, вваливаюсь в курилку этаким удальцом, и кто-то по-доброму говорит:

– А вы, А.Д., похожи на бурлака.

И я совсем развеселился.

– Ведь это я в детстве мечтал стать бурлаком. Вот и сбылось.

Общий хохот. Но ничуть не злорадный. Вообще очень многое сбывается и до странности совпадает. И мы с тобой тоже.

Целую тебя.

А.

20 сентября 1968.

<...>

А Егору важнее учить не цифры, а буквы. Они интереснее и нам ближе.



...трибунал освободил Генку Темина... – Темин Геннадий Михайлович (1927–1998), солагерник Синявского. С 1946 по 1951 год был приговорен пять раз к срокам от 10 до 25 лет. Освобожден 7 сентября 1968 года.

Заочница – знакомая только по переписке.

...раздел имущества... – Я начинала работать самостоятельно, поэтому предстоял малоприятный раздел имущества с бывшим учеником и соавтором А.Петровым.

ПИСЬМО ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРОЕ

Что-то грустно мне сегодня*, моя золотая Маша, и только ты одна и одна ты мне светишь и греешь в этот вечер.

21 сентября.

Начинается преображение леса. Весна в обратном порядке, только серьезнее. В деревьях появилась та самая выпуклость духа и расцветка драгоценных камней – умозрение в красках. Глядя на них, понимаешь, как хороша старость.

Не знаю, дотерпели вы, детки, на даче до этой светлости?

22 сентября.

Хорошо бы Егору читали Пушкина. Из сказок, наверное, самая подходящая – о царе Салтане. Другие не так детям: о рыбке – одно расстройство со сварливой старухой и разбитым корытом, о Царевне – пугает гроб, для большего страха еще хрустальный, в Золотом Петушке вообще все подряд помирают. Салтан самый веселый. И потом когда-нибудь, вероятно, стоит сводить в оперу на Салтана. Там замечательно перед каждым действием выходят золотые трубачи и трубят. И все внутри замирает от сладкого предвкушения. Оно больше, чем самая опера.

23 сентября.

Эпитет должен быть не прямым, но чуточку сдвинутым по отношению к определяемой вещи. Чтобы, помимо определения, выводить ее на иную косую смысла и заставлять поворачиваться и озираться по сторонам. Его неточность в данном случае созда-

ет живое пятно, размазывающее контур предмета до ощущения связанности с чем-то большим, чем тот сам по себе значит. Эпитет призван смотреть и боковым, и затылочным зрением, схватив зараз двух зайцев. Нужно, чтобы от него у зрителя немного разбегались глаза.

Солнечный свет осенью – какая во всем этом дрожащая красота!

...С выражением на лице дегенеративной задумчивости.

...Или просто тихо сидеть, отдыхая всем телом.

– В Киеве харчи хорошие.

– В Москве харчи дешевые. (Разговор.)

– И я во сне увидел фотокарточку самого себя.

– У него незапятнанность в глазах.

– Баба такая, что не дает выпить. Ну, я ему устраивал...

– Простой такой, не скандальный. Смеяться любил, шутить.

Померли все.

– Чтобы вздернуться – надо дух иметь.

– Вот это нас и губит, что мы думаем, что уйдем. (О преступлениях.)

24 сентября.

Е.Дорош («Живое дерево искусства», М., 1967, стр. 139) пишет по поводу «Иоанна Богослова в молчании» XVI века:

«Икона эта заставляет вспомнить парсунское письмо, как называли в старину портретную живопись. Можно предположить, что художник имел в виду здесь некую определенную, хорошо знакомую ему личность, а не условный, предписанный подлинником образ. Привлекает смелость, с какою он распорядился плоскостью довольно большой доски, заняв ее одной только головой Иоанна – коричнево-охристой, крупнолобой, высветленной на выпуклостях, со свободно ниспадающей гривой и бородой».

Что значит ассоциации реалистической школы: шаблон принят за смелость, традиция за новаторство. Как будто иным Иоаннам в молчании не предписывалось крупным планом занимать плоскость доски. И вот уже родовые приметы и нормативы самого общего ряда звучат как выражение уникальной неповторимости: коричнево-охристой, крупнолобой, высветленной на выпуклостях (во дает!)... Это все равно что о пейзаже Левитана ска-

зять: лес у него, господа, зеленый, а небо – представьте – голубенькое!..

И всю эту чушь вывозит интеллигентная интонация.

А еще я, Машенька, получил такие новинки:

«Новодевичий монастырь» Ю.Овсянникова – шикарное издание, печатанное в Вене (!).

И «Архитектурные памятники русского Севера» И.Бартенева и Б.Федорова, – все по разным местам, включая Онегу, Пинегу и Мезень, – с хорошими маленькими фотографиями.

А про науку я тебе все пишу не почему-нибудь, а потому, что больше ничего нет: в письмах наступил перерыв. Но я все равно про вас все время думаю, и все представляю, и очень люблю.

25 сентября.

На днях мне приснилось, что у меня сломалась лопата и кто-то ее приносит – черную и в общем-то не ту, которой я на самом деле кидаю опилки, а какую-то угольную, и показывает, что ручка у нее треснула. И я думал, к чему бы такой сон. Но вот пришла телеграмма, и все прояснилось.

Ты умница и мать-героиня. А я очень вас жду и немножко боюсь встречи с Егором: каким он меня найдет и понравлюсь ли ему: в свободном состоянии я бы сумел расстараться, а тут трудно. Внутренняя скованность, паузы, молчание, а он еще не умеет это понимать, а я не сумею представляться и изображать из себя веселого и интересного папу.

Но все равно прекрасно и правильно, что вы едете.

26 сентября.

Какой восторг, что вы у меня были*, и я вас видел, и вы своим видом и нравом превзошли все мои ожидания!

Во-первых, Егор связался весь, целиком, и продолжился, как и быть должно, и эти три года, что он подрастал без меня, не внесли никакой трещинки, никакой задоринки в его образ, а получился абсолютный, единый сын, и лег на сердце, и припечатался так же точно и крепко, как когда-то принесла в дом под Новый год с тем же необычным явлением любви с первого взгляда и удивительным, непонятно откуда взявшимся осознанием, что только таким он и может и должен быть.

Егор великолепен, но дело не так в этих талантах и достижениях, как в том, что никакой другой не нужен, не возможен, и даже его косинка легла последним штрихом, без которого, кажется, образ был бы не полон и что-то утратил в своей чистоте и прелести.

Смешно, что я тебе рассказываю все то, что ты знаешь сама и мне же рассказывала, сперва ты, а теперь я взялся, – но как же иначе?

А из отдельных черточек (которые я сейчас, подводя итог впечатлениям, с трудом вычленяю и обособляю, а они разом сбиваются на все лицо, на целого мальчика) – особенно по душе пришла та отрешенность, с какой он слушает чтение, или сам с собой разговаривает, или просто молчит. Где-то там витая. Некоторая рассеянность, утомительная в быту, когда ребенок, например за едой, отвлекается на разные свои размышления, сюда же идет.

Ну и, конечно, речь, стихи, игра, серьезность игры и детство, от которого я ужасно отстал, но оно все равно родное, так что я даже себя вижу в нем, но только здесь крупнее, краше и интереснее. И доверчивость какая! Машечка, какая доверчивость, переворачивающая и пронзающая, от нее плакать можно, и, может быть, это и есть главное определение детства.

А как он кричал «лошадка, лошадка» (опять переворачивается) с доверчивостью, что лошадка откликнется и придет. Перед такой открытостью чувствуешь себя негодяем.

А связать мне помогло, когда смеется, то будто раскачивается на руках, как тогда с терраски его окликали, и лукавство светящееся, и еще в зеркале удивленный испуг, как в ванночке, – поразительно, что это все сохранилось. И спокойствие, и постоянство в отношении к вещам и книгам (консерватизм) – способность жить тем, что дано, а не прыгать по верхам от одного к другому. И ведь он ни разу не капризничал, Машенька, хотя, вероятно, ему не все ладно было и довольно скучно.

Тебе спасибо за все – и что такой родился, и так воспитался, и что привезла – у меня это событие в жизни по самому первому, незабываемому разряду. Люблю вас очень.

2 октября.

Слегка-таки простыл на свидании и хожу в сплошном насморке и гриппе, но все равно хорошо и торжественно на душе, потому что вы есть. И когда говорил о смерти, это не потому, что собрался или что, а от полноты общения с вами, от сознания дара, после которого хоть в гроб ложись, и мои потери уже не кажутся нестерпимыми, и я согласен, чтобы меня не было, но вы бы остались. Это я вашу значительность имел передать и свою любовь и восторженность по вашему адресу.

Еще спасибо Лидочке* за этот приезд, и как она замерзла, наверное, и соскучилась, вас поджидая, и Игорю тоже*, – не знаю, представляют ли они, какой подарок мне сделали и как помогли.

А ты замучилась? И как себя чувствуешь? И ты не обижайся на Егорыча, если он мне и ты – сплошное чудо, а я ему так себе. Все-таки в играх и читках я ему не мог соответствовать. А только смотрел во все глаза.

Сегодня пришла телеграмма о возвращении – довольно-таки долго. А писем, представь, так и не получал все это время, что пишу письмо, так и остановились на 78-м номере, – ну, это ничего, вы меня и так осчастливили, только беспокоюсь за ваше здоровье, чтобы не простудились. Холод ужасный, все время мерзнешь.

Скажи Егору, что слон ему кланяется.

А Лукоморье ему повторяй иногда, и с продолжением, – пусть запомнит на память обо мне. А как ты заплакала!

3 октября.

Сон с лопатой оказался в руку, да не в ту, что сначала думал, – а по самой непосредственной, так сказать, лопаточной части. У меня начались неприятности на работе. Снят с опилок – и это рассматривается как наказание, для которого я не вижу веских причин, и еще не знаю, что это – сугубо локальный конфликт или более широкого расчета мероприятие.

Сперва послали в сушилку в знак опалы (считается в нашем цехе наиболее противной и вредной), но как там вакансии не нашлось, поставили чистить стулья, что много хуже, чем их мыть. Высокая норма, для меня заведомо невыполнимая, и прочее, газетки не считаешь. Нынешнее положение несколько похоже на то, что было в последний период работы на упаковке.

Возможно, все образуется, но возможны и дальнейшие осложнения. Во всяком случае я сегодня рад, что успел тебе написать письмо.

Если бы я был менее благодушно настроен, то мог бы думать, что это специально так сделано, чтобы уравновесить (или зачеркнуть) свидание крепкой порцией розг. Трудно пока понять, тем более отрядный* у нас сменился, и я не совсем представляю, чем и кем это вызвано.

Но настроение у меня после свидания продолжает сохраняться самым хорошим, и ты не беспокойся. Как-нибудь перетерпим. С точки зрения судьбы, это небольшая компенсация за все последние радости, на которую я согласен. Ну, а с людской точки – посмотрим, тут всякое может быть. Тут я, конечно, много не выработаю. Тем более когда на меня кричат. Сам я конфликтовать не намерен, но если напор усилится, то трудно заранее все предвидеть. А ты помни, что я спокоен и благоразумен и не склонен к напрасным выкрутасам.

Жаль кончать письмо минорной нотой, и, так как завтра выходной, я тебе напишу еще что-нибудь доброе.

И забыл спросить – с Гершензоном как поступить и не вернуть ли его вместе с Василенко?

А твой рассказ про медведя, который ушел по ягоды, я вполне оценил уже потом, как всегда с опозданием. Это очень здорово и прекрасно.

5 октября.

У меня тут получилось подряд два выходных, и я за эти дни отлежался и управился как будто со своим гриппом. Как вышел со свидания, влез в шапку, и опустил уши, и жилет тоже начал носить, даже спал в нем вчера днем и сегодня, шарфом укрыл голову и хорошо согрелся. Сегодня у нас шел первый снег. Койка становится главной базой.

Если вернуться на минутку к производственной теме – я не очень скучаю о потерянной должности (хотя новая гораздо хуже), потому что она тоже не сахар, и всего лучше была бы более тихая деятельность, тем более все меньше испытываю желание в постоянном общении и очень устаю от людей. От меня сейчас, впрочем, ничего не зависит.

В Егорыче приятна его прибауточность – вкус к слову, к языку, за который он хватается, как за ветки, и тянется в разные стороны, и раскачивается – обживает. Вообще ты привезла его ко мне в самый раз. Пожить бы с вами... Кажется, я у Егора научилась бы большему, чем он у меня. Да я и сейчас вижу, как полно детство. Мы слишком привыкли понимать его чистоту как отсутствие, по типу *Tabula rasa*. А если наоборот: нечистота – отсутствие?..

А в тебе тоже много детского. Но я пишу про Егора больше, потому что он меня очень уж поразил. Все-таки три года не выдались.

А из тебя я все время (не только сейчас, а вообще эти годы, но и сейчас) вспоминаю некоторые фразы, которые ты, может быть, даже забыла.

Помнишь, ты как-то сказала в самом начале, что в нашем путешествии на Север главное даже не памятники, не искусство, а что-то большее и важнейшее. Она – эта фраза – во мне засела (вместе с тобою) – как выражение чего-то очень важного в жизни...

Взять тот же Север. Ведь наивысшее ощущение подлинности лежало за пределами памятника. В этом смысле Кий-остров и Пустозерск оказались крайними точками в ощущении подлинности, совпав с пространством, – как источники, вынесенные за край, за грань памятника. И дело, конечно, не в том, что там, на Кие и в Пустозерске, ничего нет (хоть и это существенно), но в какой-то крайности одушевления этих мест.

А из новых мудрых фраз – твой комментарий к ответственности маленького домика – что за работа.

Я тебя люблю.

Я тебя люблю.

Пишу очень коряво и нескладно, потому что – в слишком лежачем положении, разложив листочки на брюхе, и тороплюсь, хочется все-таки опустить сегодня же вечером – пусть быстрее придет.

Егор очень приятно с серьезностью произносит, что набилось пузико. Как вы, мои бедняжки, здоровы ли сейчас?

За меня, Машка, не пугайся. Я очень вами обнадежен. Вы – милые, и вы – мои.

Целую вас нежно.

А Егор очень тепло прижимался боком, пока я ему читал...

А.

6 октября 1968.

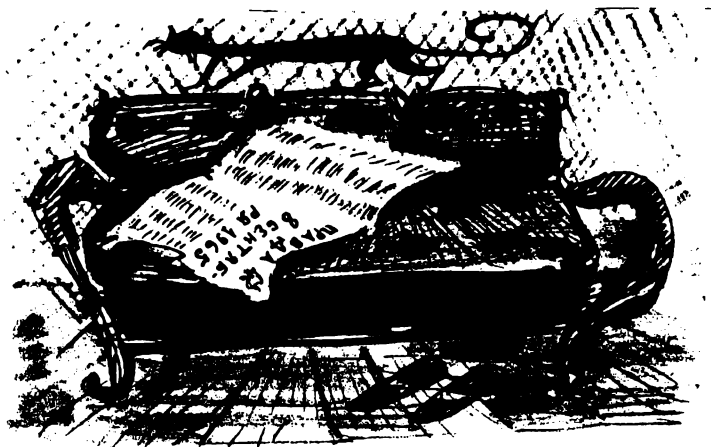


...грустно мне сегодня... – Годовщина смерти матери.

Какой восторг, что вы у меня были... – 27 сентября 1968 года я привезла Егора в лагерь на личное, трехдневное, без вывода на работу свидание с А.С.

Еще спасибо Лидочке... и Игорю тоже... – На это свидание нас с Егоркой сопровождали Лидия Меньшутина и Игорь Голомшток.

Отрядный – младший лагерный административно-надзирательский чин.



ПИСЬМО ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ

Машечка-деточка!

Очень хотелось пописать тебе сегодня письмо, но добрался досюда лишь к ночи – после работы. День прошел хорошо. Никаких событий. Все время лил дождь. Ходил смотреть на падающие листики. Подарки: Маргарита Наваррская «Гептамерон», «Фантастические повести» ранних романтиков, произведшие на меня такое впечатление своей обложкой, о чем уже писал тебе раньше, «Прометей или Орфей»* (новинка о модернистском искусстве), фотографию башни Нижегородского кремля и набор персидских миниатюр в открытках – все на высшем уровне. Вчера пришла бандероль с крокодилами, и среди них Паустовский «Бликие и далекие» – статьи и воспоминания о художниках и писателях. (Терпеть не могу, когда переделывают названия: у Брюсова были «Далекие и близкие», и хватит.)

Приберег шоколад со свидания, накупил консервов и в воскресенье устроил небольшой банкетик: с пересменкой пришлось менять дату, что, в общем, малоприятно. А сегодня вечером в тот же знак* съели банку щей.

Говоря откровенно, приглашал гостей из чистой формальности и чувства долга. Кто-то помнит, кто-то спрашивает, и надо праздновать. Я же мечтаю когда-нибудь вдвоем с тобой встречать Новый год.

Сегодня же пришла телеграмма от вас с Егором – с драгоценными словами. Только я не знаю, про что вы стараетесь. Боюсь, не болеете ли вы, стараясь поправиться. Ух вы мои кокетницы.

8 октября.

Стоит услышать ангельскую музыку, залюбоваться серой в крапинку далью, съесть что-то порядочное, выпить кофе, вспомнить эпитет, увидеть листик, выспаться, заснуть, вздохнуть, – словом, получить какой-то заряд и залог, – как я принимаюсь ответно признаваться тебе в любви. Ах, Маша, Маша, и дождик из тебя каплет, и солнышко светит.

9 октября.

Пересмотрел ваши фотографии: хотелось чуть-чуть продолжить свидание, а также продолжить Егорыча по свежим следам – насколько похож и связываются ли у кошек хвосты? Связываются, и он хорошо составляется из этих кусочков. От и до. А от глазика у него происходит переломление лица, немножко напоминающее пикассиный сдвиг, и мне нравится, но на фотографиях это не выглядит, потому что застывшая, а в жизни лицо играет комбинациями и возникает какой-то новый угол ухода в глубину.

Если б знать, что на этом остановится, – никаких очков не надо.

Пришли твои предсвиданные письма – сразу три, – и я все перечитываю сначала. И действительно было страшно бросаться в такое море с Егором, и вы у меня герои.

Еще получил спохватившуюся телеграмму* с поздравлениями в несколько измененном составе – какая-то она прибитая. Но это неважно.

10 октября.

Удивительно владычество Природы над нами. Самое полное, деспотическое и безболезненное, нечувствительное, предоставляющее бездну свободы и не дающее шагу свернуть с предназначенного пути. Царь самый явный и нигде не показывающийся, вмещающий все и позволяющий думать, что его нет.

Хитрость тела, которое само выворачивается, когда хозяин не хочет жить.

Тучи, создающие видимость осмысленной драмы, – встать.

И понял: отныне оно никуда от меня не уйдет. Эсхатология в сапоге, шагаю, полнота счастья. Как ему трудно, как ему сладко, в спорадическом виде, в надежде, в надежде всегда сомнение: неужели попустишь – не попустишь. Сито, сети, просится в плоти-

ну, с печалью неисполненности, с надеждой на метампсихоз, но ведь это не перейдет, это останется. Богатство, трудно богатому, сторож, стрелочник, стрелочник всегда виноват...

Заснувший на столе, почему: устал от мыслей, витавших во-круг, никто не тронул: кидняк.

Ходивший за провизией, поверивший в факт бессмертия от его повторения.

Метафоры и сравнения выполняют сотни ролей, бывают по сходству, по смежности, по склонности к украшениям, а то и по отдаленности уподобляемых друг другу вещей. Но в них же таится возможность фантазировать средствами речи и вглядываться в темноту какой-нибудь простенькой вещи до тех пор, пока у той не появится удивленная мордочка. Эти личики, когти, крылья, хвосты, языки, мелькающие в предметах, – вот что привлекает в сравнении, способном обратить убогий язык в струящийся, звероподобный орнамент.

11 октября.

Устаю не так от работы, как от нервов, которыми обставлен этот процесс. Грипп мой прошел. С зубами (тьфу!) тоже стало малость полегче. Махорка на них хорошо влияет, а «Шипка» плохо.

Проходя мимо стенда – как вкопанный: «Сувенир из Каргополя». Очерк в «Советской России» (от 10 октября) об Ульяне Бабиной из деревни Гринево и ее игрушках, даже с портретом. До чего дошел интерес к этим сувенирам. А давно ли – мы одни?

А в «Волге» (№ 9 – вот даже какие журналы иногда попадают в руки) опубликовано очень хорошее интервью жены Хемингуэя. Именно жены, и очень верное.

12 октября.

Они не живут – они экзистируют.

– Смотри: луна в окне – как живая!

– Спасибо, кошелек близко ко мне кладет.

– У тебя что-нибудь ко мне есть? – Есть. – Получи.

– Арматура и шкура.

– Почему апостолы – не украинцы?

– Ну, мы как сидели, смеялись, он ушел...

– Нас было шесть камер – убийц.

– Устраняет меня из любви ко мне, я подумал. Чтобы я лишнего не нагрешил.

16 октября.

Получил твою бандероль с парфюмерией и галантереей. Все очень роскошно. Особенно в масть пришились поморин и трубочки для ручки – и тем и другим тотчас воспользовался. А носки – так просто не знаю, что с ними делать: таких у меня не бывало и в лучшие времена. Но я забыл, чей это подарок, твой или кого еще, ты что-то говорила об этом, да вот не запомнил, рассеянчая на тебя и Егора.

А приятно было получить бандероль. К этому слову с детства нежное отношение (помню, как удивился, узнав о таком способе, таком простом и быстром). И слово-то изысканное – бандероль, не какая-нибудь посылка, от которой всегда веет чем-то будничным и голодным.

На дворе уже рано темнеет, и романтическим светом зажигается электричество. Вообще надо подумать о волшебстве электричества. На него уповал, о нем гундосил весь 19-й век. И в самом деле, возвращаясь мысленно в детство, вспоминаешь таинственную загадочность электричества. В нем была ослепительность бриллиантина и бенгальского пламени.

Вообще в первоначальном отношении к технике много от магии, от переживания фокуса: паровоз, микроскоп – единственность этих понятий приравнивала их к раритетам, к уникальным именам Наполеона, Христофора Колумба...

Интересно, вспоминает ли обо мне Егор и каким я ему кажусь...

17 октября.

В посещении толпою музеев есть что-то от паноптикума. Музеи в зрелищном смысле проходят по общему ряду с магазинами и зоопарком. Куда-нибудь пойти – посмотреть.

– На кой ляд мне идти в Третьяковскую галерею?

– Там голых баб увидишь. Как живые.

Интересная тема: музей как суррогат балагана, – в самом положительном, в том числе познавательном смысле этого заведения.

17 октября.

Читал Паустовского, и пришла не приходившая раньше в голову мысль о Бабеле – что он соглядатай. Всю жизнь подсматривал «в щелочку» за людьми в ожидании казуса. Его авторская роль всегда со стороны и в стороне от наблюдаемой экзотики, чем и вызвана незаметность, скрытость взгляда и биографии. Какой, собственно, может быть взгляд у человека, только и рыщущего в розысках необыкновенного, биография не живущего, приквартированного к жизни лица (писарская должность в армии очень ему подошла), встречающего в любую среду, дыру – без предрассудков? Спецкор от литературы, в быту подсмотревший невидаль, деклассированный лазутчик, снимавший комнату у наводчика для своих «Одесских рассказов». Национальность инородца тоже ему подошла.

18 октября.

Чищу стулья – старательно и по качеству недурно, и они у меня блестят и лоснятся лучше всех, но с количеством ничего не могу поделаться – медленный и не умею быстро двигать руками, которыми надо хватать то шкурку, то циглю, то какую-то замазку для замазывания дыр и царапин.

Гений пишет быстро и много, а хороший стиль (или стул) достигается, я заметил, неуверенностью в себе. Стилисты, как правило, неувереннейшие люди и эту недостаточность в себе стараются компенсировать вниманием к слову, аккуратностью, шлифовкой. Неуверенный не может позволить себе такую роскошь, как работать плохо, левой ногой. Гений – позволяет.

Дополнительную кашу я, естественно, перестал получать. Но ничего. В ларьке маргарин давали, и я теперь каждый день дополнительно съедаю огромный бутерброд.

Ты была на кухне, когда я спросил у Егора, есть ли у него санки, и он сказал – нет, и я хотел расспросить тебя на эту тему подробнее, но не успел. Так вот – есть ли у него санки?

Уже снег падает. А мы из-под снега едим грибы.

А еще ты говорила: «жизнь моя, иль ты приснилась мне?» – это ты от меня научилась впадать в такую мечтательность?

19 октября.

Представляешь, Машенька, давно уже я получил последнее письмо от 2 октября, написанное тобой по приезду, – и с тех пор

ничего, ничего о вас не знаю. Заговариваю зубы, отвлекаюсь, тяну – это я писем жду, а их нет и завтра не будет, потому что воскресенье, но придется работать, потому что свой выходной уже отгуляли. И вот я не знаю – посылать тебе письмо в согласии с датой или еще подождать один день, понедельник, по понедельникам обычно писем тоже не получаю, случаются иногда, редкость, не до вторника же теперь тянуть, тем более тогда пойдет только в среду, что же делать, не ждать, послать двадцатого, не откладывая, письма придут потом, да и так часто бывает – отошлешь, а они и придут, и хорошо бы под конец обрадовать получением. Но бывает – отошлешь, не дождавшись, а они все равно не приходят, и на другой день, и на третий нет, лишь где-нибудь на четвертый, и тогда хорошо, что успел отослать вовремя, не подвел, и ждать все равно было нечего, а письмо уже идет. Хорошо, что письмо можно, хорошо, что можно написать письмо, взять бумажку и написать, это много, на другом фоне представим – ведь это удача, нам повезло. Потому не ныть, а радоваться, не ныть, терпеть, еще немножко потерпеть, и пройдет, и придет.

19 октября.

Что ребенку надо? – быть подле отца с матерью. Не так ли душа наша тоскует – когда и где?

20 октября.

В иконографии Успения, сколько помнится, принято думать, что Сын забирает душу Матери. Беленькая фигурка похожа на спеленутого ребенка, и было бы славно, пользуясь этим, предположить, что душа в самом деле имеет детскую внешность.

Однако в действительности композиция изображает скорее не душу, а тело, взятое вскоре и обернутое в саван. Его малость объясняется обычным соотношением величин и пропорций; в целом же в изображении сомкнуты разные грани, времена, повороты единого в общем События.

Так что все совсем не так.

А все равно эта свечечка на руках так и тянет сказать: душа и дитя.

20 октября.

Тут один зек получил от другого, освободившегося, листочек с могилы Достоевского. Вяза, кажется, совсем почерневший. Драгоценность. Очень трогательная.

Немного бледноватый тон этого письма пускай тебя не смущает. Потому что когда мне худо и пришла полоса относительных неудобств (нет писем, погода, работа и т.д.), – мне в то же самое время становится весело, и я даже как-то подтягиваюсь внутренне и, смотря на мир снизу вверх, улыбаюсь тому, что сижу внизу. В этом тоже есть смысл.

А во сне я теперь часто с тобой гуляю, и очень мне нравится с тобой гулять. А Егор снится редко.

Еще ты хорошо рассказывала о Чехове (да, забыл сказать, открытку по приезду, с вестибюлем, я тоже получил, – какая лесенка, с ума сойти! Такие я видел давным-давно, кажется в Сандуновских банях).

И мы согласны в авторах (как хорошо, что так согласны). Правда, еще, вероятно, есть нечитанные авторы, например проза Одоевского. Все время кажется, что есть на свете какая-то книга, которую надо непременно прочесть, да только все никак не найду – какая?..

Во сне мы тоже и разговариваем, но я не запоминаю, жаль, только помню, что хорошо и согласно...

Холодно, и я тебя люблю. Зима ранняя и будет длинная (я тебя люблю). Слякоть, неуютно, недобро (я тебя люблю). Этот месяц что-то долго идет.

Получить бы завтра письмо. И знать бы, что вы здоровы (я тебя люблю).

Уже совсем, совсем вечер, и я не стану откладывать.

Обнимаю и очень помню.

(.....).

20 октября 1968 г.



...«Прометей или Орфей»... – Книга В.Тасалова (Москва: Искусство, 1967).

...в тот же знак... – 8 октября – день рождения А.С.

...получил спохватившуюся телеграмму... – Дружеская поздравительная телеграмма пришла с опозданием.

ПИСЬМО ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОЕ

Ну вот, Машечка, – как отправил тебе письмо, на другой же день пришли три штуки. В том числе с портретом Егорыча после головомойки – очень хороший и очень похожий на тебя, распаренную, из бани, так бы и расцеловал.

Доволен вашей идеей взаимопомощи с Лидией*: лучшую тетку Егору трудно представить. Помимо любви к ребеночку и заботы о нем, она сумеет научить его доброму и прекрасному. Да и пора ему иметь возле себя не мельтешащих знакомых, а постоянную, длительно действующую благую душу.

И за дом приятно – что понравился*. А то грустно такому маленькому прививать привычку к скитанию по постоянным дворам. И приятно растить цветочек посреди картинок.

После вашего приезда мне стало проще воспринимать многие детали из твоих рассказов о сыне. Как-то все сразу понимаешь и представляешь.

А про чемодан*, по-моему, ты сама ему и сказала, когда на диване прилаживали, а я, кажется, лишь подтвердил эту историю или стоял молчаливым свидетелем, на которого ты сослалась, удостоверяя – спал в чемодане. Он еще спросил «почему» скучным голосом и с отрешенным видом, – казалось, не обратил внимания (даже немножко обидно было), как если бы мимо проехало. А внутри – припомнил. Ушки – на макушке.

22 октября.

Оказывается, наша «варежка» пошла от «варягов», «ахиня» – от афинской философии (глупая мирская премудрость). «Врач» проис-

ходит от слова «врать», то есть в первоначальном значении врач – заговариватель, заклинатель. А «бабочка» связана с «бабушкой» и представляла умершую душу, «бабочка» – бывшая «бабушка» (диалектное «душичка» в значении бабочки и производное «души»).

Это по науке.

А по искусству?

Искусство – место встречи. Автора с предметом любви, духа с материей, правды с фантазией, линии с контуром и так далее. Встречи редки, неожиданны. От радости и удивления: «ты? – ты?» – обе стороны приходят в неистовство и всплескивают руками. Эти всплескивания воспринимаются нами как проявления художественности.

Когда ничего другого нет под руками, искусство начинает рассказывать о себе и на этом сюжете развязывает язык. Существовали поэты, только о том и писавшие, что они – поэты. Искусство, как женщина, вертится перед зеркалом и любит себя в ожидании гостя. Бывает, весь век оно так и сидит – в девках, но это не имеет значения.

У некоторых великих поэтов стихи в конце концов превратились в необязательное приложение к личности. Начинается эксплуатация собственной персоны, костюма, манеры жить и казаться таким, как описал себя в прошлом стихотворении. Но уже не пишет, а существует: с него довольно.

Лесенка Маяковского, помимо очевидных ритмических и архитектурных проекций, двигавших рукою строителя, вызвана стремлением вдохнуть энергию в текст путем его особого, бросающегося в глаза экспонирования. Любая речь, в принципе, расположенная подобным порядком, читается с нажимом и начинает походить на стихи. Но от этого непрерывного нажимания и рассечения в конце концов устает.

В самом имени Данте нам слышится ад. Эффект перевертня.

Хорошо бы пройти по Третьяковской галерее и посмотреть на живопись глазами пантомимы. Хогарт, убежденный, что копирует жизнь, в автобиографии проговаривается (не замечая, что выдал себя и всех своих позднейших последователей):

«Я старался трактовать мои сюжеты как драматический писатель: моя картина – моя сцена, а мужчины и женщины – мои актеры, которые посредством определенных действий и жестов должны изобразить пантомиму».

От реализма в подобной трактовке мало что остается; в ход идут насквозь условные приемы.

1) Эффект узнавания (примерно так, как об этом рассказывают экскурсоводы, правильно улавливающие основной пафос художника). Вот пожилой господин открыл рот и поднял палец в рассуждении позавтракать, а его молодая жена схватилась за сердце на тему нет денег, тем временем знакомый гусар выпрыгивает в окно, забыв под стулом разбитый, стоптанный во многих походах сапог, и так далее, по порядку, вплоть до кота Васки, уплетающего по диагонали хозяйский завтрак – мораль. Зритель радуется: все совпадает, однако – не с жизнью – с заданием. Удовольствие доставляют ясность читаемой ситуации, сформулированная осмысленность жестов, складывающихся в программу, в которой кот и сапог наносят последний удар по недоверию скептика и ставят точку над *i* в развитии реализма.

2) Эффект занимательности: все сошлось в одном, таком небольшом холсте, как в фабуле романа, переплелось, завязалось интересным бантиком: смотрите, какие штуки выкидывает случай – тут и кот, тут и сапог (подчас – без сапога здесь не было бы картины – на нем все держится). «Типические характеры в типических обстоятельствах» сплошь и рядом оказываются счастливым совпадением карт, необходимых для занимательной сцены. Искусство правдоподобия сводится к умению заинтриговать и составить ребус, в котором все ружья стреляют. Как в жизни? – да нет, как в искусстве, где все предвзято и нет ничего лишнего.

3) Необыкновенно сгущенный, подчеркнутый, остановившийся как вкопанный миг – сцена остолбенения (подобная «Ревизору»), выдернутая из времени, – не миг, а гром с ясного неба, заставивший всех замереть в пойманной, как карманник, позиции. Художник только и делает, что кричит своим персонажам: – ага, попались!

От реализма здесь в собственном смысле лишь материал, взятый из-под носа у зрителя: улица, бедность, низменность быта, заглядыванье в ближайшую скважину. Но живопись, но компо-

новка основывались на искусственных трюках, вплоть до особого рода приспособленной к зрелищу техники. С жанром пришел малый размер: микромир. Помимо сюжетной скромности, не позволявшей развернуть сватовство майора в масштабах Помпей*, маленькое отвечало задачам узнавания и занимательности интриги, которую нужно распутывать и для того – разглядывать. Отсюда доступность манеры, ясность и точность прочтения – совсем не от «правды», но для того, чтобы было видно, где что лежит. Отказ от густой светотени, красочного богатства, широкого мазка: картина должна быть хорошо обозримой и поэтому вылизывается – чтобы не затерялся ни кот, ни сапог. Отсюда – учитесь точному отображению жизни (действительности – искусству разыгрывать пантомимы).

25 октября.

Сегодня посылаю тебе поздравительную открытку, и Егору, и Лиде с Андреем. Больше – никому, да больше теперь и не положено.

Надеюсь, открыточки слегка скрасят ваше существование: ведь это-то письмо отправится только десятого, когда кончатся выходные дни, и поэтому с ним невольно затягиваюсь. Был бы расторопней – числа 2-го б отправил, но нет времени, сил, да и спохватился я поздно, уже сейчас видно, что не успею, а 5-го бессмысленно.

За эти десять дней успела пройти зима, начавшись в одну прекрасную ночь, когда проснулись, и бело кругом, и стало вольно дышать, в первом снеге всегда волшебное, преобразование города в одну ночь, затем через морозы, доходившие до 20°, это в октябре-то, не холод страшен, а грустно, как подумаешь, что все это отойдет, потает и начинай сначала, на потепление. Наверное, от этой разносортной погоды октябрь получился длинным, длиннее обычного месяца, да и быт выдает ухабы под боком, Блоком, «голос из хора»*: меры нет, а с первым снегом всегда детство. Почему-то не бывает так вдруг ни весной, ни летом. Чему же тут радуются люди, если не внезапному преобразению, чуду?

– Вспоминайте, глядя на людей, о недавнем их рождении, детстве или о близкой смерти, и вы полюбите их: такая слабость!

– Свою душу мы знаем лучше, и она иногда представится кучей червей, лишь глядя вокруг успокаиваешься – не все такие, только я, а вокруг прелестные личики. По сравнению с благообразной наружностью окружающих наша внутренняя непривлекательность, о которой мы можем судить довольно трезво и глубоко, – потрясает и кажется небывалой, невероятной, и мы от нее отворачиваемся, ориентируясь на чужое лицо. Лицо вынуждает к спасительному лицемерию. Как много значит внешность, пристойная форма!

Но бывают иные определения лица и души.

– Моя жизнь у меня на лице написана.

– Чтобы я кошкой интересовался? Да я душе своей не рад.

– Я еще не знаю, что такое женщина. Жизнь-то пролетела. Как ни смешно, но это факт.

Кстати, пришли мне при случае десятка два трехкопеечных марок в письме, чтобы я мог, не побираясь, послать вам к Новому году открыточки. Открыток у меня хватает, а вот марок нет. А ты знаешь, что я тебя обожаю?

30 октября.

Еще о скрипке. Не была ли она подругой гомункулуса и первым аккомпанементом паровой машины, толкнувшей развитие техники на путь метаморфоз, обеспеченных превращением одной энергии в другую? Раньше превращать не умели и не было никакого прогресса. Сколько ни совершенствуй телегу, она не сделается паровозом – в лучшем случае появится коляска и тарантас. Музыкальные инструменты, тренькавшие и подсвистывавшие, сопровождали танец и пение, не стремясь имитировать голос и превратить отдельно звучащую вибрацию в голошение души. Появление поющего ящика, издающего как змея извивающуюся мелодию, воспринималось поначалу как что-то противоестественное, заставляя подозревать первых скрипачей-виртуозов в общении с темным помощником. Вообще в скрипичном повизгиванье слышится демоническое. Недаром на скрипке особенно хорошо получают разного рода дьявольские трели. По части сладострастия скрипка заткнула за пояс флейту, считавшуюся когда-то самой развратной. В «Арфах и скрипках» Блока арфами и не пахнет, но скрипок хоть отбавляй.

В скрипке заговорило начало Фауста, Шварца и других чародеев-алхимиков, валом поваливших где-то в XVI веке. Тогда чертовщина в знак Ренессанса являлась подчас в открытом виде, а алхимики бились над тайной превращения вещей, открыв по ошибке вместо золота порох. Тогда были в моде полеты на Брокен, и скрипка их подхватила, предназначенная к «Полету Валькирий».

Уже в пользовании этой ретортой по перегонке музыки в голос – проскальзывает странность. Скособочившись, изогнувшись, скрипку вскидывают, как ружье, и вдавливают в тело, так что она торчит не то из глотки, не то из груди артиста поющей жужелицей, надрывая душу живым и жалостным мяуканьем. Из скрипки вылез Скрябин – с коготками экстаза. Под ее звуки у присутствующих потрескивает в волосах электричество, и легкие магнитные бури освежают зал.

Эмблемой монашеского ордена доминиканцев была собака с пылающим факелом в зубах. Они называли себя «псами Господними», связывая это название с именем патрона и основателя (*Domini canes*), и видели свою миссию в уничтожении еретичества.

Возникает вопрос, не отсюда ли перенял Иван IV собачью голову и осенил ею опричнину, заменив пылающий факел на родную метлу? И не явилась ли опричнина, декорированная под монашеский чин, заимствованием у инквизиции в тот самый век, когда на Западе расцветала борьба с духовной крамолой? Иван же Грозный, в сущности, пробовал реорганизовать государство по типу и образцу церкви, о чем впоследствии прекраснодушно размышлял Достоевский. Идея Третьего Рима тоже сюда вела.

С другой стороны, лишь вспышками истерии, массовым увлечением колдовством и чародейством объясняются «Молот ведьм» и прочие ужасы инквизиции. В XVI веке на стыке эпох, в процессе Возрождения, образ человека, свободного от средневековых оков, носил первоначально характер Фауста. Не высунул ли чорт раньше человека, а уже потом наступил гуманизм?

Из древнерусских пословиц и поговорок:

«Зол бо человек противу (сравнительно) бесу, и бес того не замыслит, еже зол человек замыслит» (Ипатьевская летопись, 1170 г.).

О злом епископе Ростовском Федоре, что всех мучил, вымогательствуя: «именя бо бе не сыт акы ад» (Лаврентьевская летопись, 1169 г.).

Интересно, что ёж на Руси не считался полноценным животным: «ни птица в птицах сыч, ни в зверех зверь еж, ни рыба в рыбах рак, ни скот в скотах коза, ни холоп в холопех, кто у холопа работает, ни муж в мужех, кто жены слушает...» («Послание» Даниила Заточника).

2 ноября.

До чего дошла наука: в журнале «Волга» печатался английский роман о Родене, роман очень неважный, но о Родене же, и я прочитал куски, какие были. Еще – вышедшую в 68-м году книгу «Искусство скульптуры» Бурделя, хорошо изданную, с массой его прекрасных высказываний, так что в итоге я стал много лучше относиться к Бурделю, впрочем и раньше его уважал, и хуже к Родену. Приятно, когда Бурдель открывает для себя романскую скульптуру и ставит ее выше античной, где ему мила прежде всего угловатая архаика, а итальянское ренессансье поносит. Ездит по Италии и ужасается и раздражается, что все оказалось не таким, как ожидалось, и превозносит старую Францию, очень убедительно. Из него я много понавывписывал, здесь же позволю только одну сладкую цитату, относящуюся к 1928 году и к тебе:

«Всякое искусство просачивается сквозь творческую мысль или, лучше сказать, рождается из нее, как цветок из дерева или как любовь, которая; впрочем, и есть искусство. Когда любовь приходит к нам, наша душа цветет. Пышное ее цветение – весна нашей жизни. За ней наступает великолепие лета и щедрая жатва осени... И зиме даны свои цветы, стойкие и благородные... Человек мысли цветет, словно растение, и каждый период его жизни отмечен своим убором. Мы не можем провести границу между любовью и искусством, не можем оторвать их друг от друга. Оба живут в нас, оба восходят к эротическому началу, в обоих говорит цветение нашей крови. И рисунок, подобно песне или иному творению искусства, рвется из недр нашего духа в пору его цветения» (стр. 200).

В Бурделе еще хорошо, что он чистый и твердый, без эротики, особенно рядом с Роденом, с этой старой развалиной, у кото-

рого по высшему счету для меня остается, пожалуй, только Бальзак. О роденовских статуях один критик правильно сказал, что теперь они кажутся «жалкой толпой сластолюбцев и проклятых».

Может, Бурдель и меньше Родена, но ближе нам и важнее Бурдель: «Чтобы быть художником, надо быть одновременно святым и бешеной собакой».

Между прочим, Бурдель, оказывается, в 27 г. лепил Кришнамурти. Вот бы посмотреть.

Из новейших открытий здесь увлекаются журнальным сообщением (говорят, совершенно точная, научная информация): один египтолог открыл, что в пирамидах острые металлические изделия не тупятся от времени, потому что сами собой затачиваются, и продал патент на заточку бритвенных лезвий. Физическая причина остается невыясненной, но опытным путем этот феномен подтвердился: форма пирамиды затачивает помещенное в ней острие. Многие бредущие клеят макеты из картона или фанеры, и все получается, через день тупейшее лезвие становится как новенькое. Забавно, на что идут в европейской цивилизации чудеса и тайны Египта – патент на заточку бритв. Но каковы пирамиды!

5 ноября.

Имею от тебя на сегодняшний день 89 писем (с пропуском 87-го), и так теперь будет до конца праздников. Бедновато. Ноябрь получается: одно письмо в десять дней.

Зато пришла бандероль* с Пермской деревянной скульптурой, и я подумал, что это ты, получив мои пермские упоминания, решила меня ободрить и одарить. Правильно я вычислил?

Только уже не упомяну, когда были эти упоминания. В позапрошлом или в позапозапрошлом письме.

Все равно хороши деревяшечки. А текст, наверное, серенький, судя по первым страницам, которые я успел облизать, хотя автор всю жизнь этим занимался (его же книга 28-го года) и многое в жизни сделал уже тем, что собрал и сберег это в одной кучке. Провинция, энтузиазм, музейщики, дождик, трогательно, доски, гвозди, хлеб. Осуждать таких за безграмотность и недалекость не поднимется рука.

А мы с тобой когда-нибудь съездим в Пермь?

О твоём старении, Маша, не могу сказать ничего вразумительного, потому что не замечаю. Наверное, для меня ты всегда останешься девочкой, но, и отрешившись от своих впечатлений, я не думаю, чтобы ты очень постарела.

Вместе с Пермским собранием накануне праздников получил еще крохотную фаюмскую бандероль* – «Художественные памятники Верхней Волги». Город Мышкин и т.п. Издано очень со вкусом и любовью, и эпиграфы приятные, и вступление, а текст еще не успел. Все-таки хорошо, что многолетние труды не пропадают. Всякое даяние благо. Поблагодари от меня при случае.

А вот письма не получил, и это грустно: четыре дня жить.

Последнее время вообще много книг появилось вокруг по самым моим интересам: Искусство Новгорода, Новгородская археология, Золото и серебро на Руси, сборник «Славяне и Русь» Института археологии и т.д. (Кстати, Романова «Люди и нравы Древней Руси», о котором я раньше писал, не ищи и не покупай: скучная и скудная книжка.)

Пытаюсь, пока идут свободные дни, ухватить эти богатства за бочок и не успеваю, сбиваюсь с ног. Опять впал в грипп (что-то часто, за эти две недели – второй раз). Но не сильный. Отлеживаюсь и отпотеваю под ватником. Хорошо, не надо ходить на работу.

А зубы, представь, не болят. По всей видимости, на них влияет тоже сорт табака. Так, «Шипка» в свое время на них плохо действовала, а «Прима» – хорошо.

Пермская скульптура, несмотря на избыток книг, еще утешает нежным приветом от тебя. А я всегда об этом думаю, жду и мечтаю. Даже когда по радио передают погоду – на душе светлеет: в Москве столько-то градусов – это о вас.

Свидания со всеми хлопотами, сборами, поездками, конечно, обременительны и выматывают, отчего ты и выбилась из сил и здоровья. И все же, Машенька, моя ненаглядная Машенька, эти встречи оказываются такими полными, что на них одних можно растянуть и поставить целую жизнь. И нам от этих встреч – будет что вспомнить – до конца дней, как ты считаешь?

7 ноября.

Солнечно, морозно и сухо. И на душе крепче. Жаль, нет снега. Зима без снега теряет всю прелесть.

Одинокий брезгливец: – Я бы мог несколько месяцев с вами интересно беседовать. Не переставая.

Смешно. Тетерева. Не торопитесь высказаться. Слушайте, вслушайтесь хотя бы в свист ветра.

Живу одиноко и замкнуто. Только письма и книги. Нравится, хотя иногда тоскливо. Прогуливаюсь один вечерами, по полчаса перед сном. Приятно, когда никого рядом.

Может, это от тесноты. А пишут в журналах, что человек нуждается в личном пространстве, что, если всюду люди, можно заболеть.

Невольно набрасываешь на ресницы невидящую сетку, род пегородки, рассеянность зрения, смотришь, но не видишь. Видишь только, что кошка вытянула ногу, как фабричную трубу, и вылизывает – хорошо.

Удивительно, как Егор лопаает ложкой и вилок; и еще держит в другой руке хлеб и время от времени умудряется откусывать. Все как положено. Я смотрел как зачарованный.

Но очень было жутко и жалко от опрокинувшегося стакана. Такой взрыв страха. В таком маленьком.

Я поправился и отдохнул в эти дни. Завтра на работу. Может, письма придут.

Тебя ношу и прижимаю в груди – очень бережно.

По повелению Эхнатона, незадолго до его смерти, на гробнице его возлюбленной Киа была высечена молитва. Она обращена к фараону, т.е. Эхнатону, но, вероятно, читается и в обратном направлении. Получается разговор из царства мертвых в этот мир (и обратно?).

«Буду слышать я дыхание сладостное, выходящее из уст твоих. Буду видеть я доброту твою ежедневно, таково мое желание. Буду слышать я голос твой сладостный, подобный прохладному дыханию северного ветра. Будет молодеть плоть моя от любви твоей. Будешь давать ты мне руки твои с питанием твоим, буду принимать я его, буду жить я. Будешь взывать ты во имя мое вековечно. Да слышу я голос твой во Дворце солнечного камня, когда творишь ты службу отца твоего, Атона живого. Слышу я голос твой непрестанно, живу я, слушая сказанное тобою. Да будешь жить ты, как солнце, повседневно, вековечно, вечно».

Недавно расшифровали.

Но, вероятно, с Эхнатоном интеллигенты преувеличивают и слишком носятся. Амон – метафизическое солнце – был по содержанию значительнее видимого знака – Атона. Возможно, это попытка сделать присутствие бога более явным и поэтому дневным.

В данном случае это неважно.

Целую тебя.

А.

9 ноября 1968 г.

P.S. «Сейчас в Москве два градуса мороза». У нас больше. А у меня осталось немножко времени и места, а я уже все написал и в любви объяснился – что же делать?

Конечно, можно лист разорвать пополам, я так и думал, но тут мне попался под руки один интересный текст, который жалко выбрасывать, и вот я сейчас сюда его вставлю.

Егора не зря зовут цитатчиком и прибаутчиком, и если он прибаутчик в тебя, то цитатчик в меня.

В оправдание замечу, что по крайней мере две большие цитаты нужно рассматривать как стихи в твой альбом, а эта – уже вполне объективного и научного характера, из книги: *М.Н.Тихомиров. Описание Тихомировского собрания рукописей. М., 1968.* В приложении ряд прекрасных отрывков. В частности: *О Мармореше*, датирована 1552 г. Это название волости в Угорской земле (весь текст географического содержания).

Описывается «монастырь, зовомый Занав, в нем церков Възнесение господне, а в нем же братов 330, а пашня тут у них лешая, просо сеют на кашу, потому что полу у них нет, живут в горах, а держат себе овец до 1000 и боле, тем оне питаются, ядят от них сыры и млекло. Да в том же монастыре есть кладязь, а в нем вода сладка, что грушевый квас подсычен, и тот квас вся братиа пият, а опричь того инех и квасов ни пият, ни держат, и гости тот же квас пият, а вода в нем бела, а течет от колодызя тая же вода недалече, а садится, как кисель, а черлено. Да есть и иные колодызи блиско того монастыря: ино как укус, а ино как кислые шти». Стр. 179.

А знаешь, о чем тут речь? Да ведь тут, Машечка, о минеральных водах рассказывается – но каким слогом, просторечием – щами и кашей все заморские диковинки измерены, с помощью это-

го неторопливого «а» можно весь мир описать подряд. Вся древнерусская литература для современного читателя держится на языке, который хочется пригубить и вкусить. И от самого простого к самому невероятному (хотя это тоже, конечно, какие-то минеральные соки):

«Да блиско того ж монастыря есть камень велик как дуга есть на перестрел, и подход под него как городовые ворота, концем лежит на месте, а другим на другом месте, а висят из него как человеческия титки и всякого скота, а из них каплет как млеко, а емлют то млеко и дают с солию всякому скоту...» (там же). География!

А еще, знаешь, Маша, в магазине дем. книги где-то в 66–67 гг. продавался Филонов, изданный в Праге, и всего было продано 600 экз.

Вот что надо доставать!



Доволен вашей идеей взаимопомощи с Лидией... – Я договорилась с Лидией Меньшутиной, что она будет нянчить Егора, чтобы я могла уходить работать, и в письме прошу А.С. о моральной поддержке: «Сегодня Лидия меня уже отпускала, и тем самым вступил в силу наш договор о взаимной помощи, и вырази по этому поводу свое восхищение, чтобы оказать Лидии моральную поддержку, потому что ее вроде бы слегка смущает такой заработок.

Меня же это не смущает, именно потому, что человек она нам не чужой, и если отношения у нас почти что родственные, то естественнее, чтобы зарабатывала я; я это лучше делаю, чем она».

И за дом приятно – что понравился. – Из моего письма: «А теперь угадай, каковы были первые Егоровы слова, когда он приехал на Пятницкую и обвел угодря изумленным взором?

– Мамочка! Давай распределим, где будут чьи игрушки...

Это при виде прялок, книжек, свентялок и прочего имущества. Каков собственник? И уже несколько раз сказал, что на Пятницкой ему нравится и он хочет жить здесь долго-долго».

А про чемодан... – Первый месяц своей жизни Егор провел в чемодане, поставленном на два стула, ибо по всей Москве ни в одном магазине не было детских кроваток. Из моего письма после свидания втроем: «А когда ты успел рассказать Егору про чемодан, в котором он спал в первые дни своей жизни?

Ибо Егор мне сегодня долго объяснял, что он уже из чемодана вырос (а я кончала уборку и бросала с места на место разные чемоданы) и что чемодан – это место для очень маленького, и сказал, что знает это он от тебя».

...сватовство майора в масштабах Помпеи... – «Сватовство майора», П.А.Федотов (1848 г.) – 58,3 см х 75,4 см; «Последний день Помпеи», Карл Брюллов (1830–1833) – 456 см х 651 см.

...«голос из хора»... – Стихотворение А.Блока и название первой послелагерной книги А.С., замысел которой, судя по этим словам, созрел уже в лагере, в 1968 году.

Зато пришла бандероль... – Н.Н.Серебренников. Пермская деревянная скульптура. Пермь, 1967.

...получил еще крохотную фаюмскую бандероль... – Ю.Герчук, М.Домшлак. Художественные памятники Верхней Волги. М.: Искусство, 1968.



ПИСЬМО ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТОЕ

Читаю книжечку про город Мышкин*, и Кашин, и Тутаев, и Кимры и все время улыбаюсь: вспоминаю тебя. Уж очень похоже на твой рассказ о привычке справлять именины вокруг одной единственной интеллигентной бутылки вина и пустых сервизов. Получается так же уныло, тягуче, деликатно и до ужаса ни к чему, и жаль затрат по оформлению материала – книжечка-то изысканная. Сплошной 19-й век, всякий раз оговариваемый, конечно, не шедевры, но лопатки и крылечки в традиции. И сплошная описательность, с тем же успехом экскурсоводы водят по передвижникам, только тут – архитектура.

Нельзя писать об искусстве, не будучи убежденным, что созерцаемая вещь исключительна и уникальна: искусство состоит из чудес, живет необычайностями – пускай второстепенных, заведомо провинциальных вещей, – все равно – пупочки и голубчики, люблю и никому не отдам! А за что любить, спрашивается, этот 19-й век?

Чтобы тебе не читать, – две фразы, настолько нищенские, что диву даешься, как можно об этом всерьез говорить, тем более – устраивать из них именины:

«Остатки иконостаса увенчаны вместо обычного сияния могучим шаром – редкая, необычная деталь!»

«Даже на оштукатуренных домах эти мезонины обшиты досками, что придает им своеобразную пластическую выразительность».

Какое, однако, стремление подать товар лицом.

И виновато здесь не только отсутствие достойных памятни-

ков. Ведь можно было искупить эту пустыню ее атмосферой, заглянув у литературы и быта двух веков, как было сделано в кино про Абрамцево (опять ты рассказывала, и я опять улыбаюсь, очень я люблю, когда ты рассказываешь), оживив архитектуру тенями, стилем тех, кто там жил и ходил.

На одних именах и названиях городов можно было выехать. Вот ввели в одном месте гвардейского балбеса Тишинина, и сразу стало легче дышать. А кому нужны голые университетские лопатки?

Кстати, узкие специалисты, как выяснилось, тоже не удовлетворятся: нет точности и постоянства в датах, размерах и терминах. Это был бы справочник. Но авторы тянут в иную сторону – живописности, очерковости, Дороша. Но до чего же все бесполо.

Вижу одну только реальную пользу: на местах, если прочтут, может, поостерегутся ломать.

Разумеется, не передавай это мнение. Жалко – очень старались. И сделали, что могли. Да я бы и не стал писать, если бы все это не было у меня проткнуто тобой.

11 ноября.

Терпение мое вознаграждено: четыре письма. Только ты в первом пишешь про Егорову травму от чайника*, а в последующих – подживает ли? – ни звука. Хотя неделя прошла. Как будто я должен сам угадывать, что раз ничего не пишешь об этом – значит, не нарываешь. Так ли?

А также не знаю: что, Егор все еще температурит и дома сидит?

Понравился рассказ о Бобике*, который не грызет ножку от стола. Вот оно – доверие. Буквальность понимания. А фамилия дяди*, у которого натерпелся Бобик, конечно же, из Бобикиного имени образовалась. Как же иначе ему именоваться?

Меня же поразила собака по имени Тюльпан. И еще бывает собака с золотыми клыками.

А вот новость о волке. Оказывается, волк имеет привычку хватать лошадь за хвост. Лошадь, что ей характерно, – бежит. Волк – кидается. Когда же он видит, что слишком он легкий, чтобы ее удержать, он ест землю – килограмм пятнадцать-двадцать. Наку-

шамшись – опять кидается. После охоты он всю эту землю дочиста вырыгивает.

Что за чудо эти звери!

12 ноября.

Забавно, как слово тянет слово и сюжет срабатывает, как условный рефлекс. Несколько строф с комментариями:

Там, в семье прокурора безупречно отрадной,
Дочь-красотка жила с золотой косой,
С голубыми глазами и по имени Нина, –
Как отец, горделива и красива собой.

(Вероятно, правильнее: «безупречно невинной»: рифма, да и по смыслу экспозиции.)

Было ей восемнадцать, никому не доступна,
Понапрасну ребята увлекались ей,
Не подарит улыбкой, не полюбит, как надо,
И с каким-то презреньем все глядит на людей.

(Вот и нагладелась.)

Но однажды на танцах к ней небыстрой походкой,
И прилично одет, подошел паренек,
Суеверный мальчишка из преступного мира,
Поклонился он ей и увлек на бостон.

(Правильнее, наверное, все-таки: и на танго увлек. Бостон шикарнее и выбил рифму. Прекрасен эпитет «суеверный», не имеющий никакого смысла, кроме декоративного.)

И красавица Нина, та же дочь прокурора,
Отдалась безвозвратно в его полную власть.
С немигающим взглядом и пытливостью вора
Осмотрел он ее, что козырную масть.

(Последние две строки – по высшему классу.)

Сколько было огня, сколько было там ласки,
 Воровская любовь коротка, но сильна.
 Ничего он не хочет, ничего не желает,
 Только тело красотки, только рюмку вина.

Но судьба уркагана изменяется быстро –
 То тюрьма, то свобода, то опять лагеря,
 И однажды во вторник, суеверный мальчишка,
 Он спалил на бану и ее и себя.

Вот за красным столом в отуманенном зале
 Воду пьет прокурор за стаканом стакан,
 А на черной скамье – его доченька Нина
 И какой-то совсем незнакомый жиган.

(В жизни коллизия совершенно невозможная – чтобы прокурор судил свою же дочь. Но художественно достоверная и решающая. На сходной коллизии, кажется, построен финал «Овода» и «Девяноста третьего года» Гюго.)

Расставалась молча, как всегда горделиво,
 Попросил уркаган попрощаться с женой,
 И слились их уста в поцелуе едином,
 Лишь отец-прокурор обливался слезой.

(Ради этой слезы написана вся песня.)

14 ноября.

Участие живописи в древнерусской литературе. Цепкость иконописных ассоциаций. Роль словесного портрета, заимствованного из иконописного подлинника, в передаче точного сходства и живого узнавания.

Житие Авраамия Ростовского (из рукописного сб-ка XVI в. – по Тихомировскому описанию рукописей) содержит потрясающий рассказ – о том, как Авраамий (крестивший ростовчан) безуспешно пытался сокрушить каменного идола, именуемого «много-страстным Велесом», – тот же не подпускал к себе: «не дадеше бо ни близ себе приити окаанныи злым волшебством своим»¹. По

¹ По Фасмеру, кстати, Велес связан со словом «велий» (великий).

совету прохожего старца «из Цесариграда» Авраамий отправляется в Константинополь, дабы «в доме Ивана Богослова» помолиться его образу, что даст ему силу одолеть идола. Но по пути встречает самого Ивана Богослова.

«Блаженный ж Авраамьи наполнися духа свята, взем благословение у старца, нача путем тещи, забы долготу пути и преиде Ишню реку и срете человека страшна, благоговеина образом, плешива, възлыка брадою круглою великою и красна суца зело, имеюца в руце трость. Паде пред нома (!)¹ ему блаженный, поклонися ему. Глагола ему страшнии мужь: «Где, старче, грядеши?» Глагола ему блаженный все по ряду. «Коеа ради вины се грядеши на взыскание Ивана Богослова, – глагола ему страшнии муж, – возвратися, возми мою сию трость, и приступи и ко идолу великому, и збоди его тростью сию в Иванов имя Богослова и будет ти в прах окаанныи». И абие невидим быст. И позна блаженный Ивана Богослова, и страхом и радостью одержим возвратися възпать и проиде ко идолу без възбранения и збоде его тростью во имя Ивана Богослова. И абие идол вес в прах бысть. И на том месте, где же срете Ивана Богослова, постави блаженный церковь во имя Ивана Богослова, иде же суть и до сего дни» (стр. 185).

Отсюда видно, что подлинник, а за ним и икона, фиксировали образ так, как он есть и каким пребывает от века, везде и всегда, представляя набор постоянных признаков, среди которых признак «плешивый» без смущения соседствовал с самым высоким обозначением узнаваемой с первого взгляда Персоны. Явленная икона, по сути, – демонстрация своего присутствия, запечатление места Лицом.

15 ноября.

Когда мы говорим о художественном образе «как живой» («аки жив»), то наше восприятие проектирует мысленно образ не на одну, а сразу на две плоскости – действительности и искусства. Живой – как в жизни (в буквальном смысле этого слова), и живой – как принято изображать живых в искусстве нашего времени. От жизни что-то проскальзывает, но в дополнение и в подкрепление ей подключаются нормативы, властвующие над нашим сознанием (привычки, вкусы, пристрастия, идеалы и просто

¹ Так в печати: неясность.

способность видеть как надо, как требуется). В итоге «аки жив» соответствует в значительной степени устойчивому, мертвому представлению о реальности.

Случай с Авраамием тому подтверждение.

15 ноября.

Филология.

- Почему я должен слушать ученого? Он такой же, как я.
- Характеризируют.
- Работа на открытом объекте.
- Видно, она из барской семьи. Из такой, что и цедить нечего.
- И тебе дадут без звука.
- Москва – столица: туда со всего мира приезжают в шляпах.
- Как ни говори, а все же за счет этого пьешь.
- Борода – клубок змей.
- Киклат (заумь). А что если создать свой язык и жить в нем, как обезьяна?

Но холодный труп не отозвался,
Крепким сном бродяга тихо спал,
Только ветер шевелил лохмотья
Да осенний мелкий дождь стучал.

- В сложившихся обстоятельствах ему не оставалось ничего другого, как быть гениальным.

Но иногда слово повергает в отчаянье. Уж на что кошка отвлеченное существо, так он и ей ласковым голосом норовит сказать гадость: – Иди сюда, проститутка.

Слова его, прилепляясь к предметам, казались язвами, и он заражал ими все, к чему ни прикасался. Назвать вещь значило ее обругать.

Мне жить осталось мало – четырнадцать часов.
Хожу по одиночке, хожу я взад-вперед.

И вот встает из мрака любимая моя,
Вся блузка окровавлена и запах кровяной.

- Скажи мне, детка славная,
Скажи мне, что с тобой?

.....

– Скорей, не жди погони,
Пришла я за тобой!
Там, за стенами, кони
И сумрак голубой.

Это как в балладах Жуковского. Я почему-то вспомнил «Ленору».
16 ноября.

Лошадка! – Егор кричал в комнате, пока я ходил на кухню или в коридор покурить. Но если б ты знала – каким голосом...

Он ведь не думал, что я поблизости, и это было – в пространство – заклинание, полное ясности и доверия.

А лошадке оставалось так мало с вами играть.

Мне нравится в нем обстоятельность (чайник на полу – непорядок) и несклонность к разбазариванию мыслей.

Странно, что я показался ему веселым. Какой же я веселый?*

Проигрыватель вам нужен, только ведь у них звук сухой и металлический, а в нашем была глубина. И нельзя ли такого же типа – в музыке очень важна этакая гулкость.

Еще я люблю что-нибудь делать для тебя, даже письмо писать, и, бывает, по несколько раз на дню присаживаюсь. Все-таки – ближе.

16 ноября.

И ты не думай, что если я слишком иногда улезаю в филологичность, то это мои – вне тебя – какие-то интересы. Я тебе, как Егор, ташу любую травинку и теремлю: посмотри.

16 ноября.

О своего рода иконописности литературного образа гласит и такая сцена в «Сказании о Китеже» (из летописца, себя датирующего XIII в., с рукописи XVIII-го) – в эпизоде, где Псковский князь Георгий Всеволодович приезжает к Михаилу Черниговскому за грамотой – строить церкви и грады по Руси. По окончании встречи ритуал поклонов:

«И пиروвавше многи дни. ... И егда благоверный князь Георгии поеха во свое отечество и град, тогда благоверный князь Михаил с великою честью отпускаше его и провожаше. И егда бысть

оба князи на пути и поклонися друг другу и вда ему благоверный князь Михаил грамоту, благоверный же князь Георгии взя грамоту у благоверного князя Михаила и поклонися ему, тогда и той противу ему» (стр. 181).

Замедленность жестов. Повествователь с наслаждением топчется на месте. Момент вручения грамоты превращается в состояние: состояние вручения. Кажется, фигуры застыли в глубоком взаимном поклоне. С них можно писать икону.

В Новгороде при раскопках X–XI в. слоев обнаружили под углом дома, у входа в сени, череп коня, поставленный на шейное основание, – строительная жертва. Конские черепа закапывали под стены и углы домов и укрепляли на столбах частокола. Помнится, какая-то картинка была на эту тему у Рериха – частокол. И снизу быт и сверху укреплялся и охранялся конем. Дом ставился на коне, как храм – на мощах.

Берестяное любовное письмо XII в. (оборвано): «От Микиты к Ульянице. Пойди за меня. Я хочу тебя, а ты меня. А на то свидетель Игнат...»

Неизвестно, чего тут больше – простота нравов или просто народ недавно выучился писать?

17 ноября.

Меня помиловали и вернули на опилки: некому было грузить, и все разрешилось легко и просто, до смешного, хотя вначале казался сплошной гордиев узел.

Морозы. На опилках стало тяжелее. Но я все равно доволен, потому что справляюсь с обязанностями и никто не понукает. Работаю на пару с дремучим мужиком. Нестор Денисович. Имя и отчество – подходящие. Только медлителен и некулемист, даже больше, чем я. Ну, помаленьку все вывезем.

Хожу в ватных брюках и валенках. Они оказались меньше, чем я думал, и жмут. Ничего, разношу. Пока приспособился носить их пополам с сапогами и даю ногам подживать.

А работаю в тапочках и почти нагишом – пятки, конечно, поджаривает, но так удобнее.

Вообще на середине пути становлюсь приспособленнее к разным терниям. И если слишком устаю от шума, надеваю шапку.

Хорошо, что Егор тоже не любит шума. Это уже закон: чем ниже человек в умственном или образовательном цензе, тем он громче. Даже какая-то тяга производить в воздухе шум. Некоторые, даже рассказывая, не говорят, а кричат.

– Я сижу следственный, а Вася – за сухаря.

– А у него кликуха была – Дантес.

– Значит, чтобы и вам подогрев не шел. А нас – как хотите, хотите грейте, хотите нет, это ваше личное дело...

Жаль только, при нервном и физическом напряжении занятия с книгами не бывают убедительными. Но когда злюсь – бывают. Так что не знаешь, где найдешь, где потеряешь.

18 ноября.

Что же вы делаете, дети?

Не можете болеть. Сейчас же выздоравливайте. Поболели немного, и хватит. Скидывайте температуру. Лежите и скидывайте. Набирайте сил, набирайте сил и вылезайте из кровати. Очень вежливо вам, и прошу, и приказываю, и заставляю – не болеть.

Поправляйтесь, поправляйтесь, ну еще немножечко поправьтесь, вот и еще приложите старания к поправке. Я очень о вас думаю, и хлопочу вокруг, и люблю. Будьте же умницами и молодцами.

Маша, а почему ты одна? Где Лида? Одной при больном Егоре совсем плохо. Очень вас жалко, душа изболелась.

Ко всему еще письма твои идут сейчас двадцать дней и более. Сегодня получил от 27 и 31-го – вот и считай. А мы уже изживаем ноябрь, и трудно думать назад так далеко. Что с вами успело случиться за эти три недели? Выздоровели? Болеете?

Занимаюсь тем, что высчитываю, когда ты могла мне послать бандероль с Пермской скульптурой. Потому что если послала уже после того, как Егорушка заболел, то, может быть, все же вам стало чуточку легче, светлее, и ты послала.

Вот и Домшлак пригодился. Та же книжка одновременно с твоей пришла. И на ней дата: 1 ноября. Может, и ты где-нибудь 1–2-го послала? Польза все-таки есть. Польза всегда бывает косвенной.

Я – держусь. И чувствую себя отлично. Пожалуйста, сообщай мне все ваши беды и несчастья без церемоний. Если бы можно

было взять их на себя!.. Поэтому не бойся меня волновать и пугать. А сама пугайся поменьше. Спокойно, Машечка. Мы как-нибудь постараемся. Я очень за вас стараюсь. И такое умиление и удивление испытываю от вас, перед вами, что даже странно.

Вы у меня золотые и пряничные. И смешные. И как раз такие – тютелька в тютельку, – как я ждал всю жизнь. Только не болейте.

19 ноября.

Машенька моя бедная и ненаглядная, как ты там сейчас, очень страшно не знать почти месяц, потерпи немножко, Егор чуток подрастет – и станет легче, по крайней мере не будет склеиваться клейкопластырем, да и срок скоро пойдет на убыль, и мы вздохнем, а пока береги себя и помни, что на тебе свет стоит в нашей семье, да и вообще ценность и редкость, а жизнь то зажмет, то отпустит, и когда уже совсем, кажется, нету сил, смотришь, отпустила, и приходится вступать в этот ритм и жить, не заносясь высоко, но и не слишком отчаиваясь. Я очень много, кругом про тебя вспоминаю и перебираю в уме, что и как ты умеешь делать и как смотришь и дышишь, и ошутимость твоего присутствия такова, что иногда, чудится, ты можешь соткаться из воздуха под этим напором и предстать передо мной в полной форме. Я очень в тебе нуждаюсь. И эта вторая жизнь в тебе и с тобою накладывается постоянно на ленту повседневности, образы которой в результате повторений и автоматичности всех этих процессов вставания, работы, еды более расплывчаты и нереальны, чем мысли о тебе и с тобою, и получается совершенно обратное солипсическим прихотям правило, когда все в мире гораздо более убедительно, чем я сам, и в неприятие людям, которые думают, что только они существуют, а все прочее им только снится, мне легче допустить и представить, что меня самого нет, а мир с твоей помощью преспокойно стоит на месте. Короче – «потом я только помню, как мелькали фонари».

Еще я очень рад, что у нас был Север и мы могли видеть всю красоту, от которой и сейчас иногда на закате и при восходе над фонарями зажигается небо. А ведь это ты придумала Север.

Целую тебя, и будьте здоровы.

Будьте-будьте-будьте. И хороши собой.

А.

20 ноября 1968.



Читаю книжечку про город Мышкин... – Ю. Герчук, М. Домшлак.
Художественные памятники Верхней Волги.

...про Егорову травму от чайника... – Из моего письма: «У нас авария: Егор упал на чайник. Чайник стоял на полу, а ребенок баловался и вертухался и, поскользнувшись, грохнулся боком о чайников клювик и распорол им ляжечку. Бедная ляжка и ссадилась, и кровоточит уже второй день, а аптека рядом закрыта, и в доме, кроме гаммелиса от почечуев, ничего нет, пришлось сделать повязку гаммелисовую, ребенок вел себя мужественно, хотя пытался отвертеться от йода, уверяя, что «само пройдет».

Я его попрекаю: вот докрутился, говорила тебе, чтобы под ноги смотрел... А он не соглашается: не надо, говорит, чтобы чайник на полу стоял. Наверное, он прав, но нам от этого не легче, и мне за него боязно, вдруг – нарывы или нагноения или еще чего...

Кому ни рассказываю, все спрашивают: а чайник горячий был? Нет, горяю, холодный. Ну, говорят, тогда еще ничего.

Так ведь он был железный и очень твердый...»

...рассказ о Бобике... – Из моего письма: «Егор тебя вспоминает очень редко, но делает это так, что мне иногда кажется, что он гораздо умнее и хитрее, чем мы думаем, и помнит он все-все, но специально хранит в своих тайниках как что-то очень важное и сложное, что не следует разбазаривать в болтовне.

Вот на днях мы с ним были у Собакевичей и Людочка подарила ему большую плюшевую собаку и спросила, как он ее назовет.

А Егор сказал, что Бобиком. Собакевичи ему предлагали и навязывали роскошный реестр звучных собачьих имен, но Егор остался непреклонен, причем без объяснения причин.

Бобик – и все тут!

А потом, уже дома, я его спросила, откуда у него такой «Бобик» взялся, и Егор промурлыкал:

– А помнишь, когда мы жили у папы... Но Бобик все-таки не грыз ножку от стола».

...фамилия дяди... – Из моего письма: «– Стой, Бобик, надо тебя привязать, а то дядя Бабицкий плохо с тобой обращается, а я тебя привяжу к своей ноге, чтобы дядя Бабицкий тебя не тревожил...»

Такие речи я подслушала у Егора, и обращался он с ними к плюшевому Бобику.

Теперь спрашивается, что он имел в виду. И кого? И каким способом

запало ему в память незнакомое имя «Бабицкий», и почему именно его, а не какое иное пустил он в свой игрушечный оборот.

Для справки, если ты не знаешь: Бабицкого судили вместе с Ларкой, и, конечно, его имя несколько раз поминалось в нашем доме (читали газету и т.д.), но, несомненно, реже, чем всякие прочие».

Какой же я веселый? – Речь идет о портрете Синявского работы художника Александра Окуня, который когда-то учился у А.С. в Школе-студии МХАТ. Из моего письма: «Еще Егорыч сегодня разглядел твой портрет (такой мрачный, пастельный – помнишь его?) и спросил: – Кто это?»

А я говорю, что неужели не узнаешь, ведь это наш папа. Ребенок же засопровтивлялся:

– Нет, – говорит, – наш папа добрый, рыжий и веселый, а этот черный и сердитый...

Но я объяснила, что у папы было просто плохое настроение, а от этого взрослые люди всегда чернеют».



ПИСЬМО ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТОЕ

Поздравляю вас, мои деточки, Машенька и Егорушка, с днями рождений, всех вместе и подряд и каждого в отдельности и перекрестно друг с дружкой!

А почему я это делаю сегодня и так рано?

А потому, чтобы это письмо, как вы его получите и откроете, так бы сразу и начиналось – с поздравлений, которые как раз к тому времени и подспеют к вам, если не точно в срок, то около того. А как же иначе – иначе мне вас не поздравить никак, а вот заранее, с расстояния, к вам устремляясь всем телом, очень даже можно.

Но так как все это еще очень далеко, то, наверное, я буду вас поздравлять не в один присест, а в несколько, по мере приближения к вашим дням. Но все равно главное поздравление вот тут.

Еще почему – потому, что очень я сейчас полон вами, просто бьет через край и нет сил терпеть, получив вчера четыре письма, по сотый номер включительно, без одного, и вот сразу откликаюсь на эти радости, что вы мне доставили, из которых, во-первых, узнал, что вы немножко высовываетесь из болезней на белый свет, а во-вторых, по мотивам очень мне родные и нежные, дающие массу пищи уму и сердцу.

Я действительно растворился от заглавной прибаутки Егора*, звучащей как формула, точнее которой трудно придумать (не удержусь от стилистической поправки: в данном случае лучше не «про», а «о») сказку, в которой ты главное лицо как наш музейщик и мать, и в связи с этим домостроительным качеством я тебя, поздравляя, особенно расцеловываю.

Да, иные формулы запали параграфами, и всюду к ним применена ты как кровь и воздух, будь то ответработа*, тобой придуманная, или даже чужие, вроде симбиоза рака с актинией* (это, конечно, далеко, но я все вспоминаю удачные реплики на сходный предмет), и лучшее – Егорово слово на сказочную тему.

Только эта сказка вырастает, вероятно, не прямо, а криво – из той пропасти бездомности, что тебя и меня посетила с детства (тут и город Витебск с ботаническим садом, и мамины окна с абажуром и вечным припевом обмена, и нынешняя «лошадка» в простуженном коридоре) и, возможно, не кончится никогда, как «мы с тобой на кухне посидим», как главная тоска, море тоски, но в котором есть остров, необитаемый Робинзон Крузо, Адам с Евой, углый музей среди волн, и потому ничего от благополучия обывателя, хотя я лично против него ничего не имею и совсем не склонен употреблять это слово обязательно в пренебрежительном смысле, свойственном романтизму, у которого гораздо больше есть над чем посмеяться.

К твоей музейной страничке* (как кстати пришлась) отношусь очень. Сюда бы образ кунсткамеры. И где-то в преамбуле можно вспомнить «Восковую персону»*, где наверное есть сладкие фразы из куншткамерного описания. И ты права с «воображаемым музеем» Мальро, только учти, что он очень грустен и скептичен: музейные экспонаты совсем не такие, какими они были когда-то в виде живых произведений искусства (поэтому «воображаемый»). И вот чтобы этого не случилось, – в широком преамбульном смысле стоило бы внести мотив живого источника, центра культуры, лежащего за ее пределами, как монастырь вне города и пещера отшельника не от мира сего и как тот же Кий, и недоступного окончательному, исчерпывающему определению, таинственного, сообщающего дарам культуры высшую значимость, без которой они превратятся в останки цивилизации, в высохшую мумию в банке (без воскресения, без той восточной молитвы Эхнатона, что тебе цитировал о тебе) – в окаменелость, распространную, говорят, по Европе и грозящую самую жизнь превратить в музей, быть может и великолепный, но мертвый, без храма, одни гробы, с привкусом снобизма, мерзкого естества и с элегическими вздохами на мировых могильниках, вышедших из игры и только вот в банке сохраняемых для престижа и прибыль-

ного туризма. Так вот, чтобы музей без музейных крыс, берущихся из этой самой засушливости и заспиртованных близнецов, как старые ведьмы берутся из милых девушек, то есть в самой природе музея, значит, есть что-то уродливое, обращающее диво дивное в научный инвентарь, – чтобы этого не было, надо музейные памятники омыwać Дианой или Ульяной, и пускать по ветру Пуштозерском (со временем уродится), и гноить в яме (не сдохнет).

Но ты чувствуешь, как за всем этим тебя любят? – должна бы чувствовать.

23 ноября.

Еще вам спасибо, детики, за № 5 Пермской скульптуры*. И в самом деле есть некоторое внешнее сходство. Опять Егор отличился, а ты поймала – умнички.

А я тут прочел книжицу об археологических новгородских раскопках*, подтвердив научными сведениями давнее ощущение от поселений в Древней Руси: бревнистость.

...Еще появилось чувство, что эта бездна дерева соотносится с лицом и характером русского средневековья по цвету и на ощупь – сочетание угловатости и круглоты, вещественность очень телесная, теплая, но не слишком долговечная, расслаивающаяся, выгорающая пожарами дочи́ста, до пустого места, и вновь растущая, как трава, по сравнению с камнем европейского средневековья наша деревянная древность ближе к живому, органичнее и ненадежнее, мало уцелела и не очень заботилась о непрерывности накопления, пробелы, невыявленность замысла, всякий раз заново, хоть и на старом месте, расплывчатость контуров, лишь кое-где в океане бревна вдвинуты каменными островами соборы, совсем как Иван Грозный или Нил Сорский, посреди невнятных песен, лицо довольно неопределенное, готовое принять самую случайную форму, топорное и нежное вместе, мечтательное и тупое, лишённое четкости, сравним какие-нибудь кубачи, чекан по металлу и резкая очерченность гор и горцев, вплоть до ястребиного носа, острых усов и бровей, и деревянный пейзаж, любимая еда – каша, которую ничем не испортишь, а все воспримет, усвоит, финны, греки, татары, французский язык, Петербург, попадают в кашу и растворяются, она не боится потеряться, не гонится за чистотой рода, переваривая любое добро, и нос картошкой, и

скулы косяком, ничего, неплохо, мыслитель, Сократ, мудрец под простеца, и даже в красоте древесная стертость контуров, возьмем твое личико, струящееся, дымчатое, растекающееся под взглядом, как пейзаж, сероватое дерево на фоне жухлого неба, воздушность линий, в древесине есть и тяжесть, и легкость, движение, непостоянство, не то что камень, и это городское гнездо, слепленное из бревен с навозом, который подгребали и устлали двory, чтобы поменьше грязи, как матерняя постель, укроешься с головкой, мягко, тепло на той мостовой.

25 ноября.

А теперь, как полагается в день рождения, надо спеть что-нибудь лирическое:

Где ты, юность моя, где пора золотая?
 Пусто в сердце, виски серебрят седина,
 Да в глазах огонек лишь горит, догорая,
 Да в руке все по-прежнему кубок вина.

Разве горе зальешь? разве юность вернется?
 Не вернуть уж того, что потеряно мной,
 Что любила когда-то, и та отвернется,
 Не узнавши меня под моей сединой.

Или скажет шутя: – Вы ошиблись, простите! –
 И с улыбкой лукавой пройдет стороной.
 Но ошибся не я, вы получше взгляните –
 То ошиблась судьба, пошутив надо мной.

Пусть рыдает баян, мою душу терзая,
 Не вернуть уж того, пролетели года,
 И дрожащей рукой я бокал поднимаю:
 Пью за тех, чьи виски серебрят седина!

Больше всего мне нравится то, как он держит бокал по-прежнему, как на картинке, не один, должно быть, десяток лет держит, и с этого все начинается и все кончается – железная поза.

27 ноября.

Все идет вверх ногами и задом наперед, и в приближение декабря потекло так, что надо ходить в резиновых сапогах, а от тебя 98-е письмо пришло после сотни, много дней спустя, театральные словечки замедлили, вроде учебника акушерства, беда этих выдумок, как стоять на голове, вероятно, в отсутствии стиля, заменяемого смелыми жестами на тему своей неглижированности, играется не пьеса, не Брехт, не Галилей, а собственная рожа в модерняцком трюмо, и действие колеблется между капустником и стриптизом. По погоде конец октября, и, уже порядком наскучив, зима в этом году еще не начиналась – обидно.

Работаю на опилках, нормально, однако узнай, какое открытие сделал – на третий день, примерно, опилок заныли зубы и все те явления, исчезающие одно время (пока был на стульях), дав понять, что причина сидит где-то в носоглотке или какой-то еще там полости и вызывается не «Шипкой», а пылью, – представляешь, как я огорчился, едва вернувшись, после стольких мытарств, ходить проситься, да и куда, и кто поверит, и чем лечить эту тонкость, которую я и сам с таким трудом распознал, чисто эмпирическим методом, пройдя все трубы и рвя зубы подряд, ни один врач не догадается, но вдруг меня озарило, и я вспомнил, что в этой профессии применяется респиратор, которым, конечно, практически никто не пользуется, потому что в нем тяжело дышать, и вот попробовал в маске, прекрасно, на второй день боли пропали, и я теперь, как лезу в камеру, так натягиваю этот скафандр, в нем хорошо пахнет детством, когда играл в противогаз, был собственный в доме, эпоха, в нем, естественно, больше, чем надо, перегружается сердце, да это мелочь и не на длительные часы, а максимум на 40 минут, терпимо, а разгружаю без маски, – так вот, я просто счастлив от этой находки, подумай – год, целый год мучился, как последний грешник, и все легко разрешилось одним взмахом.

Кашу опять получаю и заметно поправился, смешно, когда зависишь от таких мизеров, но это и хорошо – понимать легчайшую уязвимость, ткни пальцем – и нет тебя, все держится на соплях, а как живуч, поди ж ты.

29 ноября.

Археологи в Новгороде, судя по всему, больше всего занимались изучением мусора, так что если бы наши древние жители не

выкидывали бы плошку в помойку и она бы не выросла постепенно в толстый культурный слой, а попала бы на стол к другому хозяину, то в конце концов бесследно б сгорела, и мы бы ничего не узнали. И вот лишь по случайным отбросам и потерям – монетка закатилась под пол – мы судим и рядим о городе на десять веков назад. Либо копаться в мусоре, либо в могилах – археологу должно помнить эту дилемму своей профессии и охлаждать ею слегка романтический пыл.

Все же с помощью мусора выяснились интересные вещи: супы в Новгороде, судя по плоским и коротким ложкам, не ели, а главным образом – каши, и даже в X в. рассаживали цветы – ирисы (забыл, какие они), и были уже тогда туески и вишневые сады. А карманов в древности не было, и ездили зимой и летом на снях (на снях путешествовала княгиня Ольга из Киева в Новгород – вот хорошо-то).

И есть загадка, которую до сих пор никто не может разгадать: вечерая площадь была сплошь и очень толсто вымощена коровьими челюстями. Все это меня очень привлекает.

Из языковых раскопов. В письме: – Мама с дядей Сашей капитально поругались.

- Немного о себе.
 - Как придет от вас письмо, мама всегда плачет.
 - Дядя Костя бил ее, что ничего видеть не стала.
 - Повсеминутно.
 - Унистожены.
 - Приведите сейчас на ветеринарный пункт, говорит, и глаз будет спасен.
 - Она визжит как поросенок... (О машине.)
 - То тут же каждый насадил ужасный сад.
 - Один хрен, удовольствия я на этом свете не получу.
 - Тут он начал думать, и волос у него полез.
 - За что сидите, мальчик? (Способ знакомства.)
- Подошел к осине: – Дрожишь? С тех пор всё? Ну, дрожи, дрожи.
- Меня интересуют только женщины и автомашины.

Чтобы ты имела в виду, какие хорошие книги вышли в последнее время и меня в принципе интересуют:

И.Р.Лавреуцкий. Боги в тропиках. Религиозные культы Антильских островов. М., 1967.

Е.М.Мелетинский. Происхождение эпоса. Ранние формы и архаические памятники. М., 1963.

А.М.Золотарев. Родовой строй и первобытная мифология. М., 1964.

А.Д.Авдеев. Происхождение театра. Элементы театра в первобытном строе. Л.; М., 1959.

Ю.Перепелкин. Переворот Амен-Хотия IV. М., 1967.

С.С.Черников. Загадка золотого кургана. М., 1967. (О древнесибирском искусстве, которое очень интересно, потому что сродни скифам.)

Б.Б.Пиотровский. Ванское царство (Урарту). Л., 1959.

Дж. Томсон. Исследования по истории древнегреческого общества. Доисторический Эгейский мир. М., 1958.

Дж. Томсон. Первые философы. Исследования по истории древнегреческого общества. М., 1959.

Б.А.Рыбаков. Древняя Русь. Сказания, былины, летописи. М., 1963.

М.И. Артамонов. Сокровища скифских курганов. Л., 1966.

А из старых книг: *Л.Леви-Брюль.* Первобытное мышление. М., 1930.

Он же. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1937.

А еще мое воображение волнует нечитаный «Мельмот-скиталец» Матюрена (!).

А Бенуа покудова погоди присылать: я жду, что сюда пришлют эту книгу, и тогда я воспользуюсь. А если не пришлют – конечно, надо, для сладких мыслей и ассоциаций. Ну, я свистну.

30 ноября.

Ну вот ты уже приехала и уехала, подарив и осчастливив, ослепительная, как всегда, и даже еще ослепительнее в своей новой шкурке. Этот герольдов образ мне пришелся по вкусу, и удивительно, живя в ватнике, худым стариком, сознавать, что ты у меня такая молоденькая и хорошенькая. Но так и следует быть. Потому что хотя бы часть из нас двоих должна прилично выглядеть. И, глядя на тебя, я за нас радуюсь.

И приятно, когда жена умеет делать красивые вещи*. Это я про большое кольцо. Очень аристократично – изысканно и строго, редкое сочетание, говоря откровенно, я не ждал от тебя таких быстрых успехов.

Еще друг Сережа* говаривал, что пусть от него на свете останется ювелирная ложечка. Эстет.

На этот раз ты показалась мне, Машечка, более молодой и спокойной. А может, я сам не так волновался, потому что не успел, и ты свалилась на голову как снег и чудное виденье. Про музеи тоже угрела сердце. И Егорычем. А придя домой вечером, нашел от тебя 3-е письмо про детский бал, замечательно интересно и живописно рассказанный, я так не умею, а все дело в этих подробностях и в постепенности повествования, в телефонную трубку как, и коробочку, что не жалко. Егор узнаваем совершенно и в нашем качестве, и мне даже кажется, что я под его влиянием тоже начинаю немного заикаться.

Короче, твой приезд очень меня ублажил, а это мне надо сейчас более, чем когда: начинается самая тяжкая и трудоемкая полоса работы, когда рельсы смерзаются и заносятся снегом и вагонку не сдвинешь. Вокруг каждой целая каша из тракторов, рычагов, дыма и крика, и после каждой вздох недоверчивого облегчения: уф, разгрузились.

Предстоит так сражаться месяца четыре, пока не наступит весна, и вот на это время нужно мне подтянуть живот, и подобрать силенки, и проявить ловкость, тем более что напарник рохля и увалень и я вроде как за начальника и даже покрикиваю иногда.

И я рад, что на эту зиму заручился твоей любовью.

А что Егор в телефон растерялся*, я хорошо понимаю и помню, как сам в первый раз по поручению больного отца позвонил и от внезапности ответа и нахлынувшего смущения не мог произнести ни слова. А был гораздо старше.

А вы мои ручные.

И ты – красавица.

4 декабря.

Вот обещанная цитата, касающаяся балагана, но может подойти и по музейному делу. *А.И.Левитов*. «Типы и сцены сельской ярмарки» (1856–1860 гг.):

«Немного подальше другая толпа, еще более многолюдная, ждала с нетерпением очереди насладиться разного рода зрелищами, разыгрывавшимися в небольшой коробке у отставного старого ундера. Внимание народа было совершенно поглощено словами седого усачища, который говорил смотрящим в его панораму:

– Вот, вы извольте, господа, посмотреть, как эфта, значит, была, сударри вы мои, баталья при тетке Наталье и как, стало быть, турки валяются, как чурки, а наши без голов стоят да табаччо-о-к понюхивают. А эфта, судырри вы мои, песня в лицах:

Лет пятнадцати, не больше-с,
Вышла Катя погулять-с.

... А эфто, госпо-о-да, горрод Китай, в беларабской земле на поднебесной выси стоит. А эфто, примерр-ро-ом, девка Винерка, в старину она богиней бывала, а теперича, значит, она на Спаских воротах на одной ножке стоит, а другую по ветру повертывается; а вташил ее на ворота, стало быть, махину такую, Брюс, колдунище заморский. А эфта, я вам доложус-с, французский царь Наполеонт, тот самый, которого батюшка наш Александр Благословенный, блаженной памяти в бозе почивающий, сослал на остров Еленцию за худую поведенцию...

Толпа ревела от удовольствия, и много было драк за окошечки незамысловатой панорамы».

(Цит. по книге: Русское народное поэтическое творчество. Хрестоматия. М., 1959, стр. 61–62.)

Конечно, нельзя прямо перенести эти удовольствия, выработанные в школе лубка и балагана, на современный музей. Но последнему, помимо научно-исследовательской и собирательно-охранительной деятельности, в какой-то мере приходится выполнять задачи обучения и развлечения, соответствуя стародавней потребности народонаселения – в зрелищах. В этом смысле музей, смыкаясь с театром и кинематографом, служит своего рода собранием поучительных и интересных картинок на исторические, мифологические, бытовые темы (где мы можем теперь увидеть Венеру? – только в музее), и реплики старого ундера отдаленно перекликаются с пояснением экскурсовода. Но скорее следует видеть не в музее развитие старинных народных обычаев, а

в тех давнишних панорамах всякого рода раритетов и уникамов (включая «Свет, зримый в лицах» и волшебный фонарь, превосходно описанный Державиным в одноименном стихотворении, – посмотри) – смутный прообраз музея, точнее говоря – как обходились люди, когда не было университетской науки и зверинец и бородастую даму приходилось возить по провинции.

Возможно, эта цитата вообще сюда не подходит, а куда-нибудь к проблеме лубка и сюжетостроения в живописи, смыкаясь с мотивом реализма и пантомимы.

В музее еще приятно то обстоятельство, что, бегая по снежной Москве, помнишь (и даже если не помнишь, то как-то бессознательно знаешь), что где-нибудь на Волхонке есть Итальянский дворик, и можно там посидеть в сени Давида или отправиться к чучелам в компанию птиц и зверей в Зоологическом собрании, и вот это обилие памятников, эпох и стран, собранных в одном городе и тебя поджидающих, делает его очень объемным и соблазнительным, как мысль обо всех книгах, покоящихся в книгохранилище, раздвигает границы видимого пространства и сообщает заснеженной улице великую глубину.

К сказанному прежде, – музей, по-гречески *muséion*, означает «храм муз», только все же в настоящее время музы там не живут, а хранится их мед и воск, и поэтому, упиваясь музеями как складами культуры, и вдохновляясь ими, и возвращаясь к ним снова и снова, нужно уйти от них, и только тогда, может быть, музы, где не ждешь, посетят...

У тебя мне еще понравились романские пуговицы, больше тех королевских, и это успел сказать, но не успел, не стоит ли попробовать восстановить традицию в твоих прикладных занятиях и сделать русскую пуговицу – несколько образцов? Как у Дюка Степановича*:

Да и в пуговках были левы-звери,
А в петельках были люты змеи.
Накладывал он шляпу семигранчату,
Пошел-то Дюк во Божью церковь.
Зарычали у Дюка тут левы-звери,
Засвистали у Дюка тут люты змеи,
Да все тут в Киеве заслушались...

Эти пуговичные левы есть и в Юрьеве Польском, и на Димитровском соборе во Владимире, – очень смешные.

Еще я тебя люблю за производственную тематику, что можно говорить с тобой об искусстве и о любви совместно, и получается если не одно и то же, то очень рядом.

А по зимним тяготам ты за меня не беспокойся. Хорошо и приятно уже то, что начиная с декабря (и твое свидание было доброй вехой) мы уже вступили в зиму и идем по ней, идем по ней.

Целую и обнимаю вас, мои родненькие. Будьте здоровы и счастливы, умны и красивы.

А.

6 декабря 1968 г.

Прикладываю вам в подарок две картинки.



...растворился от заглавной прибаутки Егора... – Из моего письма: «Выпросив у меня стопку всяких журналов, Егор наткнулся на Фантастический реализм и, рассматривая картинки (причем не льва, а всякие прочие), радостно завопил:

– Мамочка! Смотри – вот сказка про наш дом!

...За «Сказку про наш дом» я готова совершенно раствориться. А ты? Все-таки Егор – Ангел и *наш* дитеныш».

«Фантастической реализм» – наша с А.С. статья в «Декоративном искусстве» с несколькими фотографиями разных картинок из нашего дома.

...ответработа... симбиоза рака с актинией... – Моя формула про А.С. Егору: «Папа далеко-далеко, в маленьком домике на ответственной работе». Формула Сережи Чудакова (был в Москве такой человек) про нашу семью: «Союз рака-отшельника с актинией».

К твоей музейной страничке... – В журнале «Декоративное искусство» мне предложили вести рубрику про музейные хранилища. Из моего письма: «А еще много думаю про музеи, но еще ничего не придумала. Помнишь, ты мне когда-то рассказывал про музей медоборудования (???) в Риге? И что такое Музей в принципе? Зачем он нужен и кому? И ведь это должно быть как приключенческий роман с продолжением. И можно перепутать обзор какого-нибудь провинциального собрания (по-

мнишь музей в Чухломе?) с пассажом о какой-нибудь серье или прялке. Помнишь, как Мальро увеличивает в 100 раз крохотную античную монету и что из этого получается?»

«**Восковая персона**» – рассказ Ю.Тынянова.

...№ 5 **Пермской скульптуры**... – «Листал это Егор книжку про Пермскую деревянную скульптуру и вдруг зовет меня:

– Мама, – говорит, – гляди, а вот наш папа!

И показывает в этой книжке на рыжую картинку номер пять! Что оставалось делать маме? Купить еще одну такую книжку и послать тебе. Вот тебе пассаж на тему, как вспоминает тебя Егор и каким ты ему показался».

...прочел книжицу об археологических новгородских раскопках... – Б.А.Колчин. Новгородские древности: Деревянные изделия. М.: Наука, 1968.

...умеет делать красивые вещи. – С лета 1968 года я начала работать без соавтора – Петрова и, естественно, посылала А.С. фотографии, а уж для свидания украшалась как елка.

...друг Сережа... – Сергей Хмельницкий. См. о нем примечание к письму 56.

...Егор в телефон растерялся... – «Позавчера днем раздался телефонный звонок и незнакомый голос заявил:

– Позовите к телефону Егорушку.

Я опешила:

– Какого Егорушку?

– Егорушку Синявского.

– Егорушку, конечно, позвать можно, только кто его спрашивает?

– Петя.

– Какой Петя?

– Реформатский. Ну, Поспелов.

Пришлось позвать Егора. Бедный ребеночек схватил трубку двумя лапами, прижал к уху, не очень точно представляя, из какого места надо слушать и вообще – что с ней делать, и, блаженно улыбаясь, вслушивался в звуки, совершенно не соображая, что можно что-то говорить в ответ на Петькины слова. Пришлось трубку у крокодила отобрать, и тут выяснилось, что 18 ноября Петьке исполняется 6 лет и Егора приглашают на бал.

Что тут было!?! Что было...»

Дюк Степанович – приезжий из-за моря богатырь киевского былинного цикла.

ПИСЬМО ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЕ

Письма от тебя, действительно, стали в редкость. Если учесть, что, помимо свиданной паузы, № 4 и № 7 не пришли, – то совсем. Хорошо, из № 8 узнал, что доехала. А дальше как? И со мной ничего не случается, чтобы писать, и вот досидел до какого числа, не берясь за бумагу.

Телеграмму получил к именинам. И книжечку Фроста* – за книжечку поблагодари, а телеграмма не от старых знакомых.

Идет снег, и я впадаю в ужасное противоречие: ты знаешь, как я люблю снег (– а меня? – и тебя! – а кого больше? – тебя больше, но снег – тоже), и вот как человек я ему ужасно радуюсь, а как мыслитель огорчаюсь: засыпет рельсы, и будет трудно возить.

Хорошо, что ты успела побывать на свидании. Их временно отменили в связи с карантином гриппа. Меня грипп не трогает. Нам лук поступил в ларек, да еще даром дают к ужину. Очень полезно и сытно. Кроме того, чефиристов, говорят, грипп не берет. Я думаю, это верно.

А вы тоже берегитесь этого гриппа, и кушайте лук, и нюхайте профилактическую сыворотку, – она тоже хорошо помогает.

А то грипп, писали в журнале, какой-то азиатский. Странно, что эпидемии приходят непременно из Азии. И кочевников там больше всех, и всякие орды перемещались оттуда и прошли по всему миру. Азия благоприятна для ветров и вихрей. И материк у нее самый большой и сонмы, и тьмы, и тьмы, – есть где разгуляться.

13 декабря.

Музей граничит с ботаническим садом, библиотекой и зоопарком.

В Англии при Генрихе VI была учреждена особая должность «хранителя львов», на которую назначались лица из числа придворных.

А во Франции в 1793 г. пять уцелевших зверей из Версаля перевели в «Королевский сад», основанный еще Людовиком XIII в ботанических по преимуществу целях, и тот был переименован в «Музей естественной истории». Это показывает, как близок музей к зоопарку.

Зимний восход: внизу лиловая лента, выше зеленая с желтым, потом уже красные и багровые полосы, вплоть до лилового опять перехода в фиолетовые облачка. Пейзаж должен быть таким.

Зимний рассвет в постели, мы еще спим, но я проснулся и думаю о Робинзоне Крузо, и не успел дойти до Пятницы, как начала обозначаться вся мебель в доме и окно уже сулило такой большой и спокойный снежный день.

Сценарий из сна, достигаемый расположением фраз. Похороны отца. Гроб. Попрощавшись, уходим. В автобусе натываемся: он самый, живой. Не знаю, что и подумать. Едва решил заговорить, смотрю – под нашим автобусом – высунувшись из окна – под колесами – клубящиеся, как дым, облака.

Второй сценарий из сна: женщины подошли, выбирают мужей. Гуляющую отогнал подпоручик:

– А ты со всеми шлялась, какой тебе муж!

Ситуация как на базаре. Но скромно и с важностью в лицах, никаких смешочков и шуточек, серьезно: выбирают в мужья. Колорит, если угодно, Киевской Руси. Ожидание.

– Нет, не может человек окончательно помереть. А вдруг он еще понадобится, пригодится? Тогда где его взять?

– Человек только и делает, что изживает себя, а думает – дотяну, заживу.

– Общество – это интересная, жизнерадостная среда.

– Амунитет.

– Судьиха.

– Бултышка.

– Тут не зависит от головы.

– Голодный, как Бобик.

- Кто жрет, а кто спит – у каждого своя способность.
 - Командировочка не доходя реки Индигирка.
 - А в магазине что хочешь – только живой воды нет. Лишь бы твои деньги были.
 - На мне хаки-брюки, хаки-бушлат, хаки-шапка.
 - Двое детей у нее. Одного он состругал, второго прижила.
 - В нашей теплой компании каждый остался жив чисто случайно и помнил потом об этом и рассказывал об этом всю жизнь.
- 14 декабря.

А дни тем временем текут к Новому году, и пора вспомнить елку. Правда, сначала к тому, что рассказывал, несколько поправок. Главное, в последней елке* следует выкинуть белку, сообщающую интонации излишнюю развязность. Тогда абзац закруглится на тишайшей ухмылке ежа. После чего: стихия игры и юмора...

Там же, раньше – вместо «подле» (прыгая подле елки, как какие-нибудь шаманы) лучше «возле».

В елке III Дракона лучше с большой буквы.

Там же, в начале исправить согласование: вместо «символа вечной жизни, быть может заодно послужившего» – надо: «символа вечной жизни, быть может заодно послужившем».

В елке II напомним: *аранжировке*.

Много этих мелочей и раньше было, и ты не запутайся и не соскучайся.

Теперь по существу.

В елочной бутафории просвечивает духовность вещей. Возможно, тому способствует не знающая стыда и расчета, немислимая в другие часы любовь к прекрасному мусору, к ничтожным стекляшкам и фантикам, очищенным от земных интересов до самоценного блеска. Брызжащая каскадом огня, неистовствующая в искрах пустышка мнится уже не физическим, а почти трансцендентным¹ телом. Эстетика ее примитивна, но проникнута бескорыстием, кладущим на житейскую сцену сверкающую печать определенности. В ее лучах суета стекается к созерцанию и стандартная обстановка готова сойти за фантом, вызванный к жизни одним поворотом калейдоскопа.

По дому шастает рука колдуна. Комната, как в присутствии

¹ Не путать с – трансцендентальным.

знатного иностранца¹, тревожно одергивается и прицеливается к представлению. В вещах проступает форма, лицо; не теряя знакомого образа, они выглядят пронзительнее и эксцентричнее; они дичают. Прикованные к запечным мечтам, вещи уходят в себя и фетишистски помалкивают. Их природу и психологию в этот необыкновенный момент достаточно близко передаст (не спутать с – передает) метафора загадок и заговоров. «В брюхе – баня, в носу – решето, на голове – пупок, всего одна рука, и та на спине» [Чайник]². Обыденные предметы – чайник, стакан, пепельница, вилка, тарелка – затаиваются в жажде попасть в компанию факиров и фокусников – к вертящимся столикам, летающим блюдечкам (автоматика, телемеханика)³. Им тоже хочется, тряхнув стариною, бросить служебные тяготы и за нервическим кивком Капельмейстера⁴ взлететь под потолок. (А на улице в это время, как в опере «Евгений Онегин», идет снег.)

Не будучи искусством, елка стирает различие между сказкой и явью и растягивает границы художественного до края существования. Подученный ею быт грозит превратиться в цирк, повсюду внося удивительный вкус игры и бессмыслицы⁵. Не потому ли жизнь в обществе елки становится отдаленнее, призрачнее и прозрачнее, с тем чтобы магнетизировать нас и повергать в изумление сочиненными из чудес⁶ комбинациями, переселяя в страну вечного цветущего юмора? И не учит ли елка попутно, что юмор – это любовь, просветляющая ум и фантазию? А любовь не открывает ли нам в каждом человеке дитя и, окидывая взглядом действительность⁷, не видит ли в ней только елку, только искрящийся снегом покров, увешанный игрушечными домами и городами?

Словом, под ее арабеской мы пускаемся в путешествие и нани-

¹ Худший вариант – гостя.

² Перевернутый чайник можно в сноску, но лучше так.

³ В отличие от последующих скобок, очень важных, эти – с автоматикой – не обязательны, и фраза может кончаться на – блюдечкам.

⁴ Капельмейстер, как и Дракон, с большой буквы.

⁵ Худший вариант: игры и интриги.

⁶ Равноценный вариант: сочиненными из чепухи комбинациями.

⁷ Худший вариант: вселенную.

зываем на нитку все золотые миры, какие знаем. А она дает им приют и манит дальше и больше, суля новые рассказы.

В следующий раз я их доскажу – под Новый год, если он мне поможет.

Пришли, пожалуйста, указ Петра I о праздновании елки, – может пригодиться, а я заканчиваю и не хочу возвращаться.

Все это время не имею от тебя писем, и беспокоюсь, и ною мысленно все это время. Держусь за елку, за соломинку, но сколько можно продержаться на такой ерунде?

Писать абсолютно не о чем, я какой-то весь выпотрошенный. Неужели – вас свалил грипп?

17 декабря.

В житии Петра-митрополита (по рукописному сборнику XVI века – из Тихомировского собрания), составленном митрополитом Киприаном «елико бог даст и елико от сказителей слышах», – представлен (довольно традиционный) образ иконописца.

Став пресвитером, Петр «...в желание приходит учению иконному, еже и вьскоре навыче повелением наставника и сему убо делу прилежащ и образ Спасов пиша и того Всенепорочныя матери еще и святых вьображения и лица и от сюду ум всяк и смысл от земных отводя весь обожен бываше умом и усвоевашеся к воображению о нех и болшее рачение к добродетельному житию прилагаше и к слезам обращааша, обычай бо есть во многих сей, яко, егда любимаго лице помянет, абие от любве к слезам обьрашася, сиче и с божественный святитель творяше от сих шаровых образов к первообразным ум възвожаеше, и убо преподобный отец наш и божий человек без лености иконы делаше. Наставни же его сих приемля раздаваше ова братиаи, ова же неким христолюбивым приходящим в монастырь благословения ради», стр. 190.

Иконописное дело приравнивается к молитве, к созерцанию первообразов, имеющему нравственно-воспитательное значение для самого мастера, в первую очередь. Творчество складывается из благой роли первообразов, повеления наставника и собственного умения, которое не слишком выделяется из других занятий монашеского обихода.

В том же издании (М.Н.Тихомиров. Описание Тихомировско-

го собрания рукописей. М., 1968) к проблеме древнерусского иконописания – стихира Литии Владимирской Б. М., 26 августа:

«Первіе написашася твоего образа иконе, евангельских таин благовестником, и к тебе царица принесене да усвоиши ту и сильну соделаеши спасти чтущих тя. И порадовася, яко сын милостива спасению нашему содетельница, яко уста и глас иконе бывши. Яко же и Бога внегда зачинаючи во чреве, песнь воспела еси: се от ныне блажат мя вси роди; и на ту зрящи, глаголя в купе и со властью: с сим образом благодать моя и сила. И мы во истину веруем, яко рекла еси. Госпоже, сим образом с вами есмь...»

18 декабря.

Так я и думал, что ты заболела, и вот – № 9. Только учти, что у тебя самый настоящий грипп, а что температура скачет, так это правильно, и погода прыгает то в жар, то в холод, с ума сошла, природу лихорадит, и вообще в этом новом гриппе масса коварства. Главное, ты постарайся раньше времени не выбегать, чтобы не получить осложнения – всерьез и надолго.

Егор – мое утешение, что маму не трогает, и сидит тихо, и к одеванию сам решил приучаться. Вся эта солидность и хозяйственность в нем мне по душе. Бог даст, будем жить все вместе, он станет мне хорошим помощником в доме по части аккуратности. И вдвоем мы наведем ужасный порядок и, если ты заболеешь, будем за тобою ухаживать со всех сторон.

У нас полнейшая гололедица и, судя по радио, много теплее, чем у вас, идет настоящий дождь и все тает, и я опять томлюсь противоречиями, потому что эта гнусность в погоде на руку моим вагонкам и они меньше бурятся. Вот и не знаешь, к чему стремиться.

Хорошо бы все-таки к Новому году слегка подмерзло. В валенках, даже с калошами, сейчас не поскачешь, а чиненые сапоги все равно не выдерживают, но это ничего, потому что мне недавно достались по наследству еще одни, почти что новые, и, как мои развалятся, я в них перейду.

(Человек любит свои сапоги: сапоги – это реальность.)

Еще мне достались картинки из нескольких старых «Курьеров»*, приятно иногда посмотреть на какого-нибудь Гогена.

Жаль, негде их держать, кроме чемодана, – чтобы на них любоваться.

А еще мне прислали краткую историю искусства к именинам, какой-то Дмитриевой, текст, кажется, популярный, но картинки хорошие и с первобытных до XVI-го века.

Скучаю по картинкам. А в Москву, слышно, опять скоро Лувр привезут.

Тебя все время прижимаю к сердцу и уговариваю не болеть. Поправляйся, Машенька.

С новым счастьем тебя целую.

А.

20 декабря 1968.

Нельзя ли попытаться достать гамма-глобулин и впрыснуть в Егора на зиму, чтобы крепче держался?

Было бы несправедливо оставлять это письмо таким мрачным и не порадовать вас, мои болезные, на Новый год, Рождество и елку. Вот я и решил, задержавшись на пару дней, которые все равно непочтовые, преподнести вам елочку в полном виде и, поднапрягшись, завершил все, что я о ней и о вас думаю. Получайте хвостик.

В елке живет и смеется неисчерпаемая тайна источника, и, сколько бы в нем ни отмыкали дверей, за ними идут другие – анфиладой загадок. Ощущение глубины и загадочности оставляет уже ее сумрачный, подчеркнута лесной колорит (сильнее других деревьев ель бредит лесом, притом – глухим, дремучим). В этой живописи первая скрипка¹, естественно, принадлежит светотени, сообщающей хвойному войску буйное одушевление. Какие тут кони запляшут, радуги вострепещут, чуть затеплится светлячок! Потому-то елка притягивает, завораживает: она мерцает. В зимний вечер поблескивание глазастых, наэлектризованных шаров и иголок кажется наваждением. А если зажечь свечи?..

Шеллинг² называл светотень «магической частью живописи». И пояснял: «...Она доводит видимость до высшей ступени». «Ею искусство охватывает все сияние, исходящее от телесного, и представляет его в отвлечении от материи как сияние само по се-

¹ Худший вариант: первое место.

² Сомнительный вариант: почтенный философ Шеллинг.

бе и для себя». «Материал художника, как бы тело, в котором он осязает тончайшую душу света, есть мрак...»¹

В соответствии с мнением Шеллинга, ель снабжает отборным рабочим материалом собственное художество и осязает пламенеющий дух, извлекаемый из максимального мрака. Она, многообразно варьируя магию света и тени, выплескивает целое море озарений, наитий и горит не заимствованным, а своим природным, глубинным, неведь откуда берущимся, запредельным² огнем. Тень же в этом соседстве, помимо потакания свету, играет роль двери, остающейся приотворенной и доносящей до нас молву о таинственном содержании жизни. (Смутный гул этой речи теряется в непроходимых лесах...)

Как чудесно, что елка приходит в окружении даров, угощений, нарядов, пожеланий и тостов на полный годовой оборот. Ею крепится связь времен, обещанное возвращение света, продолжительность рода и века, получающих твердый залог в доверчивом благоволении дерева. А сколько вокруг елки витает фантазмагорий, сколько несбыточных грез, невысказанных надежд и намерений! Не ее ли живые плоды мы так и не успели вкусить, предпочтя им иное яблоко (да, да, то самое), и вот теперь, схватившись, тянемся к ней и тоскуем о молодости, о совершенстве?..³ Впрочем, всех историй, взлелеянных в ее колыбели, не переслушаешь. Елка служит гнездом и, потворствуя воображению, не устает поддерживать жар в камельке, у которого мы теснимся, запасаясь здоровьем и счастьем на следующий год-перегон⁴.

Эрнест Теодор Амадей Гофман, чье имя звучит как титул чародея и звездочета, заканчивая волшебную повесть о мудром Повелителе блох, не мог не вернуться к елке. Ежегодно на Рождество царствующий Мастер-блоха одаривал все семейство сво-

¹ Фридрих Вильгельм Шеллинг. Философия искусства. М., 1966, стр. 238, 236, 239.

² Худший вариант: заповедным.

³ Вот эта фраза, возможно, выбрасывается. Тогда последовательность: ...невысказанных надежд и намерений!.. Но всех историй и сказок, взлелеянных в ее колыбели, не переслушаешь.

⁴ Худший вариант: на долгий, нелегкий год. Или просто: на долгий год.

его лучшего друга миниатюрными игрушками. «Таким приятным образом напоминал он господину Перегринусу Тису ту роковую рождественскую елку, которую можно назвать как бы гнездом, где зародились самые удивительные, самые безумные приключения»¹.

Письмо вышло совсем елочным. Больше не буду.

А пока писал, успел получить от тебя № 10 и № 11, и настроение повысилось. Только ты зря так рано вылезла. Я понимаю: «а кто денески залабатывать станет?»* А все-таки надо тебе в таких случаях вылеживать.

Понравился рассказ про кольцо*, как ушла приплясывая. Я люблю, что ты веселая. Не хохотунья какая-нибудь, а потихому веселая.

И вообще ты мне совершенно подходишь.

И про одеяло – что Егор различает, какое из них красивее.

Будьте здоровы и елочные, мои любимые. С Рождеством Христовым.

А.

22 декабря 1968 г.



И книжечку Фроста... – Роберт Фрост. Избранная лирика / Переводы Андрея Сергеева. М.: Молодая гвардия, 1968.

...в последней елке... – Мы с А.С. взяли за статью о новогодней елке для «Декоративного искусства». В этом письме фрагменты последней редакции. Но... в Новогодний номер не успели, статья осталась «бесхозной», и печатали ее уже в эмиграции, в журнале «Континент» № 2 (1976 год) под именем М.Розановой, так как А.С. рассудил, что меня там больше, чем его.

...картинки из нескольких старых «Курьеров»... – Имеется в виду журнал «Курьер ЮНЕСКО».

...«а кто денески залабатывать станет?» – Это из театральных баск про великую актрису Раневскую, которая однажды заболела, и вот к ней пришел доктор и, сюсюкая, называя «деточкой», запретил Раневской вы-

¹ Избранные произведения в трех томах, т. 2. М., 1962, стр. 468.

Опять-таки, может быть, существует лучший перевод этой фразы из финала «Повелителя блох».

ходить на сцену. И Фаина Григорьевна, точно подхватив докторскую интонацию, спросила: «А кто будет денески залабатывать, блядь такая?..»

...рассказ про кольцо... – Из моего письма: «Вчера целый день трудилась и даже преуспела: закончила очередное изделие. Получилось красиво. Происходило все это на территории комбинатской мастерской, где у меня есть свой столик и почти никакого оборудования и где мою технологию обсмеивают все оснащенные роскошной техникой мастера.

Время от времени они подсовывают мне какой-нибудь зажимчик для облегчения жизни, я облегчаюсь, но работаю все равно вкривь и вкось, и вот рядом с этими технарями, аккуратистами и маэстрами я еще раз поняла, что смысл наших вещей (я все по привычке говорю “наших”) в их абсолютной “рукотворности” и нетехнологичности.

Мои коллеги работают виртуозно, но ужасно сухо и скучно, меня же они осуждают за мятую форму, криво поставленные камни и плохую полировку.

Я же вчерашним рабочим днем очень довольна, но так как вдруг обнаружилось, что я человек сдержанный (“дипломат он был – орел!”), то я радости своей никому не показала, а когда коллеги сочувствовали, что день пропал и у меня неудачи, я сокрушенно вздыхала: “Ну, ничего, следующий раз постараюсь отделять тщательнее...”

Выйдя же из мастерской, тут же достала кольцо из сумки, нацепила на палец и приплясывала всю дорогу: “Ай да Маша! Ай да Машечка!”»



1969

ПИСЬМО ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЕ

Сегодняшнее утро я начал с того, что, рано проснувшись, поздравил тебя, ангел мой Маша, и весь день находился в праздничном настроении. Чему способствовали три письма, полученные с вечера с приложением руки и сердца. Опять согласен, только это безжалостное кокетство – показывать мне ручку, скрывая все остальное. Куда подевала личико? Подавай немедленно!

А сегодня вечером пришла телеграмма от вас с Егором, тоже жизнерадостная. И я подумал: может, ты получила мое поздравительное письмо?

Не сомневайся в каждодневном писании писем: помимо других достоинств, ты с этого имеешь тот приварок, что я, отвечая взаимностью, тоже оживляюсь и начинаю тебе писать больше и пылче. А так сплошная наука и литература, потому что в твоём молчании я совсем беднею и существую лишь абстрактно. Так что.

Ручка – прекрасна, и я рад, что ты снова ко мне расположена.

По поводу треволнений с миндалинами*. А почему бы тебе и не спросить у вырезанных знакомых – ничего особенного в этом не вижу – я бы спросил.

К сожалению, я помню только двоих оперированных, и оба ничего не дают: Пип Иваныч где-то далеко, а Пашка Владиин еще маловат для таких консультаций. Но, может, она про это знает – она дотошливая. Лично я первый раз про это слышу. Помню только, как Пип Иваныч радовался в раннем детстве, когда ему удаляли: можно было содрать с родителей сколько хочешь мороженого после операции, чтобы остановить кровотечение.

Об йеменском кофе хорошо один выразился, лизнув: – Выпучил глаза и очутился в раю.

А кражу конфет не поощрай. Во-первых, не хочется, чтобы он вырос сластеной. Не девчонка. Во-вторых, чего же тогда жаловаться на его аппетит? А потом, пусть приучается спрашивать, чего можно и нельзя.

А сны под воскресенья не действительны. И поэтому не огорчайся.

Вот с радиоактивностью солнца несколько хуже. Читал я в одном журнальчике, что 69-й тоже достаточно активен. Правда, мне почему-то кажется, что потише нынешнего и что главная активность в нем падает на первую половину. А там, глядишь, полегчает. Как один старичок рассказывал гимназические воспоминания – об одном строгом учителе: начинает культурно, вежливо: значит, будет бить – уже легче. Ждешь только первого удара.

Грипп тоже пошел на большое уменьшение.

А к будущему свиданию поимей в виду, что у меня осталось только три трубочки для шариковой ручки, и майку с длинными рукавами, которую можно носить и зимой и летом, желательно не очень светлого цвета, чтобы поменьше пачкалась.

Ну, целую и вздыхаю по тебе.

27 декабря.

Арабский путешественник Ибн-Фадлан, посетивший в X в. Волжскую Болгарию, описал весь процесс погребения знатного руса – по обряду, который, по-видимому, широко был распространен у славян до принятия христианства. Это – сожжение в лодке или в коробке, куда – в шатре-шалаше, в плодах и цветах, в окружении всяких яств и закланных животных – сажали дорогого покойника. Над останками костра насыпали курган.

Однако всего интереснее, что по запросу родственников выискивались добровольцы отправиться вместе с умершим. В описанном Фадланом случае уйти вместе с хозяином выразила желание девушка (очевидно, рабыня), проводившая время в ожидании смерти в пении и веселье. Церемонией ее «отправления» ведал старуха, именуемая «ангелом смерти», и по ладоням мужчин, образующим своего рода помост, жертва переходит на корабль. Но самое любопытное, что говорит девушка перед тем, как туда взойти:

«Она, – отвечал переводчик, – сказала в первый раз: “Вот я вижу своего отца и свою мать”, – и сказала во второй раз: “Вот все мои умершие родственники, сидящие”, – и сказала в третий раз: “Вот я вижу своего господина сидящим в саду, а сад красив, зелен, и с ним мужи и отроки, и вот он зовет меня, так ведите же меня к нему”».

Мы-то сокрушаемся над бедными жертвами, а они на свою судьбу соглашались довольно легко, от всего сердца, и что-то за нею видели или делали вид, что видят, садясь на корабль. Во всяком случае в восприятии участников все это не составляло трагедии. «Вы, арабы, глупы, – сказал один из присутствующих. – Вы берете самого любимого вами из людей и самого уважаемого вами и оставляете его в прахе; и едят его насекомые, и черви, а мы сжигаем его в мгновение ока, так что он немедленно и тотчас же входит в рай».

28 декабря.

В сапогах главное не головки, а голенища. Они обхватывают и держат голень в тисках. В сапогах человек стиснут, подтянут. Поэтому их любят военные. Не грязь и не пыль тут причиной, а самоощущение, к которому влекут сапоги. То же – тугой ремень и всякая портупья тоже стимулируют готовность к приказу, волю к удару. В развеваемомся пиджачке, в расхлупанных штиблетах – неустойчивый штатский. Так же некогда дамы затягивались в корсет. Они выезжали на бал, как на бой. Оседлание тела. В сапогах человек увереннее в себе. Он не одинок – в сапогах. Они держат в руках так же крепко, как рука сжимает эфес шпаги.

Большие буквы в детских книжках располагают к проникновенному чтению. Помню, – а может, только кажется, что помню, но что-то такое было, – как, перейдя к мелкопечатному шрифту, грустил о больших буквах, которыми так хорошо читались первые книги. Это было какое-то чувство утраты, потери – переход на взрослый язык.

На грузинских миниатюрах (17 в.) к «Витязю в тигровой шкуре» все эпизоды сопровождаются изображением солнца и месяца в виде двух ликов, стерегущих по сторонам. То же на иконе. Преходящее действие погружено в пейзаж как всеохватывающее про-

странство подсолнечного и подлунного мира. Оно разворачивается в эпизоде, но ему есть куда развернуться, так чтобы, ускользая из глаз, не слизнуть со сцены вселенную. Картина – как море, где буря на поверхности соседствует с тишиной в глубине.

Средневековье всегда помнило, что за временем простирается вечность, и умело ее обнаружить в любой точке самого молниеносного мига. В средневековом «Романе о Розе» объясняется эта полнота и скорость движения, совпадающая с покоем настолько, что быстротекущий процесс даже со стороны субъективной облит состоянием длительности:

«...Время идет днем и ночью, без отдыха и остановки, оно убеждает и оставляет нас до такой степени неуловимо, что кажется нам неподвижно покоящимся в одной точке».

Пожалуй, только сейчас мне это доступно не чисто умозрительно.

Витязи скакали на прямых, как столы, конях.

Пиросмани нам кажется слишком оригинальным, потому что мы не учитываем и не знаем национальной традиции. Между тем на три четверти он вырос из этих и, может быть, еще персидских картинок. А мне тут попало иллюстрированное издание миниатюр к «Витязю» на груз. языке, вышедшее в Тбилиси в 1966 г., – посмотри, может, для музея пригодится*. В их свете сам «Витязь» должен прочитываться совсем по-иному, чем мы привыкли. Особенно хорош и похож на Пиросмани и даже краше, из XVII-го века – Мамука Тавакарашвили. Такие примитивчики – объеденье.

Между прочим, Тавакарашвили значит Ветреноголовый. Словом, Пиросмани в другом воплощении.

30 декабря.

Как я встречаю Новый год? – листаю картинки, какие есть, и витаю. Подряд, случайные, незабвенные. Смотрю, у Джотто уже появились ангелочки незаконного амурного типа; а Сикстинская Мадонна при всей пухлявости мила все-таки тем, что где еще в живописи и когда выглядит так молодо, и в самом деле в Благовещенье, кажется, Ей было 13 лет. Почему-то на Западе так любят страсти по Себастьяну, словно его пронзенное тело заключило союз изощренных средневековых мучений с возрожденной гимнастикой и Себастьян сделал шаг назад от Пьеты к Лаокоону.

Светящееся веретено Джорджоне, окно в прекрасное, елочная стекляшка, живопись, по всей вероятности, изначально и состояла в окрашивании-очерчивании притягательного предмета, который потому и цветной, совсем не по аналогии с жизнью, наоборот, на ее бескрасочном фоне приковывающее пятно. В этом смысле искусство не только прекрасно, но и приятно, располагает к приятию. Не потому ли так часто художники обращаются к нему, изображая тем самым блестящее в чистом виде, в упор, и эта идея влечения и слияния с блестящим отчасти совпадает с любовью, освобожденной в искусстве от похоти, но сохраняющей родственный вкус притяжения, выхода за рамки себя.

В древнеиндийской эстетике аффект художественного наслаждения трактуется в виде трепета, «вибрирующего сознания», носитель которого – созерцающий субъект – смыкается, отождествляясь, с объектом и достигает в этом блаженства и конечного освобождения. Итак, Венера Джорджоне, стекляшка или цветное пятно какого-нибудь бизона служат солярными знаками искусства, повергающими всякий раз в состояние изумления. А я тебя люблю, Машка, ужасно как. Не потому ли художник блажен, несмотря на всю, в общем-то, нейтральность, неморальность этих занятий, пребывая в состоянии выведенности из себя и сомкнутости с прекрасным предметом, которым попеременно оказывается целый мир, находящийся, как учили в Индии, в изначальной блаженности, и вот художник, с нею смыкаясь, счастлив и даже спасен?

Отсюда так много в романах пишется про любовь – не про любовь это, а про искусство, само себя созерцающее в синонимах бескорыстно сияющей пустышки на елке, в картинке, что светит и манит посреди действительности.

А Руо, вероятно, пошел от витражей Сент-Шапель.

Только грустно, что ничего от тебя не получил – ни позавчера, ни вчера, ни сегодня, ни завтра. Тускловато живется. Закат очень зеленый. «Поминутно публику оглядывал, Валька! Но тебя не видел я нигде».

31 декабря.

Абхинавагупта (X–XI в., знаменитый философ и музыкант, чьи взгляды составляют кульминацию в эстетике средневековой Индии; вместе с комментариями средневек. философа Джаяратхи):

«...При (звуках) сладостной песни или восприятию чего-либо иного, превосходного в своем роде, исчезает состояние безразличия и сердце охватывает трепет, который и есть то, что называют силой блаженства. Поэтому тех (кто испытывал это блаженство) называют «обладающими сердцем». ...

(Комментарий составителя: отождествление сознания субъекта с объектом означает снятие разделения на субъект и объект и, следовательно, исчезновение связанных с этим пространственно-временных ограничений. Таким образом, то, что познает субъект в этом случае, есть его собственное освобожденное «я».) ...Сказано, например: «Когда йог вкушает песню или другой подобный объект, душа его единится в несравненном наслаждении. Завладев сознанием, объект отождествляется с ним, и тогда йог обретает его (высшее блаженство)». ... Состояние, когда сознание приобретает вибрирующую форму, есть высшее бытие, не ограниченное местом и временем. ...

Хотя весь этот многообразный мир преисполнен блаженства, но в этом случае (блаженность мира) проступает особенно явно...» («Музыкальная эстетика стран Востока», Л., 1967, стр. 109–110).

Шарнгадева (XIII в.).

«Тому звуку-Брахману (*nada-brahman*), который есть сознание всех существ, обратившееся миром, который есть блаженство и единственное (что существует), мы возносим молитвы. Поклоняясь звуку, мы поклоняемся Брахме, Вишну и Махешваре, ибо они имеют его природу». Стр. 118.

Комментарий – Каллинатха (XV в.): «...Звук так тесно связан с Брахманом, что если мы проникаемся им, то обретаем Брахмана, как тот, кого влечет к себе блеск драгоценного камня, обретает драгоценность. Ведь сказано: “Ибо когда слушают пение и постигают его сущность, то обретают высший дух, состоящий в блаженстве и чистом сознании. Точно так же привлеченный блеском драгоценного камня обретает этот камень, ибо они связаны воедино. Того же достигают игрой на вине”». Стр. 119.

Отсюда становится понятным, почему поют в раю. Там не столько поют, сколько отождествляются. И блеск тамошний служит синонимом того же слияния. Кстати, блеск в древнеиндийской трактовке совпадает с высшим звуком. Термином «свара»

(семь основных ступеней звукоряда) обозначается «звук», а также «гласная». Гласный звук, как слогообразующий элемент, определяется грамматиками как автономный – «то, что сияет само по себе». Автономность (самостоятельность) свары состоит в том, что она, независимо от связи с другими звуками и в отличие от них, сама по себе способна доставлять наслаждение и возбуждать определенную эмоцию.

Матанга «Брихаддеши» (VII в.): «Здесь я хочу объяснить тебе значение слова «свара» (svara). Это слово образуется от корня «раджр» (raḡr), в значении блистать, сиять, и приставки «сва» (sva) – «сам». Таким образом, мы называем сварой то, что сияет само по себе». Стр. 120. «Свара» замечательна еще тем, что, по-видимому, от этого корня произошел языческий славянский – Сварог (кажется, бог неба).

Итак, звук–блеск–слово переливаются друг в друга. В Древней Индии не было музыки вне поэзии и наоборот, а вселенная представлялась звучащей музыкально и построенной на звуке. Магия означала владение гармонией.

Ирайнар. «Музыкальная грамматика» (IV в. – идем все глубже и глубже):

«В пространстве мира и миров нет слов, строк и поэм, но есть звук; он строит все пространство вселенной, которое не заполнено вещами, телами и душами, но он сам – молоко душ.

Он то, что тоньше эфира (акаши) и любой материи. А на язык и струны лишь капля этой влаги попадает, и стихами, не смоченными этой влагой, не спасешься. И нет более магии от тех слов и строк вед и других божественных стихов, потому что они сухи без этой влаги. Никто почти не знает, как петь и играть их, и оттого нет силы им и прочим заклинаниям. Пропало волшебство музыки, недвижима остается ось, что вращает колесо мироздания. Музыка же не может быть записана, как не может быть описана душа. Она (музыка) – душа материи». Стр. 101.

2 января.

Дорогие мои и новогодние дети! Что-то вы перешли со мной на телеграфный язык, к чему бы это? Я-то сдуру обрадовался поначалу: вот, даже телеграмму прислала. На третьей выяснилось: не «даже», а «вместо» и «только». Худо мое дело, особенно в пер-

спективе той праздничной недели, которая паузой упадет где-нибудь в конце января. Или ты тогда тоже пришлешь телеграмму?

Понятно, забывчивость, занятость, безденежье, нездоровье. Если б не косой отсвет посторонней интонации, тени, привычки, что ли, усталости, отдаленности, – не знаю.

Сперва дожидался Нового года: вот тогда подвалит, отогреюсь, умоюсь и отпишу ответную кучу на ваши ласки. Потом: наверное, опаздывают, почта перегружена, пройдут праздники – заживем.

Теперь все эти байки откладываются, вероятно, на то время, когда ты больше освободишься. Спасибо, телеграмму прислала.

Может, я не стал бы тужить, не впутайся тут новогодие и вся неделя, до и после, родные дни, старая тяга, да и люди вокруг радуются, кто как, семьи и елки, дожили – на людей смотрим. Стыдись, крепясь (а вдруг опять забудешь, хотя кажется – невозможно): – Пришли мне, Маша, бандерольку. Очень стыдно, но если все-таки пишу об этом – то потому что просил за тебя.

– А наша мама забывашка.

Раз, другой, третий. Мило, конечно, и понятно, всего не упомянешь, к тому же, признаться, бандероль мне ни к чему, чистый символ, пустая трата, фон подвел, у всех веселье, я-то с горя улегся спать (послезавтра – придет).

Вот мы и в новом году, ух как холодно и ясно, далеко-далеко. И письма еще долго будут идти. Все вместе совсем долго.

Прости, что так начинаю, да ведь не пишется, да и мало с меня проку – хоть шаром покати.

А все от тебя зависит, и я не сержусь. А что невесело – так где ж его взять?

5 января.

Вот написал тебе массу всяких несправедливых (но ведь я же тебя люблю) слов и решил письмо закончить, но, на наше счастье, оно дойдет до тебя опять к дате*, при мысли о которой я весь растрავиваюсь (это буква «ге») и улыбаюсь, и мне невмочь по твоему дурному примеру сурово с тобой обращаться, когда нам, Машенька, стукнуло столько, что нужно дважды сидеть по семь, чтобы это охватить и составить такую славную и прекрасную дату, как мы с тобой уже вместе. И вот я сам тебе прихожу

на помощь, и начинаю искать уловки и отговорки, и уговаривать, что ты ко мне совсем не охладела еще, а просто слегка забыла, или, может, срочно нужно было произвести какое-нибудь изделие, или (вот не хотелось бы) – вы неважно себя чувствуете за всеми праздниками и холодами. Словом, я подбираю массу оправданий, и опять приходит тепло в сердце, и голова перестает болеть от недавнего расстройств, и я тебе жму ручку и говорю:

Поздравляю тебя, моя жена, с юбилеем и целую.

Будьте здоровы. Главное, вы были б здоровы.

А.

5 января 1969 г.

P.S. Поскольку уже все равно елочные денечки закатываются, внесу поправки и сомнения в то, что тебе о них писал.

Во-первых, в самом начале неуклюжая фраза: «Если верить иным обычаям, сказкам, орнаментам, преданиям, пережиткам...» – не лучше ли: «Если верить иным обычаям и пережиткам...»

В елке III в последней фразе лучше вариант: «знать, что ничего не стряется» (вместо «не случится»).

В елке IV вместо: «...упиваясь свободой и легкостью блистательных метаморфоз», надо: «...упиваясь свободой и легкостью блестящих импровизаций» (а то очень много метаморфоз).

В последней: не «бросить служебные тяготы», а «сбросить служебные тяготы».

Вариант «сочиненными из чепухи комбинациями» лучше (а не «из чудес»).

«Елка служит гнездом...» надо: «Елка им служит гнездом...»

И там же не «в камельке», а «в очаге».

В моем издании Гофман именуется Эрнест. Но, помнится, в старых изданиях его звали – Эрнст. Хорошо бы он был Эрнстом (я консерватор).

На этом, надеюсь, больше помарок не будет.

А в открытке, что послал (ее мне здесь подарили, видя, что я с ума схожу и тоскую, и уже мерещатся елки на морозном стекле, а где их еще взять), елочка решена в моем вкусе и духе, и я очень удивился, что художница догадалась веточки дерева жизни поместить внутри зеленого лоскута. А тебе нравится?



По поводу треволнений с миндалинами. – Егорка часто и тяжело болеет, и большинство врачей настаивает на удалении гланд. Естественно, мне страшно. Попутно возникают и дополнительные соображения. Из моего письма: «А тут еще Викуля пугает меня тем, что якобы удаление миндалин скажется на чисто специфической части Егорушкиной жизни и что «вот он вырастет и вам этого не простит», а мне тут и посоветоваться не с кем. Не спрашивать же у безминдальных знакомых, каково им после этого ухаживается за дамами?»

Поэтому обдумай все это как отец и мужчина. Хорошо?»

Викуля – Вика Швейцер.

...может, для музея пригодится. – Здесь А.С. обдумывает мою (или нашу) деятельность для журнала «Декоративное искусство».

...опять к дате... – 23 января 1969 года исполнилось 14 лет нашей общей жизни.



ПИСЬМО ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТОЕ

А знаешь, на кого ты еще похожа, – на профиль мальчика в Шартре из скульптурного жертвоприношения Авраама. Очень хороший мальчик.

Наконец пришли три письма и закончили прошлый год мирным аккордом. Первое из них, в одну страничку, от 20-го числа, где-то валялось (или, может быть, ты не имела случая выйти к ящику) одиннадцать суток, из чего, приплюсовывая к тому, что ты не писала, нетрудно заключить, почему я так взревел в прошлый раз. А что бы тебе, дуре, в первой же телеграмме сказать, что у вас генеральный ремонт, и я бы не так беспокоился и горевал. А то проклятая неизвестность, от которой я совсем дошел и погрузился в молчание.

Еще переход в новый год был особенно тяжким, потому что меня-таки скрутила старая болезнь носо-ухо-зубо-полостного канала, неизвестно откуда вернувшаяся, то ли респиратор на два дня сменил на другой, более удобный, а от добра добра не ищут, и в результате пыль проникла, и, как заболело, оставил всю эту рационализацию, но она не проходит, в отличие от прежних дней, когда было достаточно надеть респиратор и все как рукой сняло, то ли морозы, державшиеся все это время, или что-то вроде запоздавшего гриппа, от которого я и поддался на эту пыль. Дурацкое состояние, боль не утихает и особенно начинается, когда ложишься спать, стоит голову опустить на подушку, а куда денешься, и так дней десять как в тумане. Но вот пришли письма №№ 16–18, и все хорошие, и, словно этого дожидаясь, морозы пошли на убыль, и боли тоже начали утихать. Оттаяло. И я оживаю.

Очень интересно было читать про кто что подарил и как вы это переживали, осознавали, только хочется подробных, длинных-длинных рассказов.

А текст в идолах читать необязательно, он примитивный, наука не разобралась еще, зато картинки, из них меня поразил третий глаз, которым бредит вся Индия.

Если не очень большой вес, привези посмотреть скифскую книжку*, с расчетом взять обратно. В скифах то приятно и удивительно, что, во-первых, где еще найдутся столь составные звери, чтобы всякие ноги, и головы, и рога заключали в себе эмбрионы все новых и новых созданий, или барано-птица, ну и сочетание, нигде не встречающееся; во-вторых, каким-то образом умудрились соединить Месопотамию, Урарту, Сибирь – и все-таки наши родственники.

А я тут наткнулся на цитату из римского писателя IV в. *Марцелина* – о гуннах:

«Все они отличаются плотными и крепкими членами, толстыми затылками и вообще столь чудовищным и страшным видом, что можно принять их за двуногих зверей или уподобить сваям, которые грубо вытесываются при постройке мостов» (Марцелин. История. Кн. XXXI, гл. 2).

Вот эти сваи, на которые похожи люди, делавшие идолов. В архаическом искусстве вообще, при безразличии к индивидуальным чертам, отчетливее видны родовые, этнические, возрастные признаки. Как с младенцем вдруг выяснилось, что средневековые грудных детей изображало точнее разных Рафаэлей, подменивших Младенца трехгодовалым бутузом. Так и в русских матрешках точнее Репиных запечатлен собственно русский тип лица. И чем больше живу и вижу, встречая то готических немцев, то ассиро-подобных грузин, тем виднее правдивость древних искусств, понимавших природу как род и корень. В свете этих свай становится понятнее и какое-нибудь Идолище Поганое, списанное с живого половца или татарина, взятого в своей идольско-свайной природе. Татары в оценке средневековой Европы (летописец *Альбертик*, XIII в.) выглядят примерно так же, как Идолище в глазах былинного богатыря («Голова у него люто лохалище» и т.п.):

«Голова у них большая, шея короткая, весьма широкая грудь, большие руки, маленькие ноги, и сила у них удивительная. У них

нет веры, они ничего не боятся, ни во что не верят, ничему не поклоняются».

А передачу ориентировать на личное свидание, и поэтому с ним затягивать и откладывать нет никакого резона, поскольку все равно льготы даются не сразу по половинке и не в один миг, а месяца два, по крайней мере, пройдет. А потом, ты ведь скоро поедешь на общее, и тогда будет удобнее во всех отношениях, – как это я раньше не догадался. Из продуктов же меня интересует первым делом кофе, и если разрешат 5 кг, то 3, по крайней мере, должны состоять из зерен. А майка пусть будет с рукавами и не очень тесная, а то она сядет и опять до пупа, а надо надолго, и из большого не вывалишься, как ты говаривала по-бабушкиному, и очень нравится, и я тебя.

Интересно, большая ли у вас была елка, и обновил ли Егорушка санки, и как он вообще все понял и воспринял.

А знаешь ли ты, что у нас в 1921–1924 гг. выходил журнал «Среди коллекционеров» под редакцией И.И.Лазаревского, который на ту же тему и с тем же названием выпустил целую книгу (1-е издание в 1914 г.)? Может, тебе пригодится для музейных подземелий.

А зимний, январский переход достался трудно. Не знаю, на чем человек держится, когда у него так.

– Твоя судьба в ее руках (о жене, о письме).

– Ты мне покушать не дай, а письмо – дай!

Созвездиям из орудий ближе всего трезубец.

– Я за свою идею не одного на тот свет отправил. Приснилось (не мне), что проглотил змею. Взял за голову и проглотил. Еще помнилось, что в животе стало холодно. Болезнь. Через сто двадцать восемь дней змея, тоже во сне, уползла. Наутро – выздоровел.

Витязи ехали на поджарых, как собаки, конях. (К тем же миниатюрам, что и столы.)

Искусство пародирует быт, изъясняясь с преувеличенной вежливостью, обстоятельностью: «Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел; был сильный мороз...» Внутри же, про себя, оно так и покатывается: совсем как настоящая! вот умора!

– Жена пошла работать в баню. (Предел падения.)

Искусство нагло, потому что внятно. То есть: оно нагло для то-

го, чтобы быть внятным. Оно говорит, предварительно воткнув нож в доску стола. Натe – вот я какое. (Слушая Гайдна.)

14 января.

Ориентируясь на точность и верность живому лицу, иконопись знала изображения с натуры, и хотя эти факты крайне редки и расплывчаты, они важны принципиально, концептуально (к земле и небу). В первоначальной редакции жития *Ефросина Псковского* (написанного не позднее 1510 г.) рассказывается, что в основанном Ефросином монастыре был образ, написанный при его жизни искусным иконником Игнатием, который «навалял есть на хартью з жива суца образ его, ту же имя подписал преподобного». Затем Игнатий присоединил этот рисунок к своим образам: «к изразцы своя иконныя положи и сохрани е».

(Этот факт приводится в статье – *Ю.Н.Дмитриев*. О творчестве древнерусского художника. – ТОДРЛ, т. XIV, М.; Л., 1958, стр. 553, затем – *В.К.Лаурина*. Об одной группе Новгородских провинциальных царских врат. – «Древнерусское ис-во. Художественная культура Новгорода», М., 1968, стр. 168–169.)

Почему был важен архитектурный канон. В 1649 г. жители Новгорода поссорились со своим митрополитом Никоном (тем самым! и рано же у него появились реформаторские замашки), который намеревался перестроить (видимо, расширить) Софийский собор. Из челобитной новгородцев царю: «А та, государь, церковь состроена по ангельскому благовестию. И мы всяких чинов жилецкие люди о том ему митрополиту били челом и соборные церкви рушить и столпов ломать не дали».

(Документы о новгородском восстании 1650 года, подготовленные к печати М.Н.Тихомировым. – «Новгород. К 1100-летию города». Сб-к статей. М., 1964, стр. 294.)

В мозгу открылась дверца, и я увидел... – так приходит слово, так приходит образ, так приходит открытие. Все прочее в искусстве, в науке – компиляция и эрудиция.

Состояние пассивной готовности в ожидании, когда дверца откроется, балансирование на грани страстной, всепожирающей жажды самому открыть ее и увидеть (не откроешь и не увидишь) и одновременно – расслабленности, полного неучастия и не-

желания хотя бы пальцем пошевелить ради этого зрелища, то есть, по сути, взаимоисключающее сочетание ненапряженного напряжения, бездеятельного труда, – вот единственное, что имеет художник в виде исходной и конечной точки работы.

По-видимому, сходный момент в постижении реальности имел в виду Кришнамурти, уверявший, что знание, опыт, память, тренировка, традиция и даже само желание постичь реальность становятся непреодолимым препятствием и сдвигают нас в сторону ложного самогипноза, и только все отбросив и погасив и ни на что не надеясь, можно еще надеяться, что эта Она, реальность, придет.

15 января.

Здравствуй, ненаглядная Машечка!

В нашей* с тобой переписке, кажется, опять посветлело: получил еще три письма – №№ 19–21.

А думал уже – ты опять исчезнешь недели на две, приучившись мне не писать и войдя во вкус. Года два назад один старичок – не в виде прямого пророчества, а исходя из личного опыта – предсказывал, что придется пройти еще через полосу отчаяния и забвения. А мне не верилось, до января этого года не верилось. Сейчас тоже не верится.

Свидания с тобой очень жду, а ты, если можно, кроме майки (плюс трубочек, плюс, если не забудешь, зубную щетку, плюс пару пачек пирамидону с анальгином – от зубов) привези еще килограммчик кофе в зернах или молотого.

Так как сижу на мели. Много продуктов не вези, а килограммчик захвати – вдруг пофартит*. В крайнем случае увезешь обратно. Сигарет тоже хорошо бы.

Больше, пожалуй, никаких особых просьб на этот счет у меня не будет.

И не забудь захватить с собой, кроме паспорта, *Брачное свидетельство* (как хорошо, что мы с тобой вовремя поженились), потому что теперь требуется его предъявлять, и того факта, что ты записана в деле, недостаточно. Вероятно, в крайнем случае в качестве доказательств сойдет и печать в паспорте о регистрации брака, но для полного порядка требуется свидетельство, и нас об этом официально предупредили. А ты его не потеряла со всеми переездами?

16 января.

Еще забыл сообщить, что за последний месяц успел получить две бандероли: 1) с «Американским фольклором» вдогонку Фросту*, где больше всего понравились рассказы про сумасшедших, только они, по-моему, не очень американские; 2) с «Днем поэзии»* и журналом от Вики. – Спасибо, спасибо всем, очень приятно все это читать или просто держать в руках. Ахматовские стихи великолепны.

А не мог бы кто-нибудь из знакомых достать и прислать мне такую книжку: *Гриммельсгаузен. «Симплициссимус»*. Л.: «Наука», 1967.

Почему-то кажется, что эта книга, сочиненная в отменном лубочном и разукрашенном стиле, мне подойдет, и очень хочется.

А вышедшее недавно «Утро искусства» Окладникова – про первобытную живопись, с красивыми картинками, присылать не надо: она получена здешней библиотекой, и я ее сейчас читаю.

17 января.

Я рад, что Егор с детских лет ползает по музеям. И про живые натюрморты в рамках ты хорошо рассказала, и почему бы тебе, сразу убив двух зайцев, не сообразить из этой экспозиции музейный текст* о способах экспонирования?

Музей ведь в собственном смысле и начинается с выставления накопленных раритетов, сокровищ, лежавших дотоле мертвым кладом. Вещь одним махом превращается в экспонат. В этом смысле музей может быть организован из чего угодно, и, в принципе, в гиперболе, возможен единоличный или семейный музей. Стоит вывесить подарки, богатства на стену как на сцену. Хранимые в шкапу брюки – сокровище, на ногах они – полезный предмет, на стенке брюки – реликвия, интересная, скажем, тем, что в них я сдавал экзамен по математике и вот теперь смотрю на них, и учусь, и люблюсь, и погружаюсь в свою историю и географию. То есть экспонирование составляет львиную долю музейного дела, возводя любую вещь на пьедестал созерцания.

Экспонат заключает в себе целую гамму новых переживаний и требований. Руками не трогать – отрешенная от назначения вещь становится священной, надменной; музей возбуждает в нас первобытный фетишистский инстинкт, являет собою образ нового идолопоклонства.

В этом опасность музея: отделение предмета от дела, от источника и окружения; вымороженное имущество, выставленное для любопытства толпы (в шляпе, которую больше никто не носит, есть что-то страшное); отдаление от человека (модное словцо «отчуждение» сюда очень подходит). Мы поклоняемся уже не духу, а его скорлупе. Выдернутый из быта предмет сберегается как величайшая ценность, но перестает жить – на пряхке в музее уже ничего не спрядешь, она кончена, обездолена. Музеи – это кладбища вещей, и, посещая их, мы грустим на развалинах истории. Картина, заранее написанная для музея, таит в себе патологию; уже не икона и не портрет моего дедушки, украшающий и охраняющий дом, а манекен, за ненужностью отошедший в шедевры. В музее не согреешься.

Музей свидетельствует о развитости искусства, заменившего собою религию и создающего для себя подобие храма, духовной обители, которыми жив музей, где над каждым изделием дрожат и сдувают пыль, как будто это святыня. Но они же, музеи, свидетельствуют о секуляризации искусства и его иссякании в быту, где уже не делают прялки, а ходят на них любоваться в прялочное собрание. Экспонат – это что-то враждебное (как всякий идол) человеку; у него появляются загадочные свойства – все разрушается, гибнет, а он стоит неподвижно и даже растет в цене – миллионные состояния вкладываются в экспонаты, и вот они уже самое ценное, что мы имеем. Поэтому, между прочим, искусству иногда полезен легкий ветер иконоборчества («время пулям по стенке музеев тенькать» – Маяковский); разрушая мертвые идолы, оно возвращает нас к духу жизни и творчества. В противном случае весь мир грозит стать экспонатом, и мы убьем природу, чтобы набить чучело.

Поэтому также искусство экспонирования на нынешней стадии не сводится к превращению вещи в экспонат, но – и в обратном движении, к первоначальной вещи, которой создается своего рода естественная среда, как львов выставляют не только в клетке, но и делают им разного рода искусственные вольеры с живописными кустиками и другой бутафорией, почти как в Африке. Тут смешиваются разные дозы условности и естественности, правды и фантазии. Ваш способ выставления в раму пушкинских пиджаков напоминает поп-арт и хорош тем, что рама не дает ве-

щам полностью вернуться назад в быт (отчего бы возникла только новая фальшь, как с датским догом в «Гамлете»), и пистолетом не выстрелить, а в цилиндре не сварить кашу – рама поддерживает в вещи ощущение зрелища, заставляет проникаться «чужим стилем» и отводит предмет в прекрасное далеко. Вместе с тем в этой раме, очерчивающей границу, вещи чувствуют себя свободнее, чем в витрине, и слабо дышат, как рыбки в аквариуме, порождая иллюзию живой и взаимодействующей с нами среды.

Не знаю, правильно ли я понял экспозицию у вашего Пушкина.

18 января.

Заканчиваю письмо в последний день, перед самой его отправкой – как всегда поджидая: а вдруг в этот понедельник Маша что-нибудь пришлет, и я сразу откликнусь.

Ничего не последовало сегодня, но я тебя все равно люблю и лелею. И часто вижу во сне – только сны последнее время для меня идут не очень веселые.

А письма твои я обычно перечитываю по многу раз, пока они собираются в кучку, особенно пять-шесть последних читаю, а потом их сменяют другие пять-шесть, а кучка растет в тумбочке до сотого номера, и, когда вырастет, я их, еще перелистав и понюхав, увязываю в толстую пачку и складываю в чемодан. Из чемодана же, прямо скажем, редко когда достаю для перечитывания: технически это не очень удобно, ведь чемодан доступен не всегда, а в строгие часы, да и вытащенную пачку негде держать и т.п. Иногда все же устраиваю им просмотр для сравнения и душевной теплоты. Но это бывает, когда уж очень одиноко.

Зубы – хотя это не зубы вовсе, но для простоты назовем их зубами – утихли. Правда, сейчас опять пошли большие морозы, и у меня нет уверенности в себе. Посмотрим, проверим опытным путем.

Хочу все-таки, чтобы ты показала врачам. Не в смысле радикальных диагнозов, а чтобы сделать все зависящее для нашего благополучия. Бывает, какую-нибудь ерунду не доглядишь (как у меня с респиратором получилось) и мучишься годами. А хорошо бы от ерунды не гибнуть.

Скучаю ужасно о домашнем интерьере и всех картинках, что составляют его уютность и красоту. Хочется на вкус и на запах

почувствовать этого счастья, не говоря о более глубоком восприятии. И вопросы домашней экспозиции здесь тоже хочется с тобой обсудить в подробностях, в совместных мечтах и фантазиях. И чтобы, как маленькая, обо всем рассуждала. И так далее.

Обнимаю тебя.

Еще раз – не забудь свидетельства о браке.

А.

20 января 1969 г.



...привези посмотреть скифскую книжку... – Из описания моего дня рождения 27 декабря 1968 года: «Зато подарков хотя и мало было, но состояли они из трех книжек: «Сокровища скифских курганов» Артамонова – цаца, о которой я мечтала полтора года, а ты помянул ее в списке последнего письма, юнесковского альбома «Русская икона» (помнишь, был у нас когда-то?) и вересаевского «Гоголя в жизни» (Ого! Во! Каково? А?)».

Но книгу М.И.Артамонова «Сокровища скифских курганов в собрании Государственного Эрмитажа» (Прага: Артия; Ленинград: Советский художник, 1966) я все-таки в лагерь не повезла: в ней было два кило триста восемьдесят граммов...

В нашей... – Здесь шифровка: «В доме свидания Анки больше нет».

Анка, она же сержант Аня, была самой гнусной тварью лагерного обихода. Молодая, красивая, статная, в сверкающих сапогах и идеально подогнанной по фигуре шинели, она с восторгом выполняла свои надзирательские обязанности, стараясь всячески унижить родственников заключенного, харчи им испакостить, а одежные швы, где только можно, вспороть. И вот однажды, выпуская меня после свидания с А.С., она так затянула процедуру обыска, что я опоздала на поезд, мне предстояло провести ночь на полустанке Явас, спешить было некуда, и поняла я, что с Анкой пора кончать. И когда явился конвой, чтобы вывести меня из дома свиданий, я сказала, что не уйду, потому что должна написать заявление лагерному начальству. А заявила я о том, что во время личного досмотра сержант Аня проявила ко мне сутобо противоестественный лесбийский интерес. Начальники забегали и долго уговаривали меня забрать заявление, объясняя и про мужа ее, и про ребенка, но я твердила, что одно другому не мешает, и клеветнической моей бумаге был дан ход. Результат – в шифровке.

...вдруг пофартит. – Вдруг на свидании разрешат покормить.

...вдогонку Фросту... – Пришла книжка «Однажды один человек...», сборник американского фольклора в переводах А.Сергеева и с его предисловием (Прогресс, 1968).

...с «Днем поэзии»... – В «Дне поэзии» (М., 1968) появилось несколько стихотворений Ахматовой и стихи Цветаевой «Анне Ахматовой» (публикация Виктории Швейцер).

...музейный текст... – В декабре 1968 года меня позвали поработать для выставки «Портреты неизвестных в собрании Государственного музея А.С.Пушкина». Из моего письма: «Посылаю тебе пригласительный билет на выставку, где я с удовольствием подвизалась в подручных, за небольшую мзду, но с невероятным душевным приварком.

...Меня попросили подобрать какие-нибудь народные аксессуары для одного из стендов (ибо в музее Пушкина в этом не смыслят), и я покопалась в сарафанах, кокошниках, прялках и серьгах Исторического музея, куда в ином случае проникнуть трудно. Это раз.

А потом, мне чрезвычайно понравился способ экспозиции, когда такие вещи, как чашки, пистолеты, веера, миниатюры, ордена, орденские ленты, книги, фиги и прочее не разложены по-музейному в витринах и шкафах, а скомпонованы в картины, в натюрморты. Причем сделано это прямо на стене (серой) внутри роскошных золотых рам. А рамы висят не прямо на стене, а сантиметров на тридцать впереди, создавая некоторое пространство и погружая портреты и вещи в воздух. Рамы без стекол, а стекла висят перед рамами. Красиво – жуть! Интересно, что и не оторвешься. И вот я, как маленькая, развешивала тряпочки и раскладывала игральные карты, а Егор прыгал со старинными пистолетами. (И ни разу не заскучал, ни разу не попросился домой, хотя на днях мы провели там целый день!)»



ПИСЬМО СЕМИДЕСЯТОЕ

Читаю твою обиженную телеграмму*, воображаю, как ты меня упрекаешь, сердисься, и – улыбаюсь. И очень жалко, и любимо, – поэтому и улыбаюсь. Ну вот, все образовалось и выяснилось, и мы с тобой. Деточка моя. И девочка.

Недавно очень обиделся, узнав по радио, что песенка про голубка и горлицу, оказывается, из «Школы злословия» и принадлежит совсем не любящему лицу, а самым что ни на есть сквалыгам и фальшивцам. А я-то думал – гармония. Почти как к Луизе (Луизой ее звали, у Бетховена-то?* – слаб на имена).

А хорошо, что вы с Егором поете вместе, вот бы послушать. Еще я тебя полюбил за Каир.

Еще я получил – правда, с большим опозданием – поздравительную открытку с абсолютно рождественским Шагалом от семьи Надежды Васильевны, со всякими нежными словами про нас с тобой и Егорыча, и все время на нее смотрю и упиваюсь. Как сажусь читать и писать, ставлю ее перед собой, хотя это определение плохо подходит, потому что куда же поставишь. Передай от меня нежные благодарности: от такой картинки порой зависит состояние многих дней. У нас морозы 36°.

Еще просьба (настоятельная) к кому-нибудь из знакомых, кто бывает неподалеку от старого здания МГУ, – зайти в университетский киоск и купить: *Вестник МГУ**. № 5. Серия XII. История. М., 1968.

Там несколько статей по Древней Руси, притом просил человек, которому я много обязан хорошими книгами, – надо выполнить. И если этот Вестник стоит недорого – два экземпляра –

один прислать сюда, а другой у тебя оставить. Откладывать на-долго нельзя: раскупят.

На свидание же, по возможности, не очень траться. Например, можно вполне обойтись без икры, без цыпленка или телятины – а вместо всего этого купить простых сосисок (только тогда уже не сарделек, и не забыть горчицы). Мне эти сосиски будут как пир богов. Или пельмени. Но яичница тоже нужна. И мягкий белый хлеб.

Целую тебя горячо-горячо.

23 января.

Письма выровнялись и пошли регулярно, как будто хотят пристыдить за мою к вам слабость и ревность. Стыжусь и радуюсь.

Доволен очень и тем, что Егор обожает Лидию, не теряя ее посреди дам, которые ведь тоже, наверное, ласковы к нему и подарки дарят, но вот сумел, значит, понять и оценить. Также отлегло от сердца, что он привязался к группе* (а он влюбчивый у нас), а то ужасно тягостно маленького посылать на работу, превращая лучшие дни в отбывание повинности. Помню, меня в детстве тоже хотели отдать в какую-то немецкую группу, но я ужасно сопротивлялся, да и денег не хватило, на мое счастье. Что ему там понравилось и приглянулось, интересно узнать, и хорошо бы ты, Машенька, почаще его расспрашивала, что он делал, и видел, и как о чем думает, чтобы ребенок с тем обществом не отдалился и не ускользнул от тебя, заимев свою независимую среду и биографию. Чтобы дом не стал только местом ночлега и скучных процедур вроде мытья и лечения, а он бы рос из тебя и не уставал любить, и удивляться, и стремиться к тебе как к нашему средоточию. Правильно я рассуждаю?

Поэтому к Егору все лучшие и первоначальные вещи – как зоопарк, и музей, и елка, и кино, и театр, и книги, и картинки, – должны исходить главным образом от тебя.

Вспомнил про елку, под которой вы пели дуэтом, и музей, где вы ползали, и опять полон вашим двойным обаянием.

Чтобы было, что вспомнить.

25 января.

Гораздо интереснее с тобой переписываться, чем писать в пространство, да я и не умею, потому что даже абстрактные вещи, да и весь для тебя, а не сам по себе.

Жаль, что ты поругалась-таки с соседкой*, и стоило ли, хоть в три часа ночи будить не следует, но мало ли неудобств создает любое соседство, когда переворачиваешь страницу в книжке с какой-нибудь никому, кроме меня, неинтересной картинкой, сосед, которому делать нечего, подходит, и смотрит, и дышит в затылок, поджидая, пока ты прочтешь и перевернешь другую страницу, так что строки сливаются и в глазах темнеет, но приходится сдерживаться, чтобы не вызвать ссоры. Или эта не знающая границ и приличий общительность. Даже молча сидеть с ним рядом составляет немалый труд: от него исходит такой поток эмоций, такая жажда контакта, что, и безмолвствуя, он, казалось, тянулся, и цеплялся, и дергался по вашу душу. Нужны были стены и стены.

Конечно, тебе виднее, с кем как поступать, но только не устрой себе в доме новый ад.

А Вику с дочкой поздравь*.

В Новгородском сборнике есть небольшая статья Гусева с обмерами икон и фресок, написана очень плохим и плоским языком и без выводов, но данные ее замечательны и далеко идут. Оказалось, размеры здания соотносились не только с размером досок, но и с величиной нимба. Радиус нимба составлял обычно $1/10$ или $1/8$ часть фигуры и $1/100$ длины храма. Нимб – решающая точка и в построении иконы, с него, можно сказать, она начинается. То есть, если продолжим – источник, центральное световое пятно, как главная точка богоявления, от которой все растет, как круги по воде, и в композиции и в храме, солнце, окно, лицо, просиявшее вестью с неба и творящее вокруг себя видимый лик мира. Из персидских суфиев:

«О, весь мир очевиден в дарящем жизнь лике твоём,
а лицо твоё явно в зеркале бытия!»

«Лицо – указание на божественную субстанцию».

(Бертельс, стр. 117 и 114.)

А еще любопытны обычаи византийских василевсов. На приемах император восседал на двухместном троне – в будни с пра-

вой стороны, в воскресные и праздничные дни – с левой, с правой же тогда на сидение клали крест, символизируя иного Царя. Возвышенный до земного бога, император в одной руке держал державу, в другой – акакию – мешочек с пылью, напоминающей о бренности всего земного. Вступив на престол, он прежде всего должен был выбрать мрамор для своей будущей гробницы. А раз в год император по обычаю мыл ноги несколькими константинопольским нищим.

Возвращаясь к нимбу, – для большинства фресок XII–XV вв. характерно покрытие одним желто-розовым или охристо-золотистым тоном всей плоскости под изображением нимба и головы, а затем уже коричневой краской – голова и черты лица, отделявшиеся от нимба. То есть единое световое пятно, первооснова изображения, первое пролитие света – как начало работы. Сама живописная техника передает метафизику вещи. Весь первоначальный рисунок выполнялся тем цветом, которым крылись венцы – золотистой охрой или, если венцы ударялись в темно-красную охру, – той же тональности, следовал общий рисунок (В.В.Филатов в Псковском сборнике, стр. 62, 71). То есть скелет композиции создавался светом нимба, который можно принять за ядро произведения.

Прости, путаюсь, то про Византию, то опять про нимб: все разбросано, вдруг вспомнил, что там еще есть, хватился, неудобства, где какая книжка лежит, урывочность, и мыслишь урывочно, случайными фразами, трудно сосредоточиться, и смесь преобладает.

- И вот он помаленьку начал легко мешаться.
- Молодой уголь.
- Генхерук.
- Справедливостью моей души заявляю.
- Я смотрю на это сквозь свое зрение.
- Работал баландером.
- За то, что женщин нашли в нетронутном состоянии.
- На лбу шишка набита, на плече свищ – от непрерывных молебствий. Крестит очко. Погряз в христианстве.

В черном небе – перенесенный с турецкой мечети – четко выбит серебряный полумесяц и серебряная же рядом звезда.

27 января.

Получил кишиляток*. Они смешные и похожие. Но от известий с болезнями сердце не на месте, и опыт римских матрон мало тут утешает. Думаю только, что дочку Тамары ейный муж не бросит*, он в ней души не чаёт, ни при каких обстоятельствах. А я тебя еще больше. Со всеми недостатками согласен, без рук, без ног, но мою (это единственное условие, а все другие потери переживем и перенесем).

Почему-то странно читать в письме о старости друзей и знакомых. Я от нее никогда не отказывался, но ощущаю здесь гораздо меньше, чем раньше.

А чем дальше в тебя всматриваюсь и объясняюсь, тем больше открываю интересных вещей. И даже связь человечества с животным миром (щенки, табуны) вдруг открылась, и ты у меня как храм науки и кладезь премудростей, и все совершенно родное и кровное.

29 января.

Если вдуматься в жизнь и встречи, ее составляющие, то как бы сквозь сон приходит сознание, что она замешана не на стечении обстоятельств, которых, может быть, могло и не быть, но была заложена с детства и существовала заранее в каком-то предварительном очерке и теперь лишь проявилась на свет и достигла силы судьбы, при всей своей удивительности не представляющей случайной, а только так и в таком виде способной к осуществлению. Приглядываясь дальше, заметишь, что не всё, однако, подряд проявлено этой печатью исполненного обещания, и многое наносно, случайно и вроде бы не имеет к тебе прямого отношения, тогда как другие, ясные лица обязательны и, случившись, оставляют твердую память, что о них ты давно, в сущности, догадывался и подозревал. Живя, мы в значительной части сталкиваемся, таким образом, со знакомым материалом; мы не знали, что с нами будет, но бывшее в главном и важном открывает нам свое узнаваемое моментально лицо. Мы не живем, а узнаем, как нам предписано жить, и хотя по второстепенной, но собственной воле кое-где нарушили и запутали судьбу отсебятиной, самое реальное в ней вспомнилось и исполнилось в точности.

Это я по поводу знакомства с тобой и Егором.

30 января.

Моя милая и несправедливо обиженная жена Маша. Не плачь и не сердись на меня: я хороший. И нечего тебе ждать ужасов от следующего письма, потому что в том же, где ругался, уже вилял хвостом и спереди и сзади того места, и, все сопоставив, ты можешь иметь объективную картину моего к тебе общего обожания. И очень стыдно преувеличивать и выдумывать, наводя тень на дорогую юбилей, приписывая ему смысл наказания. Всем бы такой срок, а мне до конца ничего лучше не надо.

Конечно, я поступил слишком сурово, потому что в такое время, когда тебе и так не ладно и не сладко, но не знал же, что так.

А в телеграммочке вовсе не чужая интонация, это не про то, и умоляю-прошу тебя ходить по докторам, и ты про потакание спрашивала – буду любить, беречь и потакать, только не более и не переутомляй себя.

Теперь не уверен, когда тебе сподручнее приехать, и если надо по твоему самочувствию отложить, то откладывай, или наоборот, я не обижусь.

Получил бандероль с интересными мемуарами Миндлина* и газетами-журналами. Бандероль пускай Нина посылает, но не надо ценной – и так расходы. А если на свидание поедешь – поменьше траться на мое угощение, и лишнее (скифы, кофе) можно не брать – чтобы чемодан не был тяжелым обратно, а сюда чтобы непременно кто-нибудь помог – не смей подымать тяжести. За твое здоровье дрожу, но не думай, что ты мне нужна только здоровая и веселая, я на любую Машу согласен и постараюсь скрасить твою старость, и болезнь, и нервы, и характер, и нрав, потому что ты все равно дитя и мать.

1 февраля.

Уфф – январь проехали. А он был много длиннее и тяжелее обычного. Тут еще морозы постарались, державшиеся весь месяц. Утомительно. А едва мы перешли на февраль, как сразу отпустило, начался снег, и наступила наконец классическая зима. С морозами, правда, то хорошо, что при них снег не смеет идти. Но сейчас для души приятнее. А какой-то персидский автор XIII в. назвал удачно мороз «ювелиром судьбы». Имелась в виду, вероятно, конкретная ситуация – переход войска по замерзшей реке. Но мне нравится вообще это темное определение, красиво звучит. Еще красиво из песни:

...Играй, гитара, играй!
А песня, заблудшая птица, искала потерянный рай.
Как формула искусства.

А вот как безграмотность оживляет штамп:

Я один кругом на свете,
Без подпорок и корней,
Без родных сестер и братьев,
Без отцов и матерей.

Тут вся сила во множественном числе. Но иногда и беспризорная сказка звучит конкретно, несмотря на заезжий сюжет злой мачехи или чужого отца. Восьмилетний ребенок слышит, как отчим – матери: – Или он – или я! – Не беспокойся, через неделю мы его похороним. – Тогда он убегает из дому, и начинается жизнь. «Наблюдается патологическое развитие личности и социальная запущенность».

Так вот, февраль наступил, а в январе я капризничал лишь по одной причине: без тебя мне скучно, а праздник встречать без тебя совсем тоска. Мне ведь не подарок или привет какой-нибудь был нужен, а чтобы – с тобой.

Прилагаю тебе картинку, чтобы быть интереснее. На ней меня радуют стрелы, летящие по небу. Наверное, это молнии, как слышал еще в Новгороде: – Вон стрела пролетела. Почему-то не зигзаги. А может, это ветер? Но даже если это ветер, прекрасно, что у него направление, встречное кораблю. Неважно, что паруса надуваются в другую сторону. Ветер должен – в лицо.



А мачты похожи на молнии или на примкнутые штыки. Не исключено, что художник был моряком: уж очень много лестниц. А то, что произошла неувязка с направлением ветра, так это давно замечено, что в прялках, например, на санях катаются по траве и цветам. Принцип собирательности: от зимы – сани, от лета – цветы (все наилучшее).

Еще замечена (правда, не везде) встречаемость в орнаментах: кони бегут в одну сторону, лебеди в другую. Как здесь – фрегат и ветер (или молнии). Возможно, помимо равновесия этим достигается цельность вещи, единство и замкнутость цветового пространства, представляющего не кусок бытия, но заселенный мир – терем. Кони убегают, лебеди прибегают – и все стоит на месте. Получается кругообразная, пребывающая в себе композиция.

Не этим же ли вызван также поворот головы у бегущих зверей. Ноги бегут вперед, а голова смотрит назад, отчего изображение не грозит сойти с доски, а как бы к самому себе циклично возвращается. Терем, сколько в нем ни бегай, ни вертись, стоит на месте. Он построен и составлен.

Между прочим, эта составленность, сборность, соборность изображения преобладает в архаике. Части тела, имея каждая свой отдельный интерес, подпирают, поддерживают и увенчивают друг друга. Рука держит шашку, шашка венчает руку. (Посмотреть с этой точки зрения народные поговорки.) Создается многоступенчатый ряд значений-образов-этажей с системой взаимных встречных функций и субординаций. Части тела друг друга поддерживают и раскланиваются друг другу (это и означает – собирательный образ). Рубаха над штанами как второй этаж, голова – чердак, шляпа – крыша. Каждая фигура возводится наподобие дома. У девицы в руке цветок, на цветке птица. Если есть рука, должна что-то держать (саблю, цветок, бокал), если есть голова, должна быть шляпа. Шляпа – функция головы, без нее головы не бывает, как трубы без дыма. Даже в быту: мужик, выходя на улицу, всегда надевает шапку. Для полноты, для представительности. Даже когда жарко. Еще бы ему на картинке быть без шляпы. На прялке (на иконе) мы видим не «человека в шапке», а – «человека с шапкой на голове». Шапка на нем поставлена, утверждена, как земля на китах. Про нее и загадка соответствующая: «Сижу верхом, не знаю на ком, знакомца встречу, соскочу –

привечу». Шапка – наездница. Она едет на человеке, как человек – на коне. Хвост украшает льва. Поэтому в стиле лубка можно сказать: выскочил лев с хвостом. Принцип постепенного нарастания и развертывания предмета. Древний художник не скажет: увидел вооруженного всадника. Он скажет: увидел коня, на коне сидел витязь, у витязя в руке сиял меч.

Не помню, приводил ли я загадку, выдержанную в духе и стиле примитивного рисунка (человечек): «Стоят два кола, на кольях бочка, на бочке кочка, а на кочке дремучий лес» (человек). Ноги – сваи. Кстати, у Хлебникова: «Богатырь поставил бревна твердых ног на доски палубы» («Уструг Разина»). Тоже загадка гуся: «Белы хоромы, красны подпоры». Гусь – дом на ножках (избушка на курьих ножках – магическая курица). Кстати, маленькие ручки-ножки (твои) у льва, да и у любого другого зверя, вырастают отсюда же: он ими подперт, на них устроен или украшен. Они те самые колышки, на которых он торчит. Или рука у фигурки словно бы выдернута из плеча (по «неумению»), на самом деле как раз не выдернута, а приставлена, привязана (как хвост приставлен ко льву).

Когда-нибудь все это надо свести под эгиду птички Сири^{*}. Но я не утерпел, да и забыть боишься, а знаешь, с чего это я особенно разыгрался сейчас, с того, что получил бандероль и тебя люблю, но еще не нюхал, не лизал – завтра. И завтра же закончу это письмо, и завтра же постараюсь отправить телеграмму в ответ на твою, которую я тоже получил сегодня, и очень за тебя дрожу и держусь всеми ручками, как тот факир.

Позволю только еще одну прялочную штуку. Почему на городецких донцах так много амазонок? Потому что баба едет на прялке, как графиня на коне. Амазонка – это иероглиф сидящей за прялкой, на прялке бабы. Вот как я тебя.

4 февраля.

А я вас тоже про себя часто называю Собакиными. И приговариваю: деточка. Идет снег хлопьями, и дуют весенние сонливые ветры. Почему ветер навевает сон? Потому что это – дыхание.

Телеграмму сейчас послал. И книжечка из Сарагосы прелестна. Онежскую тоже получил^{*}. А твоя телеграмма тревожная. Машечка, выкарабкивайся, Машенька, не подведи, выздорови.

Я просто не знаю, как тебе ехать в таком состоянии. А с другой стороны, и по медицинским проблемам было бы полезно тебе посоветоваться со мною, прежде чем делать решительные выводы. И поэтому, может быть, надо просить свидания раньше. Но если, повторяю, тебе лучше сначала подлечиться, то отложи приезд.

Ни при каких обстоятельствах я тебя не оставлю и не заброшу, но только целую и милую.

А.

5 февраля 1969.



Читаю твою обиженную телеграмму... – «Поздравляю семейным юбилеем не смей писать мне несправедливые письма а пиши только добрые и нежные одновременно отправила тебе двадцать восьмое очень обиженное письмо но все равно люблю и помню и целую Маша».

...Луизой ее звали, у Бетховена-то?.. – «К Элизе» (фортепьянная пьеса Бетховена).

...Вестник МГУ. – В этом номере статья М.А.Ильина «Мировидение XIV в. и его связи с искусством Московской Руси» (о Сергии Радонежском).

...он привязался к группе... – В жизни Егора произошли серьезные изменения: он попал в детский коллектив. Из моих писем: «Тут еще появилась возможность отдать Егора в некое подобие частного детского сада на 10 детишек. Но... возить надо в Гнездниковский переулок (в дом «Совписа») и всякий раз давать с собой еду. Т.е. тащиться с утра пораньше с Егором в одной руке, с банками-кастрюльками в другой, а в шесть вечера ползти обратно с пустой посудой». Через несколько дней: «Наш ребеночек сходил в свою группу, и уже вернулся домой, и уже поужинал, и уже спит... И все мои опасения оказались напрасными, и все страхи рассеялись – потому что Егорке в группе понравилось, и он даже спросил, нельзя ли остаться в группе ночевать. Но я непреклонно отвечаю, что ночевать надо в своей кроватке, и, пользуясь тем, что ребеночек в эту группу влюбился, тут же беднягу шантажирую, что в группу пускают только хорошо лопающих детей».

...пругалась-таки с соседкой... – Из моего письма: «Еще я поругалась с соседкой, и очень меня развеселило ее заявление, что у меня просто не удастся личная жизнь и поэтому я такая злая... И еще она мне ска-

зала, что сколько бы я ни заманивала к себе чужих мужей (Андрея Николаевича, Игоря Наумовича и прочих), все равно у меня ничего не выйдет. Вот видишь – ты можешь быть абсолютно спокоен за мою нравственность: даже соседка заметила, что я бегаю только за чужими мужьями и абсолютно безуспешно».

А Вику с дочкой поздравь. – 6 января 1969 года Вика Швейцер родила дочь Марину.

Получил кишиляток. – Фотографию трех детей Коли Кишилова. «Но чтобы узнал ты из этого письма и что-нибудь приятное – посмотри на трех кишиляток. Старшая – вылитый папа, только бороды нету. Средний – чистая мама. Загадочная картинка – а где подобрали младшую и в кого она?»

...дочку Тамары ейный муж не бросит... – Из моего письма: «У окружающих тоже малоприятные хлопоты: у Тамары Константиновны расхворалась дочка – обнаружили опухоль матки, качество которой еще неизвестно. Варианты – миома, фиброма, рак. Придется ложиться на исследование, а это жутко болезненно: из живого организма безо всякого наркоза отхватывают кусочек ткани. Называется это – диагностический соскоб. Разновидность аборта, но безо всяких предшествующих радостей. Самое же обидное то, что потом в любом случае предложат оперировать, т.к. она растет с невероятной скоростью. Благо, это такое место, которое отрезали еще в античности. Но как только дело дойдет до операции, начнутся сомнения: а делать ли ее, и не бросит ли потом муж как неполноценную и неспособную к деторождению. Вот тут и подумай, как утешать и уговаривать дамочек перед такими дилеммами».

Тамара Константиновна – это моя мать, а дочка Тамары Константиновны – это я. Я всегда помнила, что наши письма изучаются противником – зачем же радовать его своими болячками...

...с интересными мемуарами Миндлина... – Э.Миндлин. Необыкновенные собеседники. М., 1968.

...свести под эгиду птички Сири. – «Птичкой Сири» помечались наши материалы и рассуждения о фольклоре, о народном искусстве, частично вошедшие затем в цикл маленьких эссе «Изразцы» и опубликованные уже в эмиграции в журнале «Синтаксис» № 18, а также в книгу А.С. «Иван-дурак».

И книжечка из Сарагосы прелестна. Онежскую тоже получил. – Ян Потоцкий. Рукопись, найденная в Сарагосе. М.: Наука, 1968. Г.Гунн. Онега впадает в Белое море. М.: Мысль, 1968.

ПИСЬМО СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВОЕ

Это даже непонятно, что может быть такая холодная зима, что февраль ничуть не теплее января, и, пропустив пару дней, морозы возобладали с новой страстью. Все время 30, а то и 40°.

Я сижу при своем интересе, то есть при твоём 28-м письме, которое читаю уже дней десять, и, если б не телеграмма, в которой пять дней тому назад ты обещала мне аж 33-е письмо, совсем бы заоченел.

Правда, еще открыточка со старинным мальчишкой*, которую я хорошо знаю, потому что ее в детстве подарила мама и я ей долго увлекался, так что даже подростки, отдавая альбомы с открытками из Третьяковской галереи, эту вынул и оставил себе в наследство вместе с любимым петрушкой Петей. Так что она в самом деле семейная, из XIX века.

Еще читаю твою книгу про упырей* и другие привидения. Очень мило. Только очень быстро. На каждой страничке мелькает по упырю. Про них надо бы медленнее и с бóльшими подробностями.

Зима такая длинная и холодная, что, кажется, никогда не кончится. Февраль хотя пошел быстрее.

Снова ходит грипп, но я не поддаюсь, и вы тоже не поддавайтесь. В связи с этим временно опять отменили свидания, но я надеюсь, скоро восстановятся. Кроме того, это в первую голову касается заболевших, а здоровых до сих пор пускали.

Еще мне подарили банку сгущенного молока, и я ее съел. А вечером, часов в 11, съедаю обычно луковицу с хлебом. Теперь я работаю только вечером: мой сменщик учится в вечерней школе,

а мне все равно. Работы от этого не меньше, но единообразный режим, когда уже привык спать в одно время и не надо каждую неделю перестраиваться.

Во сне мы получаем – я не могу подыскать другого, более подходящего слова – уверение. Мы уверяемся в том, что надо жить сначала.

Борода, доброта. Все звуки совпадают. Поэтому можно сказать: «добрая и бородатая морда». Напротив: «бритый, злой старик». Добрый и бритый, бородатый и злой – не соединяются, разваливаются. Какой же злой, когда по всему лицу – доброта?

– А если есть изверг – что хотите делайте, он все равно – изверг!

11 февраля.

Простудировал «Утро искусства» *А.П.Окладникова* (Л., 1967). Материал чудесный, но концепции тусклые и бестолковые. Особенно происхождение искусства. Разделяет взгляды Г.Люке (француз, переведенный на рус. язык в 1930 г., – «Религия ископаемого человека»), по которому, первоначально художественные образы возникали в сознании человека необдуманно, непреднамеренно – фаза «случайного реализма»: «Пальцы сами собой двигались по глине или песку, как у детей, которые, подражая взрослым, чиркают карандашом по бумаге. Такая игра пальцев, доставляющая безотчетное удовольствие, повторяется снова и снова, но уже с определенным смыслом, с целью оставить какой-то вещественный след и тем самым закрепить, усилить и воспроизвести это чувство удовольствия. В какой-то определенный момент воображаемый “человек природы”, или иначе – “естественный человек”, как ребенок, вдруг заметил, что его закорючки и росчерки напоминают что-то реальное, конкретное, имеют черты сходства с чем-то знакомым и близким его душе. Продолжая усиливать эти черты сходства, он пытался пойти дальше и изобразить яснее, точнее и определеннее этот предмет, возникший в его воображении. ... Это путь к “сознательному реализму”», стр. 33–34. Поддерживая эту логику, заимствованную у Люке, Окладников добавляет: «Конечно, от самых первоначальных попы-

ток художественного творчества, от первых его проявлений вообще могло не остаться следов. С ними могло произойти то же самое, что и с различными переходными звеньями биологической эволюции: неполнота геологической летописи истории жизни на земле – факт общеизвестный» (стр. 34).

В основе подобных теорий лежат по крайней мере четыре предрассудка, популярных в 19-м веке, и они очень точно просвечивают в этом тексте.

1) Простая механическая посылка (перистальтика пальцев) становится источником духовного роста; из физики возникает искусство.

2) Идея «естественного человека», аналогия с детством, понимаемым как *tabula rasa*; исходной точкой развития становится голый нуль.

3) Все происходит случайно; обезьяна, случайно лупнув палкой, превращается в охотника, и такие интересные случаи падают почему-то на не дошедшие до нас (связующие и переходные) звенья.

4) Закон постепенности; благодаря накапливанию, длительности процесса происходит прогресс; «постепенно» – магическое слово, уговаривание бытия не сразу, а постепенно дорости до желанного качества, панацея от другой неувязки со случайностями; когда чего-то много и долго, то кажется, все само собой, постепенно и образуется (постепенно мешок с пылью превращается в мироздании).

(Кстати сказать, мимоходом автор опровергает свои же доводы и рассуждения известием, что произвольные «макарены» из Альтамыры обозначали, видимо, змей (т.е. осознанная установка предваряла ковыряние пальцем). Во-вторых, в конце книги он начисто отрицает аналогию между детским и первобытным рисунком, который слишком изощрен, техничен и каноничен, так что связь с естественной психологией ребенка – лишь поэтический ход.)

Но как притягателен «реализм»! Даже непреднамеренное дрожание пальцев на песке именуется фазой «случайного реализма», при первом же зачатке узнавания перерастающего в «реализм сознательный». Когда же речь заходит о разных типах женского символа, «реализмом» оказывается тот, что покрасивше и поприв-

стойнее, хотя бы таких счастливых исключений во всем первобытном мире было раз, два и обчелся:

«Образ женщины в искусстве палеолита представлен, однако, не одними лишь утрированными безликими изображениями типа статуэток из Виллендорфа, не только искаженными до неузнаваемости «ягодичными» статуэтками или «женщинами-птицами» из Мезина. Наряду с ними есть и такие удивительные произведения, *пронизанные духом реализма*, как женская головка из Брасемпуи с тщательно моделированным лицом и длинными распущенными волосами, создающая ощущение задумчивого спокойствия.

Это как бы первое на Земле воплощение идеи женственности, сама прамаменька, Ева палеолита» (стр. 106).

Интересно, как «реализм» пугается ягодичных Венер и при первом удобном случае сворачивает на более привычные нам и красивые образцы. Поскольку же таковых не имеется, он готов за родную задумчивую психологию выдать довольно невнятную, со стертым личиком, фаллоподобную головку и именно ей (все-таки не такая вульгарная!) приписать искомую женственность. Но видела бы ты, Маша, эту фигурку из Брасемпуи!.. Вот-те и реализм! Смотреть не на что...

Но ты не думай: я забрался в эти первобытные катакомбы еще и для того, чтобы дожидаться твоих писем, которых все нет и нет, и если слегка заняться арифметикой, то получится, что последнее, 28-е письмо, ты мне написала 21 января, а нынче что, нынче у нас, по самым скромным подсчетам, уже 14 февраля, вот и считай, а 2-го ты телеграфировала про 33-е письмо, итак, пять писем никак не дойдут до меня в течение 15–25 дней, и как тут жить, и о чем думать? Я тут, чтобы восполнить, извлек поближе к сердцу ваши фотографические рожицы – и об них утешаюсь на вашу красоту, и разговариваю с ними, чтобы перебиться, а то трудно и тревожно за вас при таких расстояниях.

Возвращаясь же к своим троглодитам, уползая мелким почерком в эти пещеры, замечу, что у Окладникова есть тоже и любопытные сведения. Например, на первом месте среди дошедших материалов стоит кость, а потом уже камень, и это так понятно и приятно – жили среди зверей, думали о зверях и почитали их ихней же костью; поэтому абрамцевские попытки оживить костезное дело* обречены на неуспех, кость уже не имеет к нам ни-

какого отношения, мы ее не знаем, не помним, чистейший анахронизм, разве что у каких-нибудь охотничьих народов Севера и Сибири. А вот в палеолите кость, на которой рисовали, была сопричастна зверю, и реальному, и нарисованному, представленному в произведениях частью своего же собственного тела. Мамонты вырезались на мамонтовых же бивнях и даже на его позвонках, и какая в них при этом заключалась мамонтовость! А кость употреблялась также в виде порошка, замешанного в глину, из которой лепили фигурки этих животных, – онтология древнего искусства, когда образ совсем не отделялся от реального существа, и вот почему статуи оживали. Вспомнился рассказ Адольфа* (жаль, в текстах до сих пор я не встречал этому подтверждения), что иконописцы иногда добавляли в краску частицу мощей и, значит, отчасти писали плоть плотью. Вот где реализм, а не в случайных совпадениях с нашим представлением о красоте и приличии.

Еще понравилось про куклы у эскимосов, похожие на палеолитические, и, оказывается, они часто изображали конкретных людей, находившихся в длинной отлучке, и им приписывались живые свойства. «Эскимосские женщины при длительной отлучке мужа делали его изображение, кормили, одевали и раздевали фигурку, укладывали ее спать и всячески заботились о ней, как о живом существе. Подобные фигурки изготовлялись и в случае смерти человека. Чтобы вселить в нее душу умершего, в фигурке иногда делалось углубление, куда вкладывали волосы покойника, являвшиеся, по представлениям эскимосов, вместилищем души. Изображениями умерших были часто и те настоящие куклы, которыми играли эскимосские девочки. Куклы эти назывались именами умерших, души которых хотели почитать или удержать путем передачи имени любимого покойника его изображению, так как, по воззрениям эскимосов, душа человека и его имя находились в неразрывной связи, составляли одно целое. Кукла оказывалась, таким образом, вместилищем души и «представителем» покойного среди сородичей. Заключенная в кукле душа, согласно этим понятиям, переходила в тело женщины и возрождалась затем к новой жизни. Она считалась, таким образом, душой умершего родственника и душой будущего ребенка.

Так же как палеолитические статуэтки, эскимосские куклы в

большинстве изображали лиц женского пола. Однако заключенная в кукле душа не обязательно должна была вернуться в мир живых в облике женщины. ... Женщина могла возродиться мужчиной, а мужчина женщиной. Неудивительно поэтому, что куклы были не только игрушками, но и амулетами, переходившими от матери к дочери как залог плодовитости» (стр.76).

Ничего значительнее про кукол не слышал, хоть изложено все это из рук вон топорно и скучно. А если весело изложить? Возможно, и наши куклы – остаток тех, игравших роль в переселении душ, переносивших душу из мертвого тела в живое. Как хорошо! А все искусство? Не вышло ли из этаким куклы? Весь портрет (включая наши фотографии, живущие теперь одними воспоминаниями, напоминаниями об уехавшем и умершем – а когда-то одевали, кормили) не произошел ли из куклы, исполнявшей функцию промежуточного звена. Без куклы мир бы рассыпался, развалился, и дети перестали бы ходить на родителей, и народ рассеялся бы по лицу земли, забыв себя. Искусство – посредник в наследовании поколений, в нем прямые связи сменились индифферентными, а когда-то так прямо деды и превращались во внуков, пожив несколько лет в форме кукленка...

И бабочка из гусеницы проходит стадию куколки, и мумию пеленали тем же способом и клали в кукольный гроб, не умирание – окукливание. И дети играют в гробы.

Но кругом загадки. Как и каким путем искусство палеолита в одинаковых формах распространялось по территории от Испании до Урала, оставив такое единство стиля и сходство образцов, которого нет и сейчас, даже при наших средствах связи и единообразии вкусов?

Почему женские статуэтки (как сказано у Окладникова) «в целом обнаруживают какое-то неуловимое сходство с фаллами»? Из Мезины (на Украине), да и Виллендорфские, я бы сказал... По существу, андрогиния: представление о первом человеке на Земле как о двуполом существе. Но замечательно, что не прямое копирование, а отдаленная связь, по подобию, какая-то икона пола.

И еще, почему у мамонтов – при тончайшем знании их анатомии (в частности хобота) – никогда не изображали ушей, тогда как у других животных рисовали даже очень маленькие уши? Не потому ли, что у слонов и мамонтов они очень большие? И зна-

чит – изображения – могут услышать, подслушать. Такие большие уши лучше не изображать.

15 февраля.

Поскольку, мой ангел Машенька и ненаглядное существо, письма так и не видно, пользуясь образованной паузой, хочу еще раз вспомнить Фаворского*, о котором уже как-то писал, но давно и много ляпсусов, сейчас смотрю, почти в каждую фразу надо что-то вносить и менять, и чем путать тебе голову бесконечными вариантами, давай я лучше все расскажу сначала.

В искусстве XX века особое развитие получила идея постигаемого пространства. «Рисовать в пространстве», пользуясь им как впервые обретенной свободой, не столько изображать, сколько «создавать видимое», – стало страстью. Вождем новейших течений нарекается Сезанн, отец «структурной живописи», одержимый маниакальным вниманием к формообразующим спазмам и потягиваниям земли. Со всех сторон звучат голоса во славу архитектурного принципа. *«Настал час строителей»*, – провозглашает Бурдель¹.

Архитектура² и скульптура атаковали поле холста. Словесность, театр заручились пространственными масштабами. Понятия «структуры», «устройства», «модели» проникают в гуманитарные знания. Двадцатое столетие шествует под знаком реконструкции. Разрушая, планируя, строя, оно ставит акцент на способах организации пространства и материала.

В художественном брожении начала века эти процессы носили по большей части характер неудержимой экспансии. В ходу были крайности, тотальные программы. «– Дайте нам новые формы! – несется вопль по вещам». Футуризм, кубизм, конструктивизм предъявляют ультиматум прекрасному – склониться перед железной геометрией современности.

Попутно новые вкусы сближаются с архаикой. Обратная перспектива, диспропорция, утрировка, гиперболизация и схематизация образа, свойственные средневековью, отдаленным культурам Востока, Африки, Америки, попали в фокус научных и эсте-

¹ Для справки: Эмиль Антуан Бурдель. Искусство скульптуры. М., 1968, стр. 136. Курсив в книге. Высказывание относится к 1918 г.

² Остается вариант: зодчество.

тических интересов. Активизация пространства открыла доступ к запасам невиданных, немислимых пластических образований. Варварский истукан оказался вдруг притягательнее изнеженного Бельведерского щеголя. «Аполлон умер! Да здравствует Аполлон кривочернявый!»

Красочная магма коробилась, лезла из рамы, угрожала и грезила вулканическим взрывом. Деформация вещи с целью извлечения сокрытых в ней измерений оканчивалась потерей лица. Из обломков возникали чудовища, полузвери-полумашины, предлагавшие себя в зеркала обескураженному человеку. Беспредметники, в утверждении формы подойдя к ее отрицанию, осваивали рукоделие, бросались в производство. Чистая композиция сменялась утилитарным дизайном. Эстеты и фантасты мастерили велосипед. Поднималась Вавилонская башня индустриальной цивилизации.

На этом фоне тихая мастерская В.А.Фаворского выглядела одиноко. Усидчивый, сосредоточенный труд, вдали от бурных дискуссий, отданный сравнительно узкой специальности – ксилографии, ретроспективному, с антикварным уклоном, искусству книги, казался застрахованным от подобных метаморфоз. До сих пор, помяная те опасные времена, исследователи не нарадуются: «После того, что происходило в искусстве в начале XX века, творчество Фаворского производит впечатление спасительной пристани»¹.

Между тем этот «отшельник», как подчас, особенно на первых порах, аттестовала его молва, смелостью своих построений был способен поспорить со многими реформаторами самого радикального толка. Его далеко идущие требования и открытия, позволяющие опыт Фаворского соотносить даже с такими крайними именами, как, скажем, Татлин или Малевич, не сводились к техническим частностям, но касались основ искусства и лежали в русле структурных, пространственных умозрений. Внешне, в манере и технике исполнения, он мог работать традиционно. Пространство в его понимании – нечто более глубокое, чем просто «форма». По существу оно у Фаворского эмоционально, духовно и связано с внутренним строем и мыслью произведения; вот почему собственно формальная сторона не всегда у него отмечена

¹ «Книга о Владимире Фаворском». М., 1967, стр. 9.

поражающими новациями: они скрыты в идее его вещей. Эта же концептуальность, духовность в подходе к задаче пространства, из разряда формальных проблем, переросших едва ли не в методологию его творчества, отделяла Фаворского от левых школ и ставила в особое и обособленное положение.

16 февраля.

Вот и весна с зимой встретились, а мы когда, и солнце пошло на тепло, а зима на мороз. Впрочем, у нас эти сретенские морозы воспринимаются потеплением – днем 10 и воздух пунцовый. Свет, зримый в лицах. Повторить, снова увидеть мир иконой. Кошка-собака (вечное остранение). Дождь. Снег. Дом (дом – это хлев, и главное в нем, чтобы было уютно). Стол. Кровать (на четырех ножках, как звери). Гроб (почти стихами: «Дети играют в гробы. Куклы тлеют в земле»). Одуванчик. Муха. Табак (человек выпускает дым из трубы). Паровоз. Солнце. Говорят, Солнце в сто шесть раз больше нашего радиуса. Это, конечно, хорошо. Но лучше, когда на таком небольшом, как печка, Солнце держится такая большая и беспомощная Земля. (Недавно один спросил: – А правда, что Земля – это шар? – И я не знал, что ответить, и замялся.)

Народные львы не яростны, а добродушны совсем не потому, что (как пишут) художник их никогда не видел или был склонен к шуткам. Юмор не в художнике, а в самой метафизике зверя. Они все смешные. В народном льве прощупывается басенная природа животного, как бы самим Творцом предназначенного нас передразнивать. Совсем как я, но с хвостом! Собака при дворе человека играет роль шута. С нею наша жизнь больше похожа на театр.

– На морды люблю смотреть, когда в карты играют, – ой, комедия!

– Она была замужем за армяшкой. ... И вторым она была заряжена, не знаю сколько, но уже здорово.

Женщина тоже заметно театрализует жизнь человека. А снега нет. Непонятно, чем она будет таять. Мне это на руку, что нет снега. Но как-то странно.

17 февраля.

Вот я и дождался твоих писем! Четыре из пяти обещанных. И все – подряд. Но представь, сколько они шли. От двадцати пяти

(№ 29) до семнадцати (№ 32) дней. Рекордная цифра. Двадцать пять дней они еще не ходили. Двадцать случилось. Но двадцать пять?! Так и до месяца недалеко.

Марки тоже получил. С домиком. А есть ли еще такой же серии, но с другими строениями? Марки еще можно делать из прялок. Только очень уж популярно. А впрочем – были же прялки широким жанром. Или марки-лубки. Из пряников. Только они приклеились к твоему письму так крепко, что отодрали много слов и остается догадываться и воображать, что ты пишешь в этом месте. Ну, ничего.

Любуюсь на Егорыча* с кубиками и с тенью. Тень меня тоже немало озадачивала. Особенно, почему она то большая, то маленькая, когда идешь от фонаря к фонарю. С папой из бани. А в буквах хорошо то, что складываются медведи с арбузами – древним способом.

Умнички вы у меня и игрушечки. Никак не пойму только, что Егору так понравилось в группе. И что он там делает?

К тебе отношусь очень.

Ну просто очень.

И дураки, кто тебя отговаривает писать мне про все болезни и горести, и ты правильно во всем поступаешь, что пишешь. Во-первых, все наши изъяны общие. Во-вторых, все равно не отдам.

Я тут последние дни что-то куклами увлекаюсь. В голове, разумеется. На смену деревцу пришла кукла. Говорят, в куклах много понимают в Японии. Если кому встретится что про куклы, пусть пришлют. Кукла такая вещь, что из нее все искусство вылезает. Что остается от прожитых поколений, от пушкинской эпохи, от Египта?.. Одни куклы. Мы даже о нравах, о костюмах судим – по куклам (как одевался Онегин).

По-литовски: kupaš – тело.

По-латышски: kupīna (кунинья) – куколка (бабочки).

Тело ведь тоже было сначала куклой. Из глины. Тело какместилище души – тот же повапленный гроб. Повапленный – вапы – краски. И матрешки! Интересно, откуда взялись матрешки – одна в другой? В матрешке, мнится, есть что-то очень значительное. Какая-то ассоциация с египетскими погребениями. А помнишь, как ты купила в дом матрешку?

Какие еще бывают словосочетания.

Куфайка. Рыдикуль (неестественное, царапающее «ридиколь» – язык сломаешь – превратилось в родимый кулек).

– Я достиг своего фиаско.

– ... Чем быть в тягость. Я лучше исчезну, как привидение.

– С поварихой сожительствовал.

– Познал городскую женщину.

– Одна баба была красивая, я тебе серьезно говорю (серьезно – о бабе – да еще о красивой? – требует оговорки).

– Продукты не принимают, за исключением деньги.

– А раздеть – еще больше увидишь.

– Дал ему руки замарать.

Прозвище «Страшно гудит».

– Ах, такие приключения!.. Но я от них далек, далек. На охоте никогда не был, рыбу никогда не ловил...

– Окозлел.

19 февраля.

В завершение – еще три письма благотворительным аккордом. Потому как ужасно приятно узнать, что ты тоже получила мое хотя бы позапрошрое письмо и некоторое время находишься в относительном успокоении. Вот мы и встретились, и все хорошо. Все хорошо, моя жена, и в слове «желею»*, над которым я много смеялся – до того оно двузначное, для полноты картины букву «а» следует вставить со всех сторон – не правда ли?

У нас грипп пошел на убыль и солнышко сияет так ярко, что, кажется, ничего не останется на летние месяцы. Так даже и не бывает.

А про пистолеты* ты хорошо рассказала, что как цветок из руки, и на каком-то прялочном донце или ларце я обращал внимание, что шашки, например, или кубки растут прямо из руки – ее продолжением и увенчанием, вместо кисти. О символике старинного оружия дельно писал Волошин в «Ликах творчества», да и стихи у него были* на сходную тему в начале 20-х гг. в «Красной Нови». Это на тот случай, если тебе загорится вдруг об этом начирикать. Стоит. Недаром все эти предметы становились темой дальнейшей эстетизации во всяких лермонтовских «Кинжалах». Но решая ее – проблема ужаса и красоты в их сочетании. Как в трагедии. Зрелищный характер смерти и сковывание орнамента

торчащим жалом. Но об этом надо подробнее – с привлечением дуэльного кодекса, боя быков и казни, которая была в старину театральным зрелищем. Об этом тоже хорошо писал Мериме.

Еще я успел сегодня получить бандероль с «Огоньками» и романом Моруа о Бальзаке. Тоже красиво.

Очень тебя жду и надеюсь, что, может быть, ты сумеешь даже выехать раньше этого письма. Если еще нет – все равно буду всегда ждать и стремиться.

Обнимаю и желею (а то, что люблю тебя, твержу как заговор).

А.

20 февраля 1969 г.



...открыточка со старинным мальчишкой... – На открытку самого конца XIX века с картинкой неизвестного мне художника Н.Вивеля я наклеила марки, написала, что «перебирала на днях зеленый плюшевый альбом и вдруг нашла эту открыточку. Наверное, она еще родительская...», и отправила в Явас: «Пусть это будет приветом из семейных недр».

...читаю твою книгу про упырей... – Увы, не помню...

...абрамцевские попытки оживить костерезное дело... – В Абрамцевском художественно-промышленном училище, где я когда-то преподавала, было целое костерезное отделение. Оживляли и возрождали.

...рассказ Адольфа... – Адольф Николаевич Овчинников, известный московский реставратор и исследователь древнерусской живописи.

...хочу еще раз вспомнить Фаворского... – Еще одна общая с Синявским работа – статья о Фаворском «Пространство книги».

Любуюсь на Егорыча... – Из моих писем: «Андрюшечка! Потрясающая новость: наш ребеночек из кубиков с буквами сложил два слова – папа и мама. И мы опять получились вместе!

Сначала он соединял кубики безо всякого смысла и все спрашивал:

– Мама! А какое слово получилось?

– А теперь какое?

– А это что за слово?

Но потом мне это надоело, и я ему объяснила, что таким способом дальше галиматьи и абракадабры не пойдешь и идти надо в другом порядке, от слова, которое должно быть сначала, и тогда все получится.

– Ну, ладно, – сказал Егор, – давай я сложу «папу». Это надо взять пе-

туха (а на кубиках буквы с картинками), потом арбуз, потом еще раз пехуа, потом еще раз арбуз. Мама, смотри, получился «папа», а теперь я буду складывать «мamu». Это надо взять медведя, потом арбуз...»

«Возвращаемся это мы сегодня из группы и что-то с ним происходит странное: пройдет шагов пять и остановится. Остановится и внимательно смотрит на свои валенки. Потом подымет ногу, переставит ее, а глаз оторвать от этого процесса не может. Я его тащу за лапу. Некоторое время чапает, а потом все начинается сначала. И в чем, ты думаешь, дело?»

– Мамочка! А она тоже со мной идет, и бежит, и ногу подняла?

– Кто «она»?

– Тень. А уйти от нее можно?»

...и в слове «желею»... – Из моего письма: «Получила от тебя телеграмму, и стало как-то спокойнее на душе. Одно неясно – ты меня жалеешь или желаешь, потому что в телеграмме написано “желею”, и я не знаю, куда вставить “А”».

А про пистолеты... – Из моего письма: «Еще я на днях смотрела дивную коллекцию старинного огнестрельного оружия, и это было очень красиво. Длинные пистолеты, как цветок, продолжающий руку, а на них зажимы для кремня – как драконовы пасти, такие маленькие драконы на длинном цветке, и очень интригующе выглядит среди всех оборок орнамента точка, дырочка, откуда вылетает пуля».

Наверное, все-таки убивать надо красиво, а не из-за угла, сознавая, что твой противник – тоже человек, и в нем тоже копошится бессмертная душа».

...стихи у него были... – Стихотворения «Меч» и «Порох» (Красная новь. 1922. № 3).



ПИСЬМО СЕМЬДЕСЯТ ВТОРОЕ

Мне в тебе нравится даже то, что ты родилась в декабре (а Егорушка, а Егорушка? – тоненьким голосом).

Скоро март. Никогда такой погоды не видел: солнце палит, а морозы стоят. Не какие-нибудь ночные-утренние заморозки, а сплошные, стальные морозы, и это при самом веселом и жарком солнце. За весь февраль и январь снег шел один раз и то слабо.

Пейзаж постепенно начинает смахивать на декорацию. Небо и лес приклеены к заднику, – это я стал-таки замечать на четвертый год. Но все равно делаюсь мягче и даже сентиментальнее. Как-то перестали отпугивать прямые изъявления чувств. В юности мы все боимся показаться смешными и напускаем на себя некоторую холодность. А вот каким, например, может быть ландшафт:

Река и поле были покрыты такой сияющей мягкостью, что в ней, казалось, истаяло тело певца. Нечто похожее случилось – с прелестной Канентой* на берегу Тибра. Она шесть дней ничего не пила, не ела в поисках пропавшего мужа (он был превращен в дятла), а потом уселась в тоске, запела, запела, и растворилась, и рассеялась в воздухе, создав точно такую вот меланхолическую дымку.

Еще очень точным бывает разговорный язык.

– Он, сука, длинный, как заяц. (И я подумал, что зайцы в самом деле непропорционально длинны.)

О машине: – А это металл, притом холодный металл, и он – вращается. (С вытарашенными глазами и ударением на слове «холодный».)

– Нервотрепалка (вместо нервотрепка, но конкретнее).

Мужик говорит кошке:

– Видишь, какой я хороший? Вот – принес...

(Не оттого ли мы все понемногу творим добро? И не поэтому ли им одним не спасешься?)

И опять скажу: лучше стал относиться к античности. Только не римской. Я думаю, древнегреческим образам очень повредили позднеримские копии. Через них-то по преимуществу мы и воспринимаем античность. Реализм в дурном понимании (интерес к запечатлению внешности) впервые возник у римлян. В качестве маски они взяли живую кожу и приспособили священный сюжет к своей голой истории. В ней исчезла двойная вазопись Илиады, где герои не столько дерутся, сколько оглядываются, и вот эти двойные жесты, исполненные динамики и оглядки на волю богов, прекрасны. А в Риме ничего симпатичного, сколько помнится, кроме Капитолийской волчицы, и то у нее скорее какой-то этрусский стиль.

– Жизнь надо толкать.

– Тот – здоровше. А у этого духу больше.

– Пустой шараш-монтаж, ловить нечего.

– Там тропинка – как паутина. И тайга. И зима. А населения нету.

Глядя на поезд: так вон оно, оказывается, что значил Змей Горыныч! Когда он весь в огнях извивается по холмам.

Мне раньше всегда казалось (и проверил на других, и они так же думали), что сирены, с которыми встретился Одиссей, походили на русалок. Вдруг смотрю: совсем наши сирены – в сцене Одиссей и сирены на аттической вазе V века до н. эры. Вот как давно в виде птиц. Кстати, в их пении не представлена ли идея предсмертного отождествления, в результате которого «я» растворяется в прекрасном объекте и душа, все позабыв, покидает тело? На тех же сундучках об Алконосте и Сирине сказано близко к индийской философии музыки: «Егда же в пение глас испускает, тогда сама себе не щущает». То же и с человеком: «И тако ум его весма пленится еже и лика (?) своего изменится». Самознание кончилось – начинаются райские сласти.

– Оттуда вылазишь такой, все равно что новорожденный... (О деревенской бане, где парятся в рукавицах и шапке, чтобы не обжечь руки и уши, а тело привыкает.)

– По снегу бегала тень, но когда мы оглянулись, то увидели; что это был не человек, а дым.

Про Елену (прекрасную) как-то забыли, что она дочь Зевса, и оттого весь сыр-бор загорелся: кому владеть? Ее перемещают, как куклу, из крепости в крепость, а ей все равно как будто, где и с кем целоваться.

Не есть ли раздоры богов у греков в принципе то же, что понынешнему можно назвать физикой души? Человек уподобляется посадочной площадке, на которую то и дело приземляются вертолеты. Сам по себе он ничего не значит – он сплошное чистое место и лётное поле.

– Какие фурии носятся над нашими головами?

Прекрасная Елена подобна деревянному «Палладиону», статуе Афины Паллады, которая упала с неба и сделалась защитницей Трои. Город пал, когда хитроумный Одиссей с Диомедом похитили эту статую, подсунув вместо нее Троянского коня. Они поступили с ней так же, как Парис с женой Менелая, обеспечившей владельцу покровительство Афродиты. Не так борьба за женщину, как за охранную статую, с которой начинается циркуляция богатств и культур.

Позднейшие попытки вывести мифологию из прозаической повседневности (Джойс, «Кентавр» Апдайк) подвижны не волей богов, но карамзинским намерением показать, что и крестьянки (и маклеры, и школьные учителя) чувствовать умеют. Различие между «Бедной Лизой» и «Улиссом» Джойса меньшее, чем между «Улиссом» и «Одиссеей». Только, может быть, Кафка с темой судьбы и вины заново прорывается к мифу. Его «Метаморфоза» подсказана Актеоном, который за то, что увидел купающуюся Артемиду, был превращен в оленя и затравлен друзьями-охотниками. Но опять же у Кафки в центре – переживания таракана (Оленя), для Актеона ж важнее девственный гнев богини.

– Эти боги были крепки, как коренные зубы. Не вырвать. Разве сгниют.

27 февраля.

Машенька-деточка. Письма сейчас от тебя идут поштучно, с ровными промежутками, добрые и ласковые, что твои кольца, и я ими уважен. Еще пришла в огоньках книга о Данте* в серии

«Жизнь замечательных людей», да «Голос» негритянского автора из серии переводчика, да детская книжица «Ой коники сиваші», малеванная Примаченко. Мило, но пустовато, в духе ее басен. Приятно, правда, когда заборчик лежит на земле в виде клетушки и небо как река, в которой плавает солнце. Но все это было и можно повторять до бесконечности, а в самом жанре чувствуется какое-то усилие, приноравливающее художницу к привычному примитивчику, которому и отводится место в подобающем дитячьем загончике. Все-таки она рождена не для чужих иллюстраций, и если уж прибегать к такому эксперименту, то было бы любопытнее так разукрасить что-то более взрослое, – скажем Гоголя, или что-нибудь совсем отдаленное, вроде «Мифов Древней Греции». (Интересно посмотреть на кентавра в примаченковском исполнении: вдруг он окажется самым что ни на есть натуральным.) А то все это немного похоже на крокодила в ванне – его жалко, ему нечего кушать и негде развернуться, и он для приличия (все же вывели в люди) старается походить на резиновую игрушку. А ты видела эту книжицу и как считаешь?

Егор умиляет и книжками и прибаутками, которые ничуть не смущают, только пусть он не учится дразнить других детей, а рассматривает это как чистую поэзию. Дразнилка про Лилю* мне очень понравилась, но если существует такая бедная Лиля, у которой на носу черти едят колбасу, да еще вдруг в веснушках, то объясни, что и к нему могут сочинить что-нибудь смешное, и согласился бы он на такое дразнение?

Пластилин же Егору, по-моему, следует выдать летом, обусловив строгое место и время лепки. Пусть имеет свою мастерскую и туда ходит в фартуке под какой-нибудь кустик. Но в пластилине то обидно, что каждый раз нужно уничтожать, и это, как в кубиках, огорчает и расхолаживает, и поэтому я предпочитал глину. А Егор огорчается, когда надо все ломать и начинать заново, имея впереди ту же перспективу?

Снова куклы.

Существует теория, что каменные бабы (тюркского происхождения – в отличие от наших – половецких богинь) изображают не дорогого покойника, погребенного где-то поблизости, но убитого им врага. Маловероятная эта теория основывается на том, что у некоторых народов (якуты, тунгусы и проч.) души умерших

были враждебны живым, и вот для того, чтобы мертвеца обезвредить, его обращали в камень. Тюрки старались как можно больше врагов обратить в камень. Если эта теория (очень ненадежная и содержащая массу натяжек) все же в какой-то доле верна, то в ее свете по-новому предстанет былина «О том, как перевелись на Руси богатыри». Былина эта загадочная. Помнится, всех поборов, под действием высших сил, все богатыри внезапно окаменели, то есть, говоря по-научному, были убиты кочевниками и навсегда закланы-изваяны в камне. Тюркская скульптура попутала и запечатала души, прекратив процесс возможного возрождения-перевоплощения. Не знаю, сопоставлял ли кто-либо русскую былинку с каменными изваяниями, рассеянными по Алтаю, Киргизии, Монголии, но было б забавно, если б они оказались заехавшими в такую даль богатырями.

Еще существует опубликованная в 1892 г. книга или статья под очень интересным названием: Д.А.Корончевский «Народное предубеждение против портрета» (не забыть когда-нибудь прочесть!), откуда явствует, что еще в XIX веке бытовали у нас магические представления, согласно которым в рисунке поселяется душа нарисованного, и, значит, искусство портрета волшебным и предосудительно. Помнишь, Маша, островитян*, что не желали фотографироваться? Вот по этому самому – чтоб мы их потом случайно не околдовали.

Но интереснее другое. Архаическая скульптура – совсем не портрет, но сосуд, в котором обитает душа запечатленного существа, будь то покойный родственник, враг или бог. Это-то и позволяет идолу быть таким безликим, массивным и неотесанным, приближаясь к камню более, чем к человеку. Он – вместилище, хранилище, темница души, а не тело. Его можно сравнивать с амфорой, в которой погребали прах. Присутствие именно этого, а не другого духа почти не отражается на поверхности камня, глядя на который, следует помнить не о том, кто здесь нарисован, но о том, кто в нем заключен, и накидывать мысленно образ тайного обитателя на его грубую оболочку, и вот тогда она вострепещет и заиграет. Как на фасаде дома не написано имя хозяина, а знают лишь посвященные, кому принадлежит, так и на лице истукана не ищите портрета. Оно – стеноподобно. Удобно ли жить в доме, представляющем точную копию вашего индивидуального об-

лика со всеми случайностями жеста, позы и настроения? Нет, мы выбрали бы себе более конструктивную форму. Так и тут – с Аполлоном Бельведерским. *Он-то как живой. Да в нем никто не живет.* Ему – в позе танцора – и поклоняться не тянет. Скифской бабе – тянет: в ней кто-то сидит. В архаическом искусстве главенствовала не идея изображения, а идея поселения. Кукла как дом и гроб потом сменилась более высоким пониманием в иконе: лица-окна.

1 марта.

Что же нам делать дальше, моя золотая Маша, пока ты не едешь, и спросить не у кого, как мы с тобой будем жить дальше и когда мне послать тебе это письмо? Хоть бы дала какие-нибудь письменные указания на этот счет, а то я в полной растерянности: сперва дожидаться тебя или потом? Во-первых, февраль короче обычного, но дело не в этом, я все жду телеграммы от тебя, а время идет, и я все думаю, что завтра прояснится, а оно не проясняется, и так каждый день. Я думал сначала, что успею с тобой свидеться, а потом уже отписать в этом же письме про свои впечатления, а теперь что получается – пятое число на носу, восьмое тоже, а восьмого и девятого выходные дни, и если даже я ухитрюсь кинуть это письмо шестого, раньше десятого оно вряд ли пойдет, так что, может, я лучше его девятого кину? С другой стороны, ничего не могу делать, кроме как ждать тебя, а письмо писать неохота, потому что я все же надеюсь тебя лично увидеть и даже про то, что ты дура мнительная, рассказать на словах, потому что какое же может быть с моей стороны благородство, когда на лице написано, кто ты мне и никто кроме?

Еще боюсь, ты приедешь под самые праздники, потому что сегодня телеграммы не было, и, значит, завтра, пятого, ты не можешь приехать, и остается один день, на шестое надеяться, а то не было бы поздно, два выходных дня чтобы не просидеть, и вот в таких бесплодных вычислениях все идет, мбю шею, и всё зря, ложусь спать, и не спится, и книжки из рук валяются, и никакая наука в голову не лезет.

В продолжение твоей прекрасной мысли о дуэльных пистолетах в виде цветка. Как принадлежность и привилегия касты или сословия (рыцарство, дворянство и проч.) оружие отделялось от

обыкновенной, бытовой вещи, смыкаясь отчасти с геральдикой: не зря на гербах так часто щит и меч, а те в свою очередь по значению приближались к гербу и перенимали как бы титул владельца. Оружие – это титулованное орудие. Оно, в принципе, аристократично, изысканно, демонстрирует честь и знатность, ему вверенную, им защищаемую. До сих пор сохранился обычай именно этого оружия. А в прошлом оно еще отчетливее было именным (для Зигфрида и меч нужен был особый, а для Энея – щит, недаром ковали боги), и на него не жалели средств, чтобы сделать не только могучим, но и уникально прекрасным. В дуэлях и даже в сражениях сохранялся оттенок театрального зрелища и священного действия, ибо рыцарский поединок являлся одной из форм Божьего суда, в котором, по идее, побеждал справедливый, и спор сторон разрешался с помощью этого скрестившегося в воздухе жребия, который и внешне нес на себе печать суда и лица. На бой надевали все лучшее, не боясь, что порвут и запачкают: человек представлял на поле боя со всеми своими достоинствами, что влекло соответствующую церемонию и костюмерию. От них нам достался мундир и парад, где в центре культа оружие. А когда-то сам бой был парадом и оружие несло на себе знаки представительства.

С другой стороны – его необычайность в этом парадоксальном, взаимоисключающем сочетании декоративной красоты и смертельного назначения. С богатого эфеса невольно глаз перебегаёт на лезвие, с цветочного стебля – на дырку дула. Эстетизация смерти, которой в этом орнаменте принадлежит последнее слово. Ее жало – это финальная точка в декоративном искусстве оружия, пуанта, на которой держится и вертится и танцует весь этот дивный узор. Поэтому красота оружия всегда страшна и мрачна, и сколь пышным бы ни был его антураж, он не внушает радости. Это в полном смысле «цветок зла» (по Бодлеру), венец боли и жезл смерти, производящий болезненное, жестокое впечатление. Любоваться оружием – влечься к подвигу и готовиться к смерти. Прекрасное здесь выступает в замороженном виде, и чем дороже и краше металл, тем глубже рана. «Ножи из золота стремятся прямо в сердце. Серебряные сносят голову, как лист травы» (Лорка). Красота оружия совсем не функциональна в нынешнем понимании: с утилитарной точки зрения она кощунст-

венна и неуместна. Но когда война еще не была производством и оружие не стало машиной, а в них центральную роль играли лицо и поза героя, это противоестественное сочетание цветка, сеющего смерть, было морально и эстетически оправданным. Красота собиралась на главном и была не безделушкой, но знаком избранничества и принадлежности к высокому строю чувств и обязанностей.

Это очень смешно, но как раз в этот момент с неба свалилась ты, и я бегу к тебе, а телеграмма опоздала.

4-5 марта.

Вышел я, Машенька, на улицу, а все течет и тает, и, едва побегал туда-сюда, валенки совершенно промокли. Вот за три дня произошла весна. И как твое сердечко? – оно болело, наверное, от этих температурных причуд, а мы и не знали.

А ты заметила, как я к тебе ласков, или нет?

Вчера весь остаток дня прогулял, благо погода, а дома народу полно, душно и грустно. А ты снилась, и вообще, наверное, все дело в любви состоит в том, что кто-то круглосуточно снится в продолжение и сопровождение жизни.

А сегодня нам осталось сидеть на один день меньше, чем мы сидели, и с утра солнышко, я проспал девять часов и очень тобой доволен, и от свидания на душе сплошное сияние. Все удивляются моей подстриженной бороде и сравнивают уже не с дневальным, а с генералом. А я все никак не могу войти в обратную жизнь и привыкнуть, и новых писем еще не получил.

А снег протаивает, оставляя темноватые впадины, похожие на травку.

Тебя обожаю и хочу жить под одной крышей, как в шалаше. Чтобы не откладывать еще на один день, кидаю это письмо с вечера. Потому что сейчас все равно ничего не придумаю новенького, и надо слегка отдышаться и собраться с мыслями.

Целую тебя и Спасибо тебе.

А.

9 марта 1969.

(Чуть не написал «десятое марта». Подумать только – уже десятое марта.)



...с прелестной Канентой... – Канента, дочь Януса и нимфы Венилии. См.: Публий Овидий Назон. «Метаморфозы».

...пришла в огоньках... – В одной бандероли с журналом «Огонек» была книга И.Н.Голенищева-Кутузова «Данте» (М., 1967).

Дразнилка про Лилю... – Из моего письма: «Ну вот, начинается заурядная родительская песенка: на нашего хорошего мальчика дурно влияют плохие мальчики.

Во всяком случае, бабушка (а Егор попадает к ней иногда на субботу-воскресенье) не упускает случая воткнуть мне, что Егор принесит из группы всякие прибаутки и дразнилки.

Например:

– А у Лили на носу черти ели колбасу!

– А у Лили на макушке выросли свиные ушки!

Но меня почему-то такая образованность Егорыча не очень смущает. А тебя?

Бабушка же против всего, что исходит от меня, и в своем неприятии до смешных утверждений, что в детском саду Егору было бы лучше, чем в группе, потому что там воспитательницы со специальным образованием и такого безобразия не допустили бы.

И все доводы, что в детском саду группы по 25 человек и поэтому присмотр хуже, что в детских садах мало гуляют (а в некоторых и совсем не гуляют), что в детских садах много болеют, и прочее, и прочее, – совершенно не действуют. Бабушка их просто не слышит и твердит свое. Все-таки она удивительная женщина и вечная для меня загадка».

Помнишь, Маша, островитян... – Мы с А.С. как-то плыли из Нарьян-Мара в Архангельск с заходом на остров Колгуев, где наш океанский пароход был атакован колгуевскими ненцами, которые привычно для всех интересовались пароходным буфетом. Мы, естественно, схватились за фотоаппараты (колоритные лица, одежды), но не тут-то было. Ненцы закрывались и отмахивались. Сдалась нам только одна, уже очень пьяная ненка.



ПИСЬМО СЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ

С твоей легкой руки (целую ручку) меня опять потянуло к Пушкину. Но я, наверное, не скоро о нем тебе расскажу чего-нибудь еще, потому что надо заново вживаться, а это всегда долго. Сижу и тихо вживаюсь, а за окном падает снег, и так дорога возможность смотреть в окно и писать тебе, когда никто не мешает.

Я о тебе скучаю и все вспоминаю сначала, и ты у меня каждую минуту вертишься на языке, и что же будет дальше при таком отношении, когда все мысли витают в одну сторону и ты ходишь по улице в сплошном их окружении. Но я забыл спросить, как тебе понравилась картинка с кораблем и можно, я иногда тебе буду прикалывать картинки, а то ты никогда не пишешь, что тебе понравилось в письме, и я не знаю, не скучно ли тебе со мною.

Еще я забыл попросить тебя спеть про Каир*, уж очень устала, и расспросить, как Егор его слушал, потому что это очень хорошо, только он еще маленький и что понимает.

И очень запомнился стол со всеми твоими угощениями, и какие мы близкие, одна родня, стол и дом под кустом, и можно ли быть роднее и ближе, а ты как думаешь?

Пришла телеграмма о твоём благополучном приезде, и я представил, как ты побежишь к Егору, и очень вам завидовал – обоим сразу. И понемножку приходят письма предотъездной еще поры – из такого прекрасного далека, что даже странно их читать. А также я получил твой каталог с карельской выставки, правильнее сказать Олонецкой, с чудесными иллюстрациями, и когда ты успела обо мне позаботиться, на штампе не разобрать.

Одновременно с этой бандеролью пришла другая – журналы-

газеты и книжечка-путеводитель изящной серии «Владимир–Суздаль–Юрьев-Польской». (Теперь у меня три таких книжечки: Киев, деревянный Север и эта, приятное издание; вообще смотрю, пока я тут нахожусь, книги стали издаваться краше и разнообразнее, и меня иногда угрызает легкая зависть к такой вот полиграфии.)

А если ты так хорошеешь в моем присутствии, то тебе и следует жить при мне.

И потом еще, я больше с тобой научился любить зверей. Ты меня в этом очень поддержала.

А в журнале «Знание – сила» № 2 есть очерк о лошадях одной специалистки, и там сказано по поводу ахалтекинской породы, что она из Бактрии (Ср. Азия), которую Аристотель называл не иначе как «золотисто-конной» страной, откуда и Буцефал Македонского, и бывали редкой радужной масти, а также цвета утренней зари. И вот эта лошадиная специалистка говорит, что на русских иконах изображены сплошь ахалтекинцы, или, как их называли на Руси, аргамаги: «Длинное сухое тело, высокая лебединая шея, маленькая гордая голова, стройные ноги, поднятые со свойственной только туркменским лошадям кошачьей грацией. Кажущаяся на первый взгляд ярко выраженной стилизацией, лошадь русских икон на самом деле абсолютно реалистична».

Я этой лошадице почему-то верю. Мы часто недооцениваем специфику предмета, рисованного древними, и особенности содержания принимаем за изгибы формы.

Пусть мне выпишут журнал «Знание – сила».

14 марта.

Но что творится, Машенька, с нашей погодой, если б ты знала! Не переставая идет снег, и метель, и за несколько дней намело больше, чем за всю зиму. Это отместка за бесснежный январь-февраль, и только мы таять собрались, началась зима по всем правилам. Законно, но с вагонками из сил выбиваюсь, они застревают, ломаются, и все превращается в один липкий комок. Хорошо, унес немножко шоколада со свидания, не Арктика, конечно, но все равно калории, на работу собираешься как в холодную воду, и я перешел в твою голубую майку, потому что старая тотчас расплзлась (вторая за эту зиму). Одна надежда – через

две недели апрель, как-то не верится, но здравый смысл подсказывает, что в апреле такой снегопад маловероятен.

Все-таки русская зима, как ни крути, длится полгода, и на этот раз она мне успела порядочно опостылеть, не то что в прошлом году. Надоела не так сама зима, как мое к ней чересчур производственное отношение: это унизительно, наконец, так понимать природу, которая ждет, чтобы на нее любовались.

А книга о Данте Голенищева-Кутузова оказалась весьма посредственной, и только одна история достойна внимания. После смерти Данте тринадцать последних песен «Рая» недоставало, и, подумав, что поэма осталась не законченной, сыновья Данте решили сами ее дописать, поскольку немного владели рифмой. Вдруг сын Якопо видит сон: явился Данте в белом одеянии, от лица его исходило сияние. Сын спросил, закончена ли комедия, и Данте, взяв его за руку, повел в свою спальню и, прикоснувшись к стене, показал, что так долго они искали. Наутро, понятно, они идут туда и на том самом месте в стене, за циновкой, находят нишу, где хранилась рукопись.

А в газете «Молодой ленинец» 24 декабря рассказывается такая история со ссылкой на итальянский журнал «Темпо». В 1963 году в одной американской семье погиб 12-летний мальчик, а спустя три года мать родила другого, который, немного подросши, начал обнаруживать навыки и привычки погибшего, а также знание вещей и людей, которых он не мог видеть, но хорошо знакомых покойному брату. Так, расспрашивал о собаке, без него помершей, о фильме, шедшем десять лет назад, и, когда ему показали фотографию детей, с которыми учился брат, он всех узнал и назвал по имени. Короче, случай полного и скорого метемпсихоза. Сейчас им вплотную занимаются ученые. Как тебе нравится?

16 марта.

Новые письма от тебя теперь нескоро придут. А старые я все получил. И марочку. Хороший порядок. Забыл спросить: эти колечки, что ты показывала*, останутся у нас или все сдать надо? Хорошо бы с цветком и с глазами оставить. С глазами, пожалуй, даже больше меня привлекает, чем цветок: лягушка – и та, которая царица, и та, которая путешественница. И на тебя похожа.

И очень понравилось, как Егорыч гуляет на крыше*, но все

удивляюсь, как это ты мне об этом раньше не написала. Опять говорю: записывай на бумажку новости, чтобы не забыть. Я всегда так делаю и поэтому в письме не упускаю никаких мелочей, желая тебе понравиться и пригодиться в жизни.

Например, по музейному делу обрати внимание, что под Ригой имеется основанный еще в 20-е гг. уникальный у нас этнографический музей-парк, куда свезена архитектурная старина. Раньше его называли «Музеем вольной природы», и, кажется, такое название больше ему отвечает. Дома, амбары, бани, школа-рига, аптека, кирха, корчма – более 50-ти строений 17–19 вв., с попыткой воссоздания и старого ландшафта и внутреннего убранства, так что даже научные сотрудники ходят в старинных национальных костюмах. Об этом было упоминание в «Лит. газете» (26 февраля, статья А.Кузнецова), но я еще расспросил очевидцев, и все очень хвалят.

На подобную тему – организация музея в естественных условиях – лучше всего у Флоренского, предлагавшего Сергиев Посад превратить в заповедник древнерусской культуры. Хорошо бы эту работу приспособить к проблеме экспозиции: в ней предусмотрена синкретичность искусства, вплоть до пения и струения ладана в восприятии архитектуры. На нее могли быть ссылки в «Земле и небе», и, если не найдешь конспект, – отдельный сборник «Троице-Сергиева Лавра», Серг. Посад, 1919, посмотри в Ленинке, в подсобном каталоге числится, да ты, наверное, помнишь, как я носился с ним, – вот где про музей наиболее глубоко, и вообще о древнерусской культуре, стоило б и процитировать.

А ты спрашивала как-то о рижском музее истории медицины, недавно видел каталог с картинками, к сожалению, все муляжи, как когда лечили в натуральную величину, может, и затесалась какая-нибудь средневековая аптека, но трудно сказать, не видя, что это такое. Зато мне тоже хвалили краеведческие музейчики Латвии, которые, по-видимому, содержатся в хорошем порядке, – но это для отдельной специальной поездки.

17 марта.

Из присланного тобою каталога возникает вопрос к «Огненному восхождению», откуда и что такое черный круг внизу, в го-

ловах лежащего Илии или в ногах Елисея? – никто не знает. В этих красном и черном кругах есть нечто супрематическое, но занимает смысл.

Зато в композиции Успения стало ясно, что на руках у Сына душа. Это подтверждается соответствующим текстом – на данный праздник. И вообще, надо сказать, в иконописи многое проявится и обнаружится по-другому, если на эти сюжеты взглянуть в свете сопровождавших их некогда служб и песнопений (что почти не применяется в искусствоведческих сочинениях). Например, Успение. Удивительная загадка: почему в ранние века (а возможно и в поздние – не проверяли) самым популярным храмом на Руси был Успенский. Более 50% названий, если считать по кафедральным соборам, – Успенские (еще много Преображенских (понятно), но мало Рождественских (зато много Рождества Богородицы)). И вот догадка: не заключена ли в Успении, помимо Матери, столь первостепенной у нас, еще идея пасхальности, преобладающая и господствующая – на том основании, что Успением ведь прославлялось по сути и Ее воскресение-вознесение? Оказалось, что служебный праздничный текст протягивает соломинку для такого построения. А именно задостойник (т.е. то, что читается вместо «Достойно есть...») на Успение гласит согласно древнерусской традиции: «Побеждаются естества уставы о тебе, дево чистая, девствует бо рождество и живот обручает смерть, по рождестве дева и по смерти жива...»

Мне очень нравится это «побеждаются естества уставы», а «живот» здесь почти такой же, что и в пасхальном слове на Успение, и празднуются эти две победы над уставами естества, и эта двойная победа определила значимость праздника.

А вот какую легенду мне довелось прояснить в связи с Троеручицей (искал объяснений, и никаких цветов, которые срывала бы третьей рукой, не нашлось, но кроме Дамаскина, у которого отросла невинно отрубленная рука, еще существует версия, по всей видимости апокрифическая). Скитаясь по земле, Мария зашла однажды переночевать в кузницу. Там были кузнец и его безрукая от рождения дочка. Вот как это выглядит в стихотворном изложении:

В двери кузницы Мария
Постучалась вечерком.

– Дай, кузнец, приют мне на ночь,
Спит мой Сын, далек мой дом.

Отворил кузнец ей двери:
Мать Божия стоит.
Кормит Сына и на пламя
Горна мрачного глядит.

Летят искры, ходит молот,
Мастер дышит тяжело,
Часто дланью огрубелой
Вытирает он чело.

Рядом девочка-подросток
Приютилась у огня,
Грустно бедную головку
На безрукий стан склоня.

Несколько строф в своей тяжеловесной и угловатой манерности великолепны. Но в общем-то стих обедняет сюжет, крася его под Ушакова и переводя в сентиментальное русло уличной песни прошлого века («Шел по улице малютка, посинел и весь дрожал»). Последняя сама по себе неплоха, но в данном случае сюжет как-то больше и крепче речевого строя, которым он преподносится. Кузнец кует гвозди и вдруг начинает пророчествовать, что вот этими самыми гвоздями... От ужаса Мария выронила Младенца, а безрукая девочка сделала движение поймать, удержать и – удержала. Стих, к сожалению, расслабляет и разжижает это чудо.

Говорит кузнец: – Вот дочка
Родилась калекой, что ж.
Мать в могиле, дочь со мною,
Хоть и горько, да куешь.

(Эта биографическая, пояснительная строфа совершенно лишняя. Дальше выравнивается, хотя я не мог удержаться, чтобы не заменить одного «малютку» Младенцем и «ручки» руками.)

Вот начал ковать я гвозди,
Четыре из них меня страшат,

Эти гвозди к древу казни
Чье-то тело пригвоздят.

Я кую и словно вижу:
Крест тяжелый в землю врыт,
На кресте Твой Сын распятый,
Окровавленный висит.

С криком ужаса малютку
Уронила Божья мать.
Быстро девочка вскочила,
Чтоб Младенца удержать.

В Богом данные ей руки
Лег с улыбкою Христос.
– Ах, кузнец, теперь ты счастлив,
Мне же столько горьких слез!

Мне вспомнилось, что в древнерусской традиции было считать кузнецов колдунами. А сцена смотрится в манере не позднее XIV века, чтобы все персонажи были коротконогими и большеголовыми. Может быть, Рембрандт тоже подошел бы к тону – за счет горна и сияющих, как свечи, гвоздей, вперемежку с сыплющимися искрами и темным пением мужика-кузнеца.

А снег опять валит. И нет сил его удержать.

18 марта.

Генка мне прислал большую фотографию про то, как он с Ниной расписывался в загсе. От жениха видна одна макушка, хорошо заросшая, правда, новым волосом, а лица совсем не видать – наклонился подписываться. Ох уж эта мне потребность в запечатлении семейных торжеств (помнишь в деревне непонятную страсть фотографировать покойников – откуда она, или важен ритуал?). И вот я злюсь и смеюсь вместо восторга, потому что изо всех новобрачных хорошо получилась одна столоначальница. И почему-то вспоминается Василий Федорович в парикмахерской*.

А тут опять проводы. Костюмчик много портит: ботиночки, брючки выглажены – на снежном фоне смотрится нелепо и жалко,

обряд обмывания и обряжания, обычный ватник куда вальяжнее. И признаки потери за месяцы до отъезда, стена с той и с другой стороны, требуется усилие, чтобы говорить с остающимися уже живущему другим и в другом, как и нам не хочется, неловкость, не наш, почти отстранение, когда тот через каждое слово спохватывается без нас и вне нас, как неживой, и смотрит куда-то вдаль выцветшими глазами, – с сознанием долга провожаешь, но только тело, оболочку, да и то не очень похожую. Зевание: душа витает.

Не пойму только, отчего я с тобой совсем не ощущаю этот разрыв, эту поту- и посюсторонность?

А еще я получил «Декоративное искусство» и много люблюсь на Переславль и другие виды-наряды. Текст же по Переславлю серенький, воробьиный, а можно было бы куда как. И все время потребность обмениваться с тобой впечатлениями. Вот, например, стулья – какой бы ты выбрала из представленных дизайнов, интересно, я бы – португальское кресло. А то все какие-то сосиски или унитазы.

И даже про дымники, в которых ничего не смыслим, можно было бы лучше придумать. Когда к 19-му веку терем исчез, он возносится, и его резная душа возникает в дыму и из дыма и вьет на трубе птичье гнездо. Воздушный замок, которым еще грезит жилье, романтизм печной трубы, скворешник, в котором никто не живет, но есть потребность – прибить скворешник.

Все-таки живые картинки очень много помогают, и сознание об них зажигается, как спичка. И ты правильно поступила, что прислала «Д.И.». Я проглотил его – как пирожное – одним хамком.

И бывают же совпадения. Смотрю на петроглиф с Белого моря (по книге: Даманский, Столяр, стр. 145) – на нем человек с луком, а из тела одновременно торчат *наконечниками наружу* еще несколько стрел, и исследователь пишет: «перед нами какой-то фантастический могучий метатель стрел, пускающий их не только луком, но и всем своим телом». Я даже подпрыгнул: лет пятнадцать назад была точно такая идея: мифологический герой поднапрягся и выпустил из груди стрелу по врагам. Они очень удивились. Но откуда мог тогда залететь в голову этот образ?

Метафора – это память о том золотом веке, когда все было всем. Она осколок метаморфозы.

Представляете, уже Гесиод жил в железном веке!..

– Тут у меня мозги и прозрели.

А вот смотрю – фронтиспис Юрьевского Евангелия (нач. XII в.) – орнаментальная схема храма. Так, впрочем, кажется, и в древнеармянских, и в грузинских рукописях. При входе в книгу – храм. Да потому что книга – собор. (К Земле и Небу, рисунок довольно распространенный, но чтоб не искать – в «Культуре Древней Руси», Л., 1967, стр. 57.)

Кстати, интересная справка: в древнегреческой драме действие никогда не происходит внутри дома (возможно потому, что театр был под открытым небом). Сцена обычно изображала фасад здания, чаще всего дворца или храма, перед стенами которого разворачивалось представление (см.: И.Тронский. История античной литературы, Л., 1947, стр. 113–114).

И вот пришла мысль: не заимствована ли отсюда иконописная особенность – изображать то, что в доме, на фоне наружных его сторон. Античная сцена могла запасть в нежную душу византийца, и он усвоил этот способ выворачивания нутра на поверхность, на зрителя, – театр повлиял на живопись.

– Глядя на эти розовые облака, можно было подумать, что это и есть лазурный берег.

19 марта.

Солнышко. Снова с морозом. Хорошо. А то я с этим снегом натерпелся. И даже собрался болеть, но перемогся и раздумал.

Новых писем от тебя после свидания все еще не поступило, а я так разошелся, что, видишь, сколько накопил к двадцатому-то числу, сам не думал, и поэтому нету резона откладывать отправку письма, и я его сегодня тебе пошлю. Тем более – на день отложишь, а там как раз суббота с воскресеньем подоспеют, и опять задержка, а в этот месяц ты и так давно сидишь без письма.

Откуда что берется? Я думаю, все дело в пространстве. Человек, открытый пространству, все время стремится вдаль. Он общителен и агрессивен, ему бы все новые и новые сласти, впечатления, приобретения. Но если его хорошенько сжать и свести до кондиции, душа, лишенная леса и поля, распахивает ландшафт, исходя из собственных неизмеримых запасов. Этим пользовались монахи. Опять же, отчего мыслители и художники так час-

то царствовали – «в прекрасной бедности, в роскошной нищете?» Для того, чтобы открыть внутреннее пространство. «Раздай имение свое» имеет тот же смысл, что и сбрасывание балласта. Кто за двумя зайцами – но если зайцев отнять, кто появится? Не «отверженные» (Гюго), а – погруженные. Не «униженные и оскорбленные» (Достоевский), а – погруженные. Водоемы. Не люди – колодцы, озера. Полнота последнего уединения.

Минимальное пространство – как раз по размерам нашего тела – дается во сне – и мы выскакиваем – куда? Когда мы засыпаем, мы выпускаем дух, двигаясь, однако, не в сторону прочь, а в себя. Мы истаиваем во сне и, ничем не обремененные, без труда переплываем на другой берег реки. Загнанной в клетку душе не остается ничего другого, как выйти на просторы вселенной с другого бока. Но предварительно она должна хорошо почувствовать эту безвыходность.

А с Проппом я обернулся бы не к августу, а к июню.

Помню и целую.

А.

20 марта 1969.

P.S. Я уже собирался на этом письме закончить, как вдруг (сегодня четверг – бандерольный день), во-первых, получаю «Симплициссимус» (ура-ура! И какой толстенький, красавчик!), во-вторых, мне отдают загранпосылку (только чай не отдали, и это очень жаль). Посылка при ближайшем рассмотрении оказалась более чем скромной. Смех сквозь слезы. Самое ценное в ней – четыре трубочки для авторучки и банка растворимого кофе. Все прочее на один зуб. Все равно мы ее схрумкаем.

Я к тебе так расположен, что все писал бы и писал, но нет уже ни места, ни времени. Поэтому будь здорова, радость моя Машенька.



...забыл попросить тебя спеть про Каир... – Среди кое-какого приданого, принесенного мной в мир Синявского (верные друзья, например, отборный книжный шкафчик или сказочный город Переславль-Залесский), было несколько песен из тех, которые сегодня называются

«авторскими». Одна из них, еще довоенная, попала ко мне от старших приятелей, приписывалась некоему Женьке Аграновичу и начиналась словами: «Это было в городе Каире, / где прекрасных глаз не сосчитать, / где проходит жизнь в любви и мире / и где нам с тобою не бывать...», а дальше про пламенный пожар, принцессу, бродягу и прекрасную смерть.

Работая над примечаниями к письмам, я стала разыскивать следы "Каира" и вдруг к большой радости обнаружила автора – живого и здорового Евгения Аграновича 84-х лет.

...колечки, что ты показывала... – На очередное свидание я привезла целую коллекцию своих работ.

...как Егорыч гуляет на крыше... – Егорова группа размещалась в доме Нирнзее, в момент строительства (1913–1914) самом высоком доме Москвы. На плоской крыше этого дома до революции был ресторан, а в наши с Егором дни – издательство «Советский писатель».

...Василий Федорович в парикмахерской. – Василий Федорович (фамилии уже не помню), невероятно колоритный мужик из деревни Лешуконское, что на реке Мезени, которую мы с другом Голомштоком в 1958 году проплыли сверху донизу. Василий Федорович настолько поразил воображение, что мы пригласили его в гости в Москву. Каково же было огорчение, когда человек, блистательный в своем мире, попав в чужой московский, пошел в парикмахерскую и... сделал себе шестимесячную завивку.



ПИСЬМО СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОЕ

Когда я пишу тебе письмо, то словно иду к тебе в гости, и весь прыгаю, и сияю внутри, и пою песни, и тащу тебе все пустяки, какие имею в мыслях. Но что делать, если после этого невозможно остановиться, и оторваться, и перестать с тобой разговаривать, и ничего, кроме этого, не успеваю делать, а время идет?! И тут я слышал – так прямо и сказал один, без иронии, с полной серьезностью, и где еще бывает такое: – Ко мне приехала моя любовь.

Вот и ты ко мне приезжала тоже...

Ну а еще я эти дни, как в прошлый раз бросил тебе письмо в ящик, занимался хозяйством. Отдал подшить валенки, которые совсем прохудились с этим снегом, на будущую зиму, и наверное странно так далеко заботиться, тем более в таком положении, но, с другой стороны, другая зима не за горами, здесь времена года теснее смыкаются, а кроме того, чего же их было прятать в мешок дырявыми, когда есть возможность и приходится быть заботливым к своему имуществу, если это нетрудно. А это нетрудно. И их быстренько починили. И пришел пуговицы, везде оторвавшиеся, и выкупил ларек, и мелкую баночку из-под заграничного сыра превратил в удобную масленку, как раз по карману, и ношу в ней маргарин на работу, он нынче молочный и очень вкусный, а то туговато без каши, которую мне отменили, ну а маргарин этот я в первые месяцы есть не мог, а теперь с большим аппетитом, потому что все относительно, и у меня тоже есть лук, дареный, и вот луковку с бутербродом очень бывает душевно съесть где-нибудь в двенадцатом часу. А посылочная шоколадка оказалась-таки с ликерной начинкой – где же тут чувство юмора?

А знаешь ли ты, Маша, что в номере первом «Москвы» опубликованы «Черные доски» солоухинские с подзаголовком: «Записки начинающего коллекционера», и рассказано в этом очерке, как он объезжал деревни и собирал иконы, и снимал пробы, и что из чего получилось, с массой подробностей в лицах, иногда близких, а местами раздражающих легкой вариацией рвательства, но постарайся все же достать и прочесть, тебе будет интересно, ну просто очень интересно. И что-то весь этот журнал в древнем колорите, какая-то девица со странной фамилией Пистунова много пишет последнее время о старине, и щипачевские стихи о глазастом парне, оказавшемся Андреем Рублевым, и удивительно графоманские письма юного Есенина к М.Бальзамовой, – словом, полезный номер.

А еще существует на свете любопытная, видно, книга А.П.Бахрушина «Кто что собирает» – по коллекционерскому делу.

От тебя никаких писем не имею, но живу и дышу бандеролями, одна другой прекраснее, и радуюсь ими, как маленький. И вот еще получил корни волшебной сказки*, от которых в восторге. Эта книга, когда ее читаешь, рождает столько побочных мыслей, что даже кружится голова. И ты моя кормилица и поилица.

25 марта.

В древнеегипетской повести о двух братьях есть такая хорошая фраза – о башне, которую построил герой собственными руками:

«Она была полна всяких хороших вещей, которые он сделал, чтобы дом был наполнен».

Сама природа украсила голову лицом.

– Я был молодой, физически здоровый, ничего не боялся.

– Душа все предчувствует, но предсказать не может.

– Баба выбей окна.

– Пурды-пурды (иностранный язык).

Не спеши, давай послушаем эпическое течение времени.

Трехцветная кошка, в-четвертых вымазанная зеленкой.

– Он – ученый человек. Но хороший. (Фраза мне приглянулась не потому, что относилась ко мне – хотя тоже приятно, – но оттого, что трудно ученому быть одновременно хорошим.)

– Но закуски не жди! Что у меня? – душа да – ... (Я думаю, по-

следний предмет родился из слова «закуска». Вообще, человечество в гораздо большей степени, чем подозревает об этом, говорит в рифму.)

– А вы зачем ругаетесь? – Да это у меня так: для красноречия.

– Ох, и посмеялся я в 59-м году: мужик в яму упал, а за ним – баба.

И кашель двух стариков ночью, похожий на диалог. Послушав их немного, вступает третий.

Или – один, говорил с собою на два голоса: хриплым и страшным спрашивал, спокойным, своим – отвечал. Диалоги.

– Сам инстинкт души говорит.

– Деньги такой соблазн, что от них никто не отказывается.

– У меня невменяемость на 45%.

А слово «чистопись» (о бумаге, о Пушкине) услышалось во сне.

В музыке Моцарта, Гайдна сохраняется значение благовеста. Только у них это стало благовестом любви и весны.

26 марта.

Давай, Машечка, вернемся к Пушкину, за которого давно не брался, и поэтому надо сперва поправить в давешнем разговоре о нем – после цитаты «Возок несется чрез ухабы».

Вместо: «...о кругообороте обычаев, знакомые любому дошкольнику», надо: «...о круговороте обычаев, знакомые любому дошкольнику».

Вместо: «С Пушкиным возникла традиция...» – «С Пушкиным появилась традиция...»

Вместо: «Пушкин нарочито, в открытую, писал роман ни о чем» – «Но Пушкин нарочито писал роман ни о чем».

Вместо: «...из отговорок, рассредоточивающих внимание на полях...» – «...из отговорок, уводящих наше внимание на поля...»

Вместо: «...играющая первую скрипку в интриге» – «...играющая первую скрипку в коллизии».

Вместо: «вавилонами заторов» – «вавилонами провололочек».

И последняя цитата («Уж восемь робертов сыграла...») ни к чему, и перед ней слегка по-иному – а именно:

Но вот гости с трудом откушали, утерлись и ждут, что что-то наконец начнется. Не тут-то было. Мысль в онегинской строфе

движется не прямо, а наискось по отношению к взятому курсу, благодаря чему, читая, мы сползаем по диагонали в сторону от происходящего. Проследите, как последовательно осуществляется подмена одного направления другим, третьим, пятым, десятым, так что к концу строфы забывается, о чем говорилось в ее начале.

В итоге периодически нас относит за раму рассказа – на простор не идущей к делу, не важной, не обязательной речи, которая одна и важна поэту с его программой, ничего не сказав и блуждая вокруг да около предполагаемого сюжета, создать атмосферу произвольного, бескрайнего существования, в котором весь интерес поглощают именины, да чаепития, да встречи с соседями, да девичьи сны – растительное дыхание жизни. Роман утекает у нас сквозь пальцы, и даже в решающих ситуациях, в портретах основных персонажей, где первое место отведено не человеку, а интерьеру, он неуловим, как воздух, грозя истаять в сплошной подмалевок и, расплывшись, сойти на нет – в ясную чистопись бумагу. Недаром на его страницах предусмотрено столько пустот, белых пятен, для пушей вздорности прикрытых решетом многоточий, над которыми в свое время вдосталь посмеялась публика, впервые столкнувшись с искусством графического абстракционизма. Можно ручаться, что за этой публикацией опущенных строк ничего не таилось, кроме того же воздуха, которым проветривалось пространство книги, раздвинувшей свои границы в безмерность темы, до потери, о чем же, собственно, намерен поведать ошалевший автор.

Тот поминутно уличает себя, что опять зарапортовался, винится в забывчивости, спохватывается: «а где, бишь, мой рассказ несвязный?», лицемерно взывает к музе: «не дай блуждать мне вкось и вкривь», чем лишь острее дает почувствовать безграничность неразберихи и превращает болтовню в осознанный стилистический принцип. Вот где пригодились ему уроками эротической лирики выработанные ужимки обворожительного дендизма. Салонным пустословием Пушкин развязал себе руки, отпустил вожжи, и его понесло.

Едва приступив к «Онегину», он извещает Дельвига: «Пишу теперь новую поэму, в которой забалтываюсь донельзя» (ноябрь 1823 г.). А вскоре под эту дудку подстроилась теория: «Роман тре-

бует *болтовни*: высказывай все начисто!» (А.А.Бестужеву, апрель 1825 г.).

Болтовней обусловлен жанр пушкинского «романа в стихах», где стих становится средством размывания романа и находит в болтовне уважительную причину своей беспредельности и непоседливости. Бессодержательность в ней сочеталась с избытком мыслей и максимальной попаданий в минуту в предметы, разбросанные как попало и связанные по-обезьяньи цепкой и прыткой сетью жестикуляции. Позднее болтливость Пушкина сочли большим реализмом. Он ее определял по-другому:

Язык мой враг мой: все ему доступно,
Он обо всем болтать себе привык!..

Болтовня предполагала, при общей светскости тона, заведомое снижение речи в сферу частного быта, который таким образом вытаскивается на свет со всяким домашним хламом и житейской дребеденью. Отсюда и происходил реализм. Но та же болтовня исключала сколько-нибудь серьезное и длительное знакомство с действительностью, от которой автор отделялся комплиментами и, посылая на ходу воздушные поцелуи, мчался дальше давить мух. С пушкинского реализма не спросишь, а где тут у вас показано крепостное право? и куда вы задевали знаменитую 10-ю главу из «Евгения Онегина»? Он всегда отговорится: да я пошутил.

28 марта.

Начинаю, детки, получать ваши письма, написанные после свидания, и к сегодняшнему дню получил их четыре штуки; первые две пришли 27-го – вот как долго.

Егор за это время очень преуспел в рисовании, которое меня удивило даже больше, чем его буквы: он как-то внезапно и непонятно как (для меня) перешел на фигуративную живопись. Кто его научил, что у солнышка рожица, и как это он вообще додумался вместо обычного каляканья изобразить человечка и зверя с зубами?

А я только недавно узнал, что на иконах солнце потому зеленое, что оно в затмении, и соответственно луна красная: «и луна в кровь переложися».

А по Тихону Задонскому душа не чем иным, «как токмо... первообразным своим, удовольствоваться не может». Понятно, почему лицо стало основой иконописания. Лицо – зеркало души, а душа – зеркало неба.

Тоже радуюсь на фотографии, что ты прислала, и они вносят новые оттенки в трактовку этих цветов. Явственная тенденция сблизить вещь с живым существом. Даже на цветке у четырехствольного зверя нижние завитки несколько напоминают глаза, а все вместе смотрится эдакой мордой чорта, пастью ада. Огнестрельное оружие здесь еще мыслит себя огнедышащим и громоносным драконом. Оно удивляется собственной, недавно изобретенной способности – убивать с помощью пороха, и этим удивлением и восхищением собой подогреты его подчеркнутая декоративность и образность. Не будучи в полном смысле изображениями зверей, они ведут себя как образины. Курок у этих пистолетов еще помнит, что когда-то он был петухом. (Кстати, слово не только в русском, но и в немецком, откуда оно скалькировано – *Haahn*, и в др. языках произошло из кура – петуха.) И каждый пистолет глядит пушкой (своим видом превышая свои убойные возможности) – исключением из общих правил, ценной резкостью, чудным монстром. Эти стреляющие инструменты экзотичны, как редкие породы животных – леопарды, гиппопотамы. (Недаром один из видов пушек называется «единорогом».) В них слышится отзвук древней молвы о страшилище-василиске, о Медузе-Горгоне, убивающей на расстоянии взглядом. И поэтому в их красоте бездна язвительности и драчливости, и всякие шпунтики и крючочки, необходимые в боевом механизме, мнят себя коготками, клювами, хохолками – клыкастой маской.

Но, возможно, оттого, что ими уже сделан шаг к машине, работающей в ускоренном темпе на производстве зла, в этих превеличенно декоративных организмах есть что-то извращенное, упадочное и, я бы сказал даже, декадентское. Какая-то манерность, жеманство, эстетство проглядывают, мне кажется, в этом железном выкручивании на краю смерти. Уже попахивает анекдотом, авантюризмом и барышом. Таким пистолетом удобно сразить соперника и восстановить честь, но трудно защищать правду, спасти отечество, вершить высший суд. (Для того надобен меч.) Они слишком самовлюбленны, тщеславны в своей в общем-

то нетрудной задаче – спустить курок и выплюнуть пулю-дуру. По сравнению с благородным холодным оружием их внешнее великолепие слишком зиждется на человеческой хитрости.

(Это не в опровержение старой мысли о гербах-кинжалах, но в дополнение и конкретизацию той преамбулы).

30 марта.

Не знаю, как ты там сейчас одна справляешься, Машенька. Очень вас жалко и страшно за вас, маленькие мои. Если бы знать подробнее – какая температура и что и где болит у Егора...

А этот грипп может быть и весьма продолжительным, и надо быть с ним терпеливым.

Меня не очень угнетает, что свидание откладывается, – были бы только вы здоровы. Можно ведь и потом, и в конце месяца приехать, и даже в следующем, ведь оно же от этого не пропадет, и даже если в году не уместится три общих свидания – ну, одно из них перейдет куда-нибудь на январь, все равно же наше, и поэтому не спеши сюда и будь при Егоре. Это все понятно. А вот как там у вас все происходит, и нет ли осложнений, и каково общее состояние ваших сил?

Выздоровливайте понемножку. Не обязательно сразу, но потихонечку выкарабкивайтесь.

Все-таки я надеюсь, лето впереди, а не зима – это легче для Егоровой поправки...

Машенька. Любимая моя женщина. И обожаемые вы мои звери и дети.

1 апреля.

Все жду от тебя новой телеграммы, – чтобы с Егором началось улучшение, приезд-то и отложить можно, а вот здоровье нельзя, и оно мне, ваше здоровье, просто необходимо.

Тем временем приходят письма, еще до болезни Егора (№№ 49 и 50), и все гложет мысль, а как вы сейчас. Поэтому старые новости воспринимаются туманно, и я на них хотя откликаюсь внутренне, но не на полную мощность, ты уж прости, главное ведь, как вы сейчас себя чувствуете, а этого я как раз и не знаю.

Смеялся, конечно, как ты расправилась с шаркающим дарованием*, и оно того стоит, это все рвачество несчастное и пижонство.

И огорчительны Собакевичевы разлады*. Но я не согласен, что так и должно быть. Раньше, в детском возрасте, я тоже считал, что это почти неизбежно и даже естественно, что семейное счастье ни у кого не получается. А дальше стал бóльшим оптимистом и теперь этого не понимаю. Как сытый голодного не разумеет. Или наоборот. Правильно пишут Меньшутины (я от них тоже письмоцо получил): что имеем, не храним – потерявши, плачем. Так вот, поняв размеры возможной потери, и обретаешь сокровище. Как-то странно и глупо ссориться, если на счастье нам отпущено не так уж много места и времени. Это все равно что личное свидание провести в дрызгах и в мыслях, как вынести сало. А что такое семейная жизнь, как не личное свидание посреди долгой, если не вечной, разлуки, обступившей сзади, и спереди, и неизвестно, долго ли представится возможность жить вместе, родным домом.

И поэтому я на нашу семью уповаю, а ты как считаешь?

Еще я радуюсь на Егорушкины познания, каким пальцем что обозначается, про мизинец вниз* я и не слышал никогда, и вот как выходит, что наши дети знают уже что-то больше нашего, и так, наверное, всегда бывает.

Хотя бы ты догадалась послать мне телеграмму, когда у Егора полегчает, – не дожидаясь вакансии поехать...

А зима все-таки поддалась, и у нас в два дня так потаяло, что на работу хожу в резиновых сапогах – много приходится бегать по лужам. Но все-таки какая длинная и несговорчивая в этом году зима, и каждую минуту еще норовит пойти снег, и иногда у него это получается.

А праздники в этом году идут подряд, и я тебя поздравляю по очереди, и целую, и благословляю.

Еще давно собирался сказать, что меня приятно удивил и даже привел в тихий восторг твой рассказ о часах с кукушкой, которые завелись в нашем доме. И все мои мечты теперь про эти часы с кукушкой. Как мы будем под ними сидеть. И станем устраивать – как на Новый год, только вдвоем – вечера воспоминаний, и будем рассказывать друг другу по порядку и наперегонки всю нашу жизнь с тобой, и кукушка будет куковать над нами.

Нет сил больше залеживать это письмо. Все равно я только и думаю, что с вами, и это может превратиться в сплошной вой.

А телеграмма сегодня не придет, и завтра тоже не придет. И поэтому я на один день раньше посылаю: может, все-таки ты его поскорее получишь.

А.

4 апреля 1969.

P.S. Отложил кидать это письмо до вечера, а к вечеру получил три твоих письма (51–53), уже совершенно болезненные. Но все равно это лучше – знать детали и как прыгает температура и прочее, чем сидеть в неизвестности и воображать Бог знает какие ужасы. И мне от ваших известий, как это ни смешно, сделалось чуток веселее, и не нарадуюсь на вас обоих – право же, не знаю, кто из вас лучше и смешнее. Вы оба у меня сидите за пазухой, в нижней части сердца. Егор со своей логикой, очень правильной – за жаркие штаны компоту надо давать полную порцию – сильно напомнил дедушку, у которого была точно такая логика и такие ж обиды.

А грамотка его смахивает на заумь, и есть хорошие слова – «нрпоерео», «юршпо», «ерп», «р-р-ршер». <...>

А Собакевичева история дика^{*}, и разве можно так против судьбы переть, из чистого рационализма, она за это накажет. И какой он веры, что так рассуждает. Только я надеюсь, когда появится маленький Собакевич, сердце его не выдержит, как тот самый камень, и размякнет и расцветет удивленной любовью.

А не расцветет – пусть катится к чорту, туда и дорога, и не жалко.

К вам все время посылаю мысли нежные и выздоравливающие, только не знаю, как они там на вас влияют.

А чего это Егор вздумал не даваться градуснику и подчиняться только маме?! Нет на вас моей власти и управы – я бы вам показал.

Письмо все равно кидаю на день раньше. А грамоте нужно учиться на приятных словах. Я выучился на «слонах» и на «тиграх». Пишешь слово «слон», и оно почти превращается в живого слона и очень увлекает. У меня была тетрадка, вернее разлинованный альбомчик, и на одной странице жили слоны, а на другой другие звери. И было приятно, что их так много. Это как французский язык изучать на Верлене. И на Верлибре.



...получил корни волшебной сказки... – В.Я.Пропп. Исторические корни волшебной сказки. 1946.

...как ты расправилась с шаркающим дарованием... – Из моего письма: «13 марта поздравила Дувакина с шестидесятилетием. Он его праздновал целых два дня, и «старички» были накануне, а «ученикам» отвели положенный календарный день, и их набралась целая куча, и одному из них, поэту Иодковскому (знаешь ли ты такого поэта?), я регулярно делала мордой об стол, но Дувакин все равно был счастлив держать меня за этим самым столом в позиции генеральши.

Как делала мордой? Очень просто:

Эдик: – Маша! Могу ли я сделать для вас что-нибудь хорошее?

Я: – Конечно, Эдик! Например, впредь называть меня только Мария Васильевна.

– Ах, простите, Мария Васильевна, но все-таки я спрашиваю вас совершенно серьезно.

– Ну, а если совершенно серьезно, то перестаньте шаркать рядом со мной ногами.

Так я пресекла поползновения провожать меня, и доволен ли ты мной?»

...огорчительны Собакевичевы разлады... А Собакевичева история дика... – Из моего письма от 20 марта 1969 года: «Чего-то я в дурном настроении. И даже знаю чего. Причиной – драмы в семье Собакевичей, где Людочка брюхата, а они собираются расходиться.

Собакевич мрачен, Людочка скучна, и я думала, что все это от забот и усталости, как вдруг, оставшись со мной наедине, Людочка бросила такие фразы:

– Ну, все у нас очень обычно и невесело, считайте, что у меня уже семь месяцев нет мужа, и вообще, мы доживаем вместе последние дни.

И тут в комнату вошел Собакевич, и начался обычный треп светского толка, и я ничего больше не знаю, только как-то очень грустно. Уж эта-то пара казалась такой прочной! Что творится в мире?

Или все люди смертельно надоели друг другу, или Собакевич испугался, что предстоящие дети нарушат его покой, или завелись у него бабы на стороне? ...Но мне бесконечно жалко Людочку, ибо брюхатой бабе намного легче, когда вокруг нее танцуют и приговаривают всякие нежные слова».

От 24 марта: «Когда Егорыч болеет и я схожу от этого с ума, как-то даже понятен Собакевич, категорически отказавшийся от подобных пе-

реживаний. Как выяснилось, я была права: он совершенно озверел, когда Людочка забрюхатела («Как же мы теперь в Палангу ездить будем?» или «Неужели тебе со мной было плохо все 11 лет, что понадобился кто-то еще?»), а когда Людочка настояла на ребеночке, он объявил, что разлюбил ее.

В общем, все 7 месяцев Людочка в слезах, и кого она теперь родит?

Знаешь байку, почему теперь все дети нервные? Потому что, сидя в утробе, первые три месяца они боятся, что мама сделает аборт, вторые три месяца они дрожат, не бросил ли папа маму, а последние три месяца дети в сплошных раздумьях – найдут ли их родители няню.

Похоже? Похоже...

Но Собакевич все равно непонятен и бесчеловечен».

«...про мизинец вниз...» – «Знаешь ли ты известный жест при слове «Во!..», когда резво задирается большой палец? Это я к тому, что Егор его только что усвоил и не натешится. Но я никогда раньше не знала, что есть жест обратный, когда оттопыренный мизинец опускается вниз, что должно означать всякую бяку. И теперь Егорыч встречает всякую еду, размахивая руками и вращая пальцами в разные стороны».



ПИСЬМО СЕМЬДЕСЯТ ПЯТОЕ

Хожу в хорошем настроении и, спохватываясь, спрашиваю себя, почему и что такое, и, вспомнив, так и обрадуюсь: Егор поправляется.

Как музыка, уже привыкаешь и не слышишь, но чуть что – прорывается одна эта фраза и танцуешь вокруг нее: а Егор поправляется.

А ты молодец, что сообразила телеграфировать мне этот вздох облегчения после всего, среди всего перенесенного.

– Что вы такой веселый?

– Да так, ничего... (А на самом деле чего: поправляется.)

Или устаешь, или еще какая неприятность. Все равно же он поправляется? Так ведь? Давайте-давайте, поправляйтесь.

9 апреля.

И поэтому настала возможность читать, и понимать, и раскидывать мозгами. А книг с избытком. Мне тут еще прислали новенькое издание: Эйхенбаум «О поэзии» (так что не надо покупать тебе эту редкую вещь). Жую Проппа понемножку, он хороший, и масса всяких ценных сведений. Но забавно, когда оказывается, что за всей этой необычайно серьезной научной аргументацией, в качестве ее исходного пункта, молчаливо стоит одно простое и твердое убеждение, что древние люди были круглыми дураками. Чтобы чувствовать силу сказки, в нее надо хоть немного верить. Природная доверчивость тут помогает детям. Ну а ученым трудно.

Отсюда возникает вторая загвоздка: все нужно понимать не

прямо, а иносказательно. Избушка на курьих ножках совсем не избушка и не на курьих, а что-то более научное.

Но у Проппа хорошо, что вместо всюду сующегося солнечно-го культа найден другой, главный водораздел: тот свет – тридцатое царство. Читая его, постигаешь, как бесконечна тоска по бессмертию,двигающая человечеством. Хотя автор едва ли понимал.

10 апреля.

Проблема иностранного слова в русском языке. Аэроплан, электричество. Чураться ли нам этих слов, тем более бояться ли их? Не в том дело, что вошли, но в том, что, войдя и прижившись, отозвались для русского уха полнее и многозвучнее иных исконных. Простенький, доморощенный, общеупотребительный теперь «самолет» меньше говорит нашему слуху и уму, чем заимствованный «аэроплан». Ну что такое самолет? В ряду подобий – самокат, самовар, самогон – наименее выразительный, ничего не говорящий, кроме сообщения пустой голове: сам летает. В сочетании «ковер-самолет» еще туда-сюда, а так – обглодыш, выкидыш, а не слово. И как содержателен по смыслу аэроплан! Это целая эра плана, европа плавания, парящие, распластанные крылья и закрученный вихрем винт-аэро; мы понимаем его чужеземность, на этом неестественном *аз* глотку свихнешь – и все-таки, раскорячив пасть, из неба-неба исторгнешь, выдавишь горлопана во внешний воздух, в смерч. И – *айра* (тарайра), вихляясь, подтанцовывая плечами, дрожание планок, хрупкость конструкции (аппарат – аэроплан), построенный на переборках, растяжках, и крепкость и пустота каркаса, дребезжащего в тверди, как стрекоза Стрекотание. Заглатывание воздухом, облаком, соплом – и на арапа – *раплан*.

Электричество. Опять это выворачивающее, растягивающее рот до ушей, заезжее – Э, переходящее в наше плавное *еле-еле, или-или*, скользит, пока не встретится *ктри* – включатель, взрыв, щелканье, зажглась тонкая проволока – трик-трак, ич-ич (птичий щелбет), – и это сочетание начальной мягкости с внезапной яркостью спички, с искусственной химией, на спинах количеств вступает в ряд всевозможных «э» – энергий, эпох, экономик – сюда, сюда электричество.

Эти произвольные ассоциации уха сродни народной этимологии, однако не настолько буквальны и не так наивны; случайно, пересекаясь, перекликаясь, они вправляют чужое слово в родимый ряд, приращивают и прививают дичок к яблоне, – отчего та еще шибче цветет и благоухает.

Вот и получилось, что калоши (галoши) более в духе русского языка, чем мокроступы. Они их точнее: тут и около, и ложь, и ложка, и лошадь, и шел голышом. Более дальняя связь у Чуковского калош с крокодилom тоже возможна и законна: и те и другие водятся в воде, ползают по грязи, – мокрая, прикинувшаяся подошвой невидаль.

А бюрократ – многократно, стократно забурел, хотя и юрок, в бурках ходит, бурей бурчит, не рок, а рык, кра-кра, в брюках обряк, обрекает, брюхом и буркалами вперед, рюрик раком, покрывает и закрывает буквой брюкву. Но возможна и далекая связь. С коровой. Буря богатырь Иван коровий сын: бюрократ.

Дирижабль – в первую голову жаба. Потом: дери, держи, жиры и жиды. Был – дилижанс, а стал – дирижабль.

Но мне почему-то еще в дирижабле слышится Симферополь.

11 апреля.

Ничего нового нет, но в сегодняшний вечер, детики, хочется быть с вами вместе, и вот я достал бумажку и плыву к вам налегке. На улице дождь, темно и слякотно. Еще я получил нынче два письма с Егорушкиными ужасами и представляю, в каком ты мраке была, моя жена, когда это случилось и продолжалось и ты посылала первую телеграмму, и вновь беспокойно за вас, не знаю, не уверен, как вы теперь поправляетесь, потому что со второй телеграммы довольно дней прошло, а вот сейчас только *те* еще письма приходят. Я, правда, нет-нет, а погляжу в утешение на вторую телеграмму, но уж очень тяжело Егорыч болел на сей раз, и все ли сейчас в порядке, как узнаешь.

Прошу, чтобы вы не болели, а остальное приложится.

За вас и с вами всегда.

А трудно перевалить через этот вечер. Не только мне, а вообще трудно, и природе тоже, через эту зиму, через этот год и дождь, и всему на свете.

Прошло два часа, и странно и удивительно прояснело. Сперва дождь перестал, хотя, казалось, не кончится. А сейчас уже и тучи расступились и звезды зажглись. Ночь совсем теплая. А время всего одиннадцать. Еще немного, и полезу в камеру выгружать. Как раз в двенадцать.

До чего же я вас люблю.

12 апреля.

Перед самыми праздниками я перешел на освободившуюся нижнюю койку, и это очень удобно. Впервые за эти три года живу внизу – и воздух здесь свежее, и можно присесть в любую минуту. Даже как-то странно, что можно взять и сесть сразу как захочется. Очень меняется взгляд на вещи от такой маленькой перемены.

И хорошо вылезать на солнышко, и греться, и слушать птичек, и смотреть в порозовевшие дали. А сегодня твои именины.

Из ватных штанов тоже вышел. И подсыхает быстро. И лето не представляется длинным. А ты моя Машенька.

14 апреля.

Наконец-то наш Егорушка начал понемногу гулять, о чем я сегодня получил радостную телеграмму, и что ты едешь. Как все повеселело! И чем мне вас потешить за эти приятные новости. Разве стишками. И бывают же такие стишки:

Товарищ, знай! Что жизнь, как водка,
Для всех горька, а мне сладка,
Когда в ногах моих красotka,
Как пес, до гроба мне верна!

Ужасно вульгарно.

А вот из сказки – о змее: «Из себя зачал рычать и вырычал из себя драгоценный камень». (В самом строе этой фразы как-то угадывается дух и склад красоты в Древней Руси, загроуленной, и неуклюжей, и вспыхивающей, – вот такими и должны быть декоративные изделия той традиции.)

На иконах дерева, как опахала, и веера, и гигантские мухоловки.

– Ну, пробулькали они всю ночь... (Об апостолах-рыбаках, не поймавших рыбы.)

– Пусть я лучше умру, чем убью.

– После Ленинграда разве что понравится!

– Вижу во сне – снайпер в меня стреляет.

– Но я в душе подумал...

– И на воле человек тоже слабнет.

– И по превратностям судьбы пришлось побывать за границей.

– Аэроплан взмахнул крыльями и улетел.

Не потому ли также змея в мифологиях связана с водой, что знак последней – волнистая линия – сходен с телом змеи?

И галки над лесом, как хлопья сажии...

– Искусство и жизнь? А может, и нет никакой жизни, а есть одно искусство?..

А какие бывают книги, Машечка! Недавно видел выпущенную суперроскошным изданием (М., «Ис-во», 1969) монографию Лазарева «Новгородская иконопись». Сплошные цветные картинки, на двух языках, большого формата – восьмирублевая. Укупить ее тебе будет трудно, но если б кто подарил...

А вот что пусть непременно подарят нам с тобою, так это № 2 журнала «Искусство», где напечатана статья Машки-Реформашки о новом нерукотворном Спасе с приложением прекрасно-го и большого изображения. Журнал этот я лишь мельком держал в руках – но я даже не говорю, чтобы сюда прислали (хотя если есть у них лишние экземпляры – могли бы расщедриться), но чтобы в доме имелся.

А мне тут к Пасхе еще книжки прислали. Среди них «Окно в минувшее»* (популярная про иконопись – я ее читал уже) и про Бухару с Самаркандом – той же, что Суздаль–Владимир, приятной серии.

А в новгородских иконах любопытно, что типичные для 16–17 вв. явления (рационализм, сухость, архитектурная перегрузка, мелкота, многофигурность, усложненно-богословский подход) там начались в конце 15 в. И вот получается, что признаки Московской школы, объясняемые обычно местом и временем, государственностью, централизацией и т.д., наблюдаются в совершенно иной среде и, значит, вызваны не этой сре-

дой, а саморазвитием живописи и духовным климатом, склонявшимся к упадку. Даже что-то вроде строгановщины и ушаковщины мелькает в этих таблетках, относящихся – кто бы мог подумать – к 15 веку.

15–16 апреля.

Что-то я нынче нервничаю больше обыкновенного, родная моя Маша, и не сидится мне, и не ложится, и завтрак не идет, и обед не лезет. Должно, заждался, да и Егоровы болезни сказались, и еще волнуюсь, как ты, измотанная этим месяцем, все это выдержишь и бродишь тут под боком и ждешь.

Попробую взяться в руки и, пока не дали свидания, пописать немножко о Пушкине, в виде добавки: все-таки письмо.

Ему главное покрыть не занятое стихами пространство и, покрыв, засвидетельствовать свое почтение. Поражает, как часто его гениальность пробавлялась готовыми штампами – чтобы только шире растечься, проворнее оттараторить. При желании он мог бы, наверное, и без них обойтись, но с ними получалось разгонистее и стих скользил, как на коньках, не слишком задевая сознание. Строфа у Пушкина влетает в одно – вылетает в другое ухо: при всей изысканности, она достаточно ординарна и вертится бесом, не брезгуя ради темпа ни примелькавшимся плагиатом, ни падкими на сочинителей рифмами.

А чтоб им путь открыть широкий, вольный,
Глаголы тотчас им я разрешу...

У него было правило не отказываться от дешевых подачек и пользоваться услугами презираемых собратьев.

...Так писывал Шихматов богомольный;
По большей части так и я пишу.

Не думавший о последствиях, Пушкин возвел в общепринятый культ ту гладкопись в поэтической грамоте, что понуждает каждого гимназиста строчить стихи, как Пушкин.

Смеются его остроумию в изобличении затертых шаблонов:

Мечты, мечты! где ваша сладость?
Где, вечная к ней рифма, *младость?*

Или:

Та-та та-та та-та морозы,
Та-та та-та та-та полей...
(Читатель ждет уж рифмы *розы;*
На, вот возьми ее скорей!)

Смех смехом, а он тем временем подсовывает читателю все тот же заваливающий товар и под общий восторг – скорей-скорей! – сбывает с рук. Пушкинские трюизмы похожи на игру в поддавки: ждешь розы? – получай розы! любовь? – вновь! счастье? – сладострастья! – бери быстрее и поминай как звали.

Ему было куда торопиться: с Пушкиным в литературе начинался прогресс.

На этом месте мне сказали, чтоб собирался на свидание. А-ха-ха!

17 апреля.

Как огромно время, Маша! Когда прошли четыре часа и я, слегка пошатываясь, выбрался на улицу, мне хотелось спросить встречных знакомых, что нового случилось за эти дни. И подумать только, что те же четыре часа в конце личного свидания проскакивают в одну минуту, и как это получается, невозможно понять. А ты абсолютно права, когда сказала, что по часу каждый месяц было бы больше и лучше, чем по четыре в четыре.

Но лицо еще огромнее. Я теперь понимаю, зачем носили паранджу: она имела характер занавеса в театре, который раздергивался в редкие дни спектакля. А еще я совершенно уверился в том, что лицо – окно, наподобие иллюминатора, откуда можно выглянуть, куда можно войти, а также откуда льется на землю мягкий свет. И поэтому у лица обратная перспектива, оно и уходит за собой и само вылезает наружу, наступает и атакует, и, глядя в лицо, не знаешь, в каком мире живешь и какой больше, и, глядя в лицо, глотаешь этот поток и уносишься им, плаваешь в нем и теряешься.

И если бы люди внимательнее смотрели в лицо друг другу, они бы относились почтительнее и осторожнее к ближнему, заметив, что человек похож на хрустальный дворец, в котором кто-то живет и имеет выход внутри в то самое искомое царство.

Короче, все пространственные законы лицом нарушаются, и мы в нем имеем тончайшую перегородку, просвечивающую в обе стороны – духа и материи, позволяя думать, что лицом мы высываемся оттуда сюда, и являемся в мир, и расцветаем на поверхности жизни.

Если бы не было света и люди все время жили в темноте, лицо бы служило им фонарем. Но не как солнце, на которое больно смотреть, но как костер, на который можно и хочется смотреть часами. Огонь и вода ему, помимо окна, ближайшая аналогия – и на реку или на озеро глядеть не наскучивает, и потом, оно приносит, и уносит, и поглощает.

В общем, как видишь, немножко полюбовавшись и надышавшись милым личиком, я приобрел массу знаний, в том числе, почему в искусстве лицо сыграло такую роль, что можно было бы написать работу об иконе или о портрете под названием «Свет, зримый в лице». Но и то сказать, что ты его открыла с силой и гостеприимством, с какими распахнула бы дверь мне в дом. И обняла.

Уйдя со свидания, накормился очень вкусно ветчиной из банки и белым хлебом и какао с сухим молоком, и от этой роскошной еды даже опьянел немножко.

И лег спать совершенно счастливым.

18 апреля.

Про Егорушку ты тоже мне хорошо рассказала. И к этому рассказу пришло 57-е письмо – про консилиум*. Но я думаю, его выдержанность не что-то противоестественное, а просто наследственная черта. Я тоже что-то не помню за собой в детстве случаев громких воплей с топаньем ногами и катанием по полу. Да и вообще захлебывающийся детский плач в голос производил впечатление шокинга и казался неприличным розыгрышем, а ревуны – плохими актерами и шантажистами. А нервности при этой тишине хватало, но она от этого не увеличивалась.

Правда, большая головешка* уже по другой половине, но мы

как-нибудь и с ней справимся. А Егорыча за его доблестное поведение в болезни обязательно надо наградить билетом в цирк или куда. Не знаю, помнит ли он об этом билете, но, наверное, это очень обидно – потерять цирк к своим же несчастьям. Уж в крайнем случае в кино-то можете сводить.

Еще я получил письмо и бандероль от Генки с книжицей избранных для школьника летописей, жаль, в переводе. Вот, ничего не обещал, а присылает второй раз книжечку. Другие же обещали и ни гу-гу. На это я не в обиде, а просто приятно, что Генка помнит. Еще он пишет, что смотрел детский фильм «Аладдин и волшебная лампа» – значит, идет сейчас такой и у вас, вероятно, и вот куда стоило бы сводить Егора. А еще он был в зоопарке (это в сорок лет-то первый раз), и больше всего ему понравился жирафф! Это очень приятно.

А из Егорушкиных ограничений в еде мне больше всего жалко молока. Такая это прелесть в детстве – пить молоко, и такое воспоминание на всю жизнь.

А ты очень любимая и ужасно навсегдашняя. И, я думаю, не рябчики тут замешаны, а уж не родственники ли. Речь Посполитая, то да се*. Уж очень родные и знакомые.

А еще мы тебя посадим под кукушку и будем на тебя долго смотреть.

Пока же с тебя – не забудь – причитается портретик.

19 апреля.

Целую тебя и обнимаю.

А.

20 апреля 1969 г.



«Окно в минувшее» – книга Киры Корнилович (Л., 1968).

...про консилиум. – Из моего письма: «Сегодня большой-большой консилиум сказал, что Егор пошел на поправку... Это мне удалось проникнуть в клинику института усовершенствования врачей, где Егора смотрела куча приехавших на курсы заведующих детскими отделениями (вроде Вивы) под руководством нескольких московских педиатрических светил, руководивших этими занятиями.

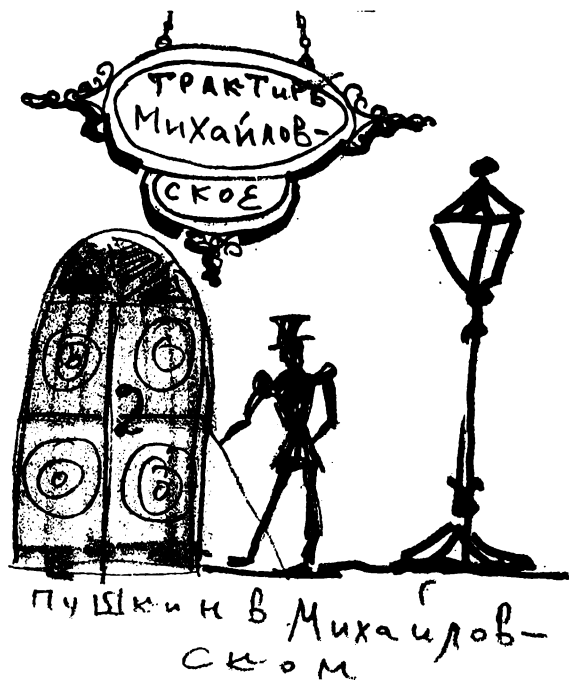
И про Егора были сказаны всякие радующие и огорчающие меня слова, что, например, у него умение держать себя в руках не на четыре года, а на все четырнадцать. И хотя это облегчает жизнь родителям, но вредно для его нервной системы, и что, м.б., для этой самой системы было бы лучше, если бы он иногда даже бросался на пол и молотил ногами, добываясь своего.

Еще что у него голова больше нормы и что такие хрупкие, но большоголовые конструкции дают нам или идиотов, или цвет и гордость нации, но в любом случае их невероятно трудно выращивать.

Заодно начали выяснять, много ли поколений его предков ели рябчиков и страдали подагрой и не отрывается ли это сейчас в нашем ребеночке.

Что же до настоящей его болезни, то это был, несомненно, грипп...»
...большая головешка... – Намек на размеры моей головы, на которую не влезала ни одна дамская шляпа.

И, я думаю, не рябчики тут замешаны... Речь Посполитая, то да се. – Намек на польско-дворянские корешки наших семей.



ПИСЬМО СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТОЕ

Давно я не писал тебе, моя золотая Маша, в пережидании той самой бесписьменной полосы, что, как ты говорила, должна была настать, и вот настала, и никак не окончится. Между тем, вместо снега кругом повывлезла травка и листики распустились, лето на дворе, хоть загорай, и в один миг не стало зимы, а какая она была длинная, и казалось, никакими силами ее с места не сдвинешь. Уже на воздухе с книжкой посиживаю, и ласточки прилетели. Весна, по-видимому, самое быстрое время года, и, возможно вследствие таких внезапных событий, мое прошлое письмо (вместе с твоими старыми, еще до приезда писавшимися) осталось где-то на том берегу, а мы на этом, и я опять по тебе скучаю.

Ты мне снишься и днем и ночью, и пора мне взяться за ум и откликнуться, хотя откликаться все еще не на что и я имею на руках по-прежнему твое письмо № 60 с Егоровой картинкой «Москва», которая мне и впрямь показалась какой-то плотной – пестротой и основательностью исполнения. После той «Елки» это его лучший рисунок.

А № 58 я так и не получал, пропало, должно быть, или ты перепутала.

Что же произошло за этот период времени, не считая весны? Во-первых, я послал вам майские открытки, надеясь, что если не к первому числу, то хоть к Егоровым именинам они дойдут.

Во-вторых, я смотрел кино «Служили два товарища»*, где третий товарищ исполнен в брехтовском стиле, забавно видеть, как валяется в постели с красоткой и как кожей на лбу двигает совсем реалистически. Но с перевоплощением не спешит, а все

больше на чистом автобиографизме показывает, очень похоже получается, жаль, без гитары. Все же приятно.

Еще я тут, в-третьих, подписался (на второе полугодие была объявлена подписка) на два журнала: «Знание – сила» и «Декоративное искусство», так что ты не вздумай подписать меня на них вторично. Очень странное чувство испытываю в результате (ведь впервые за несколько лет): точно я настоящий, как все люди, и мне даже теперь журналы будут приходиться – смешно и невероятно. Впрочем, возможно, неуверенность в себе – это просто черта, как, помнишь, Юрий Карлович* боялся взорваться от выключателя, и, сталкиваясь с молодым поколением, не перестаю дивиться самоуверенности движений, точно они владыки мира, и не то что на журнал подписаться не составляет им никакого труда, а вообще все на свете знают и понимают, и в лингвистике и в математике, с решительностью и апломбом, перед которыми я обнаруживаю лишь растерянность и неосведомленность. Жизненная хватка, что ли.

А я все еще никак не пойму, как это 40 дней удваиваются по ходу пьесы и месяц превратился в два месяца*. То есть что-то вроде бы уразумеешь в этой приятной прогрессии, а потом она опять исчезает, и год остается годом, а день днем, и опять все непонятно.

Когда меня спрашивают, что такое искусство, я начинаю тихо смеяться от удивления перед его непомерностью и собственной неспособностью выразить, в чем же заключается все-таки это непрестанно меняющееся и притягивающее, как свет, содержание. Господи, всю жизнь я потратил только на то, чтобы раскусить его смысл, и вот в итоге ничего не умею и не знаю, как об этом сказать. Я говорю: «возможно», «наверное», «будем надеяться», «не есть ли оно то или то», и тотчас теряюсь в неразгаданности задачи. Поэтому так убивают определения присяжных философов, в точности знающих, что оно такое (как будто это можно узнать, как будто это кому-нибудь удавалось), как если бы искусство лежало у них в кармане. Искусство всегда более-менее импровизированная молитва. Попробуйте поймать этот дым.

1 мая.

Имею я, значит, от тебя в качестве последнего слова десятидневной давности телеграмму, которой продолжаю умыться и радоваться. Но пора бы еще что-нибудь подкинуть на мою бедность, а то вот лежу и под музыку перебираю клочки, которые давно собирался тебе пересказать.

К музейному делу. Указ фараона (единственный – вот забавно! – дошедший до нас от древнего царства текст фараонова указа) своему чиновнику, посылавшемуся на юг в экспедицию. Забавность в том, что у фараона одна забота, один интерес: раритет, который ему обещались доставить, и он о нем только и твердит и грезит: карлик. «Мое величество желает видеть этого карлика более, чем дары рудников и Пунта» (Хрестоматия по истории Др. Востока, М., 1963, стр. 31).

К коньку на крыше.

С сильно развитой грудью коньки на пермяцких (коми) избах представляют в действительности смешанный образ лошади и птицы. Бывает: утка с ушами коня, конь-птица, лось-птица. Курицы, поддерживающие кровлю, изображают также конеподобных существ. Причелины на коми-пермяцком языке – крылья; эти причелины, кстати, бывают с ромбическим узором, обозначающим перья. Таким образом, конек вместе с причелинами воспринимался (вполне сознательно) населением как – крылатый конь (ж. «Советская этнография», 1968, № 6). Все это восходит, по мнению автора, к первобытным образам (параллели украшений в земле), но не есть ли, спрашивается, русский конек (не шибко отличающийся, судя по рисункам, от своих пермяцких сородичей) тоже некая аналогия этому крылатому Пегасу, который так часто действует в нашей сказке?

Сказка.

О царевне: «Кормили ее только мозгами зверей» (из абхазской сказки).

Каждая фраза, как изумруд, должна сверкать дикой выдумкой. (И при каждой фразе в невидимых скобках невидимая присказка: – я тебя люблю.)

Слона зовут Мамонт Иванович. Льва – Лев Николаевич. А Пушкин в лесу живет, как обезьяна на дереве.

Что с ней делал змей, никто не знает.

На слова Василисы Премудрой сказать ему (Ивану-царевичу)

было нечего, и от смущения он начал ни с того ни с сего выбирать ногами чечетку.

И вот, снабженный бумажными тапочками, он пошел.

...И бумажный венчик на лбу – все говорило: он не ваш, он – Мой.

Дракон был черного, противного цвета. Одна знакомая девочка не могла кушать икру: как ее есть, когда она черная? Так вот, тот дракон был точно такого цвета. И между его зубами торчали клочки человеческого мяса.

Сказка должна отвечать, почему кровь красная, лицо белое, небо синее, трава зеленая. И на массу других вопросов.

Из книг же на случай присылки меня нынче интересуют в первую голову Сказки Афанасьева (повторное издание). Как раньше Пропп. «Морфологию сказки» тоже можно. Но тексты важнее. Из других же всемирных сказок самые сладкие – цыганские, и когда-нибудь их надо достать.

Икона.

В Фараи (Нубия) – крупнейшее собрание ранневизантийской иконописи (позднее связь с Византией прервана мусульманским нашествием, но, где-то в VI–X вв., христианское государство). На тамошних фресках, выдержанных в византийской традиции (с надписями по-гречески), епископы, цари и вообще обыкновенные люди изображены с темными ликами, а светлые, почти белые – у Богоматери, святых и архангелов. Интересно, придерживались ли того же в Византии? И что здесь определило цвет – логика, согласно которой тело (земляного происхождения) преобразуется у святых, или география, где в Нубии, небось, темная кожа, а белая в виде заезжего исключения?

Язык.

Густота стиля получается там, где ничего нет, кроме листа бумаги, и вот сюда, в этот крохотный островок надо все втиснуть, а мысли прыгают, и чтобы удержаться, мы скручиваем ковчег чрезмерной метафорой.

– О животных бы рассказывал. Рассказы о животных никому не повредят.

Произведение искусства ничему не учит – оно учит всему.

– Лохматый сейф взломали.
– Вдали мелькала мокрая фигурка хрупкой девушки.
– Человеку нравится, когда ему молчаливо поддакивают.
– Жить надо? Курить надо?
– Нет, господа, собакой я не закусывал.
– В двадцатом веке все механизировано. Только спариваются вручную.

– И потом та собака мне ночью приснилась: вот с такими глазами...

– Люди – это дети. Если их не занимать работой, они все время играют – в чертей, в домино. Какие бывают игры: «Лесопилка», «Гуси», «Пуговица» (с кружкой), «Хитрый сосед». Все очень смешные.

Цыганка с картами, глаза упрямые,
Монисто древнее да нитка бус.
Хотел судьбу пытаться с бубновой дамою,
Да снова выпал мне пиковый туз!

Письменность.

Люди стали забывчивыми и выдумали письменность. Она всегда – памятник. Болгарский Хан Омуртаг (восьмой, что ли, век?) повелел высечь на каменном столбе (что стоит в тырновской церкви сорока великомучеников): «Как бы хорошо ни жил человек, он умирает, а другой рождается. Пусть рожденный последним, взглянув на эту надпись, вспомнит о том, кто ее сделал».

Это эпиграф ко всемирной литературе.

2 мая.

Природу бросает то в жар, то в холод, и после совершенно летнего 1-го мая, когда все изнывали от солнца (а я сидел на прохладной кровати и писал тебе письмо), кажется, вернулась зима. Это тем более удручает, что длиннейший летний перегон, растилающийся перед глазами наподобие пустыни, только тогда станет менее тоскливым, когда мы уже вступим в него и пойдем по нему, и ожидаемая тоска начнется и обоймет, а не будет вечно маячить где-то впереди, в виде перспективы. Всякое дело важно начать, и лето тоже, а оно с этой погодой как будто отодвига-

ется и посмеивается, говоря: я еще далеко, а когда вы до меня доберетесь, то еще увидите, какое я буду большое. Что ж, увидим.

Еще я думаю, как теперь тебе трудно снаряжать Егорыча в группу и как заранее решить, во что его одеть при такой скачке температур, чтобы ему зря не потеть и не простужаться.

За праздниками я совсем не имею ваших писем и очень оскудел впечатлениями. Даже и не знаю, про что рассказать. Вот разве – у нас продавали халву, и последние дни меня ей много угощают. А халва очень сытная и питательная.

Еще мне подарили немного поношенную фуражку, какие раньше носили хозяйственники-командиры, вроде картонной коробки, это роскошнее, чем обычная шапочка. Мне-то все равно.

Гораздо интереснее, что в алтайской мифологии первые люди, еще не знавшие греха, рождались от цветов и имели крылья, излучавшие свет. Небесных светил тогда еще не было. А потом они съели какой-то корень, познав грех, отчего потеряли светоносные крылья, и по их просьбе были сделаны Солнце и Луна («Легенды и сказки Центральной Азии, собранные графом А.П.Беннигсенем», СПб., 1912). И бывают же книги с такими красивыми названиями!

И сны тоже бывают достаточно легендарные: орел в сапожках или кипящая земля. Или рассказали старинный сон, приснившийся одному старому спортсмену. Он увидел себя молодым – в марафонском беге. Ощущение телесной свежести и как бы легкого опьянения. Но ровно на середине дистанции появляется судья и говорит: хватит, вам пора отдохнуть. Тот было отнекиваться, не устал, но судья мягко и упрямо – будет. Тут же появилась покойная жена и тоже – хватит, на отдых, вместе. На другой день спортсмен умер, и все расстояния совпадали.

Но все-таки хорошо, что дали уже зеленые. Только как холодно этим листочкам.

3 мая.

Попался томик Лескова. Очень нравится его взлохмаченная и рыщущая, как собака в разные стороны, фраза. Она почти полуграмотна и торчит. «Наш ротмистр был прекрасный человек, но нервяк, вспыльчивый и горячка». Такая корявость найдется разве что у Достоевского – «против всяких законов архитектоники и экономии в постройке рассказа» («Интересные мужчины»).

У него в «Головане» встретил мысль, об которую обломают зубы любители изображений с натуры. Но мне она представилась очень важной.

«Я боюсь, что совсем не сумею нарисовать его портрета именно потому, что очень хорошо и ясно его вижу».

Именно потому! А еще рекомендуют рисовать то, что хорошо знаешь.

В этой формуле гроб всякой преднамеренной точности и, может быть, основа общей психологии творчества, работающего, в сущности, на незнакомом материале, который поражает и будит воображение. Оно-то, воображение, встав на дыбы, и натывается на «сходство с натурой». То, что слишком знакомо, не удивляет и поэтому не поддается копированию. Искусство всегда для начала действительность превращает в экзотику, а потом уже берется ее изображать.

Танцуня отсюда, Лесков своею речью создает в первую очередь ощущение растерянности и неумения рассказать о случившемся и тычет слова как попало, с медвежьей неуклюжестью, надеясь, что эта мечущаяся в недоумении речь в конце концов ненароком напорется на предмет и тот оживет и воспрянет в ее косноязычии – в «стремительной и густой дисгармонии». Как описать самоубийство, чтобы оно вышло не протокольным отчетом, но передало бы весь ужас и бессмыслицу события? По-видимому, для начала следует отказаться от самой задачи описать его в точности. И вот Лесков отказывается и, отступя, растопыривает слова и машет ими, так что в итоге это отрешиванье от рассказа становится лучшим способом ввести нас в курс дела и ухватить совершившееся беспомощным нагромождением речи, даже и не пытающейся ничего изображать:

«Очень трудно излагать такие происшествия перед спокойными слушателями, когда и сам уже не волнуешься пережитыми впечатлениями. Теперь, когда надо рассказать то, до чего дошло дело, то я чувствую, что это решительно невозможно передать в той живости и, так сказать, в той компактности, быстроте и каком-то натиске событий, которые друг друга гнали, толкали, мостились одно на другое, и все это для того, чтобы глянуть с какой-то роковой высоты на человеческое малоумие и снова разлиться где-то в природе».

Отказался воспроизвести – и тем самым воспроизвел.

Или портрет – сдвигающий восприятие куда-то в сторону от лица, так что оно оказывается на скрещении совершенно несродных, несогласованных рядов и тем сразу обретает индивидуальность: «...но что всего более нам не понравилось, – это его лицо. Щуковатое, так сказать, фальсифицированное и представляющее как бы некую невозможную помесь нигилистки с жандармом. В общем, это являет собою подобие геральдического козерога».

Очень я этим козерогом восхищаюсь. Это и есть принцип «интересности», из которого Лесков исходил и в стиле, и в выборе темы, – «что-нибудь этакое самое ничтожное затеется и пойдет расти, расти, и все какие-то интересные ножки и рожки показываются». Понятно, что, следуя той же тропкой, автор «Кукхи»* не мог удержаться, чтобы не превратить каждую буквочку в козерога, пририсовав ей ножки и рожки.

Помимо интереса к Лескову – все это я пишу в расчете дожить до завтра и получить твои письма, Машечка. Надо же как-то дотягивать... А Лесков помогает, вот и спасибо ему за это – и за это тоже.

4 мая.

Должно быть, оттого, что ожидаемые письма опять не пришли, и так довольно давно уже повторяется, в душе образовалась яма, от которой и свет не мил, и сон не радует. Вокруг тоже пусто. В «Неве» к юбилею Пушкина обсуждается проблема, дала Наталья Николаевна Дантесу или не дала*, и, хотя склоняются к отрицательному решению, вся эта публичность как-то не веселит.

Пейзаж по весне напоминает Сислея, и, глядя на него, думаю, до чего ж все-таки импрессионисты пусты и бесструктурны. Любая веточка своим крепким скелетиком колет им не в бровь, а в глаз.

Но ты за меня не волнуйся. Кормить стали получше. И чтения хватает, даже не успеваю читать, так что пусть Нина пока не посылает ни книг, ни журналов, – когда понадобится, напишу.

О тебе у меня самые прекрасные мысли. Только вот холодно-вато немного и беспокожно за вас.

Целую.

А.

5 мая 1969 г.

С Егоровым днем вас, мои ненаглядные деточки.



«Служили два товарища» – фильм 1968 года с В. Высоцким.

Юрий Карлович – Ю.К.Олеша.

...месяц превратился в два месяца. – Я как-то написала Синявскому: «После половины прошел только месяц, а осталось сразу на два месяца меньше, чем мы жили друг без друга»; потом пришлось разъяснять: «Но как ты не понял, что каждый прошедший месяц делает оставшийся срок на два месяца меньше уже прошедшего – меня удивляет.

Ну смотри: 8-го марта была половина, то есть отсидел ты 42 месяца и впереди еще 42 месяца. А 8-го апреля к половине прибавился еще месяц и сразу стало так: отсидел ты 43 месяца, а впереди – 41, то есть на два месяца меньше, чем было. А 8-го сентября сверх половины пройдет всего полгода, а сразу станет на год меньше, чем мы с тобой уже прошли. Теперь ясно?»

...автор «Кукхи»... – А.Ремизов.

...дала Наталья Николаевна Дантесу или не дала... – Михаил Яшин.
История гибели Пушкина // Нева. 1969. № 3, 4 и 12.



ПИСЬМО СЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМОЕ

Вот так оно и бывает: только послал тебе письмо с отчаяньем, и сразу явились два твоих письма, и я их сегодня с утра все перечитываю и люблюсь на тебя и на Егора, чья картинка фломастерами похожа на дикарские маски и как-то очень крепка своим контуром и штрихом, а не только цветом. Такая сгущенность рисунка, что смотрится плотным ядром, мне по вкусу.

И солнышко заиграло, и воздух заблагоухал. А я ругал ни в чем не повинных импрессионистов. Но и то сказать – твое письмо, судя по штампу, болталось в ящике восемь дней – такого еще не случалось, ну три дня, ну пять от силы, но чтобы восемь?! – это уже против правил игры.

Понравилось, что мы опять совпадаем в мыслях, и пока я писал тебе про личико, ты, оказывается, о том же думала, и от этого по сердцу разливается удивление.

А помнишь, какое у тебя было махровое лицо (в смысле мохнатое и черное) после первого севера, в метро «Ботанический сад»? И потом, когда от одного взгляда. И ты еще сказала, что так не бывает.

И тут почти то же.

А существуют ли сейчас переводные картинки интересного содержания, и не пора ли их попробовать Егору? Раньше, в мое детство, были очень хорошие, и некоторые я до сих пор помню, особенно о дикарях; как сейчас, бегу за санками по Гоголевскому бульвару и тороплюсь, приехав домой, подправить почему-то испортившихся малайцев (в левом углу голова малайца – а на картинке их быт и нравы, и так про все народы). Но потом эта экзо-

тика исчезла, а какие сейчас бывают в продаже, я просто не представляю.

А я знал, что письма придут хорошие, еще вчера днем, до почты, когда заснул минут на десять и приснилось что-то светлое, что – не разобрал, не запомнил, но встал успокоенным, и через полчаса подтвердилось.

Хорошее начало: «Впервые я увидел его во сне».

7 мая.

Получаю от вас художественные письма, похожие на французскую рекламу. Очень красиво, но только, прошу вас, не переписывайте подряд телефонную книгу, а выбирайте какие-нибудь приятные слова, говорящие уму и воображению. В первый момент я глазам не поверил: «министерство связи». Это надо же, чтобы ребенок начинал сразу с абракадабры. Ужасно смешно, а все-таки лучше что-то звериное и домашнее. Не дай Бог первым словом человека станет «министерство».

Но ты напрасно критикуешь сына за рисовальные качества. Крокодил, например, настолько похожий, что я думаю, он срисовал. А как еще прикажете изображать «игрушки», если не в виде всяких кубиков и квадратиков, которые сами знают, кто они есть? У человечков уже появились руки, растущие из талии. Но это и правильно: мы машем руками, начиная, главным образом, с локтя, и если взглянуть на них сверху, то увидишь, что они болтаются где-то у пояса. И кто же знал, что рука начинается от подбородка? Она же сбоку.

Мне тут Раф* прислал изрядный альбом «Лубок», изданный для заграницы роскошным способом, так что ты можешь его больше не приобретать: четыре рубля стоит. И параллельно с этим изданием попалась Хрестоматия по старобелорусскому наречию с отрывками из разных купчих летописей и повестей. В том числе кусочки из Бовы, из которого я не могу удержаться, чтобы не привести несколько фраз (по сборнику XVI в.). Встреча Бовы с конем после долгой разлуки (Бова переодет пилигримом):

«И што то вчынил конь добрый? И встал на задние ноги, а передние ноги положыл Бову на плечы и поцаловал усты Бова; а коли бы тот конь умел говорыти, рек бы ему: Добре еси прышол, пане. И опят ся отпустил на землю».

Конь узнал, а возлюбленная – нет, и какие нужны признаки, чтобы узнать человека, и что такое штамп, если не знак сходства с идеальным предметом: Бова без меча – не Бова – неузнаваем.

«И Дружнена¹ рекла: очаровал еси, шатане, его, якъ борздо к тебе привык! Рече Бово: Не дивно то, што конь мене познал: я ест Бово, которого ты жалееш. И она рекла: Бог ве, ты лъжеш, а где-ж пакъ добрыи мечь, которым тя есми опасала? И Бово възнял гуню, вынял меч кчляренцыю², и она рекла: Соими клобук, укажи тот знак, што есмы лечьла тебе увотца своего, коли еси был с одное скалы спал. И Бово клобук знял, и она его познала. Аи боже! Почали ся велми целовати...» («Хрэстаматыя па гісторыі беларускай мовы». Частка першая. Мінск, 1961, стр. 182).

Понятно, почему Бову так полюбил лубок; и в слове та же прямота жестов, отсутствие обвиняков и оттенков, невинная наивность рассказа, в котором всего несколько красок-ситуаций, в которые все и укладывается, сближая человека с прекрасной куклой. Едет Бова на коне со своей королевой, и остановились отдохнуть:

«И Бово ее зьсадил, она умыла руки, а Бово коня привезал и напоил его, умыл руки, и прышод к Дружненьне и ухватил ее за груди и спал с нею треичы³. И на том месте почала Дружненна два сыны, яко писмо говорыть: один хочеть быти кроль, а другии княже» (стр.183).

Такая прямота поражает. За ней ничего нет. Всё в тексте.

Я полностью не уловил, как дрался Бова с Полканом, но мне эта сцена почему-то представилась так, что меч с размаху вошел в землю и Бова не мог его вытащить, и прыгал вокруг, и дергал, заливаясь слезами. Это похоже на Хармса и в самую масть – к сказке.

Давать же собаке распространенную кличку «Полкан» – все равно что лошадь назвать Кентавром, и это могло получиться только потому, что, поборовшись с Бовою, они подружились. Ученые в битве с Полканом могли бы открыть приручение первой собаки.

А еще мне описали, как резали поросенка, и тот, с ножом в

¹ На лубочной картинке она Дружиневна.

² Род меча.

³ Трижды (фонетич. – тройчи).

сердце, вышел из сарая, посмотрел вокруг и пошел назад – подыхать. Всё молча. Вся сцена – ни звука. Только хозяйка под окном жене резника:

– У меня дрожат ноги. Давай ругаться матом, погромче!..

Мне так и послышался в этот момент – полет Валькирий.

А змей должен быть похож на черное дерево, и оно извивалось. Одна голова у змея спала, мирно похрапывая, вторая с усмешкой следила за маневрами Ивана-царевича, а две других перешептывались о чем-то своем, наклонясь друг другу к уху и закатываясь, как по радио, неестественным смехом, пятая деловито вылизывала, как кошка, собственную шею, а шестая с папиросой в зубах потянулась к спящей подруге и прикурила от ее синеватым пламенем попыхивающей ноздри... От этого разветвления Ивану стало казаться, что он сам одна из голов в этом черном лесу. И кто змей? Уж не Иванушка ли? Во всяком случае, в соответствии с Проппом, змей не имеет четкого облика и то едет верхом на коне, то разгуливает в калошах по горнице, то пьет хоботом воду или тянет за собою царевну, как собака на поводке. Эти видоизменения никак не объясняются, и у бедного зрителя идет голова кругом.

11 мая.

Странно, отчего человек испытывает удовольствие.

Запорошенный пылью дорожную,
Я вернусь, на себя не похож.

С какой страстью это поется! Точно нам хочется быть на себя не похожими и узнать – хотя бы так – чудо Преображения. Весь театр отсюда, все наряды: а я – не я.

Приятно тоже быть несчастным.
А у нас ни родных, ни знакомых,
И посылки нам некому слать...

Да и взять известную песню: «Теперь я горький сиротина...»
Он не тройкой тешился, а тем, что – сиротина.

И приятно – страшное.

– И умру я страшной смертью – от огня...

Это сказано с пафосом. С дрожью в голосе от благоговения перед торжественностью взятой ноты. А я лично в лагере научился на вопрос – как живете? – отвечать: хорошо. Раньше отвечал – ничего.

12 мая.

Вокруг разливается такое благоухание, что даже странно, что в лагере может так хорошо пахнуть. Особенно ночью, с работы. Вероятно, тополя.

А Егорушку до увоза на дачу сводите все же на какое-нибудь интересное представление. Вспоминаю его терпеливость в болезни и то, что по дому, по Пятницкой скучает. Наверное, много приходится ребенку претерпевать в себе и не трогать взрослых, потому что он же понимает, что он маленький и ничего не может, а только ждать.

Егор мое утешение. И ты.

Иногда кажется – время остановилось, и мы летим в снаряде или ковчеге. Неподвижность совпадает с чувством полета – но не птицы, а земли. Этому ощущению помогает ветер. Он обдувает остров и свистит в ушах – рассекая время.

– Твои мысли должны быть так глубоки, чтобы ты не слышал шума, не видел мира.

– Я говорю тому вору, который заболел: «Ну, что будем делать?»

– С одной-то душой не справишься, а их, говорят, четыре.

– А у меня мысль развивается, когда я сильно выпью.

– У нашей кассирши розовые трусы. Я во сне видел! (Чего не увидишь во сне!)

– Цисцерна.

Много разговоров под влиянием популярных журналов о пришельцах из космоса и внеземном происхождении людей. Например, не скрестились ли пришельцы с обезьянами? Кроме того, имелось несколько женщин – вот вам и все расы: просто и хорошо.

В одном журнале даже предполагают, что баба-яга и другие герои сказки – ракетного происхождения: нос в потолок врос – теснота межпланетной кабины, избушка на куриных ножках – ракета

на подставках (без окон, без дверей) и т.д. А рядом, в другой статье, те же лешие выводятся из снежного человека. Тоже мода.

Слишком близко лежит. Пока не было ракеты, о пришельцах не думали и в бабу-ягу не верили. А теперь сразу поверили, это подозрительно, как когда-то все неувязки объяснялись электричеством: только что изобрели. И хотя приятно, если в космосе кто-то водится, этим внешним вмешательством объяснять завитки собственной культуры как-то неуважительно к ней, и все ее прекрасные тайны переделываются в этом разе на индустриальный манер и сами по себе ничего не стоят.

Пропповская тропинка вернее: воспоминание о путешествии в страну смерти. Только надо учесть, каким реальным и ярким было это воспоминание, если у всех не знающих друг друга народов, на разных материках, столько лет на устах одна и та же баба-яга.

15 мая.

Пришло твое болезненное письмо, любовь моя Маша. Что же это делается: из одной болезни выкарабкались и сразу в другую свалились – несправедливо. И погода совершенно осенняя, один ветер.

Как вы поедете на дачу, такие хлипкие? Запаситесь теплой одежкой. И попроси Эмку с Лидией регулярно навещать. Чтобы вы заранее знали день посещения и могли как-то рассчитывать и ориентироваться. Чтобы вам не застрять в больном виде в полной беспомощности.

Береги себя, Машечка. Береги себя, умоляю. И не вскакивай раньше времени. И когда вылезешь, почаще лежи.

И еще я хочу надеяться, что ты, когда выздоровеешь, дашь мне телеграмму.

Немножко устаешь жить на постоянном ветру.

17 мая.

Если б ты видела, как я обрадовался, узнав, что ты выздоравливаешь, то ты бы сразу, не раздумывая бы вышла за меня замуж. За-за-за, ду-ду-ду, зы-взы!

Ты показала всем нам геройский пример.

И телеграмма не понадобилась. Потому что я сегодня получил

два письма (70–71), в которых ты описываешь, как лихо справи-
лась с гриппом. И среди них Егорово, с 1-м мая, замечательное,
и картинка мила, и как прогрессируют дети, я в его возрасте та-
кое делать не умел. А ты ему написала слова и он перечертил?
Еще он смешно пишет букву «м», иногда вверх ногами, и «и» на
другую сторону. Я тоже (смутно припоминаю) с этой буквой дол-
го мучился, всякий раз забывая, с какого угла на какой вести па-
лочку N.

Но ты ничего не пишешь, получили вы или нет мои первомай-
ские открытки, и может, это Егор на них откликнулся, и как вы
живете с ним в одном доме, и что он тебе рассказывает?

Тебе, понятно, перед дачным сезоном совершенно невпро-
рот от всяких запарок. Все же позволю напомнить: поморин.
А то зубы опять угрожают. Или ухо. И при случае (не спешно) де-
сятки конвертиков, а то запас истощился. А книги и журналы по-
проси Ниночку – в начале месяца выслать, а то тебе одной со
всем этим скарбом не управиться.

А я сквозь Егорова «милого папу» слышу, как ты меня любишь.

19 мая.

Радости вы мои. Егорыч за дверью в комнате, чтобы не зара-
зиться. Все-то он понимает, умничка.

Не забудь также взять на дачу на всякий пожарный случай йод
и бинт. А то в прошлом году ты, кажется, забыла. Чтобы вам не
оказаться в дурацком положении из-за какой-нибудь царапины.

А то, что вы не любите лечиться, совсем вас не красит. Пото-
му что этим вы просто ведете себя как страус. И «само пройдет»
либо от лени, либо от боязни испытать некоторую боль и
страх, а лекарство должно быть горьким, и раз уж человек забо-
лел, должен это терпеть. И вовсе не само пройдет, а чистейшая
безответственность.

То-то же. Смотрите у меня.

А ты хорошо написала про календарь*. Действительно, теперь
мыслишь большими масштабами. И когда нам останется какой-
нибудь год с половинкой, станет рукой подать, потому что будет
виден конец (вот только год разменять), и мы начнем стреми-
тельно нестись друг к другу. А таких кусков всего остается – два
больших куска плюс ма-а-ленький отрезочек.

Но, в отличие от тебя, я прекрасно представляю, как мы будем жить вместе, и припеваючи ходить за ручку, и друг от друга не отходить, и совершенно не вижу – отдельно.

И Егора мне тоже не хватает – ужасно. Помимо родственных чувств и всеобщего счастья, он мог бы очень мне помочь в научном понимании всяких интересных фактов. Я бы через него все перепроверил. Например, безуспешно стараюсь по слабой памяти уточнить, какая баба-яга и почему у нее одна нога. Ученые эту ногу выводят сейчас от змеи, а Пропп – от трупа. А мне что-то смутно припоминается, не была ли костяная нога обыкновенным костылем. Во всяком случае при виде костыля мне сделалось хорошо и мелькнул какой-то знакомый ужас. Кость – костыль?

И очень хочется слушать язык Егора. Кроме отдельных фраз и словечек, у него должен быть, судя по всему, великолепный синтаксис, у которого нужно учиться.

И вообще водить его по свету, и показывать разные вещи, и смотреть, как он реагирует, и это будет проверкой истинности вещей и наилучшим прибором удивления и узнавания.

Обнимаю вас, мои драгоценные.

А.

20 мая 1969 г.



Раф – Рафалович А.В., солагерник А.С.

...«само пройдет»... – Из моего письма: «А Егор в меня и очень не любит лечиться, и когда на нем какие-нибудь травмы – царапины, ушибы, порезы, он вопит не «Ой, больно!», а «Само пройдет!»

Представляешь картинку: Егор плачет, трясет лапой, на пальце глубокая царапина, кровь каплет, и над всей этой душераздирающей панорамой стоит вопль:

– Само пройдет! Само пройдет! Само пройдет...»

...про календарь. – В продолжение календарных рассуждений прошлого письма: «Вот еще одно восьмое, и сразу стало на четыре месяца меньше, чем уже было, а там я очень легко обзираю свое время до сентября, а там останутся еще три года, которые тоже разделятся на зимы и лета, и зимой будет группа, а летом – дача, и, поделенное на такие куски, время идет быстрее, как легче дорога, если на ней есть километражные столбы, и, придумав календарь, человечество явно себя обокрало и сократило свою жизнь вдвое. И это при тоске по бессмертию...»

ПИСЬМО СЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМОЕ

Зима не отпускает, и метели, что не домели в феврале, и холода из мартовских, по крайней мере, запасов, отыгрываются на нас в мае. Рассказывать нечего. Рассказали историю из деревни, не знаю какой давности. Во время пожара одна баба забежала на чердак чужого, только что начавшегося дома – не надо ль чего вынести – и, сойдя, стала рваться обратно и звать спасти собравшихся на чердаке, по ее уверению, маленьких бесенят. Бабу, понятно, не пустили, а свезли в больницу, потому что с тех пор ее регулярно щиплют домовые и черти – родители тех малышей, что сгорели без ее помощи. Ее тело периодически покрывается синяками, и, хотя врачи следят, чтобы ей не давали себя щипать, она только вскрикивает во сне, а наутро снова встает исщипанная.

Странная фантазия. Кстати, у Лескова недавно встретил, что нечисть имеет почему-то привычку грудиться на чердаках.

Другая история тоже старинная. Священник молится за двух влюбленных в одну женщину (по их просьбе), и, спустя многие годы, оба они по очереди становятся ее мужьями.

В сказке, если в нее войти, понимаешь, что искусство лишь лицедейство перед лицом смерти. Заклинание – самый краткий и первичный его синоним. А свадебный вариант похоронных плачей? Может быть, поэтому оно эротично и льнет либо к религии, либо к любви. «Барынька, мечущаяся между будуаром и моленной»* – подходит к искусству вообще. И потому же оно пасует перед жизнью, то старается ей угодить, словно чувствуя какую-то вину, то что-то внушить, доказать, то становится в капризную не-

зависимую позицию. В искусстве всегда есть что-то предсудительное: в отличие от жизни, оно слишком хорошо помнит о смерти. Возможно, поэтому жизнь его не щадит, но мирволит время.

Еще забавно слышать по радио «Славное море» или «По диким степям Забайкалья». Кажется, что тут особенного? Но как это звучит здесь и как это слушается!..

25 мая.

Опять стал работать не только во вторую, но и в первую тоже смену: мой сменщик кончил учиться в школе, и я теперь буду меняться как обычно, то в день, то в ночь, но порядком отвык от дневной работы, и надо перестроить сон, и как-то странно выходить с утра, точно новичок, и дни стали длиннее, но мелькают еще быстрее при такой постановке.

Вчера пришла успокоительная телеграмма от тебя, и я сперва испугался (мне сказали еще на работе), потому что вроде не к чему приходить телеграммам, но оказалось все хорошо.

С Егоровым рисованием ты стала меньше писать в смысле размеров, я понимаю, что занятость, и не в упрек, а в констатацию.

А сегодня достаю мыло из чемодана, что ты привезла давным-давно, и вдруг вижу – «Любимое»*, а я и забыл, и опять запрыгал вокруг тебя, приговаривая: «Ай да Маша!»

Еще ты мне прислала конвертик с днем свадьбы, и тоже приятно.

Все еще холодно. Но иногда посмотришь на листья, а они большие, большие, и не поверишь: уже лето. И трава.

27 мая.

Интересно, что в «Записках охотника» об охоте почти ничего не рассказывается. Охота нужна, чтобы барин встретился с мужиком. Где им еще было встретиться? То же делал Некрасов. Охотник тогда заменял спецкорреспондента: вылазка в жизнь. До него контакт ограничивался встречами на постоялом дворе, и все происходило под звон колокольчика. С ямщиками тоже беседовали. Но сколько можно путешествовать из Петербурга в Москву и обратно? Барин вылез из коляски и взял ружьишко. Ситуацию предвосхитил Пушкин в «Барышне-крестьянке».

Теперь о Пушкине, после прогресса.

Впоследствии Чехов в качестве урока словесности советовал: «Опишите чернильницу!» – как будто у искусства нет более достойных объектов. О, эта лишенная стати, забывшая о ранжире, оголтелая описательность девятнадцатого столетия, эта смертная жажда заприходовать каждую пядь ускользающего бытия в нетях типографского знака, вместе с железнодорожной конторой в этот век перелатавшего землю в горы протоколов с тусклыми заголовками: «Бедные люди», «Мертвые души», «Обыкновенная история», «Скучная история» (если скучная, то надо ль рассказывать?), пока не осталось в мире неопisanного угла!

Один артист не постеснялся свой роман так и назвать: «Жизнь». Другой написал: «Война и мир» (вся война и весь мир). Пушкин – не им чета – сочинил «Выстрел». У Пушкина хоть и «Нулин», а – граф, хоть и «Скупой», а – рыцарь. И хоть это от него повелся на Руси обычай *изображать действительность*, Пушкин еще стыдился козырять реализмом и во избежание мезальянса свои провинциальные повести спихивал на безответного Белкина – чтобы его самого, не дай Бог, не спутали с подлой прозой.

Открывая прогресс и даже, случалось, идя впереди прогресса (издатель «Современника» все-таки), Пушкин и в жесте и в слогe еще сохранял аристократические привычки и верил в иерархию жанров. Именно поэтому он ее нарушал. Он бы никогда не написал «Евгения Онегина», если бы не знал, что так писать нельзя. Его прозаизмы, бытопись, тривиальности, просторечие в большой степени строились как недозволенные приемы, рассчитывающие шокировать публику. Действительность появлялась, как дьявол из люка, в форме фривольной шутки, дерзкого исключения, подтверждавшего правило, что об этом в обществе говорить не принято. Там еще господствовал старинный роман, «нравоучительный и чинный», и Пушкин от него отпавлялся, на него ориентировался, пародируя литературу голосом жизни. Последняя звучала репликой *a part*, ставившей, бывало, панораму вверх дном, но не меняющей кардинально приличествующего стиху высокогородного тона и самой грубостью иных изречений лишь подчеркивающей лежащую на них печать предвзятости и изящества. В результате получалась та же пастораль-навыворот, «нравоучительный и чинный» роман-бурлеск.

Наталья Павловна сначала
 Его внимательно читала,
 Но скоро как-то развлеклась
 Перед окном возникшей дракой
Козла с дворовою собакой
 И ею тихо занялась...
 Три утки полоскались в луже;
 Шла баба через грязный двор
 Белье повесить на забор;
 Погода становилась хуже...

Потом вся эта ирония стала изображаться всерьез. Из пушкинской лужи, наплаканной Станционным зрителем, выплыл «Антон-Горемыка»...

Но раз уж зашла речь о Пушкине, не могу не внести поправки – к предыдущему с самого начала.

1) Во-первых, все-таки «прогулки», а не «прогулка».

2) После первых звездочек: «Словно материя одной страсти на лету преобразовалась в иную, непорочную и прозрачную, с тем, однако, чтобы следом функционировать в прежнем качестве». Очень не нравится мне это «функционировать». Вместо него – «воплотиться».

3) Там же, поблизости: вместо «в эрудиты и виртуозы амурной науки» – «в эрудиты амурной науки».

4) Чуть дальше не нужен кусок: «Специалист! Какая техничность!.. до вашу талию...», а после «заискивают» сразу: «Ну и, естественно...».

5) Где Татьяна, ввести номера – так: «...довольно типичным и тривиальным идеям: 1) «теперь ты будешь меня презирать» и 2) «а души ты моей...» и т.д.

6) После цит. «Лишь я судьбе во всем послушный»: вместо «Ленивому безотчетно везет» – «Ленивому необъяснимо везет».

7) После цит. «Дар напрасный, дар случайный»: «Случайность знаменовала свободу – рока, отсутствием логики...». Вместо «отсутствием» – «утратой».

8) Где анекдот: вместо «в конструктивной, телообразующей функции» – «в конструктивной, формообразующей функции».

9) Перед цит. «Так Муза, легкий друг мечты...»: вместо «отпускали в командировки» – «посылали в командировки».

10) После Пеллико: «Пушкин чаще всего любит...» – вместо «трудно выбрать в мире более доброжелательного писателя» – «не найти в мире более доброжелательного писателя».

11) После цит. «Бог помочь вам, друзья мои...»: вместо «эти пропасти укреплять» – «эти пропасти сторожить».

12) Где Энгельгардт: «...потому что его отзыв не лишен проничательности, несмотря на обычное профессиональное недомыслие». После «обычное» ввести «в подобных суждениях».

13) Перед цит. «К Якубовичу калуер приходит...»: вместо «появился такой же симптом» – «появился похожий симптом».

14) После этой цит.: вместо «все происходит куда быстрее» – «все происходит куда веселее».

15) После цит.: «И мужик окно захлопнул...» весь кусок «Ломая голову...» до «...гадливость» заменить так: «С перепуту можно подумать, это настырный критик Писарев (безвременно утонувший) приходил стучаться к Пушкину с предложением вместо поэзии заняться чем-нибудь полезным. Но факты говорят обратное. Голый гость, обреченный скитаться «за могилой и крестом», ближе тому, кто целый век был одержим бесконечным скольжением и испытывал род тоски по раскинувшемуся пространству, которое непременно следует все объехать и описать, чем возбуждал у чутких натур необъяснимую гадливость».

16) После цит. «Возок несется чрез ухабы»: вместо «С другой стороны, подобная дотошность...» – «С другой стороны, дотошность...»

17) Там же: «На беспредметность «Онегина» сетовал Бестужев-Марлинский...» вместо «сетовал» – «обижался».

Прости, Машечка, за это обилие мелочей, но я сейчас, покончив с корнями сказки, опять уселся за Пушкина, и вот.

30 мая.

Что это за Бразильские рассказы переписывает Егор? Бразилия уже много лучше телефонной книги. Но понимает ли он значение, в том смысле, например, что – «На далекой Амазонке не бывал я никогда...»*.

Я недавно пересматривал ваши фотографии и удивлялся на маленького Егорыча, какой он был маленький. Так быстро.

Опалиху я тоже помню* и люблю. Первая наша природа. Только числа не помню.

Отсюда ты видишь, что я опять получил немножко из ваших писем и откликаюсь. И заинтригован твоим предисловием к рассказу о фильме про Андрея Рублева. Жду рассказ, подавай рассказ – с подробностями. Очень жалко, что я не могу посмотреть. Вот бы изобразить это в красках с заходом в проблему увлечения русской стариной.

Угостили медом. Какой у меда сильный и витиеватый вкус, и сколько вложено в эту зернистость и сверкающую плотную вязкость всякого ума и искусства из полосатых пчелиных пузичек и цветов и воздуха! Мед для нашего рта все равно что благоуханное лето, и лес в красках, и пение птичек. Все туда напичкано, и все сгустилось в один эликсир жизни.

Отказываюсь от прошлого взгляда на то, что бутерброд является только катализатором, а не источником жизни. Нужно быть уважительнее. Это от самомнения и претензий на чистый дух.

Буква и дух в согласии дают слово. А мы то воспаряем на одних междометиях, то обрастаем коростой формы.

Как ярко, должно быть, понимали весну язычники, бедняжки.

А комары появляются затем; чтобы летом человеку не было уж совсем как в раю.

Высокая пантомима: персты: лоб (Господи), живот (живот), направо (одесную отца), налево (мя). Два: человеческий немного склонившись. Вся рука значимая.

– Целая ночь образов.

Остранение вещей: кошка, собака. Весь мир загадка и не имеет имен, но рассказывается.

Человек – стекло, сквозь которое что-то видно. Весь вопрос, сколь оно толсто (бывают же толстые стекла) или тускло, искажая реальное.

– Все это иллюзорный обман.

Смех снизу и плач сверху – оба они потрясают действительность и не дают ей устояться. С точки зрения плача смех кощунственен (над чем тут смеяться, когда плакать надо?). Но этим встряхиванием они выполняют одну работу.

– Читаю Сенкевича и от слез букв не вижу.

– В тот вечер сердце у меня разливалось, как вода.

– Загадочное слово «четыре», если устраниться от смысла и прислушиваться, присматриваться к его продолговатому телу.

Произведение не в пользу ни того, ни другого, ни третьего. Ни даже в пользу себя. Обратимость произведений искусства. Чему учит «Демон» Лермонтова – атеизму или мистицизму? Сперва тому, потом сему.

«Я буду являться к тебе привиденьем,
Я буду тревожить твой сон». (Из песни.)

– Дед освобожден особо опасным рецидивистом. (Дед – кличка.)

– Ну – женился, взял вдову, мужа ее убило на тракторе.

– Шампанское там между прочим мелькало.

– Прижали нас к карбид-заводу.

– Что ты, как конь, валяешься на кровати. (И очень верно: в смысле – тяжелый, как конь.)

Из сказки: Стараясь не топтать, но оттого топя еще сильнее, он со звоном и грохотом передвигался по палаццам дворца в своих сапогах-скороходах. В конце концов пришлось их скинуть и нести за уши в руках. Но все равно он топал.

...На какой-то стадии приходит сознание несерьезности всего, что делал, как жил, и это чувство способно довести до отчаянья, пока не вспомнишь, что и вся мировая жизнь не очень серьезна и похожа на детский сад.

– Узкая, как сабля, рука и модное слово «лайнер» – вот и весь человек.

А что если сказка в сказке, сказка в сказке и так штук шесть, по типу матрешки? Причем все должны быть разные, но и чем-то похожие, так что к концу все шесть закругляются в одну. Жанр – «матрешка».

– Разбойник навел пистолет и кричит «руки вверх», а я поднял руки и вижу, что у разбойника от страха дрожит лицо.

Может быть, Новый свет открыт только затем, чтобы наши старые мифы предстали в чистом виде?

– Грешник и спит наготове.

Очередь, полка с книгами. И вдруг среди солидных томов какая-нибудь лядащая повесть...

Интересно, что в XX веке сами дома стали похожи на доты.

Смешные разговоры:

– Ну хоть слабые слова благодарности вы сказали бы на прощание?

– Не знать и забыть.

– Был бы я президентом, я бы для людей устроил такой закон: 60 лет пей, 40 опохмеляйся – и конец.

– Нет, без работы нельзя. Интересы нет.

– А я и работал, и пил.

– Если, говорит, мне срок сократят, то я...

– Господь сделает, – отвечаю.

– Спрашиваю за Самару: что там нового? какие там тюрьмы знаешь? Я-то в Самаре только в тюрьме бывал.

Игровой человек расскажет о себе любую гадость, и даже с удовольствием: вот я какой! Он отделяет себя от себя и созерцает свое непотребство в третьем лице, охотно труня над собою, и прямою признаний кажется святым. И все это потому, что он играет и рассматривает судьбу как авантурный сюжет. Но сколько в этом сюжете он бед натворил...

Считается, что «Ты царь – живи один» и тому подобные шашни поэта с Аполлоном, вдали от суеты, – довольно позднего, романтического происхождения и не соответствуют исконной программе искусства. Но вот что оказалось – что самый утилитарный практицизм первоначальной поэтической магии, которая оплачивалась шкурами и мясом, сочетался с довольно-таки возвышенной трактовкой – в духе одинокого гения. По преданиям хакасов и всяких алтайский народов, нанайцев и т.д., мудрец-ясновидец и сказочник – братья.

Поэт и жрец (на что так упирал символизм) по существу сливались. Как сообщила Н.П.Дыренкова, «шорские шаманы на Алтае проводят некоторую параллель между камланием и рассказыванием сказок: во время рассказывания такой сказки шаман, по его словам, также путешествует по тем подземным и иным отделенным местам, о которых он говорит» («Сов. этнография», 1969, № 2, стр. 30).

Сказка, казалось бы невозможная без слушателей, совсем не им предназначалась, а слушающим духам (или «хозяину»), кото-

рые невидимо обступали сказочника и уже в качестве побочного результата оплачивали свое удовольствие богатой добычей. Поэтому рассказывание сказок требовало посвящения (от тех же духов) и предельной осторожности, обставлялось жесткими условиями: не прерывать рассказа на середине, рассказывать только ночью, некоторые сказки рассказывались только раз в три года и т.д. Нарушение этих условий влекло бедствия, вплоть до смерти сказочника. (Ясно, что и канон, перешедший затем в застывшую традицию, возник как соблюдение точности, истинности формулы.) Фигура сказочника окружена тайной, страданиями, всеведением. Как удостоверяет Б.Я.Владимирцев, ойраты считают, что «разные сверхъестественные силы, духи внушают певцам во время экстаза эти образы, картины, эти звучные строфы, даруют им силы выдержать страшное напряжение» (Б.Я.Владимирцев. Монголо-ойратский героический эпос. М., 1923, стр. 38).

Чем не романтическая теория вдохновения?

Отсюда явствует, что и на необитаемом острове сказочник будет рассказывать, – обращаясь к духам, а не к людям.

Коммуникативная роль искусства? – да, конечно, но только вопрос, между кем и кем. Оттуда – сюда, отсюда – туда. «Бежит он, дикий и суровый, и звуков и смятенья полн, на берега пустынных волн, в широкошумные дубровы».

3 июня.

Милые мои деточки! Машенька и Егорушка! Душа переворачивается, как почитаешь, как вы сами встаете по утрам из кровати, одеваетесь-снаряжаетесь и, не жалуясь, садитесь писать мне письмо. Картина-гитара тоже мне очень пришлась, и такая беспредметность у Егора определенно получается лучше и действительно подходит к твоим цацкам. Хорошо, что вы мне шлете эти картинки, так они, по крайней мере, не потеряются.

Интересно все-таки, откуда у Егора взялась эта плотность изображения, благодаря которой красочные массы так и лезут друг на друга и группируются в густое ядро. Мне даже мелькает в этом первоначальная магма и первое устройство космоса, города – вокруг центра, с которого все начинается, к которому нужно прижаться, обступить, укрыться, как под одеялом, сжавшись в комок, чтобы из этого яйца потом вылупилась вселенная. К сожалению,

плохо знаю детскую живопись – насколько закономерны в ней такие сгущения?

Посмотрел залетевший сюда альбом Матисса. Все-таки рисунки его я люблю больше живописи. Глядя на них, представляется, что, в отличие от других художников, у которых рисунок вспомогателен и служит эскизом к картине, матиссовская картина служит эскизом к его рисункам, которые, как ни странно, идут дальше по тому же пути чистого цвета.

Что же касается, Маша, конкурентных проблем* (последние письма от тебя №№ 76 и 77), то это даже как-то непонятно, и думаю, не одному мне. Смешно целый год, а то и больше, готовиться к семейному счастью и только о нем и твердить, чтобы потом разочаровываться. Или это от привычки слоняться без дела и переливать из пустого в порожнее? Или отвычка от быта, который в самом деле упрощен и не отнимает никакого времени? Или возмнение, и приобретенная биография оказалась той кульминацией, на которую человек сумел подняться, и вот теперь не может слезть? Не знаю – не знаю. Во всяком случае слышать про это диковато, и я не думаю, что мы уподобимся: может быть и потому, в частности, что и потеря была серьезнее, что резче дало почувствовать краткость возможного счастья, которое вообще отпускается людям, так что грешно его разбазаривать и не ценить дни, отведенные вместе.

Кроме того, мне сдается, что случившееся вообще не типично и здесь сказались малость пережитого, несерьезность испытанного и склонность жить кагалом, что и раньше было смешно – вариться в компании, которых везде хватает. Обычная (и более правильная) реакция – уединенность, неразговорчивость, тяга к лесу и к дому.

Во всяком случае, мы с тобой можем спокойно сказать: нам бы ваши заботы.

Еще хочу, чтобы ты любила Егора, как он того заслуживает, и летом побольше уделяла ему внимания. Потому что и группа, и всякие добрые люди – это неизбежное зло, а мама – главное счастье и должна существовать не только для того, чтобы приготовить суп и уложить побыстрее спать. Надо Егору полную порцию мамы. Хотя бы несколько дней – целиком, с играми и рассказами. Хочется, чтобы он так же тебя оценил и за тебя держал

ся, как я, а для этого надо принадлежать большим куском, как Переславль или Север, ни с кем не делаясь.

Или это мне так тебя мало, что я начинаю о тебе тосковать и за себя, и за Егора, на которого переношу то, чего мне не хватает?

Будьте здоровы, детки, и ходите, взявшись за ручку. Целую вас и обнимаю.

А.

5 июня 1969.



«Барынька, мечущаяся между будуаром и моленной»... – Так обозвал Жданов Анну Ахматову в 1946 году.

...**«Любимое»**... – Если в слове «Любимое» (название мыла) чуть-чуть подрисовать букву «е», получится «Любимов» – название самой криминальной (с точки зрения советского правосудия) повести Абрама Терца.

«На далекой Амазонке не бывал я никогда...» – Р.Киплинг в переводе С.Маршака.

Опалиху я тоже помню... – Из моего письма: «А вчера минуло 14 лет от нашей первой поездки на природу. И ездили мы с тобой в Опалиху, и привезли много-много веток. Это было 14 мая. Помнишь?»

Что же касается, Маша, конкурентных проблем... – Из моего письма: «Мой родной Собакин! Я тебя люблю и жутко тоскую: на днях была у меня в гостях Лида и рассказывала всякие печальные истории про семейную жизнь свою и конкурентов. В общем – жизнь у них не сахар и даже не варенье: в домах ни тишины, ни спокойствия – сплошные гости и суета. А когда бедные жены хотят как-то всю эту лавину ограничить, то сразу попадают в плохие, и даже Ольга однажды пожаловалась, что муж на нее смотрит как на домашнего надзирателя, ограничивающего его свободу. ...И на любое Ольгино «нет» или «не надо», сказанные даже в самой мягкой форме, Боб устраивает истерику, что он-де устал от ограничений. И если когда-то раньше он чем мог помогал ей в хозяйстве, то теперь даже на элементарную просьбу сходить в булочную выдается текст о количестве сортов хлеба, и что он отвык, и что он запугается, и что он заслужил, чтобы его не гоняли туда-сюда по хозяйственным поручениям. И все это кому? Все это Ольге, которая вывезла на себе такой воз и которая вполне стоит, чтобы ее носили на руках».

Лида – это Лида Иофе, Ольга – Ольга Зеликсон.

ПИСЬМО СЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТОЕ

Где вы живете, мои милочки, и как поете? На даче уже или еще сидите в Москве, и не холодно ли ночью, и не кусают ли вас комары, и не протекает ли крыша над вашими головешками? Судя по датам, вам пора уже ехать на каникулы. Но погода?

С автомобилем, конечно, обидно*. Понятно – но обидно за нашего дурашку. Где ему понять, какой это пустяк. А ты не ссылайся: такси. Тоже мне – травма. У меня тоже не было трехколесного велосипеда. И ничего, обошлось без комплекса.

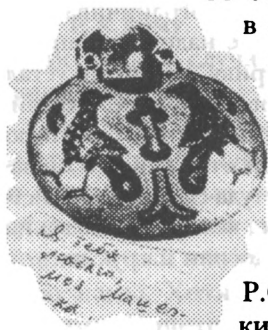
А драться Егору – не вели. И не пора ли ему прививать неприкасаемость к чужой собственности. Просто чужая вещь не имеет твоей души, и поэтому ей не хочется владеть.

А ты молодец и умничка, что справилась с батареей, и как это трудно и важно, и я тебя очень за эту предусмотрительность хвалю. А ты живешь на Хлебном*, а я уже с вами на Пятницкой. Там и витаю.

А позапрошрое письмо было немного короче потому, что, во-первых, оно сплошь исписано мелким почерком и, значит, в него больше поместилось. Во-вторых, по-видимому, в этот период времени я получал письма в основном от Егорыча и не на что было очень длинно откликаться.

Но это совсем не значит, что я к вам отношусь меньше.

Надо когда-нибудь поиметь в виду книжечку Е.Трубецкого «Иное царство и его искатели в русской сказке». М., 1922. И роман Р.Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда».



И еще: «В.В.Кандинский». Текст художника. М., 1918. И проза Л.Добычина, и «Похождение Феокрита» Д.Левина. И «Виктор Вавич» Б.Житкова. И «Мельмот-скиталец» Матюрена. И А.Погорельский «Двойник, или Мои вечера в Малороссии. Монастырка». М., 1960.

Это не к тому, чтобы доставать, а к тому, чтобы не забыть.

Я тут получил от Машки-Реформашки выклянченный журнальчик с прекрасной фотографией Спаса. А ее уже, как классика, цитирует всю «Новый мир» в номере три*. Поздравляю.

А я опять ем деревянной ложкой. На сей раз хохломской. Я за нее ухватился, и мне подарили. Все-таки приятнее. А недавно прошла середина того времени, что находиться в лагере: три и три. И осталось меньше, чем прошло. А давно ли у нас было первое свидание? Первое свидание.

10 июня.

Мы удивляемся на растения, а растения, может быть, удивляются на людей. Катается такой белый комочек в тряпичной шелухе, и как он может существовать, вечно бегая и не имея ни корней, ни покоя, как перекасти-поле, мягкий комочек с режущими способностями, и вдруг ни с того ни с сего набрасывается и принимается грызть непричастное дерево.

Или так: непроницаемое тело со слизистыми покровами в двух-трех пунктах, чтобы путем прохождения некоторых химикатов это замкнутое тело испытывало удовольствие и оживлялось.

И каждый человек ему как голый грешник.

Читал Лескова и вдруг смотрю – в одном рассказе (о градоначальнике) – Солигалич*. Я точно родного встретил. Интересно, знают ли в Солигаличе, что о них Лесков писал.

«Очарованный Странник» Лескова, возможно, написан в пику разочарованным дворянам Пушкина и Лермонтова.

Русские скупцы не так копят деньги, как фантазируют вокруг этого дела. Порфирий Головлев, Плюшкин, Скупой Рыцарь – это очень русские характеры. Они больше воображают, сидя на сундуке. Они заводятся по мелочам, а на серьезные вещи смотрят сквозь пальцы.

– У меня была мания – разбогатеть.

Интересно посмотреть: что остается от человека после разрушения? Скажем, упал в яму, и, пока в ней барахтается, жена вы-

ходит замуж, а друзья забывают, и весь насиженный и казавшийся таким неподвижным быт вдруг превратился в иллюзию, нарисованную на листе разорванного картона, и вот, спрашивается, как он будет жить после этого обнаружения, и заниматься ли спортом или пить водку, и не станет ли брюзжащим на весь свет стариком?

Старик, выброшенный на остров комнаты, начинает сносить сувениры, случайно сохранившиеся и памятные больше следами многолетнего бедствия, и, вспоминая испытанное потрясение, улыбаться и удивляться путешествию, предпринятому без расчета всех ветров и течений, забросивших остаток на такую широту долготы, куда он и не думал никогда добраться.

Ню. Это было как прилив крови в голову, от которой темнеет в глазах, пока эта чернота, этот удар мрака не рассеется, оставив на пляже выброшенную красавицу ослепительно белого, до тяжести в сердце, цвета.

– Нужно построить стену из воздуха. Но если подует ветер?

12 июня.

Как приятно (как страшно), набравши побольше воздуха и не зная толком, с чего начать, нырнуть в обжигающую на первых ударах фразу, которая размыкается и смыкается за тобой, как вода, и не имеет к тебе отношения, пока ты не войдешь в нее полностью и, почувствовав внезапную помощь, прилившую извне, из этой речи, куда ты неосмотрительно прыгнул, не доверишься вашему с ней общему руслу, с риском захлебнуться и не выплыть никогда из реки, которая, сжалившись и взяв тебя тихонечко на руки, уже, кажется, пододвигает к предмету, о котором ты думал рассказывать, если бы вдруг не заметил, что он теперь уж не тот, и дело к вечеру, и надо плыть, не капризничая, повинуюсь согласной с тобой еще цацкаться матери, и, хочешь не хочешь, оставить все свои замашки при себе и погрузиться на самое дно, где, почти потеряв сознание того, о чем говоришь, сказать наконец нечто тождественное этой силе, что, вытолкнув тебя на поверхность, свидетельствует о своей доброте, а не об опытности пловца. Из фразы выходишь немного пристыженным и ошарашенным тем, что сказалось.

13 июня.

Но фраза может быть и хвостатой, как обезьяна, хватаясь за все сразу, как я за тебя в письме, никуда не поспевая, и хвостики мыслей завиваются вверх и вниз, ничего не обещая, кроме охвата и обволакивания цепляющегося за пальцы пространства. Эхо в малом пространстве: увидел сон, и все знают, какой сон увидел. Стена сегодня. Он здесь, понимаете, здесь, только мы не видим, и незримо ходить между вами, наблюдая последствия, когда сведения о тебе приходят со стороны, перестаешь себя узнавать. Лая на трактор, грех писателя: врет, даже если старается правду, отсюда и произошел реализм. Смеются не над тем, что смешно, а над тем, что не над чем тут смеяться. Сумасшедший твердит: поверьте, заверяю вас, я не сумасшедший, пьяный сидит в стекле и как бы огорожен от всех. Он говорил, оступаясь на общепонятный язык: прогресс там, наука и прочее человечество, но, когда он, оступившись, падал и подымался, подхваченный тем словом, – мы благоговели. Человек как болезнь и болезнь как человек, и они начинают путаться. Чеховский земец, как у тех писцов, что на полях ставили «зри» и рисовали указующий перст. Nirvana, себя забываем, не «он», не «она» – оно. Адский способ достичь рая, райское блаженство в аду. – Как я мучилась от своего целомудрия! Им неосознанно хочется вернуться в свое девичество, чтобы снова и снова безжалостно его потерять. С одной душой? – Как холодно.

Мы не пишем фразу, она пишет себя, а мы лишь проясняем скопившийся в ней смысл.

На этом речевом фоне как крепко звучат народные поговорки:

- Днем ножи точить – ночью на работу ходить.
- Кто не рискует – тот в тюрьме не сидит.
- Для девчонки тоже нужно деньги иметь: она телепатически чувствует, есть что в кармане или нет.
- Увеселяющий напиток.
- Пойду покобелюрю.
- Не вытерпел – замочил.
- Дешевнул. Подогрев. Захомутали.
- Бесхозные дети. Морская колбаса.
- Нам было легче: мы рвали, как волки.
- Кирюха, которого по суду расстреляли.

Слушая концерт для скрипки с оркестром Моцарта, один мужик верно заметил:

– Это как полет комара!

14 июня.

Пушкин – золотое сечение русской литературы. Толкнув ее стремительно в будущее, сам он откачнулся назад и скорее выполняет в ней роль вечно цветущего прошлого, к которому она возвращается, с тем чтобы стать моложе. Чуть появится новый талант, он тут как тут, с подсказками и шпаргалками, а следующие поколения, спустя десятилетия, вновь обнаружат Пушкина у себя за спиной. И если мысленно перенестись в отдаленные времена, к истокам родного слова, он и там окажется сзади – раньше и накануне первых летописей и песен. На его губах играет архаическая улыбка.

То же и в литературном развитии XIX века: Пушкин остается ребенком, который сразу и младше, и старше всех. Подвижность, непостоянство в погоне за призраком жизни, в скитании по морям – по волнам, нынче здесь, завтра там, умерялись в нем тягой к порядку, покою и равновесию. Как добросовестный классик, полагал он спокойствие «необходимым условием прекрасного» и умел сочетать безрассудство с завидным благоразумием. Самые современные платья сидели на нем, словно скроенные по старомодному немного фасону, что придавало его облику, несмотря на рискованность поз, выражение прочной устойчивости и солидного консерватизма. С Пушкиным не ударишь лицом в грязь, не пропадешь, как швед под Полтавой. На него можно опереться. Он, и безумствуя, знает меру, именуемую вкусом, который воспринят им в поставленном на твердую ногу пансионе природы. «...Односторонность есть пагуба мысли» «...Любить размеренность, ответственность свойственно уму человеческому».

На все случаи у Пушкина предусмотрены оправдания, состоящие в согласии сказанного с обстоятельствами. Любая блажь в его устах обретала законную санкцию уже потому, что была уместна и своевременна. Ему всегда удавалось попасть в точку, в такт.

Когда же юность легким дымом
Умчит веселость юных дней,

Тогда у старости отыдем
Все, что отыметса у ней.

В предупреждение старости вылетела крылатая фраза (в свою очередь, послужившая присказкой к семейным исканиям Л.Толстого): «Была бы верная супруга и добродетельная мать». И это у такого ловеласа!

...Всему пора, всему свой миг;
Смешон и ветреный старик,
Смешон и юноша степенный.

До чего рассудителен этот Пушкин! При всех изъянах и взрывах своего темперамента он кажется нам эталоном нормального человека. Тому, безусловно, способствует расфасовка его страстей и намерений по предустановленным полочкам возраста, местожительства, происхождения, исторической конъюнктуры и т.д. Вселенная в его понимании пропорциональна, периодична и основывается на правильном чередовании ударений. «Чредой слетает сон, чредой находит голод». Пушкин неравнодушен к изображению простейших жизненных циклов: дня и ночи, обеда и ужина, зимы и лета, войны и мира – всех тех испокон века укоренившихся «привычек бытия», в тесном кругу которых он только и чувствует себя вполне в своей тарелке. В сущности, в своих сочинениях он ничего другого не делал, кроме как пересказывал ритмичность миропорядка.

Вот тут-то опять подключалась к его картам и планам судьба.

16 июня.

Все-таки лето. А летом много проще живется. Не надо там всякие ватники одевать. В камеру лезу раздетым. И в тапочках. И радио не в таких размерах. А мы уже грибы ели. Их сперва отваривают, а потом уже жарят.

А писем давно не бывало. Может, вы как раз на дачу переезжали и отсюда такая пауза?

Один знакомый получил письмо от шестилетней дочки. Ее первое письмо в лагерь начиналось так: «Папа! Мама разлила кефир». Сразу видно, какой беспорядок начался без папы.

А мне на групповом (так сказать) рисунке Егора очень понравилось небо – одним красивым росчерком. Интересно, сам он сочиняет сюжеты или кто говорит: а теперь, Егорушка, нарисуй крокодила. И приятно, что крокодил рядом с паровозом. И тут же очень хорошая лужайка в цветах.

Хорошо, когда все вещи лежат в одной плоскости. Это равенство вещей и показывает примитив – самая свободная форма искусства.

Интересен Емельян Пугачев как явление народного театра и лубка. Законна такая тема: «Пугачев-художник», «Пугачев: творчество жизни». Подойти к нему не как к деятелю, а – к артисту, создавшему театр одного актера на просторах оренбургских степей. Ведь все признаки искусства: игра, вживание в образ, эффект подражания и узнавания, роль зрелища и зрителя. Его манифесты, помимо имитации официального документа (с невольным впадением в пародию), несколько напоминают реплики из детства, типа «Царя-Максимьяна»: «Я во свете всему войску и народом учрежденны велики государь явившейся ис тайного места, прощающей народ и животных в винах, делатель благоденний, сладкоязычной, милостивый, мяхкосердечный российский царь, император Петр Федорович, во всем свете волны (вольный), в усердии чисты и разного звания народов самодержатель; и прочая, и прочая, и прочая» («Пугачевщина», т. I, М.; Л., 1926, стр. 29). Конечно, это сочинил пугачевский писарь (о нем, кажется, интересно у Данилевского) – но влияние лубка, мне кажется, здесь очень ощутимо, как и в обещаниях и пожалованиях: «И желаем вам спасения душ и спокойной в свете жизни, для которой мы вкусили и претерпели от прописанных злодеев-дворян странствие и немалыя бедствия». «По истреблении которых противников и злодеев-дворян, всякой может возчувствовать тишину и спокойную жизнь, коя до века продолжатца будет» (там же, стр. 41). К.В.Чистов («Русские народные социально-утопические легенды XVII–XIX вв.». М., 1967) сближает этот идеал конечного покоя и тишины с финалом сказки (как только цель достигнута, наступает состояние покоя – «стали жить-поживать да добра наживать»). А мне вспомнилась «возлюбленная тишина» в высоких одах 18 в., спроектированная здесь в лубочный жанр, что не исключает поэтики сказки, но вносит в нее барочные и рококош-

ные черты. И вообще в зрелище, поставленном Пугачевым, много от традиций народного праздника и балагана. Заводит своих графов (гр. З.Чернышев – И.Зарубин, гр. Воронцов – Шигаев, гр. Панин – Овчинников и т.д.), называет Берду – Москвой, Каргале – Петербургом, Сакмарский городок – Киевом; вырабатывает свой ритуал суда, появления перед народом и т.д. «...Особенно настойчиво требует он себе царских почестей в месяцы неудач, перед окончательной катастрофой сооружает себе «царскую» палатку, а в ней возвышение, на котором восседает; свита вся в орденах и звездах; грудь его украшена андреевской звездой, на казацкой папахе – золотой крест, в руках его постоянно подзорная труба...» (Чистов, стр. 167).

Меня эта подзорная труба, за которую Петр Федорович держится как за соломинку, просто умилила. Совершенно лубочный образ царя. И если собрать весь материал (как в церкви, по незнанию, влез на Божий престол и, плача, говорил: «Вот, детушки! Уже я не сиживал на престоле двенадцать лет!», как плакал над портретиком Павла: «Вот-де я оставил ево малинькова, а ныне-де вырос какой большой...», входя в образ почти по системе Станиславского), получился бы: великий артист, творящий миф о себе в значительной мере средствами искусства, которое в полном смысле здесь вторгается в жизнь и начинает ее заменять, являя собой композицию редчайшего художественно-исторического зрелища. А узнавания? Ведь Пугачева «узнавали», и он не боялся этих встреч со свидетелями, а шел на них в открытую Петром III и неизменно выигрывал, и отсюда вырастает проблема реализма в лубке, где подзорная труба – достаточный признак «действительности».

Вот вам и роль искусства в жизни. Как это тебе нравится?

17 июня.

Здравствуй, моя Машенька.

Очень* давно жду, чтобы твои не в меру задержавшиеся письма пришли ко мне целой пачкой, при виде которой я бы оживился и весело заболтал на разные домашние темы, а не только бы дудел в одну литературу.

Все-таки кое-чего дождался. И к сегодняшнему дню имею от тебя (наконец!) одно (!) – 82-е письмо. По штампу видно, что оно

валялось у вас в ящике одиннадцать дней. Право же: написано 2-го июня, а ушло из Москвы 13-го. Вот и считай.

Меня это печалит тем более, что время летних отпусков только-только начинается, а почта уже так плохо работает, что хоть в Министерство связи обращайся за разъяснением (Министерство связи, как ты понимаешь, я заимствовал из эрудированных писем Егорыча).

Но даже одно это письмо с хозяйственными рассказами и добрыми советами, с которыми я совершенно согласен (но немного запоздали или – что в данном случае все равно – немножко преждевременны), меня ободрило и приподняло. Я только не уверен, надо ли вкладывать слишком большие затраты в устройство мастерской (и время, и деньги под вопросом). Впрочем, тебе виднее. Кроме двери, надо ведь, действительно, и красить, и строить, а помочь тебе теперь некому. Даже поймать, как ты сейчас справляешься с Егором и где он живет, когда нет группы, а тебе надо бегать, я не в состоянии. Твои же письма в последнее время в самом деле несколько беглые. И я не очень ориентируюсь сейчас в твоей жизни. От летних хлопот, может быть, она в моем представлении стала размытой и абстрактной.

На моих письмах это тоже, наверное, отражается: не сделались ли они, боюсь, более скучными, так что тебе теперь уже и писать неинтересно такому серому мужу.

Это письмо я посылаю на денек раньше обычного, чтобы оно скорее дошло. Просто послезавтра суббота, а потом воскресенье – два выходных дня. И если я нынче его не брошу, оно может задержаться на два лишних дня, и это обидно. А тебя я очень и совсем. Пиши мне, Маша, немножко подробнее о себе (о здоровье своем в том числе, о котором ты не говоришь ни слова почему-то), а то я тебя как-то мало вижу в последних письмах, и хотя облизываю Егора, тебя мне тоже надо и в большом количестве. Никогда и нигде без тебя – целую и обнимаю.

А.

19 июня 1969.



С автомобилем, конечно, обидно. – Я рассказывала в письме: «Наш бедный ребеночек жутко травмирован: вчера Понику исполнилось 3 года и его папа, дядя Коля, подарил ему pedalный автомобильчик – такое шикарное, безобразное чудовище, предмет вождления и зависти всех окрестных детишек.

А Анна вовсе послала его купить Понику велосипед, но Коля велосипедов не нашел.

А вчера наш цыпленок сидел в этой машине и не хотел из нее вылезать, и они даже с Поником подрались из-за машины, и очень его жалко. Но и обидно, что НАШ сын и вдруг очаровался такой ерундой.

Но, с другой стороны, я хорошо помню, как мне в детстве хотелось такую машину, а их в Витебске было на моей дороге в детский сад и школу две штуки (наверное, привозные из столиц: они тогда только-только появились), и я жутко вождлегла. Но было это совершенно недоступно, и, наверное, от этой детской недостачи я так обожаю такси».

...ты живешь на Хлебном... – Из моего письма: «Мой дом все еще на Хлебном...»

...цитирует всю «Новый мир» в номере три. – Ефим Дорош. Образы России // Новый мир. 1969. № 3. С. 197–198, 200.

Солигалич – город из наших путешествий.

Очень... – Здесь шифровка: «Очень скоро меня отправят на третий».



ПИСЬМО ВОСЬМИДЕСЯТОЕ

Милая Машенька.

Приятно, что ты надписываешь Егоровы картинки, – где что нарисовано. Помимо уважения к человеку я тут вижу наш с тобой любимый принцип. Надписанная картинка смотрит героем, и метод подглядывания сменяется великолепным парадом вещей, желающих представиться и обращенных к нам своим понятием, внутренней сутью, живущих в согласии с признаком «кто есть кто» и хотящих не казаться, а быть, быть и витийствовать, и сохраняющих высокую важность «вещи в себе», существующей самостоятельно, а не для нашего удовольствия, гордой своим названием и положением.

Именованный образ также ближе к магии.

В отличие от прежних писем, это я сел писать, едва отправив то, – чего раньше не делал, оставляя обычно несколько дней после письма пустыми, для того чтобы расквитаться с накопившимися за время написания обязанностями и долгами (книгой, которую надо дочесть, или тем же Пушкиным, или просто поболтать с человеком, которому давно обещался, да не было минуты). А вот сейчас, послав, как-то грустно стало не разговаривать долго с тобой. Да и еще расчет, о чем, по всей вероятности, расскажем потом, в конце письма. Как в конце свидания не успеваем наговориться, хоть все уж, кажется, переговорено. Но надо еще и еще сказать, как мы друг друга любим.

20 июня.

Приятны тоже твои успехи с кольцами* и что ты про них написала «мы с тобою». Еще получил телеграмму о переезде на да-

чу и убиваюсь вашими дождями и холодами. Но, с другой стороны, надо же вам с Егором пожить когда-нибудь вместе?

А я тут наткнулся на материалы о Пугачеве и удивился его характеру, совсем не предназначенному, кажется, на такие громкие роли. Все как бы получилось совершенно случайно. В рапорте П.С.Потемкину гвардии капитан-поручика С.Маврина, который первый снимал допрос с Пугачева в Яицком городке, от 15 сентября (арестовали 8 сентября) 1774 г., говорится: «Что ж принадлежит до его предприятий завладеть всем, – в том и сам удивляется, что был сперва очень щастлив, а особливо при начале, как он показался у Яицкаго городка, было только согласников у него сто человек, а не схватили. Почему и уповаает, что сие поущение Божеское к нещастию России» («Вопросы истории», 1966, №3, стр. 131).

Видимо; за несколько месяцев до того, как объявил себя государем, он и не думал, и не мечтал об этом. Не обнаружим мы в нем и наклонностей к злодейству. В показаниях на допросе от 16 сентября Пугачев рассказывает о своем пребывании в Казанском остроге (декабрь 1772 – январь 1773 гг.): «Между тем пропало у меня не помню сколько денег, а как многия о сем узнали и хотели отыскивать, однакож, я об них не тужил, а сказал протчим: «Я де щитаю сие за милостыню, кто взял – Бог с ним». Вина же я тогда не пил, и временем молился Богу, почему протчия колодники, также и солдаты почитали меня добрым человеком. Однакож, в то время отнюдь еще не помышлял, чтоб назваться государем, и сия жизнь не была тому причиною, чтоб вкрасться людем и после, как назовусь государем, чтоб можно было и на сию благочестивую жизнь ссылатся» (Следствие и суд над Е.И.Пугачевым. – Там же, стр. 136).

Это зима 73-го, а летом – все начнется. Доброту души Пугачева подметил Пушкин, – а также его плутоватость, ловкость, прынство. Недаром как участник прусского похода Пугачев вспоминал о полковнике Донского войска Денисове, «который и взял меня за отличную проворность к службе в ординарцы».

Скорее всего Пугачев представлял собою обычный в России тип «легкого человека», которым играет судьба и который при случае может сам с ней поиграть, становясь то добрым, то злым, не будучи таковым по природе, но приноравливаясь к обстоятельствам, которые вместе с тем носят характер легкого «щастья», как и в слу-

чае с деньгами, милостиво одарил ими такого же случайного вора. В Пугачеве до августа 73 г. (когда он объявил себя императором) мы, кажется, не найдем ничего от той исторической личности, которая стала известна уже из грозных событий. В Пугачеве-бродяге мы не найдем Пугачева-самозванца. Разве что история имеет свой микрокосм и большие феномены обладают маленькими двойниками в сфере быта и частной жизни. Так, по дороге в Симбирский (потом Казанский) острог Пугачев задумал бежать, подкупив провожатого завернутыми в бумажку двадцатью копейками, выдав их за червонец (дело было зимой и ночью, но этот подлог, служащий эмбрионом будущих самозванных событий, не прошел, так же как микрокосмический случай хвастовства в польском походе, – сказал, что сабля ему пожалована Петром Первым).

Зато в истории Пугачева много от доисторической его личности. В частности – к проблеме театра – любопытна такая деталь, что приходилось ему в жизни служить и под командованием гр. З.Г.Чернышева и гр. П.И.Панина, чьими именами и должностями он потом назовет уже собственных полководцев-ординарцев. Этот ход воображения очень понятен.

25 июня.

Сборы в дорогу. Прощания*. Последние встречи. Последние книги. Книги тоже уезжают в разные стороны, и их хочется дочитать, пролистать, сделать выписки, вырезки. Следовало бы спокойно обойти зону, в одиночестве, предаваясь созерцанию, прощаясь с углами, которые были ко мне так добры. Не успею. Очень уж сутолочно. В такие часы по рекомендации Анатоля Франса предлагается читать Плутарха. В самом деле напрашивается. Но неплохо и кусочки из Византийской прозы IV века, новое издание, которое уже невозможно достать, жития, отцы церкви. Колорит и фон странным образом перемешиваются и спорят. Люди, беготня, негде сесть. Очень много слов, прощальных воспоминаний. Сегодня проснулся в пять, чтобы успеть с Византией. Успел.

Забавная фраза, из которой следует, что зло во спасение – очищает душу. Но не по поводу наказания, как можно подумать, а по поводу преступления: – Я свое зло согнал, и теперь спокоен, и не жалею. А то бы всю жизнь на душе лежало.

Я вспомнил Галину*: тот же психологический тип. Отсюда

опять же получается, что душа словно что-то постороннее человеку. И душа у меня хорошая, если я плохой.

Очень много вырезок из журналов накопилось за эти годы. По этнографии, археологии. Куда уложить эту кипу? Бушлат я решил бросить: все равно он старый и на три года не хватит. На зиму выпишу новый. Табор.

О кулачном бое тоже рассуждения в прекрасном стиле:

– Плечо как у Степана Разина.

– Маленький, но кулаком владел непревзойденно. С быстрой молнии врежет и два, и три раза. Отключал в один миг. А другой ударит – метров двенадцать летишь, перевернешься, а ничего – встанешь, пешком побежишь. Потому что кулак – подушка. Сила – есть, а нету – резкости.

– Двадцать три года – самая пылкость дурости.

– Рука у него была пробита в побеге, и вся сила перешла в другую руку.

– Духовитый парень.

– Пусть мне попадет в 10 раз больше и в 20 раз больше, но я буду драться, если вопрос стоит, что я должен драться.

А мне почему-то вспомнилась тибетейка, которая была в моде в 30-е гг. Носили ее в столицах деловые, бритоголовые люди. А сколько пересеклось в ней времен и народов?

27 июня.

Вот мы и приехали. Место – против ожидания – оказалось довольно приятным. Много деревьев, живописной разбросанности, уютных закоулков, а от забора простираются настоящие лесные дали. Постройки чуть старомодные, со всякими закутками и деревенской простотой, и, хотя в результате удобств бытового свойства здесь меньше, чем на одиннадцатом, это вносит в жизнь ноту милой провинциальности, что краше и дороже строгого геометризма. Погода, правда, сейчас стоит дождливая, и некуда приткнуться, что особенно чувствительно, когда еще не обжился, – но это уже никак не зависит от зоны.

Да и из своего скромного опыта могу заметить, что это редкий случай, чтобы новая зона приглянулась с первого взгляда: обыкновенно она кажется хуже предыдущей уже потому, что к старому худо ли, хорошо приспособился, а тут начинай сначала:

помню, как в первые дни не понравилось мне на одиннадцатом, хотя по всем статьям столица, и помощь от старожиллов, и любопытство новых знакомств, а все равно месяца два, пока не привык, душа не лежала; и вот то, что ничего этого не имеющая, третья по счету и по номеру, обитель вдруг сразу пришлась и даже чуть-чуть очаровала, как ни дико употребить это слово, своей тихой, немного монастырской природой, – уже хорошо и говорит в пользу этого странноприимного дома.

Какой работой мне предстоит здесь заниматься, еще не знаю. Но думаю, как-нибудь все устроится и утрясется.

Написал тебе открытку с нового места, для того чтобы ты побыстрее узнала адрес, по которому писать. Даже его стилистика, немного громоздкая, отличается невнятной патриархальностью и лиризмом. А слово обычно отвечает духу вещи, с которой оно связано. Особенно красива белокаменная баня, похожая на нижний этаж какой-нибудь старой церковки. Почему-то вспоминается храм Сорока великомучеников в Переславле-Залесском. Может быть, – что тоже на краю земли белый камень. Только вместо озера – запретка и лес ниспадающей с неба ложбиной. Синие дали совсем по Шишкину.

Народу тоже значительно меньше, а знакомого совсем мало, что располагает к еще большей уединенности. Только из-за погоды очень беспокоюсь за ваше летнее здоровье. Дождь и дождь. Потому что не только воображаю, но и вижу, как вы мерзнете, по первым дачным письмам, что успел получить в самый момент отъезда – №№ 88 и 89. А два предыдущих номера не успел, но, надеюсь, их сюда перешлют.

Я писал уже, что успел также получить книгу «Мой пес»* и, помимо нежностей в твоём голосе, обрадовался тому, что вы, можно думать, веселы и здоровы были 24-го июня (бандероль очень быстро дошла), мои собаки.

А на одиннадцатом я пробыл два с половиной года. Кто бы мог подумать, что так много времени утекло за этот срок?

28 июня.

Вечерняя, деревенская грусть. Под дождем. Очень близки ваши дачные страхи. Правда, вы маленькие, а я большой. Когда-то подобная тоска закрадывалась вечером в Рамене. Верно, это бессилие перед огромностью смерти. Или ничтожеством жизни.

Из письма: «Мама, сам знаешь, переживает о тебе. Как получит письмо, так плакать, да и все время плачет. И папка плачет о тебе, как садится есть, так плачет, говорит: вот мы едим, а Славки нету».

Сегодня весь день сплошной дождь.

Перед отъездом мне подарили две книги – обе толстые: «Художественная культура Новгорода» (ее я раньше успел проштудировать) и «Армянская архитектура IV–XIV вв.». Хорошие. Но что с ними делать? Скоро от книг я стану нетранспортабельным. Не выкидывать же такие издания. Спасибо, основная погрузка и доставка вещей прошла почти без моего участия. С двумя чемоданами я бы еще прошел сто шагов. Ну а мешок – главный груз? Мы тут смеемся, что в целях избавления начнем скоро дарить друг друга томами, кто кого передарит. Надписанную книгу выкидывать еще стыднее.

Сплю я опять наверху. Был бы шустрее, устроился бы внизу – сам виноват. Но стоять в долгой очереди на то, чтобы тебя обыскали, свыше моих сил. И я предпочел отсиживаться на травке, пока все пройдут. Я бы и за колбасой не стал стоять – а так тем более. Но верх меня тоже не очень волнует. Опять же лето. Вот только дождь кончится.

Ехать сюда на свидание следует обычным путем, только немного подальше – до села Барашево. И совсем рядом с железной дорогой. Только чтоб не запутаться в других загончиках, говорят, надо спрашивать не просто третий, а еще – где 4-й отряд. Впрочем, последняя деталь, может быть, еще уточнится. А дом свиданий, говорят, здесь прекрасный. И в целом мое впечатление остается благоприятным. Кормят тоже вкусно. И хлеб хорошо пекут. А какие дали, какие дали!

29 июня.

Рабочая зона оказалась тоже прекрасной. От избытка света, неба, облаков, травы, лесных запахов, несущихся нам в объятья с той стороны, мы просто обезумели. Представляешь – чтобы в зоне росла земляника? И чтобы мы кинулись ее собирать – в густой росе? Земляника, понятно, дело временное, на одно утро. Но все равно мы стоим на возвышенности, и от этого получается большой оком. И воздух много свежее и вольнее, им хочется дышать. Наверное, поэтому увеличился аппетит, хотя кормят луч-

ше. Раздумывая над этим явлением, один знакомый сказал, что есть больше хочется от нервного потрясения, которое мы пережили: имеется в виду переезд. Действительно, на общелагерном фоне эти дни смотрят большим событием. И кажется, я не писал тебе целую вечность, хотя прошло всего несколько дней.

Существуют и мелкие беды. Плохо с кофе. Народу мало, взять не у кого, и мы обеднели. Когда поедешь на общее, захвати килограмма два-три в зернах: может, отдадут. И сигареты. Только не с фильтром (и папирос не надо – я от них отвык). Чем с фильтром – лучше табак.

Твою просьбу написать заявление о льготе* я не выполнил вот почему: письмо пришло за несколько дней до отъезда, и большой начальник, с которым, ссылаясь на твое письмо, я разговаривал, сказал, что сейчас уже поздно поднимать этот вопрос. Здесь же, судя по всему, еще рано.

Еще в мякише хлеба я оставил передний зуб. Он сломался не от какого-нибудь встречного камушка, а просто ослабел. В первый момент я даже не заметил. Теперь у меня впереди сверху дыра и твердую пищу жую с трудом. Щербатый.

Зато мне пока повезло с работой. Расскажу по порядку. Сперва было не очень хорошо: подвозчиком. Я согласился, думая, что предстоит развозить детали по цеху на каких-нибудь ручных тележках, как было на первом: металл. Но меня зовут и говорят – возьмите: и я вижу – лошадь. Оказалось, надо возить по всей территории. Ну, я взял ее за узду – впервые в жизни. Телега у чорта на куличиках. Дергаю лошадь и говорю: «пойдем, деточка», а она уперлась всеми четырьмя ногами и не сдвигается. (Тут я понял, что значит «подвозчик», и пришел в ужас: возница.) Косит жарким глазом, а в нем никакого проблеска понимания или хотя бы иронии – еще вдарит. Хорошо, прохожий зек шуганул ее сзади хворостинной, и мы пошли. Подвожу к телеге, а та развалилась, надо починять, и всякие хомуты горою, не поймешь, что к чему (и каким-то нагромождением кошмаров мне представились эти этапы: 1) чинить телегу, 2) запрягать (!), 3) возить). Надо идти за болтом (чинить телегу), а я лошадь выпустить боюсь: мне почему-то казалось, что она тотчас умчится, как вихрь. – Да оставьте ее, – говорят, – она у нас смиренная. Я бросил повод, и, к удивлению, лошадь начала преспокойно пастись возле разваленной телеги.

От всех этих напастей спас меня проходивший мимо директор завода. Услышав, что я лошадь никогда в руках не держал, он предложил мне быть контролером (проверять брак). Но, во-первых, это слишком сложно и технично для меня; во-вторых, что-то среднее и промежуточное между мастером и рабочими. А я предпочитаю оставаться в последних. Опять загвоздка.

Вдруг меня озарило: не нужен ли вам рабочий на складе, чего-нибудь грузить? Оказалось – нужен. И вот я рабочий склада готовой продукции (мое полное название). Буду ворочать ящики. Это мне уже немного знакомо – по упаковке на Первом. Кроме того, оклад. Кроме того, не все время же грузить. Сидеть тоже будем. В общем – я устроен и доволен. В особенности после лошади я обрадовался этой должности больше, чем когда поступал в Мировой институт*. А тут как раз и дождь кончился. Благодарь. Поэтому возвращусь к Пушкину.

3 июня.

Вот тут-то опять подключалась к его картам и планам судьба. Отсчитывая удары, она вносила в нерасчлененный процесс последовательность и очередность. Судьба превращала жизнь в сбалансированную композицию. С нею быстротечность явлений становилась устойчивым способом справедливого распределения благ. Изменчивость бытия исполняла верховный закон воздаяния: всем сестрам по серьгам. Прошедшее в глазах Пушкина не тождественно исчезновению, но равносильно присужденному призу, заслуженному имуществу; было – значит, пожаловано (то графством, а то и плахой).

Чредою всем дается радость;
Что было, то не будет вновь.

Было – не будет – не повторится – неповторимость лица и события мы с достоинством носим, как щит и титул. В искупление нашей вины мы скажем: мы *были*...

Нивелирующим тенденциям века Пушкин противопоставил аристократический принцип отсчета в истории и биографии, предусматривающий участие судьбы в делах человека. История, как и космос, сословна, иерархична и складывается из геральди-

ческих знаков, отчеканенных в нашей памяти во славу уходящим теням... «...Никогда не разделял я с кем бы то ни было демократической ненависти к дворянству. Оно всегда казалось мне необходимым и естественным сословием великого образованного народа. ...Калмыки не имеют ни дворянства, ни истории. Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим» («Опровержение на критики», 1830 г.). «Невежественное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне» – все эти, столь ненавистные ему черты *полупросвещения* отлучали современность от Пушкина, невзирая на быстроту, с какою схватывал и перенимал он ее новые верования.

Дворянские замашки у Пушкина имели, помимо прочего, тот же эмоциональный источник. Пушкин был вдвойне дворянином, потому что был историчен. Но он больше других нянькался с дворянством еще и потому, что был Пушкиным милостью Божией. Эти чувства (применительно к Гете) комментирует Томас Манн:

«Характеризуя основу своей индивидуальности, Гете с благодарностью и смирением говорит о «милости судьбы». Но понятие «милость», «благодать» аристократичней, чем обычно принято думать; по сути оно выражает нерасторжимую связь между удачей и заслугой, синтез свободы и необходимости, и означает: «врожденная заслуга»; а благодарность, смирение содержат в себе одновременно и *метафизическое сознание* того, что, при всех обстоятельствах, как бы они ни сложились, им обеспечена милость судьбы» («Гете и Толстой. Фрагменты к проблеме гуманизма»).

У Пушкина, можно прибавить, личные счёты с историей. Вставляя двух Пушкиных – Гаврилу и Афанасия – в ситуацию Годунова, он как бы намекает: и я там был. Пушкинская ревность к своему родовому корню крепится рождением первого, с древних времен поджидаемого, единственного лица. Знатный – это давний, благословенный, обещанный. Тот самый! Верность родовской чести, в частности, означала, что гений – законное дитя в национальной семье и вырос не под забором, а в наследственной колыбели – в истории. Пушкину приходилось много и безуспешно отстаивать это право предначертанного рождения – первородства, и он, надо не надо, выкладывал ветхие метрики как пропуск в свое имение (как впоследствии Маяковский в по-

эме «Во весь голос» предъявлял аналогичный билет на вход в эпоху).

Но Пушкин уже оторвался от прочной генеалогии предков. К их действительным и мнимым заслугам он относится без должной серьезности, а милости понимает до странности растяжимо. Судьба награждает сородичей памятными тумачами, и все это к вящему удовольствию Пушкина.

С Петром мой пращур не поладил
И был за то повешен им.

Повешенный пращур ему не менее прибылен, чем пращур, приложивший руку к царствующей династии. Ему важнее, что время крестит и метит его предшественников, а чем и как – не так уж важно. Ему дороже не честь в точном значении слова, но след человека в истории и ее, истории, роковые следы на его узкой дорожке. Сословность им превозносится как основа личной свободы и признак его собственной, независимой и необычной судьбы. Ему хочется еще и еще титуловать себя Пушкиным. Вскормленное натуральными соками исторических небылиц, пушкинское родословное древо уходит широкошумной вершиной в эфемерное небо поэзии.

4 июля.

Вот вроде бы все пока успел рассказать. А писем на новое место еще не поступало. Почта сюда, наверное, дольше идет.

Что еще прибавить?

Что я люблю тебя бесконечно и безнадежно.

А.

5 июля 1969 г.

А в предыдущем Пушкине, в конце, после «в своей тарелке», я не помню – была ли фраза? – она нужна: Поэтому он охотно живописал погоду.



...твои успехи с кольцами... – Из моего письма: «Вчера мы с тобой блистали на выставке, открытой в честь международного конгресса

женщин, где Машечкины кольца лежали в витрине тремя кучками и выглядели весьма внушительно. И всякие типы и типунки подходили и поздравляли, и верещали, и ахали, а Маша, наоборот, соблюдала редкое достоинство и морщила нос:

– Подумаешь, кольца как кольца (Барсик как Барсик...), ничего особенного...

Но тебе признаюсь, ибо секретов от тебя нет, что зазнайством я переполнена. Кольца в самом деле хороши, а т.к. выставка сугубо бабья и выставлялись на ней только дамы, то мои кольца автоматически получились лучшими, ибо среди баб у меня конкурентов нет. А среди мужиков – один Петров может со мной потягаться и даже меня забыть, потому что здорово я его выучила, а сама еще до такого преодоления техники не дошла.

Хотя работаю я уже очень легко и непринужденно, но странное дело – чем легче мне работается, тем гневливее и непримиримее я к племюне: получив так много и на всю жизнь обеспечившись, отказать мне в такой мелочи, как техническая помощь! Какое свинство и плебейство!

А сейчас я бегу работать, потому что плотники за новые двери, ремонт окон и стеллажик в подвале вынули из меня 70 рублей. Сегодня утром».

В одном из предыдущих писем было про отбор вещей для этой выставки: «И из 10 показанных колец на выставку взяли 8, и еще взяли один гавнитур из кольца и серег, и все выставкомовские бабы жутко верещали и сустились вокруг, и мерили, и повизгивали.

Жутко благодарный зритель – эти бабы, когда дело доходит до прикладного искусства – тут же начинают сугубо прикладывать к себе».

Сборы в дорогу. Прощания. – Синявского перемещают в другую зону, из Яваса в Барашево.

Я вспомнил Галину... – Самая злобная соседка в нашей с А.С. коммунальной квартире.

«**Мой пес**» – я иногда детские книжки покупала в двух экземплярах – Егорке и А.С., чтобы папа знал, что «читает» ребенок.

...заявление о льготе... – Из моего письма: «А к тебе есть у меня одна просьба: подай заявление про льготы на том основании, что половина срока уже прошла.

Без твоих телодвижений здесь ничего не будет, а так – или разрешат, или откажут, но в любом случае будет какая-то ясность. Я тебя об этом *очень* и *очень* прошу. Сделай это в порядке облегчения моей жизни: вдруг я буду получать твои письма чаще? Представляешь, как я расчирикаюсь в ответ?»

...Мировой институт. – Институт мировой литературы Академии наук СССР (ИМЛИ).

ПИСЬМО ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЕРВОЕ

Наступили летние дни. Осваиваюсь на новом месте. Жару переносу хорошо. А вы?

Делают ли Егорычу обливашки? И каким образом? И как он относится? Ведь уже большой. И ставите ли вы заранее холодную воду в тазе на горячее солнышко? Мама всегда ставила.

Письма пока гуляют. Потому я завтра напишу тебе про Пушкина: пока больше не о чем.

Еще я переехал на новую койку. Она тоже верхняя, но стоит у самого окна, открытого ночью, и спать стало интереснее. Только на рассвете поют комарики. Не так уж много, а все-таки будят.

Все вспоминаю первый день, как мы вышли в промзону и она оказалась куском вырубленного леса, который простирался вокруг нас на многие километры, оставив цветы и ягоды земляники, которую иные не пробовали по многу лет, и от запахов леса представилось, что наши глаза, и ноздри, и уши – это каналы, которыми жизнь вливается в душу и заполняет ее до краев, так что даже не знаешь, какая из них больше.

Вспоминаю Генку*: он-то умел радоваться всякой травке. Перед отъездом с одиннадцатого получил от него открытку – родился сын. Хотят назвать Андреем.

А из Памятников Византии мне стало понятным, почему на лубочных и древнерусских изображениях львы добрые и симпатичные. Совсем не потому, что их никогда не видели и не знали толком, что это такое, и принимали за кошек. О них очень хорошо знали – но главным образом из агиографии, где львы помогают святым как доброе страшилище.

У *Кифилла Скифопольского* (VI в.) в «Житии святого Иоанна, епископа и молчальника лавры преподобного Саввы» рассказывается,

как на Палестину, где была обитель, началось нашествие варваров. «По воле Божией исполнилось так, что после легкого испуга, пережитого Иоанном, послан был ему хранитель, зримый для всех: преогромный и весьма страшный лев, охранявший Иоанна днем и ночью от козней нечестивых варваров. Было это так: в первую же ночь Иоанн увидел спящего рядом с собою льва и немного испугался, как он сам мне рассказывал; но увидев, что лев денно и нощно ходит по его следам и не бросается на него, а варваров отгоняет, воздал благодарственные молитвы Богу, который держит занесенным свой жезл над грешниками ради спасения праведных» («Памятники Визант. литературы IV–IX веков», М., 1968, стр. 181).

Прелесть какая – гонял варваров! О льве еще замечательно в Житии аввы Герасима, популярном на Руси, но это слишком длинно и о нем когда-нибудь в другой раз. Впрочем, не стоит переписывать большую цитату – сплошь важную и сладкую. Это *Иоанн Мосх* «Луг Духовный» (то же на Руси с XI в. – «Лимонарь» или «Синайский патерик»). Позволю только одну фразу, до того прекрасную, что просто сил нет, Машечка, тебе ее не прочитать: «Когда же авва Герасим переселился к Господу и был погребен отцами, тогда, по воле Бога, льва не было в лавре» (стр. 236).

Представляешь, что за чудо этот лев!

8 июля.

В Пушкине, помнится, речь шла о его родословной и аристократических замашках. Теперь о более приятных вещах.

Итак, дворянство. Иерархия. Но в переводе на литературный язык это есть чувство жанра. И ритма. И композиции. Есть чувство границы. От сих до сих. Никакие сдвиги, виляния, смешения, передряги не в силах вывести Пушкина и сбить его с этой стабильности в ощущении веса и меры и места вещей под солнцем. Если Гоголь все валит в одну кучу («Какая разнообразная куча» – поражался он «Мертвым Душам», рухнувшим Вавилонскою башней, недостроенной Илиадой, попытавшейся взгромоздиться до неба и возвести мелкопоместную прозу в героический эпос, в поэму о Воскресении Мертвых), то Пушкин по преимуществу мыслит отрывками. Это его стиль. Многие произведения Пушкина (притом из лучших) так и обозначены: «отрывок». Или «сцены из»: из Фауста, из рыцарских времен. Другие по существу являют черты отрывка. Очевидна фраг-

ментарность «Онегина», оборванного на полуслове (что потом воспроизвел Пастернак в «Спекторском»: «Пока я спал, обоих след простыл»), маленьких трагедий, «Бориса Годунова» и т.д.

Его творения напоминают собрание антиков: все больше торсы да бюсты, этот без головы, та без носа. Но, странное дело, утраты не портят их, а кажется, придают настоящую законченность образу и смотрятся необходимым штрихом, подсказанным природой предмета. Фрагментарность тут, можно догадываться, вызвана прежде всего пронзительным сознанием целого, не нуждающегося в полном объеме и заключенного в едином куске. Это кусок, в котором, несмотря на оборванность, все есть и все построено в непринужденном порядке, в балансе, где персонажи гуляют попарно или рассажены визави, и жизнь сопровождается смертью, а радость печалью, и наоборот; где роковой треугольник преподает урок равновесия в устройстве чужого счастья и собственного спокойствия: «Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим» (то-то, небось, она, читая, кусала локти, вынужденная, как Буриданов осел, разрываться между двумя, равно от нее удаленными и притягательными женихами); и чудные звуки с маху кинуты на весы, где «а» соотносится с «о», как бой и пир, и чаши, качнувшись, замерли в прекрасном согласии, из которого мы выносим, что гармония и композиция суть средства восстановления забытой справедливости в мире, как это сделал Петр Первый с побежденным врагом, –

Оттого-то в час веселый
Чаша царская полна,
И Нева пальбой тяжелой
Далеко потрясена.

Именно полнота бытия, достигаемая главным образом искусной расстановкой фигур и замкнутостью фрагмента, дающего резче почувствовать вещественную границу, отделившую этот выщербленный и, подобно метеориту, заброшенный из другого мира кусок, превращает последний в цельное, самодовлеющее произведение, в микрокосм, с особым ядром, упорядоченный по примеру вселенной и поэтому с ней конкурирующий едва ли не на равных правах. Благодаря стройному плану, проникающему весь состав ничтожного по площади острова (чем меньше он, тем ему, естественно, надлежит быть соразмерней), внушается иллю-

зия свободной широты и вместительности расположенного на нем суверенного государства.

Из пушкинских набросков мы видим, как в первую голову на чистом листе сколачивается композиционная клетка, системой перетяжек и связей удерживающая на месте подобие жилого пространства, по которому уже хочется бегать и которое при желании может сойти за готовый дом. Довольно двух жестов, которыми обмениваются расставленные по углам незнакомцы, чтобы из этой встречи скрестившихся глаз и движений вышла не требующая дальнейшего продолжения сцена:

Она на миг остановилась
И в дом вошла. Недвижим он.
Глядит на дверь, куда, как сон,
Его красавица сокрылась.

Здесь существенно, что он смотрит ей вслед так же долго, как она от него уходит, а застывает так же мгновенно, как она оглядывается. В таком шатре из ответно-встречных поворотов и взглядов уже можно жить, а что произойдет потом, какая любовь начнется или кто кого погубит, – дело воображения...¹

¹ Сходную планировку подчас обнаруживают строки, действующие в широком контексте и раскинутые, как палатка, с помощью противонаправленных векторов:

...Волшебник силится, крихтит
И вдруг с Русланом улетает...
Ретивый конь вослед глядит;
Уже колдун под облаками;
На бороде герой висит...

Натяните взгляд коня: по нему поднялся волшебник; но чтобы это, тройным оборотом запущенное в небеса колесо не скрылось от глаз, автор вешает Руслана пародийной гирей.

Летят над мрачными лесами,
Летят над дикими горами,
Летят над бездною морской;
От напряженья костеняя,
Руслан за бороду злодея
Упорной держится рукой.

На Пушкина большое влияние оказали царскосельские статуи. Среди них он возрос и до конца дней почитал за истинных своих воспитателей.

Любил я светлых вод и листьев шум,
И белые в тени дерев кумиры,
И в ликах их печать недвижных дум.

Всё – мраморные циркули и лиры,
Мечи и свитки в мраморных руках,
На главах лавры, на плечах порфиры –

Всё наводило сладкий некий страх
Мне на сердце; и слезы вдохновенья,
При виде их, рождались на глазах.

.....
Средь отроков я молча целый день
Бродил угрюмый – всё кумиры сада
На душу мне свою бросали тень.

Эта тень лежит на его творениях. С годами она сгущается. Пушкин все чаще и круче берется за изображение статуи. Но суть, очевидно, не в том, что он скульптурен в обычном понимании слова. Его влекло к статуям, надо думать, сродство душ и совпадение в идее – желание задержать убегающее мгновение, перелив его в непреходящий, вечно длящийся жест. «Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит».

В этом печать его изобразительности. На пушкинские картины хочется подолгу смотреть. Их провожаешь глазами и невольно возвращаешься, движимый обратным или повторным течением к исходной точке. Они как дым из трубы, который и летит и стоит столбом. Или река, что течет, не утекая. Уместно опять-таки вспомнить аналогию Пушкина – эхо. Эхо продлевает и восстанавливает промчавшееся; эхо ставит в воздухе памятник летящему звуку.

Собственно скульптурные образы не приходят нам сразу на ум, должно быть, оттого, что они далеко не исчерпывают пушкинское разнообразие, а появляются здесь сравнительно эпизодически, с тем чтобы выразить постоянную и всеохватывающую тенденцию в

его творчестве в его крайнем и чистом виде – Медным Всадником, Каменным Гостем. Статуя оживает, а человек застывает в статую, которая вновь оживает, и развевается, и летит, и стоит на месте в движущейся неподвижности. Статуи – одна из форм существования пушкинского духа. Вечно простертая длань Медного Всадника не что иное, как закрепленный, продолженный взгляд Петра, брошенный в начале поэмы: «И вдаль глядел». Многократно воспроизведенный, поддержанный лапами мраморных львов, этот жест порождает в поэме целую пантомиму, завершившуюся к финалу ответным движением страдальчески и смиренно прижатой к сердцу руки Евгения.

Однако и там, где у Пушкина нет никаких скульптур, проглядывает та же черта. Представление о его персонажах часто сопровождается смутным чувством, что они и по сию пору находятся словно в покоящемся, сомнамбулическом состоянии найденного для них поэтом занятия. Так, Пимен пишет. У Бориса Годунова донныне – все тошнит, и голова кружится, и мальчики кровавые в глазах. Кочубей, в ожидании казни, все сидит и мрачно на небо глядит. Скупой Рыцарь без конца упивается своими сокровищами.

Но, может быть, это общее свойство искусства – продление и удержание образа? В таком случае Пушкин возвел родовую черту в индивидуальную степень особенного пристрастия. У него Скупой Рыцарь и по смерти намерен, скандируя свой монолог, «сторожевою тенью сидеть на сундуке». Приятели Пушкина хохотали над окаменевшим жестом Гирея, что «в сечах роковых подьемлет саблю и с размаха недвижим остается вдруг». И вправду смешно, если относишься к его персонажам как к живым людям. Ну, а если ко всему они еще немножко и статуи?

10 июля.

Машенька-деточка-собачка.

Пришли первые письма – из старых, с Яваса, где ты еще не знаешь, где я, – четыре штуки. Но те, что еще старше – 86 и 87, так и не появлялись. Из контекста я уловил, что ты там писала, что не можешь достать Поморин. Не беспокойся уж так по этому поводу. И без Поморина люди живут.

Развлекся романтическим письмом Егора. Молодец Эмма*. Корабль – это надо мальчику. А интересно – пиратов он сам по-

боялся писать или ты придумала? Если сам – это очень важно и здорово. Заклятое слово, которое лучше лишний раз не произносить. А то выскочат – пираты.

Еще очень понравились облака, о которых Егор сказал, что смотрел, как они двигаются. Плывут или бегут – это более позднее, поэтические выдумки. В детстве и на самом деле облака двигаются. И на них интересно смотреть – как на поезд или кино.

А тут есть одна птичка, которая кричит «вью-повью». Как в Рамене. Я сначала очень тосковал, а теперь привыкаю.

– В Ленинграде все дома архитектурные. Заходи в любой подъезд и любуйся на голых ангелов.

– Дегенератор. Людоедина. Лошадеть – ты не лошадей.

– Хороший парень: за пять лет, кроме «майна» и «вира», я ничего от него не слышал.

– Услышав это, я весь внутренне почернел.

А дни сперва, как приехали сюда, остановились и дня три не двигались с места, а потом заскакали и побежали. И смотри: уже середина лета. А я еще от зимы не очухался.

12 июля.

Машечка, носи, пожалуйста, воду по полведра. Мало ли кто что подумает. Кому какое дело. И не обязательно давать объяснения. В конце-то концов, что важнее – твое здоровье и мое счастье или чье-то дурацкое мнение? Уж ты-то можешь быть выше мнений. Очень тебя прошу.

Это я успел получить новые письма. В том числе – первое по новому адресу. Только ты ужасно своенравная женщина и пишешь п/я вместо того, чтобы писать, как тебе указано, благородное слово «Учреждение». Письмо-то дошло, но, говорят, из-за п/я могло бы попасть в больницу. Лучше уж быть точным и делать, как велят. А то, что моя открыточка сухая и не внимательная, это тебе показалось потому, что ты не учиываешь, что вокруг нее – и до, и после, и параллельно – писались тебе письма со всякими нежными «прощайте» и «здравствуйте», и когда ты их все получишь и сравнишь, то увидишь, что открытка предназначалась для того только, чтобы тебе побыстрее узнать мой новый адрес, а я как раз, наоборот, в это время очень много про тебя думал, и сейчас тоже, тем более что с дачи ты стала писать рассудительнее и

я лучше начал тебя воображать и откликаться всем сердцем. Получил тоже одно из очень старых писем – про Переславль, и я с тобой согласен, только ты не грусти, потому что, когда мы будем вместе, мы еще разыщем какой-нибудь град-Китеж.

А Пушкинскую экспозицию я плохо представляю.* Потому что вообще не очень вижу и совсем не знаю, как делать литературные музеи, поскольку с литературой привык, что ее больше надо читать, чем вешать на какую-то выставку. Нельзя же поставить пару тапочек и сказать – вот это будет музей – смотрите и удивляйтесь. Музейная вещь должна быть, во-первых, уникальным раритетом и хоть немножко искусством.

«Пушкинская Москва» – тоже не очень видна, потому что Москва не очень-то Пушкинская, но – Пушкинский Петербург.

Все-таки, кажется, такая экспозиция должна быть с фантазиями – и открывать какие-то (московские, в частности) лица, связанные с Пушкиным и рассованные по углам: уголок Грибоедова, уголок Чаадаева (чуть было не сказал: уголок Дурова), с портретами, с уходами в сторону (в судьбу того же Чаадаева) – вообще более широко в литературном ощущении эпохи, и Батюшков, и Жуковский чтоб склонялись над урной Пушкина, и было бы много воздуха, широкой литературы, которая бы гуляла по этим комнатам, образуя свои закоулки; короче, Пушкин и русская литература начала XIX века (даже со стариком Державиным в передней – а то не очень-то у нас Державина представляют) – ведь это же считается «золотой век», так и дать его золотым, чтобы со стен дышали куски из писем о Пушкине, к Пушкину – того же Братынского, Бестужева (есть замечательные куски), побольше интимности, но не в смысле тапочек и чью жену соблазнил – а в литературном отношении, чтобы виднелось лицо; немножко как в пьесе Булгакова, где Пушкина нет, но он присутствует: но не столько быт и самодержавие, а повторяю – литература, так чтобы, скажем, Арзамасу – отдельная гостиная с приборами на столе на каждого отсутствующего шутника, так чтобы в итоге (в идеале) выставка превратилась в событие литературной жизни начала 19-го века и, побывав на ней, нам захотелось бы бежать и читать всех этих поэтов и философов. Но для этого нужны средства и культура. А в качестве затравки рекомендую читать Тынянова, чьи статьи о Пушкине вышли недавно отдельной кни-

гой (вот там есть ощущение широкой литературы), а также его «Архаистов и новаторов».

А раз уж ты спрашиваешь о Пушкине, воспользуюсь и продолжу давешний о нем разговор.

14 июля.

Его герои не так живут, как перебирают прожитое. Они задерживаются, задумываются. Они не просто говорят или действуют в порядке однократного акта, но как бы воспроизводят уже разыгранный, произнесенный прежде отрывок, забывшиеся, заснувшие в своей позиции. Их тянет на дно, в глубину минувшей и начинающей припоминаться картины, которая и проходит перед нашим взором – повторно, в который раз. На всем лежит отсвет какой-то задней мысли: что, бишь, я делал? когда и где это было? «Председатель остается, погруженный в глубокую задумчивость». «Невольно к этим грустным берегам меня влечет неведомая сила. Все здесь напоминает мне былое...» «Воспоминание безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток...»

Поэзия Пушкина бесконечно уподобляется этому свитку, что, развиваясь, снова и снова наводит нас на следы прошедшего и по ним реконструирует жизнь в ее длящемся пребывании.

Но строк печальных не смываю.

Да он и не смог бы их смыть. Ведь в этом его призвание.

Вспоминать – вошло в манеру строить фразу, кроить сюжет. «Гляжу, как безумный, на черную шаль, и хладную душу терзает печаль». Вещи в пушкинских стихах существуют как знаки памяти («Цветок засохший, безуханный...») – талисманы и сувениры. Друзья и знакомые подчас только повод, чтоб, обратившись к ним, что-то припомнить: «Чадаев, помнишь ли былое?» Итоговое «...Вновь я посетил...» сплошь исполнено как ландшафт, погруженный в воспоминания – в том числе, как в давнем прошлом вспоминалось давно прошедшее, уходящие все глубже в минувшее «иные берега, иные волны». Здесь же свое завещание: вспомнить! Пушкин передает потомству.

В воспоминании – в узнавании мира сквозь его удаленный в былое и мелькающий в памяти образ, вдруг проснувшийся, воз-

рожденный, – мания и магия Пушкина. Это и есть тот самый, заветный «магический кристалл». Его лучшие стихи о любви не любви в собственном смысле посвящены, а воспоминаниям по этому поводу. «Я помню чудное мгновенье». В том и тайна знаменитого текста, что он уводит в глубь души, замутненной на поверхности ропотом житейских волнений, и вырывает из забвения брызжущее, потрясающее нас, как откровение, – «ты!» Мы испытываем вслед за поэтом радость свидания с нашим воскресшим и узнанным через века и океаны лицом. Подобно Пославленному его, он говорит «виждь» и «восстань» и творит поэтический образ как мистерию явления отошедшей, захламленной, потерявшейся во времени вещи (любви, женщины, природы – кого и чего угодно), с ног до головы восстановленной наново. Его ожившие в искусстве создания уже не существуют в действительности. Там их не встретишь: они прошли. Зато теперь одним боком они уже покоятся в вечности.

У стихотворения «К***» (1825 г.) есть свой литературный подстрочник, следуя ритму и смыслу которого, оно, по всей видимости, писалось. Возможно, этот ранний текст не столь совершенен, как его попавший в шедевры наследник, и уж конечно, не так известен, но он позволяет немного дальше заглянуть в неопределенную область, откуда исходил поэт в своем прославленном «чудном мгновенье», имея в виду под таковым, на верное же, не только первую встречу с приехавшей повторно женщиной.

Возрождение (1819 г.)

Художник-варвар кистью сонной
 Картину гения чернит
 И свой рисунок беззаконный
 Над ней бессмысленно чертит.

Но краски чуждые, с годами,
 Спадают ветхой чешуей;
 Создание гения пред нами
 Выходит с прежней красотой.

Так исчезают заблужденья
С измученной души моей,
И возникают в ней виденья
Первоначальных, чистых дней.

Прошрое, возрожденное в стихотворных воспоминаниях Пушкина, не покрывается событиями, которые когда-то были и сплыли, а потом снова выплыли – на сей раз в стихах. Хотя, следует заметить, сам уже обоюдный процесс появления-узнавания некогда утонувшей и вдруг, с течением времени, выплывшей из мрака реалии (непреренно из мрака: «Во тьме твои глаза сверкают предо мною», и внук поминает Пушкина «во мраке ночи», одолевая всю тьму, весь ужас небытия вдохновенной вспышкой сознания), так вот, говорю, сам этот процесс существенен и насыщен значениями, образуя сумбурную атмосферу блуждающего в припоминаниях текста, составленного как бы (как в стихотворении «К***») из нескольких, перетекающих друг в друга, потоков темного воздуха, в котором плавают и то мутнеют, то брезжат милые очертания.

Пушкина не назовешь памятьливым поэтом. Скорее он забывчив, рассеян. Потому что, прежде чем кого-то вспомнить, тот должен как следует исчезнуть, растаять в памяти, и тогда она уже возьмется за дело, и перевернет все вверх дном, и вызволит из могилы желанный образ: «Явись, возлюбленная тень...» Но приведенная в брожение, разгоряченная память, попутно с имевшими место событиями, приуроченными к разным встречам и датам, иногда выбрасывает – и это главное, – как морская волна с дна, еще какие-то, непонятно какие, «виденья первоначальных, чистых дней». Детского, что ли, или, быть может, более раннего – невоплощенного, дочеловеческого, замладенческого состояния.

О них нечасто упоминается. Но они-то и красят, и обмывают все бывое небесным пламенем, от которого его образ кажется живее и ярче окружающих впечатлений и, я бы сказал, благоухает и улыбается в детской доверчивости не ведающего о добре и зле первоначального блаженства.

Не исключается, что поминутные, навязчивые оглядки на прошлые годы для того и практиковались поэтом, чтобы вместе с прочим старьем вспомнить что-то более важное, зачерпнув жи-

вой водицы из далекого колодца. С чего бы, спрашивается, еще ему так упорно и бестолково ворошить злосчастные бебихи, задуываться, озираться, если не ради смутной надежды окунуться в первоисточник, откуда, он знает, текут заодно и его бессмысленно звонкие строфы?

Поэзия, в представлении Пушкина, основывается на припоминании уже слышанных некогда звуков и виденных ранее снов, что в дальнейшем, в ходе работы, освобождаются из-под спуда варварских записей, временной шелухи, открывая картину гения. Та картина существует заранее, до всякого творчества, помимо художника, дело которого найти ее, припомнив забытое, и очистить. Вот он и крутится, морщит лоб, простирает руки к возлюбленной: «Твои небесные черты...» – к возлюбленной ли? а не, вернее сказать, к той младенческой свечке-лампочке, что сияет перед нами в тумане, как некая недоступная даль?

И милой жизни светлу даль
Кажите за туманом!

Кажите, и он кажет – порою в пустяковом стишке, редко называя по имени (все равно настоящего, полного имени никому произнести не дано), а иной раз, путаясь в координатах, величает «звездой пленительного счастья» или как-нибудь еще несуразнее, но это уже не имеет значения.

Редел на небе мрак глубокий,
Ложился день на темный дол,
Взошла заря. Тропой далекой
Освобожденный пленник шел;
И перед ним уже в туманах
Сверкали русские штыки,
И окликались на курганах
Сторожевые казаки.

Это она сверкает – в туманах. Только она, та «светла даль», куда он к ней приближается, загадочным образом сверкает уже позади. Раньше и позади. Как родина. Любые песни сойдут за ее отголосок.

Напоминают мне оне
 Иную жизнь и берег дальний.
 Ну хорошо, хорошо – спи.
 Отче, открой нам, что мы Твои дети.

.....

У Пушкина было еще одно, немного холодное, торжественное слово: совершенство. Самим собою довольное, полное до краев равновесие. Поэту полагалось свои создания (ничтожный обман) возвести в перл совершенства. И он возводил.

Но чтобы появились пушкинские черты, к совершенству необходимо всегда что-то прибавить. Светлу даль. Чудное мгновенье. Еще что-нибудь.

Твой голос, милая, выводит звуки
 Родимых песен с диким совершенством...

Сказал – и разом все, какие есть, несдвигаемые, на века, композиции накренились и закачались. Того и гляди упадут. Это надо же – с диким совершенством! Как в бочку с порохом. «Народ безмолвствует». А мы-то думали: фрагмент, уравновешено, спокойствие. Спокойствие над дикой пропастью. «...И не был убийцею создатель Ватикана?» Качаемся. Свирепый камень открыт ветрам. Что ж вы хотели: на то отрывок – чтоб открыть. Открыть закрытое. Впустить незавершенность в совершенство? Какая дичь. «...И не был убийцею создатель Ватикана?» На-зад! На-зад нас тянет, заткнуть дыру, перечитать, проверить, был или не был, о чем безмолвствует... На край – подумать страшно. «Твой голос, милая, выводит звуки...» Границы падают. Отрывок – не царскосельский парк, не мрамор, но – море. Накренились мачты. Не бойтесь. Поздно. Мы в безмерности.

...И паруса надулись, ветра полны;
 Грогада двинулась и рассекает волны.
 Плывет. Куда ж нам плыть?

.....

И вместо руля на полстраницы, на весь океан – сплошные точки

17 июля.

Извини, Маша, за этот избыток пушкинских цитат и мемуаров. Что называется, стих такой нашел. А в остальном все течет обычно. Открылся ларек: накупил махорки, спичек, халвы, печенья и все быстренько съел.

Успел даже поболеть немножко, дня три стояла во всем теле невероятная ломота, даже лежать больно, но на грипп не похоже: нет ни насморка, ни высокой, по всей видимости, температуры. Я уж боялся, не вернулась ли ко мне малярия. Снились «бесы» – пронизавшие мои кости и жилы сверкающие стальные круги, так что я во сне оказывался натянутым на проволочный каркас, и вот постепенно эти внутренние проволоки и пружины стали по временам отпускать, а потом и совсем ушли. И тело вздохнуло и наслаждается, что может сидеть, не чувствуя боли. Помогла малина, которую заварил и выпил в изрядном количестве. Конечно, не ягоды, а листья, но отдаленно похоже. А виновата была, по всем приметам, погода, кинувшаяся из большого зноя опять в дождь и холод. Осторожнее вы с нею: надо все время маневрировать в одевании-обувании и не дать себе простудиться врасплох.

Работаю на той же должности. Обычно только первая смена. Но сейчас временно – возможно на несколько недель – только вторая смена на немного странной, но неплохой работенке: стечень железом. Сажу на чистом воздухе, под фонарем, в ватных брюках, в шарфе и только вот зимнюю шапку доставать постеснялся. Тоже по временам надеваю твои перчаточки – больше от комаров, ночь сегодня сравнительно теплая и тихая. По каменной эстакаде склада скачут большие лягушки и, заметив меня, превращаются в камень. Лопают больших черных жуков и очень далеко ускакивают друг от друга, как не заплутаются, вероятно, у них в голосе маленькие передатчики для обмена мыслями на расстоянии.

Мне вспомнилась мышшь на одиннадцатом, что сидела на подоконнике, когда я вошел ночью в пустую курилку и включил свет, а она заметалась, не помня, как слезть отсюда, и, хоть я ее уговаривал, побежала по горячей батарее, обжигая лапы, пока не сверзилась кое-как в свою нору.

И вспомнилась твоя хромая мышшь*, и от этого я загрустил и полюбил тебя сейчас еще сильнее.

Еще у меня в руках роман Стивенсона, здесь у одного оказалось полное сочинение, жаль без «Странной истории», которая мне показалась, и я как-то упоминал тебе, что надо ее будет прочесть. Стеречь железо – дело спокойное и главным образом проходит между лягушками, и пиратами, и письмом к тебе, моя радость.

Но в свободное время, как видишь, я больше занимаюсь Пушкиным и очень увлечен им и доволен.

На днях получил твою бандероль с первым томом сказок Афанасьева, и прыгаю от радости, и благодарю тебя ужасно. Скоро уж не станет возможности часто присылать бандероли, и поэтому ты умничка и красавица. И поэтому же не жалею теперь, что много книг накопилось: запас карман не тянет.

А последнее письмо от тебя получил № 96.

Еще, глядя на леса, понимаешь, что в мире раскинуто громадное царство добра. Оно не там и не потом, а вот тут, как град Китеж. Только его не видно, вернее, видны лишь вершинки, утопленные в глубине купола.

Когда жена сказала мужу: Если ты это сделаешь, я тебя брошу! – мы поняли, что добро велико и, скорее всего, невидимо правит нами, одетое в мантию зла ради сохранения тайны.

– Я бы таких до конца жизни посылал в санаторий. Чтобы они только кушали и увлекались.

Будьте здоровы, мои деточки.

Люблю и целую вас во все щечки и глазки.

А.

19–20 июля 1969.



Вспоминаю Генку... – Генку Темина.

Молодец Эмма. – Иногда я писала письма от имени Егора. Вот так: «Дорогой папа! Это приезжала тетя Эмма и написала мне всякие романтические слова про море и пиратов.

Ну, я про море и парус все тебе срисовал, а про пиратов не стал, потому что они страшные.

Крепко тебя целую.

Твой сын Егорюшка в красных сапогах, а то трава мокрая».

А Пушкинскую экспозицию я плохо представляю. – Из моего письма: «Теперь подумай со мной вот о чем: что такое музей Пушкина, Александра Сергеевича, и что и как в нем должно иметь место и происходить. Мне предлагают принять участие в разработке новой экспозиции. Старый музей закрывается на ремонт и должен через некоторое время открыться обновленным.

А я ничего, сколько ни думаю, кроме старого, монотонно-биографического принципа не нахожу. А м.б. из всего этого сделать просто Пушкинскую Москву. Музей Москвы? Или – Пушкинские чтения? Литературный клуб? Или что еще?

Пока что слегка покопошилась на маленькой выставочке, открытой к летним Пушкинским дням, – но это было только про Москву.

Еще посылаю тебе три фотографии с зимней выставки «Портреты неизвестных», о которой столько уже тебе рассказывала.

Каков натюрморт с веером? А он еще такого цвета! Золото-голубое-розовое. И на той картинке, где знамя, очень красивый натюрморт с пиштолетом, книжечками и черно-красными орденскими лентами».

...хромая мышь... – Хромая мышь жила где-то в Хлебном. Поздними вечерами или ночью, когда все стихало, она откуда-то появлялась, собирала какие-то крошки, потом ковыляла к посудному шкафу и гремела там в коробке с вилками-ложками. Однажды, раздраженная шумом, я злобно сквозь сон пробурчала: «Если ты не заткнешься, я позову в дом кошку», и мышь исчезла. Насовсем. Мне было очень стыдно...



ПИСЬМО ВОСЕМЬДЕСЯТ ВТОРОЕ

Что-то вы слишком рано начали гореть, мои ненаглядные дети, и переживать и рисовать это в реальных красках. В четыре годика изобразить такую бомбу огня. Подумать страшно. И ты героиня и смелая женщина. Что же до нервности Егора из-за этого пожара*, то нам остается утешаться только тем, что этот случай, может быть, сыграет воспитательную роль, внушив отвращение к спичкам и другим зажигательным предметам, куда можно отнести и ножницы, и ножи, и прочие иголки. У меня в детстве страх перед пожарами поддерживался не огнем, но пространными рассказами дедушки Ивана Макаровича*, которого ты, к сожалению, уже не застала, как он три раза выгорал дотла и как папа боролся с бабушкой, кидавшейся в огонь за коровой, а другой прадедушка*, когда весь город горел, спас пробку от графина. И как в конце столетия сгорела собака Фунтик, умещавшаяся в кармане и очень веселая, – забилась со страху под диван и сгорела.

Больше, чем огонь, действительно очень реальный, мне понравился парный портрет дедушки с бабушкой – точно копия, но разными карандашами. Интересно – почему оба с палками: для обозначения возраста или на самом деле в их доме завелась палка?

И уж конечно, я в совершенном восторге от Мюнхаузена* и пары художника с сапожником. Ведь это же – художник-сапожник – традиционная проблема, и Егор ее разрешил одним взмахом ко всеобщему счастью и полной гармонии. А Мюнхаузен – одна из первых книг, которой я бредил, не читав, а только выдав ее во дворе у других мальчишек, не дававших ее в руки, но смотрели картинки, и я в них влюбился и всецело поверил Доре, что все

это так и было, и уже годы спустя был разочарован, узнав, что Мюнхаузен жулик, но это имя все равно мне светит и греет из-за тех картинок, превративших книгу в чудо и счастье. В общем, Машенька, очень ты меня уважила этим рассказом. И за ним я вас почувствовал ужасно моими, несравненными и единственными.

25 июля.

А землянику, разумеется, я собирал и ел. Пока она росла. И вообще я хочу жить с тобой в мире и дружбе. И Поморин получил. И мне теперь его хватит надолго. И телеграмму получил. И сказки третий том* (второй по счету). А вы не пробовали Егору читать эти сказки?

А с его машиной, я думаю, надо поступить так: сказать ему с самого начала, что машине положено жить на даче (как обычно живут на даче велосипеды, собаки), и пусть она там постоит зиму, а там видно будет, и она станет в его сознании сугубо летним и дачным предметом, а Понь ему не указ, потому что живет на краю города, а не в центре, и то вот не может пользоваться своим автомобилем.

А к пушкинской экспозиции: я бы не давал «Руслана» в современных иллюстрациях, с бутафорской головой и прочей оперой, но в литературном окружении «Душеньки» Богдановича, Жуковских баллад, Ариосто, лубочных картинок об Еруслане Лазаревиче и Бове. И вообще больше произведений искусства того времени и даже раньше, ибо этот сдвиг в 18-й век не нарушает историзма, а будет той базой, на которую опирался Пушкин, что он видел с детства. Тут и Мартос подошел бы, и Федор Толстой, и гравюра 18-го века со всякими городами и кораблями, а ты уж знаешь, как подать гравюру. В восприятии Пушкина нам сильно мешает толстый слой 19-го века, который на него наложился, и сквозь него мы на Пушкина смотрим, и этот слой хорошо бы снять, как позднюю запись, и освежить певца в его первоначальной наивности. Потому некоторое архаизирование здесь не повредит.

А Пушкина ты меня научила любить*, и наверное поэтому, когда я тебе пишу о нем в письмах, все это как объяснение тебе в любви; не знаю, заметно ли это со стороны, но мне-то так чувствуется. И поэтому давай я тебе еще немножко объяснюсь.

* * *

С именем Пушкина, и этим он – всем на удивление – нов, свеж, современен и интересен, всегда связано чувство физического присутствия, непосредственной близости, каковое он производит под маркой доброго знакомого нашего с вами круга и сорта, всем доступного, с каждым встречавшегося, еще вчера здесь рассыпавшего свой мелкий бисер. Его появление в виде частного лица, которое ни от кого не зависит и никого не представляет, а разгуливает само по себе, заговаривая с читателями прямо на бульваре: – Здравствуйте, а я – Пушкин! – было как гром с ясного неба после всех околичностей, чинов и должностей восемнадцатого столетия. Пушкин – первый штатский в русской литературе, обративший на себя внимание. В полном смысле штатский, не дипломат, не секретарь, никто. Штафирка, шпак. Но погромче военного. Первый поэт со своей биографией, а не послужным списком.

Биографии поэтов до Пушкина почти не известны, не интересны вне государственных дел. Даже Батюшков одно время ви­тийствовал в офицерах. Даже скромный Жуковский числился при дворе старшим преподавателем. Восхищаясь Державиным, Бестужев (в статье «О романе Н.Полевого “Клятва при гробе Господнем”», 1833 г.) уверяет, что не таланту российский Гораций был обязан своей известностью: «Все поклонялись ему, потому что он был любимец Екатерины, потому что он был тайный советник. Все подражали ему, потому что полагали с Парнаса махнуть в следующий класс, получить перстенок или приборец на нижнем конце вельможи или хоть позволение потолкаться в его прихожей...» И вот – извольте радоваться!

Равны мне писари, уланы,
Равны законы, кивера,
Не рвусь я грудью в капитаны
И не ползу в ассессора.

Это был вызов обществу – отказ от должности, от деятельности ради поэзии. Это было дезертирством, предательством. Еще Ломоносов настаивал: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!» А Пушкин, наплевав на тогдашние гражданские права и обязанности, ушел в поэты, как уходит в босяки.

Особенно непристойно это звучало по отношению к воинской доблести, еще заставлявшей дрожать голоса певцов. В ту пору, когда юнцу самое время грезить о ментике и темляке, Пушкин, здоровый лоб (поили-кормили, растили-учили, и на тебе), изобразил из себя отшельника, насвистывая в своем шалаше:

Прелестна сердцу тишина;
Нейду, нейду за славой.

Ему не составляло труда изобразить баталию и мысленно там фехтовать для испытания характера. Но все это – не то, не подвиги, не геройства, а психологические упражнения личности, позабывшей и думать о службе. Война его веселила, как острое ощущение, рискованная партия. «Люблю войны кровавые забавы, и смерти мысль мила душе моей». (Позднее на этих нервах много играл Лермонтов.)

Дурной пример заразителен, и спустя десять лет, когда Пушкину случилось проехаться в Арзрум, Булгарин был вынужден с горечью констатировать: «Мы думали, что автор Руслана и Людмилы устремился за Кавказ, чтоб напитаться высокими чувствами поэзии, обогатиться новыми впечатлениями и в сладких песнях передать потомству великие подвиги русских современных героев. Мы думали, что великие события на Востоке, удивившие мир и стяжавшие России уважение всех просвещенных народов, возбудят гений наших поэтов, – и мы ошиблись. Лиры знаменитые остались безмолвными, и в пустыне нашей поэзии появился опять Онегин, бледный, слабый... сердцу больно, когда взглянешь на эту бесцветную картину» («Северная пчела», 22 марта 1830 г., № 35).

Булгарин ошибался в одном: в «Руслане и Людмиле» нет ничего геройского; автор уже тогда всем богатырским подвигам предпочел уединение в тени ветвей:

Душе наскучил бранной славы
Пустой и гибельный призрак.
Поверь: невинные забавы,
Любовь и мирные дубравы
Милее сердцу во сто крат...

И вот этот, прямо сказать, тунеядец и отщепенец, всю жизнь лишь уклонявшийся от служебной карьеры, навязывается со своей биографией. Мало того, тянет за нею целую свору знакомых, приятелей, врагов и любовниц, более им прославленных, нежели Фелица Державиным. Да и чем прославленных, не тем ли единственно, что с ним дружили и ссорились, пировали и целовались и поэтому попали в учебники и хрестоматии? Скольких людей мы помним и любим только за то, что их угораздило жить неподалеку от Пушкина. И достойных, кто сами с усами – Кюхельбекера, например, знаменитого главным образом тем, что Пушкин однажды, объевшись, почувствовал себя «кюхельбекерно». Теперь хоть лезь на Сенатскую площадь, хоть пиши трагедию – ничто не поможет: навсегда припечатали: кюхельбекерно.

Несправедливо? А Дельвиг? Раевские? Бенкендорф? Стоит произнести их приятные имена, как, независимо от наших желаний, рядом загорается *Пушкин* и гасит и согревает всех своим соседством. Не одна гениальность – личность, живая физиономия Пушкина тому виною, пришедшая в мир с неофициальным визитом и впусившая за собою в историю пол-России, вместе с царем, министрами, декабристами, балеринами, генералами – в качестве приближенных своей, ничем не выделяющейся, кроме лица, персоны.

Начав литературный демарш преимущественно с посланий частным лицам по частному поводу, Пушкин наполнил поэзию маской – на первых порах вразумительного разве что узкой группе ближайших друзей и знакомых – личного материала. С помощью мемуаристов, биографов и текстологов мы в нем разобрались и думаем, что так и надо и нам следует все знать: когда, где, с кем и о ком. Имена, даты, намеки, пересуды и дразги, сошедшиеся на поклон одному имени – Пушкину. Все его творчество лежит перед нами в виде частного письма, ненароком попавшего в деловые бумаги отечественной литературы. (Какой контраст Гоголю, что частную переписку с друзьями ухитрился вести и тиснуть как государственный законопроект!)

Оранжевей посланий и, шире, – всей его расхожей интимности и веселой бесцеремонности – явился безусловно Лицей. Это была семья, заменившая ему нелюбимый и неприветливый родительский кров, объединенная случаем и общностью сепаратных,

товарищеских интересов, учившая мыслить, минуя официальные каналы, варясь все в том же соку понятных лишь однокашникам жаргонных поговорок, подначек, прозвищ и шуточек, вместе с Пушкиным пролившихся тучей над поэтической нивой. Он навсегда сохранил признательность к этой среде, оперившей его характер и почерк и составившей своего рода союз, тайный заговор в школьных забавах сплотившегося ребячества против чопорного и холодного общества взрослых. В огромном и сумрачном будущем Пушкин видел себя посланцем Лицея, членом вольного братства, принадлежность к которому он пронес как верность своему детству. Лицейская традиция казалась ему порукой собственной незавербованности, и он, что ни год, с восторгом справлял вечный мальчишник в знак своего, нестираемого невзгодами и годами, лица. Другие становились сенаторами, профессорами, писателями; Пушкин всю жизнь прожил лицеистом. То был орден подкидышей, заброшенных игрою судьбы на роли застольных философов и бродячих стихоплетов. Лицей – в умоглядном, романтическом истолковании – служил приютом Искусств, и Пушкин, его питомец, до конца дней исполнял неписанный лицейский обряд, вовлекая молодую Россию в дружбу с Музами под сенью деревьев.

...Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.

Однако родная обитель, толкавшая к изоляции от целого мира враждебных поэзии установлений, в ином смысле для Пушкина разрослась и расширилась, приняв весь белый свет под зеленые своды Лицея. Привычки дружить и повесничать со школьных скамеек перепрыгнули на литературные сборища, на артистические кружки, а там, глядишь, уже Пушкин пошаливает с Людмилой и перемигивается по-свойски с Онегиным и Пугачевым. Теснота дортуаров и классов располагала к фамильярности, к товариществу на широкую ногу, в масштабах всего человечества, к добрососедским отношениям с жизнью и с вымышленными лицами, подобранными на основе приятельства и панибратства.

Его пою – зачем же нет?
Он мой приятель и сосед.

28 июля.

В раннем рассказе Бунина «Новый год» жена говорит мужу: «По-моему ... венчаться надо бы два раза... Серьезно, какое это счастье – стать под венец сознательно, поживши, пострадавши с человеком...» Сам Бунин венчался с В.Н. через пятнадцать лет после гражданского брака – в 1922 г. Я не большой поклонник Бунина, но эта деталь показалась мне интересной.

29 июля.

Форма дружеских посланий стала содержанием пушкинской поэзии в целом, впускающей нас безотказно в частную жизнь певца, позирующего своею доступностью – мимикой подлинных черточек, подробностями житейского и портретного сходства. Читающая публика мало-помалу научалась ощущать себя соглядатаем авторских приключений, свиданий, пирушек, неурядиц и стычек по сугубо частному случаю – вся Россия любуйся, что отчубучит Пушкин.

Он сразу попал в положение кинозвезды и начал, слегка приплясывая, жить на виду у всех. «Сведения о каждом его шаге сообщались во все концы России, – вспоминает Вяземский. – Пушкин так умел обстановливать свои выходы, что на первых порах самые лучшие его друзья приходили в ужас и распускали вести под этим первым впечатлением. Нет сомнения, что Пушкин производил и смолоду впечатление на всю Россию не одним своим поэтическим талантом. Его выходы много содействовали его популярности, и самая загадочность его характера обращала внимание на человека, от которого всегда можно было ожидать неожиданное».

Такая, немного сомнительная, известность не могла – уже вторично – не отразиться на личности Пушкина. Он чувствовал на себе любопытные взгляды, и старался, и прихорашивался, хоть, по его словам, не слишком гордился тем,

Что пламенным волненьем,
И бурями души моей,
И жадной воли, и гоненьем
Я стал известен меж людей...

А все ж таки был рад и желал соответствовать. Его подстерегала опасность растущей моды на Пушкина, взявшегося за отращивание экстравагантных бакенбард и ногтей. «В самой наружности его, – примечали соотечественники, – было много особенного: он то отпускал кудри до плеч, то держал в беспорядке свою курчавую голову; носил бакенбарды большие и всклокоченные; одевался небрежно; ходил скоро, повертывал тросточкой или хлыстиком, насвистывая или напевая песню. В свое время многие подражали ему, и эти люди назывались à la Пушкин...» («Русская Старина», 1874, № 8).

У него были шансы прослыть демонической личностью и, подыгрывая себе в триумфальном скандале, покатиться по пути инсценированной легенды о собственной, ни на кого не похожей, загадочной и ужасной судьбе. Прецеденты подобного рода уже бывали в истории, и Пушкин знал, кому подражать. Две великолепные звезды сияли на горизонте: Наполеон и Байрон. Когда обе, вскоре друг за другом, померкли, Пушкин вздохнул: «Мир опустел... Теперь куда же меня б ты вынес, океан?» Так ему, значит, пришлось по душе зрелище гордого гения, что с его концом человечеству грозила пустыня, Пушкину – нависавшая над ним и падавшая под ноги, из него и вместо него проступавшая тень Лермонтова.

31 июля.

Как я живу. Кидаю ящики с места на место. Работы сейчас прибавилось. Сторожем больше не выхожу, а всё на складе. В первую смену. Когда приходит груз, нужно, правда, выходить и в другое время, не считая рабочего дня. Все же мне это подходит больше других профессий.

Август. Уже август. Лето вроде бы началось. Оно в этом году быстрее, чем в прошлом. Не успели оглянуться – пора об осени думать. А от тебя еще письма идут, что холодно и дождик.

Получил журналы от Вики, бандероль с одиннадцатого переслали сюда.

А я очень жду тебя и не представляю, когда ты приедешь, моя Маша.

А тут недавно прошел месяц с нашего переезда на новое место, ничего, неплохой месяц, и я подумал, что нужно прожить

тридцать семь таких кусочков до жизни с тобой. Тридцать семь – это не так уж много. И непременно вместе и насовсем.

Удивительно, как все имеет намерение превратиться в тебя. Залетел № 6 «Д.И.»*, и вот уже слегка погулял с тобою по египетской экспозиции и про каждую картину с тобой разговаривал, и мы были согласны. Что, например, Золушка из золотой проволоки интересна, а иконы в виде красоток использовать ни к чему. И с натюрмортами я согласен, что мило, но не более того.

Облака тоже. Или Север, или еще что с тобою. Облака были такие большие и выпуклые, что грозили упасть. Или что при половцах, когда все было другим и непохожим, облака были точно такие же, и через них, значит, можно подключаться к какой угодно эпохе и местности. Библиотека здесь плохонькая, но все же попадаются полезные книги – Лесков, Вальтер Скотт. В восьмом томе Лескова впервые прочитал его «Грабеж» – удивительно лубочным языком все написано, что ни фраза – рококо.

– А всего хуже, что ничего не скушаешь. Если б мясокомбинат или кондитерская. А там одни железяки.

Туберкулезник: Из меня палочки летят.

– Я чувствую, что мне нужна тихая обстановка, – и я ушел в бур.

Стал получать кашу. Это тоже украшает жизнь. Трубочки для шариковой ручки кончаются. Одна осталась. Но ты на это не трать времени. В крайнем случае перейду на самописку. Чернила здесь в ларьке продаются.

И не грусти, Машенька. Не грусти, деточка. Как разменяем пятый год, нам будет уже легче.

1 августа.

На семнадцатом году жизни Лермонтов отрезал: «Я рожден, чтоб целый мир был зритель торжества или гибели моей». Эта фраза едва не сорвалась с уст Пушкина. Тогда бы из него вышел Лермонтов и пошел дальше, нещадно хлеща свою, в бореньях и молниях, раздувавшуюся биографию. Но Пушкин, вовремя спохватившись, прикусил язык и вернулся к более ему свойственным домашним занятиям, снисходительной объективности и благочестивому содружеству в мировой семье, а Лермонтов продолжил сюжет одинокой и незаконной кометы, погруженный в мрачное

зрелище ее торжества и падения. В заострение сюжета, претворяя биографию в миф о гонимом поэте Лермонтове, он принялся возводить на себя напраслину в романтическом духе, – дескать, он и злодей, и гений, и Байрон, и Демон, и сам Наполеон Бонапарт...

Сейчас, из нашего далека, уже трудно вообразить, что значила для новой Европы фигура Наполеона. Ею – сверхчеловеческой личностью, возникшей из пустоты и себе лишь обязанной восхождением к мировому престолу – бредил век. Гете называл Бонапарта не иначе, как полубогом. Бальзак, под статуэткой титана, кипятился пожрать Париж. Наполеон в глазах зевак превосходил Юлия Цезаря и Александра Македонского – две крупнейшие монеты древнего мира: те действовали давно и законно, а этот был выскочкой, что увеличивало Бонапартовы чары и будило мечты.

В статье «О трагедии Олина “Корсар”» (1827 г.) Пушкин демаскирует в Байроне Бонапарта (что проливает дополнительный свет на близость этих лиц в его стихотворении «К морю»): «“Корсар” невероятным своим успехом был обязан характеру главного лица, таинственно напоминающего нам человека, коего роковая воля правила тогда одной частью Европы, угрожая другой. ...Поэт никогда не изъяснил своего намерения: сближение себя с Наполеоном нравилось его самолюбию».

Отвесив Наполеону поклон, Пушкин ретировался, возможно из опасения уподобиться своему искусителю Байрону, чья односторонняя мощь побуждала его основательнее настраиваться на собственный лад. Сумел он, в общем, избавиться и от более тонких соблазнов: в демонстрации живого лица пользоваться привилегией гения и приписывать себе-человеку импозантные повадки Певца. Так поступают романтики, типа Байрона–Лермонтова. В их сценическом реквизите имеются всегда наготове ампула и маска Поэта, сросшиеся с человеком настолько, что, выходя на подмостки и с успехом играя себя, тот на равных подменяет Корсара, Наполеона и Демона: ему достаточно в любой ситуации придерживаться позы, полученной им вместе с жизнью, естественной и одновременно эффектной – влиятельной осанки Певца. Поэзия ведь по природе своей экстраординарна и предназначена к тому, чтобы на нее удивлялись и ахали. Поэзия сама по себе есть уже необыкновенное зрелище.

Но Пушкин поступил по-иному – еще интереснее. Единого человека-поэта он рассек пополам, на Поэта и человека, и, отдав преимущества первому, оставил человека ни с чем, без тени даже его элегантной профессии, зато во всей его мелкой и непритязательной простоте. Он превратил их в свои десницу и шуйцу и обнял ими действительность, будто щупальцами, всесторонне; он работал ими, как фокусник, согласованно и раздельно, – если правая, допустим, писала стихи, то левая ковыряла в носу, – подобно изваяниям Индии, в буре жестов, много-рукому идолу, перебегая, фигаро-фигаро-фигаро, неистовствуя по двум клавиатурам. Он столкнул их лбами и, куда Поэт величаво прохаживался, заставил человека визжать и плакать. Но давайте по порядку:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон;
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.

Такое слышать обидно. Пушкин, гений, и вдруг – хуже всех. – Не хуже всех, а лучше... Нелепо звучит. Требовательность большого поэта, гения... – Хотел лазейку оставить. Женщинам, светскому блеску. Любил наслаждаться жизнью... – Ну были грешки, с кем не бывает? Так ведь же гений! Творческая натура. Простительно, с лихвой искупается... – Какой пример другим! Непозволительно, неприлично. Гению тем более стыдно... – Нельзя с другими равнять. Гений может позволить. Все равно он выше... (И так далее, и опять сначала.)

Вот примерный ход мыслей, ищущих упрекнуть или реабилитировать Пушкина в этой странной тираде и как-то ее обойти, отменить, упирая на гениальные данные, обязывающие человека вести себя по-другому, чем это изображается автором, и более соответствовать в жизни своей поэтической должности.

Нет, господа, у Пушкина здесь совершенно иная – не наша – логика. Потому Поэт и ничтожен в человеческом отношении,

что в поэтическом он гений. Не был бы гением – не был бы и всех ничтожней. Ничтожество, 'мелкость в житейском разрезе есть атрибут гения. Вуалировать эту трактовку извинительными или обличительными интонациями (разница не велика), подтягивающими человека к Поэту, значит нарушать волю Пушкина в кардинальном вопросе. Ибо не придирками совести, не самоумалением и не самооправданием, а неслыханной гордыней дышит стихотворение, написанное не с вершка человека, с которого мы судим о нем, но с вершин Поэзии. Такая гордыня и не снилась лермонтовскому Демону, который, при всей костюмерии, все-таки человек, тогда как пушкинский Поэт и не человек во все, а нечто настолько дикое и необъяснимое, что людям с ним делать нечего и они, вместе с его пустой оболочкой, копошатся в низине, как муравьи, взглянув на которых, поймешь и степень разрыва, и ту высоту, куда поднялся Поэт, утеравший человеческий облик.

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы,
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы.
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы.

Речь идет даже не о преобразении одного в другое, но о полном, бескомпромиссном замещении человека Поэтом. Похожая история излагается в пушкинском «Пророке», где человек повержен и препарирован, как труп, таким образом, что, встав Поэтом, не находит уже в себе ничего *своего*. Задуманный ему в развитие лермонтовский «Пророк» не выдерживает этого горнего воздуха и по сути возвращает Поэта в человеческий образ, заставляя испытывать чувства отверженности, оскорбленного самолюбия, про которые тот и не помнит на высшем

уровне Пушкина. «...Так души смотрят с высоты уже на брошенное тело...»¹

4 августа.

Ну вот, родимая Машечка, я тебя уже дождался, и был, и видел, и сижу уже опять на своих ящиках, а ты уехала на своем паровозе. Очень мне было хорошо, только очень уж быстро. Почему-то ни одно свидание так быстро не пролетало. И я не успел тебя даже спросить, с кем сейчас Егор и знает ли он, что ты ко мне поехала. И как вы перебирались на дачу, и на чем готовите там пищу, и много других вещей. И боюсь, недостаточно выразил мое к тебе внутреннее стремление, и как ты мне нравишься внешне и приводишь в изумление. Потому что, сколько мы ни встречаемся и любим друг друга, кажется, какая разница может быть между тем свиданием и этим, а все равно по-новому и каждый раз в своем опере-нии, так что если сложить, то получится настоящий роман. В этот раз почему-то (и думаю – не из-за одних цыплят*) ты произвела особенно сильное семейное впечатление, и на вопрос, как мы с тобою жить будем, я могу ответить вместе с Егором: будем за водою ходить и ботинки чистить. Но все это – прибавлю – в сплошном удовольствии и взаимном держании ручек за одно ведерко. Или я представляю семейный выход в Музей изящных искусств имени А.С.Пушкина, или хотя бы вместе ехать на троллейбусе – из любой okazji извлекается, и мы извлечем массу счастья. Потому что если можно на простом стуле сидеть друг против дружки, испытывая столько восторга, то что же остальное, и какая гармония из этого произойдет. Собакевичев же пример лишний раз убеждает в обратном, в смысле Адама и Евы, очевидная общность души и тела, и даже никакой посторонней нумизматики, или игры в бридж, или как его, а все только вместе и навсегда. Тем более что, кроме гармонии, тут еще с моей стороны высочайшая благодарность за то, что ты дала и как поняла и помогла, и из этого выходит одно колечко, которым мы тебя украсим. Про колечки тоже хорошо. И про виньетку. И про шашки. А то ведь как говорят?

– Я, говорит, себе возьму с золотыми погонами, а ты мне не нужен.

¹ Эти тютчевские строки цитирую по памяти и, наверное, с ошибкой.

Или: – Вы, говорю, змеи, не вешайте мне лапшу на уши.
 – Не знаешь, кому сказать «здравствуйте», а кому – «здорово».
 Ну и про любовь тоже соответствующие стихи:

Красивую кофту одела,
 Ты очень мне нравишься в ней,
 Ты душу мою ей задела,
 Немного ее пожалей.

А про жуковину Ивана Грозного – оказалось это у Лескова в рассказе «Пугало» (т. 8, стр. 37): «у его бабушки в старинном венцейском кольце был “таусинный камень”, с которым к человеку “никакая беда неприступна”». После чего сноски с примечанием автора: «Таусинный камень, или таусень – светлый сапфир с оттенком павлиньего пера, в старину считался спасительным талисманом. У Грозного был такой талисман тоже в кольце или, по старинному, в “напалке”. “Напалка золотная жуковиною (перстнем), а в ней камень таусень, а в том муть и как бы пузырина зрится”».

На эту прекрасную пузырину я со своей стороны могу возразить так:

– Кую пиковый туз!
 Хорошее сочетание: кую.

В поэме XVI в., обращенной к Маргарите Валуа, «Маргаритке Маргариток», говорится, что драгоценные камни одарены жизнью и подвергаются недомоганиям, старению и смерти, «они даже оскорбляются обидой, нанесенной им, и вследствие этого бледнеют и теряют свою гладкость». Камни обладали «притяжениями» своей планеты и подбирались ко дню рождения и Зодиаку. Талисманами считались для тех, кто родился в январе, – гранат; феврале – аметист; марте – яшма; апрель – сапфир; май – агат и изумруд; июнь – изумруд и агат; июль – оникс; август – сердолик; сентябрь – хризолит; октябрь – берилл и аквамарин; ноябрь – топаз; декабрь – рубин.

В «Правоверном гранильщике» Фомы Никольса (XVII в.) указывается на «различные влияния драгоценных камней на их носителя, вплоть до превращения его в невидимку, что подтверждается свидетельствами Альбертуса и других».

Все это рассказано в журнале «Наука и жизнь»*, № 5, 1968 г. (или 69 г.?). К сожалению, не сказано, какой камень превращает в невидимку. Но яшма оказывает кровоостанавливающее действие.

Еще очень смешно – про пуделя в восьмилетнем возрасте*, на мою голову. Но и на пуделя – с вами – согласен.

Целую и обнимаю.

А.

6 августа 1969 г.

Еще, Машечка, ты меня вампирами умилила: что поэтому третий том скорее прислала. Через тех вампиров я заботу о человеке почувствовал. И как ты все понимаешь и любишь меня. А я – тебя.

Давай-ка я тебя еще разок поцелую. Ну просто не оторвешься.



...из-за этого пожара... – Начались дачные приключения. Из моего письма: «А еще у нас был пожар: у дачников за стенкой загорелся газовый баллон, а они совершенно беспомощные одуванчики, и твоя жена Маша мужественно забрасывала этот костер среди дома всяким тряпьем, и старуха визжала, а я боялась, что баллон прогреется и взорвется, но все равно его гасила, и все кончилось благополучно, только Егор был совершенно потрясен и все рассуждает про пожар, что сгорели бы все его игрушки, и кровать, и журналы, и мамин диван, и все наши одежды, и всё-всё-всё, и где бы мы жили, а вода в ведре вскипела бы. И вот уже несколько дней прошло, а цыпленок никак не опомнится. Очень было страшно».

Через несколько дней: «Егор все еще не может опомниться от пожара и даже боится оставаться один дома. И тебе он нарисовал про пожар, но уже не декоративный литературно-маршаковский, а сугубо бытовой».

Прошло еще две недели: «А сегодня я купила ему заводную пожарную машину, чтобы он ощущал себя во всеоружии на случай стихийных бедствий».

– Мама! Смотри, чтобы пламя не охватило твою руку...

Это я топлю печку и удивляюсь – откуда у Егора такие красивые словечки.

«Охватило!» Скажите на милость...»

...рассказами дедушки Ивана Макаровича... – Иван Макарович Торхов – крестьянский дед (со стороны матери) А.С., житель деревни Рамено под Сызранью. **Другой прадедушка** (со стороны отца) – Синявский – был дворянский и тоже страдал от пожаров в городе Сызрани.

...я в совершенном восторге от Мюнхаузена... – Из моего письма: «Вернулась я сегодня из города, Егорка уже спит, а Зойка меня поджидает, чтобы захлеб рассказать про беседу Егора с соседкой о папе и как ребеночек на вопрос: «Кто твой папа?» ответил: «Барон Мюнхаузен».

– А кто такой барон Мюнхаузен, Егорушка?

– Известный сочинитель.

– А мама твоя кто?

– Вообще, мой папа – писатель и художник, а мама – ремесленник и сапожник, – сказал Егор и удалился на свою территорию, прекратив дальнейшие разговоры.

Итак, мой барон, женатый на сапожнике, нравится ли тебе твой сын? И каким образом он все это сконструировал? Из каких слов, обрывков фраз, своих идей и чего еще? Я давно так не смеялась. Но и не удивлялась тоже».

...сказки третий том... – Афанасьева.

А Пушкина ты меня научила любить... – В свои 11 лет, ученицей 5-го класса новосибирской школы, я совершила очередной дурной поступок: я украла книжку из школьной библиотеки. Воровать нельзя, и оправдывает меня только одно: это была книга на всю жизнь. Читаная-перечитанная, изрядно затрепанная, она до сих пор живет в моем книжном шкафу одной из самых драгоценных. Это – Вересаев, «Пушкин в жизни».

Десять лет, прожитых вместе, я уговаривала А.С. прочесть этого Вересаева. Десять лет он отмахивался и никакого интереса к этой материи не проявлял. И вдруг в библиотеке Лефортовской тюрьмы обнаружил этот Вересаев! И начались «Прогулки с Пушкиным»!

Залетел № 6 «Д.И.»... – Журнала «Декоративное искусство».

...не из-за одних цыплят... – На общем свидании 5 августа 1969 года. Синявскому разрешили съесть привезенного мной цыпленка-табака.

...в журнале «Наука и жизнь»... – Это не 1968 и не 1969, а 1967 год, № 5, где статья А.Е.Ферсмана «Камни и суевория».

...про пуделя в восьмилетнем возрасте... – Егору было обещано, что когда ему будет восемь лет и приедет папа, то мы сразу же заведем собаку. Пуделя.

ПИСЬМО ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ

Дорогая и совершенно обожаемая Маша!

Что я делал, как ты уехала? Во-первых, скучал, и грустил, и дописывал то письмо. Во-вторых, начал постепенно получать твои письма. Про то, в частности, как Егорушка заводит тебя ключиком*, очень интересно. Но удерживай его немножко от разных, кстати и некстати вставляемых литературных изысков. То есть пусть говорит, но поменьше кокетства. Чтобы не было ломанья: вот какие я слова умею произносить, и жизнь с их помощью не превращалась в сцену для показывания гостям. А если от души говорит – хорошо. Мне тут рассказали, как двухлетний ребеночек, идя с папой, впервые увидел лошадь, очень удивился, немного оробел, а потом выяснил, что это такое, и, подойдя поближе, тихо и серьезно сказал:

– Здравствуйте, Конь.

Та почему-то не ответила. При таком проникновении должна бы, кажется, ответить. Опять забыл – спросить, какие произведения Пушкина читает Егор. Напиши об этом поподробнее. И как обещала – разные фразы Егора записывай на бумажку.

Хорошие прозвища: Коля Птичка и Витя Мудрец.

Тема школьного сочинения: «Тема любви и дружбы в лирике Пушкина».

А я тут для рассеяния после твоего отъезда читал Стивенсона. Странные бывают вещи: то, о чем думаешь и мечтаешь, вдруг приходит само. Так уже бывало с Пушкиным. Ничего нет, а нужные цитаты – сами являются, откуда не ждешь. Из какого-нибудь Томаса Манна, Бурделя. С потолка. Так и тут. Я откуда-то узнал,

что у Стивенсона существует «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», и, услышав одно название, стал к нему рваться душой: само название, мне казалось, что-то обещает, какая-то в нем есть странная музыка. Ну а потом, спустя месяцы, узнаю: пятитомник у одного мальчика. А я и не знал, что издали. Спрашиваю про Джекила – такого, отвечают, нет. Ну я и думать бросил. И вот открываю очередной том и глазам не верю: «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» (умеют эти англичане звуки подбирать – мурашки по коже)! История, в самом деле, оказалась очень приятная. Правда, я на большее надеялся, но и на том спасибо. Не «Остров сокровищ», но после Острова в первом ряду – у Стивенсона-то. И там есть такая цитата: «...С каждым днем обе стороны моей духовной сущности – нравственная и интеллектуальная – все больше приближали меня к открытию истины, частичное овладение которой обрекло меня на столь ужасную гибель; я понял, что человек на самом деле не един, но двоичен. Я говорю «двоичен» потому, что мне не дано было узнать больше. Но другие пойдут моим путем, превзойдут меня в тех же изысканиях, и я беру на себя смелость предсказать, что в конце концов человек окажется всего лишь общиной, состоящей из многообразных, несхожих и независимых друг от друга сочленов».

Забавно.

8 августа 1969.

Прошлое нам говорит своими курганами:

– Ты думаешь, я было менее реальным, чем ты?

Чем существо больше, тем оно добрее. Взглянув на дерево – насколько оно больше нас. Лошадь, слон, кит, земля, небо. Напротив, мелкие твари злее и гаже: крыса, змея. Сколько всяких страданий от мелких клопов, комаров. Вообще к насекомым понятие доброты не очень подходит, а зла сколько угодно. Они как бы по ту сторону: с ними не договоришься. Еще мельче – микробы. Хорошее не может быть слишком уж маленьким.

Возможно, то же и в громкости. С огнестрельным оружием отчасти примиряет, что оно убивает с грохотом. Если бы со всеми последствиями, но – с тихим писком, как было бы подло!

10 августа.

Как чудесно, Машечка, что ты приезжала, и как вспомню, так все во мне запоет и зальется. А еще тут я тебя вспоминал, читая цветаевские письма (в «Новом мире» опубликованы, № 4, Бахраху), где о пьесах Чехова, которые она не читала «от заведомости чуждости», говорится очень похоже на то, что ты мне рассказывала. И в этой же связи удивительно хорошо – о прозе (жизненной, ценимой литераторами): «Проза – это то, что примелькалось. Мне – ничто не примелькалось! ...Я никогда не поверю в «прозу», ее нет, я ее ни разу в жизни не встречала, ни кончика хвоста ее. Когда подо всем, за всем и над всеми – боги, беды, души, судьбы, крылья, хвосты, – какая тут может быть «проза»! Когда всё – на *вертящемся шаре*?! Внутри которого – *огонь!*»

Еще я послал тебе сто рублей. И получил от тебя телеграмму – о приезде.

И еще стражду зубами. На все лицо разливающимися. И чтобы об этом не думать, переведу разговор на Пушкина.

В обосновании прав и обязанностей Поэта у Пушкина были предшественники, потребовавшие от пишущих много такого, о чем они раньше не помышляли, искренне веря, что вся их задача состоит в том, чтобы писать стихи, полезные и приятные людям, в свободные от других занятий часы. В начале века поэзия эмансипируется и претендует на автономию, а потом и на гегемонию в жизни авторов, еще недавно деливших утеху с Музами где-то между службой и досугом. Вдруг выяснилось, что искусство хочет большего.

«Надобно, – упреждает Батюшков, – чтобы вся жизнь, все тайные помышления, все пристрастия клонились к одному предмету, и сей предмет должен быть – Искусство. Поэзия, осмелюсь сказать, – требует *всего* человека.

Я желаю – (пускай назовут странным мое желание!) – желаю, чтобы Поэту предписали особенный образ жизни, пиитическую *диэтику*: одним словом, чтобы сделали науку из жизни Стихотворца...

Первое правило сей науки должно быть: живи, как пишешь, и пиши, как живешь...» («Нечто о поэте и поэзии», 1815 г.).

Пушкин разделял этот новый взгляд на художника, однако, надо думать, не вполне. Первая часть (требование – всего челове-

ка) не могла бы его смутить. Зрелый Пушкин всецело в поэзии, он съеден ею, как Рихард Вагнер, сказавший, что «художник» в нем поглотил «человека», как тысячи других, отдавшихся без остатка искусству, знаменитых и безымянных артистов. Мы слышали с пушкинских уст слетевшую аксиому, подобную утверждению Батюшкова: «Поэзия бывает исключительно страстью немногих, родившихся поэтами, она объемлет и поглощает *все* наблюдения, *все* усилия, *все* впечатления их жизни» («О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И.А.Крылова», 1825 г.).

В этом смысле – на низшем уровне – в Пушкине уже нет ничего, что бы явно или тайно не служило поэзии. Самые ничтожные «заботы суетного света», в которые он погружается, когда его не требует к жертве никакой Аполлон, и те невидимо связаны с искусством, образуя то, что можно назвать поэтической личностью Пушкина, неотделимой от стихии балов и удовольствий. Это и есть его «диэтика», говоря по Батюшкову. Он и ест, и пьет, и толчется в гостиных, и ухаживает за дамами, если не прямо в поэтических видах, то с неосознанной целью перевести всю эту суету в достояние, от блеска и изящества которого мы все без ума. Он и в этом, строго говоря, уже не совсем человек, а Пушкин до мозга костей.

И все-таки – вот упорство! – он бы не подписался под формулой, что надо жить, как пишешь, и писать, как живешь. Напротив, по Пушкину следует (здесь имеется несколько уровней сознания в отношениях человека с Поэтом, и мы сейчас поднимаемся на новую ступень), что Поэт живет совершенно не так, как пишет, а пишет не так, как живет. Не какие-то балы и интриги, тщеславие и малодушие в нем тогда ничтожны, а все его естество, доколе оно существует, включая самые благородные мысли, включая самые стихи в их эмпирической данности, – не имеет значения и находится в противоречии с верховной силой, что носит имя Поэт. «Бежит он, дикий и суровый...» Какая там диэтика – аскеза, не оставляющая камня на камне от того, что еще связано узами человеческой плоти. Пушкин (страшно сказать!) воспроизводит самооценку святого. Святой о себе объявляет в сокрушении сердца, что он последний грешник – «и меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он». Даже еще прямее – без «быть может». Это не скромность и не гипербола, а реальное прикосновение святости, уже не принадлежащей человеку, сознающему ничтожность сосуда, в который она влита.

У пушкинского Поэта (в его крайнем, повторяю, наивысшем выражении) мы не находим лица – и это знаменательно. Куда подевались такие привычные нам гримасы, вертлявость, живость, болтовня, куда исчезло все пушкинское в этой фигуре, которую и личностью не назовешь, настолько личность растоптана в ней вместе со всем человеческим? Если *это* – состояние, то мы видим перед собою какого-то истукана; если *это* – движение, то наблюдаем бурю, наводнение, сумасшествие. Попробуйте, суньтесь к Поэту: – Александр Сергеевич, здравствуйте! – не отзовется, не поймет, что это о нем речь – о нем, об этом пугале, что никого не видит, не слышит, с каменной лирой в руках?

Поэт на лире вдохновенной
Рукой рассеянной бряцал...

Аллегии, холодные условности нужны для того, чтобы хоть как-то, пунктиром, обозначить это, не поддающееся языку, пребывание в духе Поэзии. Мы достигли зенита в ее начертании, здесь кончается все живое, и только глухие символы стараются передать, что на таких вершинах лучше хранить молчание.

«Зачем он дан был миру и что доказал собою?» – вопрошал Гоголь о Пушкине с присущей ему дотошностью в метафизической постановке вопросов. И сам же отвечал: «Пушкин дан был миру на то, чтобы доказать собою, что такое сам поэт – что такое поэт, взятый не под влиянием какого-нибудь времени или обстоятельств и не под условием также собственного, личного характера как человека, но в независимости ото всего; чтобы если захочет потом какой-нибудь высший душевный анатомик разъять и объяснить себе, что такое в существе своем поэт, – то чтобы он удовлетворен был, увидев это в Пушкине».

«В независимости ото всего...» Да, Пушкин показал нам Поэта во многих, исчерпывающих, вариациях, в том числе – в независимости ото всего, от мира, от жизни, от самого себя. Дойдя до этой черты, мы останавливаемся, оглушенные наступившей вмиг тишиной, бессильные как-либо выразить и пересказать словами чистую сущность Искусства, едва позволяющую себе накинуть феноменальный покров.

Земных восторгов излишня,
Как божеству, не нужны ей...

Однако тем временем на земле живет и томится, слоняясь без дела, вполне нормальный автор, лишь иногда впадающий в помешательство или в столбняк высшего толка. Он вертится, и мельтешит, и страждет, и знает за собой тайну причастности к Поэту, прекрасную и пугающую, и хочет назвать ее на человеческом языке, подыскав какой-нибудь, близкий к истине, синоним. Ему припоминаются разные странности его биографии, среди которых привлекает внимание чем-то особенно дорогая черточка крови, происхождения – негритянская ветка, привитая к родовому корню Пушкиных.

Негр – это хорошо. Негр – это нет. Негр – это небо. «Под небом Африки моей». Африка и есть небо. Небесный выходец. Скорее бес. Не от мира сего. Жрец. Как вторая, небесная родина, только более доступная, текущая в жилах, подземная, горячая, kloчущая преисподней, прорывающаяся в лице и в характере.

Это уже абсолютно живой, мгновенно узнаваемый Пушкин (не то что Поэт), лишь немного утрированный, совмещающий в себе человеческие черты с поэтическими в той густейшей смеси, что порождает уже новое качество, нерасторгаемое единство чудесной экзотики, душевного жара и привлекательного уродства, более отвечающего званию артиста, нежели стандартная маска певца с цевницей. Безупречный пушкинский вкус избрал негра в соавторы, угадав, что черная, обезьянообразная харя пойдет ему лучше ангельского личика Ленского, что она-то и есть его подлинное лицо, которым можно гордиться и которое красит его так же, как хромота – Байрона, безобразие – Сократа, пуще всех Рафаэлей. И потом, чорт побери, в этой морде бездна иронии!..

О как уцепился Пушкин за свою негритянскую внешность и свое африканское прошлое, полюбившееся ему, пожалуй, сильнее, чем прошлое дворянское. Ибо, помимо родства по крови, тут было родство по духу. По фантазии. Дворян-то много, а негр – один. Среди всего необъятного, бледного человечества единственный, яркий, как уголь, поэт. Отелло. Поэтический негатив человека. Курсив. Графит. Особенный, ни на кого не похожий. Такому и Демон не требуется. Сам – негр.

Тогда дети, наверное, еще не читали Майн-Рида и Жюль-Верна и не увлекались играми в жаркие страны. А у Пушкина уже была своя, личная (никому не отдам!) Африка. И он играл в нее так же, как какой-нибудь теперешний мальчик, играя в индейцев, вдруг постигает, что он и есть самый настоящий индеец, и ему смешно, и почему-то жалко себя, и все дрожит внутри от горького счастья – с обыкновенною мамой трястись на извозчике по летней Рузаевке (поезд «Москва–Ташкент»), в то время как он индеец и не забудет уже этого до конца дней. Крыло рока, свидетельство прошлой, затерянной во времени жизни, предчувствие, что, будучи законным сыном, ты все-таки не тот, найденный, подкидыш, незванный гость, кавказский пленник в земной юдоли, невеста как попавший сюда, и никто о тебе не знает, не помнит, но ты-то себе на уме. Ты сильнее, ты старше, ты ближе к животным, к диким племенам и лесам. Дикий гений. Дымящийся, окровавленный кусок поэзии с провалом в хаос. И ты смотришь исподлобья, арапом, храня спокойствие до срока, когда пробьет и на арапа ты выйдешь в город, «– Даешь Варшаву», оскалишься, знай наших, толпа расступится, спокойно, тише, весь на пружинах, он проносит непроницаемое лицо.

«...При виде Ибрагима поднялся между ними общий шепот: «Арап, арап, царский арап!» Он поскорее провел Корсакова сквозь эту пеструю челядь». «Он чувствовал, что он для них род какого-то редкого зверя, творенья особенного, чужого, случайно перенесенного в мир, не имеющий с ним ничего общего. Он даже завидовал людям, никем не замеченным, и почитал их ничтожество благополучием».

Это писалось Пушкиным, уже уставшим от зрелища, от славы, от клеветы, выющейся за ним по пятам, вздыхающим втихомолку о счастье «на общих путях». Смолоду к доставшейся ему от деда Ибрагима черной чужеродности в обществе он относился куда восторженней, справедливо видя в своих диких выходках признак бунтующей в нем стихийной силы. Если белой костью своего дворянского рода Пушкин узаконивал себя в национальной семье, в истории, то негритянская кровь вводила его к первобытным, иррациональным истокам творчества, к природе, к мифу. Черная раса, как говорят знатоки, древнее белой, и поддержанный ею поэт кидался в дионисийские игры, венчая в одной личине Африку и Элладу, искусство и звериный инстинкт.

А я, повеса вечно праздный,
Потомок негров безобразный,
Взращенный в дикой простоте,
Любви не ведая страданий,
Я нравлюсь юной красоте
Бесстыдным бешенством желаний;
С невольным пламенем ланит
Украдкой нимфа молодая,
Сама себя не понимая,
На фавна иногда глядит.

И тут ему снова потрафил черный дед Ибрагим. Надо же было так случиться, что его звали Ганнибалом! Целый гейзер видений вырывался с этим именем. Туда, туда, в доисторическую античность, к козлоногим богам и менадам убежала тропинка, по которой пришел к нам негритенок Пушкин. «Черный дед мой Ганнибал» сделался центральным героем его родословной, оттеснив рыхлых бояр на нижние столы, – первый и главный предок поэта.

Кроме громкого имени и черного лика, он завещал Пушкину еще одну драгоценность: Ганнибал был любимцем и крестником царя Петра, находясь у начала новой, европейской, пушкинской России. О том, как царь самочинно посватал арапа в боярскую аристократию, скрестил его с добрым русским кустом (должно быть, надеясь вывести редкостное растение – Пушкина), подробно рассказано в «Арапе Петра Великого». Однако неизмеримо важнее, что благодаря Ганнибалу в смуглой физиономии внука внезапно просияло разительное сходство с Петром. Поскольку петровский крестник мыслился уже сыном Петра, поэт через черного дедушку сумел породниться с царями и выйти в гордые первенцы, в продолжатели великого шкипера.

Сей шкипер был тот шкипер славный,
Кем наша двинулась земля,
Кто придал мощно бег державный
Рулю родного корабля.

И был отец он Ганнибала...

Заручившись такою родней, он мог уже смело сказать себе: «Ты царь: живи один...» От негра шел путь в самодержцы. Долго мучившую его жизненную проблему «поэт и царь» Пушкин разрешил уравнением: поэт – царь.

12 августа.

Но как же ты, мой любимый Андрюшечка, – наверное ты спросишь меня, моя Маша, – одним духом столько понаписал, а потом сразу прервался и несколько дней уже не берешься за письмо – почему такая неравномерность? А это, отвечу я, зависит от моих зубов и моей работы, из которых складывается моя жизнь. Про зубы я пока не стану распространяться, отложив этот вопрос до конца письма, когда они, может быть, наладятся, а пока я их успокаиваю полосканием, которое посоветовал один знаток лекарственных трав и растений, – отвар из березовой коры, вернее не из всей коры, потому что белая поверхность снимается и под ней есть еще такая розовато-коричневая кора, и вот ее – варить, должно укрепляюще действовать на десны и всю полость рта. (Умиляет эта способность человека придумывать себе всякие снадобья и салаты из придорожных средств, это как цитаты из Манна и из Бурделя, что Бог пошлет, как первобытное собирательство, где каждое лыко в строку, развивающее ум и признательность к природе.)

А работаю я сейчас снова сторожем (временно, к сожалению), лишь изменились часы и порядок дежурства: сторожу две смены подряд – с четырех дня до восьми утра, а потом отгул – весь следующий день и ночь и новый день до четырех – мои, то есть дежури́м с напарником поочередно, и такой порядок меня вполне устраивает. От этого и в письме то пусто, то густо, и август плывет на своих облаках, переваливая на осень, и листья уже падают, а мы от зимы не отделаемся и все ждем лета. Июль и август – самые длинные месяцы, подряд по тридцать одному дню, да и летний перегон, я говорил, длиннее, а в этом году они очень ускорились с помощью переезда, Пушкина, природы и свидания с тобой, моя девочка. Вот и сейчас очень много природы, и это действует успокаивающе на меня; вводя в какой-то высокий ритм, все время на воздухе, и ночь, и день, и звезды над головой, и облака, дающие почувствовать, что небо – это крыша, хотя и про-

текающая по временам, а все же хижина, и лягушки, милые и глупые, скачущие из-под ног по эстакаде, и я с ними разговариваю.

Еще мне очень приятно и удивительно, что вы с Егором разговариваете обо мне, как ты пишешь в первом после возвращения в Москву письме. От этого я и сам себе начинаю казаться реальнее.

И горячо поддерживаю и одобряю способ Егора есть печенье, макая его в чай или молоко. Ничего вы не понимаете. И вообще этим способом можно гораздо больше его съесть.

16 августа.

Царствование Пушкина протекало под знаком Петра, который, как известно, многими чертами характера – разносторонностью интересов и замыслов, дерзостью нововведений, благожелательностью, простодушием – отвечал идеалам и личным свойствам поэта. Он царственным кивком головы снаряжал стихи, как флотилии, выстраивал их в потешное войско («Из мелкой сволочи вербую рать») и т.д. Аналогии с Петром диктовались масштабами реформации, предпринятой Пушкиным в русской словесности вдогонку петровским декретам.

«Только революционная голова, подобная Мирабо и Петру, – заверял клятвенно Пушкин, – может любить Россию так, как писатель только может любить ее язык.

Все должно творить в этой России и в этом русском языке».

Мысль о взаимозависимости и сходстве Петра и Пушкина уже тогда зарождалась в умах ценителей первого поэта России. Братынский писал ему в письме (декабрь 1825 г.): «Иди, довершай начатое, ты, в ком поселился гений! Возведи русскую поэзию на ту ступень между поэзиями всех народов, на которую Петр Великий возвел Россию между державами. Соверши один, что он совершил один; а наше дело – признательность и удивление».

Все это, конечно, он принимал к сведению. Но не только историко-культурные сравнения и запросы влекли его к Петру как к высокому родственнику, к своему божеству-двойнику, а более протяжная, внутренняя тоска. Пушкин обнаружил и обнарудовал в нем то, что не нашел в Наполеоне, – выражение своей личной и сверхличной силы, пример и образ Поэта в его независимости от чьих бы то ни было законов и уложений. Дикий гений, само-

державная воля Петра, построившего сказочный город на голом болоте, захватили его, и, хоть он не собирался отождествлять себя со своими героями, а творил, что называется, объективно, с соблюдением различных колоритов места и времени, слишком близкие параллелизмы напрашивались сами собою. Это ощутил Пастернак, написавший гениально о Пушкине:

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн...

В этом смысле и «Медный Всадник» и «Полтава», помимо всем очевидных событий, содержат тему царя в истолковании, приближенном к судьбе самого поэта. «...В моей изменчивой судьбе», – помечал он в посвящении к «Полтаве» и ставил эту изменчивость в широкую связь с испытаниями, выпавшими России, Петру, «в временах жребия земного», тяжких и благодетельных, что их воспитали и вскинули на гребень великой волны, тогда как самонадеянный Карл, идя путем всех пушкинских антиподов, пытался распорядиться судьбой по собственному капризу и на этом, как всегда, провалился («Как полк, вертеться он судьбу принудить хочет барабаном»). Когда волны истории все смыли и заровняли, на земле остался один – нет, двое в одном лице – Поэт и Царь.

Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,
Огромный памятник себе.

Слышите?

Я памятник себе воздвиг нерукотворный...

Памятник Царю становится героем «Медного Всадника». Многочисленные его толкователи почему-то слабо учитывали, что эта повесть написана на очень личном, психологическом конфликте, что Петр и Евгений так же соотносятся в ней, как Поэт и человек в стихотворении «Пока не требует поэта...», что Петербург и стихия, его захлестывающая, не противники, а союзники, две стороны одной идеи, именуемой Искусством, Поэзией, противостоящей человеку, который боится и ненавидит ее в своем суетливом ничтожестве.

Замечено: Евгений, верхом на льве, со взглядом, вперенным в даль, в близкую даль своего личного счастья («И размечтался, как поэт»), размытого затем наводнением, перефразирует контур памятника Петру. Но все его жесты, движения обратны Памятнику, и на длань, устремленную ввысь, на чудотворную пушкинскую десницу, вызывающую бурю и умиряющую ее, превратившую природный хаос в гармонический космос Города, Евгений откликается эгоцентрическими всплесками рук, судорожно вьющихся вокруг его углового тела. Это – жалкое и трогательное в жажде счастья человеческое естество, возомнившее в ослеплении, что Всадник его преследует (некоторые поверили и негодуют на Всадника – такой большой гоняется за таким маленьким): всё бы ему за ним, да к нему, да ради него, помешавшегося на своем горе ничтожества, случайно попавшего в оборот Поэзии, подвернувшегося ей под руку.

Евгений! Какое значительное у Пушкина имя, варьирующее один и тот же примерно сюжет человека, глухого к поэзии, далекого от нее, но все-таки чем-то родного и приятного автору. Евгений... Ба! уж не есть ли это светское, мирское имя того, кто в духовном своем сане известен как Александр Пушкин?! Известны его пародийные мысли, близкие Евгению с маленьким счастьем на общих путях («Мой идеал теперь – хозяйка, мои желания – покой *да щей горшок, да сам большой*»), давшие повод судачить о солидарности Пушкина с горшечными мечтами Евгения и его же, авторской, неприязни к Памятнику, побившему горшки. Тем более тот именуется в поэме не иначе, как кумир, или еще хуже – истукан. Дескать, идол бесчувственный, Ваал государства... Но при чем здесь Ваал? Совсем другой идол. И вообще «кумир» для Пушкина не такое уж бранное слово. Во всяком случае в споре «горшка» с «кумиром» его выбор не вызывает сомнений. Поэт – черни:

Тебе бы пользы всё – на вес
 Кумир ты ценишь Бельведерский.
 Ты пользы, пользы в нем не зришь.
 Но мрамор сей ведь бог! ...так что же?
 Печной горшок тебе дороже:
 Ты пищу в нем себе варишь.

Вся беда в том, что мы не верим в Аполлона. Почитаем его выдумкой, поэтической условностью. Но Пушкину Аполлон не пустой звук, а живой бог, чьи призывы он слышал, чей лик запечатлел:

...Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь как Божия гроза.

Какое необычное, непонятное уму сочетание: ужасен – прекрасен! И как догадался Пушкин, что это так и есть, что прекрасное ужасает, что смешение восторга и ужаса возбуждает Дельфийский владыка, в чьем облике нам мелькает нечаянно что-то африканское, дикое и в то же время высокое – разящее, громоносное, ослепляющее солнцем лицо?! В полном объеме сам Царь – Аполлон – Ганнибал – Поэт.

Среди мраморов в Царском Селе, поразивших воображение мальчика, выделялись два истукана; им-то Пушкин отводил главную роль в своем духовном развитии.

То были двух бесов изображенья.

Один (Дельфийский идол) лик молодой –
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.

Другой женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал –
Волшебный демон – лживый, но прекрасный.

Пред ними сам себя я забывал;
В груди младое сердце билось – холод
Бежал по мне и кудри подымал.

Евгений у подножия Памятника кое-что перенял от смутного ужаса мальчика-Пушкина перед статуями в Царскосельском саду. И тот и другие идолы приковывают, околдовывают, властвуют над душой человека. Но, перенеся в ситуацию «Медного Всадника» от-

роческие переживания и хождения вокруг Аполлона, Пушкин раскис и развел себя в лице Петра и Евгения. Пиитический ужас, священное безумие, оторванные от Поэзии, в человеческом исполнении сделались смертным страхом и темным помешательством. Не просветленный гением, хаос поглотил несчастного. А Пушкин, переступив через свою низменную природу, через собственное раздвоение между человеком и гением (составившее тему «Медного Всадника»), возликовал и возвысился вместе с Памятником. Последнему найдена уникальная в своем совершенстве позиция:

И, обращен к нему спиною,
 В неколебимой вышине,
 Над возмущенною Невою
 Стоит с простертою рукою
 Кумир на бронзовом коне.

Спиной к человеку, всем существом в стройной гармонии сфер, попирающий бездны и самое безумие разъяренных стихий подчинивший грозному взмаху простертой в неколебимую высь, дирижирующей судьбою руки, – таков Аполлон, губитель и исцелитель, хозяин дружественных инструментов – лука и лиры, дальновержец, исполненный нечеловеческой гордости и неземного величия. Те, кому посчастливилось увидеть Аполлона в лицо, находили его точно таким, каким он показан у Пушкина.

«...Я сделал попытку выйти за пределы человеческого и возвыситься до бога Аполлона.

Я узрел его, гневного, в золотистой бронзе, увлеченного битвой и мыслью.

Вот она, моя первая попытка подняться над людьми...» (из письма Антуана Бурделя Сюаресу, 31 декабря 1926 г.).

19 августа.

Машечка! В прошлом письме – о Пушкине была цитата: «сведения о каждом его шаге сообщались во все концы России, – вспоминает Вяземский...» Хочу уточнить: вспоминает П.П.Вяземский (чтобы не спутался с другим, главным П.А.Вяземским).

На дворе дождь и ветер, в который раз за это лето, а недавно несколько дней простояли совсем золотыми, и мило, когда на

лист бумаги падает листик с дерева, листик к листику, – клави-корды.

Напоминаю тебе твое обещание прислать фотографию, положив ее между картонками, чтобы не помялась. И еще ты мне не рассказала о Рублеве-фильме, и я не против устного рассказа, но боюсь, что ты к тому времени, к свиданию, все забудешь.

И хорошо бы где-нибудь в сентябре-октябре прислать, кроме тетрадей, пачку бумаги, желательно толстую, листов на 200, – только я не знаю, как сейчас в магазинах с бумагой.

А письмо последнее от тебя имею все то же самое, первое по приезду в Москву, № 7, а № 5 (последнее перед поездкой) я так и не получил – и выходит редковато, если учесть, что с поездкой ты меньше писала. И забыл спросить, когда ты думаешь в Москву перебраться с дачи – когда у Егора-то группа начнется?*

С зубами я тоже еще ничего не сделал, как собирался. Надо рвать второй клык – от него все несчастья. Но то я на работе, то приема нет, и вот тяну вторую неделю. Кора, правда, спасла, сняв основную боль. А то получалось – одну ночь не спишь из-за зубов, вторую дежуришь – кромешное впечатление. А теперь – с корой – можно терпеть, и я сплю как провалившись, и недежурная ночь получается очень глубокой и вдохновенной.

Деревенские радости: в ларьке огурцы дают, и я вчера взял килограмм.

И жизнь у меня по-деревенски мила и тиха. Проблемы тоже провинциальные. Например, нет спичек и негде их взять. Пресса тоже отошла в голубое далеко. На одиннадцатом все газеты и журналы были под рукой, и я даже уставал от потока информации. А здесь тишина. Что-то я никак свои выписанные журналы не получу. То ли они еще не вышли во втором полугодии, то ли доставка медленная. Ну, я тоже никуда не тороплюсь, живу больше в книгах, чем в людях, и сторожевая должность располагает к более уединенному и природному существованию.

Только вы, мои деточки, не болейте и меня любите. А то, как нет писем, я все думаю, не свалилась ли ты после трудов поездки и возвращения. Не сваливайся, пожалуйста.

А я к тебе тянусь всем сердцем, и обнимаю, и целую нежно.

А.

20 августа 1969.



...как Егорушка заводит тебя ключиком... – Из моего письма: «А однажды он пришел ко мне утром под бок, почирикал про что-то свое, а потом говорит:

– Мама, – говорит, – купи мне заводные часы, я их буду заводить ключиком, и они будут ходить.

А я, не разобравшись спросонок, что к чему и чем мне эта беседа грозит, отвечаю:

– Вот я, – отвечаю, – тебя сейчас сама заведу ключиком, и ты у меня как заводной забегаешь.

И, сунув палец куда-то в его цыплячьи ребра, несколько раз повернула этот завод. И вот уже недели две наш ребеночек не может прийти в себя от этой идеи и первое, что говорит мне, проснувшись и перебравшись ко мне:

– Доброе утро, мамочка! Дай я тебя заведу ключиком!..

И заводит мне щеку, и ладошку отдельно, и ухо (чтобы лучше слышала).

– Егор,пусти! Я и так уже на всю жизнь заведена...»

...когда у Егора-то группа начнется? – Егорова группа работала с 1 сентября по 31 мая.



ПИСЬМО ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОЕ

Друг мой – Маша! Получил я от тебя сегодня золотое (восьмое) письмо, такое веселое и ласковое, с рассказами про участок, про крапиву, про Пушкина с игрушками*, что жить мне стало вдвойне легче и приятнее. Очень ты им помогаешь моему сердцу.

Только грустно, что ты не получила моего письма, на что я ответил телеграммой на телеграмму, только очень спешил ото-слать, и это нужно было делать быстро, а я забыл, сколько стоит слово, и, как выяснилось при сдаче, написал тебе не на полный рубль, а меньше и сдержаннее, чем можно было. Но зато она придет к тебе скорее.

Еще я добрался до зубного врача и тоже с успехом, потому что клык мой не выдрали, а будут его лечить против всякого ожидания. Врач хороший; даже на воле врачи не всегда объясняют больному его болезнь, а ведут себя недоступно, а тут объяснили и растолковали, и я очень обрадовался, потому что все совпало с моими давними предположениями, второй год меня занимающими, что это не зуб виноват, а нос, и, значит, я правильно делал, что надевал маску. А именно пульпит, перешедший в гайморит, не знаю точно, как пишется, название тоже приятное, неустрашающее, судя по звукам, гораздо хуже была бы какая-нибудь надкостница, а тут что-то легонькое, булькающее, несерьезное, и боль тоже угомонилась, и я блаженствую, тем более письмо и рю-зочка на конверте, вот и кончились мои трубки, но ты не огорчайся, потому что мне знакомый одолжил свою шариковую ручку отечественного, или, я не знаю, польского, или немецкого производства, и к ней есть запас трубочек, более узких и мелких,

и они, кажется, легко продаются в магазинах, а я ему отдал свою последнюю, потому что ему всё равно ей пользоваться редко, в качестве карандаша, а эта, новая, тоже хорошо и мягко пишет, так что ты не покупай и не присылай мне самописку, а разве потом когда-нибудь, очень и очень не скоро, пришлешь трубочки, такие или сякие; так вот, возвращаясь к розочке, она мне по сердцу, как и ты, и на тебя похожа. А ты спрашиваешь, понравилась ли, то конечно и очень сильно, но в этот раз я тебя совершенно не успел рассмотреть, так все быстро пронеслось. Но какие-то радостно-нежные интонации в твоём письме и в моей душе говорят мне, что мы любим друг друга и будем счастливы.

23 августа.

Интересно: слово «лепень» – костюм не от древнего ли корня «лепо»? – великолепный лепень, звучит по-хлебниковски, но как могло залететь? Другое дело: – Срезал скулу у фуцана и забрал бабки. Тут все понятно. Но лепень?

Принцесса читала по слогам: – Люди. Юс большой. Буки. Люб. Веди? Ничего не понимаю.

Это из сказки. Для ее – сказки – корней все-таки надо бы больше вникать в иконографию сновидений. Тогда многое прояснится. За метафорой оживает онтология. Одному приснилось прямо по Проппу. С зубами. Я даже подпрыгнул: Пропп-то дальше обряда не пошел. Но обряд-то ведь тоже возникал, наверное, не на пустом месте. Не из головы же придумали все эти инициации?

Получил свой первый журнал – № 7*. Фотографии очень красивые, из древней Болгарии, украшения тоже крупным планом – отменно сделано. А тексты серенькие. Все же у искусствоведов есть дурная традиция – сопровождать картинку. Точно они заранее знают, что их никто не будет читать, а книги этого типа покупаются ради картинок. Мне даже пришло на ум, что серьезные работы – статьи Флоренского, например – надо издавать без картинок, или минимум, как это ни грустно, иллюстративного материала. Чтобы он не забивал текст. То же – для насыщенных, типа киевских панорам. Пустое окружение создает лучший фон, из которого сам текст будет смотреть картинкой и раздувать воображение. Потому что если фотография рядом – она будет неизбежно сравниваться со словом и переводить его в буквальность,

гасить текст, не давая волю фантазиям, из него рождающимся в нашем уме. И это не только для неискушенного читателя, но и для искушенного – чувство перегрузки. Надо ли «Профили»* издавать в сопровождении Шагалов и Сапуновых? Не уверен. Я знаю, что это грустно, что книжку приятно до краев наполнить картинками. Но надо ли? Как ты считаешь?

Не забудь все же посмотреть новогодний уваровский номер* на предмет ляпсусов и совпадений.

Стоят погожие, совершенно осенние дни. Отношусь к ним с тихой благодарностью. И листья падают в огромном количестве. Глубоко и покойно.

24 августа.

Еще я для отдыха перечитываю «Остров Сокровищ» и опять вспоминаю тебя; как ты перечитываешь, я сперва очень удивился, а потом понял, что это правильно не бежать все время за новым, а останавливаться и возвращаться к дорогому и любимому, которое через такое перечитывание войдет в быт и будет жить рядом с нами, как мебель, и мы постепенно окажемся и на «Острове Сокровищ», и на Севере; это, наверное, от твоего искусствоведения, как ходить по многу раз в Третьяковку к одним и тем же вещам в гости и всякий раз возле них радоваться и греться.

Еще мне хочется когда-нибудь поехать с тобой на поезде. Очень соскучился. Но при условии, чтобы с тобой ехать.

А помнишь, как ты стелила полки на первый Север?

25 августа.

К сожалению, сейчас у меня нет возможности поточнее узнать, кого изображала вторая статуя в Царском Селе, повергавшая в трепет юного Пушкина. Не исключено, то был Вакх-Дионис: древние, помнится, представляли его женоподобным. Но как бы там ни было, это уже не столь существенно для понимания «Медного Всадника», текст которого принадлежит Аполлону, тогда как Дионис не имеет здесь самостоятельного лица и представлен со своими стихиями оборотной стороной того же Аполлона, солнценосного бога Поэзии, как ее, Поэзии, так сказать, творческая подоплека. Истукан и безумие – мы уже видели, что в этих обличьях выступает обычно Поэт у Пушкина в своем

чистом и высшем значении, в независимости от всего. Он либо стоит столбом, ни на кого не обращая внимания, либо носится, как сумасшедший, «и звуков и смятенья полн». В «Медном Всаднике» даны оба варианта: истукан-памятник Петра, построившего Город, и безумие-наводнение, грозящее их затопить, а в сущности ими же вызванное, санкционированное и с ними соединенное.

Каким-то темным чутьем Евгений понимает, что Петр повинен в буре, обрушившейся на Петербург, что в этих периодических приливах стихии видны рука и замысел основателя города. В самом деле, волны и Всадник действуют заодно; он их предводитель, полководец, пославший на приступ своих же твердынь. Не забудем о военной и мореплавательской страсти Петра, участвующей в сцене бедствия, мрачной по смыслу, радостной по интонации, написанной с таким же подъемом, как «Тесним мы шведов рать за ратью», и озаренной слышимым в этом вое и вихре шествием вдохновения. Атака духа, ринувшегося в пробитое Петром окно – с видом на море, заставляет вспомнить, что это в обычае Диониса – развязывать страсти, отворять стихии и повергать вакханта в экстаз, который и есть само творчество в изначальном его, хаотическом качестве, пока исступление не перейдет в свое светлое производное, безумство не обратится в гармонию. О таком переходе древние говорили: «Дионис бежал к Музам», подозревая, должно быть, союз противоположных по свойствам, но равных в прорицательстве демонов – Диониса и Аполлона, как бы конкурирующих друг с другом в таинствах искусства. Помните, у Пушкина говорится о вдохновении: «Плывет. Куда ж нам плыть?..» Вот и поплыли:

Погода пуще свирепела,
Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась...

Но этот взрыв ничем не ограниченной, неукротимой, первобытной энергии все-таки удержан на самом пределе рукою того же Петра. Как бы ни клочотали волны, вышина-то неколебима, и

в ней пребывает Идол, всюду скачущий, не пошевеливший и пальцем, с огненной кровью в бронзовом теле.

Обратите внимание: Петр едет верхом на Неве, никуда не уезжая; у наводнения огненная природа Петра и его коня; а конь – вся Россия, сама Поэзия, рванувшаяся в исступлении к небу, да так и застывшая в слитном смерче воды, огня и металла.

Но, торжеством победы полны,
Еще кипели злобно волны,
Как бы под ними тлел огонь,
Еще их пена покрывала,
И тяжело Нева дышала,
Как с битвы прибежавший конь.

.....

Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?

В этом – на одних восклицаниях – взлетающем апофеозе маловеры улавливают ноту неудовольствия. Чуть ли не проклятие и предрекание гибели слишком высоко вознесшемуся ездоку. Как будто ужасен («Ужасен он в окрестной мгле!») не предполагает, в самом себе не заключает уже – прекрасен! Как если бы бездна под копытами коня могла озадачить того, кто сам в дионисийском восторге возглашал: «Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю...» Или вздыбленная Россия – та, о которой сказано, что всё в этой России и в ее языке надлежит творить фантазеру, подобному Петру, – или эта взнузданная у края пропасти буря, сомкнувшая воедино бездну дикости и чудо гармонии, – может пошатнуться и рухнуть, а не останется навсегда памятником самовластной Поэзии?!

«Дионис бежал к Музам»... Бешеная оргия творчества разрешается в гармоническом ладе и строе творенья.

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид...

И на каждом шагу твердость и стройность. «Тяжело-звонкое скаканье». В «стройно зыблемом строю» проходят войска. «Громады стройные теснятся». Тяжесть камня, ковкость металла. «Твоей твердыни дым и гром». Пушкинский Петербург предстает порождением стихии, укрощенной и перелитой в башни, дворцы, ограды. Насколько яростна буря, настолько же крепок гранит, и чем сильнее бьется Нева об эту крепость, «плеская шумною волной в края своей ограды стройной», тем, кажется, сообщает ей бóльшую прочность и вместе с тем живет и питает ее своей страстью, не давая охладеть, наращивая громады зданий и памятников. В этом смысле пролог держит все произведение в стройности, в узде; оно не размывается с началом наводнения, но возникает из волн и ветра, воодушевивших эту постройку и застывших в кристаллы поэмы-города.

В итоге Петербург-стихия и Петербург-столица, поэзия Пушкина в двух ее аспектах – дикий гений и чудный город – явлены в едином лике, как нечто слитное, целостное. «Медный Всадник». В названии звучит согласие противоборствующих начал – статики и динамики, стройности и буйства, Аполлона и Диониса, от вражды перешедших к сотрудничеству, к примирению. «Медный Всадник» – уже не заглавие, не герой и не тема пушкинской повести, а ее исчерпывающее определение, покрывающее все, что в ней имеется и творится, включая жанр, и слог, и стих, которым она написана. Если эту поэму обвести карандашом, мы получим Медного Всадника. Он из нее вырастает, над нею господствует, с нею в конце концов совпадает. Потому-то он по многу раз в ней появляется в одном и том же виде и скачет по всему тексту, ни на миг не исчезая из глаз, увеличиваясь в размерах, и от него нельзя ни уйти, ни укрыться, ибо в нем и этот город, и наводнение, и поэт, что пишет о нем, сидя в своей светелке, взирая на прозрачные улицы, и Евгений, жалко передразнивающий поэта, Всадника и наводнение, оглушенный «шумом внутренней тревоги», пока наконец своим «ужо!» не произнесет себе приговор и не погибнет под копытами Идола, что никого не думал давить и даже не отпускал поводья взлетевшему над пропастью зве-

рю, а просто вобрал в себя все и вытеснил собой человека, заполучив поэму в свое полное распоряжение. Евгений изгоняется из нее по мере того, как она все более ясно принимает очертания скачущего Памятника. Как инородное поэзии тело, он выброшен ею и похоронен кое-как в последних строках – за чертой города.

26 августа.

В теории эволюции приятно то, что, глядя на лягушку, думаешь: вот и я из лягушки произошел, и она теперь мне как брат и сестра.

Влюбляюсь в русские сказки и заодно в тебя. Но воспринимаются они более живописно и музыкально, чем литературно. Сверкающие краски, летающие фразы. Возьмем лист бумаги и напишем: избушка на курьих ножках. Распластанная сказка. Для ясности покажем пейзаж. Попробуем описать, каким бывает снег и что он такое. Потом: ну, снег, понимаете, снег, что, вы снега не видали? Настойчивость. Говорят вам русским языком: собака разговаривала. И свобода речи – куда завернет. Юродство. Какой-нибудь святой старичок. Кентавр в русском лесу – полкан, полкаша. Антика. Абракадабра. Как тянется, сплошной восторг. А Иванушка ногу не вытянет из завязки у трех дорог. И опять сначала.

Как тебе нравится проблема, типа рококо: Декоративные элементы русской сказки? (Только для этого опять надобен Пропп: морфология.) Меня эта сторона – изобразительно-живописная – особенно поражает. Потому что сюжетно-повествовательная, в общем, известна и глубока лишь в корнях, в истоках. Сам-то сюжетный рисунок довольно прост и схематичен. Но язык! Это как трафаретный узор, в который вставлены камни. И я думаю: если птичка Сирин перелетела на сундук, то почему бы всем драгоценным изделиям не перелететь в речь? Например: «и доложил барину, что в его владениях сидят не две пташки залетные, а *две красавицы намалеванные* – одна в одну родством и дородством, бровь в бровь, глаз в глаз...» Не исключено, что эти красавицы слезли с прялки, с лубка. Конечно, глубже, чем взаимовлияния. Потому что сам язык красен и метафора, выйдя из мифа, перебегает в орнамент. Но получается так, что некоторые куски смотрятся прикладными изделиями. Хочется вынуть и повесить тебе на шею. Чем не украшение: «...Хочу, чтоб явилась передо мной Лебедь-

птица, красная девица, сквозь перьев бы тело виднелось, сквозь тело бы кости казались, сквозь костей бы в примету было, как из косточки в косточку мозг переливается, словно жемчуг пересыпается». Я это больше вижу, чем слышу. А ты? Короче: сказка как явление бижутерии. Еще короче: пропповская морфология и какая-нибудь серьезная работа о языке сказки – я не знаю, есть ли такие, но должны быть. Эрна знает*. И это не так растяжимо, как Сирин, а гораздо конкретнее. И из Сирина что-то влезает. Или параллельно могут существовать, как ты считаешь?

27 августа.

Что-то я пишу тебе, Маша, каждый день. К чему бы это? Все свободное время пишу тебе письмо. Когда же я буду книжки читать и умственно развиваться? А все оттого, что тебя встретил и очень понравилась. Надолго хватает. А еще это к тому, что летом легче живется и пахнет палым листом, родной запах. Вся зона усыпана листьями, и они шуршат. Я сначала огорчился, что такая ранняя осень. Но говорят, тополь раньше падает и поэтому так много.

А еще это к тому, что получил три письма. По №12, без одиннадцатого, ну, может, еще и придет. А вот пятый – давно уже – так и не появляется. Среди них получил твою автоматическую фотокарточку. Конечно, приятно, потому что ты и что вспомнила о моих интересах. Но могла бы получиться и лучше и более похожей. Подавай большую, ту, что обещала. И вообще скажи знакомым, которые умеют снимать, что я на них в обиде, что тебя не фотографируют, хотя я сколько уже прошу. Вот вернусь когда-нибудь и устрою погром на эту тему, и не постесняюсь, а прямо так и скажу: как вы могли не уважить такую просьбу и не обеспечить меня фотографией моей единственной жены?! И им тогда будет очень стыдно.

Зуб мне залатали, и он не болит, правда без гарантий, что долго продержится, уж очень непрочный. И доктор сказал на мои десны, что нужно побольше есть лук и чеснок. Это понять можно. Удивительнее, что камень, в таких количествах росший у меня на зубах, теперь почти не растет: оказывается, для этого тоже нужен материал. Но лука эту зиму я потребил достаточно, он продавался от гриппа и так давали. Чего же еще?

Крест на кладбище ты не меняй, потому что с ним и мужику одному не управиться. Это тебе не по силам. Посматривай только изредка, чтобы изгородь не сломалась и не открылась; я там часто замок менял, он ржавеет быстро, а ушки узкие, и не всегда подберешь, но это имеет символическое значение.

А когда ты успела заметить, что на мне новые сапоги? Действительно новые, от Рафа достались, и летом в них удобнее, они легче и лучше продуваются. А старые лежат в сундуке (у меня еще есть такой самодельный сундук, или деревянный чемодан, который не хочет отпираться, и недавно, чтобы открыть, пришлось мне его взломать железной ложкой и перевязать веревочкой), но их надо чинить, а пока есть новые, я не спешу, потому что по мокрому в старых ходить, даже починив, нельзя, а только зимой или летом.

Но это я уж очень в большую прозу впал, и давай я тебя немножко займу поэзией.

Спрашивается: сочувствует ли Пушкин Евгению? Еще бы! Если он себя, свою человеческую мечту и мелкость переехал и обезвредил в Евгении! Впрочем, к чужим несчастьям он относился еще сочувственнее. Но, сострадая Евгению, был беспощаден. Пушкин вообще был жесток к человеку, когда дело касалось интересов поэзии. Любя Байрона, он писал Вяземскому (13–14 июня 1824 г.): «Тебе грустно по Байроне, а я так рад его смерти, как высокому предмету для поэзии. Гений Байрона бледнел с его молодостию. В своих трагедиях, не выключая и *Каина*, он уже не тот пламенный демон, который создал *Гяура* и *Чильд-Гарольда*. Первые две песни *Дон-Жуана* выше следующих».

Словом, сделал свое дело и не задерживайся, не порть впечатление. Так же – и к себе.

Пушкин не отметал в себе человеческое и не подавлял его, он предоставлял ему волю, простор и весьма благосклонно смотрел на все его проделки и ухищрения, отдаваясь им с открытой душой. Но строго держал дистанцию между собою и человеком и, прощая тому многое, может быть слишком многое в житейском плане, был суров и взыскателен, когда впускал его в свои поэтические апартаменты, и беспрестанно осаживал, как лакея: знай свое место. Он не давал ему возносить-

ся и упиваться собою и для того писал о себе нелицеприятно, с сочувствием и презрением наблюдая, как мечется этот Евгений. Дистанция, неуступчивая позиция Пушкина позволяла ему следить за ним с зоркостью, невозможной, немыслимой для автора, отождествляющего себя с человеком, трезво взвешивая все pro и contra и создавая в общем нелестный и неутешительный портрет.

Таким изображен Онегин, опять Евгений, опять мирская суета, посредственность, в которой все и ничего от Пушкина, поскольку в нем субъект, знакомый до ногтей, свой, бесконечно свой, разъят по косточкам поэтом, поднявшимся над человеком. Эпиграф к пушкинскому роману (по-французски, «из частного письма») приоткрывает нам, как сделан портрет Онегина (читаем, учитывая, что «он» скорее всего здесь – автор): «Проникнутый тщеславием, он обладал сверх того еще особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием в своих как добрых, так и дурных поступках – следствие чувства превосходства, быть может мнимого».

Откуда берется эта «особенная гордость», этот воображаемый взгляд сверху на собственную некрасоту и достоинства? Очевидно, от поэта-Пушкина, выделившего Онегина как свою человеческую эманацию и спокойно ее рассматривающего – со смесью симпатии и злорадства.

В то время, когда романтики из кожи лезли, чтобы выйти в Корсары, Пушкин предпринял в «Онегине» обратный ход и вышел в люди, отступил в тень человека самого обыкновенного, пошлого, не имеющего ничего общего с поэзией. Если сопоставить Онегина с Пушкиным (а в романе они сопоставлены), прежде всего в глаза бросается «разность», ухватясь за которую, автор путает нам карты подсказками, что, де, «я был озлоблен, он угрюм», и долго не мог привыкнуть «к его язвительному спору, и к шутке, с желчью пополам, и злости мрачных эпиграмм» (уж по части-то эпиграмм хотя бы Пушкин задал бы жару Онегину). Все это замечает следы в действительном соотношении сил. Взятый как относительно целостный образ (хоть в сущности он не таков), каким он видится издали, в качестве литературного лица, Онегин не походит на Пушкина (что общего с Пушкиным у того, в ком нет ни грана по-

эзии?!), тогда как по частностям и мелочам настолько с ним совпадает, что кажется, автор смотрелся в зеркало, списывая черту за чертой: поверхностность, светскость, лень, безверие, внимание к ногтям и т.д. Получилась человеческая пародия на поэта, нуль без палочки (палочка – поэт, для которого тот же нуль, по его же словам, в значении светского блеска, «десятерит достоинства единицы»), утратив которую, любая пушкинская натуральность становится на себя непохожей и превращается в кислотину, о которой и думать противно (так, великолепная лень поэта стала обыкновенной никчемностью бесталанного лоботряса, любовное переполнение выхолостилось в бесполоую «науку страсти нежной», и если поэта-Пушкина убили на дуэли, то человек Онегин сам не преминул убить без причины такого же, как он, тривиального певца), – все потеряло смысл, содержание, и разве что презентабельная форма оставлена довольно умного по житейским критериям, умеющего себя вести Нулина.

Более унижительной анатомии человеческого организма в ту пору у нас еще никто не производил, и, чтобы скрасить впечатление и оправдать эту разлезающуюся под скальпелем психическую ткань, автор наделяет ее приметами среды и времени, названиями от скуки перелистанных книжек и перепробованных блюд, то делая Евгения человеком толпы, добрым малым, каких много, то, противореча себе, высасывает из пальца «мечтам невольную преданность, неподражательную странность» (хоть тот ни о чем не мечтает и сплошь состоит из вялых подражаний), так что его можно тянуть куда угодно – и в лишние люди, и в мелкие бесы, и в либералы, и просто в недоросли, в стилиаги своего времени, отчего этот нестойкий характер окончательно разваливается, освобождая место для обширного романа в стихах. Короче, от пушкинской личности, препарированной таким образом, в Онегине ничего не осталось, но плавает перед глазами какая-то муть, над которой второе столетие бьются педагоги и школьники, пытаясь домыслить и скомпоновать образ по частям – из той трубухи, что вывалил Пушкин в романе, рассчитываясь с человеком, с этим чортом, проще сказать, сосущим ли его, как глиста, претендующая на некое «я» в его внутреннем мире, или взятом взаймы, в помощники у человеческих современников, потому

что и поэту надо как-то жить, ведь человек же он, в конце-то концов, или кто?¹

Нет, через Онегина, с его неопределенным, размазанным лицом, с его зевающей во весь рот бездуховностью, не перебросить мостик между человеком и Пушкиным. Тут требуется иного сорта характер, пусть и погрязший в человеческой массе, а все ж высовывающийся в историю, как претендент на высший пост, пускай без прав, пускай позорным клеймом отмеченный пройдоха, а все ж король, хотя бы голый, тщеславный, громкий, из толпы в поэты метящий, похлеще Онегина, здесь нужен – Хлестаков!

28 августа.

Машечка-Таракашечка, Крошечка-Хаврошечка! Ты посмотри, какое нынче число и на какой я уже к тебе странице! А все это потому только, что ты хорошо ко мне относишься. И пишешь письма.

(Только когда в следующий раз будешь посылать мне тетради, не шли с такой скользкой бумагой, а то я сойду от злости, пока допишу это письмо – чуть не по десять раз обводишь буквы, а они не пишутся на глянце, – посылай с шероховатой фактурой!!)

А знаешь ли ты еще, какой сегодня день – который можно считать главным иконописным праздником, потому что от него пошла в том числе и русская икона – Нерукотворного Спаса? И я как раз сегодня прочитал в газете, что в Манеже открылась выставка древнерусского искусства, и была ли ты на ней, и мне бы очень хотелось.

А в прошлом письме – в цитате из Боратынского о Петре

¹ Бесовское прошлое Онегина увидела Татьяна во сне, где он возглавляет адскую шайку. Эта первоначальная природа его образа просвечивает в «Уединенном домике на Васильевском», знакомство с которым позволяет предполагать, что в своем окончательном виде Онегин – это трансформированный посрамленный бес, из соблазнитель попавший в потерпевшие и превращенный в человека с нулевым значением. Примечательно, что из того же «Уединенного домика» вторая дорожка ведет к Евгению «Медного Всадника» (см. также стихотворение «Демон» и план неосуществленной повести «Влюбленный Бес»). (Я не уверен в необходимости этой сноски, поскольку не знаком с работами Ахматовой, у которой, может быть, все это уже сказано.)

ошибка, и ты поправь. Надо: «на ту степенъ между поэзиями всех народов», а не «ступень». А в позапрошлом письме тютчевская строчка «Так души смотрят с высоты уже на брошенное тело» (или: на долу брошенное тело; или: на ими брошенное тело) – из стихотворения «Она сидела на полу и груди писем разрывала» – сличи, пожалуйста.

Но я сижу не на полу, а на травке и не перестаю славить лето, как самое удобное время для человеческой жизни, и не груди писем, а два – 13 и 14, где ты наконец пишешь, что получила мое позапрошое письмо, и не разрываю, а наоборот, всем сердцем. Тут же Егорычева фотография с весьма смысленным личиком, на тебя похожим, с какими-то граблями в руках, и удивительным посвящением, которому можно только завидовать. И за все за это я – тебя.

29 августа.

Находка Гоголя, но тип подсказан Пушкиным, подарен со всей идеей «Ревизора». Не зря он «с Пушкиным на дружеской ноге»; как тот – толпится и французит; как Пушкин – юрок и болтлив, развязен, пуст, универсален, чистосердечен: врет и верит, по слову Гоголя – *«бесцельно»*.

Ну чем не Пушкин? – «Представляет себя частным лицом», как сказано в письме городничему, а сам – «инкогнито проклятое», «с секретным предписанием», «в партикулярном платье, ходит этак по комнате, и в лице этакое рассуждение...» «А ведь какой невзрачный, низенький, кажется – ногтем бы придавил его».

«Не генерал, а не уступит генералу». «– А один раз меня приняли даже за главнокомандующего: солдаты выскочили из гауптвахты и сделали ружьем». «...Когда же гуляет в обыкновенном виде, в шинели, то уж непременно одна пола на плече, а другая тянется по земле. Это он называл: по-генеральски» (В.Яковлев. Отзывы о Пушкине с юга России. Одесса, 1887).

А сколь оборотлив! То Анна Андреевна, то Марья Антоновна. «– Так вы в нее?..» «– Для любви нет различия». «...Ровно полчас, пока коней мне запрягали, мне ум и сердце занимали твой взор и дикая краса».

Конечно, не поэт. Хотя: «– Я, признаюсь, сам люблю иногда задумываться: иной раз прозой, а в другой и стишки выкинутся... У меня легкость необыкновенная в мыслях».

Но шутки в сторону. Налицо глубокое, далеко идущее сходство. Как это ни странно звучит, но если не ездить в Африку, не удаляться в историю, а искать прототипы Пушкину поблизости, в современной ему среде, то лучшим кандидатом окажется Хлестаков. Человеческое alter ego поэта.

Самозванец! А кто такой поэт, если не самозванец? Царь?? Самозванный царь. Сам назвал: «Ты царь: живи один...» С каких это пор цари живут в одиночку? Самозванцы – всегда в одиночку. Даже когда в почете, на троне. Потому что сами, на собственный страх и риск, назвали, и сами же знают, о чем никто не должен догадываться: что (переходя на шепот) никакие они не цари, а это так, к слову пришлось, и что (еще тише) сперва будет царь, а потом – казнь и позор.

Знал, что дарить Гоголю. Лжедмитрий – Пугачев – Хлестаков. Но если взглянуть повнимательней, самозванцы у Пушкина в любом звании, под каждой крышей. Погода, что ли, такая настала, только у него персонажи тронулись с насиженных мест и бросились кто куда, лишь бы не в свои сани. Барышня – в крестьянки, улан – в кухарки, Алеко – в цыганы, Дубровский – в разбойники, беглый чернец – на царский престол. «Я не мог не подивиться странному сцеплению обстоятельств: детский тулуп, подаренный бродяге, избавлял меня от петли, и пьяница, шатавшийся по постоянным дворам, осаждал крепости и потрясал государством!»

Самое золотое для поэтов времечко. Они тоже подались вслед за Хлестаковым – в Пушкины, в Гоголи. Никого не удержишь. Сам себе – царь. Начались неприятности. Все люди как люди, и вдруг – поэт. Кто позволил? Откуда взялся? Сам. Ха-ха. Сам?! То же мне, Пушкин выискался! Ату его!..

Пушкин больше других почувствовал самозванца. Кто еще до таких степеней поднимал поэта, так отчаянно играл в его судьбу, проникался ее духом и вкусом? Правда, поэт у него всегда выше, милостью Божией, не просто «я – царь», а помазанник. Так ведь и у самозванцев, тем более у пушкинских самозванцев, есть сознание выше им выпавшей карты, предназначенного туза. Не просто объявили себя, а поверили, что должны объявиться. Врут и верят. «Тень Грозного меня усыновила!..»

Смотрите-ка: Пушкина точно так же усыновила тень Петра!

Дедушка-крестник? Да этих крестников... Ведь точно такой же трюк выкинул Пугачев. Еще не замышляя никаких мятежей, а много раньше, ради красного словца, и Пушкин, очевидно, не знал этой детали. Не знал, но повторил – в своей биографии.

Еще на действительной службе Пугачеву как-то случилось напиться, и спьяну он хвастал саблей (хорошее оружие давали за особые заслуги). «А как он еще заслуг никаких тогда не сделал, а отличным быть всегда хотелось, то сказал: сабля ему пожалована, потому что он крестник государя Петра Первого. Сие сказано, зачинается злодей, ни от каких иных намерений, кроме чтоб тем произвесть в себе отличность от других. Слух сей пронеся между казаков и дошел до полковника Ефима Кутейникова, но, однако ж, не поставили ему сие слово в преступление, а только смеялись» (Протокол допроса 2–6 октября 1774 г. в Симбирске).

31 августа.

Чевой-то опять мне скушно и грустно, Маша, без твоих писем. Перестали идти. А на дворе сентябрь, дети, в школу собирайтесь, петушок пропел давно. И сразу, с первого сентября, как по расписанию, наступила осень. Ночью похолодало особенно. Сторожу во всем зимнем.

Еще меня умилило, что ты на свидании заприметила другой ватник и спросила: а где тот? Разве можно такие мелочи запомнить? И как это тебе удается?

А с трубочками я, пожалуй, похвастал раньше времени, они такие маленькие, что идут гораздо быстрее, чем я думал. Вот на одном этом письме уже третью списываю. Так что, если можно купить, пришли, пожалуйста (с чернилами потемнее, если есть выбор). А то моя самописка тоже никуда не годится (и надо же так подстраивать, чтобы на этом самом месте бумага так заскользила, что я был вынужден все бросить и тотчас бежать за обруганной второпях самопиской и еще ей в ножки кланяться: не обесудь!) – чорт знает что такое.

Между прочим, никто так смачно не чертыхался, как Гоголь. И ему это боком вышло.

А слово «гад», оказывается, далеко не всегда имеет бранный смысл: – Избили меня, как гада. Я сперва очень удивился, когда

услышал, но потом понял, что это не оговорка, а так принято, так что в тундру загнанный гад – чистейший подлинник.

Кстати, выяснилось, что драгоценные камни, судя по всему, представляют застывшие лучи различных светил, отчего они и играли когда-то роль в астрологии. Помнишь, я ссылался на змея, который вырыгал камень, сидевший у него, по всей видимости, в голове. И вот встречаю другую сказку, где с воцарением змея наступает сплошная ночь, а когда его убил Иван-царевич, то разломил ему голову, и сразу стал белый свет по всему царству. Очевидно, он извлек оттуда соответствующий камень (змея, по просту говоря, проглотил солнце).

В дополнение к декоративности сказок – было бы славно достать какой-нибудь сборник загадок (я в свое время писал тебе названия некоторых, прекрасных по всей вероятности, сборников). Потому что загадки, по идее, должны быть изобразительнее сказок и, должно быть, это самый декоративно-изобразительный жанр в народной словесности. Потому что более других рассчитан на узнавание и подчас предлагает слушателям зрительный синоним загаданного предмета.

Еще я перечитал Тынянова «Пушкин и его современники» и почитываю двухтомник статей и речей Мейерхольда. Это я к тому, что эти новинки мне присылать не надо – здесь есть.

3 сентября.

Интересно: как мыши относятся к птичкам и как жуки – к бабочкам? Они же видят друг друга. Но что думают?

Сегодня ночью ко мне в гости приходил кот. Я как раз разжег печку, чтобы немного согреться, – он и зашел на огонек и развел вокруг ужасное мурлыканье, хоть я к нему не притронулся, а лишь поговорил немного и предложил самостоятельно поспать на лавке. И он как-то понял обстановку и не приставал ко мне, а изображал что-то вроде мужской солидарности или братства, и устроился в сторонке, и даже пытался изображать сторожевую собаку, настораживая уши и вперяясь во тьму при каком-нибудь дальнем шуме. Мне даже показалось, что, в случае чего, он бы даже попробовал тявкнуть.

А жаль все-таки, что я хуже стал относиться к собакам, и ничего не поделать.

Еще подозреваю, что старички более дети, чем мы думаем. У них детские интересы. Съесть какой-нибудь пряник. Сходить в кино. И они чаще, чем мы догадываемся, внутренне прыгают на одной ножке.

О том, что старички – дети, можно судить по гномам.

Это письмо я посылаю на день раньше, потому что впереди выходные. Последнее от тебя – № 14 (без 11 и 5).

Я к тебе очень хорошо и горячо отношусь. Целую вас и обнимаю.

А.

4 сентября 1969.



...про Пушкина с игрушками... – Из моего письма: «Представь себе мое удивление и веселье, когда Егор на мой строгий вопрос:

– А кто за тобой игрушки убирать будет?

Ответил:

– Пушкин!

Вот так прямо и сказал, как по писаному-переписанному».

Получил свой первый журнал – № 7. – «Декоративное искусство» по подписке.

«Профили» – книга статей А.Эфроса (1930).

...новогодний уваровский номер... – Мы с А.С. не успевали доработать статью про елку, а так как такая была необходима по композиции новогоднего номера, то ее написала И.Уварова.

Эрна знает. – Эрна Васильевна Померанцева.



ПИСЬМО ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЯТОЕ

Бедная моя семейка! Как вы там существуете в таком холоде и дожде? У меня-то ватные брюки имеются, а вот вы? Прогнозы, правда, еще обещают некоторое потепление в сентябре, но до него ведь надо дожить. Я-то уже целиком ориентировался на зиму. До Нового года рукой подать.

Настроение не из веселых. Помимо холода, писем нет. Что-то совсем перестали письма идти. Уж не случилось ли с вами чего? И кофе нету. Твой килограммчик кончился (на месяц-таки хватило), а больше где взять.

Радует только работа сторожем, наиболее подходящая к моему характеру. Она вносит какую-то успокоительную размеренность в жизнь, да и с людьми меньше общаюсь. Сторож ведь это всегда что-то отдаленное и постороннее, вне страстей и суеты. Почти как лесник.

Получил свою первую «Знание – силу». Недурной журнальчик. Там есть про египетские пирамиды удивительные подробности. Мудрецы эти египтяне. А тут еще, слышно, на Луне обнаружили что-то похожее на египетские пирамиды, толком еще не знаю что. Этого я от них всегда ждал. Не дураки они были.

Вот солнышко выглянуло. Пойду-ка погреюсь. Бедновато живем. Но ты не думай – в этом году я лучше подготовлен к зиме. Во-первых, имею полную возможность сидеть на нижней койке, чего не было в прошлом году, и опираться спиной о стенку – это тоже большое преимущество, жить у стены. Кроме того, у меня есть собственный персональный стул, который я использую в ка-

честве стола. Разложишь книжечки, пристроишь ватник за плечи, уютно, мягко, и улетаешь в мечтах...

7 сентября.

И Пушкину и Пугачеву ссылка на петровского крестника внутренне послужила трамплином, для того чтобы прыгнуть в Петры. Отличность же в себе от других произвеств Пушкину всегда улыбалось (общая черта поэтов и самозванцев). Но более, чем во внешних приметах, она, эта отличность, давалась и подтверждалась в судьбе: человеку вдруг начинало подозрительно везти. У Пушкина мы помним, как это было, – так же у Пугачева. «Что ж принадлежит до его предприятий завладеть всем, – в том и сам удивляется, что был сперва очень щастлив, а особливо при начале, как он показался у Яицкаго городка, было только согласников у него сто человек, а не схватили. Почему и упоает, что сие поущение Божеское к нещастию России» (Рапорт П.С.Потемкину гвардии капитан-порутчика С.Маврина о поимке Пугачева, 15 сентября 1774 г.).

Такое везение, принятое за потакание, за согласие в последней инстанции, и толкает самозванца на решительные шаги, тем же в какой-то мере оправданные в очах Пушкина. Лжедмитрий ему предпочтительнее и в некотором роде законнее Бориса. Тот захватил чужой престол личной хитростью и насилием и прилагает горы стараний, чтобы на нем удержаться, тогда как Самозванцу царство само упало к ногам, как созревшее яблоко. «Все за меня: и люди и судьба».

Поэтому в несколько бледном характере Лжедмитрия (он слишком красивая, кратковременная игрушка в руках Фортуны) все же четко вырисовывается петровско-пушкинский психологический тип: пылкое, великодушное сердце, доверчивость к переменам судьбы, способность нерасчетливо идти навстречу первому впечатлению. Подобно Моцарту в эпизоде с трактирным скрипачом, он готов отвлечься от царства ради издыхающей лошади; подобно Петру, добром отзывается о побившем его противнике и после военного разгрома засыпает младенческим сном. Поистине Лжедмитрий у Пушкина прирожденный царевич: на нем видна печать чудесного благоволения.

Приятный сон, царевич!
 Разбитый в прах, спасаясь побегом,
 Беспечен он, как глупое дитя;
 Хранит его, конечно, провиденье;
 И мы, друзья, не станем унывать.

Царственными повадками блещет и пушкинский Пугачев. Ведь чем его покори́л проезжий барчук – тем единственно, что по-царски его пожаловал тулупчиком с собственного плеча. Не тулупчик дорог – плечо. Это в натуре самого Пугачева: «Казнить так казнить, миловать так миловать!» – и он платит Гриневу стоицей, среди прочих милостей не забывая наградить ответным широким жестом – овчинной шубой с своего плеча.

Однако самозванцы у Пушкина не только цари, они – артисты, и в этом повороте ему особенно дороги. Дмитрий показан даже покровителем «парнасских цветов», причем его меценатство – «Я верую в пророчества пиитов» – отдает высокой, родственной заинтересованностью. Ибо самозванцы тоже творят обман по натию и вдохновению, вынашивают и осуществляют свою человеческую участь как художественное произведение. «Монашеской неволею сучая, под клубуком, свой замысел отважный обдумал я, готовил миру чудо...»

А чудо его вышло из Чудова монастыря. Колыбелью Григорию-Димитрию послужила келья Пимена. При несходстве возрастов и характеров, они собратья по ремеслу, и Григорий продолжает повесть с той страницы, где оборвал ее Пимен, – он принимает эстафету от старца: «Тебе свой труд передаю». Самозванщина, по Пушкину, берет начало в поэзии и развивается по ее законам. Хотя ее сказанья пишутся кровью, облакаются в форму исторических происшествий, их авторы строят сюжет как истинные художники. «– Слушай, – сказал Пугачев с каким-то диким вдохновением» (следует притча его жизни и творчества).

Оттого, между прочим, им не так уж свойственно упирать на буквальную подлинность своего царского происхождения. Поразительнее, занимательнее в художественном отношении фабула и амплуа самозванца. Дмитрий уверяет Марину, что отдал ей руки и сердце не царевичем, но беглым монахом: ему милее высо-

кой должности лицо и престиж артиста – как придумано, сыграно, какая в этом сила искусства!

Этот острый сюжет в сочетании с задачей новоявленного царя – добыть державу и трон эффектами в первую голову своей разительной личности (его успех в немалой мере обязан художественному чутью и таланту) – превращает судьбу самозванца в поле театрального зрелища. Все на него смотрят, сличают, гадают; толпа – и участник и зритель исторической драмы, аплодирующий одному актеру.

Уже первый выход Пугачева на публику (не в царских регалиях, а в первозданном виде бродяги-проводного) обставлен как необыкновенное зрелище. Все внимание устремлено на внешний облик героя, слезающего с полатей, которому уготовано центральное место в событиях, еще не начавшихся, но уже замешанных на средствах по преимуществу зрелищного воздействия. «Наружность его показалась мне замечательна: он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч». Фраза звучит нелепо – ничего замечательного в обещанной наружности нет. Да и Гринев еще не ведает, с кем имеет дело, чтобы пялить глаза на встречного мужика. Не ведает, а пялит: сей мужик – спектакль, притом поставленный так, что нелепая фраза окажется прозорливой. Пугачев сыграет не того царя, на чей титул он зарится, но приснившегося Гриневу чернобородого мужика, царя-самозванца, царя-Емельяна. В этом вновь обнаруживается поэтическая натура пушкинской инсценировки. У него самозванщина живет, как искусство, – не чужим отражением, но своим умом и огнем. Она своевольна, самодержавна. Пугачев нигде не переигрывает (что, казалось бы, неизбежно в такого направления пьесе), но выявляет свое подлинное лицо, свою царственную природу, отчего его довольно простоватая внешность приводит всех в изумление.

«Необыкновенная картина мне представилась: за столом, накрытым скатертью и установленным штофами и стаканами, Пугачев и человек десять казацких старшин сидели, в шапках и цветных рубашках, разгоряченные вином, с красными рожам и блистающими глазами».

Опять необыкновенная! Что он, пьяных мужиков не видел, что ли? Нет, необыкновенно то, как они, с каким артистизмом, на свой пьяный, на свой разбойничий лад играют в цари и поэты.

Они свою судьбу каторжников и висельников разыгрывают по-царски. «Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным, – все потрясло меня каким-то пиитическим ужасом».

8 сентября.

В английской литературе не последнюю роль играет сырой климат Лондона. Туманы, дождь, вечерняя мгла, и, как приятный контраст и завязка повествования, уютный камин и чашка грога, приняв которую мысленно, мы поудобнее поджигаем ножки и приготавливаемся слушать. Без этого камина нет ни Диккенса, ни Честертона, ни Стивенсона, ни Конан-Дойля, ни Вальтера Скотта, ни даже Робинзона Крузо.

В русской литературе климат не столь выдержан. Правда, Пушкин преподнес нам впервые зиму – с «Метелью», «Бесами» и сном Татьяны. Эту русскую зиму надо бы развить. А то все больше вешние воды. Осенний Некрасов, Достоевский. Осень у нас привилась, потому что, с одной стороны, она серенькая, как Чехов, а с другой – цветная, очей очарованье – Державин, Есенин.

Зато в русских сказках, мало знакомых с зимою, а более промышляющих летними цветами да ягодами, необходимым компонентом является печка. На печи рассказываются сказки, на печи сидит дурак или Илья Муромец тридцать три года, и какой-нибудь Емеля по щучьему веленью разъезжает по Руси на печи. Сказка в буквальном смысле танцует от печки. Сказка впрягла печку в свои сани и покатила свадебным поездом.

9 сентября.

Вот, Машенька, мы с тобой и переползли-таки на пятый год. Весомо. К сожалению, встречаю этот юбилей немного не в форме. То ли слабый грипп, то ли сильный хумар. Косточки ноют, и в душе нет подъема. Погода уж больно противная. Еще обидно – второй клык, так хорошо починенный, все-таки сломался. Тем же путем – в мякише, в самый канун года.

Ладно, обойдемся.

А знаешь, если б я на тебе не женился, я бы так и не узнал никогда в жизни, что такое грог.

Вообще ты у меня сплошное утешение. А я спички купил, а я спички купил сегодня!

Человеку не должно быть слишком уж хорошо, и поэтому с ним происходят разные болезни и бедствия.

Дай послужить Тебе, чтобы жизнь моя не пропала даром.

Самая подходящая фамилия для астронома – Глазенап. И на самом деле был такой.

Молодой человек с маленьким, невнятным лицом.

Как мусульманину – прикоснуться к свинине.

В сектантстве всегда есть что-то скопческое. Православие, напротив, до чрезвычайности борогато.

Не потому ли народы называются острова, что в одном этом слове заключается мысль о замкнутости культур?

До чего умен – даже страшно!

Гений – это тот, кто гениальничает.

Не появилось ли искусство впервые как фиговый лист – и тем все сказано? Сознание: «мы наги», и стремление немного прикрыться и быть не совсем такими, не теми, кто мы есть, – первый маскарад на земле (оделись в шкуры – это уже разыграли драму о мамонте, песню о козе), первые амулеты – заклясть, то есть закрыть смерть, не искупить, но откупиться магией наряда-обряда.

«Божественность искусства» – может быть, не по прямой, а по касательной? Вспомним, кто сшил одежды Адаму с Евой. И двойная функция этих одежд: напомнить о правде (наги) и прикрыть эту правду прекрасным обманом. Не этими ли устремлениями манипулирует искусство, напоминая нам о реальности путем облекания ее в иллюзорные формы? Не естественно ли было человеку, впервые прикоснувшись к искусству, начать с себя? Не изображать окружающий мир, но вообразить (преобразить) себя в необходимой и угодной позиции к требованиям вселенной, нарядиться для того, чтобы найти с ней общий язык.

С эстетики наряда (украшения) и начинается искусство. Не зря до сего дня и через всю историю проходит геометрия первобытных орнаментов: круг, крест, зубчики, спирали, и те же амулеты остались в бусах и серьгах – самое древнее и самое живучее искусство. И рядом, в той же изначальности – танец, говорящий о первом вступлении в контакт с высшими силами.

Искусство неравномерно. Первобытное – непревзойдимо именно в украшении, и что бы потом ни делали, ни изобретали, все это были лишь варианты дикарской татуировки, и рогов, ставших короной, и перьев на голове, и всех этих древних браслетов-подвесок. Негры и прочие полинезийцы, главным образом, восхитительны этими кольцами в носу и плясками: нарядился и пошел скакать, чтобы открылся выход – утраченный рай. Наряд-танец-заговор – все вместе получился театр – с маской, развившейся из фигового листа, из первой козлиной шкуры, легшей в основу трагедии.

9 сентября.

Вальтер-скоттовские формы домашнего вживания в историю, где великие люди показаны как частные лица, в партикулярном платье (Екатерина Вторая в ночном чепце и душегрейке), перемежаются в «Капитанской дочке» мизансценами и декорациями, выполненными в характере площадной, народной драмы. Опыт «Бориса Годунова», вместе с преемственностью по династической линии Гришки Отрепьева – Емельки Пугачева, здесь учтен и развит писателем, утверждавшим зрелищный дух народного театра и нашедшим ему применение в условиях самозванного действия. «Драма родилась на площади и составляла увеселение народное. Народ, как дети, требует занимательности, действия. Драма представляет ему необыкновенное, странное происшествие. Народ требует сильных ощущений, для него и казни – зрелище. Смех, жалость и ужас суть три струны нашего воображения, потрясаемые драматическим волшебством» («О народной драме и драме “Марфа Посадница”»).

Представление подобного рода разыграно в «Полтаве», где зрелище казни без стеснения ударяет по вышеназванным струнам, со сценой-плахой и гиперболическим палачом на главных ролях, с лубочной эстетикой крови и топора, доставляющей глубокий катарсис многотысячному зрителю. Нам остается удивляться, как органично воспринял Пушкин эти здоровые вкусы натурального балагана, чуждые его среде и эпохе.

...Средь поля роковой помост.

На нем гуляет, веселится

Палач и алчно жертвы ждет:
То в руки белые берет,
Играючи, топор тяжелый,
То шутит с чернию веселой.

.....
..... И вот

Идут они, зошли. На плаху,
Крестясь, ложится Кочубей,
Как будто в гробе, тьмы людей
Молчат. Топор блеснул с размаху,

И отскочила голова.

Всё поле охнуло. Другая

Катится вслед за ней, мигая.

Зарделась кровию трава –

И, сердцем радуясь во злобе,

Палач за чуб поймал их обе

И напряженною рукою

Потряс их обе над толпой.

Пугачевщина как явление народного театра, с подмостков шагнувшего в степь и вовлекшего целые губернии в карнавал пожаров и казней, снабдила режиссерский замысел Пушкина прекрасным материалом. Дворец-изба, оклеенный золотой бумагой, но сохранивший всю первобытную обстановку – с шестком, ухватом, рукомойником на веревочке; «енерал» Белобородов, в армяке, с голубой лентой через плечо; рваные ноздри второго «енерала» – Хлопуши; виселица в качестве декоративного фона (на нее – надо не надо – натывается Гринев, педантируя стереотипный эффект ужасного зрелища: «Виселица с своими жертвами страшно чернела», «Месяц и звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу», и еще раз и еще) – все это необходимый балаганный антураж для главного лица, отлично исполняющего традиционную роль Государя – смешение крайней жестокости с крайним же великодушием, но еще более захватывающего в другой роли – в собственной шкуре царственного воира, художника своей страшной и занимательной жизни. Для него главный спектакль впереди, и виселицы, сопровождающие шествие самозванца, ведут нас туда, к завершающему акту трагедии. Едва начав восхождение, самозванец знает финал и идет к

нему, не колеблясь, как к обязательной в сюжете развязке, к своему последнему зрелищу.

Мне снилось, что лестница крутая
Меня вела на башню; с высоты
Мне виделась Москва, что муравейник;
Внизу народ на площади кипел
И на меня указывал со смехом,
И стыдно мне и страшно становилось...

Смех. Жалость. Ужас. Пушкину досталось все это испытать на себе. Как он лично ни уклонялся от зрелища, предпочитая выставлять напоказ самодеятельных персонажей, не имеющих авторской вывески, их участь его настигла. Потому что сама поэзия есть уже необыкновенное зрелище. Потому что давным-давно он поднял занавес, включил софиты, и стать невидимым уже было нельзя.

Бывает, приходит срок, и находившийся всю долгую жизнь вне поля зрения автор, избегавший высказываться от собственного лица (ради невинных птичек, о которых, в прекрасной безвестности, он что-то там щебетал невнятное на птичьем языке), вынужден напоследок принять участие в зрелище, даже не им затеянном, словно какой-нибудь Байрон, от которого ему бы бежать и отрешиваться, как от чумы. «Гул затих. Я вышел на подмостки...»

Пушкину еще невозможнее было уйти из жизни тихо и незаметно, как ему бы хотелось, потому что всякий мальчишка на улице узнавал его издали и цитировал: «Вот перейдя чрез мост Кукушкин...» (далее нецензурно)¹. Его фотогеничная личность уже стала сюжетом сплетни. С его же слов все достоверно знали – с кем, когда, где и о ком, и были в курсе, и держали на мушке, и ждали, что будет дальше. «Народ требует сильных ощущений, для него и казни – зрелище». Приходилось умирать на виду, на площади.

10 сентября.

¹ Можно заменить любой другой, по читательскому вкусу, цитатой. Например: «Брожу ли я вдоль улиц шумных...»

(Кукушкина привел по памяти – здесь нет Полного собр. соч., а только Избранный. Имеются в виду две эпиграммы Пушкина на иллюстрации в «Невском Альманахе». Проверить.)

У *Василия Кесарийского* (IV в.) в *Гомилии на Псалом I* есть два суждения, чрезвычайно характерные для средневекового мышления и пригодные для «Земли и неба».

Первое касается псалтыря (струнного инструмента): «Для нее (книги псалмов) пророк из всех музыкальных инструментов избрал один только псалтырь, указывая тем, я думаю, что ей присуща благодать свыше, от Духа, ибо псалтырь – единственный музыкальный инструмент, рождающий звук своей верхней частью. Ведь у лиры и кифары звуки льются от удара по нижней части струн, а у псалтыря источник стройных ритмов лежит сверху, дабы и мы тянулись к вышнему, а не влеклись к плотским страстям, упоенные напевом. Мудрое пророческое слово, думаю я, самим устройством инструмента открыло нам, сколь легок путь ввысь для душ собранных и гармоничных» («Памятники Византийской литературы IV–IX веков», М., 1968, стр. 51–52).

Как все иерархично и все предусмотрено: верх всегда хорош, низ – плох. И насколько все детали значимы.

Второе рассуждение касается начала 1-го псалма «Блажен муж...» и т.д.:

«Почему, говорят, пророк называет блаженным только мужчину, отдавая ему предпочтение? Не изгнал ли он тем самым женщину из блаженства? Конечно, нет! ...Когда природа одна, он счел достаточным указать на целое по самому главному» (там же, стр. 53).

Этот принцип – указания на целое по самому главному – последовательно осуществлен в иконописи.

11 сентября.

Получил твое письмо, сначала – 15-е, а потом и 16-е. Долго они стали ходить – пятнадцать дней. Но я надеюсь, вы уже в городе и недоступны холодам. А как с Егором миритесь* и про материнство – очень, очень, и вы мои.

Странно, как душа, едва появившись, уже жаждет любви и взаимности.

Получил тоже вчера бандероль с останним томом русских сказок. И очень вовремя.

Потому что я уже прочитал те два тома, и прежде, чем в них углубляться, надо было осмотреть все это роскошное поле и оки-

нуть одним взглядом, чтобы представить, с чего все начинается и чем кончается. Тут он и подрос.

Погода последние дни исправилась, ночью и утром холодно и туманно, а дни сиятельны. Я опять выполз на травку. И счастлив, что ты у меня есть. Вот сейчас, проснулся и сердце радуется: Маша вчера прислала письмо, а солнышко сияет, и я, ухватив кучу книг и ворох ватников, уселся перед заборчиком и смотрю на деревья и на воздух, еще немножко сырой и туманный, дымящийся, и тут прилетела стрекоза, очень черная, с глазами во всю голову, и сидит на папке и чего-то ждет, пока я пишу.

А сказочный змей похож на какое-то насекомое: он летает, а когда крылья отказывают, падает на землю и едет по полю, как таракан.

Иерархия вещей, навыворот: – Вы примите, пожалуйста, книжонки, и я этот стульчик возьму. – Ты пришел жену искать или лечиться?! – Я говорю – я живой человек...

У лошадей почему-то всегда непроницаемое выражение. Они и смеются и плачут с невозмутимым видом.

12 сентября.

Тынянов, кажется, огорчился, что дуэль Пушкина, изученная в деталях и раздутая сонмом биографов, лирических откликов, клятвенных заверений отомстить за него всем Дантесам, театральных постановок, киносценариев и просто досужих домыслов, скрыла от зрителей поэта, художника. Как будто не художник ее оформил! Как будто она не была итогом его трудов!..

Может, и не была. Откуда нам знать? Может, стрелял человек, доведенный до крайности, загнанный поэтом в тупик, в безвыходное положение. Потому что сплетню, которая свела его в могилу, первым пустил поэт. Это он все так организовал и подстроил, что человек стал всеобщим знакомым, ходатаем и доброхотом, всюду сующим нос и получающим публично затрещины. Это он, поэт, понуждал человека раскланиваться и улыбаться, заговаривая с каждым прохожим: «Гм! гм! Читатель благородный, здорова ль ваша вся родня?» На что и читатель охотно интересуется: а у тебя, Пушкин, вся родня в порядке? Ох, как рискованно впускать в стихи биографию, демонстрировать на подмостках ли-

цо. Это же самозванство! Начнут доискиваться, кто таков, на ком женился, зачем стрелялся.

«Кто же я таков, по твоему разумению?»

– Бог тебя знает; но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку».

Сплетня, пущенная поэтом, набирала ярость. Но главный позор ждал впереди, за смертью, за дуэлью, которая – и он это подозревал, заранее содрогаясь, – разроет прожектором все закоулки так ярко прерванной жизни, любое пятнышко на жилете обратит в размалеванный туз. С дуэлью весь, подогреваемый издавна, интерес к его занимательной личности, к молве, к родне, послужившей причиной выстрела, достиг невиданной тяжести, какая только может обрушиться на голову человека.

Что, спрошу я прямо, потому что жизнь коротка, и вызов послан, и увертками уже не поможешь, что, Пушкин, знавший себе цену, не знал, что ли, что века и века все слышавшее о нем человечество, равнодушное и обожающее, читающее и неграмотное, будет спрашивать: ну а все-таки, положи руку на сердце, дала или не дала? был грех или зря погорячился этот Пушкин? Если не вслух, интеллигентные люди, то мысленно, в журналах, в учебниках. Потому что не в постели, а на сцене умирал Пушкин. Не на даче, а на плахе целовалась или не целовалась Наталия Николаевна с прекрасным кавалергардом. Выстрел озарил эту группу бенгальским огнем.

– Ну а все-таки?..

От одной этой мысли... «Добро, строитель чудотворный! Ужо тебе...»

Мы не знаем, кто стрелял. Возможно, стрелял человек, Евгений, сумасшедший Евгений. В поэта, в Медного Всадника. Пуля отскочила.

Поэта ведь не убьешь, не пробьешь. Он будет расти, цвести, набираться славы и распускать позорный слух о Пушкине по всей планете, всяк сущий в ней язык... «Добро, строитель чудотворный!..» Но умирать-то приходится человеку.

«...Узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу».

Нет, не могу, не имею права согласиться с Тыняновым. Что

ни придумай Пушкин, стреляйся, позорься на веки вечные, все идет напрокат искусству – и смерть, и дуэль, все оно превращает в зрелище, потрясая три струны нашего воображения: смех, жалость и ужас. Площадная драма, разыгранная им под занавес, не заслоняет, но увенчивает поэзию Пушкина, донося ее огненный вздох до последнего оборванца. И в своей балаганной форме (из которой уже не понять и не важно, кто в кого стрелял, а важно, что все-таки выстрелил) правильно отвечает нашим общим представлениям о Пушкине-художнике. Покороче узнать – читайте стихи и письма, для первого – самого общего и верного впечатления довольно дуэли. Она в крупном лубочном вкусе преподносит достаточно близкий и сочный его портрет:

«...Чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что Бог даст!» (притча Пугачева).

Фигура Пушкина так и осталась в нашем сознании – с пистолетом. Маленький Пушкин с большим-большим пистолетом. Штатский, а погромче военного. Генерал. Туз. Пушкин!

Грубо, но правильно. Первый поэт со своей биографией – как ему еще прикажете подышать, первому поэту, кровью и порохом вписавшему себя в историю Искусства?

Знай наших! Штатские обрадовались. Началась литература как серьезное – не стишки кропать! – не считающееся с затратами зрелище. Как одним этим шагом – к барьеру! – он перегнал себя и оставил потомкам рецепт поэта. Как одним этим выстрелом он высказался до конца и ответил всем своим лицам: негру, царю, самозванцу!..

Расплачиваться-то за всех предоставлено человеку.

Но есть еще один, кого вся эта пальба, возня, весь этот хохот и стон не достигли. Кто как стоял в прострации, так и стоит. Он всегда в остатке, вне смерти, вне жизни, вне зрелища. Его сплетня не рассердила, слава не обрадовала. Ему все равно.

Не для житейского волнения,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв...

Может быть даже, это он подал знак – стреляйте. Не с тем, чтобы вмешаться в игру, а просто чтобы тот, на земле, не мучился. Или – вышло время, пора на покой.

От него все исходит и продолжается в Пушкине, но сам он ни в чем не участвует, предоставив всему идти своим чередом. Разве что молчаливым присутствием вносит иногда разногласия в сочинения автора, чья личность, точно вспомнив о нем, принимается себя отрицать и противоречить себе чуть ли не в каждом пункте. Начинаются неувязки.

Самый доступный в мире, понятный даже детям писатель вдруг рекомендуется: «непонимаемый никем». Самый компанейский, самый общительный, Пушкин внезапно леденеет: «живи один». Самый веселый и разговорчивый автор объявляет себя молчалником: «уныл и нем». Самый пылкий и взбалмошный: «но ты останься тверд, спокоен и угрюм».

Да что же это такое? Как фамилия? Не знаем. «Инкогнито проклятое».

Все в Пушкине произведя, все наладив по-пушкински, он тут же от него отмежевывается и твердит: не то, не так, не такой. Такое негативное определение художником собственной природы и образа называется *чистым искусством*.

Этого еще не хватало! Искусство – чистое? Нонсенс. Искусство и так стоит в чрезвычайно подозрительном отношении к жизни, а тут еще – чистое! Да возможно ли, к лицу ли искусству быть чистым? Никогда. Не одно, так другое. Правильно говорят: нет и не бывает чистого искусства. Взять того же Пушкина. Декабристам подмигивал? Царя-батюшку вразумлял? С клеветниками России тягался? Милость к падшим призывал? Глаголом сердца жег? Где же – чистое?!?

Молчит идол. Только глазами хлопает. Да раз в столетие выдаст – хоть святых выноси:

...Поет он для забавы,
Без дальних умыслов; не ведает ни славы,
Ни страха, ни надежд...

Или цыкнет на своего же товарища, вменяющего поэтам в обязанность «согревать любовью к добродетели и воспалить ненавистью к пороку»: «Ничуть. Поэзия выше нравственности –

или по крайней мере совсем иное дело» (Заметки на полях статьи П.А.Вяземского «О жизни и сочинениях В.А.Озерова»).

14 сентября.

Сегодня пришли еще два твоих письма – про переезд и строительство трубы*. Ты молодец. Но на нарисованном плане что-то не все понял, и какая еще дверь, которую заложить, и где уступчик, так что тебе придется мне еще раз это объяснить когда-нибудь – на пальцах. А потолок из-за этой трубы не обвалится?

Махаона я очень хорошо знаю*, а жуков-носорогов у меня когда-то была пропасть и, может, олень тоже был, а что сейчас нету – это, может быть, Подмосковье, а ты их ловила в Витебске, и, может, сейчас на настоящей природе их тоже полно.

Я тоже что-то последнее время увлекаюсь насекомыми. И еще на рассвете, когда дежурю, ужасный гвалт устраивают воробьи и так между собой разговаривают, с такими интонациями, что я убедился – у них есть свой язык, похожий на азбуку Морзе, и они все отлично им передают и понимают. И утром они ужасно топают ногами по доскам и по железу – ну прямо человек ходит, и я сколько раз – выгляну, в полной уверенности: кто-то пришел – и в который раз: воробьи!

Еще я подписался на журналы на новый год, на три журнала: «Знание – сила», «Декоративное иск-во» и «Вопросы литературы». Всего получилось на четвертную. Думал еще подписаться на «Сов. археологию» и «Сов. этнографию», но, оказалось, очень дорогие – по десятке каждый, к тому же один только шесть номеров в год, а второй вообще – четыре, и если учесть, что в этих журналах только одна какая-нибудь счастливая статейка мне может пригодиться, – то я оставил это намерение.

Афанасьевские же сказки изданы по типу прежних изданий, и вот эти книжки и корешки напоминают раменское детство, когда такие же были чуть ли не первым чтивом на долгих летних каникулах, и вот теперь все прокручивается по второму разу.

Погода стоит золотая, и мне неплохо, только по тебе что-то очень уж скучаю.

15 сентября.

Играю в журнальчик № 8*, очень картинный, и с каждым разом, знаешь, Маша, все лучше делают картинки-то, особенно ког-

да деталь крупным планом, научились. Шокировали две вещи: на Леоновском фарфоре чудо о змие в качестве сопровождения старой водки – додумался змия иконами украшать, это как одна баба в сказке ставила две свечки – и змею, и Егорию, на случай, если в ад попадет; во-вторых, смешная опечатка в подписи – вместо Брейгеля – Брейдель – ну просто энциклопудия, что в окружающей роскоши совсем уж стыдно.

Шашечки, конечно, лучше всех. Из мелочей: перед мечом в конце не надо бы «Ибо», а «в центре культа – оружие» надо бы тире. И почему нет четырехротовой пасти, а все в профиль и в профиль?! Тем более – о пасти и речь¹.

А в общем хорошо. И так мне было скучно жить почему-то эти дни, хотя погода отменная – в порядке компенсации, что ли, за летний холод, – но все равно чего-то тосковал и томился, а сейчас согрет со вчерашнего вечера и, пойдя на работу, всю ночь радовался, как вспомню про тебя.

Недавно слышал:

– Наша мамушка.

16 сентября.

После этого я отправился спать с картинками в обнимку, и всё снились собаки.

А ты заметила, что я чаще стал прикладываться к письму? Чуть что: а где моя Маша?

Скучаю, смотрю твои фотографии. На фоне леса. А лес начал заметно рыжеть. Вспоминаю о нашем доме и твоём интерьере. Фантазии – как его обставить, с какой стороны и как ты будешь мне в этом помогать, какой натюрморт на столе и как еще можно любоваться и разместиться нашей семье. Очень и совсем. Как маленький.

А ты?

И про ту фотографию, на Кий-острове. И на Ореховой горе, травка и травка. Но совсем не старина, а недавно. И когда ты бралась рассказывать о Примаченко в морской царевне и очень хорошо рассказывала, и научно и глубоко, и когда просто сидели молча и смотрели лицом в лицо.

17 сентября.

¹ И почему-то кур превратился в куру – он же петух, мужчина то есть. Это уже Брейдель.

Вчера – в один день – повернуло на осень. Окончательно и бесповоротно. Ночь была еще ясной и звездной, обещая хороший день, но рассвет уже начался в облаках, солнышко затуманилось, и подул ветер. А сегодня с утра дождик барабанит, и все поухло и съезжилось. Как сразу.

И я рад, что вы успели заблаговременно убраться с дачи.

Еще очень хочется с тобой разговаривать. Все равно о чем. Лишь бы. Взахлебушки. И не то, чтобы я говорил, а ты. А я бы лишь время от времени вставлял какую-нибудь фразу. Но главным образом слушал и смотрел.

Странно, но моя болтовня в письмах в значительной мере не речь, но слушание, прислушивание к тебе. То с одного боку, то с другого. А вот что ты скажешь, Маша, на это или на то. Мне очень важно, когда пишу или говорю, слышать тебя. Язык как средство улавливания, выслушивания. Язык как выражение созерцающего молчания. Абсолютно пустой. Силки, сети. Сетка речи, брошенная в море молчания с надеждой вытащить какую-нибудь золотую рыбку. В какую-то паузу, в какую-то минуту молчания эта рыбка вытаскивается. Но слова здесь ни при чем. Они лишь помогают расставить паузы. Ими мы только заговариваем зубы себе, открывая доступ к совершеннейшей тишине.

19 сентября.

У меня осталось немного места, а времени не осталось, и поэтому позволю сверх программы сказать о Стивенсоне, которого я довольно читал последние месяцы, дивясь тому, что он оказался гораздо более сложным и глубоким писателем, чем можно было думать заочно. А именно: меня поразила его странная гибкость в склонении положительных и отрицательных образов, которые, если и не вполне меняются местами, то проявляют неожиданную, тем более для авантюрного жанра, затейливую изгибчивость души. Разгадкой может послужить та же ключевая и по всей вероятности автобиографическая «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Уже одноногий Сильвер в «Острове сокровищ» поражает возникающей временами симпатией к этому до конца злодейскому характеру. Но удивительнее, когда симпатичный герой (например в «Потерпевших кораблекрушение») обнаруживает внезапную склонность к злодейству.

Не исключено, здесь сказалась двойственность характера самого Стивенсона, за которым водились какие-то грешки.

О злодее же удивительное встретилось рассуждение в Памятниках Византии – в «Тайной истории» *Прокопия Кесарийского* (VI в.). Речь идет о Юстиниане: «Друзьям он был неверен, неумолим к врагам, всегда жаждал крови и денег, очень любил ссоры и всякие перемены; на зло он был очень податлив, к добру его нельзя было склонить никакими советами; он был скор на придумывание и выполнение преступлений, а о чем-либо хорошем даже просто слушать считал для себя горьким и обидным» («Памятники Византийской литературы IV–IX веков», М., 1968, стр. 205).

Наивная рассудительность историографа позволяет нам в этой обидчивости злодея заметить нечто человеческое. Впрочем, для Юстиниана (в отличие от Стивенсона) не находится ни одного доброго слова. Но совершенно черный портрет выглядит достоверным благодаря рассудительности и эпическому спокойствию летописца: «И вот, когда Юстиниан, если он человек, отойдет в другой мир, или если он, владыка демонов, освободится от этого брэнного тела, те, которые тогда еще случайно останутся в живых, узнают о нем всю правду» (стр. 208).

Я тебя люблю.

Самочувствие – тоже поправилось. Несмотря на дождь, льющий сутки. Жаль, что с понедельника (сегодня суббота) на мое место собираются поставить другого сторожа, и мне предстоит вернуться к тасканию ящиков. А так хорошо было сторожить.

Получил от Вики кучку журналов. А от тебя новых писем нет как нет.

Будьте здоровы, мои миленькие. Нежно целую.

А.

20 сентября 1969 г.



А как с Егором миритесь... – «Егору уже скоро пять лет, а я все никак не привыкну, и когда на всю улицу раздается его вопль: «Мама! Мама!» – удивляюсь и не верю своим ушам.

Не может быть, не бывает, и я за него в ответе, и он от меня ждет, и я ему кругом обязана... И совершенно не представляю, как это моя Тамара Константиновна могла устоять перед таким воплем и не проникнуться в свое время.

Сегодня я на него слегка цыкнула: этот крокодил за жратвой держит левую руку под столом и играет чем-то в кармане или ботиночными шнурками или еще чего-то там делает. Представляешь – снимает и надевает сандалик, а потом грязной лапой хватается за кусок хлеба. Ну, я ему говорила-говорила, объясняла-объясняла, и делала это долго и упорно много-много раз, а сегодня не выдержала – вынула его руку из-под стола и слегка шлепнула. Ну, он задрожал подбородком, допил чай и куда-то забился. А я ушла к костру (мы тут с Татьяной Кирилловной лихорадочно убираем участок и сжигаем всякие мусорные кучи). Через некоторое время подходит Егор и, скорбно глядя мне в глаза, говорит:

– Я на тебя обиделся.

– Ну и обижайся, если тебе нечего больше делать и если ты не понимаешь, что ты кругом виноват и что я правильно на тебя рассердилась.

А Егор все твердит свое, что он-де обиделся, и все тут. А глаза скорбные-скорбные.

– Ну и зря все это. Лучше покидай в костер вот эти щепки – все будет помощь.

– Не покидаю, я обиделся потому что.

– Ну, тогда обижайся, только не мешай работать.

И ушла на террасу.

Через некоторое время пришел:

– Мама! Но я же на тебя обиделся!

– Родной ты мой дурачок! Тебе не обижаться надо на маму, а тихо мириться с ней. Надо сказать: мама, давай мириться и я больше не буду баюкаться за едой, и мы обнимем друг друга за шеи, и все будет хорошо.

– Давай! Давай! Давай! – и чуть не плачет, повиснув на мне.

Вот так мы проводим время.

И я тебя очень люблю».

...строительство трубы. – Дом, в котором я жила на Пятницкой, когда-то был двухэтажным. В 1932 году на нем построили еще три этажа, сохранив при этом русские печи нижних и пропустив мощные дымоходы через надстройку. В результате одним из «украшений» моего жилья оказался квадратный в сечении столб, полый внутри, про реконструкцию которого я писала А.С.: «А еще я, переезжая на Пятницкую, развлекаюсь тем, что слегка ломаю трубу, этот кирпичный столб в большой комнате. Понимаешь, если отрезать у него кусок и тем самым расширить вход в комнату, можно будет погерметичнее закрыть вторую

дверь, и тогда не будет так слышна соседка из коридора. А еще в нем можно сделать нишу и получить тем самым небольшой шкаф.

Но все это надо успеть сделать до осени, то есть до возвращения соседки, по сугубому секрету, чтобы она не побежала доносить в домоуправление».

Продолжение истории: «Но две дырочки в небо мы уже закрыли, и, хотя злые языки утверждают, что все это я затеяла, чтобы иметь парадный выход прямо из комнаты и что теперь для полного удобства мне не хватает только хорошенькой метлы, ты же знаешь, что все это не так. Теперь надо всю эту трубу внутри почистить (да, перегородку между первой и второй дырой тоже сняли и дырки вниз заложили) и сделать стеллажик. Он получается глубиной в одну книжку стандартного собрания сочинений, и там будут жить Лесков, Блок, дядя Маяковский, Достоевский и прочие цветные книжки».

Махаона я очень хорошо знаю... – «Но сделала я в результате произрастания Егора одно наблюдение: куда-то совершенно перевелись бабочки. И красивые жуки – тоже. В моем детстве их было очень много, и я их ловила и собирала и очень любила, а сейчас никакой такой живности не осталось. Вот только прошлым летом залетела на наш участок траурница – такая большая-большая бабочка в черных крыльях с белыми ободками – очень красивая была бабочка, и писала ли я тебе о ней в прошлом году? А так летают только заурядные беленькие капустницы, да и тех мало. Рыженькая крапивница идет уже за что-то особенное, а чтобы там адмирал встретился или махаон – так их, по-моему, уже вообще не бывает. Знаешь такую бабочку – МАХАОН – желтую с черными шпорами?.. А тут еще я недавно была в гостях у одного графика, балующегося коллекционерством, и вдруг увидела у него на стене стеклянную коробочку с жуками (чудом сохранившуюся из его детства), и там был даже жук-олень (такого даже у меня не было!), и стало мне за нашего ребеночка совсем обидно».

Играю в журнальчик № 8... – А.С. получил «Декоративное искусство» № 8 с моей статьей «Цветы зла», в которой он принимал активное участие. В этом же номере – статья Л.Андреевой о фарфоре художника Петра Леонова.



ПИСЬМО ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТОЕ

Опять мы с тобой совпадаем, моя Машечка. Ты не получаешь писем, и я – не получаю. Ты выжидаешь несколько дней, не пиши мне, в надежде, что вот придет и все прояснится и образуется, давая мне время за этот срок дойти до тебя. И я тоже несколько дней не садился за это письмо, поскольку как раз эти дни писем вообще не было и я надеялся поднакопить от тебя кучечку, а потом враз получить и тогда уже расписаться в своей преданности и обожании. Но вместо ожидаемой кучечки сегодня приковыляло, наконец, девятнадцатое письмо, шестнадцать дней добиралось, и в нем ты рассказываешь, что еще не получала моего августовского письма и тебе тоже не сладко.

Слава Богу, вы здоровы, и даже в группу пошли, и на Пятницкой воцарились, и даже целый книжный шкаф построили* (вот не ожидал, что из одной трубы получится столько места!). Жаль только, без письма сидите и мучаетесь и волнуетесь, и это несправедливо. Потому что на сегодняшний день больше месяца прошло, как я отправил, а потом через полмесяца еще отправил, а вы все еще не имеете ничего, и такое ухудшение почты (твои письма тоже начали слишком долго ходить – шесть дней в ящике валяются, да еще десять едут) настраивает на черный лад, потому что ни в какие приличия не умещается.

Работаю снова на складе, кидаю-таскаю туда-сюда ящики, заколачиваю и т.д. Как заметил один наблюдатель: ну что, печенье перебирать легче? Это есть такая острота на тему печенья, в том смысле, что, ваше сиятельство, как ваши обстоятельства.

Насчет печенья – не знаю, не пробовал перебирать, а сторо-

жить, конечно, много приятнее, ну да ведь не приходится жить большими масштабами и устраивать свое благополучие на твердой почве, спасибо и на том, что есть, и ящики таскать тоже можно. Мрачновато, конечно, главным образом оттого, что ты не имеешь писем, ну и осень сказывается, приходится сжиматься и жить более напряженно, без того благодушия, что еще недавно преобладало в моем умонастроении.

Ну, посмотрим, что дальше будет.

24 сентября.

Впечатления жизни сглаживаются немного осенними красками и запахами. Все-таки чудное дело иметь под боком порядочный лес, который доносится, и гладит по головке, и успокаивает сердце всякими палевыми тонами.

Скоро три месяца, как я здесь. И удивительно, как неравноценны отрезки времени, казалось бы одинаковые. Например, два месяца вполне измеримы и обозримы и мыслятся не таким уж большим куском, а вот три месяца – это уже много и долго. И вообще время ужасно непонятная вещь, и я тут сон видел, сюжет которого совершенно не запомнился, но только осталось, что был довольно связный и острый сюжет, завершившийся точка в точку, совпав с моментом подъема, даже, кажется, было совпадение звуков, подобное описанным Флоренским явлениям, показывающим, что время во сне движется в обратную сторону, и я проснулся в удивлении, что мне довелось испытать этот странный феномен на себе.

А так дни проходят в сплошном заклинании тебя с Егором – быть здоровыми, любить меня, писать мне, и получать мои письма, и всем нам встретиться, и быть вместе, не расставаясь, – и одолев один день, берусь за другой и начинаю сначала, уговаривая и тебя и себя, что завтра мы наверное получим письма.

А они туго ворочаются, дни-то, оставляя почти физическое чувство передвигаемого времени, над которым надо потрудиться, чтобы его прожить.

24 сентября.

К идеям чистого искусства Пушкин пришел не вдруг и первое время, как было сказано, отводил своим безделушкам вспомога-

тельное, прикладное значение по бытовому обслуживанию дружеского и любовного круга. Он писал ради того, чтобы поставить подпись в альбоме, повеселиться за столом, сорвать поцелуй. Но уже за этими, явно облегченными, задачами творчества угадывалась негативная позиция автора, предпочитавшего работать для дам, с тем чтобы избавиться от более суровых заказчиков. В женских объятиях Пушкин хоронился от глаз начальства, от дидактической традиции восемнадцатого века, порывавшейся и в новом столетии пристроить поэта к месту. За посвящением «Руслана»: «Для вас, души моей царицы, красавицы, для вас одних...» – стоит весьма прозрачный отрицательный адресат: не для богатырей. Людмила исподволь руководила Русланом, открывая лазейку в независимое искусство.

Вскоре, однако, ему и этого показалось мало: «Я не принадлежу к нашим писателям 18 века: я пишу для себя, а печатаю для денег, а ничуть не для улыбок прекрасного пола» (Письмо к П.А.Вяземскому, 8 марта 1824 г.).

На наших писателей прошлого века здесь возведен поклеп. Те когда и писали для улыбок прекрасного пола, то в основном – коронованного (тогда ведь больше историю курировали императрицы). Другое дело Пушкин, сколотивший на женщинах целое состояние, нашедший у них и стол и дом. Давно ли было: «для вас одних»? Давно ли он распинался: «Поэма никогда не стоит улыбки сладострастных уст!»? И вот все улыбки по боку (верь ему после этого). «Для себя и для денег». Ишь скряга!

Деньги ему, действительно, были нужны позарез. Но, помимо материальной поддержки (литература становилась профессией, способом пропитания), они, как и женщины, выполняли роль укрытия, благонамеренной ширмы. В одном полуофициальном письме Пушкин именуется свои писательские занятия «отраслью честной промышленности», обеспечивающей ему приличный доход. Промышленность – звучала солидно, пользовалась льготами, разумела свободное, частное предпринимательство. Под этой маркой он и развернулся, предпочтя прослыть коммерсантом, нежели кому-то служить. Он всю торговал рукописями, лишь бы не продавать вдохновение.

С другой стороны, «деньги» вчистую увольняли от узкопотребительских целей его раннего периода. Поставив на широкую но-

гу литературное производство, Пушкин уже свысока посматривал на развлекательные обязанности, на «отдохновение чувствительного человека», как презрительно аттестовал он теперь привычку стихотворными средствами украшать досуг, забавлять себя и своих домашних.

Наконец, ударение *для денег* означало – не для славы, не ради поэтических лавров.

Мы видим, как, подменяя одни мотивы другими (служение обществу – женщинами, женщин – деньгами, высокие заботы – забавой, забаву – предпринимательством), Пушкин постепенно отказывается от всех без исключения, мыслимых и придаваемых обычно искусству, заданий и пролагает путь к такому – до конца отрицательному – пониманию поэзии, согласно которому та «по своему высшему, свободному свойству не должна иметь никакой цели, кроме себя самой». Он городит огород и организует промышленность, с тем чтобы весь ею выработанный и накопленный капитал пустить в трубу. Без цели. Просто так. Потому что этого хочет высшее свойство поэзии.

У чистого искусства есть отдаленное сходство с религией, которой оно, в широкой перспективе, наследует, заполняя создавшийся вакуум новым, эстетическим культом, выдвинувшим художника на место подвижника, вдохновением заменив откровение. С упадком традиционных уставов оно оказывается едва ли не единственным пристанищем отрешенного от мирской суеты, самоуглубленного созерцания, которое еще помнит о древнем родстве с молитвой и природой, с прорицанием и сновидением и пытается еще что-то лепетать о небе, о чуде. За неимением иных алтарей искусство становится храмом для одиноких, духовно одаренных натур, собирающих вокруг себя щедрую и благодарную паству. Оно и дает приют реликтам былой литургии, и профанирует ее по всем обычаям новой моды. Сознание своего духовного первородства мешается с эгоизмом личного сочинительства, сулящего поэту бессмертие в его созданиях, куда его душа («нет, весь я не умру...») переселяется, не веря в райские кущи, с тем большим страхом хватаясь за артистический паллиатив. Соответственно, обожествленное творчество самим собою питается, довольствуется и исчерпывается, определяемое как божество, по преимуществу негатив-

но: ни в чем не нуждающееся, собой из себя сияющее, чистое, бесцельное.

Все это неизбежно выродилось бы в самую злую пародию (и практически вырождается, чуть только духовный источник ослабнет или заглохнет, обращая новоявленный клир в обыкновенную богему), когда искусство в самом деле, по-видимому, не располагало каким-то высшим потенциалом, позволяющим ему, по уши погруженному в пошлость, внезапно, спонтанно загораться и воспарять. Дайте только повод, и чуждое всему, забывшее о небесных дарах, оно откроет в душе «и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь».

Вдохновенью в данном ряду найдено очень точное место – где-то между «божеством» и «любовью». Помимо религиозных эмоций, в чистом искусстве всегда есть привкус распутства. Недружелюбная формула, примененная невзначай к индивидуальному автору: «барынька, мечущаяся между будуаром и моленной», – правильно определяет природу поэзии, поэзии вообще, как таковой, передает зыбкую сущность художественного творчества в целом. К числу этих барыnek принадлежала и Муза Пушкина.

25 сентября.

А сейчас, Машечка, я покажу тебе фокус. Знаешь, в какой день ты родилась? В субботу. А Егор? – В среду. Освободиться – в пятницу. И так я могу вычислить любую дату нашего века. Такой календарик заимел, что, прибавляя-отнимая всякие цифры, получается день недели.

Один знакомый* хорошо рассказал. Когда у него родился сын, он обошел киоски и купил газеты за этот день. Чтобы сложить в пакет и потом, когда сыну станет лет восемнадцать, – преподнести. Интересно, что было в твой день рождения. Проект не удался: жена вышла за другого, и сын не знает отца, и пакет со старыми газетами, наверное, выбросили. Жена была без фантазии. А хорошо было придумано, правда?

- Разве что шальная муха пролетит.
- Чтобы из этого не получился какой-нибудь сыктывкар.
- О, этот поток существ!..
- Чтобы душа была тиха и чиста.
- Лежит на койке и изучает космические пространства.

- И вся наша система несется в созвездие Козерога!
- Морда пиратская и улыбается, как роза.
- От роду двадцать лет, а кровь не греет!
- Свободой клянусь!
- На выкинштейн. Дуборезка.
- Студент Прохладная Жизнь.
- Голая дама в шляпе восседает на черепе (татуировка).
- Когда начинают симфонию, меня тянет рвать.
- Баха – скрыпить и скрыпить.
- Общение с лошастью облагораживает. Хлеб массирует кишечный тракт, и поэтому мужик здоровее барина. Баба – опора жизни.

Сидел, как все, разговаривал. Вдруг шепотом: – Кто-то вошел, ребята.

Мы смотрим – никого. Дверь заперта. Он опять: – Кто-то вошел!

И выскочил в окно. Потом уже его ловили в поле.

26 сентября.

Именины: Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья. Не пора ли слегка оживить эти штампы? Вера: самое первое, ничего не имеем, не знаем, не слышим, испытывая открытие истины как прочную тайну, которой мы, слепые, вверяемся вопреки очевидности и тем ярче принимаем за чудо, чем менее сознаем, понимаем, давая простор наивному, детскому в нас влечению к тем, кто мать и отец нашему взыванию, вниманию, фантазируя за неимением данных – о, змей воображения, – они лишь сдвигают догадками (желание представить невидимое и в отсутствие лучшей опоры изобрести, заменить – суевериями) лик мира, но то отеческое в нас основание крепко и правдиво. Знание несовершенно рядом с этой огромностью, предвещающей вступление в жизнь. Вера всех темнее, неистребимее, больше и шире мира, глубже морского дна, старшая сестра, Парка с душою младенца, мы дети – и отсюда все начинается. Бытие.

Надежда – якорь, конкретность, первый скользящий луч во тьме веры, зеленый, робкий, нас отвергают, а мы упорствуем, цепляемся, просим, когда ничего не осталось: ты обещал. Отсюда эсхатология, *deus ex machina*, смесь безнадежности и надеж-

ды. Надежд не должно быть очень много. В крайнем случае, говорят, не надеются: безразличие, отрешенность, дядя Гоша, не отдавай. С надеждами – эгоцентризм, мнительность: кто-то идет, где-то летит – для меня, ко мне. Мимо? Пока мимо.

И вот за всей этой предварительной, вступительной музыкой вступает соединение – любовь, меня нет, я исчез, я не верю, не надеюсь, исчезая в Тебе, по образу, что нам даден, ликуя, испаряясь.

О матери их Софье сказать не берусь. Многогранник. Разноцветный кристалл, радуга в небе. Зрелость не с нами, с родителями.

Вера – старый и малый. Надежда – отрок, подросток. Любовь – юность, всех дальше в этой любви отстоящая от той, но символической, восторженной бурей встречи напоминающая: придет.

27 сентября.

Стремясь подобрать дефиниции эмоциональному состоянию, ведущему к научным открытиям (имеющим в данном случае больше сходства с искусством, как и состояние это – с поэтическим вдохновением), Альберт Эйнштейн пояснял, что оно напоминает религиозный экстаз или влюбленность: «непрерывная активность возникает не преднамеренно и не по программе, а в силу естественной необходимости» (Письмо к Макс Планку, 1918 г.). Такое подтверждение пушкинских (да и многих других чистых поэтов) мыслей, посвященных той же загадке, слышать из уст ученого вдвойне приятно.

Не потому ли колебанию между религией и эротикой (а может быть, их сочетаниям в разных дозах и формах) мы обязаны сиянием, которое как бы исходит от лица художника и его творений, специфическим ароматом, душистостью (к чему так чувствительны, по-пчелиному, женщины)? Состояние произвольной активности, вечной, беспредметной влюбленности, счастливой полноты совмещается у поэтов с монашеской жадью покоя, внутренней сосредоточенности, с изнурительным, ничему не внимающим, кроме своего счастья, постом. Сравните: конфликт с миром, разрыв с моралью, с обществом – и почти святость, благодать, лежащая на людях искусства, их странная влияние, общественный авторитет. Пушкин! – ведь это едва не государственное предписание, краеугольный камень всечеловеческой се-

мый и порядка, – это Пушкин-то, сказавший: «Подите прочь – какое дело поэту мирному до вас!»? А мы не обижаемся, нам всем до него дело, мы признаем его чару над нами и право судить обо всем со своей уединенной колокольни.

Чистое искусство – не доктрина, придуманная Пушкиным для облегчения жизни, не сумма взглядов, не плод многолетних исканий, но рождающаяся в груди непреднамеренно и бесцельно, как любовь, как религиозное чувство, не поддающаяся контролю и принуждению – власть. Ее он не вывел умом, но заметил в опыте, который и преподносится им как не зависящее ни от кого, даже от воли автора, свободное излияние. Чистое искусство вытекает из слова как признак и сила его текучести. «Дух веет, где хочет».

И забываю мир – и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем.

Попробуйте подставить сюда какую-то цель, обусловить процесс – ничего не получится. Но именно потому, что это искусство свободно и повинуется лишь «движению минутного, вольного чувства» (как Пушкин именовал вдохновение), оно имеет привычку ускользать из всех, слишком цепких, объятий, будь то хотя бы пальцы почитателей прекрасного, и не укладывается в свои же собственные чистые определения. Пушкинские кивки и поклоны в пользу отечества, добра, милосердия и т.д. – не уступка и не измена своим свободным принципам, но их последовательное и живое применение. Его искусство настолько бесцельно, что лезет во все дырки, встречающиеся по пути, и не гнушается задаваться вопросами, к нему не относящимися, но почему-либо заинтересовавшими автора. Тот достаточно свободен, чтобы позволить себе писать, о чем ему вздумается, не превращаясь в доктринера какой-либо одной, в том числе бесцельной, идеи.

Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум...

Ландшафт меняется, дорога петляет. В широком смысле пушкинская дорога воплощает подвижность, неуловимость искусства, склонного к перемещениям и поэтому не придерживающегося твердых правил насчет того, куда и зачем идти. Сегодня к вам, завтра к нам. Искусство гуляет. Как трогательно, что право гуляния Пушкин оговорил в специальном параграфе своей конституции, своего понимания свободы.

По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам...
.....
Вот счастье! вот права...

Искусство зависит от всего – от еды, от погоды, от времени и настроения. Но от всего на свете оно вольно освобождаться. Оно уходит из эстетизма в утилитаризм, чтобы быть чистым, и, не желая никому угождать, принимается кадить одному вельможе против другого, зовет в сражения, строит из себя оппозицию, дерзит, наивничает и валяет дурака. Всякий раз это умонастроение – иногда сами же авторы – принимают за окончательный курс, называют каким-нибудь термином, течением и говорят: искусство служит, ведет, отражает и просвещает. Оно все это делает – до первого столба, поворачивает и –

Ищи ветра в поле.

Некоторые считают, что с Пушкиным можно жить. Не знаю, не пробовал. Гулять с ним можно.

28 сентября.

Вот мы и дождались. Пока писал постскрипtum, чтобы зря не ныть, пришла телеграмма, и ты, а дальше, что было раньше, а вчера ты уехала, я надеюсь, на тех двух паровозах, что пришли очень быстро и развели вокруг ужасное пыхтенье.

Сегодня воскресный день, на дворе слегка моросит, но в бараке тепло и даже уютно, растопили печку, и она приятно потрескивает, за то время, что меня не было, поставили свежую дверь, и она как раз против меня, и на нее хорошо смотреть, на чистые доски, а вокруг все спят после погрузки контейнеров, а мне опять

повезло и, считаясь уставшим после свидания, я проспал спокойно, всю ночь.

Тихо. Достал письмо, и таким давнишним оно мне показалось после всех суток*, проведенных вместе, что же, так и должно, новый отрезок, перегон, до и после свидания, и нужно начинать жить с самого начала.

И все вроде бы слегка обновилось. Вот дверь новая, вот на курточку, пока меня не было, пришили новые карманы, они большие и черные, очень красиво на синем фоне, и я жалею, что ты меня в ней не видишь. И чашку мою вычистили зубным порошком. Стоит белая-белая на тумбочке. Это – забота, чтобы вернуться со свидания не было так грустно. Попытка создать дом. Трогательно и печально, и я тебя люблю, и мне хорошо.

Раздал конфеты и яблоки, какие были. А ты оказалась права: к вечеру ужасно как есть захотелось, первое напряжение сошло, и лег спать, бурча животом и смеясь над собой. А ночью страшный сон: Нидворя* умер, переживаю за детей и вдову, еду и даже плачу, он лежит, на столе, но еще не в гробу, толпа провожающих, вдруг он зевает и потягивается: оказывается, для развлечения и шутки притворился, и я ужасно как сержусь на такую безответственность и, рассердившись, просыпаюсь, и хочу бежать на работу, в окно брезжит свет, и вдруг вспоминаю, что воскресенье, и очень обрадовался. Все переплелось.

И за то время, что меня не было, лесные дали совсем-совсем порыжели.

5 октября.

Какой кусок октября мы уже отхватили, родная Машечка! И вчера, когда вышел, уже смеркалось: так рано стало темнеть. Почти зима, и хочется, чтобы скорее установился твердый снежок.

Какое рождественское настроение. Огонечки в сумерках. Я даже перечитал «Песочного человека»* – так хочется снега, легкой метели. И скоро – Покров.

Боюсь, ты совсем продрогла в поезде. Не разболеться бы тебе. Мне-то, кроме печного духа, сегодня очень помог лук. И я надеюсь в этот раз обойтись без гриппа.

Под подушкой вчера, как пришел, нашел два письма от тебя,

21 и 23, из серединки, слезные и болезные, не убивайся, все равно ты самая лучшая, и хорошо, что ты догадалась нарисовать мне в подробностях стенки в доме, со всякими прялками и прочим родным добром, отчего стало теплей на душе.

И понравилось, какую специальность выбрал себе Егор.

Теперь мечтаю-гадаю тебе до Москвы добраться, не расхворавшись, и встать поскорей на ножки.

Пожалуйста, ну пожалуйста!

5 октября.

Ну, может, тебе на воздухе получше стало? Уж очень ты у меня в запущенном состоянии. И не играй желваками. А с Вересаевым-то как все замкнулось!* Кто бы мог подумать? И еще – вдруг решила постирать мой шарфик, хотя это не обязательно.

Собираю по крупицам тебя и радуюсь всякой находке. Свободный день очень пригодился. Наверное, это письмо я пошлю все же несколько раньше, чем собирались. Чтобы и твое скорее пришло.

А у Егора еще понравилось, что приговаривает, когда умывается. И по письму – что ногти на ногах велел себе постричь. А большие были ногти?

5 октября.

Пора отсылать это письмо, моя любимая Машенька. А я еще два получил, из предсвиданных – 24 и 25, теперь за тобой осталось еще два – 20 и 22. А новые – нескоро.

Все-таки ужасно много сил у тебя уходит на нас с Егором. Вот читаю, как ты собираешься ко мне ехать, и вижу, чего это стоит. Непременно займись всерьез своим отдыхом и здоровьем. Как мы говорили.

Наверное, ты сейчас уже доехала. Но телеграмму я еще не получал. И бандероли не успел получить. Завтра, может.

Как дети ставят ультиматум матери:

– Привезу жену с крашеными пальцами.

– Привози кого хочешь, только сам приезжай.

А что ей еще остается сказать и что она может?

Еще я получил поздравительную открытку с видами Нового Афона – Novy Afon. Давно это было*.

Целую тебя нежно и уговариваю не болеть.
Будьте здоровы и веселы, мои детки.

А.
6 октября 1969 г.

P.S. Пока нет от тебя писем, и жить под дождем, в неизвестности о тебе, очень скучно и грустно, решил написать постскриптум, а там опять, Бог даст, вернусь к письму. Здесь же хочу вернуться к Фаворскому, о котором когда-то начинал рассказывать, а потом оставил, и вот в том, что было, хорошо бы 1) цитату из Бурделя не подчеркивать (хоть сам-то Бурдель ее подчеркнул, но можно этой мелочью пренебречь, а то она вылезет из текста), 2) «На этом фоне тихая мастерская В.А.Фаворского...» Лучше просто «мастерская», без «тихая», 3) в самом начале, может быть, вместо «пользуясь им как впервые обретенной свободой» – «пользуясь им как строительным материалом».

Между тем этот отшельник, как подчас, особенно на первых порах, аттестовала его молва, дерзостью своих построений был способен поспорить с реформаторами самого радикального толка. Его далеко идущие опыты и открытия, позволяющие соотносить творчество Фаворского даже с такими крайними именами, как, скажем, Татлин или Малевич, не сводились к техническим новшествам, но касались основ искусства и лежали в русле структурно-пространственных интересов. Внешне, в манере и технике исполнения, он мог работать традиционно. Пространство в его понимании нечто более глубокое, чем просто «форма». По существу оно у Фаворского насыщено мыслью, сопряжено с атмосферой и духом произведения; вот почему собственно формальная сторона не всегда у него отмечена поражающей оригинальностью, скрытой в идее и внутреннем строе его вещей. Духовность, концептуальность в подходе к задаче пространства, из разряда композиционных проблем переросшей едва ли не в методологию его творчества, выделяли Фаворского среди современных течений и сообщали его частным, на первый взгляд, начинаниям общезначимый, принципиальный характер.

К какому бы стилю ни обращался Фаворский, какую бы форму ни избирал, пространственное истолкование темы всегда оставалось главным предметом его забот. Пространством он мыслил и

мерил, отображал и пересоздавал бытие, представленное неизменно в виде конструктивной постройки. Известна реплика Фаворского по поводу его карандашных двойных портретов (выполненных, кстати сказать, в традиционной манере психологического реализма, не содержащей видимых отклонений от обычной, повсеместно принятой техники): «Два человека в портрете – это не один плюс второй, а что-то совсем новое, что не принадлежит ни тому, ни другому человеку. Вероятно, это пространство, которое возникает между ними со всем своим эмоциональным содержанием»¹.

Пространство в подобной трактовке – во всем духовном объеме, «со всем своим эмоциональным содержанием» – и было стихией Фаворского. Стоило ему испробовать силы в новой, еще не знакомой области, как и там обнаруживалась вскоре господствующая над его устремлениями пространственная проблема, которую он брался решать, выступая в своем излюбленном амплуа *художника-пространственника* (как предпочитал он себя называть, пользуясь термином, более других отвечающим его вкусам и замыслам) – будь то графика, монументальная фреска или театральная декорация. «Меня поразила пустая сцена своим простором и конкретностью своего пространства, – вспоминал Фаворский о своем приходе в театр. – Во всей работе я пытался сохранить эти черты, стараясь декорациями только измерить и оформить пространство»².

Дар и пафос пространственника, естественно, наиболее полно и совершенно проявились в книжной гравюре – в основной специальности и сфере его многолетних трудов. Роль Фаворского, роль зачинателя, поднявшего оформление книги на уровень современных эстетических интересов и достижений большого искусства и добившегося в этом жанре поразительных результатов, определялась новым подходом к самой задаче графика-иллюстратора. Применительно к нему было бы правильное говорить о деятельности архитектора книги, увидевшего в ней пространственную форму, предназначенную для воплощения публикуемого литературного текста. Фаворский строит книгу по образу и подобию дома, в котором произведение, в сущности, не оформля-

¹ «Книга о Владимире Фаворском», стр. 50.

² Там же, стр. 248.

ется, но обитает со всеми удобствами, претворенное в новое качество, в художественное и конструктивное целое читаемой и бытующей в обществе вещи. Поэтому так возрастает функциональная сторона каждой детали – переплета, форзаца, титула, заставки, концовки, шрифта, – обеспечивающей существование книги в ее пластическом образе. Она для Фаворского микрокосм, соотнесенный с целой вселенной, но в то же время руководимый собственными законами, обладающий самостоятельной ценностью, соприкасающийся и разграниченный с внешней, житейской средой. Иллюстрации взаимодействуют не только с текстом (похож или не похож на Гамлета прилагаемый образец?), но в первую очередь с помещением, где этот текст расположен, с его, текста, осязаемым телом, эмпирическим бытием. Автор верен реальной природе прежде всего не в подражании ее отдельным видимым формам, но в устроении миропорядка в пределах книги как единого здания. Аналогии элементов книги с вестибюлем, дверью, интерьером, воздухом и т.д., характерные для теоретических рассуждений Фаворского (на основе личного опыта разработавшего, можно сказать, философию искусства книги), подчеркивает этот преобладающий в его графике архитектурный принцип. Присмотримся, как осторожно и всесторонне расшифровывает Фаворский содержимое книги и принимается ее перелистывать, обживать и заселять, с каким замедленным, проникновенным вниманием разворачивает он ее перед нами как требующую поминутных оглядок, остановок и поворотов жилплощадь, в двояком значении каждой «двери», что служит входом и выходом, удерживает нас и ведет дальше.

«Трудно передать то особое чувство, которое испытываешь, держа в руках книгу в художественном переплете, удовлетворяющем и зрение, и осязание, и, раскрывая его, входить уже внутрь книги. Осязать рукой и помнить зрительно форму переплета, и уже погружаться в сложный пространственный мир страниц, дающий нам новый внутренний масштаб, по которому строится вся внутренность книги. Вдруг вещь, которую мы продолжаем держать в руках и ценить по качествам вещи, открывает нам внутри себя новые качества, характерные для пространства, населенного своими вещами, вещами книжного мира.

Это некое художественное «чудо», переживаемое нами, вызы-

вает в нас уважение к нашему бытовому пространству, в котором мы находимся вместе с книгой, в то же время требуя от нас как бы акта вхождения внутрь книги, вызывает уважение к ее внутреннему миру и как бы защищает его от легкомысленного столкновения с беспорядком быта»¹.

Насколько все содержательно для него в этом процессе осмотра-застройки расстилающегося за переплетом пространства! Его вхождение в книгу похоже на путешествие в страну чудес; через какую-то ничем не примечательную калитку, через рукав чьей-нибудь шубы мы попадаем в совершенно особый, благоухающий сказками мир.

Так же значителен, исполнен скрытой, таинственной жизни медлительный процесс изготовления гравюры, как его истолковывает и преподносит Фаворский. Технология здесь оборачивается онтологией творчества. Работу гравера над доской он сравнивает с искусством скульптора, извлекающего, освобождающего спрятанную в материале модель. Напрашивается и другое сравнение, пожалуй, не менее полно отвечающее идеалам художника, потребностям и тенденциям его творчества, – с техникой древнего иконописца, шедшего, как известно, путем постепенного высветления нижнего темного тона. В ходе этой работы образ, по аналогии с миротворением, как бы сам собой выявлялся из тьмы небытия, рождался, круглился, рос и светлел на глазах изумленного автора, создавая впечатление спонтанно возникающего, живущего в глубине доски и строящегося оттуда пространства. Похожее чувство переживает, по признанию Фаворского, гравер: «Оттого что доску покрываешь тушью, она получается довольно темная, и постепенно из этой темноты как бы вытаскиваешь все, что хочешь изобразить, и это очень интересно: темная доска позволяет как бы угадывать, что там, в темноте, каким способом идти дальше и дальше в глубь доски»².

А нам как раз селедку давали. И ты знаешь, как замечательно лук подошел к селедке!

¹ Стр. 260.

² Стр. 234.



...и даже целый книжный шкаф построили... – В заключение строительной эпопеи (см. примечание к письму 85): «Труба уже обрезана и ниша сделана, и есть в ней 6 полок томов на двенадцать каждая и еще большая нижняя полка для всякого книжно-журнального барахла.

Основной мусор из дома убран. Причем часть его я спускала прямо в дымоходы. Привязывала кирпич на веревочку и тихо-тихо опускала на 6 метров, а потом веревочку обрезала. Это чтобы хоть как-то засыпать нижние печи, если они где-нибудь еще есть, и предохранить себя от всяких случайностей: вдруг кому-нибудь внизу захочется зажарить в печке шашлычок».

Один знакомый... – Солагерник А.С. В.З.Румянцев (1934 – после 1980).

...после всех суток... – После личного свидания на трое суток.

...Нидворя... – Наш друг Николай Кишилов был женат на французке, родственники которой называли его Николая (Nicolas). А мы, исходя из известной формулы «ни кола, ни двора», частенько говорили ему «Нидворя».

...перечитал «Песочного человека»... – Э.Т.А.Гофмана.

А с Вересаевым-то как все замкнулось! – В этом письме, 28 сентября, А. С. кончил «Прогулки с Пушкиным», о чем сообщил мне записочкой на свидании (опасаясь подслушек, мы о серьезных вещах не разговаривали, а только переписывались). И вот тут-то в очередной раз возникла и закрутилась в нашей жизни тема Вересаева.

...Novy Afon. Давно это было. – Брат матери А.С. Андрей Иванович Торхов был монахом в Новом Афоне, и маленького А.С. (году в 32–33-м) возили на его могилу.



ПИСЬМО ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМОЕ

Начнем, как Егор: кругом четыре*. И четыре на четыре и потом еще четыре. Денек выдался неплохой, в мыслях о тебе, солнышко просвечивало, и на сей раз обошлось без суеты и компаний, хотя с подарками. Подарки такие: 1) Загорск* в исполнении Маторина, рисунок четкий, пристойный, для архитектуры с уклоном в барокко хорошо идет; 2) латышские сказки*, про которые месяца два назад как-то воскликнул: вот бы прочитать, – и вот вам, пожалуйста. Теперь кругом в сказках.

Вечером же вчерашнего дня получил наконец бандероли. Первая, конечно, твоя, и по счету и вообще, самая драгоценная (такая зелененькая, что к сердцу прижать!), маленькая и сказочная. И хотя твои подарки были раньше, эта была каплей, переполнившей чашу. Я в восторге.

Вторая – как и предполагал, ужасно большая, роскошная книга – Уфици, в оформлении Юры Красного* (не шучу), за семь рублей, то-то ее будет таскать, если не передарю. Ранние, предренессансные немножко жалко. Не знаю, не навран ли цвет. Ну и книги стали делать!

А сегодня вечером, в дополнение ко вчерашнему, получил три телеграммы, одна от Машечки, самая ласковая (про то, что доехала, я раньше получил), только ты не пишешь о своем здоровье, и значит, оно не на высоте, а то бы написала.

А по общедружеской я с улыбкой заметил, как они постепенно теряют цвет и аромат и посылаются, потому что надо, а не душа просит – что же, это естественно, и я не в претензии. Только к тебе прижимаюсь крепче, и ничего кроме не надобно.

Третья – от бывшего здешнего, с приветом.

А какие краски в осеннем лесу, Машечка! Оранжевый цвет мещается как-то с лиловым, и вот оба они имеют нечто общее сверх своей желтой и синей основы, и это общее мечется и перепрыгивает из одного цвета в другой, как молния, и ударяет – красный.

Я хотел вчера начать это письмо, чтобы больше побыть с тобой, но не успел. И поэтому так старательно пересказываю вчерашнее.

9 октября.

Все-таки каждая фраза писателя как объяснение в любви. Пишет: «пошел дождь», и, смотришь, уже влюбился в этот дождик. Поэтому никакой писатель не может писать про одно лишь обратительное: кого же он будет любить? И оттого же писателей тянет на высокопарность и все они норовят говорить красиво. Петухи щеголяют в метафорах, наряжаются, прихорашиваются. Есенин – тот прямо корове или овце предлагал руку и сердце. А это не овца виновата, а общее отношение к жизни.

Возьмем две спички и сложим из них крышу. Это уже метафора. Дети, играя в кубики, больше строят ребусы, чем дома. Кубики ближе к загадкам, чем к архитектуре.

Писать так, чтобы каждая фраза читалась с удовольствием. Чтобы, читая, хотелось к ней вернуться и поиграть.

...Приятно еще, что Егору пришлось слово «оказывается». Не знаю, часто ли я им пользуюсь, но по смыслу всегда: оказывается. Отсюда перегруженность оборотами типа «поэтому», «оттого» – на первый взгляд логическими, а на самом деле как фокус: а что оказалось? Как мир из-под ширмы, яичница в шляпе. Не доказательство – появление.

10 октября.

А на другой день мне вырвали зуб, тот самый, что поломался, гайморитовый правый клык, и сразу полегчало. Хотя еле вытянули, все ломался, заморозили, но все равно от боли чуть не отключился. Уфф!

А ты знаешь, с журналом «Октябрь» все правильно, только нужно было следующий номер купить, теперь уж поздно – банде-

роль не успеет. Но если попадется, купи и когда-нибудь привези просто почитать.

А какие книги вышли – локти кусать: *А.Эфрос* «Два века русского искусства» (изд. «Ис-во»), «*Изборник*» (Сборник произведений Древней Руси, на 800 стр., изд-во «Худож. лит-ра»)! Попытаюсь купить, выписав через книготорг. Теоретически – это можно. Но еще не пробовал.

От Рафа – смешное письмо: хранитель музея на стекольном заводе, которому если что и вменяется в обязанность, то только одно – читать книги по искусству. Можно позавидовать. С его появлением художники научились пить чай, и директор ругается, что в музее кругом вторяки и окурки (похоже).

Еще про один подарок забыл написать, очень трогательный. Один не очень знакомый вдруг подает открытку с кулечком, а в кулечке трубочка для шариковой ручки (одна!).

Ах, луковка, сколько раз она спасала, и я бы позволил всем, подавшим ее, взобраться на небо по луковичному стебельку.

В бедности сильней доброта. Как лохмотья – лучше греют. Лохмотья – лохматые. Они уютнее и подходят. Их не потому противно надевать, что они лохмотья, а потому, что – если чужие. А ощущение «чужого» здесь сильнее, потому что душа, в них прозябающая, лучше к ним прилипает и на них остается. Кому-то они были родные, и вот нам противно. Но наши лохмотья – что из вещей может быть роднее и ближе?

11 октября.

В книге *К.В.Чистова* «Русские народные социально-утопические легенды XVII–XIX вв.» (М., 1967) приведен интересный факт, позволяющий понять стыковку самозванства с сектантством, и вообще, откуда что берется и почему появляется вдруг ни в какие мотивы не лезущее течение. А именно: приснилось во сне. Отсюда такая уверенность и искренность тона в утверждении чистейшей фантазии. Самый известный в истории Лжеалексей (сын Петра Первого) – это *Иван Миницкий*, работный человек из оскудевших шляхтичей, в 1738 г. в Ярославце на Дону уверовавший в свое царское происхождение «от некоторых сонных видений, ему бывших». Готовый вспыхнуть бунт был предотвращен, по этому поводу был издан по всей Украине специальный указ Анны Иоанновны (стр. 128).

Кстати, попытку слияния самозванства с расколом мы имеем в Кондратии Селиванове, который по пути в ссылку встретил Пугачева, которого везли в Москву, после чего начал выдавать себя за императора Петра Федоровича.

О Пугачеве:

– Темный человек парализовал грамотных.

(На этом месте мне принесли кусок хлеба, поджаренного на рыбьем жире, на вид очень вкусный, но очень противный. Даритель:

– Вам перед личным свиданием надо всегда рыбий жир употреб-
лять.

Разве что перед личным свиданием.

– В голове всякие игреки мелькают.)

В той же связи любопытно направление *мифотворцев*, или ильинцев (ныне не существует), появившееся во втор. пол. 19 в. и носившее чрезвычайно путаный и фантастичный характер, вплоть до многобожия. По их учению, «всетворец» – отец Иеговы, Сатаны и др. богов, распределенных по солнечным системам, также имеет отца, а тот – своего отца и т.д. По их выражению, у Бога есть «дедушка и бабушка», а на вопрос – откуда же произошел последний, окончательный Бог? – отвечают: неизвестно (ибо, в сущности, все это не боги, а люди или «маги»), «может быть, из какого-нибудь комара» (в знак иронической уступки теории эволюции). Религия принимает вид научной фантастики и авантюрной интриги. Люцифер захватил (по закону – ибо это ему причиталось) Землю и всю солнечную систему, а Иегова с ним борется с тем, чтобы оторвать «свой народ» и возобладать. Голгофа и воскресение совсем не искупление, а хитрый маневр: «умер» с расчетом, что Люцифер за ним последует, но первого воскресят по предварительной договоренности, а второго – нет. Первородный грех заключался в том, что Еву соблазнил сам Сатана в буквальном смысле, отчего родился Каин, Адам же ни при чем, и по сути греха нет, как нет и искупления. «Бог» тоже зачал свой род – от Авраама, в физическом смысле, почему и отдается предпочтение его племени. Адам – сотворенный, но не первочеловек: другие люди были и раньше (Земля Нод – ссылка), часть которых сотворена, другая занесена с иных планет (индусы). Мир – не сотворен, а приведен в порядок, налажен «магами» из материи, которая вечна и несотворенна.

Вообще у Ильина все заземлено, очеловечено и больше похоже на сказку, чем на традиционную религию. Его утопия: «Город Ерусалим же на преображенную землю будет спущен с неба, сделанный небесными людьми, т.е. жителями на других планетах, украшенный драгоценными камнями, а улицы вымощены прозрачным золотом. (Ср. тридевятое царство, тридесятое государство в народной сказке.) ...Из-под дворца будет протекать по всем улицам река, и на берегах ее будут расти дивные фруктовые деревья, приносящие новые плоды каждый месяц: от еды сих фруктов люди не станут ни стареть, ни умирать, а на всю нескончаемую вечность будут оставаться бессмертными, мужчины в возрасте 34, а женщины – 14 лет». (Ср. сказочный мотив живой воды и молодильных яблок; опять же магометанские гурии, в действительности связанные с представлением о плотских радостях лишь по аналогии.) «...Он сделает тебя не только телесно бессмертным, но и светящимся, как звезды».

С этих материально-утопических позиций (не только с них) и вел Ильин полемику с христианством, отвечая на вопрос, себе же поставленный – чем ваш Бог отличается от нашего: «Если за тысячным солнцем квадранлион миль пройдешь, то и там вашего Бога не найдешь, а мой Бог ходит по земле и заходит к друзьям Своим и ужинает у них подобно тому, как Он заходил к Аврааму, обедал у него под дубом и после ходил и стоял с ним у Содомы...»

Все христианство, включая священные книги, расценивалось миротворцами отрицательно, как извращение истины. Уже ап. Павел извратил, а затем семь соборов (седмглавый зверь), наведя гонения на евреев, 10 колен которых спрятаны до времени в укромном месте (ср. Легенда о граде Китеже и др. утопические страны-города). У Люцифера тоже свое местечко в сев. Индии (уж не Шамбала ли?), откуда действуют его маги (так, Наполеон не умер, а укрыт там).

Потустороннего мира нет, души тоже нет, но человек имеет семя смерти, посаженное Люцифером, которое начиная с 34-хлетнего возраста начинает произрастать, вызывая болезни и дряхлость, и – семя жизни, выдерживающее любые условия, даже огонь, и это есть как бы зародыш воскрешаемого человека.

Многое модернизировано. Колесница, на которой вознесен

Илия, что-то вроде ракетного корабля. Межпланетные связи издавна. Признают падение Атлантиды – сатанинского народа, древней расы. Потоп не всемирный, а локальный и позже Атлантиды.

Доктрина эта страдает крайним эклектизмом (среди предшественников названы, например, Фома Мюнцер и Сократ, Пифагор и Зороастр, а генетически миротворцы выводят себя непосредственно от стригольников [по всей вероятности, фантастическое родство]). Но самое неприятное в них, пожалуй, крайняя нетерпимость, выраженная в непрестанном поношении и ругани по адресу всех прочих религий. Отсюда в стиле удивительная вульгарность и шибящее в нос просторечие – стремление вывести на чистую воду всякую «хитрость» и механику, которой очень много: «Вавилонский шеф жандармов Аман»; «Кол в горло, вбиваемый 7-ю ударами стопудовым молотом истины каждому изрыгателю всякой лжи и хулы... (название); Иезавель – «мамзель всех царей земных»; обращение к гонителям: «ведь вы наколетесь на всю нескончаемую вечность, напирая на мой рожон!»

Эта народная этимология, при всей претенциозности, забавна: «А лютеранину он (Сатана) внушил написать вместо «Иегова» выражение собачьей злости: герр-герр»; индийский «Брама значит Абрам или Авраам», «и поэтому все буддийские религии гораздо ближе к истине, нежели все остальные».

В этом что-то от теософии, но на народной почве.

12 октября.

А вчера был первый снег, а завтра Покров. А я по тебе скучаю и беспокоюсь. И думаю о том, как это правильно, что жена дана человеку затем, чтобы он не скучал.

А календарик твой до меня так и не дошел еще.

И закажи, не забудь, себе другие очки, чтобы не натирался нос сбоку.

И еще я пришел хорошие тесемки на свою зимнюю шапку. А то старые – истлели. Смешно и трогательно – эти тесемки, эта беспомощность и тишина человека. И ты мне хорошо рассказала про ящички в новом шкафу. И как Егору обещан ящичек. Маленький и выдвигается. Что может быть слаще? Тесемки, ящички. На этом все мы держимся. И потому – живые.

Еще ты мне очень понятно рассказала, как успокаивает душу изготовление всяких колечек, что вроде вязания и вышивания у других женщин, только интереснее.

А я утешаюсь и заполняю холодные вечера выписыванием из сказок всяких подробностей – про Бабу-ягу, про Змея-Горыныча, так что постепенно складываются их портреты. Это тоже что-то вроде вязания. И тесемки, и ящички.

13 октября.

Несколько поправок к разговору о Пушкине.

1) До первых ***, после цитаты из речи Тургенева-Боратынского, что Пушкин – это мыслитель: Вместо «Нынешние люди» лучше «Нынешние читатели».

2) Там же: «Современники удостоверяют хором» лучше: «...чуть ли не хором».

3) Там же: после цитаты из «Русской Старины» в скобках не нужно имени автора: М.М.Попов. Достаточно названия журнала.

4) Где «Руслан и Людмила» (медведи на велосипеде, охотники на привале): «Тот источник освистан и высмеян в пересказе Руслановой фабулы, перенесенной в одной из песен на почву непристойного фарса». – Вот тут и поставить точку, а дальнейшее: «и обнажившей... схему» – снять.

5) Где «Пир во время чумы», перед цитатой «Не могу, не должен я за тобой идти...»: «...врастил его, взлелеял, и бросил в яму с мертвецами, и исповедовал как веру...» – «взлелеял» не нужно.

6) Где «Евгений Онегин», после цитаты «Возок несется чрез ухабы...»: «При всей разносторонности взгляда у Пушкина была мания к тому, что близко лежит». Вместо «мания» – «слабость».

7) Где стихотворение «...Вновь я посетил...» (перед цит. «Возрождение»: «Художник-варвар кистью сонной...»): «Здесь же свое завещание: вспомнить! Пушкин передает потомству». Вместо «вспомнить!» – «вспомни! –»

8) В прошлом письме после письма П.А.Вяземскому, что не для улыбок прекрасного пола: «На наших писателей прошлого века...» – надо: «позапрошлого века».

9) Там же, в скобках: вместо: «историю курировали» – «поэзию курировали».

14 октября.

К прялке. Помнишь, я говорил, что супруга происходит от пряжи? Сюда бы надо сказать, что суженая – судьба, и все сказки кончаются свадьбой, потому что прядут о том, как исполнить судьбу. Пока Одиссей плавает, Пенелопа прядет. В ее прялке хитроумие и венец его путешествий. И возможно, наше первое, ненаучное сравнение с веслом и пирогой правильно. Прялка как ладя и парус судьбы в доме.

«...а Иван-царевич женился на прекрасной королевне Елене и начал с нею жить дружно, любовно, так что один без другого ниже единой минуты пробыть не могли».

А значит, и тебе Бунин понравился? И мне.

А вот совсем про другое – чеченская сказка «Счастье», возможно еще не записанная. Жил человек, пробавлявшийся игрой на каком-то струнном национальном инструменте, вроде нашей бандуры (что считается стыдом и позором, поскольку нищих там не бывает и профессиональных музыкантов тоже). Вот он начал тосковать, догадываясь, что живет как-то неправильно, и, оборотясь к звездочету, узнал, что все это потому, что не имеет своего счастья. Пошел он искать счастье и по дороге встретил льва, садовника и царя. Лев просил узнать у счастья, отчего у него болит голова. Садовник – почему его сад цветет, но не приносит плодов. Царь – почему, сколько он ни воюет, никогда не побеждает. Счастье отказывается жить с человеком, потому что он живет не как все, и, когда он обещал жить как все, согласилось вернуться, отослав обратно с отгадками. Царю он ответил, что тот переодетая женщина и поэтому ей не дается победа. Та предложила жениться на ней и стать царем, но человек отказался. Садовнику – потому, что в твоей земле закопан клад. Садовник предложил вместе выкопать клад и зажить богато вдвоем, но человек отказался. Льву – голова пройдет, если на нее положить мозг глупого человека. Лев, выслушав всю историю, сказал: глупее тебя нет, и разорвал человека.

(Скрытая мораль: сам отказывается от своего счастья с царицей и садовником и, хотя обещал жить как все, нарушает обещание.)

Мне же больше всего понравилось – почему сад не плодоносит: земля, содержащая клад, не рождает яблоки – либо одно, либо другое – распределение щедрости.

О переодетом царе, что напрасно воюет, тоже приятно.

И – что у льва болит голова.

Прокотий Кесарийский (V в.) «Война с готами» – о славянах и антах: «Они считают, что один только бог, творец молний, является владыкой над всеми, и ему приносят в жертву быков и совершают другие священные обряды. Судьбы они не знают и вообще не признают, что она по отношению к людям имеет какую-либо силу, и когда им вот-вот грозит смерть, схваченные ли болезнью, или на войне попавшим в опасное положение, то они дают обещание, если спасутся, тотчас же принести богу жертву за свою душу; избегнув смерти, они приносят в жертву то, что обещали, и думают, что спасение ими куплено ценой этой жертвы» («Памятники Византийской литературы», стр. 203–204).

Из этого рассуждения можно заключить, что славяне в некотором смысле были более подготовлены к принятию христианства, чем греки, унаследовавшие идею судьбы от собственной античности. Ведь писал-то христианин!

15 октября.

Отчетливо конструктивное отношение Фаворского к книге сближало его с художниками-производственниками, на рубеже 20-х гг. приступившими к «деланию вещей». Его книга – это тоже своего рода вещь (а не странички с картинками), существующая наравне с другими вещами, функционально оправданная, целесообразно построенная, предполагающая контакт с бытом и производством. Дух инженерии, конструктивизма, утилитарности, ремесла, рационалистической ясности в осознании поставленной задачи – всего того, чем славен двадцатый век с его научно-техническими достижениями, урбанизмом, интеллектуализмом, дает себя знать в произведениях Фаворского. Некоторые его работы, кажется, восприняли ритм и стиль индустриальной эпохи, приближаясь к точности математической формулы, прямоте и сдержанности информационной сводки.

Тем не менее Фаворский никак не укладывается в прокрустово ложе дизайнерства и производственничества, и, создавая книгу как полезную вещь, он ею же нарушает невольно построения теоретиков и практиков конструктивного метода, сторонников индустриального стиля в современном искусстве. Рядом с его

книгой самые разумные, искусно сработанные вещи бытового или технического назначения выглядят плоскими, холодными, однозначными, возможно, вполне знакомые и прекрасные в своих общественно-эстетических функциях, но бессильные конкурировать с ее одухотворенным пространством. Будучи равноправной вещью, книга помимо прочего живет еще наподобие «вещи в себе», имеющей неисчерпаемые внутренние ресурсы, и впускает в свои пределы с тем, чтобы, по ней путешествуя, мы соприкоснулись с культурой в большом и высоком значении слова. Продвигаясь по анфиладе страниц, со множеством неожиданных встреч, пересечений и координации, проникаешься атмосферой, далекой от инженерии и скорее напоминающей воздух бескрайних лесов, дивишься расширяющейся с каждым новым внимательным шагом и взглядом содержательности ландшафта, перед которым как будто сам автор немного робеет и удивляется чуду, произведенному им же самим. Книга Фаворского в своих исходных моментах органична и вековечна; при всей конструктивности она более похожа на живое растение, нежели на промышленное изделие. Задумчивость, им владеющая, неторопливая обстоятельность, с какою он переворачивает ее листы, трепетное волнение вблизи любимого предмета, благочестивое уважение к своему ремеслу, истовая преданность значимой букве – все это, разумеется, плод давней и прочной традиции. За спиной Фаворского стоит опыт старинных переписчиков и книжечеев, наследие мастеров Возрождения и Средних веков, витиеватая рассудительность восемнадцатого столетия, пушкинское содружество с Музами... В нем сызнава, на иной, современный лад, заявляют о себе изумление и первоначальная почтительность перед самим фактом существования книги, что заставляли когда-то украшать ее драгоценностями и обращать алфавит в орнамент, а против особенно важных и понравившихся фраз, в качестве нотабене, рисовать указующий перст с торжественной подписью – «зри».

Творчество Фаворского как явление двадцатого века перекидывает мостик от новейших открытий в области изобразительного и нефигуративного искусства к уходящей в отдаленное прошлое художественной культуре. Этот смелый преобразователь в то же время в своем понимании книги, безусловно, традиционен и, если угодно, консервативен. Ибо в центре его внимания всегда

находится так или иначе преследуемая цель – сблечь и восстановить книгу как целостный феномен, как синтез писательства, художества и ремесла. Больше, чем какой-либо другой современный график, он отвечает своим творчеством на вопрос: что такое книга и какой надлежит ей быть?

17 октября.

Вот, Машечка, тетрадки мои и кончились, и я перешел на разные листочки, какие попадутся. А писем все нет. Все сижу при 25-м номере, замыкающем предсвиданную серию, из которой два письма я так и не получил, а только знаю о них по твоим рассказам.

Атмосфера гриппозная, и я слегка поддался – холодно все-таки, – но рассчитываю удержаться, не впав, с помощью чеснока и кипятка. Дождик и серость. Скорей бы снег установился.

Вспоминаю разные милые мелочи из нашей с тобой обоюдной жизни. Как ты нашла картинку «по льду каталась дама»* и мне прислала и все озарила.

А лес совсем уж сделался фиолетовым. Это от березы. Ее белый ствол на самом деле чернильный, и издали получается прелестное облако.

– Через девятнадцать дней мне останется семь месяцев! (Искусство подсчета.)

– У тебя буржуазная жила в голове.

– Он вызверился на меня.

– Наука своим глазам не верит и все спрашивает – а как это может быть.

И как мы с тобой шли к Юrome, под дождем. И какие закаты в Усть-Морже*.

18 октября.

Интересно, в Усть-Морже все такие еще закаты?

А Уфицци при ближайшем рассмотрении не понравилась. Кроме Фра Анжелико и Боттичелли, нет там ничего хорошего. А Скворчиха* личиком несколько, я смотрю, похожа на боттичеллевскую Венеру, что вылазит из раковины (личиком, разумеется), и наверное потому я к ней хорошо относился. Жаль ее, никчемную. Но пара немцев затесалась в Уфицци, какой-нибудь Мемлинг, и, смотришь, совсем иной колорит, хотя тот же век.

Все-таки после иконописи некоторые сюжеты совершенно невозможны. В св. семействе Веронезе, смотрю, младенец держится за собственный пенис, в жизни так бывает, но при чем здесь семейство. И все-таки я был прав. Самые реалистические младенцы в иконе. А тут все бутузы трехгодовалые, и безо всякого смысла, одна пухлявость. Амурчики подгадили. А там сразу – и взрослый, торжественный, и настоящий младенец.

Очень этот Ренессанс раздражает. Даже Джотто что-то не то. Правильно Лесков сказал, сравнивая, что в русских изображениях – «в лике есть выражение, но нет страстей». А тут одни страсти.

(Поэтому и Джорджоне со своей лодкой-Венерой хорош: глазки закрыла, и все в ней спит, а у Тициана в той же позе откроет глазки – бежать хочется.)

А с «Октябрем» (см. выше) я поспешил и ничего не надо: этот журнал библиотека получает, и я уже держу в руках искомый номер и завтра примусь читать продолжение «Братьев Ершовых»*. То-то удовольствие.

Ах, если бы еще завтра письмецо от тебя получить.

19 октября.

Прожил два (суббота-воскресенье) бесписьменных дня, мой ангел Маша, скрепя сердце, чтобы в понедельник от тебя что-нибудь получить. Ан не вышло. И я унываю. Совсем унываю.

Видно, ты у меня болеешь. Потому что, во-первых, в телеграмме не было про твое самочувствие, и значит, оно неважно. Во-вторых, если даже считать, что ты, вернувшись, написала мне числа 7-го (видишь, сколько я тебе оставляю места успеть мне написать), то до 20-го за глаза хватит ему, письму, прийти мне в объятья, а оно все не приходит.

И бандеролей тоже нет. Да ладно уж, не в бандеролях счастье, а чтобы ты была здорова.

Не знаю, может, мне еще до завтра потерпеть и не отсылать это письмо: может, завтра ты меня и осчастливишь в самом полном объеме. А то уж очень унылый тон из меня исходит.

Все равно я тебя люблю, и жалею, и не имею ничего кроме.

Знаешь, я на денечек позже пошлю, и ты не сердись. Очень я хочу дождаться твоего письма.

20 октября.

Ай да Маша, ай-да-да (а вокруг нее вода – для рифмы)! Получил от тебя письмо! Вот как я правильно поступил, что не отсылал вчера, а терпел еще целую ночь и целый день. И бандероль с тетрадами, в том числе общими, и самопишущей ручкой, как раз в самый раз! Но я все равно дописываю уж на этом смешном листочке нестандартной величины, потому что поиздержался. А в следующий раз буду писать на твоей глянцевой бумаге, на которой даже жалко писать, до того она сверкающая.

Итак – письмо! Первое после свидания, от 5-го октября, № 27, где ты только что приехала в Москву и собираешься заболеть. Но все равно я очень доволен. Потому что, надеюсь, ты уже отгрипповалась к нынешнему дню (шестнадцать дней – хватит!). И потому что Егор, как ты пишешь, отправился на мультфильмы. И теперь я с нетерпением буду ждать, когда ты опишешь его киношные впечатления (я надеюсь, ты догадаешься обо всем его преподробно выспросить и мне описать в красках и в лицах).

Я же, напротив, немножко дальше расхварываюсь, но все равно мне сейчас (с тобой) очень весело и хорошо. И я с удовольствием поболею немного за то, чтобы иметь это письмо. И все другие. Не волнуйся. Гриппус. (А помнишь, как один знакомый говорил – суставной ревматизмус, и мы смеялись, до чего же тебя –) Он давно во мне сидел, этот грипп, а сегодня вылез и начался сплошной насморк и голова. Но все равно, повторяю, все это хорошо – потому что я могу теперь некоторое время со спокойным сердцем сморкаться и плавать в расслаблении. А это все – лиса. Мне позавчера всю ночь лиса снилась. Из сказки. Волк тоже был, но сторонкой. А лиса вплотную, и хорошо ко мне относилась, и умирала, и воскресала, как ей положено. Но вот, видать, все-таки меня перехитрила. Ничего, я ей прощаю.

Пишу все, что лезет в голову, а я только с работы вернулся, и очень хворый и очень счастливый. Но к тому времени, как ты это получишь, я уже выздоравливаю. И ты не беспокойся. А лучше сама лечись, чтобы быть еще прекраснее. Хотя ты и так прекрасна, но лечиться надо.

Люблю и целую.

А.

21 октября 1969.

От Вики тоже получил два журнала. Второй раз. Спасибо.



...кругом четыре. – Егорыч любил скандировать из Хармса:
Раз, два, три, четыре
и четыре на четыре
и четырежды четыре
и еще потом четыре...

Загорск – М.В.Маторин. Загорск (М.: Советский Художник, 1968.
18 с. + 30 л. илл.

...латышские сказки... – Латышские народные сказки. Бытовые сказки: Рига: Зинатне, 1968.

...в оформлении Юры Красного... – С художником Ю.Красным А.С. когда-то учился в одном классе. Потом, уже взрослыми, они время от времени встречались. После ареста А.С. Юра Красный, увидев меня, срочно прятался.

...«по льду каталась дама»... – См. примечание к письму 44.

Юрома, Усть-Морж – отзвуки наших северных путешествий – по Мезени, по Северной Двине.

Скворчиха – Людмила Александровна Скворцова, коллега А.С. по Институту мировой литературы.

...продолжение «Братьев Ершовых». – «Чего же ты хочешь?», роман-памфлет, направленный против диссидентства в среде советской интеллигенции, В.Кочетова в журнале Октябрь (1969. №10, 11).



ПИСЬМО ВОСЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМОЕ

Остаюсь при своем интересе: сижу и жду. В смысле писем. А ими нынче меня не балуют. Все то же самое 27-е, даже без 26-го, не говоря о новых. <...>

Тем временем, как ни странно, жизнь продолжается. Грипп из меня постепенно выходит. Вместе с насморком. И наступила зима. Это произошло в одну ночь. Проснулись – и все бело. Все настолько бело, что я даже с утра сапоги почистил. На холоде от меня несло чесноком, махоркой и ваксой, и было почему-то приятно, что так сильно пахну. Какая-то смачность жизни, что ли. Вороны тоже обрадовались и устроили в хлопьях ужасное карканье. Как будто им снег в диковинку. И все, как дети, в возбуждении: зима! зима! Точно это не зима, а весна.

24 октября.

Уши у лошади что глаза человека: они все время живут.

Но что меня выводит, так это – ноги. Когда человек молчит, болтают ноги. Они притоптывают в такт Моцарту, и без такта, просто так, у глухонемого ноги ораторствуют. Не посидят ни минуты тихо. Тело спит, а ноги беснуются. Тело лежит на лавке, а одна нога сползла на пол, осмотрелась, освоилась и начинает выбивать чечетку. Узнаю – по ногам. Вон знакомый сапог, а вон – ботинок. Каждый топочет свое. Солдаты, мало им шума, подавай барабаны. Чтобы читать и писать, мне хочется иногда быть глухим.

25 октября.

Попалась в руки Цветаева из «Библиотеки поэта». Смотрю – а там Стихи к Сонечке, еще в 65 г. напечатаны. Как же так? Ты ж говорила – неопубликованные.

Зато в поэме «Юность Рублева» Н.Глазкова подтверждение твоему рассказу про тот кинофильм. Автор, кстати, как сказано в предисловии, играл там роль крылатого мужика. А сборник, откуда поэма, называется «Большая Москва» (М., 1969), и Андрей Рублев там все время работает с натуры.

Андрей, по прозвищу Рублев,
Своих друзей, знакомых
И страсть свою – свою любовь
Запечатлел в иконах!

Любовь имеется в виду – к девушке Стеше:

И ангелы эти пригожи,
Их краше нигде не найдешь.
И ангелы эти похожи
На Стёшу... А то на кого ж?

Правильный вопрос! А учитель Рублева в иконописи монах Онуфрий его учит так:

Иконы благолепно пишет грек,
А наши в подмастерьях состоят.
Пусть многогрешен русский человек,
Но русский человек могуч и свят.
Я бражничаю и до баб охоч,
И на душе моей тоска и мрак,
Но ты изобрази меня точь-в-точь
Таким, как будто я апостол Марк.

Все это Рублев и делает с благословения самого Сергия Радонежского. Экий Ренессанс!

26 октября.

Недавно прочел довольно серьезную статью М.А.Ильина «О единстве домонгольского русского зодчества» («Советская

Археология», 1968, № 4), где сделана попытка разграничить византийский и русские храмы на принципиальной основе разного мироощущения, а не по формальным частностям, как это делается обычно. А именно, сопоставляя Софию Киевскую, выполненную в византийской традиции, с Софией Новгородской и другими, последующими постройками, автор показывает, как переместился акцент с внутреннего пространства на внешнюю форму храма.

«Какими бы высокими качествами ни обладала внутренняя архитектурная пространственность византийских храмов, какой бы ни была она впечатляющей, надо откровенно сказать, что она не нашла признания и отражения в творчестве русских зодчих. Во всяком случае, именно эта сторона византийской архитектуры претерпела существеннейшие изменения уже в первых произведениях, построенных после Софии Новгородской». Стр. 90. «...Внутреннее архитектурное пространство храмов и их материальные элементы как бы обменялись местами. Стены, опоры, лопатки, своды и арки сильнейшим образом придвинулись к вошедшему в храм человеку, они оказались рядом с ним, они обступили его со всех сторон так, что он увидел себя окруженным не пространством, а материальными архитектурными формами. Он их видел в первую очередь, они теперь играли основную роль внутри здания, их материальная масса, весомость, зримость, плотность становились основными определяющими элементами, в первую очередь воздействующими на сознание. А зажатое со всех сторон пространство как бы перестало существовать, оно больше не ощущалось, а если его и можно было усмотреть, то только устремив взор вверх, к аркам, поднимавшимся к световой главе. Однако и здесь перспективно сильно сдвинутые своды и арки утверждали примат материальных форм, а не воздушность и «глубокое дыхание» архитектурного пространства». Стр. 92.

«Если София Киевская, нет сомнения, привлекала к себе внимание в первую очередь своим внутренним обликом, то в Софии Новгородской и особенно в соборе Юрьева монастыря устанавливается своеобразное равновесие между их внутренним и внешним видом.

...С середины же XII в. внешний объем здания – архитектурная форма храма – становится ведущей. Благодаря этому можно

сказать, что храм из места моления как бы превращается в объект поклонения как «дом Бога» (вспомним привычку религиозных людей креститься на храм).

Развитие отмеченных свойств русского каменного храма... находит свое завершение в XVI в. в памятниках шатрового зодчества. Собор Василия Блаженного стал кульминационной точкой этого пути». Стр. 92–93.

Все это неплохо, и наверно так и есть. Киевская София смотрится у нас одиноко – и своим внутренним дыханием, и внешней непрезентабельностью. Но какие выводы делает Ильин? И какие мотивы-причины в объяснение этой разности он под конец приводит? Русская архитектура у него вернулась к язычеству. И хотя никаких сведений о том, что представлял собою языческий храм, мы не имеем, Ильин предполагает, что внешняя форма там играла первостепенную роль, ибо все эти святилища были объектом поклонения и, значит, рассчитывались на внешнее восприятие.

«Можно думать, что введение на Руси христианства не изменило отношение к сакральному сооружению. Именно по этой причине внутренняя пространственность византийского храма, взятого за образец, утратила свои свойства, в то время как внимание к внешней архитектурной форме сильнее всего возросло. Иными словами, в XII в. наши предки как бы вернулись к древнему пониманию архитектуры культового сооружения. Правда, христианский храм был рассчитан уже на внутреннее богослужение, он стал доступнее для рядовых прихожан, но все же в его архитектуре продолжала сказываться идея, восходящая к глубокой древности, – идея храма как объекта поклонения, как местопребывание божества. Подобное отношение к храму и определило известную безучастность и равнодушие зодчих к разработке внутреннего пространства и, наоборот, их повышенное внимание к внешней архитектурной форме. Последняя, как конкретная материальность, была ближе практическому мышлению русского человека эпохи средневековья, нежели достаточно абстрактное, скорее ощущаемое, нежели видимое, внутреннее пространство храма, отвечавшее абстрактному пониманию божества византийскими схоластами и мистиками». Стр. 93.

Вот с этой цитатой я решительно не согласен. Уж очень все просто и грубо. Если русские были ближе к язычеству, то почему

у нас не получила развития скульптура на манер родных идолов? (Как раз присутствие этих идолов в недалеком прошлом и потайном настоящем отталкивало от скульптуры.) И потом, не обязательно храму как местопребыванию божества и объекту поклонения быть великолепным. Тут возможен и обратный ход – к заведомой скромности, нивелированности вместилища. Например, Скиния, очевидно, была внешне довольно бледной. Местопребывание в первую голову характеризуется укромностью, сокровенностью. «Тогда сказал Соломон: Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле...» (Третья кн. Царств, 8, 12). Сдается, что и славянские капища-святилища не бросались в глаза роскошью внешней формы. Скорее всего, идолы жили в лесу, в пещере, в ямке. Это во-первых.

Во-вторых, преобладание архитектурной формы над внутренней пространственностью храма в русском зодчестве объясняется, возможно, идеей Покрова, преобладающей у нас и принявшей окраску национальной религии. Храм – как Покров. Внутри – не бесконечность пространства, не гармония сфер, а уютность, укромность. Наши предки имели привычку греться в церкви, хранить казну, спастись от злой осады. Войти в русский храм – в этом есть что-то от того, как мы влезаем под одеяло, накидываем шубу на голову. А шуба та – с Божьего плеча, и внешне ей, Покрову, надлежит блистать. Небо в звездах (крыльцо в Лядинах) – мы, строя собор, укутываемся в звездное небо и памятуем, что снежное убранство Зимы – это тоже покров.

Отсюда преимущественная декоративность русской архитектуры – отсюда (иногда в ущерб конструктивности): не как построить, а чем укрыться.

По всей видимости, к Покрову восходит (но не в полноте Покрова, а во внутренней уютности этой идеи) и лесковское православие, как он истолковывает его в замечательном рассказе «На краю света». Там по поводу одного чуда есть такое рассуждение (речь идет о том, как мальчик спасся от порки, забравшись в баню, под полоч):

«– Да ведь как я, Владыко, Его чувствовал-то! Как пришел-то Он, батюшка мой, отрадненький! удивил и обрадовал. Сам суди: всей вселенной Он не в обхват, а, видя ребячью скорбь, под банный полочек к мальчонке подполз в душе хлада тонка и за пазушкой обитал...»

Я вам должен признаться, что я более всяких представлений о божестве люблю этого нашего *русского Бога*, который творит себе обитель «за пазушкой». Тут, что нам господа греки ни толкуй и как ни доказывай, что мы им обязаны тем, что и Бога через них знаем, а не они нам Его открыли, – не в их пышном византийстве мы обрели Его в дыме каждений, а Он у нас свой, притоманный (собственный, домашний), и по-нашему, попросту, всюду ходит, и под банный полочек без ладана в душе хлада тонка проникнет, и за теплой пазухой голубком приборкается» (Н.С.Лесков, Собр. соч., т. V, стр. 465).

Тут, конечно, автор не удержался, чтобы не превознести педер «пышным византийством», хотя пышности у нас тоже хватало. Но если взять эту «пазушку», разукрасить ее сверху, с пониманием, Кто укрывает, мы и получим нашу архитектурную форму.

27 октября.

Я знаю, отчего вороны раскаркались: им было слишком темно на таком белом снегу.

Мы начали издавека – с сентября, с октября. (О зиме.)

В сказке о красоте и любви говорится: совсем не свой сделался. Нас тянет стать не своими. В этом суть.

– Ну конечно, внутри у меня все волнуется, а на лице ничего не видно. Говорю: ноги, мои ноги, несите мою задницу!

28 октября.

Как ты болеешь?! Как выздоравливаешь?! Я получил три письма, последнее – № 30, из которых – ужасное дело – такая температура, и знаешь, Маша, я тоже думаю, надо все бросить и ехать к доктору Усоскину*. В конце концов, договор на всякие кольца можно и отложить, а если нельзя, то пусть пропадет заказ, лишь бы здорова была, потом лучше наверстаешь, а деньги на поездку займи в долг. Все равно в таком состоянии ты не много наработаешь.

Умничка Эмма – тебя не оставила, ухаживает. И в зоопарк с Егором ходила. Это я ценю больше всего – заинтересованность и доброта. И никакого тщеславия.

А именинки в твоём описании*, со слегка грустным тоном, мне понравились. Потому что на пусть привыкают – и привыкать нечего: только приятно. Особенно Новый год: столик с анана-

сом, похожим на заморскую елку, и Машечка супротив, лучше этого, сколько ни думай, не придумаешь, и мне только жалко, что мы мало пользовались этим привалившим счастьем встречать Новый год вдвоем и приходилось отвлекаться на чьи-нибудь просьбы и зовы. Так что – все очень хорошо, моя родная жена! И нужно только поправить твоё здоровье.

А про травку* я хотел к твоему приезду, а вышло к возвращению. Но все равно похоже, и я доволен, что тебе тоже нравится мой интерес к нашим пенатам.

Ах как я – тебя!

Только смотри – не болей.

30 октября.

Знаешь, чем я занимался сегодня полдня? Писал поздравительные открытки. И не потому, что их много – всего четыре, – а потому, что надо же все разыскать – и открытки и марки, а это нелегко, тем более я забыл, что был переезд, и оказалось, что я не помню, где что лежит, и если ты в собственном доме не всегда можешь найти какую-нибудь книгу-бумагу, то каково мне, когда все рассовано по чемоданным щелям, а чемоданы по каптеркам, и обязательно забудешь, где что, особенно я сержусь, когда придет в голову написать тебе про Фаворского, например, и вот ищи-свищи какую-нибудь простенькую цитату. Так вот, я воспользовался, что у меня сегодня отгул за вчерашний ночной выход, и целый день шарил по ящикам и перетрясал узлы, пока все нашел, и все равно еще не все, потому что потерялся меньшутинский адрес, а открытку я уже написал, а он у них, кажись, в новой транскрипции, я куда-то записывал – но куда? – завтра буду искать.

А три открытки – тебе, Егору и Голомштоку я послал.

Вокруг очень много снега, и он все падает. Я знаю: так не бывает, чтобы не потаяло все в такую-то пору, но его так много насыпало, что затеплилась надежда на начавшуюся по-настоящему зиму, и вдруг такой слой не пробьет, и это уже навалило на полгода. Потому что очень не хочется, если все это потечет, то-то будет грязюка, а так – хорошо.

Так же, как свидания с тобою (ну не так же, но отчасти похоже), твои письма, когда придут, то открывают простор для разговоров с тобою; к ним все время возвращаешься, и вдруг оказыва-

ется масса вещей, о которых, в сплошной нежности, надо тебе поведать (так что тебе прямая выгода мне писать, получая за это с процентами), а когда ничего нет, то хотя отношусь по-прежнему, но язык от тоски немеет и сам себе становлюсь скушным и мерзким и, чтобы уйти от этого, принимаюсь лазить по книгам за какими-нибудь интересными ильинцами (про них еще не все написал, что стоило бы) и пересказывать тебе все это своими словами.

А вот сейчас, когда живая Машечка перед глазами, можно поговорить, о чем душа хочет, а до ильинцев мы еще дойдем, когда худо будет, и до Фаворского, пускай пока сидят и не мешают, будет срок, подопрет грусть-тоска, и за них примемся, а пока дайте наглядеться на мою Машу.

А помнишь, как мы ездили в автомобиле долго-долго и я держался за твою головку? (Вон еще когда – так давно – держался.) А ты мне очень давно не пела Каир, и я все забываю тебя об этом попросить.

Что Егор разевает пасть на все ящики, очень смешно. Но если он свой ящичек займет в самом деле чем-нибудь ценным, вроде каких-нибудь винтиков или картинок, и будет за ним ухаживать и его любить, может быть, ему за это потом подарить еще один ящичек? Но не сразу, а в качестве награды за хорошее отношение к милой вещи.

Из индусов не знаю, что выбрать. Ведь по одному звуку очень трудно определить, а названия довольно туманны и растяжимы. Возможно, двухтомник лучше, или путь к карме. Если б пять минут подержать в руках, сразу бы распознал. А может, кто-нибудь может подержать в руках – если не ты, то Лазик или Меньшутин.

Но если это дорого стоит, то покупать не надо! Потому что все-таки кот в мешке, да и нет такой уж нужды в индусах. Лучше Эфроса купить или Изборник, про которые я тебе писал в прошлый раз.

А я тут несколько разгружаюсь от книжек. Так, Уффици уже нет, и Гофмана нет. А это солидный вес и объем.

Еще я получил два журнала (третий раз) от Вики – молодец. А от тебя второй раз (и ты героиня) пришли тетради. Теперь мне их надолго хватит. А трубочки, интересно, ты посылала или нет? Это не к тому, что не обойдусь без них, а просто деловой вопрос.

31 октября.

Ну ты и скачешь, Маша! Вчера еще температура и сплошная безвыходность, а сегодня уже и шедевры пошли, и капустастики, и прочие бандероли... Хорошо – но не перебарщивай в скаканиях.

Получил 31-е письмо с билетиком на самодеятельного Маяковского*. Похоже. А я тут тоже читаю – «Чего же ты хочешь?» – и не пойму вопроса. Уже и продолжение прочитал (теперь только окончание осталось), и ты знаешь – это надо читать. Очень трогательно и все как в зеркале: автобиографический жанр. И тень читателя (к Ходасевичу пара) мелькает там и сям. Советую иметь в доме.

Еще я получил ватник, абсолютно новенький, приятного мышиного цвета и очень теплый.

Еще ты ужасно успокоила и приголубила этим письмом: отлегло от сердца (все-таки прыгаешь и чирикаешь), и потом, я очень старомодный в отношении к тебе.

Шедевром заинтригован*. Присылай фотографию. А потом – и живьем посмотреть.

1 ноября.

Вокруг сумасшедшая метель. Такого еще не бывало, и я не видел: ранняя зима. Представляю, как эта орава где-нибудь в декабре-январе, в насмешку над нами, потает. Но пока что мы рады. Все же не дождь.

Сосед через койку листает книжку, поплеывая на пальцы. Спокойный, тихий человек, но от этого поплеывания... Лучше, когда крик или грохот.

Интересно: семейная тайна* соблюдалась шестнадцать лет, пока дети – все девочки – не вышли замуж. Пятилетние хранили, вышедши, все до одной, рассказали мужьям.

К музейному делу. Пушкин в «Истории Петра» под 1718 г. написал: «6 февраля подновил указ о монстрах, указав приносить рождающихся уродов к комендантам городов, назнача плату за человеческие – по 10 р., за скотские – по 5, за птичие – по 3 (за мертвые); за живых же: за человеческий – по 100, за звериный – по 15, за птичий – по 7 руб. и проч. *Смотри указ.* Сам он был странный монарх!»

Из этой записи вышла «Восковая персона» Тынянова, который, конечно, не мог ее не знать. Станный монарх послужил

ключом к ostrанению. Да еще – из записи начала 1725 г. – об измене Екатерины, сделанной Пушкиным незадолго до смерти, что тоже странно.

Теперь – о Фаворском. Если не считать давнишнего зачина, то позапрошлый будет I, прошлый II, а этот III. Начну, как всегда с поправок.

В I: 1) «Внешне, в манере и технике исполнения, он мог работать традиционно». – Лучше эту фразу с абзаца.

2) «Роль Фаворского, роль зачинателя, поднявшего оформление книги на уровень современных эстетических запросов (*вместо – интересов*) и достижений большого искусства и добившегося в этом жанре поразительных результатов, определялась новым подходом к самой задаче (*и миссии – снять*) графика-иллюстратора».

3) «Фаворский строит книгу по образу и подобию дома, в котором произведение в сущности не оформляется, но обитает (*разместившись – снять*) со всеми удобствами...»

4) «Аналогии элементов книги с вестибюлем, дверью... подчеркивают этот преобладающий в его графике архитектурный подход (*вместо – принцип*)».

Во II: 1) «Его книга – это тоже своего рода *вещь*... предполагающая тесный (*вставить слово*) контакт с бытом и производством».

2) «Будучи равноправной вещью, его книга... впускает в свои границы (*вместо – пределы*)...»

3) «Продвигаясь по анфиладе страниц... проникаешься атмосферой, далекой от производства (*вместо – от инженерии*)...»

4) «Книга Фаворского в своих исходных моментах...» – с абзаца.

Теперь пойдем дальше. Но самое начало в () – не обязательно, и можно начинать сразу с: «Согласно его взглядам...»

(Произведениям и проблемам творчества Фаворского посвящен ряд исследований. Лучшие из них – вместе с его избранными работами и статьями, хроникой жизни и деятельности, библиографической справкой – составили прекрасно изданную недавно «Книгу о Владимире Фаворском» (М., «Искусство», 1967). Выполненная в его вкусе, она дает о художнике если не исчерпывающее, то достаточно широкое и очень точное представление, граничащее с иллюзией прямого контакта. Дар учеников и почитателей мастеру, знатоков и ревнителей книжного дела – книге.

Отсылая интересующихся его творческим наследием к этому изданию, нам хочется в той же связи задаться иными вопросами, касающимися природы книги, книги вообще, как позволяет ее ощутить Фаворский.) Согласно его взглядам, искусство снимает маски с примелькавшихся, привычных вещей и возвращает им изначальную образность. В этом смысле его графика добивается того же эффекта, придавая книге художественное лицо, которое заставляет воспринимать ее обостренно, как увиденный впервые предмет, в его чувственно-раздражающей, элементарной форме. Знакомясь с работами Фаворского, мы словно наново постигаем первообраз книги.

В критике не раз отмечалось, что Фаворский возродил утраченное к началу нынешнего века искусство ксилографии. При этом обнаружилась близость деревянной гравюры и книги, как бы созданных друг для друга и в этом союзе зазвучавших слитно, с удвоенной силой. Оказалось, что гравюра на дереве, с ее твердым, угловатым штрихом и скупой черно-белой гаммой, отвечает духу печатного слова и буквенному рисунку, что этот штрих и шрифт перекликаются и образуют нечто единое на белом листе бумаги, проявляющей, в свою очередь, родственную восприимчивость к сырому голосу дерева, к его пластике и фактуре. Исходный материал выступает ярче, отчетливей во взаимодействии этих слагаемых целостного произведения, книги, и сама она, осознав себя в материале, предстает более выпукло – резко очерченной вещью. Словом, ксилография помогает книге выявиться до конца, стать собою.

Искусство иллюстрации неизменно сталкивается с противоречием: словесный, поэтический образ отличен от изобразительной формы и в принципе непередадим на этот чуждый ему язык. Иллюстрация в какой-то мере всегда нарушает единство читательского восприятия, поскольку навязывает зрительное истолкование произведению писателя. Фаворский до возможных пределов устраняет это противоречие благодаря тому, что переводит графический образ в общее с литературным словом русло: и тот и другое оказываются необходимыми компонентами книги и в этом новом качестве на единой, книжной основе устанавливают между собою братские отношения. Иллюстрации не комментируют со стороны художественный текст, но вписываются в него на правах книжного знака. Они у Фаворского тяготеют в широком смысле к

букве, служащей подчас истоком, завязью графического изображения. Эмблематический характер многих его иллюстраций, представляющих собою как бы герб литературного произведения, их равнение на шрифт, умение встать на одну ногу с набором ведут к тому, что книжное искусство Фаворского уподобляется рисуночному письму, пиктографии. Оно помнит, что буква тоже была когда-то рисунком, и изъясняется на близком ей языке специфической изобразительной письменности. Неслучайно так часто его гравюры кажутся ожившими буквами, и недаром Фаворский показал себя прежде всего несравненным мастером книжного знака, создателем разнообразной геральдики, посредством которой книга закрепляет себя в нашем сознании, отстаивает свои законы, права и границы. Но и печатный текст, рядом с его гравюрами, выросшими из буквы, становится как будто крепче, чернее, зернистее, набухает скрытой в нем жизнью. Начинается спектакль, развернутый целиком и полностью в книжном измерении, с участием лиц и вещей особого, книжного мира.

3 ноября.

Машенька! Мне вчера сказали, что 30 октября пришла от тебя посылка и была отослана обратно: не сочли возможным задержать ее на один день, потому что через один день, 1 ноября, ее по новому закону уже должны были бы мне отдать. Поэтому прошу тебя выслать ее мне вторично: теперь уже нет никаких оснований возвращать ее – должны выдать.

С бандеролями установилось: две штуки в год, вес до 1 кг. Но можно – и продукты питания. Поэтому всего целесообразнее было бы первый раз выслать мне «Нескафе» – целиком бандероль. Но об этом я извещу тебя особо, скорее всего – в следующем письме, когда все окончательно прояснится.

Меньшутиным открытку я не послал и не пошлю, хотя адрес отыскался, – но уже поздно, да и после истории с посылкой, когда к одному дню придрались, я не хочу, чтобы придирались к открытке: обжегшись на молоке, приходится дуть на воду, и пусть они меня простят, что я их на сей раз не поздравил.

В остальном все обычно, только снег начал таять, и поэтому холоднее, промозглее. И писем от тебя новых пока нет.

4 ноября.

Зимой тяжелее жить. Но как важно, как сказочно жить зимой. Наверное, все-таки это любимое время года. А ты? А у мышей, должно быть, бывают свои драмы и водевили, и я сегодня видел, как два мыша гонялись друг за другом, выписывая восьмерки (так бежал Акакий Акакиевич в кинофильме «Шинель»), и одного только не пойму: зачем у них хвост?

В какой-то момент змей и Иван меняются местами, сами не заметив того. Так меняются местами похоть и ревность, месть и возмездие, кошки и мышки (о сказке).

В основе любого сюжета лежит подвох или обман. Поэтому так много сказок о лисе. В лисьей шкуре ходит дьявол-обманщик.

Зато в Древнем Египте, кроме астрального двойника «Ка», была душа «Ба». И она представлялась в виде птицы с человеческой головой. Вот как далеко летает птичка Сирин.

Писем опять нет. Не болей, Машечка. Целую тебя нежно и горячо. Напишите мне с Егорوشкой большое письмо.

А.

5 ноября 1969.



...к доктору Усоскину. – Доктор Илья Усокин, харьковский врач-гинеколог, друг доктора Эмиля Любошица, рекомендациям которого А.С. безоговорочно верил.

А именинки в твоём описании... – Я рассказывала А.С. про его день рождения: «Вчера был твой день, и, как положено в этот день, я прогулялась и туда, и сюда, а потом накупила всяких закусок и принимала твоих гостей. Был Игорь, Меньшутины, Эмка и Реформатские. Уложив Анюту спать, приехала Людочка, а Собакевич, когда она звала его с собой, рывкнул, что «пусть они привыкают обходиться без него». Ну что ж – его дело, и привыкнем. Привыкнем?»

А про травку... – Напоминаю, что травка – это не про наркотик, а про интим.

...письмо с билетиком на самодеятельного Маяковского. – Из моего письма: «В один прекрасный день друзья вывели меня в Театр на Таганке. Что же до театра, то смотрела я там капустник про Маяковского, называется «Послушайте!», разговаривают только цитатами, безбожно их накромсав и переврав, и играют в кубики с буквами, складывая из

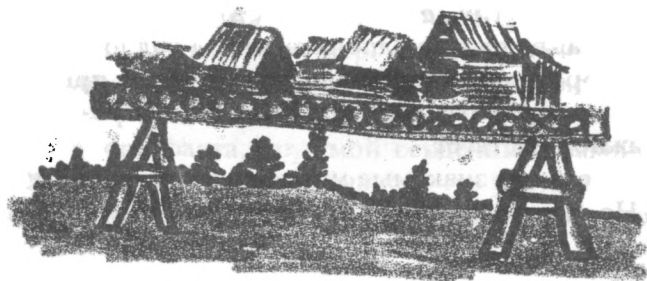
них пирамиды, пьедесталы, скамеечки и кровати. Такая же самодеятельность, как бригада Маяковского, но там хотя бы умели читать стихи. А здесь – не умеют. И Высоцкого не было – болен потому что. А зал неистовствует и абсолютно счастлив, и попала я по либеральной части на последний спектакль, ибо его снимают и до юбилея играть не будут, и правильно делают – с одной стороны, а с другой – я бы такое не снимала, а разрешила бы всем-всем-всем, и тогда бы публика быстренько всей этой самодеятельностью пресытилась и снобы ввели бы моду на что-нибудь сугубо традиционное, вроде Французской комедии или Малого театра.

Так уже было с мебелью, когда после бесконечного увлечения современными лаконичными формами полированных лавок и ящиков все кинулись на ампир красного дерева».

Шедевром заинтригован. – Я расхвасталась перед А.С. очередными ювелирными успехами.

...семейная тайна... – Эти письма были для А.С. не только местом встречи со мной, Егором и друзьями, но и самой главной записной книжкой: у писем все-таки было больше шансов сохраниться, чем у личных бумаг, которые в лагере периодически изымались, и всегда был страх, что не вернут.

А теперь сравните текст в письме: «Интересно: семейная тайна соблюдалась шестнадцать лет, пока дети – все девочки – не вышли замуж. Пятилетние хранили, вышедши, все до одной, рассказали мужьям», и как он модифицирован в «Голосе из хора»: «Прятался в погребке шестнадцать лет, пока зять не выдал. Семейная тайна соблюдалась – пока девочки (у него было пять дочерей) не вышли замуж. Пятилетние и двенадцатилетние – хранили молчание. Вышедши, – все до одной – рассказали мужьям».



ПИСЬМО ВОСЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТОЕ

А Егора, наверное, надо сводить не на мультфильмы, а на настоящее кино и посмотреть, что из этого выйдет. Конечно, я имею в виду не столько художественный, сколько хронику – про зверей или про путешествия. А если художественный, то что-нибудь вроде Тарзана или Трех мушкетеров. Потому что мультфильмы совсем не то и не кино вовсе, в котором самое главное – съемка подлинной жизни, как в окне поезда, подглядывание за жизнью. И интересно, как наш ребеночек примет это. А мультяшки – чистое развлечение, от которого остается обычно сюжет, но никакого познания, те же картинки из детской книжки, только движутся.

Еще хорошо бы ему за эту зиму – учебный год – выучиться читать. Пять лет – пора.

Это письмо, ненаглядная Машечка, я начал довольно поздно, 10 ноября на дворе, потому что только сегодня пришло от тебя два письма. <...>

Праздники прошли незаметно. Три дня выходных – большое дело. Да вот беда – радио на полную громкость, ни на минуту не выключается. В других секциях тише, а у нас любители шума подобрались и даже спать предпочитают под радио: – Крепче спится. А я, наоборот, даже читать не могу, строчки прыгают, и приходится их по многу раз перечитывать. Да и отрезанность от писем – неважно действует.

Сострадательные знакомые мне предложили воск, по примеру Одиссея. Но, вероятно, сирены пели не так громко.

10 ноября.

Опять все тает. Начинай сначала. А так было спокойно – зима. В нас есть что-то от медведей, лежащих в спячку, на долгий дрейф.

– Но будить сонного человека не советую! Сидит и рассуждает, что бы он делал и как бы жил, если б у него было пять жен. А у него и одной нету.

И наши души, взлетев к небесам, отвернутся от нас.

Жизнь человека как статуя: как бы она ни ветвилась, ее можно описать и поставить одним взглядом.

Во сне белая курица поднесла в лапе облупленное яйцо, и я его съел.

– Куцепалый.

Кошка умильно мяукает на дверную ручку.

– Братцы-кролики, помогите разгрузить машину.

Он был бы нам образцом, если б не шмыгал носом.

– Каждая могила стоит 4,50. Вырыть и возвести холмик.

Свет такой слабый, что хочется заболеть. Кашляни – и вылетят зубы.

Догадываюсь, как завтра с утра я стану удивляться бессилию этого вечера, и шевелюсь уже веселее.

12 ноября.

Опять ты меня, Маша, спасла от тоски (как раз в тот самый момент) и вызволила из мрака – с перстами пурпурными Эос. И я тобою горжусь и люблюсь. Это я про кольца*. Очень замечательно.

О кольцах же в сказках: как и всякими другими предметами (в этом разница невелика), ими очень удобно вызывать волшебных помощников – надо лишь с руки на руку перекинуть. Но есть и более персональные цитаты, передающие интимность кольца и роль в семейной жизни. Например: «живет купеческий сын у царевны: днем перстнем на руке, а ночью добрым молодцем на постели».

Помимо самого факта, друг мой сердечный, закон неразлучный (опять цитата), мне понравилось, что укрупненные формы и монументальность. Приятно, когда о таком маленьком так монументально сказано.

13 ноября.

Поздравляю Голомштока и Нину* с рождением ребеночка. Это я 33-е письмо получил. И распрекрасно, что мальчик. Мальчики нынче в редкость. Жаль, я поздравительную открытку послал, не зная об этом событии. И мне кажется, из Игоря выйдет замечательный отец. Широкий, не говоря о ласке.

Но с твоей стороны, Маша, чистейший садизм резать мозоли на расстоянии. И кто из нас дразнилка? И вообще это похоже на то, как обращались с Каштанкой. Про Каштанку понравилось. А Егор, значит, дома живет? Раз на него можно посмотреть, как он спит. Забыл, хотя спрашивал, поднимает ли он ручки вверх, когда спит, как бывало?

14 ноября.

Очень тепло и мокро. Даже лягушки начинают отмерзать и слабо шевелятся. А так они дремлют: анабиоз. Интересно, в анабиозе иной ход времени? И не там ли загадка возрастной консервации?

Слышал о человеке, не выкупавшем ларька, но не потому, что сэкономил деньги (работал без перекура и страдал, когда не было работы, но на зарплату не обращал никакого внимания), а потому что, по его словам, организм уже так приспособился и не надо его сбивать с рельс. Психофизиология низких температур. Экзистанс на дальних дистанциях.

Еще занимательна проблема пространства. Почему каждый самый маленький город имеет свой колорит, хотя архитектура, состав населения, возраст и обычаи могут быть идентичными? Возможно, все дело в границе? Очертите круг, и все начнется заново.

– Черноокая красавица – как будто грузила уголь, и на ресницах осела интересная пыль.

Не эротика – экзотика. Человек без штанов выглядит более странно и необычно, чем в штанах. Отсюда родился стиль: верхом на губернаторской дочке, та же Африка в бане, порнография, как источник фантастики, не возбуждающая ничего, кроме удивления: фокус.

– Как я посмотрел на бабу: форменно кукла. Да не до баб, не до кина: мене уже ищут.

Впереди – орел, клюющий грудь Прометея. А сзади?

Странно: человек вполне счастлив, когда забывает себя, не принадлежит себе. С самим собою – скучает. Средства заместить себя – работа, игра, искусство, любовь и т.д. Счастливейшие минуты – не помним себя, исчезли из собственных глаз. Сон без снов – синоним нирваны (Лермонтов: «Я б хотел забыться и заснуть»). Так же – бабочки. Дай мне исчезнуть в блеске Твоей славы.

«Я» – такая точка, что, без конца вопия «дай! дай!», тут же шепотом шарит, как от себя избавиться. Неустойчивое равновесие личности, пульсирующей между жизнью и смертью.

– И во сне все кому-то доказывал, что он не виновен.

Все-таки повезло: кто из людей не мечтает о романтической любви? Вот вам и дохлый лев.

14 ноября.

Однако надо подумать и об ильинцах. Их нетерпимость тем более поражает, что сам же Ильин, в противоречие с собственной деятельностью, провозглашал:

«Проклят от Бога, бессмертия, мира и всемирно-братской любви и от всех миротворцев и человеколюбцев тот человек, который защищает или сочиняет какую-либо религиозную перегородку (т.е. вражду) в человечестве». Но по части перегородок, пожалуй, на первом месте: «...Каждый из таковых седмиглавых (седмиглавый – семь соборов) и волкоагнчих христиан будет свергнут в неугасимый огненный провал за то только, зачем он принадлежал или родился в оном адском христианстве...» Особенно будет наказан «знатный класс людей седмиглавной веры» – монахи, попы, цари, вельможи (в том числе иконописцы), и из этого разряда уцелеют, возможно, «только благодетели» миротворцев.

По поводу будущей расправы сам же восклицает иронически: «Вот вам и спаситель мира!»

Признает любовь к ближнему лишь в пределах собственного братства. Называл себя «божьем разрушителем вер».

Ничего себе миротворец.

Тоже, чтобы закончить с Византийской литературой (I том). Григорий Назианзин (Богослов) (IV в.). Из надгробной речи

Василию Великому, архиепископу Кесарии Каппадокийской:

«Однако они знали, что и самый подвиг должен быть законным. А закон мученичества таков: не выходить на подвиг самовольно, щадя гонителей и немощных, а вышедши – не отступать; потому что первое есть дерзость, а второе трусость» (стр. 77).

(Забота – самовольным мученичеством не повредить мучителю.)

Василий Кесарийский (IV в.) «Девять бесед на Шестоднев».

Природа – учебник нравственности: «При виде осмысленных действий ласточек пусть никто не сетует на свою нищету и не отчаивается в своей жизни, хотя бы ничего не оставалось у него в доме» (стр. 49).

Кирилл Скифопольский (VI в.) «Житие святого Иоанна, епископа и молчальника Лавры преподобного Саввы».

Проблема стиля. Земля и Небо, просторечие и простодушие (ср. наш Аввакум).

Иоанн прибыл в Иерусалим и остановился в одной обители: «Видимо, особый смысл заключался в пребывании драгоценного отца нашего Иоанна в означенном приюте для старцев: однажды ночью, проведя немало времени в ночных молитвах богу, он пошел один в нужник того приюта и, взглянув на небо, видит вдруг свет похожей на крест звезды, движущейся к нему. И слышит он голос, исходящий от того света: «Если ты хочешь спасения, следуй за этим светом». И, доверясь голосу, Иоанн незамедлительно вышел и последовал за тем светом. И был свет ему путеводителем, и пришел Иоанн в великую лавру святого отца нашего Саввы» (стр. 180).

Иоанн Малала (VI в.). Летопись. О временах Троянских (рассказ о битве за Троию, но не совсем по Гомеру). Примитив, понимание красоты, дробность (по статьям) восприятия (описание других женщин по такому же стандарту-перечню): «А Гипподамия, или Брисенда, была высокая, белая, с красивой грудью, рядная, со сросшимися бровями, с красивым носом, с большими глазами, с тяжелыми веками, с вьющимися, рассыпанными по плечам волосами, веселого нрава, ей был 21 год. Увидев ее, Ахилл воспылал к ней страстью» (с. 188).

Каково – женщина с красивым носом.

Ссылается и на другие, не дошедшие до нас источники. Кстати, Ахилл говорит Приаму, по поводу его детей, в частности – Париса: «У того человека ведь была любовь к чужому добру. Ведь не за женщиной он гнался, а страстно желал сокровищ Пелона и Атрея» (стр. 195).

Я всегда подозревал, что дело там было не просто в женщине.

15 ноября.

Прежде, чем продолжать о Фаворском, три маленьких поправки.

1) В конце II-го: «...рисовать указующий перст с торжественной подписью “зри”». Лучше: «...рисовать указующий перст с торжественной подписью – *зри*».

2) В начале III. «В этом смысле его графика добивается того же эффекта ... как увиденный впервые предмет, в его чувственно-раздражающей, элементарной форме». Во избежание повторений (в дальнейшем будет) – «чувственно-раздражающей» – снять, оставив: «как увиденный впервые предмет, в его элементарной форме».

3) Последнюю фразу в III исправить так: «Начинается зрелище, развернутое целиком и полностью в книжном измерении, с участием личин и вещей особого, книжного мира».

После чего – дальше – IV.

Рассказывая о своей деятельности театрального декоратора, Фаворский отмечал, что стремился к двойному существованию вещей на сцене. Ему хотелось, «чтобы каждое изображение было простой сценической вещью – занавеска, кулисы, ширма, задник и т.п. Я стремился к тому, чтобы создавалась как бы образная метафора: занавес – дом, ширма – дерево и т.п.»¹.

Подобного рода изобразительными метафорами пользуется он и в книжной графике, где воспроизведенный предмет служит одновременно заставкой, концовкой, да и самостоятельная иллюстрация выполняется и размещается так, чтобы в нашем движении от страницы к странице не стать, по выражению художника, гирей, отягощающей сторонней аналогией восприятие литературного образа. Отсюда сдержанность и экономность Фаворского, его забота о том, чтобы вспомогательный, иллюстративный материал не забивал текст и, потеряв связь с

¹ Стр. 248.

композицией книги, не превратился в препятствие, о которое спотыкается глаз читателя. Поэтому, в частности, он избегает слишком подробной внешней характеристики персонажей, чрезмерной детализации, натуральной перспективы, которая спорила бы с глубиной книги.

Его фигуры обычно преувеличенно тверды, объемны, массивны и напоминают вырезанные из дерева скульптурные изображения. Деревянная природа гравюры заявляет о себе в полную силу, всякий раз давая понять, что мы находимся не в жизни, а в книге, и обуславливает сходство персонажей Фаворского с театром марионеток. В этом виде они ближе всего к непосредственному, книжному окружению. Будучи действующими лицами публикуемых произведений, его герои не перестают в то же время восприниматься до некоторой степени отвлеченными иероглифами, служить марионетками печатного текста, поддерживающими условный характер предлагаемого спектакля. В своем одеревенелом, гравированном состоянии, откровенно предъявленном зрителю, они живут интенсивной художественной жизнью, руководствуясь тем же расчетом, к которому прибегал Фаворский в создании театральных костюмов:

«...Основной принцип в костюме – принцип «остранения». Надо подать человеческую фигуру так, чтобы она во что бы то ни стало сделалась новой, острой, чувственно-раздражающей. Человек как бы превращается в вещь, поражающую своей сделанностью и элементарной чувственностью»¹.

В свое время критика писала о «граверном кубизме» Фаворского, называла его «Сезанном современной ксилографии»². Эти черты его стиля – утрированная объемность, нарочитый геометризм, стремление строить гравюру как многомерную, в нескольких планах раздвигающуюся проекцию, комбинацию нескольких срезов постигаемого бытия – удивительно остро дают почувство-

¹ Стр. 248.

² Стр. 26 (статья А.Эфроса; если на тексты Фаворского сноски не нужны, то на Эфроса (и Аллатова – в самом начале) они допустимы; можно в сноске указать, что статья Эфроса представляет собой самое раннее и наиболее глубокое истолкование графики Фав.).

³ Вариант: изумленные.

вать *структуру* книги и находят в ней подкрепление, новую мотивировку. Именно мир книги, спрессованный в стопку листков, ограниченный и растяжимый, чреватый множеством скрытых измерений и разворотов, становится умозрительной и физической формой, на которую накладывается, совпадая с ней, будто скроенное по той же модели, пластическое пространство доски, обработанной таким образом, что мы ощущаем слоистую толщину древесины, материальную плотность, вещественность и при всем том почти иератическую отрешенность гравюры, возведенной к элементарному типографскому знаку.

В этом плане, можно заметить, деревянные актеры иллюстраций Фаворского, похожие на кукол, на застывшие³ манекены, широко соотносятся с книгой в разных ее аспектах и, кажется, олицетворяют ее существо. В них тоже, как в печатной странице, в буквенном выражении, есть что-то отрешенное, отделенное от нас как будто незримой стеной и вместе с тем живое, пронзительное; грация и вместе – гротеск; строгая обязательность контура, пуританская аккуратность и чопорность, спесивая важность, торжественность и снисходящая к примитиву, азбучная наивность, лубочный инфантилизм. Пунктуальность в подсчете книжного реквизита сочетается с капризной фантазией, педантизм граничит с иронией, здравый смысл с мистификацией. К этим созданиям подошла бы приветственная речь в манере Н.Заболоцкого.

(Надо взять цитату из стихотворения Заболоцкого* «Хвала изобретателям», которого у меня нет. Кажется, подошла бы первая строфа строк в 8–12, – «и ты создатель соуса-пикан». Цитату хорошо бы оборвать на словах: «Бирюльки чудные...» – из второй или еще какой строфы.

За неимением этого стихотворения даю вариант из другого отрывка Заболоцкого, оказавшегося под рукой (это хуже «Хвалы изобретателям», но в принципе тоже подходит; но «Хвала» лучше по смыслу, ибо дальше пойдет речь об изобретении печатного станка Гутенбергом), – пастухи комментируют явление ангелов («День поэзии 1968», М., 1968, стр. 172):

– Возникновение этих фигурок
В чистом пространстве небосклона

Для меня более чем странно.
– Струи фонтана
Менее прозрачны, чем их крылья.
– Обратите внимание на изобилие
Пальмовых веток, которые они держат в своих руках.
– Некоторые из них в тувельках, другие в онучах...
– А я видал у бати книгу,
Где мужичок такой пернатый
Из пальцев сделанную фигу
Казал рукой продолговатой.
– Дурашка! Он благословлял народы!
– И эти тоже ангелочки
Благословляют, сняв порточки,
Земли возвышенные точки...

Цитата не должна быть все же чересчур велика – «саранча» в фант. реализме и «Как меня отбрили» в рококо немножко затянуты.)

17 ноября.

Машенька-голубушка! Получил от тебя вчера – первую в жизни! – посылку. Какая ты умничка, что сделала все, как я просил, и вообрази, какой подъем испытал я при виде этих сияющих по-рождественски пакетов, полных золотыми плодами, точно стеганое одеяло, из которого еще вытащила фляга с медом, и все ровным счетом 4 кг. 900 гр., и никаких придинок, и мы понесли это богатство, прижимая к сердцу, и устроили пир, и добыли свежего хлеба и мазали медом, и ужасно перемазались, и смеялись, как маленькие. А ты, судя по всему, еще до получения моего огорченного письма сама догадалась отправить вторично, и еще раз умница-разумница.

Кажется – во всяком случае пока нам так объявлено, – нам полагается одна посылка в год. Но до чего ж превосходно ее получить. На пятый год сидки.

Еще нам положены две бандероли, но только не с книгами, которые можно лишь через книготорг, а – с любыми продуктами можно. И если у тебя появятся деньги и можно достать «Нескафе» – сделай бандероль из него, целиком, вес 1 кг. Можно не спешить. Но желательно мне получить первую бандероль до Нового года.

Со свиданиями пока менее ясно: теоретически новое положение

ние вошло в силу с 1 ноября, и теоретически можно было бы взять личное свидание уже сейчас. Но практически – не известно. Вернее, компетентные на этот счет лица отвечают по-разному. По-видимому, будут еще разъяснения. Но думаю, нам с тобой нет нужды очень спешить – и март во всех отношениях (включая твоё здоровье), наверное, самое целесообразное.

Целую тебя в обе щеки. Но до чего ж приятно было увидеть посылочный мешочек с твоим родным почерком!..

18 ноября.

Не беспокойтесь: все индейцы, все пираты, все мушкетеры, которыми я не сделался, остались при мне...

Это я читаю Сабатини, пиратский роман о капитане Бладе, смешной и занимательный.

- Самое главное – правильно понять.
- Такая была человек!
- Все одеты в шляпах.
- Лечебный корпус санаторного типа.
- Послушали эту картину, и Обрыв Петрович, драп-марш!
- И каждый божий день он ходит морально убитый.
- Они были дубы – как львы.
- Делай как смешнее (поговорка).

Нужно уметь вить из фразы веревки. Я тебя люблю.

И я тоже мечтаю ходить с Егором в кино. И в театр. И в музей. И смотреть, как он все понимает. И воображаю, как бы это прекрасно было или как это будет.

Залезть за печку и слушать, как она гудит.

19 ноября.

Приятно, когда тихо в секции, а за окном серенький свет. И странно, что, просыпаясь, я всякий раз оказываюсь – я. На чем это держится?

Про Остин я слышал что-то хорошее, и вообще после Стивенсона почему-то показалось, что английская литература (из иностранных), может быть, самая богатая и интересная, хоть менее известна, но уж очень колорит уютный, и я заранее счастлив, как ты будешь нам с Егором читать эту музыку.

Мы даже не подозреваем, какими окольными запахами и ше-

лестами располагает искусство. Оно всегда действует на нас не прямо, а наискось.

Как, например, восхитительно в старинных романах звенят золотые монеты. Ими можно играть, они блестят, мы взвешиваем на руке кошелек и швыряем к ногам. Что бы делали те романисты с бумажными кредитками? Куда подевались бы Остров Сокровищ, и Том Сойер, и Дюма, если б в качестве награды служил тюфяк, набитый стодолларовыми квитанциями? Их шарм наполовину состоял из этого блеска и звона. Дублон, дукат («горстями бросали дукаты» даже футуристы). – «Я не дал бы и фартинга!» Эю. О чудная заумь...

И еще Егорычу будет полезно и поучительно посмотреть, как папа любит маму и обратно, и при семье (в полном смысле и составе) ему тоже должно больше перепасть. Не от меня персонально лишь – но от всех нас, взятых вместе.

У англичан, наверное, сильнее семейная и домашняя традиция, и они про это умеют писать со смаком (на какого дядю Элизабет посмотрела и в какое окно) – всякий там сверчок на печи, Шерлок Холмс, у камина, под крышей, как Робинзон Крузо построил домик, от этой семейственности – сентиментальная слеза.

Но пока что твои письма не хотят идти быстрее 23-х дней. Вот вчера, минуя 35-е, пришло 36-е, про Джейн Остин, пролежав в московском ящике уже 15 дней.

А ты мне почему-то не рассказывала, как падала в прошлую зиму, и я только сейчас узнал. Нехорошо.

И не падай, Машечка. И береги себя. Нежно обнимаю тебя.

А.

20 ноября 1969.



Это я про кольца. – А.С. получил фотографии нескольких моих колец.

Поздравляю Голомштока и Нину... – Из моего письма: «Вчера наш друг Голомшточек родил сына, о чем примчался сегодня рассказывать.

Собирается назвать его Вениамином. Выбор папахивает литературой, Томасом Манном и почему-то Фейхтвангером, а Голомшточек такой растерянный, перепуганный и бестолковый, что невероятно умили-

тельно на него смотреть.

Просидел у меня целый вечер и время от времени ходил в маленькую комнату: смотрел на спящего Егора. Посмотрит, повздыхает, а потом вернется в большую, сядет к столу, тяпнет и снова пускается в размышления: обрезать или не обрезать? Вот в чем вопрос...

Для себя я этот вопрос решила давно и положительно, и вот сейчас сижу, сунув ноги в горячую воду, пишу тебе письмо, а когда вода остынет, возьмусь за бритву и обрежу мозоли. Совсем они меня замучили последние дни. А ты со мной даже пререкаться на эту тему не сможешь, потому что ты далеко».

...из стихотворения Заболоцкого... – Синявский ошибся. Это не Заболоцкий, а Н.Олейников.



ПИСЬМО ДЕВЯНОСТОЕ

Любимые мои дети и звери, поздравляю вас с днями рождения – тебя, ангел мой Маша, и тебя, друг-Егор! <...>

А начать это делать сейчас у меня тем более есть настроение, что, придя из бани, я имею от вас два рассказа, на которые откликается и сердце, и душа – о том, во-первых, что Егор играет в снежки, а я про эти снежки спрашивал недавно в открытке, и вы, ничего не зная, отвечаете мне взаимностью.

И во-вторых, совершенно ослепительное письмо вчера про то, как вы ходили в цирк*, и я его читал, как художественную прозу, ужасно радуясь, и знаешь, Маша, ты одним взмахом, как всегда, превзошла этим цирком у Егора все кинофильмы, и как он спросил, а где экран, и что клоун больше всех понравился, интересно, а тебе тот клоун как, ведь он, кажется, пленил в свое время даже королеву. И вообще об этом цирке мне надо будет тебя расспросить подетальнее и чтобы ты изобразила в лицах, как это было.

Еще вчера, параллельно с твоим 38-м письмом, получил письмо от Игоря. Удивительно: послано на десять дней позже твоего, а пришли вместе. Письмо очень милое, про детские события и переживания, очень мне понятные, – растерянно-изумленное и остраненное, как дитя. И еще, читая, мне подумалось, что, может быть, Вениамин* хотя бы частично поможет мне восстановить, что такое ребеночек в три-четыре годика.

Но кроме этой лирики, самой настоящей и глубоко меня трогательной, и всяких ласковых и утешающих слов, там, в этом письме, есть для меня крайне любопытное упоминание о роли зеркал

в XV веке в понимании перспективы и пространства. И я, наострив ушки, слушал бы и просил, не будет ли Игорь так любезен рассказать мне об этом поподробнее, с изложением средневеково-ренессансных теорий и цитат (главное – цитат) на эту тему, и ты бы хорошо посодействовала, если тебя зеркала тоже интересуют. Меня – очень. Во всех трех смыслах. Ах, если б десяточек фактов-примеров-цитат на вопрос, что такое зеркало и в каких видах и рамках они бывали. Такой бы цветочек вышел. Что твой Бодлер*.

25 ноября.

Очень хочется идти с тобой по улице рядом и чтобы сверху и со всех сторон шел снег.

А у нас весь снег, к сожалению, сошел и новый не падает. Боюсь, как бы к Новому году нам не остаться без снега.

А в следующем письме я буду вас уже поздравлять с Новым годом.

Очень тепло, но это неприятно – какая-то тяжесть в воздухе и вялость в теле – и обидно, что тепло тратится без толку, – вместо лета. Сколько дней можно было бы обогреть, чтобы сидеть на травке и никто не мешал. А так – кому оно нужно?

– Что человек думает, то ничего не значит.

Домовому, говорят, оставляют еду в плошке на чердаке. Ту еду нельзя солить.

Из легенд апокрифического свойства.

В пасхальную ночь, как возгласят, в лесу над цветами папоротника вспыхивает огонь. (Дело происходит, по всей вероятности, где-то на юге.)

Апокриф: век Соломона. Соломон приписал к 1800 лишние 200 лет.

Когда сходил во ад – явился туда под видом нищего. Сатана, зная о предстоящем посещении, приготовил стул с цепями – схватить. Спросил, как же поймает, тот взялся показывать и сам уселся на свой стул. Тут он – во имя – и был закрещен и – аминь – закован. В официальной версии это не подтверждается. (Но все же надо в сюжете схождения посмотреть, не изображен ли Сатана на стуле скованным.)

А Егор, вероятно, ящичек, такой маленький и заветный, про-

менял на большой шкаф без особого удовольствия. Может, ему сверх программы – если научится сам убирать игрушки – еще и один ящичек в новом шкафу подарить?

27 ноября.

Тянет – о зеркалах, да нет никаких данных. Одна ртуть чего стоит. Жидкий металл. Ведь золото из нее делали, а получили – . Но какие они бывали, из чего еще производились, ничего не известно.

Нашел только, что в Древнем Египте на небо, окруженное водами, вход стерегло чудовище, именуемое «перевернутый лик». Очевидно, что-то сатанинское. Но нет ли тут зеркала?

И милую подробность – из иконописи. Волосы у ангелов перетянуты лентами – «тороки», «слухи», обозначавшие высшее ведение, знание. Архангелы же иногда держали в руках круглые зеркала. «...Ягда придет повеление от Господа, тогда слух вострепещет у архангела, и зрит он в зеркало, иже имать в руце, и обретает повеление ему от Господа в зеркале написано, якоже кто пишет на воде перстом... Сея ради вины имуть ангелы слухи и зеркала».

К сожалению, Корнилович («Окно в минувшее»), приводя эту сладкую цитату, не сообщает источника, откуда она взята.

Впрочем, в роли одностороннего телевизора, показывающего, где что в мире происходит, зеркало постоянно выступает в сказках.

Радуюсь и умиляюсь твоим прикладным успехам. Это к тому, что их можно рассматривать в увеличительное стекло, не теряя монументальности. Так бы и прижал тебя к сердцу.

А мне приснился огромный комар, ползущий по дереву вверх. Во сне я смотрел на него как бы в увеличительное стекло. Он был цветным. И я спросил во сне, к чему это снится, и никто не ответил.

Послал в два магазина длинные списки книг, чтобы попробовать эту «Книгу – почтой». Не уверен, что пришлют. Читать пока есть что. Но знаешь, – чисто психологически – нужна ниточка жизни, за которую держишься, чтобы, так сказать, не утратить связь с цивилизованным миром. Наивно, но это так. Вот и «Книга – почтой». Новый порядок с бандеролями заставляет, напри-

мер, крепче держаться за подписанные журналы. Радуетесь каждому новому номеру какой-нибудь «Знание – силы» как известию – «оттуда». Поэтому очень заинтересовало твое сообщение, что собираешься подписать меня еще на два журнала. Если – нет, через год я на них уже обязательно подпишусь.

Тут еще всякие редкие факты, вроде вышеназванных зеркал в руках у архангелов или перевернутого лика, нуждаются в постоянном собирательстве, коллекционировании. Не для эрудиции, а как самоцветные камушки нужны для изготовления колец и браслетов. Да?

28 ноября.

Самоцветный камень как скатерть-самобранка или меч-самосек: сам цветет.

Почему королева приятнее звучит, нежели королева? Только ли потому, что за ней королевское будущее? Или – прекрасный признак без обременительной власти, не должность, а только титул, не место, а человек?

– Тринадцать раз стрелял, но так его, значит, Господь оберегал, что он встал и ушел.

Одно время в лирической песне была в моде «хорошая». Ей соответствовала в деревенском жанре – «курносая». А в свое время курносой совсем другое именовалось.

– Пардон, хлопцы!

Колдун смотрит на воду и говорит: – Будет жить... Но лучше б его Господь прибрал.

– Что за привычка! Как баба выйдет – садись.

– Воет, как кобыла.

– Я человек надрывистый.

– Ну смотри, попадешь ты мне на горячий зуб!

– Просто по своей скромности я не решаюсь вас послать на три буквы.

– Бессвязный дурак.

– Люди, имеющие продажную кровь в своем теле.

Заговор (по Мельникову-Печерскому, «В лесах», т. 2, стр. 195):
«Встану я, раба божия Наталья, помолясь-благословясь, пойду во чисто поле под красное солнце, под светел месяц, под частые звезды, под полетные облаки. Стану я, раба божия, во чистом поле

на ровном месте, что на том ли на престоле, на Господнем... облаками облачусь, небесами покроюсь, на главу положу венец-солнце красное, подпояшусь светлыми збрями, обтычусь частыми звездами, что острыми стрелами... Небо, ты, небо!.. Ты, небо, видишь!.. Ты, небо, слышишь!.. Праведное солнце! благослови корни копати, цветы урвати, травы собирать!.. А на что их собираю, было б на то пригодно!.. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Мне этот текст – отождествлением себя со вселенной, как бы распространением себя на мироздание, что служит предварительным условием дела, напоминает ту корову, о которой нам рассказывали (корова, прежде чем ее найти, сделалась дорогой и лесом).

Породнившись с природой не иносказательно, а буквально, т.е. вытеснив и заместив себя ею, колдун и обретает магическую силу-знание-корень. Чтобы сорвать должный цветок, я становлюсь богом, взрастившим этот цветок. Языческая святость в том заговоре.

Возможные аналогии в сказке: платье в звездах, с солнцем и месяцем (я облакаюсь в мировой покров); это и есть волшебное платье, обеспечивающее героине успех (напр., Аф. 290). Но прежде чем победить в этом платье, ей надо скрыться в свином чехле – в своего рода иноческой рясе первобытного мира – исчезнуть в негативном состоянии золушки или чернавки, незнайки и неумойки, перейдя как бы временно в тот мир, и оттуда вдруг явиться и удивить платьем в частых звездах, с красным солнышком на груди, светлым месяцем на спине. Я – никто – всё.

Ср.: «...И божьим благоволением... распространился язык мой и бысть велик зело, потом и зубы быша велики, а ее и руки и ноги быша велики, посем весь широк стал и пространен, под небесем по всей земли распространился, а потом бог вместил в мя небо и землю и всю тварь». Житие Аввакума. М., 1960, с. 339.

И далее, по его же 5-й челобитной: «Видишь ли, самодержавие? ...ты, от здешнего своего царства в вечный свой дом пошедше, только возьмешь гроб и саван, аз же, присуждением вашим, не сподоблюся савана и гроба, но наги кости мои псами и птицами небесными растерзаны будут и по земле влачimy; так добро и любезно мне на земле лежати и светом одеянну и небом при-

крыту быти; небо мое, земля моя, свет мой и вся тварь...» (стр. 200).

Куда девается эта сквозящая точка – я?

30 ноября.

После длительного перерыва я вижу, что рисунок Егора – в письме ко мне – стал заметно осмысленней и тверже. Очень хорош дым из трубы в виде кнутика и человек, бредущий по улице. Но что это – не пойму – он больше пожарные машины изображает, всё с лестницами, хотя вроде бы на колесах, но пожара не видно, или это те, которые чинят провода на улицах, или просто трамваи? А еще у него получилось чудное слово «маап», в котором слились воедино мама и папа, и мне это очень нравится. <...>

А к соседке тебе надо относиться как к несколько помешавшейся на своей неполноценности даме, и относиться, как к больным, с большей снисходительностью. Я понимаю, – противно, но она же не дерется, а это уже плюс.

А когда ты пугаешься из-за какой-нибудь вернувшейся посылки, мне смешно и приятно – что ты меня принимаешь так близко к сердцу, и я от этого совершенно счастлив. Только ты не пугайся.

А еще я узнал научную новость, приятную для Игоря, да и не ему одному. Максимальный процент талантов рождается у отцов в возрасте примерно 38 лет. Возраст матери в образовании таланта не имеет значения.

Еще раз хвалю себя за то, что подписался на журнал «Знание – сила».

1 декабря.

Ничего не зная о предмете, мы составляем о нем представление по его словесному образу, по окраске и благоуханию имени. Таковы братья Grimm – не зная о них почти ничего конкретно, я представляю их близнецами, волос в волос, голос в голос, в толстых шерстяных чулках и фуфайках (возможны – камзолы) и в широкополых одинаковых шляпах. Допустимы также пудренные парики, треуголки. В них непременно есть что-то театральное. Фокусники, помесь доброты с чертовщиной.

Но как все зыбко! Врубель потерял бы половину обаяния, если б жил не в России, а в Польше. По-польски он – Воробей. Ку-

да бы подевались тогда его многоугольники, его прекрасные кристаллы?

2 декабря.

Довольно редкий случай влияния иконы на сказку. Незнайко побивает силу арапскую. «Король и королевны с городской стены смотрят да дивуются: “Что за витязь такой! Отколь взялся? Уж не Егорий ли Храбрый нам помогает”» (Аф., 295).

Сравнение с Егорием родилось, очевидно, как вторичная ассоциация: не герой похож на Егория, а группа зрителей на стене напомнила рассказчику композицию «Чуда о змие». Со зрителей это сходство перешло уже на Незнайку.

2 декабря.

С первого декабря немножко похолодало, и мы пришли в себя. А то в газете писали, что к середине месяца ожидаются грозы и ливневые дожди. Страшно подумать.

Забавный случай: одному родители прислали посылку – пять килограмм сливочного масла. Представляешь, какие терзания, проклятия, смех и слезы. Он-то просил кофе. Один мужик сказал на это: – Если б моя так сделала, я бы тотчас развелся.

А я опять мысленно похвалил мою Машу.

Приятно, что ты занимаешься таким параллельным делом, как всякие колечки и камушки. Это вроде реставрации и тоже рядом, под теплым боком. И, пожалуй, к лучшему получилось, что одна, без соавтора и никто не мешает.

Так и представляю: сидишь ты рядом и выпиливаешь колечко. Лучше сказать – вышиваешь.

3 декабря.

Даже географические сочинения древности художественны, поскольку с уст и глаз авторов не сходит изумление.

Не помню, писал ли я тебе – «О Мармореше» (текст датирован 1552 г. – М.Н.Тихомиров. Описание Тихомировского собрания рукописей. М., 1968). Мармореш – волость в Угорской земле, а вся рукопись представляет географию одного монастыря – «зовомый Занав»: «Да в том монастыре есть кладязь, а в нем вода сладка, что грушевый квас подсычен, и тот квас вся братия пьют, а

оприч того инех и квасов не пьют, ни держат, и гости тот же квас пьют, а вода в нем бела, а течет от колодезя тая же вода недалеко, а садится, как кисель, а черлено. Да есть и иные колодези близко того монастыря: ино как укус, а ино как кислые шти» (стр. 179).

Подобным способом, через предлог «а», можно описать всю землю подряд (и я тебе так пишу письма). Все просто и дивно, а речь идет, по-видимому, о минеральных водах, которые текли возле того монастыря. И вот уже география – биология земли, у которой вырастают сосцы (сохраняется еще более древний привкус Матери Сырой Земли), и минеральный источник граничит с чудом.

«Да близко того ж монастыря есть камень велик как дуга есть на перестрел, и подход под него как городовые ворота, концем лежит на месте, а другим на другом месте, а висят из него как человеческия титки и всякого скота, а из них каплет как млеко, а емлют то млеко и дают с солию всякому скоту, и ино млека много въздают, а ис которые титки каплет, ино тому скоту. А на верху того камни лес растет имя рек кедр, бугь, тис, ивор, грач и иное древие» (стр. 179).

Челобитная Василия *Полозова* (Э.Г.Чумаченко. Путешествие В.В.Полозова по странам Ближнего и Среднего Востока в 70-е годы XVII века. – «Палестинский сборник». Выпуск 15 (78). История и филология стран Ближнего Востока. М.; Л. 1966). Челобитная написана Полозовым после возвращения из чужих земель в 1676 г., где он провел 25 лет (попал в плен в 1651 г.), потом на каторгу, за освобождение с которой дал обет сходить в Иерусалим, – близка паломнической литературе.

«И он, турецкой салтан, по их извету, уведав, что живу я, Васка, у него, салтана, а в их бусорманскую веру не бусорманюсь...» (стр. 220).

В Иерусалиме: «А от гроба господня ходил я, Васка, смотреть пула земнаго, а пуп земный три сажени» (стр. 221).

«Да я же, Васка, ходил к древу, где привязан был овен на жертву Авраамлю вместо Исаака, сына его. И то древо стоит лето и зиму зелено. А ломают то древо, приходя, странники для благославения, а того древа не убывает» (222).

«А из Олександрии пошел к Содому и Гомору. А Содом и Гомор горит, немочно доитти до него, близко не пустит смрад.

И тут же близко Ноев ковчег стоит на горе высокой и на ту гору взотти немочно ни коими мерами» (стр. 224).

Никак не могу выяснить – что за пуп?

4 декабря.

Машечка! Я тебя люблю и хочу тебе на день рождения подарить изразец. (Мне показалось, что сказку лучше излагать изразцами, пока их не получится целая куча, а это первый.)

Из новинок цивилизации в сказке наибольшим успехом пользуется подзорная труба. В трубу наблюдают бой с балкона, высматривают в татарской степи Алешу Поповича, Тугарина Змеевича. Подзорной трубой измеряется дальность расстояния в сказке; с нею любой предмет достигает желанной и внушительной величины. Магия двояковыпуклых стекол пленила старого лапотника и вписалась в ансамбль дворцов из чистого золота, сапогов-скороходов, ковров-самолетов. Разгромленный Пугачев, укрывшись в царской палатке, на троне, при всех регалиях, не расставался с подзорной трубой. То была соломинка утопающего царя-самозванца, чудесная, из бабкиных сказок, палочка-выручалочка. Ах, если б ей в подкрепление случилась тогда под руками шапка-невидимка!..

5 декабря.

В связи с праздниками отправляю это письмо чуточку позже. На один день. А от тебя на сегодняшний день имею последним все то же Егорычево рисуночное письмо № 41. Написано оно 10 ноября. Почти месяц. Какая даль. От такой неопределенности не очень весело жить, и я по тебе очень скучаю и не знаю, когда ты приедешь. Завтра? (Вряд ли завтра – на воле еще выходной завтра-то.) Послезавтра? Или через месяц? Лучше бы, конечно, поближе. А как сказать? Далеко ведь очень. И не известно, здоровы вы сейчас и как и что у тебя.

Очень уж соскучился. Одним бы глазком посмотреть.

Вот еще деловую часть оставил под конец. Во-первых, мой почтовый адрес следует писать немного по-другому. Все то же самое, только – Учреждение ЖХ 385/3-1. А номер отряда не надо. Сразу фамилию, тут уж разберутся.

Меня учили: если есть во-первых, то должно быть – во-вто-

рых. Но совсем не обязательно. Во-вторых, всякие мелочи – что прислать или привезти – я лучше расскажу при встрече.

Будьте здоровы, детики.

Нежно вас люблю и целую.

А.

6 декабря 1969 г.



...как вы ходили в цирк... – Из моего письма: «Ура-ура и еще раз Ура! Потому что мы с Егором были в цирке. Билеты нам с большими трудами, потратив на это два дня целиком, достал Лазик, и до последней минуты было неясно – достанет или не достанет, и я Егору ничего заранее не говорила, а сегодня же суббота и он у бабушки, и вот я примчалась туда в два часа, а представление – в три, а Егорыч раздевался, чтобы поспать после обеда, и я сказала, что спанье отменяется и надо срочно одеваться, потому что – ЦИРК! – И вдруг Егорыч сделался пунцовым от волнения и покрылся капельками пота, и всё это без единого возгласа, абсолютно молчком.

А потом завертелся, засуетился, заторопился одеваться, не попадал руками в рукава, а ногами – в сапоги.

Ну, что было потом, и передать невозможно, ибо до зрелища Егор жутко озирался и все спрашивал, где же экран (киношный мальчик!), а когда *грохнула музыка и зажегся ослепительный свет*, то наш ребеночек прилип к моим коленям и не шевелясь просидел два отделения, и на лице его не было написано ничего.

Ты знаешь, это очень странно и даже непонятно, как это так и почему, только Егор в самом деле ни словом, ни жестом ни на что не реагировал, и мне даже казалось, что ему скучно.

Так иногда бывает, когда в первый раз ему что-нибудь читаешь, и я несколько раз во время действия пыталась с ним пообщаться, но безуспешно, но в ответ на возглас: «Представление окончено!», Егор меня спросил: – А когда мы еще раз пойдем в цирк?

А больше всего ему понравился клоун Олег Попов, и всю дорогу до дому ребеночек был чрезвычайно весел и чирикал, и не шел, а сплошь приплясывал и подпрыгивал».

Тут надо добавить, что слова курсивом – цитата из рассказа Абрама Терца «В цирке».

Вениамин – новорожденный сын Голомштока.

Что твой Бодлер. – Намек на статью «Цветы зла». См. примечание к письму 85.



ПИСЬМО ДЕВЯНОСТО ПЕРВОЕ

Как я начинаю день? Если выпадет снег за ночь, то я, придя, перелезаю во все грязное и, как Лев Толстой, с метелкой в руках, обмахиваю эстакаду. По белому полю всякие мышки и птички развели следы – до чего невинны эти следы – всякие, значит, пляски были у них на рассвете, жаль их заметать, вспоминая наши деревенские этюды, и как ты смеялась на их беготню, и кто ночью приходил к дому.

Всякий раз, отправив письмо, я угрызаюсь, что недостаточно в нем тебя приласкал и приголубил, и произношу в воздух монологи, начиная с начала и заверяя, что ты у меня будешь самой счастливой женщиной.

Тем временем в избушке растопили печку, можно и погреться, пока не подвезли груз. Светоний. Волчье лицо Цезаря. А там теплушка – наши часы. Дым, клубящиеся характеры Шекспира. Из трубы вылетали то Манфред, то сам король Лир. У нарисованного Егором человечка хороши волосы – в виде домика на голове.

– Что ты живого человека к чорту посылаешь?

Нищий старик с лицом Веспасиана.

7 декабря.

Поел супу, и стало легче. «Суп картофельный без мяса» – на банке этикетка. Смешное название. В том смысле, какие еще могут быть картофельные супы: без рыбы, без грибов.

(Тоже смешно, когда длинный список женщин попросил передать по радио балетную сцену «Вальпургиева ночь».)

Суп оказался вкусным, тем более заправленный другим сухим супом из посылочного пакета, не знаю уж каким, но определенно мясного состава.

А полегчало в связи с тем, что очень ждал сегодня тебя. Почему-то втемяшилось, что ты сегодня приедешь. Был очень красивый солнечный день. А я с утра шею помыл туалетным мылом (в другие дни тоже мою, но обыкновенным).

Письму про чернобурку*, что сегодня пришло, – я не очень-то смеялся.

Во-первых, я все искал, как здорова и когда собираешься, а оно 25 дней шло, и по нему ничего не видно.

Во-вторых, еще бы чего не придумала сумасшедшая соседка. Фантазия безгранична. Не спорь ты с нею. Разумеется, не по части лисы, а вообще.

8 декабря.

Отвлеченный вопрос Н.Ф.Федорову: если, допустим, мы воскресим тела, то как быть с душами и как их оттуда взять обратно?

– Человека два медсестры.

– На цырлах.

– У вас дочь есть, и вот она-то будет на кого-нибудь вешаться.

Попробовать все употреблять в будущем времени. Типа: я подойду и увижу. И вдруг прошлое – как удар по голове: увидел.

– Здорово, Валек, – говорю.

– А меня, – отвечает, – уже не Вальком звать.

...И просил, чтобы сеять вас как пшеницу (Лук. 22, 31). То есть просеивать в решете в расчете, что ничего не останется, все уйдут, все недостойные. А Он взял именно недостойных.

– Живет сам на сам.

Жизнь значительнее, чем мы думаем, да, значительнее, чем мы думаем.

9 декабря.

Светоний, говорят, в истории интересовался по преимуществу забавным и развлекательным и вот, в результате, собрал довольно много фактов, приоткрывающих древнейшие, доисторичес-

кие пласты, аналогию которым мы находим, может быть, только в сказках.

Исследователь с легким оттенком презрения замечает, что важное у Светония подчас упущено, а неважное, ради занимательности, выпячено. Но мне-то в этой анекдотической породе видны как раз искорки никакими иными путями недостижимой жизни: «Решающее сражение сицилийской войны интересно для него тем, что Октавиан перед боем спал непробудным сном», – посмеивается исследователь (М.Л.Гаспаров, «Светоний и его книга» – в послесловии к изданию). И пусть посмеивается. Посмотрим это место сицилийской войны, когда Август разбил Помпея в морском сражении между Милами и Навлохом: «Перед самым сражением его внезапно охватил такой крепкий сон, что друзьям пришлось будить его, чтобы дать сигнал к бою» (Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. М.: «Наука», 1966, стр. 40).

А я вспоминаю, что в сказке герой имеет привычку непробудно засыпать перед боем или другим ответственным делом, так что бедной царевне только горячей звездой-слезой удастся добудиться.

Несмотря на всю науку, даже очень правильную, никак не могу освободиться от привычки рассматривать сказку как реальность. Смотрю на того же Божественного Августа и вижу: «Тело его, говорят, было покрыто на груди и на животе родимыми пятнами, напоминавшими видом, числом и расположением звезды Большой Медведицы...» (стр. 65).

А мне вспомнился сказочный сын, у которого на спине светел месяц, а по бокам часты звезды – словом, весь гороскоп отпечатан на теле. Вот куда приводит никому не нужная родинка.

10 декабря.

Светоний – к сказке. Насколько Мать Сыра Земля была когда-то реальным понятием. В главе «Божественный Юлий» среди знамений Юлию Цезарю, напороочивших ему императорскую власть:

«На следующую ночь его смутил сон – ему привиделось, будто он насилует собственную мать; но толкователи еще больше возбу-

дили его надежды, заявив, что сон предвещает ему власть над всем миром, так как мать, которую он видел под собой, есть не что иное, как земля, почитаемая родительницей всего живого» (стр.7).

А к числу змеев, соблазвивших женщин, и рожденных от змея царей и героев, и к божественной природе змея надо прибавить эпизод из знамений Божественному Августу:

«У Асклеиада Мендетского в «Рассуждениях о богах» я прочитал, что Атия (мать Августа) однажды в полночь пришла для торжественного богослужения в храм Аполлона и осталась там спать в своих носилках... и тут к ней внезапно скользнул змей, побыл с нею и скоро уполз, а она, проснувшись, совершила очищение, как после соития с мужем. С этих пор на теле у нее появилось пятно в виде змеи, от которого она никак не могла избавиться, и потому больше никогда не ходила в общие бани; а девять месяцев спустя родился Август и был по этой причине признан сыном Аполлона. Эта же Атия незадолго до его рождения видела сон, будто ее внутренности возносятся ввысь, застилая и землю и небо; а ее мужу Октавию приснилось, будто из чрева Атии исходит сияние солнца» (стр. 70).

Кстати, какие бывают сны. Одному знакомому приснилась незнакомая пара – мужчина и женщина, и вот изо рта у женщины выползла змея и, укусив мужчину в щеку, скрылась обратно. А тот и не заметил.

Мне ничего такого не снится. Но сегодня очень много снилась собака, типа Осички, которая вокруг меня бегала. А вечером я получил два твоих письма.

11 декабря.

То были письма № 43 и № 44, в которых ты рассказываешь про сумасшедшую соседку с ее «манией ущерба»*, и с фотографией Егора – очень печальной и очень хорошей. Мне вас жалко и тревожно, и хорошо бы все-таки второй раз не меняться. Во всей этой невеселой истории я улыбнулся лишь на одну деталь – буквальное истолкование текста* «От вора нет запора». Похоже.

А Егорычев Гоголь-моголь* напомнил, что пора бы ему о Гоголе знать что-нибудь еще сверх этого и на шестом году мож-

но б ему вслух почитать «Ночь перед Рождеством». Не говоря о том, как это сладко, когда ты читаешь, и я жажду послушать тебя хотя бы через Егора, очень интересно слушать чтение вслух с продолжением, когда знаешь, что завтра вечером мы опять сядем на то же место и родной голос поведет повествование дальше, это как театр на дому и все волшебство уюта, семьи и очага. Не только обедаем, но слушаем с продолжением сказки.

А Егору пора потихоньку от стихов и считалок перейти на серьезную, т.е. сюжетную, прозу со всякими интригами и поворотами, когда дух захватывает, а что дальше будет.

Во всяком случае, когда мы начнем жить все вместе, ты будешь нашим домашним чтецом, по вечерам (читать надо по вечерам), под лампой и под кукушкой.

От этих предложений не могу удержаться, чтобы сейчас уже не поздравить вас со скорым Новым годом и Рождеством – с новым счастьем, мои любимые!

12 декабря.

С Новым годом! С Новым счастьем! У нас к этому времени все же возобладала зима, и земля и деревья стали блее неба и стоят как страусовые опахала. И лес похож на шапку Мономаха.

– Извините за вопрос, у тебя хозяйка кем работает?

– Искусствоведом.

– А она не артистка случайно? По телевизору недавно вроде ее показывали...

– Нет, не артистка...

Машечка, это не тебя показывали по телевизору? Но где тебя тогда искать? Наверное, тебе следовало послать телеграмму, почему не приехала и когда тебя ждать. А то я об этом узнаю лишь через месяц.

Из таких же забавных реплик – серьезно и с сочувствием, когда заметаю пол в избушке:

– Если будете работать официантом, может пригодиться.

Пензюков дразнят толстопятыми.

– Не разевай рот шире лаптя!

– А как уличная фамилия!

– Смотрю, давит на меня косяка.

– Замочили троих.

– Уют и теплота рождают новые мысли.

А мне нравятся старые, традиционные поговорки: «Волка ноги кормят» и «Грозен сон, да милостив Бог».

13 декабря.

Кстати, в снах – не в моих, но в некоторых, выдающихся, несомненно мелькают реликты сказки. Например, о змиях. Приснилось: сижу на печке (рассказчик и спал на печи), а в дверь вползает змея, но не простая – на лапах: ящер. Хам! – и старшую сестру проглотила, только брызги. Потом подняла голову, и тут я встретился с нею взглядом и от ужаса проснулся. Мать сказала: «Отче наш» на ночь читал. Через двенадцать лет исполнилось.

А потом та же змея, свесившись с потолка; боролись, и он ее с большим трудом задушил – готово? – спросил черный человек с портфелем – готово! – но успела укусить в ногу, и старшая сестра, к тому времени уже покойная, высосала яд из раны.

Или – о подземном царстве, в точности совпадающем с представлениями сказки. Провалился в колодец и «долго летел, пока не упал в другой мир» (я даже вздрогнул – так точно). А там – с интонацией недоумения – такой же свет, и реки текут, и все то же самое.

А жаль, Маша, что мы не побывали с тобою в городе Абакане. Это почище Перми. Помимо той книжечки, что я тебе подарил когда-то, в последнем номере «Д.И.» есть статеечка местного энтузиаста, где очень провинциально и правильно воскликнуто, что наше собрание каменных идолов позначительнее острова Пасхи, и как же можно гибнуть такому сокровищу.

Вот я и подумал, как же не съездить на этот остров Пасхи, а скульптура, действительно, была ближе к куклам. И меня в этом еще убедил римский обычай лектистарний (угощения богов), при которых статуи богов возлагались на подушки и перед ними ставились столы с едой.

Статуи были взрослыми куклами.

В противоположность снам, – где просвечивает реальность, – забавная история о каком-то любителе гашиша или чего-то еще, который видел всякие чудеса и порывался записать свои ощущения, с пробуждением испарявшиеся, но, по его словам, содержащие всю тайну бытия. И вот однажды, собравшись с силами, за-

писал – одной фразой всю тайну – и, когда пришел в себя, прочел: «Повсюду пахнет нефтью».

Дух повсюду. Но под корой. Нужно пробить дыру. И тогда – фонтан.

(Наверное, по ассоциации с нефтью – но наоборот.)

14 декабря.

Почему ты не едешь и не пишешь?

Сперва я пробовал утешить себя тем, что сейчас очень уж скользко и мокро и тебе было бы трудно передвигаться по такой погоде, и ничего, что ты опаздываешь на несколько дней. Потом сделалось очень уж холодно, и я боялся, что ты замерзнешь и простудишься в пути, и можно было бы подождать еще немножко. Но сейчас пошел мелкий снежок и щекочет лицо, и с ним мороз приобрел обычную зимнюю форму, и нечем отговаривать себя. <...>

Развернутая фраза со всеми придаточными не есть ли сундук, в котором утка, а в утке заяц, а в зайце яйцо, а в яйце смерть Коцея Бессмертного или любовь Елены Прекрасной, не есть ли, короче, эта фраза матрешка, посредством всяческих «которых» и «что» сворачивающаяся клубочком и бегущая вглубь, наполняя свое громадное, составленное из стольких слагаемых тело тихим светом, загоревшимся, как фонарик, внутри, в сердцевине, откуда, которая, где, потому что, еще раз которая, и если не, то тó будет и тó?

Или она строится так, чтобы время шло в ней навстречу и события происходили заранее, не в виде лишь подготовки и последовательного развития, но неуклонным наползанием по ходу фразы с ее периодами, и она забегала бы, и в том забегании заключалась бы речь и фабула?

– Голос и есть истинное тело души, и он, голос, змеится.

– Разговор по телефону. Ее голос отделялся от нее и вился у моего уха. Он обнимал меня за голову и был телом, отделившимся от души, и что она ни плела им – и милый! и вы так думаете? – по телефонному проводу. Застрахованная, приближенная, дальше некуда, как она пела, сирена, искусительница, недо-трога.

– Нам даже женский голос по радио был сладок, как яблоко.

– Он дал нам время – чтобы собраться с мыслями.

Пороги холода для выскочившей души. Нагишом. Как холодно. С открытым ртом. Глотая воздух. Тонны воздуха.

«...» «На краю Севера»: Север – центр, вокруг которого вращается вселенная (Полярная звезда), престол Божий (Ис. 14).

Что такое лес?

Лес – это море, где, кто, куда...

Что такое лес?

Лес – это город, который, у которого, за которым...

Что такое лес?

Лес – это небо, благодаря чему, оттого что, за неимением, будто...

Что такое лес?

Лес – это лес.

16 декабря.

Всю магию природы я испытал – и паучков у печки, забегающих прямо в рукав, и птичек, что, несмотря на морозы, какают прямо на голову, – а письма нет как нет. И поболеть успел за это время чем-то немного гриппозным, и выздороветь – опять ничего.

Наконец отпустило: пришло два письма и сразу – еще два. «...»

Собачку получил, красивая. Совпадения тоже – ушки затыкать Одиссеевым методом. Лучше бы их не было. Опечалила меня эта соседка. Сколько можно! Как воз в гору.

А про электромагнитное поле* ты правильно написала. Это всего труднее, когда направленное. Бывает, даже хорошие люди, но излучают на тебя такое направленное поле, что рядом невозможно долго находиться. И вроде бы не мешает, не пристает с разговорами, но так направленно молчит, что, читая, строчки сливаются и ничего не понимаешь и хочется сказать: уйди ты с глаз долой! А когда злой человек специально направляет на нас свое поле – и говорит с другим, но для тебя, и радио включает для тебя, и мимо проходит туда-сюда, только чтоб тебе досадить, – остается одно: уйти, когда есть куда.

Беспокоюсь за твою психологию, Машечка. Не развинтись ты с этим сумасшедшим окружением. Помни про свой огородик: ты,

я и Егор, и копай свои грядки. Только так и можно прожить, огородившись любовью.

А я про тебя непрерывно думаю, и это спасает. Ну, снег иногда еще пойдет. Но это тоже от тебя и с тобою.

Я с тобой согласен насчет детских книжек. И не только потому, что мне приятно с тобой соглашаться по всем вопросам, но и так уж, наверно, устроено, что у нас не может быть разногласий.

Тем более – по вкусам, кому что нравится в изящном искусстве. Это еще в начале могло, когда я с Гогеном, а ты с Коровиным. Но и тогда ведь я к Коровину неплохо относился, а за Гогена не очень держался. А потом – в одну картинку носом. И каждая картинка, на которую смотрю в одиночестве, протягивает ручки и ждет тебя в объятья.

Поэтому какая меня может интересовать информация и какая, добавим, теория относительности? Фильмы-то про зверей. Или про дворцы. Не про автомобили же. Исходя из специфики жанра. Как фотография. Что мы будем фотографировать? Милую натуру. Но если сперва рисовать на бумажке, а потом фотографировать (принцип мультфильма), то кому нужна эта двойная работа?

А я часто вспоминаю, как ты ходишь. Просто по улице. Но не в платье, а в шубе. И консервную банку надала. Это очень похоже. Детские чулки. Я тебя очень полюбил за детские чулки.

Ты не обижайся, что мои письма уменьшились в размерах. Просто раньше – летом – легче было писать. А сейчас под радио очень трудно. Чтобы написать что-нибудь интересное про Фаворского, нужно очень сосредоточиться. Ведь все дело в сосредоточении. А как без него?

Во-вторых, твои письма стали хуже и реже идти. Так что и тут не всегда есть, на что откликаться.

Читаю, правда, много. Но я все же стесняюсь слишком заполнять тебя чтением и разными цитатами. И стараюсь в этом соблюдать какую-то меру. Чтобы тебе не наскучить и не разонравиться. Потому что я ужасно как с тобою цацкаюсь и во всем к тебе примеряюсь. Сплошная примерка. Это выглядит так, как если бы ты сидела, а я бы к тебе подходил то с одного бока, то с другого. То цветочек поднесу, то какую-нибудь булку. То с портрета, то с интерьера. В непрестанном ухаживанье.

Когда поедешь ко мне, если не на общее, то на личное свидание, привези непременно трубочек для шариковой ручки. Таких или сяких. А если никаких трубочек не найдешь, привези мне авторучку. Желательно, чтобы писала помягче. И можешь ее наполнить чернилами. А то у меня остались только две трубки. И я не знаю, как с ними дотяну до марта.

20 декабря.

Понимаешь, дело даже не в том, что ты мне какие-то новости напишешь, а просто получение письма – само по себе получение – позволяет долго-долго разговаривать с тобой, и никак не оторвешься. Поэтому без писем я хил и скуден, а с письмами оживляюсь.

Вот и сегодня. Сегодня воскресенье, и поэтому я к тебе задержался на один день, и, имея этот день в запасе, что же я делаю? – я его заполняю письмом к тебе, которое, в сущности, кончилось еще вчера, потому что я про все уже написал и даже думал поставить точку. Ан нет, не выходит. Оттого что подпирает. А именно те четыре письма подпирают. Поскольку твоя фигура возникает из них и я к ней привязываюсь взглядом, и начинаю толковать, и не могу остановиться. Вот как получается (а ты как думала?). И все по новой.

– Все хотел до матери доехать. Четыре, говорит, раза, ехал напрасно. Только бы, говорит, до матери. В пятый раз поеду.

– Портсигар пластмассовый: положишь сигарету – дырку прожжет.

Прибежали дети: – Тятя, тятя, в пруду плавают брюки управляющего. – Начали тянуть брюки, а в них сам управляющий.

Хорошее слово: «каустик».

Все шло нормально: утром было весело, вечером грустно.

– Прокаженная морда.

У костра: – Пускай поживут, помечтают...

– Я ему говорю: Не ходи, Василий Иванович. А что было делать?

Любовь к ночи за избытком света, слушание (подслепова-
тость) пейзажа. Одеться небом, как по ковровой дорожке. Еще
ничего не зная: – Где мой учитель?

– Его рука отсохнет вместе с моей.

– Возьми палочку в руки и иди, и иди...

– Жаждал работать. Потому что это как во сне, когда работаешь. Потому что меня нет, когда я работаю.

21 декабря.

Начинается ваша неделя, мои золотые. И я буду с вами ее праздновать. Только вы не болейте, и справляйтесь, и справляйте.

Думал еще пописать вам письмо, да пришел груз – в воскресенье. Мороз. Вечер. Валенки. Ватные брюки. Настоящая зима. Еще вас обнимаю и поздравляю. Снег.

Целую нежно и долго.

А.

21 декабря 1969.



Письму про чернобурку... буквальное истолкование текста... – Осенью 1969 года у меня начался новый цикл квартирных приключений: «Я – в трансе и в отчаянии и совершенно не представляю, что делать? а все кругом хохочут, держась за животы, и ты тоже сядь поплотнее, чтобы не упасть со стула от смеху, одной только мне совсем не смешно.

А произошло следующее: звонит это Лидия как-то мне, а меня нет дома, и соседка по обыкновению норовит с ней поболтать, и в процессе беседы спрашивает:

– Лидия Ивановна! А давно ли вы знаете Марию Васильевну?

– Да лет 20, – бодро соврала Лидия.

– И хорошо ли вы ее знаете?

– Как облупленную, – был смысл Лидинога ответа.

– А была ли у нее чернобурка?

– Никогда в жизни. А что?

– Да вот у меня подменили чернобурку, и я думаю, что это М.В.

(Знаешь ли ты, что такое «ЧЕРНОБУРКА»? Эта такая черная лиса с густой проседью. Была в моде после войны. Стоит дорого.)

Ну, раз такое «ЧП», договорилась Лидия с ней о встрече, вроде бы по секрету от меня, и эта зараза ей поведала следующее:

1) Что я летом забралась к ней в комнату через три двери и шесть замков.

2) Что, забравшись, я заменила ее роскошную чернобурку на свою

гадкую (и с этими словами она трясла перед Лидией шикарнейшей лисой).

3) Что сделала я это не для обогащения, потому что я и так очень богата, а просто у меня не удалась личная жизнь, и поэтому я очень злая и очень ей завидую. Вот и подменила, чтобы насолить.

4) А все замки я открыла-закрыла теми ключами, которые были сфотографированы в журнале и где про меня так прямо было и написано, что от вора нет запора.

Вот такая веселая история. И вот две бабы (Лидия, а на следующий день Паола) пытались ей толковать, что написанное надо уметь читать и нельзя понимать так, как она это делает, что читать надо всю статью и нельзя вырывать один заголовок, что это статья, т.е. литература, т.е. почти беллетристика, а эта ведьма упрямо твердила одно:

– Там же написано: Розанова «От вора нет запора» – значит, про нее. И лиса-то не моя! Не моя лиса! Пусть отдает мою лису!

Тебе весело? Мне тоже, только эта зараза бродит по коридору и во весь голос сама с собой разговаривает про чернобурку, совесть и прочие предметы. И где-нибудь часа в три ночи, по пути в сортир, она издает под моей дверью истошный вопль:

– И кто бы мог подумать, что человек такой обеспеченный, загибающий такие деньги, польстится на мою чернобурку!

...с ее «манией ущерб»... – При ближайшем рассмотрении оказалось, что моя соседка Юличка с 1932 года состояла на учете в психдиспансере, и «мания ущерб» – это не метафора, а диагноз.

...Егорычев Гоголь-моголь... – «На днях он разговорился со мной про памятники и сказал, что знает только памятник Пушкина, Гоголя и Горького. Ну, я ему напомнила про дядю Маяковского и про Юрку, что на коне, и вдруг он мне говорит:

– А правда, Гоголь очень интересные слова писал?

– Очень, Егорушка, интересные, только откуда ты про это знаешь и какие?

– Гоголь-моголь...»

...про электромагнитное поле... – «Сейчас прихожу на Пятницкую только ночевать. Удастся мне это с трудом, ибо затычки – затычками, а ведьма – ведьмою. И свое дело по измору соседей она знает, и исходит от нее мощнейшее электромагнитное поле, попав в которое, я чувствую себя ужасно скверно.

Теперь она играет на рояле гаммы на всю длину клавиатуры и поет при каждой ноте такой текст:

аккомпанемент: до-ре-ми-фа-соль-ля-си-до...

слова песни: вор-вор-вор-вор-вор-вор-вор-вор и т. д.

И опять получается страшный шум, но самое тяжелое, это когда шум *специально* направлен на тебя. Понимаешь, как если бы кто-нибудь, зная, что тебе мешает радио, завел бы себе транзистор и ходил бы с ним за тобой, не отходя ни на шаг.

Вот так все и получается в моей молодой и прекрасной жизни».



Жил на свете Та-ра-кан!

СОДЕРЖАНИЕ

1968

Письмо сорок четвертое	7
Письмо сорок пятое	16
Письмо сорок шестое	27
Письмо сорок седьмое	43
Письмо сорок восьмое	57
Письмо сорок девятое	70
Письмо пятидесятое	82
Письмо пятьдесят первое	94
Письмо пятьдесят второе	106
Письмо пятьдесят третье	117
Письмо пятьдесят четвертое	128
Письмо пятьдесят пятое	140
Письмо пятьдесят шестое	151
Письмо пятьдесят седьмое	163
Письмо пятьдесят восьмое	174
Письмо пятьдесят девятое	187
Письмо шестидесятое	196
Письмо шестьдесят первое	204
Письмо шестьдесят второе	211
Письмо шестьдесят третье	219
Письмо шестьдесят четвертое	226
Письмо шестьдесят пятое	239
Письмо шестьдесят шестое	251
Письмо шестьдесят седьмое	263

1969

Письмо шестьдесят восьмое	275
Письмо шестьдесят девятое	285
Письмо семидесятое	295
Письмо семьдесят первое	306
Письмо семьдесят второе	319
Письмо семьдесят третье	328
Письмо семьдесят четвертое	339
Письмо семьдесят пятое	350
Письмо семьдесят шестое	360
Письмо семьдесят седьмое	369
Письмо семьдесят восьмое	377
Письмо семьдесят девятое	388
Письмо восьмидесятое	398
Письмо восемьдесят первое	409
Письмо восемьдесят второе	425
Письмо восемьдесят третье	441
Письмо восемьдесят четвертое	457
Письмо восемьдесят пятое	474
Письмо восемьдесят шестое	494
Письмо восемьдесят седьмое	510
Письмо восемьдесят восьмое	524
Письмо восемьдесят девятое	538
Письмо девяностое	550
Письмо девяносто первое	561

Синявский Андрей Донатович

127 ПИСЕМ О ЛЮБВИ

В трех томах

ТОМ 2

Редакторы *И. Парина, В. Кочетов*

Корректор *Л. Кочетова*

Компьютерная верстка *Г. Егорова*

ИД № 03974 от 12.02.01 г.

Подписано в печать 21.08.04. Формат 60x84/16
Печать офсетная. Гарнитура «NewBaskervilleС»
Усл.-печ. л. 30,24. Тираж 1500 экз. Заказ № 4117.

Издательство «АГРАФ»
129344, Москва,
Енисейская ул., д. 2, стр. 2
e-mail: agraf.ltd@ru.net
<http://www.ru.net/~agraf.ltd>

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
на ОАО «Дом печати-ВЯТКА»
610033, г. Киров, Московская ул., 122

ISBN 5-7784-0294-5



9 785778 402942 >

1-2 января.

4 января.

5 января 1969.

21 октября. 6 августа 1969.

4 апреля 1969

20 августа 1969

6 января.

31 декабря.

20 января 1969.

1969.

4 января

11 октября.

5 июня.

17 января

20 мая 1969.

13 декабря

Бригада АБ

20 сентября 1969.

6 октября

1969.

20 января

4 сентября 1969.

25 сентября.

1 января

5 февраля

9 марта 1969.

5 июня

18 января 1969.

19 июня

3 декабря

1969.

11 декабря

5 июня

1969.

11-2 октября.

4-5 декабря.

21 ноября 1969

5 ноября 1969

20 ноября

6 декабря

1969.

21 декабря

1969.

20 марта 1969.

19-20 июня 1969.

11 октября.

